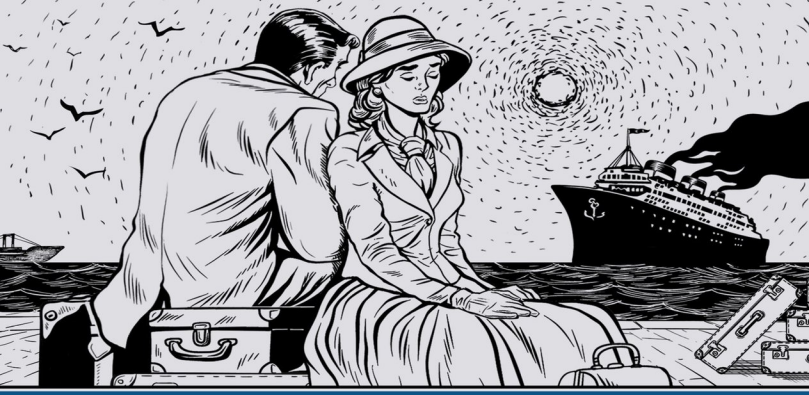

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО

НОЧЬ В ЛИССАБОНЕ

Возлюби ближнего своего. Ночь в Лиссабоне

Эрих Мария Ремарк

Аннотация
Эрих Мария Ремарк. Возлюби ближнего своего. Ночь в Лиссабоне
Возлюби ближнего своего
  Часть первая
  Часть вторая
Ночь в Лиссабоне

Аннотация

«Возлюби ближнего своего» – роман о немецких эмигрантах, вынужденных скитаться по предвоенной Европе. Они скрываются, голодают, тайком пересекают границы, многие из их родных и близких в концлагерях. Потеряв родину и привычный уклад жизни, подвергаясь смертельной опасности, герои Ремарка все же находят в себе силы для сострадания и любви.

«Ночь в Лиссабоне» – трагический, проникновенный роман Эриха Марии Ремарка о Второй мировой войне. Это не просто случайная встреча двух отчаявшихся людей, один из которых тщетно пытается найти два билета на пароход до Америки, а другой – ищет собеседника, чтобы излить ему душу. Это настоящая исповедь отважного человека, на долю которого выпали немыслимые по тяжести испытания. Это история целого поколения людей, столкнувшихся с войной, попавших в тиски фашизма. Это еще и история любви, перед которой отступает даже смерть.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Эрих Мария Ремарк
Возлюби ближнего своего. Ночь в Лиссабоне

Возлюби ближнего своего

Часть первая

I

Керн мгновенно очнулся от тяжкого свинцового сна и прислушался. Как всякий затравленный человек, он был настороже, в напряжении и готов к побегу. Подавшись вперед исхудавшим телом, он сидел неподвижно на постели, обдумывая, как бежать, если лестница уже перекрыта.

Комната находилась на пятом этаже. Одно окно выходило во двор, но не было ни балкона, ни карниза, чтобы добраться до водосточной трубы. Значит, бежать через двор было невозможно. Оставался только путь по коридору на крышу и по крыше — к соседнему дому.

Керн посмотрел на светящийся циферблат своих часов: начало шестого. В комнате было еще темно. Простыни на двух других койках казались серыми. Спавший у стены поляк храпел.

Керн осторожно выскользнул из постели и прокрался к двери. В тот же момент зашевелился мужчина, спавший на койке между Керном и поляком.

— Что там случилось? — прошептал он.

Керн не ответил; он слушал, приложив ухо к двери.

Мужчина приподнялся и начал рыться в вещах, висевших на спинке кровати. Вспыхнул карманный фонарь, и его слабый дрожащий свет выхватил из темноты кусок обшарпанной коричневой двери и фигуру Керна, лохматого, в помятом нижнем белье, подслушивающего у замочной скважины.

— Черт подери, да что там такое? — прошипел мужчина на постели.

Керн выпрямился.

— Не знаю. Я проснулся, потому что услышал что-то.

— Что-то! Что «что-то», болван?

— Что-то внизу. Голоса, шаги, в этом роде…

Мужчина встал и подошел к двери. Карманный фонарь осветил желтоватую рубаху и пару волосатых мускулистых ног. Несколько мгновений он прислушивался.

— Ты давно здесь? — спросил он.

— Два месяца.

— И за это время уже была облава?

Керн покачал головой.

— Ага. Тогда ты, наверное, ослышался.

Он посветил Керну в лицо.

— Н-да. Сколько тебе? Двадцать? Эмигрант?

— Конечно.

— Jesus Christus, ço sie stalo?[1] — пробормотал неожиданно поляк, спавший у стены.

Мужчина в рубашке направил в угол луч света. Из темноты вынырнули черная щетина бороды, разинутый рот и вытаращенные глаза под кустистыми бровями.

— Заткнись ты со своим Христом, — пробурчал мужчина с фонарем. — Его больше нет. Погиб смертью храбрых на Сомме.

— Ço?[2]

— Ну вот, опять! — Керн бросился к постели. — Они идут снизу. Надо уходить по крышам!

Мужчина с фонарем резко обернулся.

Были слышны голоса и хлопанье дверей.

— Полиция! Полякам выходить! Черт возьми! Выходить!

Он сдернул свои вещи с постели.

— Ты знаешь дорогу? — спросил он Керна.

— Да. Направо, по коридору! До лестницы за умывальником и наверх!

— Ну! — Мужчина в рубахе бесшумно открыл

---

[1] notes: 1
Иисусе Христе, что случилось? *(польск.)*

[2] notes: 2
Что? *(польск.)*

дверь.

— Matka boska![3] — пробормотал поляк.

— Заткнись. Ни звука.

Мужчина прикрыл дверь. Они бесшумно проскользнули по узкому грязному коридору. Они бежали так тихо, что было слышно, как вода из плохо завинченного крана капает в раковину.

— Сюда! — прошептал Керн, завернул за угол и наткнулся на что-то. Он покачнулся, увидел униформу и бросился назад. В то же мгновение он почувствовал удар в плечо.

— Ни с места. Руки вверх! — скомандовали из темноты.

Керн выронил вещи. Его левая рука онемела от боли, удар пришелся по суставу. Мужчина в рубахе выглядел в эту секунду так, словно собирался броситься в темноту на голос. Потом он увидел дуло револьвера, направленное ему в грудь другим полицейским, и медленно поднял руки.

— Кругом! — скомандовал голос. — Встать к окну!

Оба подчинились.

— Посмотри, что у них в карманах, — сказал полицейский с револьвером.

---

[3] notes: 3
Матерь Божья! *(польск.)*

Второй обыскал вещи, лежащие на полу.

— 35 шиллингов… карманный фонарь… трубка… карманный нож… гребень… больше ничего.

— Никаких бумаг?

— Пара писем или что-то вроде.

— Паспортов нет?

— Нет.

— Где ваши паспорта? — спросил полицейский с револьвером.

— У меня нет, — сказал Керн.

— Еще бы! — Полицейский ткнул револьвер в спину мужчины в рубахе. — А ты? Тебя не касается, ублюдок поганый?!

Полицейские переглянулись. Тот, что без револьвера, засмеялся. Другой облизнул губы.

— Ах, какие мы благородные! — сказал он медленно. — Какие сиятельные генералы! Мразь вонючая, бродяга!

Он вдруг размахнулся и ударил мужчину кулаком в челюсть.

— Руки вверх! — зарычал он, когда тот покачнулся.

Мужчина посмотрел на него. Керн никогда еще не видел такого взгляда.

— Я тебе говорю, сволочь! — сказал полицейский. — Скоро ты? Или тебе еще раз прочистить

мозги?

— У меня нет паспорта, — сказал мужчина.

— «У меня нет паспорта», — передразнил полицейский. — Конечно, у господина ублюдка нет паспорта. Как и следовало ожидать. Одеваться! Быстро!

Группа полицейских бежала по коридору. Они распахнули дверь. Вошел один с погонами.

— Что там у вас?

— Две пташки. Хотели смыться по крыше.

Офицер посмотрел на задержанных. У него было молодое, худое и бледное лицо. Он носил маленькие холеные усики, и от него пахло туалетной водой. Керн узнал: это был одеколон № 4711. Его отец имел раньше парфюмерную фабрику, поэтому Керн разбирался в таких вещах.

— Этими двумя мы еще займемся, — сказал офицер. — Наручники!

— Венской полиции разрешается совершать избиения во время ареста? — спросил мужчина в рубахе.

Офицер поднял глаза.

— Ваше имя?

— Штайнер. Йозеф Штайнер.

— У него нет паспорта, и он угрожал нам, — сказал полицейский с револьвером.

— Венской полиции разрешается много больше, чем вы думаете, — резко возразил офицер. — Марш вниз!

Оба оделись. Полицейский протянул наручники.

— Подойдите сюда, голубчики. Так, теперь вы выглядите уже лучше. Как на заказ сделано.

Керн почувствовал на суставах холодную сталь. Первый раз в жизни он был закован в кандалы. Стальные браслеты не очень мешали при ходьбе. Но ему казалось, что они сковали не только руки.

На улице было раннее утро. Перед домом стояли две полицейские машины. Штайнер скорчил гримасу:

— Похороны — люкс. Шикарно, малыш, не так ли?

Керн не ответил. Он пытался спрятать наручники под пиджак. Несколько молочников глазели на них с улицы. В домах напротив были открыты окна. В темных отверстиях, как куски теста, белели лица. Какая-то женщина хихикала.

Человек тридцать задержанных были посажены на машины. Это были открытые полицейские грузовики. Большинство влезали в машины без единого слова. Среди задержанных была и владе-

лица дома, толстая светловолосая женщина лет пятидесяти. Она была единственным человеком, который с возмущением протестовал. Несколько месяцев назад она превратила два пустующих этажа своего ветхого дома в пансион, нечто вроде дешевой ночлежки. Скоро стало известно, что там можно переночевать, не прописываясь в полиции. В доме только четыре жильца имели полицейскую прописку: уличный торговец, морильщик мышей и две проститутки. Остальные приходили вечером, когда темнело. Почти все были эмигранты и беженцы из Германии, Польши, России и Италии.

— Быстро, быстро в машину, — говорил офицер домовладелице. — Все это вы объясните в полиции. У вас там будет достаточно времени.

— Я протестую! — кричала женщина.

— Можете протестовать сколько угодно. А пока вы едете с нами.

Двое полицейских подхватили женщину под мышки и подняли на машину. Офицер повернулся к Керну и Штайнеру:

— Теперь эти двое. За ними следить особо.

— Мегсі, — сказал Штайнер и полез в машину. Керн последовал за ним.

Машины тронулись.

— До свидания, — проскрежетал из окон женский голос.

— Убивать надо эту эмигрантскую сволочь, — прорычал вслед какой-то мужчина. — Только жратву зря переводите.

Полицейские машины ехали довольно быстро. Улицы были еще пусты. Небо над домами отодвигалось, светлело, становилось больше, голубее и прозрачнее, а темная масса арестованных в кузове напоминала ивы в осенний дождь. Несколько полицейских ели бутерброды, пили кофе из плоских жестяных фляжек.

Недалеко от Аспернбрюке улицу пересек овощной фургон. Полицейские машины затормозили, потом снова тронулись. В это мгновение один из арестованных вскарабкался на борт второго грузовика и спрыгнул вниз. Он упал наискось, на крыло, запутался в пальто и с сухим треском ударился о булыжник.

— Стоп! Назад! — закричал офицер. — Стрелять, если он побежит!

Грузовик резко затормозил. Полицейские бросились к тому месту, где лежал человек. Шофер оглянулся. Заметив, что человек не бежит, он медленно подал машину назад.

Человек лежал на спине. Он ударился о камни

затылком. Он лежал в распахнутом пальто, раскинув руки и ноги, как большая распластанная летучая мышь.

— Поднимите его наверх! — крикнул офицер.

Полицейские нагнулись. Потом один из них выпрямился.

— Он, наверное, что-то себе сломал. Не может встать.

— Прекрасно может. Поднять его!

— Дайте ему хорошего пинка, сразу очухается, — сказал лениво полицейский, который бил Штайнера.

Человек застонал.

— Он действительно не может встать, — сообщил другой полицейский. — И кровь. Разбил голову.

— Черт! — Офицер спрыгнул вниз. — Чтобы никто ни с места! — крикнул он арестованным. — Проклятая банда! Одни только пакости!

Машина стояла теперь совсем рядом с раненым. Сверху Керн мог хорошо его видеть. Он знал его. Это был худой польский еврей с редкой седой бородой. Керн несколько раз ночевал с ним в одной комнате. Он ясно вспомнил, как старик молился по утрам, облачившись в талес, стоя у окна и тихо раскачиваясь всем телом взад и

вперед. Он торговал нитками и ремешками, и его уже три раза высылали из Австрии.

— Встать! Ну! — скомандовал офицер. — Зачем вы спрыгнули с грузовика? Совесть нечиста? Воровали или что-нибудь похуже?

Старик пошевелил губами. Его раскрытые глаза были устремлены на офицера.

— Что? — сказал офицер. — Он что-то сказал?

— Он говорит, это от страха, — ответил полицейский, стоявший на коленях.

— От страха? Еще бы! Он, видно, что-то слямзил! Что он говорит?

— Говорит, что ничего не слямзил.

— Все говорят. Что теперь с ним делать? Что у него там?

— Надо вызвать врача, — сказал с грузовика Штайнер.

— Молчать! — озлился офицер. — Какой там врач в такую рань? Нельзя же ему лежать на улице. Потом снова скажут, что это мы его так отделали. Вечно все валят на полицию!

— Его надо в больницу, — сказал Штайнер. — И как можно скорее.

Офицер был сбит с толку. Он видел теперь, что человек тяжело ранен, и забыл, что запретил Штайнеру разговаривать.

— Больница! Они его так просто не возьмут. Для этого нужно направление. Я не могу один дать направление. Я должен сперва доложить.

— Отправьте его в еврейскую больницу, — сказал Штайнер. — Там его возьмут без направления. И даже без денег.

Офицер воззрился на Штайнера.

— Вы откуда знаете?

— Его надо в «скорую помощь», — предложил один из полицейских. — Там всегда есть санитары или врач. Они там посмотрят. А мы отделаемся.

Офицер принял решение.

— Ладно, поднимите его. Заедем в «скорую». Кто-нибудь там с ним останется. Чертово свинство!

Полицейские подняли старика. Он стонал и был очень бледен. Его положили на дно грузовика. Он вздрогнул и раскрыл глаза. Они неестественно блеснули на его обескровленном лице. Офицер кусал губы.

— Что за идиотизм прыгать с грузовика. Такой старый человек. Поехали!

Под головой раненого образовалась кровавая лужа. Узловатые пальцы скребли по деревянному дну грузовика. Губы медленно отклеились от зубов и растянулись в улыбку. Он выглядел так,

словно за призрачно затененной маской боли беззвучно и оскорбительно смеялся кто-то другой.

— Что он говорит? — спросил офицер.

Полицейский снова опустился на колени около старика, поддерживая его голову и пытаясь разобрать слова сквозь дребезжание машины.

— Говорит, хотел к детям. Говорит, они теперь с голоду помрут, — доложил он.

— Глупости. Не помрут. Где они?

Полицейский наклонился.

— Не говорит. Говорит, их тогда выселят. У них нет разрешения на жительство.

— Чепуха. Что он сказал?

— Он сказал, чтоб вы ему простили.

— Что? — переспросил удивленно офицер.

— Он просит его простить, что он причинил вам столько хлопот.

— Простить? При чем тут прощение? — Офицер посмотрел на старика на дне машины и покачал головой.

Грузовик остановился перед пунктом «скорой помощи».

— Давайте его туда! — скомандовал офицер. — Осторожно. Роде, вы останетесь с ним, пока я не позвоню.

Старика подняли. Штайнер нагнулся к нему.

— Мы найдем твоих детей. Мы им поможем, — сказал он. — Слышишь, старина?

Еврей закрыл глаза и снова открыл их. Потом трое полицейских внесли его в дом. Его руки свисали и безжизненно волочились по булыжнику.

Через минуту двое полицейских вернулись и влезли на грузовик.

— Он что-нибудь сказал? — спросил офицер.

— Нет. Он уже совсем позеленел. Если это позвоночник, он долго не протянет.

— Одним евреем меньше будет, — сказал полицейский, который бил Штайнера.

— Простить! — пробормотал офицер. — Ну и ну. Смешные люди.

— Особенно в наше время, — сказал Штайнер.

Офицер выпрямился.

— Молчать, большевик! — прорычал он. — Мы из вас вашу спесь выбьем!

Арестованных доставили в участок на Элизабетпроменаде. Со Штайнера и Керна сняли наручники, потом их посадили вместе с остальными в большую полутемную камеру. Люди сидели молча. Они привыкли ждать. Только толстая блондинка, хозяйка ночлежки, не переставая жаловалась на судьбу.

Около девяти одного за другим стали вызывать

наверх. Керна привели в комнату, где находились двое полицейских, писарь в штатском, знакомый офицер и пожилой полицейский комиссар. Комиссар сидел в деревянном кресле и курил сигареты.

— Анкеты, — сказал он человеку за столом.

Писарь был худой прыщавый человек, похожий на селедку.

— Имя? — спросил он неожиданно низким голосом.

— Людвиг Керн.

— Родился?

— Тридцатого ноября тысяча девятьсот четырнадцатого года в Дрездене.

— Значит, немец?

— Нет. Не имею подданства. Выселен.

Комиссар поднял глаза.

— Ведь вам двадцать один? Что же вы натворили?

— Ничего. Мой отец был выслан. Так как я был тогда несовершеннолетний, то и я тоже.

— А почему ваш отец?..

Керн замолчал на мгновение. Год эмиграции научил его следить за каждым своим словом при разговоре с властями.

— На него поступил ложный донос как на

политически неблагонадежного, — сказал он наконец.

— Еврей? — спросил писарь.

— По отцу. Мать немка.

— Ага.

Комиссар стряхнул на пол пепел сигареты.

— Почему же вы не остались в Германии?

— У нас отобрали паспорта и выслали. Если бы мы остались, нас бы посадили. А если уж сидеть, то лучше в другой стране, а не в Германии.

Комиссар сухо засмеялся.

— Могу себе представить. Как же вы без паспорта перешли через границу?

— На чешской границе тогда было достаточно простой справки с места жительства. У нас она еще была. С такой бумажкой в Чехословакии можно было жить три дня.

— А потом?

— Мы получили временную прописку. На три месяца. Потом нам снова пришлось уехать.

— Вы уже давно в Австрии?

— Три месяца.

— Почему вы не сообщили в полицию?

— Потому что тогда бы меня выселили.

— Гм. — Комиссар похлопал по ручке кресла. — Откуда вам это известно?

Керн умолчал, что, когда он и его родители в первый раз перешли австрийскую границу, они сразу же сообщили в полицию. В тот же день их отправили обратно.

Перейдя через границу во второй раз, они больше не сообщали об этом в полицию.

— Может быть, это не так? — спросил он.

— Не задавайте вопросов. Ваше дело — отвечать, — грубо оборвал писарь.

— Где теперь ваши родители? — спросил комиссар.

— Мать в Венгрии. Ее там прописали. У нее венгерское происхождение. Отец был арестован и выслан, когда меня не было в отеле. Я не знаю, где он!

— Ваша профессия?

— Был студентом.

— На что вы жили?

— У меня было немного денег.

— Сколько?

— Здесь двенадцать шиллингов. Остальное у знакомых. — Кроме этих двенадцати шиллингов, у Керна не было ни гроша. Он заработал их, торгуя мылом, духами и туалетной водой. Но если бы он в этом сознался, его оштрафовали бы за противозаконный труд.

Комиссар встал и зевнул.

— Это последний?

— Еще один внизу, — сказал писарь.

— Будет то же самое. Много шума из ничего. — Комиссар покосился на офицера. — Одни только иностранцы без прописки. Не похоже на коммунистический заговор, а? Кто сделал заявление?

— Хозяин такой же дыры. Только с клопами, — сказал писарь. — Конкуренция, вероятно.

Комиссар засмеялся. Вдруг он заметил, что Керн еще в комнате.

— Увести. Сами знаете, что положено: четырнадцать дней ареста и выселение. — Он еще раз зевнул. — Пойду съем гуляш и выпью пива.

Керна привели в камеру меньше прежней. Кроме него в ней находилось еще пять арестованных: в том числе поляк из пансиона. Через четверть часа привели и Штайнера. Он сел около Керна.

— Первый раз в тюряге, малыш?

Керн кивнул.

— Ну и как? Чувствуешь себя убийцей?

Керн скривил губы:

— Вроде того. Вы знаете, тюрьма… у меня еще старые представления об этом.

— Это еще не тюрьма, — поучал его Штайнер. — Это каталажка. Тюрьма будет потом.

— Ты уже был?

— Да. Сперва тяжело. Потом легче. Особенно зимой. По крайней мере, спокойно. Человек без паспорта — это труп в отпуске. Ему остается только покончить с собой, больше ничего.

— А с паспортом? С паспортом все равно не получишь разрешения на работу.

— Конечно, нет. Зато получишь право подыхать с голоду совершенно спокойно. А не на бегу. Это уже много.

Керн смотрел прямо перед собой. Штайнер похлопал его по плечу:

— Выше голову, крошка. Зато ты имеешь счастье жить в двадцатом веке — а это век культуры, прогресса и человечности.

— Здесь что, совсем не кормят? — спросил маленький человечек с лысиной, сидевший в углу на нарах. — Даже кофе не дают?

— Надо только позвонить кельнеру, — ответил Штайнер. — Он обязан принести меню. Имеются четыре меню на выбор. И разумеется, икра.

— Еда здесь плохо, — сказал поляк.

— Ох, да это наш Иисус Христос! — Штайнер с интересом рассматривал поляка. — Ты здесь свой?

— Еда плохо, — повторил поляк. — И мало еда.

— О боже! — сказал лысый из угла. — А у меня жареная курица в чемодане. И когда они нас только выпустят?

— Через две недели, — ответил Штайнер. — Обычный срок для эмигрантов без документов. Так, что ли, Иисус Христос? Ты-то знаешь!

— Четырнадцать дней, — подтвердил поляк. — Или больше. Еда очень мало. Очень плохо. Суп жидкий.

— Черт возьми! За это время курица испортится. — Лысый застонал. — Моя первая пулярка за два года. Копил на нее, собирал гроши. Хотел съесть сегодня на обед.

— Потерпите до вечера, — сказал Штайнер. — Вечером вы сможете вообразить, что вы ее уже съели. Вам станет легче.

— Что? Что за чушь вы несете? — Человек возмущенно посмотрел на Штайнера. — По-вашему, это одно и то же? Не говорите ерунды. Я ведь ее не ел. И кроме того, я бы оставил кусок на завтра.

— Тогда подождите до завтра.

— Мне это не есть плохо, — вмешался поляк. — Курица не ем.

— Еще бы, тебе плохо! У тебя же нет ее в чемодане, — возмущался человек в углу.

— И если бы был, мне не есть плохо! Не ем этот

курица! Не любить. Тошнить потом! — Поляк выглядел очень довольным и рукой расчесывал бороду. — Мне не есть плохо без этот курица.

— Господи, да кому до вас дело? — закричал исступленно лысый.

— Даже если курица здесь — я не ел бы его! — объявил поляк с триумфом.

— Боже милостивый! Уже слыхали об этом! — Владелец курицы в отчаянии закрыл лицо руками.

— Пуляркой его не проймешь, — сказал Штайнер. — Наш Иисус Христос обладает на этот счет иммунитетом. Прямо Диоген в смысле жареных кур. А как насчет вареных?

— Тоже нет, — заявил поляк решительно.

— А если с перцем?

— Вообще не ел курица. — Поляк сиял.

— Я сойду с ума! — завопил владелец курицы, подвергаемый смертным мукам.

Штайнер обернулся.

— А яйца, Иисус Христос? Куриные яйца?

Сияние пропало.

— Яйки — да, яйки — очень вкусно. — На растрепанную бороду лег отсвет скорби. — Очень вкусно.

— Благодарение небу! Наконец-то уязвимое

место в этом чуде совершенства!

— Яйки очень вкусно, — заверил поляк. — Четыре штук, шесть, двенадцать штук, варить шесть штук, другие жарить. И жареный картошка. Жареный картошка с салом.

— Я не могу больше этого слышать! Заткните этого обжору Иисуса! — бесновалась курица в чемодане.

— Господа, — произнес мягкий бас с русским акцентом, — зачем так нервничать из-за фантазии. У меня здесь бутылка водки. Позвольте вас просить. Водка согревает сердце и успокаивает душу. — Русский раскупорил бутылку, отпил и протянул бутылку Штайнеру. Тот сделал глоток и передал ее Керну. Керн покачал головой.

— Пей, крошка, — сказал Штайнер. — Так надо. Учись.

— Водка очень хорошо, — подтвердил поляк.

Керн сделал глоток и передал бутылку поляку, который привычным жестом опрокинул ее в глотку.

— Он все выдует, этот помешанный на яйцах! — проворчал человек с пуляркой и вырвал бутылку. — Осталось совсем немного, — сказал он с сожалением, отпив из бутылки и возвращая ее русскому.

Тот сделал отрицательный жест.

— Ничего. Я выхожу сегодня вечером.

— Вы в этом уверены? — спросил Штайнер.

Русский слегка поклонился.

— Я готов сказать: к сожалению. Как русский, я имею паспорт Нансена[4].

— Паспорт Нансена! — повторила с почтением пулярка. — Вы принадлежите в таком случае к аристократии бездомных.

— Весьма сожалею, что вам не посчастливилось так, как мне, — вежливо сказал русский.

— За вами все преимущества, — ответил Штайнер. — Вы были первыми. Вам принадлежало сострадание мира. Нам почти ничего не осталось. Нас еще жалеют, но мы обременительны и нежелательны.

Русский пожал плечами. Затем он протянул бутылку последнему человеку в камере, который до сих пор сидел молча.

— Прошу покорно выпить с нами.

— Благодарю, — ответил человек, отказываясь. — Я не принадлежу к вашему обществу.

---

[4] notes: 4

Ф. Нансен — известный норвежский путешественник и ученый. По его инициативе Лигой Наций были введены временные удостоверения личности, заменявшие паспорта (нансеновские паспорта), для лиц без гражданства и беженцев. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Все посмотрели на него.

— У меня есть паспорт, родина, разрешение на прописку и разрешение на работу.

Все замолчали.

— Простите мой вопрос, — сказал через мгновение русский после некоторого колебания, — почему же вы тогда здесь?

— Из-за моей профессии, — возразил человек высокомерно. — Я не какой-нибудь сомнительный беженец без документов. Я порядочный шулер и карманный вор со всеми правами гражданства.

На обед был жидкий фасолевый суп без фасоли. На ужин — то же самое, только теперь это называлось кофе, и к нему полагался кусок хлеба. В семь часов громыхнула дверь. Русского выпустили, как он и предсказывал. Он простился со всеми, как со старыми знакомыми.

— Через две недели я загляну в кафе «Шперлер», — сказал он Штайнеру. — Может быть, вы уже будете там, а мне удастся что-либо узнать. До свидания!

В восемь часов полноправный гражданин и шулер дозрел и присоединился к обществу. Он вынул пачку сигарет и пустил ее по кругу. Все закурили. Благодаря сумеркам и тлеющим

сигаретам камера стала почти по-домашнему уютной. Карманный вор рассказал, что здесь его держат только для порядка: проверяют, нет ли за ним дела за последние полгода. Он не думает, что ему что-нибудь пришьют. Потом он предложил сыграть и, как по волшебству, извлек из своей куртки колоду карт.

Стало темно, электричества не зажгли. Шулер был готов к этому. Еще один волшебный жест — появились свеча и спички. Свечу укрепили на выступе стены. Она давала тусклый, неровный свет.

Поляк, пулярка и Штайнер потеснились.

— Играть без денег? — спросила пулярка.

— Разумеется, — шулер улыбнулся.

— А ты? — спросил Штайнер Керна.

— Я не умею играть в карты.

— Надо учиться, крошка. Что же ты будешь делать по вечерам?

— Завтра. Сегодня не могу.

Штайнер обернулся. Слабый свет прорезал глубокие морщины на его лице.

— Что с тобой?

Керн покачал головой:

— Ничего. Устал немного. Я лягу на нары.

Шулер уже тасовал карты. Он делал это очень

элегантно, прорезая колоду, карты щелкали.

— Кто сдает? — спросила пулярка.

Полноправный гражданин сдал. Поляк вытащил девятку, пулярка — даму, Штайнер и шулер — по тузу.

Шулер поднял глаза:

— Прикупаю.

Он вытянул карту. Снова туз. Улыбнулся и передал колоду Штайнеру. Тот небрежно открыл нижнюю карту колоды: вышел крестовый туз.

— Вот так совпадение, — засмеялась пулярка.

Шулер не смеялся.

— Откуда вы знаете этот трюк? — пораженно спросил он Штайнера. — Вы из наших?

— Нет, любитель. Поэтому меня вдвойне радует признание профессионала.

— Не в том дело! — шулер посмотрел на него. — Это, собственно, мой трюк.

— Ах так! — Штайнер раздавил сигарету. — Я научился ему в Будапеште. В тюрьме перед высылкой. У некоего Кетчера.

— Кетчер! Теперь понятно! — карманный вор облегченно вздохнул. — Значит, от Кетчера. Это мой ученик. Вы хорошо усвоили.

— Да, — сказал Штайнер, — путешествия расширяют кругозор.

Шулер передал ему карты и испытующе посмотрел на пламя свечи.

— Свет плохой — но мы ведь, разумеется, играем для души. Господа, не так ли? Так что не передергивать…

Керн лег на нары и закрыл глаза. Он был полон смутной серой тоски. С момента утреннего допроса он не переставая думал о родителях — в первый раз снова после долгого времени. Он вспомнил, как отец вернулся из полиции. Чтобы присвоить маленькую лабораторию по производству лечебного мыла, парфюмерии и туалетной воды, принадлежавшую отцу, один из конкурентов донес на него гестапо, обвинив его в антиправительственных высказываниях. План удался, как удавались в то время тысячи подобных планов. После шести недель ареста отец Керна вернулся домой совершенно сломленным человеком. Он никогда не говорил об этом; но он продал свою фабрику конкуренту по смехотворной цене. Потом последовало выселение, и начался побег без конца. Из Дрездена в Прагу, из Праги в Брюнн[5], оттуда ночью через границу в Австрию; на следующий день по полицейскому приказу обратно

---

[5] notes: 5
Брно.

в Чехию; через два дня снова тайно в Вену; ночь, лес, мать с переломанной рукой, неумело, наспех прибинтованной к шине из двух веток; потом из Вены в Венгрию; снова полиция; прощание с матерью, которая могла остаться, потому что была венгерского происхождения; снова граница; снова Вена; жалкая торговля вразнос мылом, туалетной водой, подтяжками и шнурками; вечный страх, что донесут или схватят; вечер, когда не вернулся отец; месяцы в одиночестве, из одного укрытия в другое…

Керн повернулся. При этом он кого-то задел. Он открыл глаза. На нарах около него лежал последний обитатель камеры, похожий в темноте на черный тюк. Это был мужчина лет пятидесяти, который за весь день почти ни разу не пошевелился.

— Простите, — сказал Керн, — я не видел…

Человек не ответил. Керн заметил, что глаза у него открыты. Он знал такое состояние: он часто наблюдал его за время своих скитаний. Самое лучшее тогда — оставить человека в покое.

— Ах, проклятье! — раздался вдруг из угла, где играли в карты, голос пулярки. — Я дурак. Я непроходимый дурак.

— Почему? — спросил спокойно Штайнер. —

Дама червей была очень кстати.

— Да я не о том! Ведь этот русский мог бы прислать мне пулярку. Господи, я безмозглый идиот. Я просто безнадежный идиот! — Он озирался с таким видом, словно наступил конец света.

Керн заметил вдруг, что смеется. Он не хотел смеяться. Но он просто вдруг не мог остановиться. Он смеялся так, что его всего трясло, и он не знал почему. Что-то смеялось внутри него и смешивало все в один комок: тоску, прошлое и все мысли.

— Что с тобой, крошка? — спросил Штайнер, отрывая взгляд от карт.

— Я не знаю. Я смеюсь.

— Смеяться всегда полезно. — Штайнер вытянул пикового короля и намертво убил козырем бессловесного поляка.

Керн взял сигарету. Все вдруг показалось ему очень простым. Он решил завтра научиться играть в карты, и у него было странное чувство, словно это решение изменит всю его жизнь.

II

Через пять дней шулера отпустили. Никакой вины за ним не нашли. Со Штайнером они расстались друзьями. Шулер использовал время для завершения образования Штайнера, столь успеш-

но начатого Кетчером. На прощание он подарил ему колоду карт, и Штайнер начал просвещать Керна. Он научил его играть в скат, ясс, тарок и покер; в скат — для эмигрантов, в ясс — для Швейцарии, в тарок — для Австрии и в покер — на все прочие случаи.

Через две недели Керна вызвали наверх. Инспектор ввел Керна в комнату, где сидел какой-то пожилой мужчина. Помещение показалось Керну огромным и таким светлым, что он должен был зажмуриться: он уже привык к камере.

— Вы Людвиг Керн, родились в Дрездене тридцатого ноября тысяча девятьсот четырнадцатого года, студент, подданства не имеется? — спросил равнодушно человек и заглянул в бумагу.

Керн кивнул. Говорить он не мог. У него вдруг перехватило горло. Мужчина поднял глаза.

— Да, — сказал Керн хрипло.

— Вы проживали в Австрии без документов и без прописки. — Мужчина быстро зачитывал протокол. — Вы были приговорены к четырнадцати дням заключения, которые в настоящее время истекли. Вы высылаетесь из Австрии. Всякое возвращение наказуемо. Вот судебное постановление о высылке. Здесь вы должны расписаться в том, что вам известно о постановлении, и в том,

что возвращение наказуемо. Здесь, справа.

Мужчина зажег сигарету. Керн, как зачарованный, смотрел на его руку с крупными порами и толстыми жилами, которая держала спички.

Через два часа этот человек запрет свой стол и отправится ужинать, потом он, наверное, сыграет в тарок и выпьет пару стаканов хойригена, около одиннадцати он зевнет, уплатит по счету и заявит: «Я устал. Иду домой. Спать».

…Домой. Спать. В то же самое время пограничные леса и поля поглотит темнота. Темнота, страх, чужбина, где затеряется крошечная мерцающая искра жизни, Людвиг Керн, одинокий, усталый, спотыкающийся, полный тоски по людям и страха перед людьми. И все это только потому, что его и скучающего чиновника за столом разделяет клочок бумаги, называемый паспортом. Их кровь имеет одинаковую температуру, глаза — одинаковое строение, их нервы реагируют на одни и те же раздражители, мозг работает аналогично, и все же их разделяет пропасть, они ни в чем не равны, покой одного — мучение для другого, один — власть имущий, другой — отверженный, и пропасть, которая их разделяет, — всего лишь маленький клочок бумаги, на котором написано только имя и несколько ничего не значащих дат.

— Здесь, справа, — сказал чиновник. — Имя и фамилию.

Керн взял себя в руки, подписал.

— На какую границу вас доставить? — спросил чиновник.

— На чешскую.

— Хорошо. Через час отправка. Вас кто-нибудь доставит.

— У меня остались кое-какие вещи в отеле, где я живу. Я могу их взять?

— Какие вещи?

— Чемодан с бельем и тому подобное.

— Хорошо. Скажите чиновнику, который доставит вас на границу. Вы сможете заехать по дороге.

Инспектор проводил Керна вниз и взял с собой наверх Штайнера.

— Что случилось? — спросила с любопытством пулярка.

— Через час выходим отсюда.

— Иезус Кристус! — сказал поляк. — Снова та же волынка!

— Ты что, хочешь остаться? — спросила пулярка.

— Если еда хороший и маленький должность как уборщик — охотно, да.

Керн вынул носовой платок и, как смог, почистил костюм. За эти четырнадцать дней его рубашка совсем потемнела от грязи. Он опустил манжеты. Все это время он их очень оберегал. Поляк посмотрел на него.

— Через год-два тебе будет все равно, — предсказал он.

— Ты куда? — спросила пулярка.

— В Чехию. А ты? В Венгрию?

— В Швейцарию. Я это дело обдумал. Хочешь со мной? Оттуда попробуем просочиться во Францию.

Керн покачал головой.

— Нет, я — в Прагу.

Через несколько минут вернулся Штайнер.

— Знаешь, как зовут того полицейского, который во время ареста ударил меня по лицу? — спросил он Керна. — Леопольд Шефер. Он живет по Траутенаугассе, 27. Они мне вычитали это из протокола. Конечно, не то, что он меня ударил. Только что я ему угрожал. — Он посмотрел на Керна. — Ты думаешь, я забуду фамилию и адрес?

— Нет, — сказал Керн. — Конечно, нет.

— Я тоже так думаю.

За Керном и Штайнером зашел чиновник уголовной полиции в штатском.

Керн был возбужден. В дверях он непроизвольно остановился. Открывшийся вид был так великолепен, что Керну показалось, будто мягкий южный ветер ударил ему в лицо. Над домами было синее, чуть сумрачное небо, островерхие крыши сверкали в последнем красном свете солнца, мерцал Дунай, а по улицам сквозь поток спешащих домой и прогуливающихся пешеходов пробирались сверкающие автобусы. Совсем близко промелькнула стайка смеющихся девушек в светлых платьях. Керну казалось, что он никогда еще не видел такой красоты.

— Пошли, — сказал чиновник в штатском.

Керн вздрогнул и смущенно оглядел себя. Он заметил, что один из прохожих бесцеремонно его разглядывает.

Они шли по улицам, чиновник посредине. В многочисленных кафе столики и стулья были выставлены на улицу, и везде сидели радостные, весело болтающие люди. Керн опустил голову и пошел быстрее. Штайнер смотрел на него с добродушной насмешкой.

— Что, малыш, все это не для нас, а?

— Да, — ответил Керн и стиснул зубы.

Они пришли в пансион. Хозяйка приняла их со смешанным выражением недовольства и сожа-

ления. Она сразу же выдала им их чемоданы. Все вещи были на месте. В камере Керн собирался надеть чистую рубашку, но теперь, пройдя по улицам, он отказался от этой мысли. Он взял под мышку обшарпанный чемодан и поблагодарил хозяйку.

— Мне очень жаль, что мы причинили вам столько неприятностей, — сказал он.

Хозяйка отмахнулась.

— Дай вам бог удачи и вам, господин Штайнер. Куда же вы теперь?

Штайнер сделал неопределенный жест:

— Куда ползут старые пограничные клопы? От куста к кусту.

Хозяйка постояла мгновение в нерешительности. Потом энергично двинулась к стенному шкафчику орехового дерева, сделанному в виде средневекового замка.

— Возьмите-ка на дорожку. — Она вынула три стакана, бутылку и разлила содержимое по стаканам.

— Сливовица? — спросил Штайнер.

Она кивнула и предложила один стакан чиновнику. Он вытер усы.

— В конце концов, наш брат только выполняет долг, — заявил он.

— Разумеется. — Хозяйка снова наполнила свой стакан. — Почему вы не пьете? — спросила она Керна.

— Я не могу. Так просто, на пустой желудок…

— Ах так. — Хозяйка посмотрела на него испытующе. У нее было пористое холодное лицо, которое вдруг неожиданно потеплело. — Господи, верно, да он ведь еще растет, — пробормотала она. — Франци! — крикнула она. — Принеси бутерброд!

— Спасибо, не нужно, — Керн покраснел. — Я не голоден.

Служанка принесла большой двойной бутерброд с ветчиной.

— Не стесняйтесь, — сказала хозяйка. — Живей!

— Ты не хочешь половину? — спросил Керн Штайнера. — Мне это много.

— Не рассуждай. Ешь, — ответил Штайнер.

Керн съел бутерброд с ветчиной и выпил стакан сливовицы. Потом они простились. На трамвае они доехали до Восточного вокзала. В поезде Керн вдруг почувствовал себя очень уставшим. Дребезжание вагона усыпляло. Мимо скользили дома, фабричные дворы, улицы, сады с высокими ореховыми деревьями, поля, луга и мягкие синие

вечерние сумерки. Он был сыт, это действовало на него как хмель. Его мысли смешались, растворились в грезах. Ему грезился белый дом среди цветущих каштанов, делегация чиновников в сюртуках, торжественно вручающая ему права почетного гражданина, и диктатор в униформе, стоящий перед ним на коленях и умоляющий о прощении.

Было почти темно, когда они прибыли на таможню. Чиновник в штатском передал их таможеннику и исчез в сиреневых сумерках.

— Еще рано, — сказал таможенник, который пропускал автомобили. — Самое лучшее время около половины десятого.

Керн и Штайнер уселись на скамью перед дверью и смотрели, как подходили автомобили. Через некоторое время пришел второй таможенник. Он повел их по тропинке, ведущей направо от таможни. Они прошли по полю, пахнущему землей и росой, мимо нескольких домов с освещенными окнами, миновали рощицу. Через некоторое время чиновник остановился.

— Пойдете дальше до Моравы. Держитесь левой стороны, чтобы оставаться в тени кустарника. Река сейчас мелеет. Вы ее легко перейдете вброд.

Они пошли, теперь уже одни. Было очень ти-

хо. Через несколько минут Керн оглянулся. На горизонте маячил черный силуэт чиновника. Он наблюдал за ними. Они двинулись дальше. На берегу Моравы они разделись. Одежду и багаж свернули в один узел. Коричневая болотная вода отливала серебром. На небе были звезды и облака и иногда пробивался месяц.

— Я пойду вперед, — сказал Штайнер. — Я выше ростом.

Они шли вброд. Керн ощущал, как холодная таинственная вода поднимается все выше по телу, словно не желая его отпускать. Перед ним медленно и осторожно пробирался вперед Штайнер. Рюкзак и одежду он держал на голове. Его широкие плечи были облиты белым светом месяца. Посредине реки он остановился и оглянулся. Керн был совсем рядом. Он улыбнулся и кивнул ему.

Они вылезли на противоположный берег и наскоро вытерлись своими носовыми платками. Потом оделись и пошли дальше. Через некоторое время Штайнер остановился.

— Мы перешли через границу, — сказал он. В прозрачном свете месяца его глаза были светлыми и почти стеклянными. Он взглянул на Керна. — Разве здесь другие деревья? Или по-другому пахнет ветер? Разве здесь не те же звезды?

Разве иначе умирают здесь люди?

— Нет, — сказал Керн. — Не это. Но я чувствую себя здесь иначе.

Они сели под большим буком, где их скрывала тень. Перед ними простирался пологий луг. Вдали мерцали огни словацкой деревни. Штайнер развязал рюкзак, чтобы найти сигареты. При этом он посмотрел на чемодан Керна.

— Я пришел к выводу, что рюкзак практичнее чемодана. Он не так бросается в глаза. Можно сойти за безобидного туриста.

— Туристов тоже проверяют, — возразил Керн. — Все, что похоже на бедность, проверяют. Лучше всего была бы машина.

Они закурили.

— Через час я пойду назад, — сказал Штайнер. — А ты?

— Я попытаюсь добраться до Праги. Полиция там лучше. Там можно легко получить прописку на пару дней, а дальше будет видно. Может быть, я найду отца и он мне поможет. Я слышал, что он там.

— Ты знаешь, где он живет?

— Нет.

— Сколько у тебя денег?

— Двенадцать шиллингов.

Штайнер порылся в кармане пиджака.

— Вот еще немного. Этого должно хватить до Праги.

Керн поднял глаза.

— Бери спокойно, — сказал Штайнер. — У меня есть еще. — Он показал несколько банкнот. В тени деревьев Керн не мог рассмотреть, какие это были деньги. Мгновение он колебался. Потом взял деньги.

— Спасибо, — сказал он.

Штайнер не ответил. Он курил. Когда он затянулся, сигарета вспыхнула и осветила его скрытое тенью лицо.

— Почему ты, собственно, эмигрант? — спросил нерешительно Керн. — Ты же не еврей?

Штайнер немного помолчал.

— Нет, я не еврей, — сказал он наконец.

Что-то зашуршало сзади них в кустах. Керн вскочил.

— Заяц или кролик, — сказал Штайнер. Потом он повернулся к Керну. — Чтобы ты вспомнил об этом, малыш, если когда-нибудь отчаешься. Тебе удалось уйти оттуда, тебе, и твоему отцу, и твоей матери. Мне удалось уйти — но моя жена в Германии. И я ничего о ней не знаю.

Что-то снова зашуршало сзади них. Штайнер

загасил сигарету и прислонился к стволу бука. Начало холодать. Над горизонтом висел месяц. Месяц, похожий на кусок мела и такой же безжалостный, как в ту последнюю ночь…

После побега из концлагеря Штайнер неделю скрывался у одного из друзей. Сидел взаперти на чердаке, готовый в любой момент бежать по крыше, если услышит подозрительный шум. Ночью друг приносил ему хлеб, консервы и пару бутылок с водой. На вторую ночь он принес ему несколько книг. Штайнер читал их в течение дня, чтобы отвлечься. Нельзя было зажигать свет и курить. Для прочих надобностей на чердаке стоял горшок в картонной коробке. Ночью друг выносил его, а потом снова приносил наверх. Они должны были быть так осторожны, что не разговаривали между собой даже шепотом: служанки, которые спали рядом, могли услышать и выдать.

— Мария знает? — спросил Штайнер в первую ночь.

— Нет. Дом под наблюдением.

— С ней что-нибудь случилось?

Друг покачал головой и вышел.

Штайнер спрашивал всегда одно и то же. Каждую ночь. На четвертую ночь друг наконец сообщил, что видел ее. Теперь она знает, где

Штайнер. Ему удалось ей шепнуть. Утром он ее снова увидит. В толпе, на недельном рынке. Весь следующий день Штайнер писал письмо, которое должен был передать ей друг. Вечером он разорвал письмо. Он не знал, наблюдают ли за ней. Ночью он по той же причине попросил друга больше не встречаться с ней. Еще три ночи он провел на чердаке. Наконец друг принес деньги, билет на поезд и костюм. Штайнер постриг себе волосы и вымыл голову перекисью водорода. Потом сбрил усы. Перед обедом он ушел. У него была куртка, какую носят монтеры, а в руках ящик с инструментами. Штайнер должен был немедленно уходить из города. Но он не выдержал. Он не видел жену уже два года. Он пошел на рынок. Через час он ее увидел. Его начала бить дрожь. Жена прошла мимо, но его не заметила. Штайнер пошел за ней и, нагнав, сказал в спину: «Не оглядывайся. Это я. Иди дальше! Иди дальше!»

Ее плечи задрожали, она откинула голову назад. Потом пошла дальше. Но она шла как во сне, вся отдавшись шепоту, раздававшемуся позади нее.

— Тебе что-нибудь сделали? — спросил голос за ее спиной.

Она покачала головой.

— За тобой следят?

Она кивнула.

— И сейчас?

Она колебалась. Потом покачала головой.

— Я сейчас ухожу. Попробую вырваться. Я не могу тебе писать. Это опасно для тебя. — Она кивнула. — Ты должна со мной развестись. — Женщина на секунду задержала шаг. Потом пошла дальше. — Ты должна со мной развестись. Ты пойдешь завтра туда. Ты скажешь, что разводишься со мной из-за моих убеждений. Ты скажешь, что раньше ни о чем не знала. Ты поняла? — Женщина шла дальше выпрямившись, словно окостенев. — Пойми, — зашептал Штайнер. — Это для твоей безопасности. Я сойду с ума, если они что-нибудь тебе сделают. Ты должна развестись — тогда они оставят тебя в покое. — Женщина не ответила. — Я люблю тебя, Мария, — сказал Штайнер тихо, сквозь зубы, и его глаза вспыхнули от возбуждения. — Я люблю тебя, и я не уйду, пока ты не пообещаешь! Я вернусь обратно, если ты не пообещаешь! Ты слышишь меня? — Наконец женщина кивнула. Ему показалось, что прошла вечность. — Ты обещаешь? — Женщина медленно кивнула. Ее плечи упали. — Я сейчас сверну и выйду справа.

Сверни налево и иди мне навстречу. Ничего не говори, ничего не делай! Я хочу тебя видеть. Потом я уйду. Если ты ничего не услышишь, значит, я вырвался.

Женщина кивнула и пошла быстрее.

Штайнер завернул за угол и пошел вверх по проходу между мясными рядами. Перед прилавками торговались женщины с корзинками. Блестевшие на солнце кровавые куски мяса казались белыми и невыносимо воняли. Мясники орали. Но вдруг все исчезло. Стук топоров по деревянным колодам превратился в тонкий звон косы. Были только березы, скошенный луг, свобода, ветер, любимые шаги, любимое лицо. Их глаза встретились и не могли расстаться, и в них было всё: боль, и счастье, и любовь, и разлука, жизнь, вспыхнувшая огнем на их лицах, страсть, мука, нежность и отречение, неистовое кружение тысяч блестящих ножей.

Они шли навстречу друг другу, и одновременно останавливались, и снова шли, не сознавая ничего. Потом — режущая пустота. Только через несколько мгновений глаза Штайнера снова стали различать цвета и калейдоскоп базара, бессмысленно мелькавший перед его глазами. Он с трудом сделал несколько шагов, потом пошел

быстро, насколько это было возможно, чтобы не бросаться в глаза. Он сбил половину свиной туши со стола, покрытого клеенкой, услышал ругательства мясника, похожие на грохот далекого барабана, забежал за угол и остановился.

Он видел, как она уходила с рынка. Она шла очень медленно. На углу улицы она остановилась и обернулась. Так она стояла долго, немного подняв лицо, широко раскрыв глаза. Ветер трепал на ней платье. Штайнер не знал, видит ли она его. Он не решался показаться ей еще раз. Он чувствовал, что она может не выдержать и броситься к нему. Потом она подняла руки и положила их на грудь. Она отдавала ему свою грудь. Она отдавалась ему. Она отдавалась ему в мучительном, бесплодном, слепом объятии, открыв губы, закрыв глаза.

Потом она медленно отвернулась, и темная пропасть улицы поглотила ее.

Через три дня Штайнер перешел через границу. Ночь была светлая и ветреная, на небе стоял месяц, похожий на кусок мела. Штайнер был крепким человеком, но когда он, весь мокрый от холодного пота, пересекал границу, он обернулся назад в ту сторону, откуда шел, и, как в бреду, произнес имя своей жены.

Он вынул новую сигарету. Керн зажег ему

спичку.

— Сколько тебе? — спросил Штайнер.

— Двадцать один. Скоро двадцать два.

— Так. Скоро двадцать два. Не до смеха, а, крошка? — Керн покачал головой. Штайнер немного помолчал. Потом сказал: — В двадцать один я был на войне. Во Фландрии. Тоже было не до смеха. Сейчас в сто раз легче. Понимаешь?

— Да, — Керн обернулся. — И это лучше, чем смерть. Я все это знаю.

— Тогда ты много знаешь. До войны такие вещи были известны немногим.

— До войны — это было сто лет тому назад.

— Тысячу. В двадцать два я лежал в лазарете. Там я кое-чему научился. Хочешь знать чему?

— Да.

— Прекрасно. — Штайнер зажмурился. — У меня не было ничего особого. Рана в мякоть, без особой боли. Но рядом со мной лежал мой друг. Не какой-нибудь друг. Мой друг. Осколок попал ему в живот. Он лежал и кричал. Не было морфия, понимаешь? Даже офицерам не хватало. На второй день он так охрип, что только стонал. Умолял, чтоб я его прикончил. Я бы сделал это, если б знал как. На третий день вдруг дали на обед гороховый суп. Пустой гороховый суп с салом. А

до того нам давали какие-то помои. Мы ели суп. Были страшно голодны. И пока я жрал этот суп, жрал с наслаждением, как животное, забыв все на свете, я видел за краем тарелки лицо моего друга, искусанные в кровь раскрытые губы. Я видел, что он умирает в муках, через два часа он был мертв, а я жрал, и суп казался мне вкусным, как никогда в жизни.

Он замолчал.

— Но вы же были ужасно голодны, — сказал Керн.

— Нет, не в том дело. Тут другое: кто-то может околевать рядом с тобой, и ты этого не ощущаешь. Сострадание — допустим, но боли-то ты не чувствуешь! Твой живот здоров, в этом все дело. В полметре от тебя человек в мучениях и стонах прощается с жизнью, а ты ничего не ощущаешь. В этом все несчастье мира. Запомни, крошка. Поэтому все так медленно движется вперед. И так быстро назад. Ты веришь в это?

— Нет, — сказал Керн.

Штайнер улыбнулся.

— Понятно. Но при случае поразмысли над этим. Может быть, тебе это поможет.

Он встал.

— Я ухожу. Обратно. Таможенник не предпо-

лагает, что я вернусь именно сейчас. Он ждал первые полчаса и будет ждать завтра утром. То, что я переберусь именно сейчас, не влезает в его мозги. Таможенная психология. Слава богу, через некоторое время преследуемый всегда становится умнее, чем охотник. Знаешь почему?

— Нет.

— Потому что он бóльшим рискует. — Он похлопал Керна по плечу. — Поэтому евреи самый хитрый народ на свете. Первый закон жизни: опасность обостряет чувства. — Он протянул Керну руку. Она была большая, сухая и теплая. — Желаю удачи. Может быть, увидимся. Я буду по вечерам заходить в кафе «Шперлер». Ищи меня там.

Керн кивнул.

— Ну, желаю удачи. И не забывай карт. Это отвлекает, позволяет не думать. Ты неплохо усвоил ясс и тарок. В покере ты должен больше рисковать.

— Хорошо, — сказал Керн, — я буду больше блефовать. Спасибо. За все.

— Ты должен отвыкать от чувства благодарности. Хотя нет, не отвыкай. Это поможет тебе. Нет, не с людьми, это все равно. Поможет тебе. Если ты сможешь быть благодарным, это согреет

тебе душу. И запомни: все, что угодно, лучше, чем война.

— И лучше, чем смерть.

— Смерть я не пережил. Но во всяком случае умирать не надо. Сервус, крошка!

— Сервус, Штайнер!

Керн остался сидеть. Небо прояснилось, ландшафт наполнился покоем. Людей не было видно. Керн молча сидел в тени бука. Светлая прозрачная зелень листьев трепетала над ним как большой парус — словно мягкий ветер гнал землю через бесконечное голубое пространство — мимо сигнальных огней звезд и светящегося бакена месяца.

Керн решил попытаться дойти ночью до Пресбурга[6], а оттуда — в Прагу. Город — это самое надежное место. Он открыл чемодан, вынул чистую рубашку и пару носков, чтобы переодеться. Он знал, как это важно в случае, если он кого-нибудь встретит. Кроме того, ему хотелось освободиться от ощущения, связанного с тюрьмой.

Стоя обнаженным в лунном свете, Керн чувствовал себя как-то странно. Он казался себе потерянным ребенком. Он быстро схватил чи-

---

[6] notes: 6
Братислава.

стую рубашку, лежавшую перед ним на траве, и натянул ее на себя. Это была голубая рубашка, очень практичная, потому что она не сразу пачкалась. В лунном свете она казалась бледно-серой и фиолетовой. Керн решил сохранять мужество.

III

Керн прибыл в Прагу после полудня. Он оставил чемодан на вокзале и сразу же пошел в полицию. Он не собирался сообщать о своем прибытии, он просто хотел спокойно обдумать, что ему делать дальше. Лучшим местом для этого было полицейское управление. Там не шныряют полицейские и никто не спрашивает документы.

Он сел на скамью в коридоре. Напротив находился отдел, занимавшийся отправкой эмигрантов.

— Тот, с бородкой, еще работает? — спросил он человека, сидевшего рядом с ним.

— Не знаю. Тот, которого я знаю, — без бороды.

— Ага. Может быть, его перевели. Как они здесь теперь?

— Ничего, — сказал человек. — На пару дней прописаться можно. Но больше вряд ли. Здесь слишком много эмигрантов.

Керн задумался. Если ему дадут прописку на

несколько дней, то он сможет получить в комитете для беженцев талоны на еду и питание. Может быть, на целую неделю. Он знал это еще со своего первого приезда сюда. Если они не дадут ему прописки, ну что ж, он рискнет: пусть они его посадят и переправят обратно через границу.

— Ваша очередь, — сказал человек рядом с ним.

Керн посмотрел на него:

— Хотите, я вас пропущу? У меня есть время.

— Хорошо.

Человек встал и вошел в кабинет. Керн решил посмотреть, что с ним будет, а потом решать, входить ему или нет. Он беспокойно ходил взад и вперед по коридору. Наконец человек вышел. Керн бросился к нему.

— Ну что? — спросил он.

— Десять дней! — человек сиял. — Какое счастье! И не спрашивал ничего. Наверное, в хорошем настроении. А может, сегодня меньше народу. Прошлый раз мне дали только пять дней.

Керн сделал над собой усилие:

— Теперь я тоже попытаюсь.

У человека не было бородки. Однако он показался Керну знакомым. Возможно, он за это время

успел сбрить бороду.

Он вертел в руках изящный перочинный ножик с перламутровой рукояткой и смотрел на Керна усталым рыбьим взглядом.

— Эмигрант?

— Да.

— Из Германии?

— Да. Сегодня прибыл.

— Есть какие-нибудь бумаги?

— Нет.

Человек кивнул. Он закрыл лезвие своего ножичка и открыл штопор. Керн заметил, что в перламутровой рукоятке помещалась еще и пилка для ногтей. Чиновник начал осторожно шлифовать ноготь на большом пальце.

Керн ждал. Ему казалось, что ноготь этого усталого человека для него сейчас важнее всего на свете. Он едва решался дышать, чтобы не помешать и не разозлить чиновника. Он только крепко сжал за спиной руки.

Наконец ноготь был готов. Чиновник удовлетворенно оглядел его, потом поднял взгляд на Керна.

— Десять дней, — сказал он. — Можете оставаться здесь десять дней. Потом вы должны уехать.

Напряжение Керна резко разрядилось. Ему

показалось, что он упадет, но он только глубоко вздохнул. Потом он быстро взял себя в руки. Он научился пользоваться случаем.

— Я был бы вам очень благодарен, если бы смог остаться здесь на четырнадцать дней, — сказал он.

— Невозможно. А почему вы об этом просите?

— Я жду, что мне пришлют документы. Для этого мне нужен определенный адрес. Тогда я смог бы уехать в Австрию.

Керн боялся все испортить в последний момент — но раскаиваться было уже поздно. Он лгал легко и быстро. Он предпочел бы сказать правду, но знал, что должен лгать. Чиновник, в свою очередь, знал, что должен поверить в эту ложь, поскольку не было возможности установить истину. Оба почти верили, что говорят правду.

Чиновник закрыл штопор своего ножика.

— Хорошо, — сказал он. — В порядке исключения четырнадцать дней. Но потом никаких продлений.

Он взял бланк и начал писать. Керн смотрел на него так, словно писал архангел. Он не мог поверить, что все так ловко устроилось. До последнего момента он ждал, что чиновник заглянет в картотеку и увидит, что Керн уже дважды был в Праге.

На всякий случай он назвал другое имя и другую дату рождения. Потом он всегда сможет сказать, что тогда был его брат.

Но чиновник был слишком измучен, чтобы заглядывать куда бы то ни было. Он пододвинул Керну бланк.

— Здесь распишитесь. За вами есть еще кто-нибудь?

— Нет, по-моему, никого. По крайней мере не было.

— Хорошо.

Человек вынул носовой платок и начал любовно чистить перламутровую рукоятку своего ножичка. Он больше не замечал Керна. Керн поблагодарил и вышел так быстро, словно боялся, что у него могут отобрать его бумагу.

Только у ворот здания он остановился и оглянулся. Господи боже, думал он, подавленный свалившимся на него счастьем. Господи, боже милостивый! Я вернулся — и меня не посадили! Четырнадцать дней я могу не бояться, четырнадцать длинных дней и четырнадцать ночей, целая вечность! Да благословит небо человека с перламутровым ножом! Дай ему бог найти еще один такой же ножик с водонепроницаемыми часами и золотыми ножницами внутри! Рядом, у

входа, стоял полицейский. Керн нащупал бумагу в своем кармане. Приняв решение, он подошел к полицейскому.

— Который час, вахмистр? — спросил он.

У него были часы. Но слишком уж странным ощущением было отсутствие страха перед полицейским.

— Пять, — буркнул полицейский.

— Спасибо. — Керн медленно спускался по лестнице. Ему хотелось бежать бегом. Только теперь он поверил, что все это было правдой.

Большая приемная комитета по делам беженцев была переполнена людьми. Несмотря на это, она странным образом казалась пустой. В полутьме как тени сидели и стояли люди. Почти никто не разговаривал. Все, что касалось каждого из них, было сотни раз сказано и повторено. Теперь оставалось только одно — ждать. Это был последний барьер перед отчаянием.

Больше половины присутствующих были евреи. Около Керна сидел бледный человек с грушевидным черепом, который держал на коленях футляр со скрипкой. Напротив сгорбленный старик со шрамом на бугристом лбу нервно сжимал и разжимал руки. Рядом сидели, тесно прижавшись друг к другу, светловолосый юноша

и девушка. Они крепко держались за руки, словно боялись, что, если хоть на минуту ослабят внимание, их оторвут друг от друга. Они не смотрели друг на друга, они смотрели куда-то в пространство, куда-то в прошлое, и их глаза были пустыми от нежности. Сзади них сидела толстая женщина, которая беззвучно плакала. Слезы стекали из ее глаз по щекам, по подбородку, на платье; она не обращала на это внимания и не пыталась сдерживаться. Ее руки неподвижно лежали на коленях. В обстановке этой молчаливой печали и отчаяния непринужденно играл ребенок. Это была девочка лет шести. Живая и нетерпеливая, с блестящими глазами и черными локонами, она ни секунды не стояла на месте. Перед человеком с грушевидным черепом девочка остановилась. Мгновение она смотрела на него, потом показала на футляр, который он держал на коленях.

— Там скрипка? — спросила она звенящим требовательным голосом.

Человек минуту смотрел на ребенка, словно не понимая. Потом кивнул.

— Покажи, — сказала девочка.

— Зачем?

— Я хочу посмотреть.

Скрипач колебался мгновение, потом он от-

крыл футляр и вынул инструмент. Скрипка была завернута в шелковый лоскут фиолетового цвета. Он осторожно развернул лоскут.

Девочка долго смотрела на скрипку. Потом она тихонько подняла руку и потрогала струны.

— Почему ты не играешь? — спросила она.

Скрипач не отвечал.

— Сыграй что-нибудь, — повторила девочка.

— Мириам! — крикнула из другого угла комнаты женщина с грудным ребенком на коленях. Ее голос звучал тихо и подавленно. — Иди ко мне, Мириам!

Девочка не слушала. Она смотрела на скрипача.

— Ты не умеешь играть?

— Я умею играть, но…

— Почему же ты тогда не играешь?

Скрипач смущенно огляделся. Его большая разработанная ладонь обнимала гриф инструмента. Люди начали обращать на него внимание. Он не знал, куда смотреть.

— Я же не могу здесь играть, — заявил он наконец.

— Почему? — спросила девочка. — Поиграй. Здесь скучно.

— Мириам! — крикнула мать.

— Ребенок прав, — сказал старик со шрамом, сидевший около скрипача. — Сыграйте. Может быть, это немного отвлечет нас всех. Это ведь, очевидно, не запрещается.

Скрипач колебался еще мгновение. Потом он вынул из футляра смычок, подтянул его и положил скрипку на плечо. Чистый ясный звук поплыл по комнате.

У Керна было такое ощущение, словно что-то коснулось его. Словно чья-то рука что-то перевернула в нем. Он пытался сопротивляться — и не мог. Он чувствовал это кожей. Она вдруг стянулась, как в ознобе. Потом расправилась, и осталось только тепло.

Дверь кабинета отворилась. Появилась голова секретаря. Он вышел в приемную, оставив дверь в кабинет открытой. Дверь была ярко освещена. В кабинете уже горел свет. Маленькая искривленная фигурка секретаря вырисовывалась в дверном проеме темным пятном. Он, видно, хотел что-то сказать, но ничего не сказал. Он слушал, склонив голову на плечо. Медленно и бесшумно, словно ее притворила невидимая рука, дверь за ним закрылась. Осталась только скрипка. Она заполнила тяжелый мертвый воздух комнаты, и казалось, что все изменилось, что немое одиноче-

ство многих маленьких существ, сгорбившихся в тени стен, слилось в одну великую печаль, в один общий жалобный стон.

Керн положил руки на колени. Он опустил голову и отдался течению. У него было такое чувство, что поток уносит его куда-то прочь из комнаты, далеко — к себе самому и к чему-то неизвестному. Маленькая черноволосая девочка сидела на корточках около скрипача. Она сидела тихо и неподвижно и смотрела на него не отрываясь.

Скрипка замолчала. Керн немного играл на фортепьяно и понимал в музыке настолько, чтобы оценить великолепное исполнение.

— Шуман? — спросил старик со шрамом.

Скрипач кивнул.

— Сыграй еще, — сказала девочка. — Сыграй что-нибудь, чтобы смеяться. Здесь очень грустно.

— Мириам! — тихо окликнула мать.

— Хорошо, — сказал скрипач. Он снова поднял смычок.

Керн оглянулся. Он увидел опущенные головы и откинутые назад белеющие в полутьме лица, он увидел печаль, отчаяние и мягкое просветление на их лицах, вызванное на несколько мгновений звуками скрипки, и он подумал о том, что видел много таких комнат, наполненных отверженны-

ми, чья единственная вина заключалась в том, что они родились и жили на свете. Это было, и в то же время была такая музыка. Это казалось непостижимым. Это было бесконечным утешением и одновременно чудовищной насмешкой. Керн видел, что голова скрипача лежала на скрипке, как на плече возлюбленной. «Я не погибну, — думал он, следя, как в большой комнате сгущались сумерки, — я не хочу погибать, жизнь прекрасна и полна желаний, а я еще не знаю ее, эта мелодия — это крик, зов в далекие леса, в неизвестные дали, в неизведанные ночи, я не хочу погибать!»

Только через несколько мгновений он заметил, что стало тихо.

— Что это было? — спросила девочка.

— Это были «Немецкие танцы» Франца Шуберта, — хрипло произнес скрипач.

Старик рядом с ним рассмеялся.

— «Немецкие танцы»! — Он провел рукой по шраму на лбу. — «Немецкие танцы», — повторил он.

Секретарь зажег свет.

— Следующий, — сказал он.

Керн получил направление в отель Бристоль и

десять талонов в столовую на Венцельсплатц[7]. Получив талоны, он почувствовал, что голоден. Он почти бежал по улицам, боясь опоздать.

Он не ошибся. Все места в столовой были заняты, и ему пришлось ждать. Среди посетителей он заметил своего бывшего университетского профессора. Он уже хотел подойти и поздороваться, потом опомнился и отказался от этой мысли. Он знал, что многие эмигранты не любят, когда им напоминают о прошлой жизни.

Потом вдруг он заметил, что вошел скрипач и в нерешительности остановился. Керн помахал ему. Скрипач удивленно посмотрел на него и медленно приблизился. Керн смутился. Когда он увидел скрипача, ему показалось, что они давно знакомы; только теперь он сообразил, что они ни разу не разговаривали.

— Простите, — сказал он. — Я слышал, как вы играли, и я подумал, что вы здесь ничего не знаете.

— Так оно и есть. А вы?

— Я здесь уже был два раза. Вы давно из Германии?

— Четырнадцать дней. Сюда я приехал только

---

[7] notes: 7
Вацлавская площадь.

сегодня.

Керн заметил, что профессор и его сосед встали из-за стола.

— Там освободились два места, — быстро сказал он. — Пошли!

Они протискивались между столами. Профессор шел им навстречу по узкому проходу. Он неуверенно посмотрел на Керна и остановился.

— Мы не знакомы?

— Я был одним из ваших учеников, — сказал Керн.

— Ах так. Да… — профессор кивнул. — Скажите, вы не знаете людей, которым может понадобиться пылесос? Десять процентов скидки, оплата в рассрочку? Или граммофоны со встроенным радио?

Керн опешил, но только на мгновение. Профессор был крупнейшим специалистом в области рака.

— Нет, к сожалению, не знаю, — сказал он сочувственно. Он знал, что значит пытаться продавать пылесосы и граммофоны.

— Так я и предполагал. — Профессор посмотрел на него отсутствующим взглядом. — Прошу прощения, — произнес он, словно обращаясь к кому-то другому, и пошел прочь.

На обед был перловый суп с говядиной. Керн мгновенно опорожнил свою тарелку. Подняв глаза, он увидел, что скрипач сидит, положив руки на стол, не притрагиваясь к еде.

— Вы не едите? — спросил Керн с изумлением.

— Я не могу.

— Вы больны? — Грушевидный череп скрипача казался желтым и бесцветным в известковом свете голых лампочек, свисающих с потолка. — Надо есть, — сказал Керн.

Скрипач не ответил. Он зажег сигарету и глубоко затянулся. Потом отодвинул тарелку в сторону.

— Так нельзя жить! — вдруг выдохнул он.

Керн взглянул на него.

— У вас нет паспорта? — спросил он.

— Есть. Но… — Скрипач нервно раздавил сигарету. — Но так же нельзя жить! Без всего. Без почвы под ногами!

— Боже мой, — сказал Керн. — У вас есть паспорт и есть ваша скрипка…

Скрипач поднял глаза.

— При чем здесь это, — возразил он раздраженно. — Вы разве не понимаете?

— Понимаю.

Керн был безмерно разочарован. Он думал, что

человек, который умеет так играть, должен быть чем-то особенным. Что у него можно чему-то научиться. И вот перед ним сидит отчаявшийся человек, который кажется ему упрямым ребенком, хотя он, Керн, лет на пятнадцать моложе. «Первая стадия эмиграции, — подумал он. — Ничего, успокоится».

— Вы действительно не будете есть суп? — спросил он.

— Нет.

— Тогда отдайте мне. Я еще голоден.

Скрипач пододвинул к нему суп. Керн медленно съел все. Каждая ложка вливала энергию, необходимую для сопротивления, и он не хотел потерять ни капли. Потом он встал.

— Спасибо за суп. Мне было бы приятнее, если бы вы съели его сами.

Скрипач посмотрел на него. Его лицо было изрезано глубокими морщинами.

— Вы еще многого не понимаете, — сказал он, отмахнувшись.

— Это легче понять, чем вы думаете, — возразил Керн. — Вы несчастны, вот и все.

— Вот и все?

— Да. Сначала кажется, в этом есть что-то особенное. Но вы со временем заметите, что

несчастье — самая будничная вещь на свете.

Он вышел. К своему удивлению, он увидел на другой стороне улицы профессора, расхаживавшего взад и вперед.

У него была характерная манера закладывать руки за спину и слегка наклонять голову. Точно так же он расхаживал обычно перед кафедрой, объясняя какое-нибудь новое запутанное понятие онкологии. Только теперь он, вероятно, думал о пылесосах и граммофонах.

Керн поколебался секунду. Он никогда бы первым не заговорил с профессором. Но теперь, после разговора со скрипачом, он перешел улицу и направился прямо к нему.

— Извините меня, господин профессор, — сказал он, — я хотел бы вам сказать… Я никогда бы не поверил раньше, что смогу дать вам совет. Но теперь я хотел бы сделать именно это.

Профессор остановился.

— Охотно выслушаю, — ответил он рассеянно. — Очень охотно. Я благодарен за каждый совет. Простите, как ваше имя?

— Керн. Людвиг Керн.

— Я благодарен за каждый совет, господин Керн. Действительно, искренне благодарен!

— Это даже не совет. Просто опыт. Вы пытаетесь

продавать пылесосы и граммофоны. Оставьте это. Это потеря времени. Здесь тысячи эмигрантов делают то же самое. Это так же бессмысленно, как пытаться заключать страховые договора.

— Я именно этим и хотел заняться, — живо перебил его профессор. — Мне сказали, что это легко и на этом можно заработать.

— И обещали хорошие комиссионные за каждый заключенный договор?

— Да. Конечно. Хорошие комиссионные.

— И больше ничего? Ни постоянной зарплаты, ни оплаты издержек?

— Нет, этого не обещали.

— С таким же успехом то же самое мог бы предложить вам я. Это ровно ничего не означает. Господин профессор, вы продали хоть один пылесос? Или граммофон?

Профессор поднял на него беспомощный взгляд.

— Нет, — сказал он, странно смутившись. — Но я надеюсь, что в ближайшее время…

— Оставьте это дело, — ответил Керн. — Это и есть мой совет. Купите дюжину пар шнурков для ботинок. Или несколько банок крема. Или маленькие пакетики английских булавок. Мелкие вещи, которые могут понадобиться каждому.

Продавайте лучше их. Много вы на этом не заработаете. Но вы будете время от времени хоть что-то продавать. Этим тоже занимаются сотни эмигрантов. Но легче продать английскую булавку, чем пылесос.

Профессор серьезно поглядел на Керна.

— Об этом я еще не думал.

Керн застенчиво улыбнулся.

— Я так и знал. Но все-таки подумайте. Это лучше. Я знаю. Я раньше тоже пытался продавать пылесосы.

— Может быть, вы правы. — Профессор протянул ему руку. — Благодарю вас. Вы очень любезны. — Его голос стал вдруг странно тихим и почти униженным, словно он был учеником, который не приготовил урока.

Керн кусал губы.

— Я был на каждой вашей лекции, — сказал он.

— Да, да… — Профессор сделал безнадежный жест. — Благодарю вас, господин… господин…

— Керн. Но это не важно.

— Нет, это важно, господин Керн. Извините меня, пожалуйста. Я стал несколько забывчив в последнее время. Большое вам спасибо. Я, пожалуй, попробую, господин Керн.

Отель «Бристоль» был тесной развалюхой, которую снимал комитет помощи беженцам. Керн получил койку в комнате, где кроме него жили еще двое беженцев. После еды он чувствовал себя очень усталым и сразу же лег спать. Его соседей еще не было дома, и он не слышал, как они пришли.

Посреди ночи он проснулся. Он услышал крики и сразу же вскочил с постели. Не задумываясь, он схватил чемодан и бросился вон из комнаты вдоль по коридору.

В коридоре все было тихо. На лестничной клетке он остановился, поставил чемодан и прислушался — потом кулаками протер глаза. Где он? Что случилось? Где полиция? Керн постепенно пришел в себя. Он огляделся вокруг и облегченно усмехнулся. Он был в Праге, в отеле «Бристоль», и у него имелось разрешение на жительство сроком на четырнадцать дней. Не было оснований так пугаться. Ему просто померещилось. Он повернул назад. Надо держать себя в руках. Нельзя так распускаться, подумал он. Не хватало только стать неврастеником. Тогда все кончено. Он открыл дверь и в темноте стал ощупью пробираться к своей постели. Она была справа у стены. Он тихо поставил чемодан и повесил одежду на

спинку кровати. Потом попытался нащупать одеяло. В тот момент, когда он уже собрался лечь, он ощутил под рукой что-то теплое, мягкое, дышащее и отскочил как ужаленный.

— Кто это? — спросил заспанный девичий голос.

Керн затаил дыхание. Он перепутал комнату.

— Кто здесь? — спросил голос еще раз.

Керн замер. Он чувствовал, как у него выступает пот. Потом он услышал, как она вздохнула и перевернулась на другой бок. Он подождал еще несколько мгновений. Все было тихо, и в темноте слышалось только ее глубокое дыхание. Керн бесшумно схватил вещи и осторожно выскользнул из комнаты.

Теперь в коридоре стоял мужчина в ночной рубашке. Он стоял около комнаты Керна и смотрел через очки прямо на него. Он видел, как Керн с вещами вышел из соседнего номера. Керн был слишком растерян, чтобы начинать объяснение. Он молча вошел в открытую дверь мимо мужчины, который не посторонился, положил вещи и лег в постель. Предварительно он на всякий случай пощупал одеяло. Под ним никого не было.

Человек постоял еще некоторое время в дверях. Его очки поблескивали в тусклом свете коридора.

Потом он вошел и с сухим треском запер дверь.

В тот же момент снова раздался крик. Керн теперь разобрал, что кричали: «Не бейте! Не бейте! Ради бога, не бейте! Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Ох…» Крик перешел в жуткое бормотание и замер. Керн приподнялся.

— Что это? — спросил он в темноту.

Щелкнул выключатель, стало светло. Человек в очках встал и подошел к третьей постели. На ней лежал задыхающийся, покрытый холодным потом человек с безумными глазами. Мужчина в очках взял стакан, наполненный водой, и поднес его к губам кричавшего.

— Выпейте. Вы бредили. Вы в безопасности.

Человек жадно пил. На его тонкой шее поднимался и опускался кадык. Потом он бессильно откинулся назад и, глубоко дыша, закрыл глаза.

— Что это? — спросил еще раз Керн.

Человек в очках подошел к его постели.

— Что это? Бред. Две недели как из концлагеря. Нервы, понимаете?

— Да, — сказал Керн.

— Вы живете здесь? — спросил человек в очках.

Керн кивнул:

— Я, кажется, тоже стал немного нервным. Ко-

гда он первый раз закричал, я бросился бежать. Мне показалось, что в доме полиция. А потом перепутал номер.

— Ах так…

— Простите, пожалуйста, — сказал третий. — Я теперь не буду спать. Простите.

— Ах, чепуха! — очкастый подошел к своей постели. — Ну, бредили вы немного во сне. Нам это ничуть не мешает, не правда ли, молодой человек?

— Ничуть, — повторил Керн.

Щелкнул выключатель, снова стало темно. Керн вытянулся на постели. Он долго не мог заснуть. Странно было там, в соседней комнате. Мягкая грудь под тонким одеялом. Он все еще чувствовал ее — словно его рука стала иной после этого ощущения. Потом он услышал, как человек, который кричал, встал и сел к окну. Его склоненная голова черным пятном выделялась на фоне серого рассвета, напоминая угрюмую статую раба. Керн некоторое время смотрел на него. Потом заснул.

Йозеф Штайнер легко перешел границу. Он хорошо знал ее и к тому же, как старый солдат, разбирался в патрулировании.

В 1915 году он был ротным и получил Желез-

ный крест за пленного, захваченного во время патрулирования.

Через час он был вне опасности. Он пошел на вокзал. В вагоне было мало народу. Кондуктор посмотрел на него.

— Уже обратно?

— Билет до Вены, в общем вагоне, — ответил Штайнер.

— Быстро вы, — сказал кондуктор. Штайнер взглянул на него. — Знаю я это дело, — продолжал кондуктор. — Каждый день несколько таких поездов — и чиновники всегда те же. Прямо наказание. Вы ведь приехали в этом самом вагоне, не узнаете?

— Я вообще не понимаю, о чем вы говорите.

Кондуктор засмеялся.

— Поймете. Идите в тамбур. Если придет контролер, прыгайте. Может быть, никто и не придет в такое время. Тогда сэкономите на билете.

— Прекрасно.

Штайнер встал и пошел в тамбур. Он ощутил ветер и увидел огни пролетающих мимо деревушек. Он глубоко вздохнул, испытывая самое сильное опьянение на свете — опьянение свободой. Ощутил кровь в жилах и теплую силу мускулов. Он жил. Его не взяли, он жив, он вырвался.

— Бери сигарету, старина, — сказал он вышедшему за ним вслед кондуктору.

— Спасибо. Только сейчас мне нельзя курить. Служба.

— А мне можно?

— Да. — Кондуктор добродушно рассмеялся. — В этом смысле тебе лучше, чем мне.

— Да, — сказал Штайнер, втягивая в легкие едкий дым. — В этом смысле мне лучше, чем тебе.

Он пришел в тот самый пансион, откуда его забрала полиция. Хозяйка еще не уходила. Увидев Штайнера, она вздрогнула.

— Вам нельзя здесь жить, — быстро сказала она.

— Можно. — Штайнер снял рюкзак.

— Господин Штайнер, это невозможно. Каждый день может прийти полиция. Они закроют мой пансион.

— Луизхен, — сказал Штайнер спокойно, — лучшее укрытие на войне — свежая воронка. Никогда почти не случалось, чтобы граната два раза попадала в то же место. Поэтому ваша хибара — сейчас самое надежное место в Вене!

Хозяйка в отчаянии вцепилась в свои крашеные волосы.

— Вы моя погибель! — возопила она.

— Прекрасно! Я всегда хотел быть роковым мужчиной! Вы романтическая натура, Луизхен! — Штайнер огляделся. — Есть здесь немного кофе? И шнапс?

— Кофе? И шнапс?

— Да, Луизхен! Я знал, что вы меня поймете. Такая милая женщина! Есть еще сливовица в шкафу?

Хозяйка беспомощно взглянула на него.

— Да, конечно, — произнесла она наконец.

— Это именно то, что надо! — Штайнер вынул из шкафа бутылку и два стакана. — Налить вам стаканчик?

— Мне?

— Да, вам. Кому же еще?

— Нет.

— Ну, Луизхен. Сделайте мне удовольствие. Пить одному — в этом есть что-то бессердечное. Прошу. — Он наполнил стакан и протянул ей.

Хозяйка колебалась. Потом она взяла стакан.

— Хорошо, можно и выпить. Но жить здесь вы не будете.

— Только пару дней, — сказал Штайнер спокойно. — Не больше, чем пару дней. Вы приносите мне удачу. Мне кое-что предстоит сделать. — Он усмехнулся. — А теперь кофе, Луизхен!

— Кофе? У меня нет кофе.

— Есть, детка. Вон он стоит. Держу пари, он первого сорта.

Хозяйка рассмеялась.

— Ну и тип! Между прочим, я не Луиза. Меня зовут Тереза.

— Тереза — это мечта!

Хозяйка принесла ему кофе.

— Здесь остались вещи старого Зелигмана, — сказала она и показала на один из чемоданов. — Что с ними делать?

— Это тот еврей с седой бородой?

Хозяйка кивнула:

— Я слышала только, что он умер, и больше ничего.

— Достаточно и этого. Вы не знаете, где его дети?

— Откуда мне это знать? Не могу же я беспокоиться еще и о них!

— Это верно. — Штайнер подвинул чемодан к себе и раскрыл его. Из него выпало несколько мотков разноцветной шерсти. Под ними оказались аккуратно связанные упаковочные ремни. Затем последовали костюм, пара туфель, еврейская книга, немного белья, несколько воротничков с роговыми пуговицами, маленький кожаный

мешочек с одношиллинговыми монетами, две молитвенные ленты и белый талес, завернутый в шелковую бумагу.

— Не много для целой жизни, а, Тереза? — сказал Штайнер.

— У других и того меньше.

— Тоже верно. — Штайнер перелистал еврейскую книгу и обнаружил записку, вклеенную между двумя внутренними титульными листами. Он осторожно оторвал ее. На ней был адрес, написанный чернилами. — Ага! Вот я и нашел. — Штайнер встал. — Спасибо за кофе и сливовицу, Тереза. Сегодня я вернусь поздно. Лучше всего поместить меня на первом, окнами во двор. Тогда я быстро смогу убраться в случае чего.

Хозяйка хотела что-то сказать. Но Штайнер поднял руку:

— Нет, нет, Тереза! Если дверь будет заперта, я приведу всю венскую полицию. Но я уверен, она будет открыта! Укрывать бездомных — святое дело. За это полагается тысяча лет райского блаженства. Рюкзак я оставляю.

Он ушел. Он знал, что продолжать разговор не имело смысла, и ему было известно, какое неотразимое действие оказывают на мещан оставленные вещи. Его рюкзак подействует силь-

нее, чем все дальнейшие уговоры. Он просто подавит последнее сопротивление хозяйки своим молчаливым присутствием.

Штайнер пошел в кафе «Шперлер». Он хотел встретить Черникова, русского из тюрьмы. Они еще там условились ждать друг друга после полуночи на первый и второй день после освобождения Штайнера. Русские эмигранты имели на пятнадцать лет больше опыта, чем немцы. Черников обещал Штайнеру узнать, можно ли купить в Вене фальшивые документы.

Штайнер сел за стол. Он хотел заказать что-нибудь, но ни один официант не обращал на него внимания. Здесь не принято было заказывать, у большинства не было для этого денег. Заведение являло собой типичную эмигрантскую биржу. Было полно народу. Многие спали, сидя на скамьях и стульях, некоторые — на полу, прислонившись к стене. Они пользовались случаем выспаться бесплатно до закрытия кафе. С пяти утра до обеда они гуляли по городу, ожидая, пока кафе снова откроется. В большинстве своем это были интеллигенты. Им приходилось труднее всего. Они меньше всего умели применяться к обстоятельствам.

К Штайнеру подсел человек в клетчатом костю-

ме с черными бегающими глазами на круглой, как луна, физиономии.

Некоторое время он выжидал.

— Продаете что-нибудь? — спросил он затем. — Драгоценности? Можно старые. Плачу наличными. — Штайнер покачал головой. — Костюмы? Белье? Туфли? — Он все больше наглел. — Обручальное кольцо?

— Убирайся, сволочь, — проворчал Штайнер. Он ненавидел этих субъектов, которые за гроши скупали у беспомощных эмигрантов последние вещи. Он окликнул пробегавшего мимо официанта: — Хелло! Один коньяк!

Официант бросил на него неуверенный взгляд и подошел к столу.

— Вы сказали «адвокат»? Сегодня здесь двое. Там в углу адвокат судебной палаты Зильбер из Берлина. Консультация один шиллинг. За круглым столом у двери советник Эпштейн из Мюнхена, он берет полшиллинга. Между нами: Зильбер лучше.

— Мне не надо адвоката, я просил один коньяк.

Кельнер приставил ладонь к уху.

— Я правильно понял: один коньяк?

— Да. Это такой напиток, который становится

тем лучше, чем больше его пьешь.

— С удовольствием. Простите, я иногда плохо слышу. И к тому же я совсем отвык. Здесь обычно просят только кофе.

— Хорошо. Принесите коньяк в кофейной чашке.

Официант принес коньяк и встал у стола.

— В чем дело? — спросил Штайнер. — Хотите посмотреть, как я пью?

— Надо уплатить вперед. Такой порядок. Иначе мы разоримся.

— Пожалуйста. — Штайнер уплатил.

— Тут лишнее, — сказал официант.

— Лишнее — это ваши чаевые.

— Чаевые? — Официант произнес это с восхищением. — Боже мой! — заявил он растроганно. — Первый раз после стольких лет. Большое спасибо, сударь. Прямо чувствуешь себя снова человеком!

Через несколько минут в дверь вошел русский. Он сразу же заметил Штайнера и подсел к нему.

— Я уже думал, что вас нет в Вене, Черников.

Русский засмеялся.

— У нас всегда вероятное оказывается невероятным. Я выяснил все, что вы хотели знать.

Штайнер выпил коньяк.

— Есть бумаги?

— Да. И даже очень хорошие. Я давно не видел ничего лучше среди подделок.

— Мне нужно выбраться отсюда! — сказал Штайнер. — Мне нужны бумаги! Лучше с фальшивым паспортом рискнуть тюрьмой, чем эта постоянная неопределенность и каталажки. Что вы видели?

— Я был в «Алебарде». Теперь эти дела делаются там. Те же люди, что и семь лет назад. На свой манер они надежны. Впрочем, самый дешевый документ стоит четыреста шиллингов.

— Что это?

— Паспорт мертвого австрийца. Действителен еще год.

— Еще год. А потом?

Черников посмотрел на Штайнера.

— Может быть, за границей удастся продлить. Или умелой рукой переправить дату.

Штайнер кивнул.

— Есть еще два паспорта умерших немецких беженцев. Но каждый по восемьсот шиллингов. Совершенно фальшивые не дешевле полутора тысяч. Но я бы их вам не рекомендовал. — Черников размял сигарету. — От Лиги Наций вам пока ждать нечего. Как иммигранту без документов и

подавно. Нансен умер.

— Четыреста шиллингов, — сказал Штайнер. — У меня двадцать пять.

— Можно будет поторговаться. Думаю, что сойдемся на трехстах пятидесяти.

— Это все равно, если наличных двадцать пять. Ну да ладно, попытаюсь добыть денег. Где «Алебарда»?

Русский вынул из кармана записку.

— Вот адрес. И имя официанта, который занимается этим делом. Он подзовет вам нужных людей, если вы попросите. За это он берет пять шиллингов.

— Хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет. — Штайнер тщательно спрятал записку. — Большое спасибо за все, Черников!

— Не о чем говорить! — Русский отмахнулся. — Люди помогают друг другу, если возможно. Каждый день можно попасть в такое же положение.

— Да. — Штайнер встал. — Я как-нибудь отыщу вас здесь и расскажу, как дела.

— Хорошо. Я здесь часто бываю в это время. Играю в шахматы с одним мастером из Южной Германии. Вон тот человек с вьющимися волосами. В нормальное время никогда бы не подумал,

что буду иметь счастье играть с такой знаменитостью. — Черников усмехнулся. — Шахматы — моя страсть.

Штайнер кивнул ему. Потом, переступая через спящих у стены, стал пробираться к двери.

За столом советника Эпштейна сидела расплывшаяся еврейка. Молитвенно сложив руки, она глядела на него как на ненадежное божество. Эпштейн с елейным видом учил ее жизни. Перед ней на столе лежали полшиллинга. Левая волосатая рука Эпштейна лежала рядом как большой паук, подстерегающий добычу.

На улице Штайнер глубоко вздохнул. Мягкий ночной воздух был как вино после прокуренного кафе, полного безысходного людского горя. «Я должен выбраться, — думал он. — Я должен выбраться любой ценой!» Он посмотрел на часы. Было уже поздно. Несмотря на это, он решил разыскать шулера.

Маленький бар, на который шулер указал ему как на место своего постоянного пребывания, был почти пуст. Только две проститутки, как нахохлившиеся попугаи, сидели на высоких табуретах за никелевой стойкой.

— Фред был? — спросил Штайнер бармена.

— Фред? — Бармен пристально посмотрел на

него. — Что вам надо от Фреда?

— Хочу повторить с ним «Отче наш», старина. Что же еще?

Бармен подумал немного.

— Он ушел час назад.

— Он придет еще?

— Не имею понятия.

— Прекрасно. Тогда я подожду. Мне водки.

Штайнер прождал около часу. Он подсчитывал, сколько выручит от продажи своих вещей. Выходило, что никак не больше семидесяти шиллингов.

Девушки лишь мельком взглянули на него. Они посидели еще некоторое время, потом удалились с надменным видом. Бармен начал от нечего делать бросать игральные кости.

— Сыграем кон? — спросил Штайнер.

— Я не прочь.

Они бросили кости, и Штайнер выиграл. Сыграли еще. У Штайнера выпали четыре козыря.

— Мне, кажется, везет на козыри, — сказал он.

— Вам вообще везет, — сказал бармен. — Какой ваш астрологический знак?

— Не знаю.

— Похоже, что лев. По крайней мере, лев приносит вам удачу. Я кое-что в этом понимаю.

Последний кон, а? Фред больше не придет. Он никогда еще не приходил в это время. Ему нужно выспаться и иметь спокойные руки.

Они снова бросили кости, и Штайнер снова выиграл.

— Вот видите, — сказал бармен с удовлетворением и пододвинул к нему пять шиллингов. — Конечно, вы лев. С сильным влиянием Нептуна, на мой взгляд. В каком месяце вы родились?

— В августе.

— Типичный лев. У вас блестящие шансы в этом году.

— Если так, то я согласен хоть на целый львиный заповедник. — Штайнер осушил свой стакан. — Вы скажете Фреду, что я его искал? Передайте, что его спрашивал Штайнер. Я завтра опять зайду.

— Хорошо.

Штайнер возвращался в пансион. Он долго шел по пустым улицам. На небе было полно звезд, а из-за каменных оград доносился тяжелый аромат цветущей сирени. «Господи, Мария, — думал он, — не может же это продолжаться вечно…»

IV

Керн зашел в аптеку недалеко от Венцельсплатц. Он заметил в витрине несколько флаконов туалетной воды с этикетками лаборатории его отца.

— Туалетная вода «Фарр»! — Керн вертел в руках флакон, который аптекарь снял для него с полки. — Откуда это у вас?

Аптекарь пожал плечами.

— Не помню. Мы получили это из Германии. Уже давно. Хотите купить флакон?

— И не один. Шесть.

— Шесть?

— Да, сперва шесть. Потом еще. Для продажи, конечно. С процентами.

Аптекарь посмотрел на Керна.

— Эмигрант? — спросил он.

Керн поставил флакон на прилавок.

— Знаете что, — сказал он раздраженно, — этот вопрос со стороны штатских начинает меня бесить. Особенно когда у меня в кармане разрешение на жительство. Скажите лучше, сколько процентов вы мне дадите?

— Десять.

— Это смешно. Как же я на этом заработаю?

— Можете получить двадцать пять процентов, — сказал подошедший владелец аптеки. — Если возьмете десять флаконов, получите даже тридцать. Мы будем рады отделаться от старого хлама.

— От старого хлама? — Керн оскорбленно посмотрел на владельца. — Это прекрасная туалетная вода, вам это известно?

Владелец аптеки с равнодушным видом ковырял в ухе.

— Может быть. Тогда вы наверняка удовольствуетесь двадцатью процентами.

— Тридцать — это минимально. При чем здесь качество? Вы можете дать мне тридцать, а туалетная вода тем не менее может быть хорошей, разве не так?

Аптекарь скривил губы.

— Все эти средства одинаковы. Хороши только те, что имеют хорошую рекламу. Вот и весь секрет.

Керн посмотрел на него.

— Это вода наверняка больше не рекламируется. В этом смысле она очень плохая. Можно было бы смело просить тридцать пять процентов комиссионных.

— Тридцать, — возразил владелец. — Ее время

от времени все же спрашивают.

— Господин Бурек, — сказал аптекарь, — я думаю, мы можем дать ему тридцать пять, если он возьмет дюжину. Ее спрашивает всегда один и тот же человек. Но и он не покупает, он только хочет продать нам рецепт.

— Рецепт? Боже правый, этого нам только недоставало! — Бурек умоляюще воздел руки к небу. — Рецепт?

Керн прислушался.

— Кто это хочет продать вам рецепт?

Аптекарь засмеялся.

— Тут один тип. Он утверждает, что прежде сам имел лабораторию. Врет, конечно. Чего только эти эмигранты не выдумают!

На мгновение у Керна перехватило дыхание.

— Вы знаете, где он живет? — спросил он.

Аптекарь пожал плечами.

— Я думаю, адрес где-то валяется. Он нам его давал несколько раз. А зачем вам?

— Я думаю, это мой отец.

Оба воззрились на Керна.

— Это правда? — спросил аптекарь.

— Да, это он. Я его давно уже разыскиваю.

— Берта! — возбужденно крикнул владелец женщине, которая работала за столом в глубине

аптеки. — Есть у нас адрес того господина, что предлагал рецепт туалетной воды?

— Вы имеете в виду господина Штрана, того старого идиота, который торчал здесь несколько раз? — отозвалась женщина.

— Черт! — Владелец аптеки смущенно посмотрел на Керна. — Простите! — Он быстро ушел в глубину аптеки.

— Вот что получается, если спишь с подчиненными, — ехидно заметил аптекарь ему вслед.

Через минуту владелец вернулся, тяжело дыша, с запиской в руке.

— Вот адрес. Это господин Керн. Зигмунд Керн.

— Это мой отец.

— Действительно? — Он отдал ему записку. — Здесь адрес. Последний раз он заходил недели три назад. Извините за неосторожное слово. Вы же понимаете…

— Ничего, ничего. Я только хотел бы прямо сейчас сходить туда. Я вернусь за флаконами потом.

— Разумеется. Это не к спеху.

Дом, где должен был жить отец Керна, находился на Тузаровой улице, недалеко от рынка. В подъезде было темно и затхло, от влажных стен пахло кислой капустой.

Керн медленно поднимался по лестнице. Стран-

но, но он словно боялся снова увидеть отца. Он слишком привык к розыгрышам. На третьем этаже он позвонил. Потом зашаркали чьи-то шаги, и картонный щиток за круглым «глазком шпиона» отодвинулся. Керн увидел устремленный на него взгляд черного глаза.

— Кто там? — спросил ворчливый женский голос.

— Я хотел бы поговорить с одним человеком, который живет здесь, — сказал Керн.

— Здесь никто не живет.

— Живет! Хотя бы вы. — Керн посмотрел на табличку на двери. — Фрау Мелания Эковская, не так ли? Но я хотел бы говорить не с вами.

— Ну так в чем же дело?

— Я хотел бы поговорить с мужчиной, который здесь живет.

— Здесь нет никакого мужчины.

На Керна глядел круглый черный глаз. Может быть, она не врет и его отец давно уехал? Он почувствовал себя вдруг опустошенным и усталым.

— А как его зовут, кого вы ищете? — спросила женщина за дверью.

Керн с новой надеждой поднял голову:

— Я не хотел бы кричать на весь дом. Если вы откроете дверь, я скажу.

Глаз пропал. Задребезжала цепочка. «Прямо крепость», — подумал Керн. Он почти был уверен, что отец еще живет здесь; иначе женщина не стала бы спрашивать имя.

Дверь открылась. Дородная широколицая чешка с красными щеками смерила Керна взглядом.

— Я хотел бы видеть господина Керна.

— Керн? Не знаю такого. Здесь таких нет.

— Господин Зигмунд Керн. Меня зовут Людвиг Керн.

— Да? — Женщина недоверчиво оглядывала его. — Это каждый может сказать.

Керн вытащил из кармана разрешение на жительство.

— Вот, посмотрите на эту бумагу. Имя здесь изменено на всякий случай; но все остальное правильно.

Женщина прочла весь документ. Это продолжалось довольно долго. Затем она вернула бумагу Керну.

— Родственник?

— Да. — Что-то помешало Керну сказать больше. Теперь он был твердо уверен, что отец здесь.

Женщина приняла решение.

— Такого нет, — сказала она коротко.

— Хорошо, — ответил Керн. — Тогда я скажу

вам, где живу. В отеле «Бристоль». Я буду здесь только несколько дней. Перед отъездом я бы хотел все же поговорить с господином Зигмундом Керном. Мне надо ему кое-что передать, — прибавил он, взглянув на женщину.

— Да?

— Да. Отель «Бристоль». Людвиг Керн. До свидания.

Он спустился вниз. «Боже правый, — подумал он, — ну и цербер. Но лучше уж пусть его стерегут, чем предают».

Он вернулся в аптеку. Владелец бросился ему навстречу.

— Вы нашли отца? — На его лице было написано все любопытство человека, живущего сенсациями.

— Еще нет, — сказал Керн, вдруг почувствовав неприязнь. — Но он там живет. Его не было дома.

— Ну и дела! Вот уж правда неожиданный случай!

Он уперся руками в прилавок, собираясь произнести пространный спич об удивительных случаях в жизни.

— Но не для нас, — сказал Керн. — Для нас случай скорее тогда, когда все идет нормально. Ну

так как же с туалетной водой? Я могу взять сейчас только шесть флаконов. У меня больше нет денег. Сколько вы дадите процентов?

Владелец немного подумал.

— Тридцать пять, — провозгласил он великодушно. — Такие вещи случаются не каждый день.

— Хорошо.

Керн уплатил. Аптекарь завернул флаконы. Женщина, которую звали Бертой, вышла посмотреть на молодого человека, который разыскал своего отца. Она что-то усиленно жевала.

— Знаете ли, — сказал владелец, — я хотел вам еще сказать: туалетная вода очень хорошая. Действительно хорошая.

— Спасибо! — Керн взял пакет. — Надеюсь, что я зайду к вам еще за тем, что осталось.

Он вернулся в отель. В номере он распаковал сверток и положил два флакона, несколько кусков мыла и две бутылочки с дешевыми духами в папку. Он хотел сразу же попытаться что-нибудь продать.

В коридоре он заметил, как кто-то вышел из соседней комнаты. Это была девушка в светлом платье, среднего роста; под мышкой она держала книги. Сначала Керн не обратил на это внимания.

Он был занят вычислением цен на свою туалетную воду. Вдруг он вспомнил, что девушка вышла из той комнаты, куда он по ошибке попал ночью. Керн остановился. У него было такое чувство, словно она могла его узнать.

Девушка, не оборачиваясь, сошла вниз по лестнице. Керн подождал еще немного. Потом бросился вслед за ней по коридору. Ему вдруг стало очень интересно узнать, как она выглядит.

Он спустился по лестнице и огляделся; но девушки нигде не было видно. Он вышел на улицу, подошел к выходу и выглянул на улицу. Жаркая пыльная безлюдная улица. Только на мостовой дрались несколько овчарок.

Керн вернулся в отель.

— Отсюда только что никто не выходил? — спросил он портье, который являлся одновременно кельнером и мальчиком на побегушках.

— Только вы! — портье уставился на Керна, ожидая, что тот в ответ на его остроту разразится безудержным смехом. Керн не смеялся.

— Я имею в виду девушку, — сказал он. — Молодую даму.

— Здесь дам нет, — возразил ворчливо портье. Он был обижен тем, что его тонкое остроумие не было оценено по достоинству. — Только жен-

щины.

— Значит, никто не выходил?

— А вы что, из полиции? Все должны знать? — портье был теперь откровенно враждебен.

Керн изумленно смотрел на него. Он не понимал, почему тот злится. Он совершенно не заметил остроты. Он вытащил из кармана пачку сигарет и предложил портье закурить.

— Благодарю, — ответил тот холодно. — Я курю кое- что получше.

— Верю.

Керн сунул сигареты в карман. Он постоял еще немного и подумал. Девушка должна быть в отеле. Может быть, она в холле. Он вернулся.

Холл представлял собой узкое длинное помещение. Перед холлом была цементированная терраса, ведущая в сад, где под каменной оградой цвело несколько кустов сирени. Керн заглянул в застекленную дверь. Девушка сидела за столом, поставив локти на стол, и читала. Кроме нее, в холле никого не было. Керн не мог иначе, он открыл дверь и вошел.

Услышав скрип двери, девушка подняла глаза. Керн смутился.

— Добрый вечер, — сказал он неуверенно.

Девушка посмотрела на него. Потом кивнула и

стала читать дальше.

Керн сел в углу. Немного погодя он встал и взял несколько газет. Он показался себе вдруг смешным, и ему захотелось опять очутиться на улице. Но прямо так снова встать и выйти казалось ему почти невозможным.

Он развернул газету и начал читать. Через некоторое время он заметил, что девушка взяла свою сумку и открыла ее. Она вынула серебряный портсигар и щелкнула крышкой. Потом она закрыла портсигар, так и не вынув сигареты, и положила его обратно в сумку.

Керн быстро положил газеты в сторону и встал.

— Я вижу, вы забыли ваши сигареты, — сказал он. — Могу я вам предложить? — Он вытащил свою пачку. Он много бы дал за то, чтобы в эту минуту иметь портсигар. Пачка была смята и надорвана по углам. Он протянул ее девушке. — Я, правда, не знаю, курите ли вы этот сорт. Портье отказался. Они для него слишком плохи.

Девушка взглянула на этикетку.

— Я курю как раз эти.

Керн засмеялся.

— Это самые дешевые. Это почти то же самое, что рассказать свою биографию.

Девушка взглянула на него.

— Я думаю, ее и без того рассказывает отель.

— Это верно.

Керн зажег спичку и поднес ей огонь. Слабое красноватое пламя осветило узкое загорелое лицо с густыми черными бровями. Большие ясные глаза, полные мягкие губы.

Керн не смог бы сказать, красива ли девушка и нравится ли она ему; у него только было странное ощущение тайной близости — его рука лежала на ее груди прежде, чем он узнал ее. Он видел, как она дышит; и вдруг, сознавая, что ведет себя по-дурацки, положил спички в карман.

— Вы давно из Германии? — спросил он.

— Два месяца.

— Это недолго.

— Это бесконечно.

Керн удивленно взглянул на нее.

— Вы правы, — сказал он. — Два года — это недолго. А два месяца — это бесконечно. Но в этом есть свое преимущество: дальше время будет сокращаться.

— Вы думаете, это надолго? — спросила девушка.

— Не знаю. Об этом я больше не задумываюсь.

— Я думаю об этом все время.

— Первые два месяца я тоже только об этом и думал.

Девушка молчала. Она задумчиво опустила голову и курила медленно, глубокими затяжками. Керн смотрел на ее густые, слегка волнистые черные волосы, обрамлявшие лицо. Ему хотелось сказать что-то особенное, глубокомысленное, но ничего не приходило в голову. Он попытался вспомнить, как в аналогичных ситуациях поступали светские герои некоторых прочитанных им книг, но его память словно высохла, да и герои, наверное, никогда не были в эмигрантском отеле в Праге.

— Вам не темно читать? — спросил он наконец.

Девушка вздрогнула, словно ее мысли были где-то далеко. Потом захлопнула лежащую перед ней книгу.

— Нет. А я и не хочу читать. Это бессмысленно.

— Иногда это отвлекает, — сказал Керн. — Если мне попадается детективный роман, я проглатываю его в один момент.

Девушка устало усмехнулась.

— Это не детективный роман. Это учебник по неорганической химии.

— Ах так! Вы учились в университете?

— Да. В Вюрцбурге.

— Я — в Лейпциге. Сначала я тоже возил с собой учебники. Не хотел ничего забывать. Потом продал. Они были очень тяжелые. На эти деньги я купил мыло и туалетную воду для продажи. Теперь я на это живу.

Девушка взглянула на него.

— Вы не очень-то обнадеживаете.

— Я не хотел вас огорчить, — быстро сказал Керн. — Я — совсем другое дело. У меня вообще никаких документов. А у вас, наверное, есть паспорт?

Девушка кивнула.

— Паспорт есть. Но через шесть недель он будет недействителен.

— Это ничего. Вы его наверняка сможете продлить.

— Не думаю. — Девушка встала.

— Вы не хотите еще сигарету? — спросил Керн.

— Нет, спасибо. Я слишком много курю.

— Мне как-то сказали, что одна сигарета в нужный момент — лучше, чем все идеалы на свете.

— Это верно. — Девушка улыбнулась и вдруг показалась Керну очень красивой. Он много бы дал, чтобы продолжить разговор, но он не знал, что должен сделать, чтобы она осталась.

— Если я смогу вам чем-нибудь помочь, — торопливо произнес он, — то я охотно сделаю это. Я ориентируюсь здесь, в Праге. Я был здесь уже два раза. Меня зовут Людвиг Керн, и мой номер рядом с вашим.

Девушка бросила на него быстрый взгляд. Керну показалось, что он выдал себя. Но она непринужденно протянула ему руку. Он почувствовал крепкое пожатие.

— Я вас охотно спрошу, если что-нибудь не буду знать, — сказала она. — Большое спасибо. — Она собрала книги и поднялась вверх по лестнице.

Керн еще немного посидел в холле. Он вдруг вспомнил все, что должен был бы ей сказать.

— Еще раз, Штайнер, — сказал шулер. — Видит бог, я больше волнуюсь за ваш дебют в этой дыре, чем когда сам играю в жокей-клубе.

Они сидели в баре. Фред устроил Штайнеру генеральную репетицию. Он собирался выпустить его первый раз против двух шулеров мелкого пошиба, подвизавшихся в соседней пивной. Штайнер видел в этом единственный способ раздобыть денег, если не считать кражи или крупного ограбления.

Почти полчаса они тренировали фокус с тузами. Наконец Фред встал. Он был в смокинге.

— Мне надо сейчас уйти. Опера. Весь свет на премьере. Поет великая Леманн. Там, где есть истинное искусство, всегда найдется дело для нас. Люди становятся рассеянными, понимаете? — Он подал Штайнеру руку. — Да, вот еще что — сколько у вас денег?

— Тридцать два шиллинга.

— Этого мало. Этим мальчикам нужно показать большие деньги, иначе они не клюнут. — Он вынул из кармана стошиллинговый билет. — Вот. Запла́тите за кофе; эту приманку они наверняка возьмут. Деньги вернете хозяину; он меня знает. Да, вот еще: играть по малой и следить, когда выйдут четыре дамы! Ни пуха ни пера!

Штайнер взял банкнот.

— Если я проиграю, я никогда не смогу вернуть вам долг.

Карманный вор пожал плечами.

— Проиграете, значит, проиграете. Творческая неудача. Но вы не проиграете. Я знаю этих людей. Грубо работают. На дураков. Вы волнуетесь?

— Кажется, нет.

— Еще один шанс в вашу пользу. Мальчики же не знают, что вы знаете. Пока они возьмут в толк, в чем дело, вы их прилично нагреете, и будет уж поздно. Ну, желаю удачи.

— Желаю удачи.

Штайнер отправился в пивную. Как странно, думал он по дороге, ни один человек не доверил бы мне и четверти той суммы, которую, не задумываясь, предложил карточный шулер. Всегда одно и то же. Слава богу!

В передней комнате за несколькими столами играли в тарок.

Штайнер сел к окну и заказал шнапс. Он медленно вытащил бумажник, куда заранее положил несколько листов бумаги, чтобы он казался толще, и расплатился стошиллинговым билетом.

Через минуту к нему обратился какой-то плюгавый человечек, предлагая составить маленькую партию в покер. Штайнер со скучающим видом отказался. Человек начал его упрашивать.

— У меня слишком мало времени, — заявил Штайнер. — Самое большее полчаса, это слишком мало для игры.

— Ну что вы! Что вы! — плюгавый показал редкие зубы. — За полчаса можно выиграть целое состояние, дорогой мой!

За соседним столом Штайнер увидел двух других. Один был толстомордый и лысый, второй — черный, волосатый и с очень большим носом. Оба равнодушно глядели на него.

— Если это не больше, чем полчаса, — сказал Штайнер нерешительно, — то можно попробовать.

— Конечно-конечно, — любезно согласился плюгавый.

— И я могу кончить, когда захочу?

— Ну конечно, дорогой сосед, когда захотите.

— И даже если выиграю?

Губы толстяка, сидевшего за столом, расползлись в усмешке. Он переглянулся с сидевшим напротив брюнетом: похоже, что на удочку попался типичный фраер.

— Конечно-конечно, именно если выиграете, дорогой сосед, — сладко заблеял плюгавый.

— Ну так и быть. — Штайнер сел за стол. Толстяк перетасовал колоду и сдал. Штайнер выиграл несколько шиллингов.

Тасуя колоду, он ощупал края карт. Потом снова смешал карты, снял для себя на том месте, где почувствовал неровность, заказал стакан сливовицы, заглянул при этом незаметно под верхнюю часть колоды и увидел, что края слегка срезаны у королей. Потом он снова тщательно перетасовал колоду и сдал.

Через четверть часа он выиграл около тридцати шиллингов.

— Очень хорошо, — заблеял плюгавый. — Вы не хотите несколько увеличить ставки?

Штайнер кивнул. Он выиграл опять. Потом сдавал толстяк. У него были розовые ладошки, которые, собственно, были слишком малы для трюка с дамами. Но Штайнер видел, что, несмотря на это, он проделал трюк очень ловко. Он раскрыл свои карты. У него были три дамы.

— Сколько вам? — спросил толстяк, жуя сигарету.

— Четыре, — сказал Штайнер. Он заметил, что толстяк смешался, так как он имел бы право прикупить еще только две карты. Толстяк сдал ему четыре карты. Штайнер увидел, что первая из них и была недостающей четвертой дамой.

Теперь у него, конечно, не было игры, и он бросил карты на стол:

— Черт возьми! Пролетел!

Остальные трое переглянулись и тоже сосредоточились.

Штайнер знал, что он может что-нибудь сделать, только когда сдает сам. Таким образом, его шансы были один к трем. Карманник был прав. Надо было действовать быстро, пока они не сориентировались.

Он проделал трюк с тузом, но только в простом

варианте. Плюгавый играл против него и проиграл. Штайнер взглянул на часы.

— Мне нужно идти. Последний кон.

— Ну что вы, сосед! — заблеял маленький. Двое других молчали.

Следующий раз у Штайнера в первом же прикупе оказались четыре дамы. Он взял еще одну карту из колоды. Девятка. Волосатый брюнет прикупил две. Штайнер видел, что плюгавый подал ее снизу тренированным движением руки. Он понял, в чем дело, но, несмотря на это, довел ставку до двадцати шиллингов и только потом сдался. Брюнет пронзил его взглядом и снял банк.

— Какая же у вас карта? — заблеял плюгавый и быстро перевернул карты Штайнера. — Четыре дамы! И вы пасуете, несчастный? Деньги сами шли вам в руки! А что было у вас? — спросил он брюнета.

— Три короля, — ответил тот с кислой миной.

— Вот видите! Видите! Вы бы выиграли, сосед! А сколько бы вы поставили с тремя королями?

— С тремя королями я бы поставил целое состояние, — ответил брюнет с угрюмым видом.

— Я прозевал, — сказал Штайнер. — Думал, у меня только три дамы. Принял даму за валета.

— Ну и ну!

Брюнет раздал карты. Штайнеру достались три короля, а четвертого он прикупил. Он увеличил ставку на пятнадцать шиллингов и стал следить.

Маленький с шумом втянул воздух. Штайнер выиграл почти девяносто шиллингов, а оставалось еще только две игры.

— Что у вас было, сосед? — Плюгавый быстро попытался перевернуть карты. Штайнер отодвинул его руку.

— Здесь такая мода? — спросил он.

— Ну, извините. Любопытно ведь.

В следующей игре Штайнер проиграл восемь шиллингов. Большего он не мог себе позволить. Потом он взял карты и смешал. Он был очень внимателен и положил королей под колоду, чтобы можно было подсунуть их толстяку снизу. Это удалось. Для видимости брюнет тоже поднял ставки, толстяк потребовал еще одну карту. Штайнер сдал ему последнего короля. Толстяк шмыгнул носом и обменялся взглядом с брюнетом. Этот момент Штайнер использовал для трюка с тузами. Он отбросил три свои карты и взял себе два последних туза, которые теперь лежали сверху.

Толстяк начал торговаться.

Штайнер выложил свои карты и, колеблясь,

слегка повысил ставку.

Брюнет удвоил. На ста десяти шиллингах он спасовал. Толстяк довел игру до ста пятидесяти. Штайнер держался. Он не был совершенно уверен в успехе. Он знал, что у толстяка четыре короля. Но он не знал, какая у него последняя карта. Если это джокер — Штайнер проиграл. Плюгавый ерзал на стуле.

— Можно посмотреть? — Он хотел заглянуть в карты Штайнера.

— Нет. — Штайнер положил руку на свои карты. Его поразила эта наивная наглость. Плюгавый немедленно телеграфировал бы толстяку движением ноги, какая у Штайнера карта. Толстяк начал нервничать. Штайнер был до сих пор весьма осторожен и спокоен, следовательно, у него наверняка должна быть очень мощная карта. Штайнер заметил беспокойство партнера и начал повышать ставки. На ста восьмидесяти шиллингах толстяк раскрылся. Он выложил своих четырех королей. Штайнер вздохнул и бросил на стол свои четыре туза.

Плюгавый присвистнул. Потом, когда Штайнер прятал в карман деньги, стало очень тихо.

— Мы играем еще один кон, — жестко сказал брюнет.

— Весьма сожалею, — сказал Штайнер.

— Мы играем еще один кон, — повторил брюнет и поднял подбородок.

Штайнер встал.

— В следующий раз.

Он подошел к стойке и расплатился. Потом передал хозяину сложенный стошиллинговый билет.

— Пожалуйста, передайте это Фреду.

Хозяин изумленно поднял брови.

— Фреду?

— Да.

— Хорошо. — Хозяин ухмыльнулся. — Попались, голубчики! Хотели поймать кильку, а нарвались на акулу.

Трое голубчиков стояли у двери.

— Мы играем еще один кон, — сказал брюнет и загородил выход.

Штайнер взглянул на него.

— Так не пойдет, сосед! — заблеял плюгавый. — Исключено, сэр!

— Я думаю, волноваться не следует, — сказал Штайнер. — На войне как на войне. Надо уметь иногда проигрывать.

— Нет, — сказал брюнет. — Мы играем еще один кон.

— Или вы вернете, что выиграли, — прибавил толстяк.

Штайнер покачал головой.

— Это была честная игра, — сказал он с иронической улыбкой. — Вы знаете, чего хотели, и я знал, чего хотел. Всего хорошего.

Он попытался пройти между брюнетом и плюгавым. При этом он почувствовал, как напряглись мускулы брюнета.

В этот момент появился хозяин.

— Прошу не устраивать скандала в моем заведении, господа!

— Я и не хочу скандала, — сказал Штайнер. — Я хочу уйти.

— Мы идем с вами, — сказал брюнет.

Плюгавый и брюнет прошли вперед, за ними Штайнер, а следом за ним толстяк. Штайнер знал, что опасен только брюнет. Не надо было пропускать его вперед. Проходя в дверь, Штайнер отступил назад, пнул толстяка ногой в живот и изо всех сил, как молотом, ударил брюнета кулаком в затылок. Брюнет покачнулся и упал на шедшего впереди плюгавого. Одним прыжком Штайнер выскочил из пивной и бросился бежать по улице, прежде чем его противники успели опомниться. Он знал, что в этом был его един-

ственный шанс, так как на улице он один ничего не смог бы поделать против трех. Он услышал крик и оглянулся на бегу — но никто не преследовал его. Они были слишком ошеломлены.

Он пошел медленнее и скоро очутился на более оживленных улицах. Перед одной из зеркальных витрин он остановился. «Мошенник и шулер», — подумал он. Но половина паспорта уже есть… Он кивнул своему отражению и пошел дальше.

V

Керн сидел на стене старого еврейского кладбища и при свете уличного фонаря пересчитывал свои деньги. Целый день он торговал в районе горы Святого Креста. Это был бедный квартал, но Керн знал, что бедность милосердна и не зовет полицию. Он заработал тридцать восемь крон. Это был хороший день.

Он сунул деньги в карман и стал разбирать надпись на старой могильной плите, косо прислоненной к стене напротив него. Наконец ему это удалось. «Высокоученый рабби Израэль Лёв, почивший в незапамятные времена, — торжественно провозгласил Керн, обращаясь к горсти сгнивших костей под надгробием. — Что, по-твоему, мне сейчас делать: успокоиться и идти домой

или попытаться заработать пятьдесят крон? — Он вынул монету в пять крон. — Тебе это довольно безразлично. Тебе это в общем все равно, а, старина? Тогда спросим оракула эмигрантов — случай. Орел — иду домой, решка — торгую дальше. — Он высоко подбросил монету и поймал ее на лету. Она выпала из ладони и покатилась в траву. Керн залез под стену и осторожно поднял ее. — Решка! На твоей могиле! Итак, ты сам подаешь мне мудрый совет: работа! Ну что же, последуем ему!» — Он вошел в ближайший дом, словно собирался брать штурмом крепость.

На первом этаже никто не открыл. Керн немного подождал, потом поднялся этажом выше. На втором этаже вышла хорошенькая горничная. Она посмотрела на его папку, скривила губы и молча закрыла дверь.

Керн поднялся на третий этаж. После второго звонка в дверях появился мужчина в распахнутой жилетке. Едва Керн раскрыл рот, как тот возмущенно перебил его:

— Туалетная вода? Духи? Какая наглость! Вы что, не умеете читать? Мне, именно мне, главному торговому агенту фирмы «Лео-Парфюм», вы смеете предлагать вашу мерзость? Вон! — Он захлопнул дверь.

Керн зажег спичку и внимательно изучил медную табличку на двери. Действительно, Иосиф Шимек сам торговал оптом духами, туалетной водой и мылом. Керн покачал головой. «Рабби Израэль Лёв, — пробормотал он. — Что это значит? Может быть, мы не поняли друг друга?»

Он позвонил на третьем этаже. Ему открыла приветливая полная женщина.

— Ну, войдите же, — сказала она, добродушно посмотрев на него. — Вы немец, не так ли? Беженец? Ну, войдите!

Керн последовал за ней в кухню.

— Садитесь, — сказала женщина. — Вы не устали?

— Не очень.

Первый раз в Праге ему предлагали стул. Он воспользовался редкой возможностью и сел. «Извини, рабби, — подумал он, — я поторопился с выводами. Ты прости меня, рабби Израэль, я еще молод». Он раскрыл свою папку.

Толстая женщина стояла перед ним, скрестив руки на животе и ласково глядя на него.

— Это духи? — спросила она и показала на маленький флакон.

— Да. — Собственно, Керн ожидал, что она заинтересуется мылом. Он поднял флакон, как

драгоценный камень. — Это знаменитый «Фарр» фирмы Керн. Нечто исключительное! Не то что щелок, который производит фирма «Лео». Как раз под вами внизу живет их представитель г-н Шимек, знаете?

— Так-так…

Керн открыл флакон и дал женщине понюхать. Потом он вытащил пробку и мазнул по жирной руке.

— Попробуйте сами.

Женщина обнюхала руку и кивнула.

— Кажется, хорошие. У вас только такие маленькие флакончики?

— Вот небольшие. Есть еще один, очень большой. Вот. Он стоит всего сорок крон.

— Ничего. Этот большой подойдет, я его беру.

Керн не верил своим ушам. Восемнадцать крон чистой прибыли.

— Если вы берете большой флакон, то я бесплатно даю кусок миндального мыла, — заявил он в восторге.

— Прекрасно, мыло всегда пригодится. — Женщина взяла флакон и мыло и ушла в соседнюю комнату.

Керн между тем снова упаковал свои вещи. Из приоткрытой двери шел запах вареного мяса. Он

решил устроить себе сегодня роскошный ужин. Суп в столовой на Венцельсплатц не насыщал.

Женщина вернулась.

— Ну, большое спасибо и до свиданья, — сказала она приветливо. — Вот вам бутерброд на дорогу!

— Спасибо. — Керн остановился и ждал.

— Еще что-нибудь? — спросила женщина.

— Да, конечно. — Керн засмеялся. — Вы еще не отдали мне денег.

— Деньги? Какие деньги?

— Сорок крон, — сказал пораженный Керн.

— Ах так! Антон! — крикнула женщина в соседнюю комнату. — Пойди-ка сюда! Здесь один требует денег!

Из соседней комнаты вышел мужчина в подтяжках. Он утирал усы и жевал. Керн увидел под пропотевшей рубашкой брюки с лампасами, и в нем вдруг шевельнулось дурное предчувствие.

— Деньги? — хрипло спросил мужчина, ковыряя в ухе.

— Сорок крон, — ответил Керн. — Но лучше отдайте мне мой флакон, если это для вас слишком дорого. А мыло можете оставить.

— Так-так! — Мужчина подошел ближе. От него пахло застарелым потом и вареной свиной требухой. — Пойди-ка сюда, голубчик! — Он от-

крыл дверь в соседнюю комнату. — Знаешь, что это такое? — Он показал на форменный китель, висевший на стуле. — Одеть это и пойти с тобой в полицию?

Керн сделал шаг назад. Он уже видел себя в тюрьме, приговоренного на две недели за спекуляцию.

— У меня есть разрешение на жительство, — сказал он так равнодушно, как только смог. — Я могу вам показать.

— Покажи-ка мне лучше твое разрешение на работу, — возразил мужчина и уставился на Керна.

— Оно в отеле.

— Можем пойти и в отель. Или лучше оставишь флакон в подарок?

— Берите, — Керн оглянулся на дверь.

— Возьмите же ваш бутерброд, — сказала женщина с широкой улыбкой.

— Благодарю, не нужно, — Керн открыл дверь.

— Поглядите на него! Вот неблагодарный!

Керн захлопнул за собой дверь и бросился бежать вниз по лестнице.

Он не слышал громоподобного хохота, раздавшегося ему вслед.

— Великолепно, Антон! — заливалась сме-

хом женщина. — Ты видел, как он улепетывал? Словно его ужалило в зад. Еще быстрее, чем тот старый жид, что приходил сегодня после обеда. Тот принял тебя прямо за капитана полиции и думал, что его уже посадили.

Антон самодовольно ухмыльнулся.

— Они все боятся униформы, будь она хоть на почтальоне! Так лучше для нас! Мы кое-что имеем с эмигрантов, а? — Он схватил женщину за грудь.

— Духи хорошие, — она прижалась к нему. — Лучше, чем тот шампунь, который продавал старый жид.

Антон подтянул брюки.

— Ну так подушись сегодня вечером; буду спать с графиней. Там, в кастрюле, есть еще мясо?

Керн стоял на улице. «Рабби Израэль Лёв, — обращался он довольно жалобно в направлении кладбища. — Вы посадили меня в галошу, рабби. Сорок крон. Даже сорок три с мылом. Двадцать четыре кроны чистого убытка».

Он вернулся в отель.

— Меня никто не спрашивал? — спросил он портье.

Тот покачал головой.

— Никто.

— Точно?

— Точно. Никто. Даже президент Чехословакии.

— Ну, этого я и не жду, — сказал Керн.

Он поднялся по лестнице. Странно, что он ничего не услышал об отце. Может быть, он и правда не заходил; или его за это время схватила полиция. Он решил подождать несколько дней и потом еще раз зайти на квартиру госпожи Эковской.

Наверху в своем номере он увидел человека, который кричал ночью. Его звали Рабе. Он как раз раздевался.

— Вы собираетесь ложиться? — спросил Керн. — Еще нет девяти.

Рабе кивнул.

— Это для меня самое разумное. Тогда я сплю до двенадцати. В двенадцать я вскакиваю. Каждую ночь. Они обычно приходили в полночь, когда брали нас на допрос из карцера. Потом я сажусь к окну на два часа. А после принимаю снотворное. Так я прекрасно выхожу из положения.

Он поставил около кровати стакан воды.

— Знаете, что меня лучше всего успокаивает, когда я сижу по ночам у окна? Я читаю себе стихи. Старые стихи, знакомые с детства.

— Стихи? — удивленно спросил Керн.

— Да, совсем простые. Например, это, которое по вечерам поют ребятишкам.

Я устал, в постель пора,
Спят все дети до утра.
Отче наш, ты не сердись,
Над кроваткою склонись.

Если я в чем виноват,
Отведи свой строгий взгляд.
Кровь Христова, Божий храм
Все грехи отпустят нам.

Он стоял в белом нижнем белье посреди полутемной комнаты, похожий на усталое доброе привидение, и медленно монотонным голосом произносил слова колыбельной песни, устремив погасшие глаза в ночь за окном.

— Это успокаивает меня, — повторил он и улыбнулся. — Не знаю почему, но это успокаивает.

— Может быть, — сказал Керн.

— Это звучит странно, но это действительно меня успокаивает. Я чувствую себя так, словно я где-нибудь дома.

Керну стало не по себе. Он почувствовал, как у него побежали по телу мурашки.

— Я не знаю наизусть никаких стихов, — сказал он. — Я все забыл. Мне кажется, что прошла вечность с тех пор, как я ходил в школу.

— Я тоже забыл. Но теперь вдруг я могу все вспомнить.

Керн кивнул. Он встал. Ему захотелось уйти из комнаты. Рабе тогда заснет, и ему, Керну, не нужно будет о нем думать.

— Если бы только знать, что делать вечером! — сказал он.

— Вечером всегда мерзко. Читать мне давно уже нечего. Сидеть внизу и в сотый раз говорить о том, как прекрасно было в Германии и когда все это кончится, у меня нет охоты. — Рабе сел на кровати. — Идите в кино. Это самый лучший способ убить вечер. Хотя потом и не помнишь, что видел, но по крайней мере ни о чем не думаешь, пока смотришь.

Он снял носки. Керн задумчиво смотрел на него.

— Кино, — сказал он. Он подумал, что можно пригласить девушку из соседнего номера. — Вы знаете кого-нибудь здесь в отеле? — спросил он.

Рабе повесил носки на стул и пошевелил голыми пальцами.

— Кое-кого. А что? — Он смотрел на свои паль-

цы так, словно никогда их прежде не видел.

— Кто живет в соседнем номере?

Рабе подумал.

— Там живет старая Шимановская. До войны она была знаменитой актрисой.

— Нет, не она.

— Он имеет в виду красивую молодую девушку, — сказал человек в очках, третий жилец в номере. Он уже несколько минут стоял в дверях и слушал. Его звали Мариль, и он был раньше депутатом парламента. — Не так ли, мой юный донжуан?

Керн покраснел.

— Странно, — продолжал Мариль. — Самые естественные вещи заставляют человека краснеть. Низости — никогда. Как дела, Керн?

— Катастрофически плохо. Я потерял наличные деньги.

— Ну, тогда истратьте еще. Это лучший способ избежать комплекса.

— Я и собираюсь, — сказал Керн. — Хочу пойти в кино.

— Браво. Как я понимаю, с Рут Голланд, судя по вашим осторожным расспросам.

— Я не знаю. Я с ней не знаком.

— Мы не знакомы с большинством людей.

Когда-то надо начинать. Смелее, Керн. Отвага — лучшее украшение молодости.

— Вы думаете, она пойдет со мной?

— Конечно. Это одно из преимуществ нашей собачьей жизни. Испытывая постоянно страх и скуку, мы бываем благодарны, если нас отвлекают. Отбросьте ложный стыд!

— Идите в «Риальто», — сказал Рабе из постели. — Там идет «Марокко». Я заметил, что чем дальше страна, тем больше это отвлекает.

— Марокко — это всегда хорошо, — заявил Мариль. — В том числе и для молодых девушек.

Рабе, вздыхая, забрался под одеяло.

— Иногда мне хочется заснуть и проснуться через десять лет.

— И оказаться на десять лет старше?

Рабе посмотрел на него.

— Нет, — сказал он. — Ведь тогда мои дети уже стали бы взрослыми.

Керн постучал в дверь соседнего номера. Оттуда что-то ответили. Он открыл дверь и остановился как вкопанный. На него смотрела Шимановская. У нее были совиные глаза, затянутые пленкой. Тяжелые морщины, покрытые слоем белой пудры, напоминали гористый снежный ландшафт. Черные глаза казались двумя глубокими ямами

в снегу. Она уставилась на Керна с таким видом, словно хотела вцепиться когтями ему в лицо. В руках она держала кроваво-красную шаль, в которой торчало несколько спиц. Вдруг ее лицо исказилось. Керн уже думал, что сейчас она бросится на него, но вдруг что-то вроде улыбки проскользнуло в ее чертах.

— Что вам угодно, мой юный друг? — спросила она низким патетичным театральным голосом.

— Я хотел бы поговорить с фрейлейн Голланд.

Улыбку как будто стерли.

— Ах так. — Шимановская бросила на Керна подозрительный взгляд и начала энергично стучать спицами.

Рут Голланд сидела на кровати и читала. Керн увидел, что это была та самая кровать, около которой он стоял ночью. Ему вдруг стало жарко.

— Могу я вас кое о чем спросить? — сказал он.

Девушка встала и вышла с ним в коридор. Шимановская фыркнула им вслед, как раненая лошадь.

— Я хотел вас спросить, не пойдете ли вы со мной в кино, — сказал Керн, когда они вышли. — У меня два билета, — солгал он. Рут Голланд посмотрела на него. — Или вы заняты? Если вы не можете… — Она покачала головой.

— Нет, я не занята.

— Тогда пойдемте! Зачем сидеть целый вечер в комнате?

— Я уже привыкла.

— Тем хуже. Я не смог бы выдержать и двух минут. Я думал, она меня проглотит.

Девушка засмеялась. Она вдруг показалась Керну совсем ребенком.

— У Шимановской только вид такой. Она добрая.

— Может быть, но по ней не скажешь. Сеанс через четверть часа. Пойдем?

— Хорошо, — сказала Рут Голланд, будто она решилась на что-то серьезное.

У кассы Керн быстро прошел вперед.

— Одну минуту, я только заберу билеты. Они отложены.

Он купил два билета, надеясь, что она ничего не заметит. Но ему было уже все равно — главное, что она сидела рядом с ним.

Свет погас. На экране появилась экзотическая Касба фон Марракеш, пронизанная солнцем, блеснула пустыня, и монотонный звук флейт и тамбуринов задрожал в горячей африканской ночи.

Рут Голланд откинулась на спинку кресла.

Музыка обрушилась на нее как теплый дождь — теплый монотонный дождь, из которого всплыло мучительное воспоминание.

Она стояла на Бургграбек в Нюрнберге. Был апрель. Перед ней в темноте стоял студент Герберт Биллинг с помятой газетой в руке.

— Ты понимаешь, о чем я говорю, Рут?

— Да, я понимаю, Герберт! Это легко понять.

Биллинг нервно развернул номер «Штюрмера».

— Мое имя в газете. Я — позорю расу. Я — еврейский холуй. Все пропало, ты понимаешь?

— Да, Герберт.

— Интересно, как я выберусь из этой истории. На карту поставлена вся моя карьера. В газете, которую все читают, ты понимаешь?

— Да, Герберт. В газете есть и мое имя.

— Это другое дело! Тебе-то что? Ты все равно исключена из университета.

— Ты прав, Герберт.

— Значит, конец, да? Мы расходимся и не имеем больше ничего общего.

— Ничего. Ну, всего хорошего. — Она повернулась и пошла прочь.

— Подожди… Рут… Послушай же… Одну минуту.

Она остановилась. Он подошел к ней. Его лицо было так близко, что она слышала в темноте его дыхание.

— Послушай, — сказал он. — Куда ты теперь?

— Домой.

— Так сразу. — Он задышал еще чаще. — Ведь мы обо всем договорились, да? Ну и хорошо. Но ты могла бы… мы могли бы… как раз сегодня вечером у меня не будет никого дома, понимаешь, и нас бы никто не увидел. — Он схватил ее за руку. — Мы не должны так расставаться, то есть так… формально, мы могли бы еще один раз…

— Уходи, — сказала она. — Скорее.

— Но будь же разумной, Рут, — он обнял ее за плечи.

Она увидела красивое лицо, которое она любила и которому беззаветно доверяла. Потом она ударила его по лицу.

— Уходи! — закричала она, задыхаясь от хлынувших слез. — Уходи!

Биллинг отшатнулся.

— Что? Бить? Бить меня? Ты, грязная еврейская свинья, смеешь меня бить?

Он сделал вид, что хочет броситься на нее.

— Уходи! — закричала она пронзительно.

Он оглянулся.

— Заткнись, — прошипел он. — Хочешь натравить на меня людей? Очень на тебя похоже! Я уйду. Конечно, я уйду! Слава богу, что я от тебя отделался!

«Quand l'amour meurt»[8], — пела женщина на экране. Ее глубокий голос пробивался сквозь дым шумного марокканского кафе. Рут Голланд потерла лоб рукой.

По сравнению с этим все остальное было мелочь. Страх родственников, у которых она жила… настойчивые напоминания дяди об отъезде (он боялся, что его втянут в эту историю)… анонимное письмо, где было сказано, что если она не уберется в три дня, то за то, что она позорит расу, ей остригут волосы, повесят на грудь и спину плакат и провезут по всему городу… прощание с могилой матери… дождливое утро перед памятником жертвам войны, с которого была счищена еврейская фамилия ее отца, погибшего в 1916 году во Фландрии… и потом спешный отъезд в Прагу. Она бежала через границу одна, не имея с собой ничего, кроме нескольких драгоценностей матери.

На экране снова зазвучали флейты и тамбури-

---

[8] notes: 8
Когда умирает любовь (*фр.).*

ны. Их заглушал марш Иностранного легиона — торопливые призывы кларнетов, обращенные к уходящим в пустыню ротам легионеров — солдат без родины и отечества.

Керн наклонился к Рут.

— Вам нравится?

— Да…

Он вытащил из папки и вложил ей в руку маленький плоский флакон.

— Одеколон, — прошептал он. — Здесь жарко. Может быть, это освежит вас немного.

— Спасибо.

Она налила на руку несколько капель. Керн не видел, что на ее глазах вдруг выступили слезы.

— Спасибо, — сказала она еще раз.

Штайнер уже во второй раз ждал в «Алебарде». Он дал официанту пять шиллингов и заказал кофе.

— Позвонить? — спросил официант.

Штайнер кивнул. Он несколько раз с переменным успехом играл в разных заведениях, и теперь у него было около пятисот шиллингов.

Официант положил перед ним стопку журналов и ушел. Штайнер взял какую-то газету и начал читать. Но скоро он отложил ее. Его мало интересовало, что происходит на свете. Для того,

кто захлебывается под водой, важно только одно: выплыть на поверхность — ему нет дела до того, какую окраску имеют рыбы.

Официант принес кофе и стакан воды.

— Господа придут через час.

Он не отходил от стола.

— Хорошая погода сегодня, не так ли? — спросил он через минуту.

Штайнер кивнул и уставился на стену, где висела реклама, призывающая для продления жизни пить солодовое пиво.

Официант зашаркал к стойке. Через некоторое время он принес на подносе еще один стакан воды.

— Принесите мне лучше вишневки, — сказал Штайнер.

— Хорошо. Сейчас.

— И выпейте со мной.

Официант поклонился.

— Благодарю вас. Вы понимаете нашего брата. Это редко.

— Ну что вы! — возразил Штайнер. — Мне просто скучно, вот и все!

— Я знал людей, которые со скуки делали совсем иные вещи, — сказал официант.

Он выпил и поскреб себя по кадыку.

— Сударь, — сказал он доверительно, — я же знаю о вашем деле и если вы бы позволили дать вам совет, то я рекомендовал бы мертвого австрийца. Есть, правда, мертвые румыны, и они даже немного дешевле, но кто же говорит теперь по-румынски?

Штайнер пристально взглянул на него. Официант оставил в покое свой кадык и начал скрести затылок. К тому же он, как собака, почесывал себе ногу.

— Конечно, лучше всего был бы американец или англичанин, — сказал он задумчиво. — Но когда еще в Австрии умрет американец! И даже если случится автомобильная катастрофа — как достанешь паспорт?

— Мне кажется, паспорт лучше немецкий, чем австрийский, — сказал Штайнер. — Труднее проверить.

— Это верно. Но с таким паспортом вы не получите разрешение на работу. Только прописку. А с мертвым австрийцем вы сможете работать по всей Австрии.

— Пока не посадят.

— Да, конечно! Но кого хватают в Австрии? В лучшем случае не того, кого надо.

Штайнер не удержался от смеха.

— Можно оказаться не тем, кем надо. Все равно опасно.

— Ах, знаете что, сударь, — сказал официант. — Опасно ковырять в носу.

— Да. Но за это не сажают.

Официант начал осторожно массировать свой нос. Но не ковырять.

— Я желаю вам добра, сударь, — сказал он. — Я приобрел здесь некоторый опыт. Самое лучшее — все-таки мертвый австриец.

Около десяти пришли оба торговца паспортами. Один из них, проворный человек с птичьими глазами, вел переговоры. Другой, массивный, расплывшийся мужчина, только молчаливо присутствовал.

Оратор вынул немецкий паспорт.

— Мы узнавали у наших коллег. Они могут переделать этот паспорт на ваше имя. Описание примет они сотрут и напишут ваши данные. Конечно, за исключением места рождения. Здесь вам придется согласиться на Аугсбург, так как печать поставлена там. Это стоит всего на двести шиллингов дороже. Тонкая работа, вы понимаете?

— У меня нет таких денег, — сказал Штайнер. — И я не дорожу своим именем.

— Тогда берите его так, как он есть. Мы только заменим фотографию. А уголок печати на фото мы выполним для вас бесплатно.

— Нет смысла. Я хочу работать. А с этим паспортом я не получу разрешения.

Оратор пожал плечами.

— Тогда остается только австрийский. С ним вы сможете здесь работать.

— А если запросят отделение полиции, которое его выдало?

— Кто запросит? Если вы ничего не украдете?

— Триста шиллингов, — сказал Штайнер.

Оратор отпрянул.

— У нас твердые цены, — заявил он с оскорбленным видом. — Пятьсот, и ни гроша меньше.

Штайнер молчал.

— Будь это немецкий — другое дело, они попадаются чаще. Но австрийский — это редкость. Какой австриец носит при себе паспорт? Здесь он не требуется, а кто же нынче ездит за границу? Теперь ведь не обменивают валюту. Пятьсот — это даром.

— Триста пятьдесят.

Оратор возмутился.

— Триста пятьдесят я сам заплатил семье покойника. А знаете ли вы, чего мне стоило с ними

договориться? Прибавьте сюда издержки и комиссионные. Уважение к покойникам дорого стоит, сударь! Хотите получить что-нибудь свеженькое, прямо на могилке, — деньги на бочку! Только звонкая монета осушает слезы и смягчает скорбь. Четыреста пятьдесят, так уж и быть, себе в убыток, только потому, что вы нам нравитесь.

Они сторговались на четырехстах шиллингах. Штайнер вынул из кармана свою фотографию, сделанную в автомате за один шиллинг. Взяв фотографию, оба ушли и явились через час с паспортом. Штайнер заплатил и сунул его в карман.

— Желаю удачи! — сказал оратор. — Еще один совет. Если срок истечет, мы можем его продлить. Сотрем дату, поставим новую. Очень просто. Единственная трудность — это виза. Чем позже она вам понадобится, тем лучше, — тем больше можно отодвинуть дату.

— Это можно было бы сделать хоть сейчас.

Оратор покачал головой.

— Для вас лучше так. У вас самый настоящий паспорт, какой только можно найти. Заменить фотографию — совсем не то, что подделать запись. И у вас целый год времени. Многое может случиться.

— Надеюсь.

— Конечно, вы сохраните все в полной тайне, не правда ли? Это в наших общих интересах. Самое большее, можете рекомендовать нас надежным клиентам с серьезными намерениями. Как нас найти, вам известно. Засим всего лучшего.

— Всего лучшего.

— Strszecz miecze[9], — сказал молчун.

— Он не говорит по-немецки, — усмехнулся оратор в ответ на недоуменный взгляд Штайнера. — Но у него золотые руки по части штемпелей. Его клиенты — только с абсолютно серьезными намерениями.

Штайнер шел на вокзал. Он оставил там в камере хранения свой рюкзак. Вчера вечером он выехал из пансиона. Ночь провел на скамье в парке. Утром в туалетной комнате на вокзале сбрил усы и после этого сфотографировался. Его охватила бешеная радость. Он был теперь рабочим Иоганном Губером из Граца.

Вдруг он остановился. Ему надо было уладить кое-какие дела еще с того времени, когда его звали Штайнером. Он зашел в телефонную будку и стал искать по книге нужный номер. «Леопольд Шефер, — бормотал он. — Траутенаугассе,

---

[9] notes: 9

«Берите мечи» *(польск.),* что означает «будьте начеку».

двадцать семь». Это имя было выжжено в его памяти. Он нашел номер и позвонил. Трубку сняла женщина.

— Вахман Шефер дома? — спросил он.

— Да, сейчас позову.

— Не надо, — быстро сказал Штайнер. — Говорят из отделения полиции Элизабетенпроменаде. В двенадцать назначена облава. Вахман Шефер обязан быть здесь в одиннадцать сорок пять. Вы поняли?

— Да. В одиннадцать сорок пять.

— Хорошо. — Штайнер повесил трубку.

Траутенаугассе была неприветливой узкой улицей, где жили мещане. Штайнер внимательно осмотрел дом двадцать семь. Дом ничем не отличался от других, но ему он показался особенно отвратительным. Потом он прошел немного назад и стал ждать.

Вахман Шефер торопливо вышел из дому и с деловым видом зашагал по улице. Штайнер пошел ему навстречу с таким расчетом, чтобы встретить его в темном месте. Резкий удар в плечо заставил Шефера пошатнуться.

— Ты пьян, скотина? — прорычал он. — Не видишь, куда лезешь? Человек на службе!

— Нет, — возразил Штайнер. — Я вижу только

подлую сволочь. Подлую сволочь, понятно?

На мгновение Шефер онемел.

— Черт подери, — выдавил он наконец. — Вы, наверно, спятили. Вы мне за это заплатите! А ну, пройдемте! — Он попытался вытащить револьвер. Штайнер ногой ударил его по руке, рванулся вперед и наотмашь ударил его два раза по лицу слева и справа. Вахман закричал и бросился на него. Штайнер уклонился и навесным слева расквасил ему нос.

— Сволочь, — рычал он. — Подонок! Трусливый гад! — Он двинул ему прямым сухим в челюсть и почувствовал, как под суставами пальцев треснули зубы. Шефер покачнулся.

— На помощь! — заорал он высоким жирным голосом.

— Заткнись! — прорычал Штайнер и нанес ему резкий хук справа в подбородок и сразу же короткий слева — в солнечное сплетение. Шефер как-то по-лягушачьи квакнул и повалился на землю. В нескольких окнах зажегся свет.

— Что там опять? — крикнул чей-то голос.

— Ничего, — отозвался из темноты Штайнер. — Пьяный какой-то!

— Черт бы побрал этих пьяниц! — раздраженно ответил голос. — Отведите его в полицию.

— Именно в полицию!

— Дайте ему пару раз по пьяной роже!

Окно захлопнулось. Штайнер ухмыльнулся и пропал за углом. Он был уверен, что Шефер не узнал в темноте его изменившееся лицо. Он пересек еще несколько улиц, пока не оказался в более оживленном районе. Тогда он пошел медленнее. «Хорошо и в то же время паршиво, — думал он. — Жалкая месть! Но она искупает годы бегства и приниженности! Надо пользоваться случаем! — Он остановился под фонарем и вынул свой паспорт. — Иоганн Губер! Рабочий! Ты мертв и гниешь где-то в земле Граца, а твой паспорт живет и существует для полиции. Я, Йозеф Штайнер, живу, но без паспорта; я мертв для полиции. — Он засмеялся. — Поменяемся, Иоганн Губер! Отдай мне твою бумажную жизнь и возьми мою беспаспортную смерть! Если живые нам не помогают, то пусть нам помогут мертвые».

VI

В воскресенье Керн вернулся в отель вечером. В номере он нашел только Мариля, который был чем-то очень возбужден.

— Наконец хоть одна живая душа! — закричал он. — Чертова дыра! Именно сегодня нет ни од-

ной собаки. Все ушли! Все гуляют, где-то шляются! Всех где-то носит! Даже этого мерзавца-хозяина!

— Что случилось? — спросил Керн.

— Вы не знаете, где живет акушерка? Или врач? Какой-нибудь гинеколог или вроде того?

— Нет.

— Конечно, нет! — Мариль пристально посмотрел на Керна. — Вы ведь разумный человек, Керн. Пойдемте со мной. Кто-то должен остаться с женщиной. Тогда я смогу уйти за акушеркой. Вы сможете?

— Что?

— Постараться, чтобы она не очень двигалась! Поговорить с ней! Что-нибудь сделать!

Он потащил ничего не понимавшего Керна по коридору на нижний этаж и открыл дверь маленькой комнаты, где стояла только одна кровать. На кровати лежала женщина и стонала.

— Седьмой месяц! Преждевременные роды или что-то в этом роде! Успокойте ее, если можете! Я приведу врача! — Он исчез, прежде чем Керн успел ответить.

Женщина на кровати стонала. Керн на цыпочках подошел ближе.

— Вам дать чего-нибудь? — спросил он.

Женщина продолжала стонать. У нее были

совершенно мокрые, пропотевшие волосы линялого соломенного цвета и серое лицо, на котором странно темнели большие веснушки. Она закатывала глаза, под полузакрытыми веками были видны только белки. Растянутые тонкие губы обнажали оскал крепко сжатых зубов. В полутьме зубы казались неестественно белыми.

— Вам дать чего-нибудь? — спросил Керн еще раз.

Он огляделся. На одном из стульев был брошен дешевый тонкий пыльник. Перед кроватью стояла пара стоптанных туфель. Женщина лежала в платье. На столе — бутылка с водой, а около тумбочки — чемодан.

Женщина стонала. Керн не знал, что ему делать. Женщина начала метаться. Он вспомнил, о чем говорил ему Мариль и о том немногом, что успел узнать за год учебы в университете, и попытался удержать женщину за плечи. Но это было так, словно он хотел удержать змею. Как он ни старался, она выскальзывала и отталкивала его, но вдруг она взметнулась вверх и неожиданно изо всех сил вцепилась в его руки.

Он замер как вкопанный. Он никогда бы не поверил, что у женщины может быть такая сила. Она медленно, как винт, поворачивала голову

и жутко стонала, словно ее дыхание выходило из-под земли.

Ее тело вздрогнуло, и вдруг Керн увидел, как из-под сдвинутого одеяла выползло большое черно-красное пятно и все увеличивалось, расплывалось по простыне. Он попытался вырваться, но женщина держала его словно железными клещами. Как зачарованный, он смотрел на пятно, которое превратилось уже в широкую полосу на краю простыни, стекавшую на пол, где образовалась черная лужа.

— Пустите! Пустите же! — Керн не решался выдернуть руки, боясь встряхнуть ее тело. — Пустите! — скрежетал он. — Пустите!

Вдруг тело женщины обмякло. Она отпустила его и откинулась на подушки. Керн схватил одеяло и слегка приподнял его. Большой ком крови скатился по простыне и шмякнулся на пол.

Керн вскочил и бросился наверх, в комнату, где жила Рут Голланд.

Она была дома. Она сидела на кровати, обложенная своими раскрытыми книгами.

— Идемте! — закричал Керн. — Там внизу женщина истекает кровью!

Они побежали вниз. В комнате стало темней. За окном пылал закат, бросая мрачный свет на стол

и на пол. Красный отблеск мерцал, как рубин в бутылке с водой. Женщина лежала теперь совсем спокойно. Казалось, она уже не дышит.

Рут Голланд подняла одеяло. Женщина плавала в крови.

— Зажгите свет! — закричала девушка.

Керн бросился к выключателю. Слабая лампочка в отблесках заката давала тусклый желто-красный свет. Женщина лежала на кровати. Она казалась одним сплошным бесформенным животом в смятом кровавом платье, из-под которого виднелись ноги в спущенных черных чулках, странно сведенные и неподвижные.

— Дайте полотенце! Надо остановить кровь! Найдите что-нибудь!

Керн видел, как Рут засучила рукава и попыталась расстегнуть женщине платье. Он подал ей полотенце из тумбочки.

— Сейчас должен прийти врач! Мариль пошел за ним. — Он лихорадочно рылся в чемодане, ища что-нибудь для перевязки.

— Давайте что есть! — крикнула Рут.

На полу лежала кучка детского белья — маленькие рубашки, простынки, пеленки и между прочим несколько распашонок, связанных из розовой и голубой шерсти и отделанных шелком

и бантиками. Одна распашонка еще не была готова: в ней торчало еще несколько спиц. Из нее выпал моток мягкой голубой шерсти и бесшумно покатился по полу.

— Давайте это сюда! — Рут отбросила окровавленное полотенце.

Керн подал ей пеленки и простынки. Потом он услышал шаги на лестнице. Дверь открылась, и вошли Мариль и врач.

— Что там такое, черт возьми?! — Врач быстро шагнул к кровати, отодвинул Рут в сторону и наклонился над женщиной. Потом повернулся к Марилю. — Немедленно позвоните по номеру 2167. Пусть сейчас же придет Браун и принесет все для наркоза и кесарева сечения. Понятно? И все для остановки кровотечения.

— Хорошо.

Врач оглянулся.

— Вы можете идти! — сказал он Керну. — Девушка пусть останется. Принесите воды. Дайте мою сумку.

Второй врач пришел через десять минут. С помощью Керна и еще нескольких людей, оказавшихся поблизости, помещение рядом с комнатой, где лежала женщина, было превращено в операционную. Кровати были сдвинуты, столы

составлены вместе, инструменты приготовлены. Появившийся хозяин принес и ввинтил самые сильные лампы, какие у него были.

— Быстрее, быстрее. — Первый врач бушевал от нетерпения. Он набросил свой белый халат и велел Рут застегнуть его сзади. — Наденьте и вы что-нибудь! — Он бросил ей халат. — Может быть, вы нам понадобитесь. Вы не боитесь смотреть на кровь? С вами не станет плохо?

— Нет, — сказала Рут.

— Хорошо. Молодчина.

— Может быть, я могу помочь, — сказал Керн. — Я год изучал медицину.

— Пока нет, — врач посмотрел на инструменты. — Можем начинать?

Свет отражался на его лысине.

Дверь сняли с петель. Четверо мужчин внесли кровать с женщиной через коридор в комнату. Женщина тихо скулила. Ее глаза были широко открыты, бесцветные губы дрожали.

— Давайте. Взяли! — рявкнул врач. — Поднимите выше! Осторожно, черт возьми!

Женщина была тяжелая. У Керна на лбу выступили капли пота. Его взгляд встретился со взглядом Рут. Она была бледна, но спокойна, и так изменилась, что он с трудом узнал ее. Она вся

отдалась истекающей кровью женщине.

— Так. Всем лишним уйти, — приказал врач с лысиной. Он взял женщину за руку. — Это не больно. Это совсем легко. — У него в голосе прозвучали вдруг материнские ноты.

— Ребенок должен жить, — прошептала женщина.

— Оба, оба, — мягко сказал врач.

— Ребенок…

— Мы его только немного повернем, чтобы он не лежал на спинке. И он сразу выйдет. Только спокойно, совсем спокойно. Наркоз!

Керн, Мариль и еще несколько мужчин стояли в опустевшей комнате женщины. Они ожидали, когда они снова понадобятся. За стеной слышались приглушенные голоса врачей. На полу валялись розовые и голубые вязаные распашонки.

— Роды, — сказал Мариль Керну. — Вот как появляются на свет — кровь, кровь и крики! Вы понимаете, Керн?

— Да.

— Нет, — сказал Мариль. — Ни вы, ни я не понимаем. Женщина, только женщина. Вы не чувствуете себя скотиной?

— Нет, — сказал Керн.

— Вот как? А я… — Мариль снял очки и посмотрел на Керна. — Вы уже спали с женщиной? Нет? А то бы и вы чувствовали себя подлецом. Можно здесь где-нибудь выпить? — Из глубины комнаты вышел коридорный. — Принесите полбутылки коньяка! — сказал Мариль. — Да, да, есть у меня деньги! Только принесите!

Коридорный исчез. Вместе с ним исчезли хозяин и двое других мужчин. Они остались одни.

— Сядем к окну, — сказал Мариль. Он показал на закат. — Красиво, а?

Керн кивнул.

— Да, — сказал Мариль. — Все рядом. Там внизу, в саду, есть сирень?

— Да.

— Сирень и эфир. Кровь и коньяк. Ну, ваше здоровье!

— Я принес четыре стакана, господин Мариль, — сказал коридорный и поставил поднос на стол. — Я думал, быть может, — он кивнул головой в сторону соседнего номера.

— Хорошо.

Мариль наполнил доверху оба стакана.

— Вы пьете, Керн?

— Мало.

— Еврейский порок — воздержание от алкого-

ля. Зато вы больше понимаете в женщинах. Но женщины совсем не хотят, чтобы их понимали. Ваше здоровье!

— Ваше здоровье. — Керн осушил свой стакан. После этого он почувствовал себя лучше. — Это только преждевременные роды? — спросил он. — Или еще что-нибудь?

— Да. На четыре недели раньше. Перенапряжение. Еще бы: поезда, пересадки, волнения, беготня и прочее, понимаете? Женщина в ее положении не должна была этого делать.

— А почему она уехала?

Мариль снова налил.

— Почему, — сказал он. — Потому что она хотела, чтобы ее ребенок был чехом. Потому что она не хотела, чтобы его уже в школе оплевывали и дразнили жидовской мордой.

— Я понимаю, — сказал Керн. — А ее муж не уехал с ней?

— Мужа давно посадили. Почему? Потому что у него было дело и он был способнее, чем его конкурент на ближайшем углу. Что делает конкурент? Идет и доносит на него — антигосударственные настроения, коммунистические идеи, недовольство. В таком духе. Человека сажают, а конкурент получает клиентуру. Понятно?

— Это я знаю, — сказал Керн.

Мариль осушил свой стакан.

— Жестокое время. Мир защищают пушки и самолеты, человечность охраняют погромы и концлагеря. Все поставлено с ног на голову, Керн, все ценности. Агрессор сегодня — защитник мира, затравленный и гонимый — опаснейший преступник. И есть целые народы, которые в это верят.

Через полчаса они услышали из соседней комнаты тонкий квакающий крик.

— Черт возьми, — сказал Мариль. — Они свое дело сделали. Одним чехом на свете больше. За это надо выпить. Ну, Керн! За самое великое чудо на свете! За рождение! А знаете, почему это чудо? Потому что потом снова умирают. Ваше здоровье!

Дверь открылась. Вошел второй врач. Он был забрызган кровью и весь в поту. В руках он держал красное, как рак, нечто, которое квакало и которое он пошлепывал по спине.

— Он жив! — проворчал он. — Есть здесь что-нибудь? — Он схватил груду тряпок. — Ну хотя бы это. Девушка! — Он передал Рут ребенка и белье. — Искупать и завернуть не слишком туго, хозяйка умеет, но не здесь, где эфир, — в ванной.

Рут взяла ребенка. Ее глаза показались Керну огромными. Врач сел за стол.

— Здесь есть коньяк?

Мариль налил ему стакан.

— Интересно, как чувствует себя врач, — спросил он, — когда видит, что каждый день строятся новые пушки и самолеты, но не больницы? Ведь первые только для того и существуют, чтобы не пустовали вторые?

Врач взглянул на него.

— Мерзко, — сказал он. — Мерзко. Штопаешь людей с величайшим искусством, чтобы их с величайшим варварством снова разорвало на куски. Почему бы сразу не убивать детей! Много проще.

— Мой дорогой, — возразил депутат парламента Мариль. — Убивать детей — преступление. Убивать взрослых — дело национальной чести.

— В новой войне будут убивать и детей и женщин, — проворчал врач. — Мы искоренили холеру — а ведь она безобидная болезнь по сравнению с самой маленькой войной.

— Браун! — крикнул врач из соседней комнаты. — Быстрее!

— Иду.

— Черт возьми! Что-то неладно, — сказал Ма-

риль.

Через некоторое время Браун вернулся. Он вдруг как-то осунулся. Он выглядел обессиленным.

— Разорвана шейка матки, — сказал он. — Ничего нельзя сделать. Женщина истекает кровью.

— Ничего нельзя сделать?

— Ничего. Мы все пробовали. Кровотечение не прекращается.

— Вы не можете сделать переливание крови? — спросила Рут, стоявшая в дверях. — Можно взять у меня.

Врач покачал головой.

— Не поможет, девочка. Если оно не прекратится… — Он ушел. В светлом четырехугольнике открытой двери было что-то жуткое. Все трое молчали. Тяжело ступая, вошел коридорный.

— Убрать?

— Нет.

— Вы не хотите выпить? — спросил Мариль у Рут.

Она покачала головой.

— Все же выпейте. Это лучше. — Он налил ей полстакана.

На горизонте над крышами мерцали последние зеленоватые и оранжевые отблески золота. В

них плыла бледная луна, разъеденная дырами, как старая медная монета. С улицы слышались голоса, громкие, довольные, ни о чем не подозревающие. Керн вдруг вспомнил Штайнера и его слова. Если около тебя кто-то умирает, ты не ощущаешь смерти. В этом несчастье мира. Сострадание — не боль. Сострадание — это скрытое злорадство. Облегченный вздох, что умираешь не ты и не тот, кого ты любишь. Он посмотрел на Рут. Он не смог увидеть ее лица.

Мариль прислушался.

— Что это?

Долгий глубокий звук скрипки повис в наступающей ночи. Он замер, нахлынул снова, устремился вверх, победно, упрямо — и пассажи начали искриться, все нежнее и нежнее, как наступающий вечер.

— Это здесь, в отеле, — сказал Мариль и посмотрел в окно. — Над нами, на пятом этаже.

— Я его, кажется, знаю, — сказал Керн. — Это скрипач, которого я уже один раз слышал. Я не знал, что он тоже здесь живет.

— Это не простой скрипач. Это много больше.

— Пойти сказать ему, чтобы он не играл?

— Зачем?

Керн сделал движение к двери. Очки Мариля

блеснули.

— Нет. К чему? Печальным можно быть всегда. А смерть — везде. Это все связано.

Они сидели и слушали. Через несколько минут из соседней комнаты вышел Браун.

— Все кончено, — сказал он. — Exitus[10]. Она не очень мучилась. Она знает, что ребенок родился. Мы успели ей это сказать.

Все трое встали.

— Мы можем снова принести ее сюда, — сказал Браун. — Ведь соседняя комната понадобится жильцам.

Женщина лежала среди окровавленных полотенец, тампонов, ведер и тазов с кровью и ватой, белая и неожиданно худая. У нее было чужое строгое лицо, и ничто больше не касалось ее. Врач с лысиной, который суетился вокруг нее, производил впечатление контраста: полнокровная жизнь, которая поглощает, переваривает, выделяет, — рядом с покоем завершенности.

— Оставьте, не раскрывайте, — сказал врач. — Лучше не смотреть. И так вы насмотрелись достаточно, а, девочка?

Рут покачала головой.

---

[10] notes: 10
Смертельный исход *(лат.).*

— Вы держались мужественно. Не струсили. Знаете, что мне хочется, Браун? Повеситься, повеситься на ближайшем окне.

— Вы спасли ребенка: это была блестящая операция.

— Повеситься! Я понимаю, что мы сделали все возможное, что мы бессильны. И все-таки мне хочется повеситься!

Он задыхался от горечи, его лицо над воротником окровавленного халата было красным и мясистым.

— Вот уже двадцать лет, как я работаю. И каждый раз, когда у меня кто-нибудь отдает концы, мне хочется повеситься. Слишком нелепо. — Он повернулся к Керну. — Возьмите сигарету из левого кармана моего пиджака и дайте мне закурить. Да, девочка, я знаю, о чем вы думаете. Так, теперь огня. Я пойду умоюсь. — Он посмотрел на резиновые перчатки с таким видом, словно они были виноваты во всем, и, тяжело ступая, ушел в ванную.

Они вынесли кровать, на которой лежала мертвая, в коридор, а оттуда — обратно в ее комнату. В коридоре стояло несколько человек жильцов соседнего номера.

— Разве нельзя было отвезти ее в клинику? —

спросила сухопарая женщина с индюшачьей шеей.

— Нет, — сказал Мариль. — А то бы отвезли.

— А теперь она останется здесь на целую ночь? Кто же заснет, если рядом покойница?

— Тогда не надо засыпать, бабушка! — отрезал Мариль.

— Я не бабушка, — вспылила женщина.

— Оно и видно.

Женщина бросила на него злобный взгляд.

— А кто уберет комнату? Этот запах никогда не выветрится. Ведь можно было использовать для этого десятый номер.

— Вот видите, — сказал Мариль, обращаясь к Рут, — эта женщина мертва. А она была нужна своему ребенку и, может быть, мужу. А эта нескладная доска, что орала в коридоре, — живет. И доживет до глубокой старости, к ужасу ближних. Вот вам неразрешимая загадка.

— Зло — прочнее, оно выносливей, — угрюмо отозвалась Рут.

Мариль посмотрел на нее:

— Откуда вам это известно?

— В наше время это легко узнать.

Мариль ничего не ответил. Он только посмотрел на нее. Вернулись врачи.

— Ребенок у хозяйки, — сказал врач с лысиной. — Его заберут. Я как раз звонил по поводу ребенка. И по поводу этой женщины. Вы ее хорошо знали?

Мариль покачал головой.

— Она приехала несколько дней назад. Я только один раз говорил с ней.

— Может быть, у нее есть документы? Их тогда надо отдать.

— Я посмотрю.

Врачи ушли. Мариль осмотрел чемодан покойной. Там были детские вещи, голубое платье, немного белья и пестрая погремушка. Он снова уложил вещи. Странно, все это тоже вдруг стало мертвым.

В сумке он нашел паспорт и метрическое свидетельство, выданное полицией во Франкфурте-на-Одере. Он поднес его к свету: «Катарина Хиршфельд, урожденная Бринкманн из Мюнстера, родилась 17 марта 1901 г.».

Он встал и посмотрел на мертвую — светлые волосы, продолговатое твердое вестгалльское лицо. «Катарина Бринкманн, по мужу Хиршфельд».

Он снова посмотрел на паспорт.

— Действителен еще три года, — пробормотал он. — Три года жизни для другого человека. Для

могилы достаточно справки о прописке, — он положил бумаги в карман.

— Я это улажу, — сказал он Керну. — И принесу свечу. Я не знаю — надо бы побыть с ней немного. Конечно, это ничему не поможет, но странное дело — у меня такое чувство, что надо побыть с ней немного.

— Я останусь, — ответила Рут.

— И я, — сказал Керн.

— Хорошо. Я приду попозже и сменю вас.

Свет луны стал ярче. Ночь была высокой, бесконечной и темно-синей. Она дышала в комнату запахом земли и цветов.

Керн стоял у окна рядом с Рут. У него было такое чувство, словно он был где-то далеко и возвратился назад. В нем еще смутно жил ужас, вызванный криками роженицы и ее вздрагивающим окровавленным телом. Он слышал легкое дыхание стоящей рядом девушки и видел ее мягко очерченные молодые губы. Он вдруг понял, что и она причастна к этой мрачной тайне, которая окружает любовь кольцом страха, он чувствовал, что к ней причастны и эта ночь, и цветы, и тяжелый запах земли, и томящий звук скрипки над крышами… Он знал, что если оглянется, то увидит бледную маску смерти, освещенную дрожащим

пламенем свечи, и тем сильнее ощущал тепло под своей кожей, которое вызывало озноб и заставляло искать тепла, только тепла, и ничего, кроме тепла…

Словно чья-то чужая рука взяла его руку и положила ее на гладкие, молодые плечи Рут.

VII

Мариль сидел на цементной террасе отеля и обмахивался газетой. Перед ним лежало несколько книг.

— Идите сюда, Керн! — крикнул он. — Подходит вечер. Животные ищут уединения, а люди — общества. Что ваша прописка?

— Действительна еще одну неделю.

— Неделя в тюрьме — это много. На свободе — мало. — Мариль раскрыл лежащие перед ним книги. — Эмиграция просвещается. В мои почтенные годы я еще занимаюсь английским и французским.

— Иногда я просто не могу слышать слово «эмигрант», — сказал Керн с раздражением.

Мариль засмеялся.

— Напрасно. Вы в самом лучшем обществе. Данте был эмигрант. Шиллер был вынужден бежать. Гейне. Виктор Гюго. Это только немногие. А взгля-

ните на небо, на Луну, эмигрировавшую в свое время с Земли. Да и сама матушка-Земля — старая эмигрантка с Солнца. — Он подмигнул. — Может быть, вы предпочитаете, чтобы эта эмиграция не состоялась и мы бы вращались в пространстве в виде раскаленного газа? Или солнечных пятен? Что скажете?

— Нет, — сказал Керн.

— Правильно, — Мариль снова начал обмахиваться газетой. — Знаете, что я как раз читал?

— Что в засухе виноваты евреи.

— Нет.

— Что получить осколок гранаты в живот — самое истинное счастье для настоящего мужчины.

— Нет, не то.

— Что все евреи — большевики, потому что они с такой же жадностью накапливают богатство.

— Неплохо. Дальше.

— Что Христос был ариец. Незаконный сын германского легионера.

Мариль засмеялся.

— Нет, вы не угадаете. Брачные объявления. Послушайте. «Где милый, симпатичный мужчина, который сделает меня счастливой? Такая же симпатичная девушка, с тонкой душой, порядочным возвышенным характером, с любовью ко

всему доброму и прекрасному и первоклассными познаниями в деле ведения гостиниц, ищет близкого человека в возрасте от тридцати пяти до сорока с хорошим состоянием». — Он взглянул на Керна. — От тридцати пяти до сорока! Сорок один — уже исключается. Что значит принцип, а? Или вот: «Где я найду тебя, мой идеал? Глубокая натура, леди и домашняя хозяйка, с темпераментом, умом и внутренней красотой, оптимистка и хороший друг ищет джентльмена с соответствующим доходом, увлекающегося искусством и спортом, который должен быть в то же время милым парнем»… Великолепно, а? Или возьмем это: «Мужчина пятидесяти лет, духовно одинокий, чувствительная натура, выглядит моложе своего возраста, круглый сирота…» — Мариль остановился. — Круглый сирота! — повторил он. — В пятьдесят лет! Бедное пятидесятилетнее создание! Вот, дорогой мой! — Он протянул Керну газету. — Две страницы! Каждую неделю целые две страницы только в одной этой газете. Вы только поглядите на заголовки, которые прямо кишат добротой, душевностью, товариществом, любовью и дружбой! Ну истинный рай! Сады Эдема в пустыне политики! Это оживляет и освежает! Здесь сразу видно, что и в наше жалкое время

все же есть хорошие люди! Прямо поднимает дух! — Он отбросил газету. — А почему бы здесь не написать: комендант концентрационного лагеря, тонкая душа, доброе сердце…

— Он наверняка считает себя таким, — сказал Керн.

— Еще бы! Чем примитивнее человек, тем выше он себя ценит. Полюбуйтесь на объявления. Это придает, — Мариль усмехнулся, — пробивную силу. Сомнения и терпимость — свойства культурного человека. А потому он снова и снова гибнет. Древний сизифов труд. Одна из самых глубоких метафор человечества.

— Господин Керн, вас тут спрашивают, — вдруг возбужденно сообщил портье. — Не похоже на полицию!

Керн быстро встал.

— Хорошо, иду.

С первого взгляда он не узнал отца в пожилом, опустившемся человеке. Ему показалось, что он видит нечеткое, смазанное изображение в объективе фотоаппарата, которое постепенно становится четче, позволяя различить знакомые черты.

— Отец! — сказал он, глубоко потрясенный.

— Да, Людвиг!

Старый Керн вытер со лба пот.

— Жарко, — сказал он, слабо улыбаясь.

— Да, очень жарко. Пойдем отсюда Тут есть холл, где стоит пианино. Там прохладно.

Они сели. Керн сейчас же встал, чтобы принести отцу лимонаду. Он был очень взволнован.

— Мы давно не виделись, отец, — осторожно сказал он, вернувшись.

Старый Керн кивнул.

— Ты можешь здесь остаться, Людвиг?

— Думаю, что нет. Ты же знаешь. Они ведут себя вполне порядочно. Четырнадцать дней прописки, может быть, еще два-три дня — и все.

— Ты не собираешься остаться здесь нелегально?

— Нет, отец. Здесь слишком много эмигрантов. Я не знал. Я попробую вернуться в Вену. Там легче скрываться. А что ты?

— Я болел, Людвиг. Гриппом. Я встал только несколько дней назад.

— Ах вот что, — Керн облегченно вздохнул. — Ты был болен. А теперь ты совсем выздоровел?

— Да, ты же видишь.

— И что ты делаешь, отец?

— Мне удалось устроиться здесь в одном месте.

— Тебя хорошо стерегут, — сказал Керн и улыб-

нулся.

Старик посмотрел на него так умоляюще и с такой мукой, что он оторопел.

— Тебе плохо, отец? — спросил он.

— Хорошо — плохо. Что значит для нас хорошо? Немного покоя: уже хорошо. Я чем-то занят: веду книги. Это немного. Но все же я работаю: в лавке, где продают уголь.

— Это великолепно. И сколько ты зарабатываешь?

— Ничего: только карманные. Но у меня есть еда и жилье.

— Это уже кое-что. Завтра я зайду к тебе, отец.

— Да-да — или я зайду сюда еще раз.

— Но зачем тебе бегать? Я зайду обязательно.

— Людвиг, — старый Керн сглотнул слюну. — Лучше я приду сюда.

Керн посмотрел на него удивленно. И вдруг он все понял. Эта здоровая баба тогда, в дверях… Несколько мгновений его сердце било по ребрам, словно молот. Ему хотелось вскочить, схватить отца, убежать с ним прочь отсюда, он сразу вспомнил мать, Дрезден, тихие предобеденные часы, когда они были втроем, — но он увидел перед собой сломленного жизнью человека, его невыносимо униженный взгляд и подумал: конец! это

все! Судорога отпустила его, и осталось только безграничное сострадание.

— Они меня два раза высылали, Людвиг. Я пробыл только один день, и они меня нашли. Они не сердились. Но они же не могут держать здесь всех нас. Я заболел; дождь шел не переставая. Воспаление легких с рецидивом. А потом… она выходила меня… иначе я бы погиб, Людвиг. И она желает мне добра.

— Конечно, отец, — сказал Керн спокойно.

— Я немного работаю. Я зарабатываю то, что стою. Это не так, как… ты понимаешь… не так. Но я не могу больше спать на скамейках и все время бояться, Людвиг.

— Я понимаю, отец.

Старик смотрел прямо перед собой.

— Я думаю иногда, что мама должна получить развод. Тогда она смогла бы вернуться в Германию.

— Ты бы хотел этого?

— Нет, не для меня. Ради нее. Ведь я же виноват во всем. Если она разведется, она сможет вернуться. Я виноват. И перед тобой тоже. Из-за меня у тебя нет больше родины.

Керну было невыносимо тяжело. Это уже не был его веселый энергичный отец, каким он знал

его в Дрездене; это был трогательный пожилой беспомощный человек, близкий родственник, раздавленный жизнью. В замешательстве Керн встал и сделал то, чего никогда еще не делал. Он обнял отца за узкие старые плечи и поцеловал.

— Ты понимаешь, Людвиг? — едва слышно спросил Зигмунд Керн.

— Да, отец. Ты здесь ни при чем. Совершенно ни при чем. — Он нежно похлопал ладонью по костлявым пальцам, отводя взгляд за спину отца, на картинку с видом оттепели в Тироле, висевшую над роялем.

— Ну, теперь мне пора идти.

— Да.

— Я хочу только заплатить за лимонад. И еще я принес тебе пачку сигарет. Ты вырос, Людвиг, ты стал большим и сильным.

«Да, а ты — старым и дряблым, — подумал Керн. — Попадись мне в руки кто-нибудь из тех, кто довел тебя до этого, я бы расквасил ему сытую, довольную, тупую рожу!»

— Ты тоже в полном порядке, отец, — сказал он. — За лимонад уже уплачено. Я теперь немного зарабатываю. И знаешь — на чем? На наших собственных старых изделиях. Продаю твой миндальный крем и твою туалетную воду «Фарр».

Здесь у одного аптекаря есть еще довольно большой запас, я скупаю у него.

Взгляд Зигмунда Керна немного оживился. Потом он грустно усмехнулся.

— Значит, тебе приходится торговать этим с рук. Прости меня, Людвиг.

— Брось! — Керн сглотнул комок, вдруг подкативший к горлу. — Это лучшая в мире школа, отец. Узнаёшь жизнь с изнанки. Людей тоже. Зато потом не страшны никакие разочарования.

— Только не болей.

— Нет, я очень закаленный.

Они вышли на улицу.

— Ты так полон надежд, Людвиг…

«Господи, он называет это надеждой», — подумал Керн.

— Все уладится, — сказал он. — Так не может продолжаться вечно.

— Да… — Взгляд старика неподвижно уперся в пространство. — Людвиг, — сказал он тихо, — когда мы снова будем вместе… и если мама тоже снова будет с нами… — он сделал неопределенный жест, указывая куда-то назад, — мы не станем вспоминать об этом, а?

Он говорил тихо и по-детски доверчиво, это было как щебет усталой птицы.

— Теперь ты сможешь учиться и без меня, Людвиг, — сказал он жалобно и почти механически, как человек, который размышлял об этом так часто, что сознание своей вины со временем приобрело некий автоматизм.

— Без тебя я вообще не жил бы на свете, отец, — ответил Керн.

— Не болей, Людвиг, — сказал старик, и его губы вдруг задрожали. — Я хотел как лучше, Людвиг.

— Ты заботился о нас, пока мог.

— Ну, тогда я уже пойду. Всего тебе хорошего, дитя мое.

«Дитя, — подумал Керн. — Кто из нас двоих дитя?» Он смотрел вслед отцу, медленно бредущему по улице, он обещал, что будет ему писать, что они еще увидятся, но он знал, что видит его в последний раз. Он не сводил с него взгляда, пока отец не скрылся из виду. Потом стало пусто.

Он вернулся назад. На террасе сидел Мариль и с выражением сарказма и отвращения на лице все еще читал свою газету. «Странно, — подумал Керн, — один человек не успел дочитать газету, а для другого в то же время потерпела крушение вся жизнь. Круглый сирота в пятьдесят, — он судорожно улыбнулся и мрачно пошутил про себя. — Круглый сирота… как будто нельзя быть

круглым сиротой при живых родителях…»

Через три дня Рут Голланд уехала в Вену. Она получила телеграмму от подруги, у которой можно было жить, и хотела попытаться найти работу и поступить в университет.

Вечером в день отъезда она пошла с Керном в ресторан «Черный поросенок». До сих пор они каждый день ходили в народную столовую; однако в последний вечер Керн решил предпринять нечто из ряда вон выходящее.

«Черный поросенок» был маленьким прокуренным заведением — недорогим, но очень хорошим. Его назвал Керну Мариль. Он сказал ему точные цены и особенно рекомендовал любимое блюдо хозяина — гуляш из телятины. Керн подсчитал свои деньги: их должно было хватить даже на десерт в виде ватрушек. Рут как-то обмолвилась, что обожает их. Но когда они пришли, их ждало горькое разочарование. Гуляш кончился. Они опоздали. Керн тщательно изучал меню. Почти все остальные блюда были дороже. Кельнер рядом с ним упорно бубнил: «Мясо копченое с зеленью, свиная отбивная с салатом, курица с перцем, свежая гусиная печенка…»

«Гусиная печенка, — думал Керн, — этот идиот, кажется, принимает нас за миллионеров».

Он передал меню Рут.

— Что бы ты хотела вместо гуляша? — спросил он. Он установил, что если закажет отбивные, ватрушками придется пожертвовать.

Рут мельком заглянула в меню.

— Сосиски с картофельным салатом, — сказала она. Это было самое дешевое блюдо.

— Исключено, — заявил Керн. — Какой же это прощальный ужин?

— А я их люблю. После супов в столовой это просто пиршество.

— А что ты скажешь на предмет отбивных?

— Слишком дорого.

— Будьте любезны, — заказал Керн, — две отбивные. Только большие!

— У нас они все одинаковые, — невозмутимо возразил кельнер.

— А что на закуску? Суп, hors d'uvre[11], зельц?

— Нет, — сказала Рут, прежде чем Керн успел ее спросить.

Они еще заказали графин дешевого вина, после чего кельнер удалился с таким презрительным видом, словно предчувствовал, что у Керна уже не хватало полкроны на чаевые.

---

[11] notes: 11
Закуска (*фр.*).

Ресторан был почти пуст. За столом в углу сидел лишь один-единственный посетитель. Это был мужчина с моноклем и шрамом на широком красном лице. Он сидел за стаканом пива и бесцеремонно разглядывал Керна и Рут.

— Жаль, что этот тип там сидит, — сказал Керн.

Рут кивнула.

— Сидел бы хоть еще кто-нибудь! Но этот, этот похож на кого-то…

— Да, уж он-то не эмигрант, — сказал Керн. — Скорее напротив.

— Давай не будем на него смотреть…

И все-таки Керн смотрел. И заметил, что и мужчина продолжал в упор смотреть на них.

— Не понимаю, чего ему надо, — сказал он раздражительно. — Он с нас глаз не сводит.

— Может, он агент гестапо. Я слыхала, здесь полным-полно шпиков.

— Хочешь, я подойду и спрошу, чего он от нас хочет?

— Нет! — Рут испуганно положила руку на плечо Керна.

Принесли отбивные. Они были хрустящие и нежные, а к ним полагался свежий, зеленый салат. Но они почти не почувствовали вкуса еды

— слишком волновались.

— Не может быть, что он пришел сюда из-за нас, — сказал Керн. — Никто не знал, что мы пойдем сюда.

— Не в этом дело, — возразила Рут. — Может, он оказался здесь случайно. Но он за нами наблюдает, это ясно…

Кельнер унес тарелки. Керн огорченно поглядел ему вслед. Он хотел порадовать Рут, а этот тип с моноклем все испортил. Он возмущенно встал; он принял решение.

— Минуточку, Рут…

— Что ты задумал? — спросила она со страхом. — Останься!

— Нет-нет, этого типа я не трону. Только поговорю с хозяином.

На всякий случай он захватил с собой два маленьких флакона духов. Теперь он хотел попытаться один из них обменять у хозяина на две ватрушки. Духи, правда, стоили намного дороже, но ему было все равно. После неудачных отбивных Рут получит хотя бы свой любимый десерт. Может, ему удастся выторговать еще и чашку кофе.

Выслушав предложение Керна, хозяин покраснел от злости. «Ах вы, шаромыжники! Пожрать

— а потом не уплатить! Нет, мой милый, на это есть полиция!»

— Я могу уплатить за то, что съел! — Керн сердито швырнул на стол деньги.

— Пересчитайте, — сказал хозяин кельнеру. — Спрячь свою склянку! — рявкнул он потом на Керна. — Вы зачем вообще сюда пришли? Вы посетитель или лотошник?

— Пока что я посетитель, — в ярости заявил Керн. — А вы…

— Минутку! — сказал за ним чей-то голос.

Керн вздрогнул. Незнакомец с моноклем стоял прямо за его плечами.

— Позвольте, на пару слов.

Мужчина отошел на несколько шагов от стойки. Керн последовал за ним. Его сердце вдруг заколотилось как бешеное.

— Вы немецкие эмигранты? — спросил мужчина.

Керн взглянул на него исподлобья.

— А вам какое дело?

— Никакого, — спокойно ответил мужчина. — Я только слышал ваш разговор с хозяином. Вы не хотите продать ваши духи мне?

Керну показалось, что он понял, к чему клонит этот человек. Если он продаст ему духи, его

обвинят в запрещенной торговле, немедленно арестуют и вышлют.

— Нет, — сказал он.

— Почему нет?

— Мне нечего продавать. Я не занимаюсь торговлей.

— Тогда давайте обменяемся. Я предложу вам в обмен то, в чем вам отказал хозяин: ватрушки и кофе.

— Я вообще не понимаю, что вам угодно, — сказал Керн.

Человек усмехнулся.

— А я понимаю, что вы недоверчивы. Послушайте. Я из Берлина и через час возвращаюсь обратно. Вы не можете вернуться…

— Нет, — сказал Керн.

Человек взглянул на него.

— В том-то и дело. Вот почему я хотел бы помочь вам в этой мелочи. Я был ротмистром на войне. Один из лучших моих людей был еврей. А теперь вы подарите мне этот маленький флакон?

Керн протянул ему духи.

— Простите, — сказал он. — Я совсем не то о вас подумал.

— Могу себе представить. — Мужчина рассмеялся. — А теперь идите к молодой барышне, не

оставляйте ее одну. Она, конечно, уже беспокоится. Желаю вам обоим всего хорошего! — И он протянул Керну руку.

— Спасибо. Большое спасибо!

Керн смущенно вернулся на свое место.

— Рут, — сказал он, — либо сегодня Рождество, либо я спятил.

И тут появился кельнер. Он нес поднос и серебряный поставец с пирожными, уложенными в три этажа.

— Что это такое? — изумленно спросила Рут.

— Это — чудо, совершенное духами «Фарр» фирмы Керн.

Керн, сияя, разливал кофе.

— Каждый из нас имеет право на любое из этих пирожных. Ты какое хочешь, Рут?

— Я хочу с сыром.

— Вот тебе с сыром. А я возьму «голову мавра».

— Остальное завернуть? — спросил кельнер.

— Какое остальное? Вы о чем?

Кельнер взмахнул рукой над трехэтажной пирамидой.

— Это все заказано для вас!

Керн взглянул на него с изумлением.

— Все для нас? А где же… разве этот господин не…

— Он давно ушел. За все уплачено. Так что…

— Стоп, — торопливо сказал Керн. — Ради бога, постойте! Рут, хочешь еще одно — с кремом? А «свиное ухо»? Может, кусок штруделя?

Он наложил ей полную тарелку и еще несколько штук взял себе.

— Так, — сказал он затем, переводя дух. — Заверните остальное в два пакета. Один ты возьмешь в дорогу, Рут. Какое наслаждение — хоть раз позаботиться о тебе!

— Шампанское уже во льду! — заметил кельнер, берясь за серебряный шедевр.

— Шампанское! Вы шутите! — Керн рассмеялся.

— Я не шучу! — кельнер указал на дверь. В двери появился хозяин собственной персоной. Он нес наполненное льдом ведерко, из которого выглядывало горлышко бутылки с шампанским.

— Нет худа без добра, — умильно ухмыльнулся он. — Я давеча просто пошутил…

Керн, не веря своим глазам, откинулся на спинку стула.

Кельнер кивнул.

— За все уплачено.

— Я сплю, — сказал Керн. — Ты когда-нибудь пила шампанское, Рут?

— Нет. До сих пор я видела его только в кино.

Керн с трудом приходил в себя.

— Господин хозяин, — сказал он с достоинством. — Вы видите, какой выгодный обмен я вам предлагал. Один флакон всемирно известных духов «Керн-Фарр» за две мизерные ватрушки с сыром! Теперь вы понимаете, что дают за них знатоки!

— Всего знать нельзя, — возразил хозяин. — Я лучше разбираюсь в напитках.

— Рут, — сказал Керн, — отныне я верю в чудеса. Если бы сейчас в окно влетел белый голубь, держа в клюве два паспорта сроком на пять лет или бессрочное разрешение на работу, я бы не удивился!

Они выпили бутылку до дна. Грешно было оставить в ней хоть одну каплю шампанского. Оно даже не показалось им особенно вкусным, но они пили и становились все оживленней и наконец оба немного опьянели.

Они встали. Керн взял пакеты с пирожными и собрался платить за отбивные. Но кельнер не взял денег:

— За все уже уплачено…

— Рут, — сказал Керн, слегка запинаясь, — жизнь — потрясающая штука. Еще один такой

день, и я стану романтиком.

Хозяин задержал их.

— У вас еще остались эти духи? Я подумал, моей жене они…

Керн снова обрел бдительность.

— Один флакон, может, и найдется. Последний. — Он вытащил его из кармана. — Но теперь уже другой счет, любезный. Вы упустили отличный шанс! Двадцать крон! — Он задержал дыхание. — Только для вас!

Хозяин молниеносно подсчитал в уме. Он накинул ротмистру за шампанское и пирожные лишних тридцать крон. Значит, десять крон — чистая прибыль.

— Пятнадцать, — предложил он.

— Двадцать, — Керн сделал вид, что прячет флакон.

— Так и быть. — Хозяин извлек из кармана смятую купюру. Он решил сказать своей любовнице, стройной Барбаре, что флакон стоит пятьдесят. Зато он сэкономит на шляпе, которую она требует вот уже несколько недель и которая обошлась бы ему в восемьдесят крон. Двойная прибыль.

Керн и Рут зашли в отель. Они забрали чемодан Рут и пошли на вокзал.

Рут притихла.

— Не грусти, — говорил Керн. — Я скоро приеду. Самое позднее через неделю меня выставят отсюда. Я знаю. Тогда я приеду в Вену. Ты хочешь, чтобы я приехал в Вену?

— Да, приезжай! Но только если тебе это подходит.

— Почему ты просто не говоришь: «Да, приезжай»?

Она как-то виновато посмотрела на него.

— Разве я не сказала больше?

— Не знаю. Ты как будто боишься.

— Да, — ответила она, сразу погрустнев, — боюсь, это верно.

— Да не грусти же, — сказал Керн. — Ты недавно еще так радовалась!

Она беспомощно взглянула на него.

— Не слушай меня, — промолвила она тихо. — Иногда я совершенно теряю голову. Может, это из-за вина. Ты думай, что это вино так действует. Идем, у нас есть еще немного времени.

Они сели на скамью в сквере. Керн обнял ее за плечи.

— Не унывай, Рут. Это бесполезно. Это звучит глупо, но не для нас. Нам позарез нужно немного радости. Именно нам.

Она глядела прямо перед собой.

— Мне бы хотелось радоваться, Людвиг. Но со мной так трудно. Мне так не хватает мягкости. Я бы хотела все делать по-хорошему. А все всегда выходит нелепо и трудно.

В ее словах звучали гнев и досада, и Керн вдруг увидел, что все ее лицо было залито слезами: она плакала беззвучно — сердито и беспомощно.

— Я не знаю, почему плачу, — сказала она, — ведь как раз сейчас так мало причин плакать. Но, может, именно поэтому. Ты не смотри… не смотри на меня…

— Буду смотреть, — ответил Керн.

Она приблизила к нему лицо и положила руки ему на плечи. Он притянул ее к себе, и она его поцеловала — слепо, закрыв глаза, жесткими сомкнутыми губами, страстно и гневно, словно отталкивая прочь.

— Ах… — она стала спокойнее. — Если бы ты знал… — Ее голова упала на его плечо, глаза оставались закрытыми. — Если б ты знал… — Ее губы раскрылись и стали мягкими, как плод.

Они пошли дальше. На вокзале Керн исчез и купил ей букет роз. Мысленно он благословил человека с моноклем и хозяина «Черного поросенка».

Рут совершенно растерялась, увидев его с цвета-

ми. Она покраснела, и выражение озабоченности вдруг пропало с ее лица.

— Цветы, — сказала она. — Розы! Я уезжаю как кинозвезда.

— Ты уезжаешь как жена весьма преуспевающего коммерсанта, — гордо возразил Керн.

— Коммерсанты не дарят цветов, Людвиг.

— Дарят, младшее поколение опять вводит это в моду.

Он положил ее чемодан и пакет с пирожными в багажную сетку. Она вышла с ним из вагона. На перроне она взяла его голову в свои руки и серьезно заглянула ему в глаза.

— Хорошо, что ты есть. — Она поцеловала его. — А теперь уходи. Я вернусь в вагон, а ты уходи. А то я опять зареву. И ты подумаешь, что я только на это и способна. Уходи…

Он остался стоять.

— Я не боюсь расставаний, — сказал он. — У меня их было много. Это — не расставание.

Поезд тронулся. Рут махала ему из окна. Керн стоял на перроне, пока поезд не скрылся из виду. Тогда он пошел обратно. Ему казалось, что весь город вымер.

Перед входом в отель ему встретился Рабе.

— Добрый вечер, — сказал Керн, вытащил

пачку сигарет и протянул Рабе. Тот отпрянул и поднял руку, словно хотел защититься от удара.

— Простите, — смущенно сказал Рабе. — Это я нечаянно… непроизвольный рефлекс…

Он взял сигарету.

Штайнер уже две недели работал официантом в кафе «Зеленое дерево». Была поздняя ночь. Хозяин ушел спать два часа назад, в кафе оставалось всего несколько посетителей.

Штайнер опустил жалюзи.

— Закрываемся! — сказал он.

— Выпьем еще по стакану, Иоганн! — ответил один из посетителей, столяр, с физиономией, похожей на огурец.

— Ладно, — ответил Штайнер. — «Миколаш»?

— Нет, венгерского больше не надо. Дай-ка нам теперь доброй сливовицы.

Штайнер принес бутылку и стаканы.

— Выпей с нами, — пригласил столяр.

— На сегодня хватит. А то напьюсь.

— Ну и напейся. — Столяр потер свою огуречную физиономию. — Я тоже напьюсь. Ты представь: третья дочь! Сегодня утром выходит акушерка и говорит: «Поздравляю, господин Блау, третья здоровая дочка!» А я-то думал, что наверняка будет парень! Три девки, а наследника

нет! Как тут не спятить? Как не спятить, Иоганн? Ведь ты же человек, можешь понять!

— Как не понять, — сказал Штайнер. — Стакан побольше?

Столяр грохнул кулаком по столу.

— Дьявольщина, ты чертовски прав! Вот в чем дело! Стаканы побольше — это идея! И как это я не додумался!

Они взяли стаканы побольше и пили целый час. После чего столяр окосел и начал клясться, что жена родила ему трех парней. Он с трудом расплатился и, шатаясь, отбыл в сопровождении собутыльников.

Штайнер убрал посуду. Он налил себе еще один полный стакан сливовицы и выпил. В голове у него гудело.

Он сел за стол и глубоко задумался. Потом встал и пошел в свой чулан. Порывшись в вещах, он извлек фотографию жены и долго глядел на нее. Он ни разу ничего не слышал о ней. Он никогда ей не писал, поскольку знал, что ее переписка перлюстрируется. Он думал, что она, наверное, уже развелась с ним.

«Дьявольщина! — Он встал. — Может, она давно уже с другим и забыла меня! — Он разорвал фотографию пополам и бросил обрывки на

пол. — Надо выбраться из этой западни. Иначе я пропал. Я мужчина, я живу один. Я — Иоганн Губер, больше не Штайнер, и точка!»

Он выпил еще стакан, потом запер кафе и вышел на улицу. Недалеко от Ринга к нему пристала какая-то девица.

— Пойдешь со мной, котик?

— Да.

Они пошли рядом. Девушка испытующе наблюдала за Штайнером со стороны.

— Ты даже не взглянул на меня.

— Взглянул, — возразил Штайнер, не поднимая глаз.

— Непохоже. Я тебе нравлюсь?

— Да, ты мне нравишься.

— Что-то скоро у тебя получается.

— Да, — сказал он. — Это скоро получается.

Она взяла его под руку.

— А что ты мне подаришь, котик?

— Не знаю. Сколько ты хочешь?

— Ты на всю ночь?

— Нет.

— Как насчет двадцати шиллингов?

— Десять. Я работаю официантом, зарабатываю не много.

— Ты не похож на официанта.

— Есть люди, не похожие на президентов, а они — президенты.

Девушка засмеялась.

— Ты веселый. Люблю веселых. Ладно, пусть десять. Комната у меня красивая. Слушай, я тебя осчастливлю.

— Вот как? — сказал Штайнер.

Комната была красным плюшевым логовом с гипсовыми фигурками и салфетками на столах и креслах. На софе разместилась целая компания мишек, нарядных кукол и матерчатых обезьян. Над софой висела увеличенная фотография усатого фельдфебеля в полной парадной форме с вытаращенными глазами.

— Это твой муж? — спросил Штайнер.

— Нет, это хозяйкин благоверный. Он помер.

— Она небось рада, что избавилась от него, а?

— Скажешь тоже! — Девушка расстегнула блузку. — Она до сих пор ревет белугой, как вспомнит. Сказочный, говорит, был мужик. Строгий, понимаешь?

— А почему же она повесила его у тебя?

— У нее есть другой портрет. Большой и раскрашенный. Конечно, раскрашен только мундир, понимаешь? Помоги-ка мне расстегнуть сзади эти бретельки!

Штайнер ощутил под руками твердые плечи. Этого он не ожидал. С военных времен он помнил, каковы на ощупь шлюхи — всегда какие-то слишком мягкие и дряблые.

Девушка бросила блузку на софу. Грудь у нее была полная и твердая. Под стать сильным плечам и шее.

— Садись, лапушка, — сказала она. — Не стесняйся. Официанты и наша сестра целый день на ногах. Замаешься.

Она сбросила юбку.

— Черт возьми, — сказал Штайнер. — Да ты же красивая!

— Мне это многие говорили. — Девушка бережно сложила юбку. — Если не возражаешь…

— Возражаю.

Она полуобернулась к нему.

— Да ты шутишь — вот уж правда веселый дядя!

Штайнер смотрел на нее.

— Ты почему так смотришь? — спросила девушка. — Тебя испугаться можно. Господи, ты меня растерзать готов. Давно без женщины, а?

— Как тебя зовут? — спросил Штайнер.

— Смешно сказать — Эльвира. Такая вот идея пришла моей матери. Она все хотела выбиться

наверх. Ложись в постель.

— Нет, — сказал Штайнер. — Давай сначала выпьем.

— У тебя есть деньги? — спросила она быстро.

Штайнер кивнул. Эльвира, нагая и беззаботная, подошла к двери.

— Фрау Пошнигг! — крикнула она. — Выпить принесите!

Хозяйка явилась так скоро, словно подслушивала за дверью. Это была круглая, затянутая в черный бархат особа с красным лицом и блестящими глазками-пуговками.

— У нас нашлось бы шампанское, — сказала она услужливо. — Просто сахарное!

— Несите шнапс, — ответил Штайнер, не взглянув на нее. — Сливовицу, кирш, горечаевку — все равно что.

Женщины переглянулись.

— Кирша, — сказала Эльвира. — Хорошего, с верхней полки. Стоит десять шиллингов, лапушка.

Штайнер отдал ей деньги.

— Откуда у тебя такая кожа? — спросил он.

— Грех жаловаться, правда? — Эльвира поворачивалась перед ним во все стороны. — Такая бывает только у рыжих.

— Да, — сказал Штайнер. — А я и не заметил, что у тебя рыжие волосы.

— Это из-за шляпы, миленький. — Эльвира забрала у хозяйки бутылку. — Выпьете с нами, фрау Пошнигг?

— Если позволите. — Хозяйка села. — Везет же вам, фройляйн Эльвира! — Она вздохнула. — А наша сестра, бедная одинокая вдова…

Бедная одинокая вдова опрокинула стакан и сразу же налила себе снова.

— Ваше здоровье, милостивый государь! — Она поднялась и кокетливо стрельнула глазками на Штайнера.

— Покорно благодарим! Желаю приятно провести время!

— А ты произвел на нее впечатление, — заметила Эльвира.

— Дай сюда стакан, — сказал Штайнер. Он налил его до краев и выпил.

— Господи! — Эльвира поглядела на него с испугом. — А ты не разнесешь тут все вдребезги, миленький? Квартира на вес золота, понимаешь? Такие вещи дорого стоят, лапушка!

— Сядь сюда, — сказал Штайнер. — Ко мне.

— Лучше бы мы поехали за город. В Пратер или в лес.

Штайнер поднял голову. Он чувствовал, как кирш, словно мягким молотом, бьет изнутри мозга по глазным яблокам.

— В лес? — спросил он.

— Да, в лес. Или в поле, ведь лето же.

— Поле? Лето? Как это ты поедешь в поле?

— Обыкновенно, — озабоченно и настойчиво щебетала Эльвира. — Ведь лето же на дворе, лапушка! А летом все любят ездить за город!

— Не прячь бутылку, не разнесу я твою хибару. Так ты говоришь, летом — в поле?

— Конечно, летом, лапушка, зимой же холодно.

Штайнер налил себе еще стакан.

— Черт возьми, как ты пахнешь!

— Рыжие все пахнут похоже, лапушка.

Молотки в мозгу застучали быстрее. Комната закачалась.

— Поле, — медленно и с усилием проговорил Штайнер, — а по ночам ветер…

— Ложись теперь в постель, миленький, раздевайся…

— Открой окно…

— Окно открыто, лапушка. Иди ко мне, я тебя осчастливлю!

Штайнер выпил.

— А ты была когда-нибудь счастлива? — спросил он, уставившись взглядом в стол.

— Конечно, очень часто.

— Ох, прикуси язык. Выключи свет.

— Сперва разденься.

— Выключи свет.

Эльвира подчинилась. Комната погрузилась в темноту.

— Ложись в постель, лапушка.

— Нет. Не в постель. Постель это что-то другое. Черт побери! Не в постель!

Штайнер неверной рукой налил кирш в свой стакан. Голова его раскалывалась. Девушка расхаживала по комнате. Она прошла мимо окна, остановилась на момент и выглянула наружу. Слабый свет уличных фонарей упал на ее темные плечи. За ней, за ее головой, стояла ночь. Она подняла руки к волосам.

— Иди сюда, — хрипло произнес Штайнер.

Она обернулась и мягко и бесшумно пошла к нему. Она приближалась, как поле спелой пшеницы, темное и неразличимое, с запахом и кожей как у тысячи женщин — и одной…

— Мария, — едва слышно сказал Штайнер.

Девушка засмеялась глубоким нежным смехом:

— Сразу видно, как ты пьян, лапушка… меня зовут Эльвира…

VIII

Керну удалось продлить разрешение на жительство еще на пять дней; потом его выслали. Ему выдали билет до границы, и он отправился на таможенный пункт.

— Без документов? — спросил чешский чиновник.

— Да.

— Входите. Там уже сидят несколько человек. Примерно через два часа — самое подходящее время.

Керн вошел в таможню. Там сидели трое — какой-то бледный мужчина с женой и старый еврей.

— Добрый вечер, — сказал Керн.

Сидевшие что-то пробормотали в ответ. Керн поставил свой чемодан и сел. Он так устал, что прикрыл глаза. Он знал, что ему предстоит еще очень длинный путь, и пытался заснуть.

— Мы перейдем на ту сторону, — услышал он голос бледного мужчины, — ты увидишь, Анна, потом все уладится.

Женщина не ответила.

— Мы обязательно перейдем, — снова начал мужчина, — наверняка! Почему бы им не пропустить нас?

— Потому что мы им не нужны, — ответила женщина.

— Но мы же люди…

«Бедный глупец», — подумал Керн. Некоторое время он еще слышал неразборчивый шепот мужчины; потом заснул.

Он проснулся, когда пришел таможенник, чтобы увести их. Они прошли полями к густому лиственному лесу, который вдруг возник перед ними из темноты как огромный черный камень.

Чиновник остановился.

— Идите по этой тропе и держитесь правой стороны. Когда дойдете до дороги, опять свернете влево. Всего хорошего.

Он исчез в ночи.

Четверо стояли в нерешительности.

— Что нам теперь нужно делать? — спросила женщина. — Кто-нибудь знает дорогу?

— Я пойду вперед, — сказал Керн. — Год назад я уже был здесь.

Они пробирались ощупью в темноте. Луна еще не взошла. Мокрая трава невидимо и враждебно хлестала по ногам. Потом подступил лес с его

большим дыханием и вобрал их в себя.

Они шли долго. Керн слышал за собой шаги остальных. Вдруг впереди сверкнули электрические фонари, и грубый голос произнес: «Стоять! Ни с места!»

Керн одним прыжком рванулся в сторону. Он пронесся сквозь тьму, натыкаясь на деревья, и ощупью пробрался дальше, сквозь заросли дикой малины; чемодан он бросил в кусты. Он услышал, что кто-то бежит за ним. Он обернулся. Это была та женщина.

— Прячьтесь! — прошептал он. — А я влезу наверх.

— Мой муж… он такой…

Керн быстро влез на дерево, ощущая под собой мягкую, шелестящую листву, и уселся верхом на развилку сучьев. Внизу неподвижно стояла женщина; он не мог ее видеть, только чувствовал, что она там.

Издалека было слышно, как старый еврей что-то говорит.

— Плевать я на это хотел, — отвечал ему грубый голос. — Без паспорта вы не пройдете, и точка!

Керн прислушался. Через некоторое время он расслышал и тихий голос второго мужчины, который возражал жандарму. Значит, они схва-

тили обоих. В тот же миг под ним зашуршало. Женщина что-то тихо сказала и пошла назад.

Некоторое время все было спокойно. Потом между деревьев начали шарить лучи карманных фонарей. Шаги приближались. Керн прижался к стволу. Густая листва кроны хорошо прикрывала его снизу. Вдруг он услышал жесткий истеричный голос женщины:

— Он должен быть здесь! Он залез на дерево, сюда…

Свет фонаря заскользил наверх.

— Спускайся! — заорал грубый голос. — А то буду стрелять!

Некоторое время Керн колебался. Оставаться не было смысла. Он спустился вниз. Карманные фонари яркими лучами уперлись ему в лицо.

— Паспорт!

— Будь у меня паспорт, я не влезал бы сюда!

Керн взглянул на выдавшую его женщину. Она совершенно не владела собой и почти ничего не соображала.

— Ишь чего захотел! — прошипела она сквозь зубы. — Он удерет, а мы — оставайся! Пускай все остаются! — кричала она. — Все!

— Заткни пасть! — рявкнул жандарм. — Строиться! — Он осветил группу фонарем. — Собствен-

но говоря, вас надо отправить в тюрьму, небось сами знаете! Переход границы запрещен! Но к чему вас еще и кормить! Кругом — марш! Назад, в Чехословакию. Но зарубите на носу: в следующий раз будем стрелять!

Керн вынул из колючих кустов свой чемодан. Потом все четверо в молчании гуськом пошли обратно. За ними шли жандармы с карманными фонарями. В этом было что-то призрачное: самих конвоиров не было видно, а только белые круги от фонарей, как будто их, четверых, взяли в плен и гонят назад привидения — голоса и свет.

Световые круги остановились.

— Марш вперед, вон туда! — приказал грубый голос. — Кто вернется, того застрелим!

Четверо шли дальше, пока свет не исчез за деревьями.

Керн услышал позади себя тихий голос мужа выдавшей его женщины.

— Простите… она была сама не своя… простите… она, конечно, уже сейчас сожалеет…

— Мне все равно, — сказал Керн, не оборачиваясь.

— Поймите же, — шептал мужчина, — это испуг, это страх…

— Как не понять! — Керн обернулся. — Что до

прощения — оно мне слишком тяжело дается. Лучше я забуду.

Он остановился. Они находились на небольшой поляне. Другие тоже остановились. Керн лег на траву и подсунул под голову чемодан. Остальные пошептались между собой. Потом женщина выступила на шаг вперед.

— Анна! — сказал мужчина.

Женщина подошла к Керну и встала перед ним.

— Не угодно ли вам провести нас обратно? — спросила она резко.

— Нет, — ответил Керн.

— Ах вы… это вы виноваты, что нас поймали! Мерзавец!

— Анна! — сказал мужчина.

— Оставьте, — сказал Керн. — Всегда полезно высказаться до конца.

— Вставайте! — заорала женщина.

— Я остаюсь здесь. Вы можете поступать, как вам угодно. Сразу же за лесом налево — тропа к чешской таможне.

— Жидовское отродье! — заорала женщина.

Керн рассмеялся.

— Только этого не хватало!

Он видел, как бледный мужчина в чем-то

шепотом убеждал остервеневшую женщину и оттеснял ее прочь.

— Он наверняка вернется, — всхлипывала она. — Я знаю, он вернется и перейдет на ту сторону. Он должен нас провести… Это его долг…

Мужчина медленно уводил женщину к лесу. Керн потянулся за сигаретой. И тут он заметил, что в нескольких метрах от него возникло что-то темное, словно из-под земли вынырнул гном. Это был старый еврей, который тоже успел улечься в траву. Он приподнялся и покачал головой.

— Ох уж эти гои!

Керн ничего не ответил. Он зажег сигарету.

— Вы останетесь здесь на ночь? — мягко поинтересовался еврей спустя некоторое время.

— До трех. В три — самое лучшее время. Если никто не проходит, они устают.

— Можем подождать, — дружелюбно сказал старик.

— Это далеко, и кусок дороги теперь придется, наверное, проползти, — ответил Керн.

— Ничего. Можно поиграть себе в еврейского индейца на старости лет.

Они сидели молча. Постепенно на небо пробились звезды. Керн узнал Большую Медведицу и Полярную звезду.

— Мне надо в Вену, — сказал через некоторое время старик.

— Мне, собственно говоря, никуда не надо, — ответил Керн.

— Это бывает. — Старик пожевал травинку. — А потом опять куда-то надо. Так оно и идет. Нужно только подождать.

— Да, — сказал Керн. — Нужно. Но чего ждать?

— В сущности, ждать нечего, — спокойно парировал старик. — Когда оно приходит, оно — ничто. Тогда снова ждут чего-то другого.

— Да, может быть. — Керн снова растянулся на траве. Он чувствовал под головой чемодан, и это было приятное чувство.

— Я — Мориц Розенталь из Годесберга на Рейне, — сказал немного погодя старик. Он вынул из рюкзака тонкий серый плащ-крылатку и накинул на плечи. Теперь он стал еще больше похож на гнома. — Иногда это даже смешно, что у человека есть имя, а? Особенно ночью…

Керн смотрел в темное небо.

— И когда нет паспорта — тоже. Имена должны быть написаны, иначе они не принадлежат человеку.

В кронах деревьев ожил ветер. Он шумел так, словно за лесом было море.

— Вы не думаете, что на той стороне будут стрелять? — спросил Мориц Розенталь.

— Не знаю. Может, и нет.

Старик покачал головой.

— Когда тебе за семьдесят, в этом есть одно преимущество: не так уж много теряешь, рискуя жизнью.

Штайнер наконец узнал, где были спрятаны дети старого Зелигмана. Адрес, сунутый в еврейский молитвенник, был правильным; но тем временем детей переправили куда-то еще. Прошло довольно много времени, пока Штайнер выяснил, куда именно, — поначалу ему везде не доверяли, принимая за стукача.

Он взял из пансиона чемодан и отправился. Дом находился в восточной части Вены. Он добирался целый час. Он поднялся по лестнице. На каждом этаже было по три квартиры. Он зажигал спички и искал нужную дверь. Наконец на пятом этаже он нашел овальную медную табличку с надписью: «Самуэль Бернштейн. Часовщик». Он позвонил.

За дверью послышались шорохи и приглушенные голоса. Потом осторожный голос спросил: «Кто там?»

— Мне нужно вам кое-что отдать, — сказал

Штайнер. — Чемодан.

Вдруг ему показалось, что за ним наблюдают, и он быстро обернулся.

Дверь в квартиру за его спиной бесшумно отворилась. В проеме стоял худосочный мужчина без пиджака. Штайнер поставил чемодан на пол.

— Вы к кому? — спросил мужчина в дверях. Штайнер поглядел на него. — Бернштейна тут нет, — прибавил мужчина.

— У меня тут вещи старого Зелигмана, — сказал Штайнер. — Тут должны быть его дети. Я видел, как он погиб.

Мужчина еще минуту рассматривал его.

— Можешь спокойно впустить его, Мориц! — крикнул он затем.

Зазвенела цепочка, заскрежетал ключ. Дверь в квартиру Бернштейна отворилась. Штайнер напряженно вглядывался в тусклый свет.

— Что? — сказал он. — Неужели это… ну, конечно, это папаша Мориц!

В дверях стоял Мориц Розенталь. В руке он держал деревянную поварешку. На плечи его был накинут плащ-крылатка.

— Это я, — ответил он. — Но кто… Штайнер! — сказал он вдруг сердечно и шумно. — И чтобы я вас не узнал! Стал-таки плохо видеть! Я знал,

что вы в Вене. Когда мы встречались в последний раз?

— Примерно полгода назад, папаша Мориц.

— В Праге?

— В Цюрихе.

— Правильно, в Цюрихе, в тюрьме. Приятные там люди. В последнее время я немного все это путаю. Полгода назад я опять был в Швейцарии. Базель. Там превосходно кормят; но, к сожалению, не выдают сигарет, как в городской тюрьме в Локарно. Там у меня в камере даже имелся кустик камелии. Не хотелось оттуда выходить. Никакого сравнения с Миланом. — Он умолк. — Входите, Штайнер. Мы, как старые грабители, стоим в коридоре и предаемся воспоминаниям.

Штайнер вошел. Квартира состояла из кухни и маленькой комнаты. Там было несколько стульев, стол, шкаф и два матраца с одеялами. На столе были разложены инструменты, а между ними стояли дешевые будильники и раскрашенный корпус часов с барочными ангелами, державшими старинные часы; секундная стрелка изображала Смерть, размахивающую косой. Над печью на изогнутом кронштейне висела кухонная лампа с зеленовато-белой искореженной газовой горелкой. На железной конфорке газовой

плиты стояла большая кастрюля с супом, из которой шел пар.

— Я как раз варю кое-что детям, — сказал Мориц Розенталь. — Я нашел их здесь, как мышек в мышеловке. Бернштейн в больнице.

Трое детей мертвого Зелигмана примостились у печки. Они не обращали внимания на Штайнера. Они не отрывали глаз от кастрюли с супом. Старшему было примерно четырнадцать лет; младшему семь или восемь.

Штайнер поставил чемодан.

— Вот чемодан вашего отца, — сказал он.

Все трое одновременно посмотрели на него, почти не изменив позы. Они даже головы не повернули.

— Я еще успел повидаться с ним, — сказал Штайнер. — Он говорил о вас.

Дети смотрели на него. Они не отвечали. Их глаза поблескивали, как отшлифованные круглые черные камешки. Газовая горелка шипела. Штайнер почувствовал себя неуютно. Ему хотелось сказать что-то теплое, человеческое, но все, что приходило в голову, казалось нелепым и фальшивым перед заброшенностью этих трех молчаливых детей.

— Что в чемодане? — спросил старший после

паузы. Голос у него был бесцветный, говорил он медленно, жестко и осторожно.

— Точно не помню. Разные вещи вашего отца. И немного денег.

— Теперь это наше?

— Конечно. Поэтому я и принес его.

— Можно его взять?

— Ну да! — удивленно сказал Штайнер.

Мальчик встал. Он был худой, черный и высокий. Медленно, не сводя глаз со Штайнера, он приблизился к чемодану. Быстрым звериным движением он схватил чемодан и тут же почти отпрыгнул назад, словно боялся, что Штайнер отнимет у него добычу. Он немедленно утащил чемодан в соседнюю каморку. Двое других быстро последовали за ним, плотно прижимаясь друг к другу, как две большие черные кошки.

Штайнер взглянул на папашу Морица.

— Что ж, — сказал он с облегчением. — Значит, они давно знали…

Мориц Розенталь мешал суп.

— Теперь они уже не так переживают. Они видели смерть матери и двоих братьев. Поэтому теперь это уже не так действует. То, что случается часто, уже не так действует.

— Или действует еще сильней.

Мориц Розенталь взглянул на него из-под морщинистых век:

— Нет — если ты еще очень молод. Если ты очень стар — тоже уже нет. Промежуток — вот это скверное время.

— Да, — сказал Штайнер. — Паршивый промежуток — пятьдесят лет.

Мориц Розенталь миролюбиво кивнул.

— Теперь я уже не так о них беспокоюсь. — Он прикрыл кастрюлю крышкой. — Мы их уже пристроили, — сказал он. — Одного Мейер заберет с собой в Румынию. Второго отдадут в детский приют в Локарно. Я знаю там одного человека, который за него заплатит. Старший покамест останется у Бернштейна.

— Они уже знают, что им придется расстаться?

— Да. Это тоже не слишком их пугает. Скорее они считают, что им повезло. — Розенталь обернулся. — Штайнер, — сказал он, — я знал его двадцать лет. Как он умер? Он выпрыгнул?

— Да.

— Его не вышвырнули?

— Нет. Я был при этом.

— Я услышал об этом в Праге. Говорили, что его вышвырнули. Тогда я вернулся сюда. Присмотреть за детьми. Я когда-то обещал ему это. Он был

еще молодой. Всего шестьдесят. Не думал я, что все так получится. Но он немного свихнулся с тех пор, как умерла Рахиль. — Мориц Розенталь взглянул на Штайнера. — У него было много детей. У евреев часто так бывает. Они любят семью. Хотя, в сущности, им не следовало бы ее иметь. — Он закутался плотнее в свою крылатку, словно его знобило, и показался вдруг очень старым и усталым.

Штайнер вытащил пачку сигарет.

— Как давно вы уже здесь, папаша Мориц? — спросил он.

— Три дня. Нас один раз поймали на границе. Я перешел с одним молодым человеком, которого вы знаете. Он мне о вас рассказывал. Его зовут Керн.

— Керн? Да, я его знаю. Где он?

— Тоже где-то здесь, в Вене. Я не знаю где.

Штайнер встал.

— Попробую его найти. До свидания, папаша Мориц, старый бродяга. Бог ведает, когда увидимся.

Он зашел в каморку, чтобы попрощаться с детьми. Все трое сидели на одном из матрацев, разложив перед собой содержимое чемодана. Мотки пряжи были аккуратно сложены в кучку;

рядом лежали ремни, мешочек с шиллингами и несколько пакетиков с шелковыми нитками. Белье, ботинки, костюм и другие вещи старого Зелигмана еще оставались в чемодане. Увидев вошедших Штайнера и Морица Розенталя, старший непроизвольно прикрыл вещи руками. Штайнер остановился.

Мальчик посмотрел на Морица. Его щеки раскраснелись, а глаза блестели.

— Если мы это продадим, — сказал он возбужденно и указал на вещи в чемодане, — будет на тридцать шиллингов больше. Тогда мы сможем сложить все деньги и еще взять материю — шотландку, шерстяную ткань с начесом и чулки тоже — на них больше заработаешь. Я прямо завтра начну. Завтра в семь начну. — Он серьезно и очень напряженно глядел на старика.

— Хорошо! — Мориц Розенталь погладил его по узкой голове. — Завтра в семь начнешь.

— Тогда Вальтер не поедет в Румынию, — сказал мальчик. — Он может помогать мне. Мы продержимся. Тогда только Максу придется ехать.

Трое детей глядели на Морица Розенталя. Макс, младший, кивнул. Он считал это правильным.

— Посмотрим. Мы еще раз обсудим все это потом.

Мориц Розенталь проводил Штайнера до двери.

— Им некогда горевать, — сказал он. — Слишком большая нужда, Штайнер.

Штайнер кивнул.

— Надеюсь, мальчика не сразу поймают…

Мориц Розенталь покачал головой.

— Он уж будет начеку. Он достаточно много знает. Мы рано учимся жизни.

Штайнер отправился в кафе «Шперлер». Он давно не заходил туда. С тех пор как у него появился фальшивый паспорт, он избегал тех мест, где его знали раньше.

Керн сидел у стены на стуле. Он спал, положив ноги на свой чемодан и откинув назад голову. Штайнер осторожно присел рядом; он не хотел его будить. «Немного повзрослел, — подумал он. — Повзрослел и возмужал».

Он огляделся. Около двери сидел, нахохлившись, советник окружного суда Эпштейн, перед ним на столе лежало несколько книг и стоял стакан вина. Он сидел один, и вид у него был недовольный; напротив него не было ни одного клиента, испуганно зажимающего в ладони пятьдесят грошей. Похоже, что конкурент, адвокат Зильбер, переманил у него клиентуру. Но Зиль-

бера в кафе не было.

Подошел кельнер, хотя Штайнер и не подзывал его. Узнав гостя, он просиял.

— Вы снова здесь? — фамильярно спросил он.

— Вы меня помните?

— Еще бы не помнить. А я уж о вас беспокоился. Ведь сейчас порядки стали много строже. Как всегда, один коньяк, сударь?

— Да. А куда же подевался адвокат Зильбер?

— Это тоже жертва, сударь. Арестован и выслан.

— Так. Господин Черников давно заходил?

— На этой неделе не был.

Кельнер принес коньяк и поставил поднос на стол. В тот же момент Керн открыл глаза, заморгал, потом вскочил:

— Штайнер!

— Иди сюда, — ответил тот спокойно. — Выпей-ка этот коньяк. Ничто так не освежает, если спишь сидя, как глоток спиртного.

Керн выпил коньяк.

— Я уже два раза искал тебя здесь, — сказал он.

Штайнер улыбнулся.

— Ноги на чемодане. Значит, ты без пристанища?

— Да.

— Можешь ночевать у меня.

— Правда? Это было бы чудесно. До сих пор я снимал комнату у еврейской семьи. Но сегодня пришлось выметаться. Они слишком боятся держать кого-либо дольше двух дней.

— У меня тебе нечего бояться. Я живу далеко отсюда. Можем отправиться прямо сейчас. У тебя невыспавшийся вид.

— Да, — сказал Керн. — Я устал. Не знаю почему.

Штайнер сделал знак кельнеру. Тот прискакал галопом, как старый боевой конь, долго ходивший в упряжке и вдруг заслышавший звук трубы, играющей сбор.

— Спасибо, — сказал он, полный ожидания, прежде чем Штайнер успел расплатиться, — благодарю покорно, сударь!

Он взглянул на чаевые.

— Целую руку, — пробормотал он восхищенно. — Ваш преданный слуга, господин граф!

— Нам надо в Пратер, — сказал Штайнер, когда они встали.

— Я пойду куда скажешь, — ответил Керн. — Я уже совсем проснулся.

— Поедем на трамвае. Ведь у тебя чемодан. Все еще туалетная вода и мыло?

Керн кивнул.

— А я тем временем переменил имя; но ты можешь и дальше называть меня Штайнером. Это имя я ношу на всякий случай как человек искусства. И всегда могу утверждать, что это мой псевдоним. Или что другое имя — псевдоним. Смотря по обстоятельствам.

— Кто ты теперь?

Штайнер рассмеялся.

— Некоторое время я был помощником кельнера. Потом прежний помощник вышел из больницы, и я вылетел. Теперь я ассистент в аттракционе Поцдоха. Подсадной в тире и ясновидящий. А что у тебя на примете?

— Ничего.

— Может быть, я устрою тебя к нам. Нам бывают нужны люди для подсобной работы. Завтра я капну на мозги старому Поцдоху. В Пратере хорошо то, что никто не контролирует. Тебе даже не потребуется прописка.

— Господи, — сказал Керн. — Это было бы великолепно. Мне очень бы хотелось теперь задержаться в Вене.

— Вот как? — Штайнер искоса взглянул на него. — Очень бы хотелось?

— Да.

Они вышли из трамвая и пошли по ночному Пратеру. Перед жилым вагончиком, немного в стороне от ярмарочного городка, Штайнер остановился. Он открыл дверь и включил свет.

— Ну, крошка, вот мы и дома. Для начала соорудим, так сказать, ложе.

Он извлек из угла пару одеял и старый матрац и расстелил их на полу рядом со своей кроватью.

— Ты, конечно, голодный, а? — спросил он.

— Я уж и не помню.

— Вон в том маленьком ящике хлеб, масло и кусок копченой колбасы. Да, сделай и мне бутерброд.

В дверь тихо постучали. Керн отложил нож и прислушался. Его взгляд искал окно. Штайнер рассмеялся.

— Старый страх, а, малыш? Видно, нам уже никогда от него не избавиться. Заходи, Лило! — крикнул он.

Вошла стройная женщина и остановилась у двери.

— У меня гости, — сказал Штайнер. — Людвиг Керн. Молод, но уже закален чужбиной. Он останется здесь. Можешь приготовить нам немного кофе, Лило?

— Да.

Женщина взяла спиртовку, зажгла, поставила на нее маленький котелок с водой и начала молоть кофе. Она проделала все почти бесшумно, медленными, скользящими движениями.

— Я думал, ты давно спишь, Лило, — сказал Штайнер.

— Я не могу заснуть.

У женщины был глубокий, хриплый голос, лицо — худое, с правильными чертами, черные волосы разделял прямой пробор. Она была похожа на итальянку, но говорила на жестком немецком, характерном для славян.

Керн сидел на сломанном камышовом стуле. Он очень устал, не только от мыслей — на него накатилась сонная истома, какой он давно уже не испытывал. Он чувствовал себя в безопасности.

— Подушка, — сказал Штайнер. — Единственное, чего не хватает, — это подушки.

— И не надо, — ответил Керн. — Я положу под голову куртку или вытащу из чемодана белье.

— У меня есть подушка, — сказала женщина.

Она вскипятила кофе, потом встала и вышла, двигаясь бесшумно и призрачно, как тень.

— Иди поешь! — сказал Штайнер и разлил кофе в две пиалы с синим луковым узором.

Они ели хлеб и колбасу… Женщина вошла

снова и принесла подушку. Она положила ее на приготовленную для Керна постель и присела к столу.

— А ты не выпьешь кофе, Лило? — спросил Штайнер.

Она покачала головой. Она молча глядела на обоих, пока они ели и пили. Потом Штайнер встал.

— Пора на боковую. Ведь ты устал, малыш?

— Да. Теперь я и сам это чувствую.

Штайнер погладил женщину по волосам.

— Иди и ты спать, Лило.

— Да. — Она послушно встала. — Спокойной ночи.

Керн и Штайнер улеглись. Штайнер погасил лампу.

— Знаешь, — сказал он из темноты через некоторое время, — жить надо так, будто туда уже никогда не вернешься.

— Да, — ответил Керн. — Для меня это нетрудно.

Штайнер зажег сигарету. Он курил медленно, длинными затяжками. Красноватая светящаяся точка каждый раз вспыхивала немного ярче.

— Хочешь закурить? — спросил он. — В темноте у них совсем другой вкус.

— Да. — Керн нашел ощупью руку Шайнера, протягивавшую ему пачку сигарет и спички.

— Как было в Праге? — спросил Штайнер.

— Хорошо. — Некоторое время Керн курил молча. Потом сказал: — Я там встретил одного человека.

— И поэтому теперь ты приехал в Вену?

— Не только поэтому. Но она тоже в Вене.

Штайнер улыбнулся в темноте.

— Представь, крошка, что ты путешественник. А у путешественников должны быть приключения; но ничего такого, что вырывает у них кусок сердца, когда надо идти дальше.

Керн промолчал.

— Это отнюдь не умаляет ценности приключений. И не служит обвинением сердцу. И тем более не виноваты те, кто дает нам по дороге немного тепла. Может быть, немного виноваты мы сами. Тем, что берем, а отдаем так мало.

— Я думаю, что вообще ничего не могу отдать. — Керн вдруг пришел в отчаяние. Что ему вообще было известно? И что он вообще мог дать Рут? Только свое чувство. А ему казалось, что это — ровно ничего. Он был молод и не ведал, что это — всё.

— Нет ничего такого, что больше, чем немного,

крошка, — сказал Штайнер. — Это — почти всё.

— Смотря по тому, чьё — всё.

Штайнер усмехнулся.

— Не бойся, крошка. Все, что человек чувствует, — правильно. Окунайся туда с головой. Только не зависай. Завтра пойдем к Поцлоху…

— Спасибо. Я здесь наверняка отлично высплюсь…

Керн отложил в сторону свою сигарету и уткнулся в подушку незнакомой женщины. Он все еще был в отчаянии; но и почти что счастлив.

IX

Директор Поцлох был шустрый маленький человек с растрепанными усами, огромным носом и пенсне, которое вечно сваливалось с носа. Он всегда страшно торопился; больше всего тогда, когда делать было нечего.

— Что случилось? Быстро! — сказал он, когда Штайнер зашел к нему с Керном.

— Нам ведь нужны подсобники, — сказал Штайнер. — Днем — для уборки, вечером — для телепатических опытов. Вот я привел. — Он указал на Керна.

— Он что-нибудь умеет?

— Он сумеет все, что нам понадобится.

Поцлох прищурился.

— Знакомый? Что он просит?

— Еда, жилье и тридцать шиллингов. Пока.

— Это целое состояние! — вскричал директор Поцлох. — Гонорар кинозвезды! Вы хотите меня разорить, Штайнер? Почти такие деньги платят легально нанятому рабочему, — прибавил он миролюбиво.

— Я согласен без денег, — быстро отреагировал Керн.

— Браво, юноша! Вот так становятся миллионерами! Скромность способствует карьере! — Поцлох шумно высморкался и поймал соскользнувшее с носа пенсне. — Но вы не знаете Леопольда Поцлоха, последнего филантропа! Вы получите гонорар. Пятнадцать шиллингов наличными в месяц. Я сказал: гонорар, дорогой друг. Гонорар, не жалованье! С этой минуты вы — артист. Пятнадцать шиллингов гонорара — это больше, чем тысяча шиллингов жалованья. Он умеет еще что-нибудь, особенное?

— Немного играет на рояле, — сказал Керн.

Поцлох энергично насадил на нос пенсне.

— Умеете играть тихо? Для настроения?

— Тихо лучше, чем громко.

— Отлично! — Поцлох преобразился в фельдмаршала. — Пусть подрепетирует что-нибудь египетское. Для распиленной мумии и дамы без живота нам пригодится музыка.

Он исчез. Штайнер, качая головой, смотрел на Керна.

— Ты подтверждаешь мою теорию, — сказал он. — Я всегда считал евреев самым глупым и легковерным народом на свете. Мы бы вырвали у него чистых тридцать шиллингов.

Керн улыбнулся.

— Ты не учитываешь одного: панического страха, воспитанного в нас за несколько тысяч лет погромов и гетто. Если принять их в соображение, то евреи — просто отчаянно смелый народец. И в конце концов, я всего лишь жалкий полукровка.

Штайнер ухмыльнулся.

— Ну ладно, тогда пошли есть мацу. Мы собирались отпраздновать праздник кущей. Лило — отличная повариха.

Заведение Поцлоха состояло из трех аттракционов: карусели, тира и панорамы мировых сенсаций. Штайнер сразу же, с утра, ввел Керна в курс его обязанностей. Он должен был чистить бронзовые части лучших лошадей карусели и подметать карусель.

Керн принялся за работу. Он вычистил не только лошадей, но и оленей, которые качались в такт, и свиней, и слонов. Он так углубился в это занятие, что не услышал, как к нему подошел Штайнер.

— Пойдем, малыш. Пора обедать!

— Уже опять пора есть?

Штайнер кивнул.

— Уже опять. Немного непривычно, а? Ты оказался в артистической среде; здесь царят самые буржуазные на свете нравы. Даже полдник бывает. Кофе и пирожные.

— Как в сказке! — Керн вылез из гондолы, привязанной к киту. — Господи, Штайнер! — сказал он. — В последнее время все складывается так удачно, что прямо страшно становится. Сначала в Праге, а теперь здесь. Вчера я еще не знал, где буду ночевать, а сегодня у меня работа, жилье и приглашение на обед. Я еще не могу в это поверить!

— Принимай все как есть, — ответил Штайнер, — без размышлений! Старое правило странствующих и путешествующих.

— Хоть бы это счастье продлилось еще немного.

— Место солидное, — сказал Штайнер. — Месяца на три. До холодов.

Лило поставила на траве около вагончика колченогий стол. Она принесла большую миску с овощным супом и мясо и присела к Штайнеру и Керну. В воздухе чувствовалось легкое дыхание осени, день был ясный, на лужайке трепыхалось развешанное для сушки белье, в том числе несколько желто-зеленых клоунских балахонов.

Штайнер с наслаждением потянулся.

— Что значит здоровый образ жизни! А теперь пора в тир.

Он показал Керну, как заряжать ружья.

— Существует две категории стрелков, — сказал он. — Тщеславные и жадные.

— Как и в жизни, — проблеял пробегавший мимо директор Поцлох.

— Тщеславные стреляют по картам и номерам, — развивал свою мысль Штайнер. — Они неопасны. Жадные хотят кое-что добыть. — Он показал на несколько этажерок у задней стены тира, заваленных игрушечными мишками, куклами, пепельницами, бутылками, бронзовыми фигурками, предметами домашнего обихода и тому подобными вещами. — Им нужно дать выиграть. А именно то, что лежит на нижних полках. Но если такой стрелок подбирается к пятидесяти очкам, это значит, что он хочет взять

приз с верхних полок, где призы идут по десять шиллингов и больше. Тут ты подсовываешь ему волшебные пули оригинальной конструкции директора Поцлоха. Они выглядят точно так же, как и остальные. Они вот здесь, с этой стороны. Клиент весьма удивится, когда выбьет всего лишь двойку или тройку. Немного меньше пороху, понятно?

— Да.

— Главное, никогда не менять ружье, молодой человек! — пояснил вновь оказавшийся у них за спиной директор Поцлох. — Ружье вызывает у клиентов подозрения. Пули — никогда! И потом — соблюдать баланс! Пусть люди получат свой выигрыш. Но надо же и заработать. Вот здесь-то и необходимо установить баланс. Если вы умеете это сделать, вы художник жизни. Не говорите лишнего. Если клиент приходит часто, он, конечно, имеет право на третью полку.

— Тот, кто просадил пять шиллингов, пусть выиграет бронзовую богиню, — сказал Штайнер. — Она стоит шиллинг.

— Молодой человек, — вдруг с патетической угрозой воскликнул Поцлох, — я должен обратить ваше внимание на одно обстоятельство: на главный приз. Его выиграть нельзя, вы поняли?

Это частная собственность из моей квартиры: роскошная вещь.

Он указал на серебряную корзину для фруктов весьма почтенного вида, в которой помещались двенадцать серебряных тарелочек и приборов.

— Вы должны скорее умереть, чем допустить попадания в шестидесятку. Обещайте мне это!

Керн обещал. Поцлох вытер со лба пот и подхватил пенсне.

— Подумать страшно! — пробормотал он. — Жена меня убьет! Семейная реликвия, молодой человек, — закричал он, — семейная реликвия в наше безнравственное время! Вы знаете, что такое семейная реликвия? Бросьте, откуда вам это знать…

Он усвистал прочь. Керн посмотрел ему вслед.

— Не так все скверно, — сказал Штайнер. — Наши ружья все равно были изготовлены во времена осады Трои. И кроме того, если станет горячо, Лило тебя выручит.

Они прошли к «Панораме мировых сенсаций». Панорама представляла собой будку, обклеенную пестрыми плакатами. Будка возвышалась на трехступенчатом постаменте. Спереди была пристроена касса в форме китайской пагоды — идея Леопольда Поцлоха.

Штайнер указал на плакат с изображением мужчины, чьи глаза метали молнии.

— Альваро, чудо телепатии, — это я, крошка. А ты будешь моим ассистентом.

Они вошли в полутемное и душное помещение. Несколько рядов пустых стульев, расставленных в художественном беспорядке, напоминали привидения. Штайнер поднялся на сцену.

— Ну, слушай внимательно! Один из зрителей прячет у кого-то некий предмет; обычно это пачка сигарет, коробок спичек или, как ни странно, французская булавка. Бог знает, откуда эти люди всегда извлекают булавки! Я должен их обнаружить. Заинтересованному зрителю полагается выйти на сцену, я беру его за руку и начинаю шустрить. Либо этим зрителем оказываешься ты, тогда ты просто ведешь меня куда надо, сжимая мне руку тем сильнее, чем ближе мы к спрятанному предмету; легкое похлопывание средним пальцем означает, что предмет обнаружен. Это просто. Я ищу, пока ты не просигналишь. Движение руки вверх или вниз означает, что искать надо выше или ниже.

Директор Поцлох с грохотом возник в дверях.

— Усваивает?

— Мы как раз репетируем, — отозвался Штай-

нер. — Садитесь, господин директор, и спрячьте что-нибудь у себя. Есть у вас булавка?

— Разумеется! — Поцлох схватился за лацкан пиджака.

— Разумеется, у него есть булавка! — Штайнер отвернулся. — Спрячьте ее. Теперь, Керн, подойди и веди меня.

Леопольд Поцлох с хитрым видом взял булавку и воткнул ее в подметку своего ботинка.

— Давайте, Керн, — сказал он.

Керн приблизился к сцене и взял Штайнера за руку. Он подвел его к Поцлоху, и Штайнер начал искать.

— Я боюсь щекотки, Штайнер, — прыснул Поцлох и зашелся визгом.

Через несколько минут Штайнер нашел булавку. Они повторили эксперимент еще несколько раз. Керн усвоил сигналы, и время, за которое Штайнер обнаруживал у Поцлоха коробок спичек, становилось все короче.

— Очень хорошо, — сказал Поцлох. — Потренируетесь еще, после обеда. Ну а теперь главное: выступая в качестве зрителя, следует робеть, понимаете? Публика не должна учуять подвоха. Поэтому извольте робеть! Давайте попробуем, Штайнер, я покажу ему, как надо!

Он уселся на стул рядом с Керном. Штайнер поднялся на подмостки.

— Итак, я прошу кого-нибудь из почтеннейших господ, — провозгласил он трубным голосом, заполнившим пустую будку, — подняться сюда, на сцену! Только через соприкосновение рук, без единого слова, произойдет передача мыслей, и спрятанный предмет будет обнаружен!

Директор Поцлох подался вперед, как будто собирался встать и что-то сказать. Потом он начал робеть. Он ерзал на стуле, сдергивал с носа пенсне и смущенно оглядывался. Потом он, как бы извиняясь, улыбнулся, немного приподнялся со стула, снова быстро сел, наконец собрался с силами и сосредоточенно, смущенно, колеблясь и сгорая от любопытства, двинулся к изнемогавшему от хохота Штайнеру.

Перед помостом он обернулся.

— Теперь скопируйте это, молодой человек! — самодовольно подбодрил он Керна.

— Это нельзя скопировать! — воскликнул Штайнер.

Поцлох польщенно ухмыльнулся.

— Играть застенчивость — я имею в виду настоящую застенчивость — довольно трудно, верьте старому театральному волку.

— Он застенчив от природы, — объявил Штайнер, — он справится.

— Отлично! Мне пора на лотерею.

Поцлох ушел.

— Вулканический темперамент! — одобрил шефа Штайнер. — Ему ведь за шестьдесят! Теперь я покажу тебе, что делать, если ты не сумеешь робеть, а робеть будет другой. У нас десять рядов. В первый раз ты проводишь рукой по волосам, показывая номер ряда, где спрятан предмет. Просто числом пальцев. Во второй раз сигналишь порядковый номер стула, считая слева. Потом незаметно хватаешься за то место, где он примерно запрятан. А уж я его найду…

— И этого достаточно?

— Достаточно. Человек феноменально неизобретателен в таких вещах.

— Мне кажется, это слишком просто.

— Жульничать надо просто. Сложное мошенничество почти никогда не удается. Сегодня после обеда порепетируем еще. Лило тоже подсобит. Теперь я покажу тебе этот гроб с музыкой. Настоящая музейная редкость. Сооружен в доисторическую эпоху.

— Я, наверное, слишком плохо играю.

— Чушь! Подбери несколько приятных ак-

кордов. Когда распиливаем мумию, играешь медленно и торжественно; когда демонстрируем даму без живота, ускоряешь темп и синкопируешь. Тебя же все равно никто не слушает.

— Хорошо. Я порепетирую, а потом сыграю тебе.

Керн забрался в чулан за сценой, из которого на него скалился желтыми клавишами старый рояль. Поразмыслив, он выбрал для мумии «Храмовый танец» из «Аиды», а для отсутствующего живота — салонную пьесу «Сон майского жука в брачную ночь». Он барабанил по клавишам и думал о Рут, о Штайнере, о неделях покоя, об ужине и о том, что никогда еще в жизни ему так не везло.

Через неделю в Пратере появилась Рут. Она пришла как раз в тот момент, когда началось ночное представление в «Панораме сенсаций». Керн посадил ее в первом ряду. Потом он в несколько возбужденном состоянии удалился, дабы обслужить рояль. По такому торжественному случаю он изменил программу. Под мумию он сыграл «Японскую серенаду при факелах», а под даму без живота — «Мерцай, светлячок!». Этот репертуар был более эффектным. Затем для Мунго — австралийского дикаря — он по собственной

инициативе исполнил пролог из «Паяцев», свой коронный номер, где можно было блеснуть арпеджио и октавами.

После представления его поймал Леопольд Поцлох.

— Первоклассно! — сказал он с одобрением. — Намного темпераментнее, чем обычно! Выпили?

— Нет, — возразил Керн. — Просто хорошее настроение…

— Молодой человек! — Поцлох словил свое пенсне. — Кажется, вы до сих пор меня обманывали! Мне бы следовало потребовать у вас назад гонорар! С сегодняшнего дня извольте всегда быть в хорошем настроении. Артист обязан это уметь, понятно?

— Да.

— А в качестве компенсации вашего долга будете теперь играть под ручных тюленей. Что-нибудь классическое, понятно?

— Хорошо, — сказал Керн. — Я знаю кусок из Девятой симфонии; это подойдет.

Он вошел в будку и сел на один из задних рядов. Между чьей-то шляпой с пером и чьей-то лысиной он увидел далеко впереди, в облаке сигаретного дыма, голову Рут. Ему вдруг показалось, что это самая строгая и красивая голова на свете.

Иногда он терял ее из виду, когда зрители двигались и смеялись; потом она снова возникала в поле его зрения — внезапным, далеким, нежным видением, и Керну не верилось, что головка эта принадлежала кому-то, с кем он потом заговорит и пойдет рядом по улице.

На сцене появился Штайнер в черном трико, на котором было намалевано несколько астрологических знаков. Толстая дама спрятала свою губную помаду в нагрудный карман какого-то молодого парня, и Штайнер пригласил желающих из публики подняться к нему на сцену.

Керн начал робеть. Он гениально робел; уже очутившись в середине прохода, он еще попытался вернуться на свое место. Поцлох взглядом выразил ему свое одобрение — и совершенно зря, потому что это не было артистическим нюансом зрелого мастера: просто Керн вдруг почувствовал, что не в силах пройти мимо Рут.

Потом все прошло как по маслу и оказалось совсем легко.

После представления Поцлох знаком подозвал Керна.

— Молодой человек, — сказал он, — что с вами сегодня случилось? Вы робели классически. Даже вспотели от смущения. Я знаю, как трудно

сыграть выступивший на лбу пот. Как вы это сделали? Задержали дыхание?

— Я думаю, это просто мандраж.

— Мандраж? — Поцлох просиял. — Наконец-то! Истинное волнение настоящего артиста перед выходом на сцену! Я вам кое-что скажу: вы играете под тюленей, а с этой минуты и под «Лесного человека из Нойкельна», и я повышаю вам гонорар на пять шиллингов. Согласны?

— Согласен! — сказал Керн. — И даете десять шиллингов аванса.

Поцлох изумленно воззрился на него.

— Вы и слово «аванс» уже знаете? — Он вытащил из кармана купюру в десять шиллингов. — Теперь у меня нет никаких сомнений: вы в самом деле — артист!

— Ну, дети мои, — сказал Штайнер, — бегите! Но к часу возвращайтесь на ужин. Будут горячие пироги, священное национальное блюдо русских. Верно, Лило?

Лило кивнула.

Керн и Рут пересекли луг за тиром и пошли к карусели. Свет фонарей и музыка большой площади хлынули им навстречу светлой сверкающей волной и захлестнули их рокотом безумной веселости.

— Рут! — Керн взял ее за руку. — Мы сегодня устроим роскошный вечер! Я истрачу на тебя не меньше пятидесяти шиллингов.

— Ты не сделаешь этого! — Рут остановилась.

— Сделаю! Я истрачу на тебя пятьдесят шиллингов. Вот увидишь. Пошли!

Они направились к аттракциону «Привидения». Это был гигантский комплекс с высоко в воздухе подвешенными рельсами, по которым туда-сюда шныряли маленькие вагончики, доносился смех и крики. Перед входом толпились люди. Керн протиснулся вперед, таща за собой Рут. Человек в кассе посмотрел на него.

— Привет, Жорж, — сказал он. — Снова к нам? Заходите!

Керн отворил дверь низенького вагончика.

— Влезай!

Рут глядела на него с изумлением.

Керн рассмеялся.

— Вот видишь? Как по волшебству! Нам не надо платить!

Они полетели. Вагончик резко взмыл вверх, а потом низвергся в мрачный туннель. Обвешанное цепями чудовище с визгом приподнялось и попыталось схватить Рут. Она закричала и прижалась к Керну. В следующее мгновение рас-

крылась могила, и несколько скелетов застучали костями в такт монотонного траурного марша. Сразу же после этого вагончик вынырнул из тунеля, завилял по кривой и снова рухнул в шахту. Другой вагон летел им навстречу, в нем сидели двое прижавшихся друг к другу людей, которые в ужасе глядели на них, столкновение казалось неизбежным, но вагончик резко свернул, зеркальное отражение исчезло, и они провалились в дымную пещеру, где по их лицам скользнули какие-то влажные руки.

Потом они еще проехали последнее привидение — визжавшего старца, снова вышли на свет, и вагон остановился. Они вылезли. Рут провела рукой по глазам.

— Какое все вдруг стало прекрасное! — сказала она и улыбнулась. — Свет, воздух… и можно дышать и ходить по земле…

— Ты когда-нибудь была в блошином цирке? — спросил Керн.

— Нет.

— Тогда пошли!

— Привет, Чарли! — сказала Керну женщина у входа. — У тебя выходной? Заходите! У нас как раз сегодня Александр Второй.

Керн радостно взглянул на Рут.

— Опять бесплатно! — заявил он. — Пошли!

Александром Вторым была довольно сильная, красноватая блоха, которая впервые самостоятельно выступала перед публикой. Дрессировщик нервничал; до сих пор Александр Второй выступал только в упряжке цугом, левым передним, а характер у него был неуравновешенный, непредсказуемый. Публика в количестве пяти человек, включая Рут и Керна, наблюдала за ним с огромным интересом.

Но Александр Второй работал безупречно. Он скакал рысцой, он взбирался и крутился на трапеции, и даже свой коронный трюк — свободное балансирование на штанге — он выполнил, ни разу не отпрыгнув в сторону.

— Браво, Альфонс! — Керн пожал гордому укротителю искусанную блохами руку.

— Спасибо. Как вам понравилось, мадам?

— Это было чудесно. — Рут тоже пожала ему руку. — Не понимаю, как вам вообще это удается?

— Очень просто. Главное — дрессировка. И терпение. Мне когда-то сказали, что, если иметь терпение, можно дрессировать даже камни.

Укротитель хитро прищурился.

— Знаешь, Чарли, с Александром Вторым я придумал один трюк. Я заставил эту скотину перед

представлением полчаса тянуть пушку. Тяжелую мортиру. От этого он устал. А усталость делает послушным.

— Пушку? — спросила Рут. — Неужели пушки есть даже у блох?

— И даже тяжелая полевая артиллерия. — Укротитель великодушно позволил Александру Второму в порядке поощрения укусить себя в подмышку. — Сейчас это самая популярная вещь, мадам. А то, что популярно, то и прибыльно.

— Однако они не стреляют друг в друга, — сказал Керн. — Они не истребляют друг друга — в этом они умнее нас.

Они пошли к аттракциону «Механические автогонки».

— Добрый день, Пеппи! — рявкнул человек у входа, перекрывая лязг металла. — Возьмите номер семь, он отлично таранит.

Они сорвались с места, столкнулись с другими и скоро оказались в общей сутолоке. Керн засмеялся и бросил руль. Рут, сосредоточенно нахмурившись, всерьез попыталась рулить, но тоже бросила, повернулась к Керну, словно извиняясь, и улыбнулась — редкой улыбкой, освещавшей ее лицо и придававшей ему детское выражение. Тогда вдруг становились заметными

красные полные губы, а брови не казались больше тяжелыми.

Они обошли еще полдюжины аттракционов — от считающих тюленей до индийского предсказателя будущего; им нигде не пришлось платить.

— Вот видишь, — гордо сказал Керн, — они даже путают мое имя; но нам везде свободный вход. Это — высшее проявление народного единства.

— А нас пустят бесплатно на чертово колесо? — спросила Рут.

— Конечно! Как артистов директора Поцлоха. Даже с особыми почестями. Пошли туда.

— Сервус, Шани! — сказал человек за кассой. — Барышня — невеста?

Керн кивнул, покраснел и отвел глаза от Рут.

Человек взял из лежавшей перед ним стопки две яркие почтовые открытки и вручил их Рут. Это были снимки колеса с панорамой Вены.

— Возьмите на память, барышня.

— Большое спасибо.

Они залезли в кабинку и уселись у окна.

— Я не стал объясняться с ним насчет невесты, — сказал Керн. — Это было бы слишком долго.

Рут засмеялась.

— Зато нам оказаны особые почести в виде

открыток. Только ни ты, ни я не знаем, кому бы их послать.

— Да, — сказал Керн. — Я не знаю. А у тех, кого я знаю, нет адреса.

Кабина, покачиваясь, медленно поднималась вверх, а под ней постепенно разворачивалась, как огромный веер, панорама Вены. Сначала Пратер со светлыми шнурами освещенных аллей, лежавших двойным жемчужным ожерельем на темном затылке леса; потом, как огромная брошь из рубинов и изумрудов, ярко засиял городок аттракционов; и наконец почти незаметно возник сам город, со всеми его огнями, а за ним узкий, темный дым поездов на холмах.

Они были одни в кабине, поднимавшейся все выше по широкой дуге, а потом соскользнувшей влево, — и вдруг им показалось, что это больше не кабина, а бесшумный аэроплан, и под ними медленно поворачивается земля, и они больше не принадлежат ей, а летят в призрачном самолете, который нигде не находит посадочной площадки и под которым пролетают тысяча родин, тысяча освещенных домов и комнат. Вечерний свет возвращения — до самых дальних горизонтов, лампы и квартиры, и над ними надежные крыши, и они зовут и манят, и ни одна не пускает их. Они

парят надо всем во тьме без родины и приюта, и все, что они смогли зажечь, была безутешная свеча тоски…

Окна жилого вагончика были открыты настежь. Было душно и очень тихо. Лило постелила на кровать пестрое одеяло, а на постель Керна — бархатный занавес из тира. В окне покачивались два китайских фонарика.

— Сегодня у нас венецианская ночь кочевников, — сказал Штайнер. — Вы были в маленьком концлагере?

— Что ты имеешь в виду?

— Аттракцион с привидениями.

— Да.

Штайнер рассмеялся.

— Подвалы, застенки, цепи, кровь и слезы — аттракцион вдруг стал современным, не так ли, маленькая Рут? — Он встал. — Предлагаю выпить по стакану водки. — Он взял со стола бутылку. — А вы выпьете, Рут?

— Да, большой стакан.

— А Керн?

— Двойную порцию.

— Дети, вы делаете успехи! — сказал Штайнер.

— Я должен выпить просто потому, что радуюсь жизни, — заявил Керн.

— Дай и мне стакан, — сказала Лило, вошедшая с блюдом поджаристых пирожков.

Штайнер разлил водку. Потом он поднял свой стакан и усмехнулся.

— Да здравствует депрессия! Темная мать радости жизни!

Лило поставила блюдо и принесла глиняную миску с огурцами и тарелку черного русского хлеба. Потом она взяла свой стакан и медленно выпила. Свет китайских фонариков мерцал в прозрачной жидкости, и казалось, что она пила из розового алмаза.

— Дашь мне еще стакан? — попросила она Штайнера.

— Сколько тебе угодно, моя печальная дочь степей. Рут, а как вы?

— Я тоже еще выпью.

— И мне дайте, — сказал Керн. — Мне повысили гонорар.

Они выпили, а потом ели горячие пирожки с мясом и капустой. Штайнер сидел на кровати и курил. Керн и Рут уселись на полу, на постели Керна. Лило входила и выходила и убирала посуду. Ее большая тень скользила по стенам вагончика.

— Спой что-нибудь, Лило, — сказал немного

погодя Штайнер.

Она кивнула и взяла гитару, висевшую в углу на стене. Ее голос, такой хриплый, когда она говорила, стал ясным и глубоким, когда она запела. Она сидела в полутьме. Ее обычно неподвижное лицо оживилось, а в глазах появился какой-то дикий и печальный блеск. Она пела русские народные песни и старые колыбельные песни цыган. Потом умолкла и поглядела на Штайнера. В глазах ее отражался свет.

— Пой, — сказал Штайнер.

Она кивнула и взяла несколько аккордов на гитаре. Потом начала напевать короткие однообразные мелодии, из которых иногда поднимались слова, как поднимаются птицы из темноты степей, — песни странствий, мимолетного покоя среди шатров, и казалось, что этот вагончик в неспокойном свете фонариков превращается в шатер, наскоро разбитый в ночи, а завтра всем им придется идти дальше.

Рут сидела перед Керном, прислонившись к его поднятым коленям, и он чувствовал ровное тепло ее спины. Она откинулась головой на его руки. Тепло струилось через руки в его кровь и делало его беззащитным перед неизведанными желаниями. Что-то рвалось внутрь и наружу,

что-то темное, оно было в нем и вне его, оно было в низком страстном голосе Лило и в дыхании ночи, в смятенном беге его мыслей и в сверкающем потоке, который вдруг подхватил его и понес. Он положил руки, как шаль, на узкий затылок и ощутил его податливое движение навстречу.

Керн и Рут вышли из вагончика. Стояла тихая ночь. Аттракционы были уже затянуты серыми парусиновыми тентами, шум затих, и над ярмарочной суматохой и криками, над трескотней выстрелов и пронзительными вскриками с русских гор снова бесшумно вырос лес и похоронил под собой пеструю и серую сыпь шатров.

— Ты домой? — спросил Керн.

— Не знаю. Нет.

— Давай еще побудем здесь. Побродим. Я хотел бы, чтобы завтра никогда не наступало.

— Да. Завтра — это всегда страх и неизвестность. Как здесь красиво.

Они шли сквозь темноту. Деревья над ними не шелохнулись. Они были погружены в мягкое молчание, как в невидимую вату. Листья не издавали ни малейшего шороха.

— Может, мы — единственные, кто еще не спит…

— Не знаю. Полицейские всегда не спят до-

поздна.

— Здесь нет полицейских. Здесь нет. Здесь лес. Здесь так хорошо гулять! Шагов совсем не слышно.

— Да, ничего не слышно.

— Нет, тебя я слышу. Но, может быть, и себя тоже. Не могу представить, как было без тебя.

Они пошли дальше. Было так тихо, что тишина, казалось, рокотала — словно задыхалась и ждала откуда-то издалека чего-то необычайно странного.

— Дай мне руку, — сказал Керн. — Я боюсь, что ты вдруг исчезнешь.

Рут прислонилась к нему. Он почувствовал на лице ее волосы.

— Рут, — сказал он, — я понимаю, это всего лишь чуть-чуть близости среди бегства и пустоты, но для нас это, наверное, больше, чем многое, называемое высокими словами…

Она уткнулась ему в плечо. Некоторое время они стояли молча.

— Людвиг, — сказала Рут. — Иногда мне больше никуда не хочется. Хочется просто так упасть на землю и погаснуть…

— Ты устала?

— Нет, не устала. Я не устала. Я могла бы идти

так без конца. Земля такая мягкая. Ни на что не натыкаешься.

Поднялся ветер. Листва над ними зашелестела. Керн почувствовал на руке теплую каплю. Вторая капля скользнула по лицу. Он взглянул вверх.

— Начинается дождь, Рут.

— Да.

Капли падали все ритмичнее и чаще.

— Возьми мою куртку, Рут, — сказал Керн. — Мне не холодно, я привык.

Он накинул свою куртку на плечи Рут. Она ощутила сохранявшееся еще в ней тепло и вдруг странным образом почувствовала себя в укрытии.

Ветер затих. Лес, казалось, на мгновение перевел дух, потом вспыхнула беззвучная белая молния, раздался близкий гром, и вдруг дождь обрушился с такой силой, словно молния вспорола небо.

— Бежим быстрее! — закричал Керн.

Они бросились к спрятанной под спущенным тентом карусели, неясно маячившей в темноте ночи, как молчаливая разбойничья башня. Керн приподнял парусину, они оба забрались под нее и остановились, тяжело дыша, вдруг ощутив себя в безопасности, как под большим, темным

барабаном, по которому горохом стучал дождь.

Керн схватил Рут за руку и потащил за собой. Их глаза скоро привыкли к темноте. Вокруг них, словно привидения, вставали на дыбы кони; замирали в вечном, призрачном беге олени; лебеди простирали крылья, полные таинственных сумерек, и спокойно стояли, темнея во тьме, мощные спины слонов.

— Иди сюда! — Керн усадил Рут в одну из гондол. Он собрал в колясках и каретах несколько бархатных подушек и разложил их внутри. Потом стащил с одного из слонов шитую золотом попону.

— Так, теперь у тебя одеяло как у принцессы.

Снаружи слышались длинные раскаты грома. Молнии бросали бледный, матовый отсвет в теплую темноту шатра — и тогда каждый раз выныривали пестрые рога и сбруя животных, которые мирно шествовали по вечному кругу одно за другим, как ласковое, далекое видение зачарованного рая. Керн увидел бледное лицо Рут с темными глазами и, укрывая ее, ощутил под рукой ее грудь, снова неведомую и странно притягательную, как в ту первую ночь в отеле «Бристоль» в Праге.

Гроза быстро приближалась. Гром перекрывал

стук дождя, барабанившего по натянутому тенту, с которого потоками низвергалась вода; от сильных ударов начинал дрожать пол, и вдруг, в раскатившемся эхом молчании последнего, особенно сильного сотрясения, карусель двинулась и начала медленно вращаться. Медленнее, чем днем, как бы нехотя и по чьему-то тайному принуждению… И музыка заиграла медленнее, чем днем, и как-то странно прерывалась паузами. Карусель прошла только полкруга, словно на мгновение пробудилась ото сна, потом снова остановилась, и музыка умолкла, как будто музыкальный механизм сломался от усталости, и только дождь еще шумел — дождь, древнейшая колыбельная мира.

Часть вторая

X

Площадь перед университетом была залита полуденным солнцем. Над крышами в ясном голубом воздухе кружилась стая беспокойных ласточек. Керн стоял на углу площади и ждал Рут.

Из больших дверей вышли первые студенты и начали спускаться по лестницам.

Керн вытянул шею, чтобы высмотреть коричневый берет Рут. Обычно она появлялась одной из первых. Но ее не было видно. Потом вдруг студенты перестали выходить. Напротив: некоторые из тех, кто вышел, вернулись обратно. Казалось, что-то произошло.

Внезапно, словно вышвырнутая взрывом, из двери выплеснулась буйная, сомкнутая в кучу толпа студентов. Это была драка. Теперь Керн расслышал возгласы: «Евреи — вон!», «Набейте морды пархатым!», «Гоните их в Палестину!».

Он быстро пересек площадь и встал у правого крыла здания. Ему нельзя было ввязываться в драку; но в то же время он хотел быть как можно ближе к ней, чтобы вытащить из нее Рут.

Человек тридцать студентов-евреев пытались вырваться из свалки. Тесно прижавшись друг к другу, они протискивались вниз по лестнице. Их окружала примерно сотня других, которые со всех сторон осыпали их ударами.

— Разогнать их! — орал высокий черноволосый студент, похожий на еврея больше, чем большинство преследуемых. — Хватайте их по одному!

Он встал во главе одного отряда, который с диким криком вклинился в группу евреев, стал вырывать из нее по одному человеку и бросать со ступеней другим; те немедленно начинали избивать сброшенного кулаками, связками книг и палками.

Керн тревожно искал глазами Рут. Ее нигде не было видно, и он надеялся, что она осталась в университете. Наверху на лестнице стояли еще только два профессора. Один — розоволицый, с раздвоенной седой бородой под Франца Иосифа, — улыбался, потирая руки; второй — худой и строгий — хладнокровно наблюдал за происходящей внизу свалкой.

С противоположной стороны площади быстро подошли трое полицейских. Тот, что шел впереди, остановился рядом с Керном.

— Стоп! — сказал он двоим другим. — Не вме-

шиваться!

Двое остановились.

— Евреи? — спросил один.

Первый кивнул. Тут он заметил Керна и пристально уставился на него. Керн сделал вид, что ничего не слышал. Он обстоятельно закурил сигарету и как бы ненароком прошел немного вперед. Полицейские, скрестив руки, с интересом наблюдали за избиением.

Из свалки вырвался маленький еврей. Некоторое время он стоял неподвижно, словно ослепнув. Потом увидел полицейских и бросился к ним.

— Пойдемте! — закричал он. — Скорей! Помогите! Они забьют их насмерть!

Полицейские рассматривали его как редкое насекомое. Никто из них не сказал ни слова. Какое-то мгновение маленький недоуменно глядел на них. Потом повернулся и, не сказав ни слова, пошел назад, к толпе. Не успел он сделать и десяти шагов, как от большой толпы отделилось двое студентов. Они набросились на него.

— Жид пархатый! — орал тот, что был впереди. — Жид взывает к правосудию? Сейчас ты его получишь!

Он размахнулся и ударил его по лицу, свалив с ног. Маленький попытался встать. Второй пин-

ком в живот снова повалил его на землю. Потом они схватили его за ноги и потащили по булыжнику, как тачку. Маленький тщетно пытался уцепиться за камни. Его белое лицо, на котором застыла маска ужаса, было обращено к полицейским. Из черной дыры открытого рта лилась на подбородок кровь. Он не кричал.

У Керна стало сухо во рту. Ему хотелось броситься на полицейских. Но он видел, что они наблюдают за ним. Судорожно подавив приступ ярости, он перешел на другой угол площади.

Оба студента протащили мимо него свою жертву. Их зубы сверкали, они смеялись, на лицах не было и следа злобы — только искреннее, невинное удовольствие. Они просто сияли, словно занимались каким-то спортом, а не избивали в кровь человека.

Внезапно подоспела помощь. Высокий светловолосый студент, до сих пор стоявший безучастно, с отвращением скривил губы, когда мимо него протащили маленького. Он немного закатал рукава, сделал несколько медленных шагов и потом двумя короткими увесистыми ударами уложил мучителей маленького.

Подняв измазанного в грязи маленького за воротник, он поставил его на ноги.

— Вот так, а теперь сыпь отсюда, — проворчал он. — Только быстро!

После этого он так же медленно и задумчиво, как прежде, направился к беснующейся толпе. Окинув взглядом черноволосого предводителя, он с неимоверной силой двинул его по носу и тут же еще раз, почти незаметно, в подбородок, так что тот с хрустом шмякнулся на мостовую.

В эту минуту Керн увидел Рут. Она потеряла свой берет, но уже вырвалась из свалки. Он бросился к ней:

— Скорей! Скорей, Рут! Бежим отсюда!

В первый момент она не узнала его.

— Полиция! — запинаясь, произнесла она, бледнея от возбуждения. — Надо вызвать полицию!

— Полиция не поможет! Но и нам не стоит ей попадаться! Нам надо бежать, Рут!

— Да. — Она смотрела на него, словно просыпаясь. Ее лицо изменилось. Казалось, она вот-вот заплачет. — Да, Людвиг, — сказала она странно ломким голосом. — Идем отсюда!

— Да, скорей! — Керн взял ее за руку и потянул за собой. Позади себя они услышали крики.

Группе еврейских студентов удалось вырваться. Часть из них бежала через площадь. Толпа переместилась, Керн и Рут вдруг оказались в

самой гуще.

— А, Ребекка! Сара! — один из нападающих схватил Рут.

Керн почувствовал, что в нем сорвалась какая-то пружина. Он в высшей степени изумился, увидев, что этот тип валится наземь. Керн не заметил, как удалил его.

— Отличный прямой! — одобрительно произнес голос рядом с ним.

Это был тот высокий блондин; только что он столкнул головами еще двоих.

— Невелика беда! — сказал он, бросил их наземь, как мокрые мешки, и занялся следующей парой.

Керна ударили по руке палкой. Не помня себя от ярости, он ринулся в красный туман, круша все вокруг. Он разбил вдребезги чьи-то очки и сбил кого-то с ног. Потом раздался жуткий грохот, и красный туман почернел.

Он очнулся в полицейском участке. Воротник его куртки был разодран, щека кровоточила, а голова все еще гудела. Он приподнялся и сел.

— Сервус! — сказал кто-то рядом с ним. Это был тот высокий, светловолосый студент.

— Черт возьми, — ответил Керн. — Где мы?

Блондин рассмеялся:

— В кутузке, мой дорогой. Через пару дней они нас выпустят.

— Меня не выпустят. — Керн осмотрелся вокруг. Их было восемь человек. Все, кроме блондина, — евреи. Рут среди них не было.

Блондин снова рассмеялся.

— Что вы так озираетесь? Думаете, не тех взяли? Ошибаетесь, мой дорогой! Виноват не нападающий, а пострадавший! Он — причина беспорядка. Такова новейшая психология.

— Вы не знаете, что стало с девушкой, которая была со мной? — спросил Керн.

— С девушкой? — Блондин подумал немного. — Ничего с ней не случится. Что ей станется? Девушек в драке не трогают.

— Вы уверены?

— Более или менее. К тому же быстро явилась полиция.

Керн неподвижно глядел прямо перед собой. Полиция. Вот оно. Но паспорт Рут еще действителен. Ей они ничего не сделают. Но достаточно и того, что сделали.

— Кроме нас арестовали кого-нибудь? — спросил он.

Блондин покачал головой.

— Не думаю. Я был последний. Они все никак

не решались за меня взяться.

— Точно?

— Точно. А то бы мы все были здесь. Мы же пока в камере предварительного заключения.

Керн облегченно вздохнул. Может быть, с Рут ничего не случилось.

Блондин с иронией наблюдал за Керном.

— Башка трещит, а? Так всегда бывает, если ты не виноват. Лучше уж сидеть за дело. Видите ли, единственный, кого посадили по всем правилам, — это я. Я вмешался добровольно. Поэтому-то я и веселюсь.

— Это было весьма благородно с вашей стороны.

— Какое там благородно! — блондин пренебрежительно отмахнулся. — Я старый антисемит. Но не могу смотреть спокойно на избиение младенцев. Кстати, у вас отличный короткий прямой. Сухой и резкий. Вы занимались боксом?

— Нет.

— Тогда займитесь. У вас хорошие данные. Только вы слишком горячитесь. Будь я папой евреев, я предписал бы им заниматься боксом по часу в день. Вот когда эти типы прониклись бы к вам уважением.

Керн осторожно ощупал голову.

— Мне сейчас не до бокса.

— Резиновые дубинки, — деловито объяснил студент. — Наша бравая полиция всегда на стороне победителей. Сегодня к вечеру ваша черепная коробка придет в норму. И мы начнем тренироваться. Чем-то надо же себя занять.

Он уселся на нарах поудобнее, подобрав длинные ноги, и огляделся.

— Торчим здесь уже два часа! Чертовская скука! Будь у нас хотя бы колода карт! Сыграли бы в «черного Петера». В такого рода игры может играть любой. — Он презрительно оглядел еврейских студентов.

— У меня есть колода. — Керн полез в карман. Штайнер подарил ему тогда колоду карманника. С тех пор он носил ее при себе в качестве некоего талисмана.

Студент посмотрел на него с уважением.

— Весьма похвально! Только не говорите мне, что играете в бридж! Все евреи играют в бридж, и больше ни во что.

— Я еврей наполовину. Я играю в скат, тарок, ясс и покер, — не без гордости ответил Керн.

— Превосходно. Тут вы меня обошли. Я не играю в ясс.

— Это швейцарская игра. Я вас научу, если

хотите.

— Отлично. А за это я дам вам урок бокса. Произведем обмен духовными ценностями.

Они играли до вечера. Тем временем еврейские студенты спорили о политике и справедливости. Они не пришли ни к какому результату. Керн и блондин играли сначала в ясс, потом в покер. Керн выиграл в покер семь шиллингов. Сказалась школа Штайнера. В голове у него постепенно прояснялось. Он старался не думать о Рут. Он ничего не мог для нее сделать; мысли о ней расслабили бы его. А он не хотел нервничать на допросе у следователя.

Блондин собрал карты и расплатился с Керном.

— Теперь продолжим наши игры. Вставайте! Я из вас сделаю второго Демпси!

Керн встал. Он был еще очень слаб.

— Я думаю, у меня не получится, — сказал он. — Мой череп не выдержит второго удара.

— Голова у вас достаточно ясная, чтобы экспроприировать у меня семь шиллингов, — возразил блондин с ухмылкой. — Смелее, преодолейте свое трусливое «я». Прислушайтесь к голосу вашего грубого арийского предка. Дайте хорошего пинка вашей гуманной еврейской половине!

— Я целый год только этим и занимаюсь!

— Отлично. Итак, для начала побережем голову. Начнем с ног. В боксе главное — легкость ног. Они должны пританцовывать. Пританцовывая, выбиваешь противнику зубы. Прикладное ницшеанство.

Блондин занял исходное положение, покачался на согнутых коленях и сделал несколько шагов вперед и назад.

— Повторите.

Керн повторил.

Еврейские студенты перестали дискутировать. Один из них, в очках, встал.

— А меня научите?

— Разумеется! Снимайте очки, и приступим! — Блондин похлопал его по плечу. — Пусть взыграет старая кровь Маккавеев!

Вызвались еще двое учеников. Остальные остались сидеть на нарах, но с любопытством наблюдали за происходящим.

— Двое направо, двое — налево! — дирижировал блондин. — Начинаем курс ускоренного обучения! Нужно преодолеть тысячелетнюю отсталость в сфере воспитания дикаря из цивилизованного человека. Удар наносится не рукой, удар наносится всем телом…

Он снял пиджак. Остальные последовали его примеру. Затем началось короткое объяснение упражнений и тренировка. Четверо неофитов старательно прыгали и скакали по полутемной камере.

Блондин покровительственно наблюдал за своей потеющей паствой.

— Так, — сказал он через некоторое время. — Теперь вы это усвоили. Тренируйтесь все восемь дней вашей отсидки за то, что спровоцировали у истинных арийцев приступ расовой ненависти. Так, дышите глубже. Выдох через нос. Теперь я покажу вам короткий прямой, эту сердцевину, эту пружину бокса!

Он показал, как надо было бить. Потом взял свой пиджак, свернул его валиком и, держа на высоте своего лица, приказал остальным колотить по нему. В самый разгар тренировки отворилась дверь. Вошел уборщик, неся дымящиеся миски.

— Это что же такое?! — Он быстро поставил миски и заорал в коридор: — Охрана! Быстрей! Эта банда продолжает драку даже в полиции.

В камеру ворвались двое караульных. Светловолосый студент спокойно отложил в сторону свой пиджак. Четверо учеников мгновенно попрятались по углам.

— Носорог! — весьма авторитетно адресовался блондин к уборщику. — Дурья голова! Веник ты наш тюремный! — Затем обратился к караульным: — То, что вы здесь наблюдаете, есть урок современного гуманизма. Ваше появление с дубинкой в карающей руке было избыточным. Понятно?

— Нет, — сказал один из караульных.

Блондин посмотрел на него с состраданием.

— Физическая закалка. Гимнастика! Упражнения на свежем воздухе! Теперь понятно? Неужели вот это — наш ужин?

— Ясное дело, — подтвердил уборщик.

Блондин наклонился к одной из мисок и с отвращением поморщился.

— Убрать это! — рявкнул он вдруг во всю глотку. — И вы осмеливаетесь приносить такое дерьмо? Такие помои для сына президента сената? Хотите, чтоб вас уволили? — Он поглядел на караульных. — Я буду жаловаться! Я желаю немедленно говорить с начальником округа! Завтра мой папаша из-за вас покажет министру юстиции, где раки зимуют!

Караульные ели его глазами. Они не знали, можно ли проявлять грубость или лучше проявить осторожность. Блондин не сводил с них

строгого взгляда.

— Сударь, — осторожно сказал наконец старший. — Это обычная тюремная еда.

— А разве я в тюрьме? — Блондин оскорбился до глубины души. — Я нахожусь под арестом! Разве вам неизвестна разница?

— Известна, известна! — Караульный явно сдрейфил. — Разумеется, вы имеете право питаться за свой счет. Это ваше право, сударь. Если вам угодно уплатить, служащий принесет вам гуляш.

— Наконец-то разумное слово! — Блондин несколько смягчился.

— И, может быть, кружку пива…

Блондин взглянул на караульного.

— Вы мне нравитесь! Я замолвлю за вас словечко! Как ваша фамилия?

— Рудольф Эггер.

— Отлично! Так держать! — Студент вытащил из кармана деньги и отдал уборщику. — Два гуляша с картофелем. Бутылка можжевеловки…

Караульный Рудольф Эггер открыл рот.

— Алкогольные напитки…

— Разрешены, — подхватил блондин. — Две бутылки пива, одна для караульных, другая — для нас!

— Покорнейше благодарю, — сказал Рудольф Эггер.

— Пиво свежее и холодное. А не то, — растолковывал сын президента сената уборщику, — я отпилю тебе ногу. Если пиво будет хорошим, сдача — твоя.

Уборщик радостно ухмылялся.

— Будет исполнено, господин граф! — Он сиял. — Что значит — настоящий золотой венский юмор!

Еда была доставлена. Студент пригласил Керна. Тот сначала отказывался. Он видел, что евреи сосредоточенно хлебали помои.

— Не бойтесь стать предателем! Это так современно! — подбадривал студент. — И кроме того, у нас с вами ужин картежников.

Керн уступил. Гуляш был вкусным. В конце концов, у него не было паспорта, и к тому же он был полукровка.

— Ваш отец знает, что вы здесь? — спросил он.

— Боже правый! — Студент рассмеялся. — Мой отец! У него магазин белья в Линце!

Керн изумленно воззрился на него.

— Дорогой мой, — спокойно сказал студент. — Похоже, вы не знаете, что мы живем в эпоху блефа. На смену демократии пришла демагогия.

Что вполне закономерно. Ваше здоровье!

Он откупорил можжевеловку и предложил стакан очкарику.

— Спасибо, я не пью.

— Разумеется! Так я и думал! — Блондин сам опрокинул стакан. — Хотя бы поэтому вас вечно будут преследовать все остальные! А как мы с вами, Керн? Справимся мы с этой бутылкой?

— Да.

Они осушили бутылку. Потом улеглись на нары. Керн думал, что сможет заснуть. Но он то и дело просыпался. «Проклятье, что они сделали с Рут? — думал он. — И как долго они меня здесь продержат?»

Ему дали два месяца тюрьмы. За нанесение телесных повреждений, хулиганство, сопротивление государственной власти, повторное нелегальное пребывание в стране — удивительно, как они не дали ему десяти лет после стольких обвинений.

Он простился с блондином, которого примерно в то же время отпустили. Потом его отвели вниз. Ему приказали сдать свои вещи и выдали ему тюремную одежду. Стоя под душем, он вспомнил то гнетущее чувство, которое испытал в свое время, впервые ощутив на запястьях наручники. Ему

показалось, что это было давным-давно. Теперь он воспринимал тюремную одежду только как практичную — целее будут личные вещи.

Вместе с ним в камере сидели вор, мелкий растратчик и русский профессор из Казани, который получил срок за бродяжничество. Все они вчетвером работали в пошивочной мастерской тюрьмы.

Первый вечер был ужасен. Керн твердил себе, что привыкнет, — ведь Штайнер тогда предупредил его. Но тем не менее он сидел на своих нарах, уставившись неподвижным взглядом в стену.

— Вы говорите по-французски? — вдруг спросил его профессор. Керн вздрогнул от неожиданности.

— Нет.

— Хотите научиться?

— Да.

Профессор встал.

— Мы можем начать прямо сейчас. Надо, знаете ли, занять себя чем-нибудь. Иначе от мыслей можно сойти с ума.

— Да. — Керн кивнул. — К тому же он мне пригодится. Может, я, когда выйду отсюда, отправлюсь во Францию.

Они уселись рядом на нижних нарах в углу.

Над ними бушевал растратчик. Огрызком карандаша он малевал на стене похабные рисунки. Профессор был очень худ, тюремная роба болталась на нем, как на вешалке. У него были рыжая всклокоченная борода и детское лицо с голубыми глазами.

— Мы начнем с самого прекрасного и самого бесполезного слова на свете, — сказал он с чудесной улыбкой без малейшей иронии, — со слова «свобода» — la liberté.

За это время Керн многому научился. Через три дня он уже умел во время прогулки во дворе разговаривать с заключенными впереди и сзади себя, не двигая при этом губами. В пошивочной мастерской он таким же образом старательно повторял за профессором французские глаголы.

Вечером, когда французский уже не лез в усталую голову, вор объяснял Керну, как изготовлять отмычки из проволоки и ублажать сторожевых собак. Он рассказывал ему, когда созревают плоды на фруктовых деревьях, и учил незаметно заползать на ночлег в стог сена. Растратчик контрабандой протащил в камеру несколько номеров «Элегантного мира». Кроме Библии это было все их чтение, и они узнали из него, как следует одеваться на дипломатические приемы

и когда носить к фраку красную или белую гвоздику. К сожалению, в одном пункте вор оказался неисправим: он утверждал, что к фраку положено надевать черный галстук — именно так были одеты кельнеры во всех известных ему ресторанах.

На пятый день, когда их утром выводили из камеры, уборщик так сильно толкнул Керна, что тот ударился об стену.

— Куда прешь, осел! — рявкнул уборщик.

Керн сделал вид, что не может удержаться на ногах. Он хотел двинуть уборщика по голени, но сделать это как бы нечаянно, чтобы его не наказали. Однако он не успел осуществить своего намерения, так как уборщик потянул его за рукав и прошептал:

— Через час попросись в туалет. Скажи, что у тебя колики в животе. Вперед! — заорал он потом. — Думаешь, мы тебя ждать будем?

Во время прогулки Керн обдумывал, не хочет ли уборщик как-то подставить его. Оба терпеть не могли друг друга. Потом, в пошивочной, он беззвучно, шепотом, обсудил это дело с вором, который досконально разбирался во всех тонкостях тюремной жизни.

— Выйти в туалет в любом случае стоит, — объяснил тот. — Это твое человеческое право. На

этом они тебя не подловят. Одни выходят чаще, другие реже, дело житейское. Но потом гляди в оба.

— Ладно. Потом видно будет. Как-никак развлечение.

Керн симулировал колики, и уборщик вывел его в туалет. У дверей он оглянулся.

— Хочешь сигарету? — спросил он.

Курить в тюрьме запрещалось. Керн рассмеялся.

— Вот оно что! Нет, милый мой, на этом ты меня не поймаешь!

— Ох, заткни пасть. Думаешь, хочу тебя заложить? Штайнера знаешь?

Керн уставился на уборщика.

— Нет, — сказал он, подумав. Он решил, что это ловушка, чтобы поймать Штайнера.

— Значит, Штайнера ты не знаешь?

— Нет.

— Ладно, тогда слушай. Штайнер просил передать, что Рут в безопасности. Можешь не беспокоиться. Когда выйдешь, просись в Чехию, а потом вернешься. Ну, теперь что скажешь?

Керн вдруг почувствовал, что дрожит.

— Теперь закуришь?

Керн кивнул. Уборщик вытащил из кармана

пачку «Мемфиса» и коробок спичек.

— На, бери! От Штайнера. Если тебя засекут, я ни при чем. А теперь садись и покури. Дым выдыхай в парашу. Я посторожу за дверью.

Керн сел на парашу, вытащил из пачки сигарету, разломил пополам и закурил одну половинку. Он курил медленно, глубоко затягиваясь. Рут в безопасности. Штайнер начеку. Он глядел на грязную стену, испещренную похабными рисунками, и ему казалось, что на свете нет места прекраснее.

— Почему ты не сказал, что знаешь Штайнера? — спросил его уборщик, когда он вышел из туалета.

— Возьми сигарету, — сказал Керн.

Уборщик покачал головой:

— И не подумаю!

— А ты-то откуда его знаешь? — спросил Керн.

— Однажды он вытащил меня из одной поганой истории. Чертовски поганой истории. Ну, пошли!

Они вернулись в пошивочную. Профессор и вор вопросительно поглядели на Керна. Он кивнул и сел.

— Все в порядке? — беззвучно спросил профессор.

Керн снова кивнул.

— Итак, продолжим, — зашептал профессор в свою рыжую бороду. — Aller. Неправильный глагол. Je vais, tu vas, il…

— Нет, — возразил Керн. — Сегодня мы возьмем другой глагол. Как будет по-французски «любить»?

— Любить? Aimer. Но это глагол правильный.

— Именно поэтому, — сказал Керн.

Через месяц выпустили профессора, через шесть недель — вора; спустя еще несколько дней освободили растратчика. Напоследок он попытался обратить Керна в гомосексуализм, но Керн был достаточно силен, чтобы дать ему отпор. Он нокаутировал его прямым ударом в челюсть — уроки светловолосого студента не пропали даром; после этого растратчик оставил его в покое.

Несколько дней он прожил в камере один. Потом к нему посадили двух новеньких. Он сразу понял, что они эмигранты: один постарше, очень молчаливый; младшему было лет тридцать. Потрепанные костюмы наглядно свидетельствовали об усилиях, затраченных на то, чтобы содержать их в чистоте. Старший сразу же улегся на нары.

— Откуда вы? — спросил Керн младшего.

— Из Италии.

— Как там?

— Было хорошо. Я пробыл там два года. Теперь это кончилось. Они все взяли под контроль.

— Два года! — сказал Керн. — Это кое-что значит!

— Да, но здесь меня забрали через неделю. Здесь всегда так?

— За последние полгода стало хуже.

Новенький подпер руками голову.

— Везде становится хуже. Что же будет? Как в Чехословакии?

— Тоже хуже. Там слишком много народу. А вы были в Швейцарии?

— Швейцария слишком маленькая. Тебя сразу замечают. — Человек, не мигая, глядел перед собой. — Я все-таки хотел бы попасть во Францию.

— Вы говорите по-французски?

— Да, конечно. — Человек взъерошил волосы.

Керн посмотрел на него.

— Хотите, поговорим немного по-французски? Я как раз научился, и мне не хочется забывать.

Человек изумленно поднял на него взгляд.

— Говорить по-французски? — он сухо рассмеялся. — Нет, я не могу! Быть брошенным за решетку и при этом беседовать по-французски

— это слишком абсурдно! Право, у вас какие-то странные идеи!

— Отнюдь. Просто у меня странная жизнь.

Керн подождал еще немного, не уступит ли новенький. Потом забрался на свои нары и повторял неправильные глаголы до тех пор, пока не заснул.

Он проснулся оттого, что кто-то его растолкал. Это был человек, не пожелавший говорить по-французски.

— Помогите! — прохрипел он. — Быстрей! Он повесился!

Спросонья Керн не сразу понял, в чем дело. Приподнявшись на нарах, он увидел в мутном свете раннего утра на фоне окна черную фигуру с опущенной головой. Керн соскочил с нар.

— Нож! Скорее!

— У меня нет ножа! У вас есть?

— Черт побери, нет! Отобрали! Я приподниму его. Развяжите ремень над его головой!

Керн влез на нары и попытался приподнять повешенного. Он был тяжелый, как целый мир. Он был много тяжелее, чем казалось. Его одежда была холодной и мертвой, как он. Керн выбивался из сил, с трудом ему удалось слегка приподнять труп.

— Скорей! — хрипел он. — Развяжите ремень! Я его долго не удержу.

— Да. — Сосед влез на верхние нары и стал возиться с узлом на шее повешенного. Внезапно он отпустил ремень, закачался, и его вырвало.

— Чертово свинство! — заорал Керн. — Вы больше ни на что не способны? Развяжите его! Скорей!

— Я не могу на него смотреть! — простонал тот. — Эти глаза! Этот язык!

— Тогда спускайтесь! Придержите его, а я сниму!

Он передал ему в руки тяжелое тело, а сам вспрыгнул на нары. Ему стало жутко. Вздувшееся, белесое лицо, выкатившиеся из орбит, как бы лопнувшие глаза, толстый черный язык… Керн схватился за тонкий ремень, глубоко врезавшийся в разбухшую шею.

— Выше! — закричал он. — Приподнимите его!

Он услышал внизу курлыканье. Человека снова вырвало. Одновременно человек выпустил повешенного, и у мертвого от рывка выкатились наружу глаза и еще больше высунулся язык, словно он каким-то жутким образом издевался над беспомощными живыми.

— Дьявольщина! — Керн отчаянно пытался

придумать, как привести в чувство человека внизу. Внезапно в мозгу его всплыла сцена между светловолосым студентом и уборщиком.

— Если ты, тюфяк паршивый, сию секунду не придержишь его, — заорал он, — я из тебя вытряхну все кишки! Давай, держи его, трус несчастный! — При этом он пнул его ногой и почувствовал, что не промахнулся. Он пнул еще раз что было мочи. — Я тебе череп раскрою! — орал он. — Сейчас же подними его!

Человек внизу молча приподнял тело.

— Выше! — буйствовал Керн. — Выше, грязная ты тряпка!

Мужчина приподнял тело. Керну удалось расслабить петлю и снять ее с головы повесившегося.

— Так, теперь опускаем!

Они подхватили и уложили вялое тело на нары. Керн разорвал жилет и пояс на брюках.

— Колотите в дверь! Зовите охрану, — сказал он. — Я попробую сделать искусственное дыхание.

Он встал на колени позади черно-серой головы, взял холодные, мертвые руки в свои теплые, полные жизни, и начал двигать руками покойника. Он слышал, как при поднятии и опускании

грудной клетки раздавались глухие, кряхтящие всхлипы, несколько раз внимательно прислушивался, но дыхания не было. Мужчина, не пожелавший говорить по-французски, возился у двери и кричал:

— Караул! Караул!

Его крик глухим эхом отдавался в камере.

Керн продолжал работать. Он знал, что нужно делать это много часов подряд, но через некоторое время сдался.

— Он дышит? — спросил второй.

— Нет. — Керн вдруг почувствовал чудовищную усталость. — Да ведь это бессмысленно. Человек хотел умереть. Почему бы и не позволить ему этого?

— Но бога ради…

— Успокойтесь вы, черт возьми! — сказал Керн тихо и угрожающе. Скажи тот еще хоть слово — и он за себя не поручился бы. Он знал все, что собирался сказать ему этот человек. Но он знал и то, что тот, другой, даже если бы и ожил, повесился бы снова.

— Попытайтесь сами, — сказал он, немного спокойнее. — Наверное, ему было лучше знать, почему он не захотел жить.

Тут появилась охрана.

— Что за скандал? Вы что, спятили?

— Здесь один повесился.

— Господи! Вот еще дурь! Он жив?

Охранник открыл дверь. От него пахло сервелатом и вином. Вспыхнул фонарик.

— Он мертв?

— Вероятно.

— Тогда подождем до утра. Пусть им займется начальство. Знать ничего не знаю.

Он собрался уходить.

— Стойте! — сказал Керн. — Вы немедленно позовете санитаров из наряда «скорой помощи».

Охранник изумленно воззрился на него.

— Если они не явятся через пять минут, будет скандал, и вы можете потерять службу.

— А вдруг его еще можно спасти! Кислородом! — крикнул из угла второй заключенный, продолжавший делать повесившемуся искусственное дыхание.

— Хорошо начался денек! — пробормотал охранник и удалился.

Через несколько минут пришли санитары и унесли мертвого. Спустя некоторое время снова явился охранник.

— Сдать ремни, шнурки и подтяжки!

— Я не повешусь, — сказал Керн.

— Все равно, обязаны сдать.

Они отдали все эти вещи и уселись на нары. Кисло пахло блевотиной.

— Через час рассветет, тогда вы сможете это убрать, — сказал Керн.

В горле у него пересохло. Очень хотелось пить. Все в нем было сухим и пыльным. Он чувствовал себя так, словно наглотался угля и ваты. Словно никогда не сможет очиститься.

— Ужасно, правда? — сказал, помолчав, второй.

— Нет, — ответил Керн.

На следующий день вечером их перевели в большую камеру, где уже сидели четыре человека. Они все показались Керну эмигрантами; но это его не заботило. Он очень устал и залез на нары. Но заснуть не смог. Он лежал с открытыми глазами, уставившись на маленький квадрат зарешеченного окна. Поздно ночью привели еще двоих. Керн их не видел, только слышал, как они возились внизу.

— Интересно, когда они нас отпустят? — раздался через некоторое время голос одного из новеньких.

Ответом ему было молчание.

Потом второй проворчал басом:

— Зависит от того, что вы натворили. Если убийство в целях грабежа, тогда пожизненное, если политическое убийство — то восемь дней.

— Меня второй раз забрали без паспорта.

— Это хуже, — прорычал бас. — Можете спокойно рассчитывать на месяц.

— Господи! А у меня в чемодане курица. Жареная курица! Она же испортится, пока я выйду!

— Несомненно! — подтвердил бас.

Керн прислушался.

— А раньше у вас не оставалась курица в чемодане? — спросил он.

— Да! Правильно! — изумленно сказал новенький после некоторого размышления. — Откуда это вам известно, сударь?

— Ведь и тогда вас арестовали?

— Разумеется! А кто меня спрашивает? Вы кто? Каким образом вы узнали об этом, сударь? — возбужденно вопрошал голос из темноты.

Керн смеялся. Он рассмеялся так внезапно, что чуть было не задохнулся. Это было как непроизвольный рефлекс, как болезненная судорога, и в ней растворилось все, что копилось в нем эти два месяца: ярость из-за ареста, заброшенность, страх за Рут, энергия, затраченная на то, чтобы не потерять себя, ужас при виде повесившегося;

он смеялся и смеялся, неудержимо и раскатисто, и не мог остановиться.

— Пулярка! — захлебнулся он. — В самом деле, это Пулярка! И опять с курицей в чемодане! Вот так случай!

— Вы считаете, что это случай? — гневно возразил Пулярка. — Это проклятье, рок, судьба, вот что это!

— Похоже, вам не везет на жареных кур, — сказал бас.

— Тихо! — гаркнул кто-то из заключенных. — Черт бы побрал ваших кур! Тут люди, лишенные отечества, а вы по ночам разводите у них такой пар в брюхе!

— Может, между ним и курицей существует еще более глубинная взаимосвязь, — витийствовал бас.

— А с жареной лошадью-качалкой у него нет взаимосвязи? — проворчал человек, лишенный отечества.

— Или с раком желудка, — загоготал чей-то писклявый голос.

— Может, он в своем прошлом существовании был лисицей, — предположил бас. — А теперь куры ему мстят.

Пулярка еще раз взял слово.

— Подло и гнусно издеваться, когда у человека такое несчастье!

— А когда же еще? — елейно полюбопытствовал бас.

— Тихо! — заорал из-за двери охранник. — Здесь приличная тюрьма, а не ночной притон!

XI

Керн подписал свою вторичную высылку из Австрии. Она была пожизненной. На этот раз он больше ничего не чувствовал. Он просто подумал, что завтра утром, наверное, снова окажется в Пратере.

— У вас еще остались какие-то личные вещи в Вене? — спросил чиновник.

— Нет, никаких.

— Вам известно, что, если вы еще раз появитесь в Австрии, получите три месяца тюрьмы?

— Да.

Некоторое время чиновник смотрел на Керна. Потом вытащил из кармана и придвинул к нему пятишиллинговую купюру.

— Это вам. Выпейте по этому поводу. Я тоже не могу изменить законы. Рекомендую «Гумпольдскирхнер». Это самое лучшее вино в нынешнем году. А теперь марш!

— Спасибо! — сказал изумленный Керн. Он впервые получил что-то в подарок от полиции. — Большое спасибо! Деньги мне очень кстати!

— Ладно, ладно! Теперь постарайтесь выбраться. Ваш сопровождающий ждет за дверью.

Керн спрятал деньги. На них можно было не только выпить две четвертинки «Гумпольдскирхнера», но и проехать по железной дороге до Вены. Это было менее опасно.

Они поехали тем же путем, что и первый раз со Штайнером. Керну казалось, что с тех пор прошло десять лет.

От станции пришлось еще идти пешком. Через некоторое время им попалась по дороге корчма, где торговали молодым вином. Несколько столов и стульев были выставлены на улицу. Керн вспомнил совет чиновника.

— Хотите выпить по стаканчику? — спросил он сопровождающего.

— Что?

— По стаканчику «Гумпольдскирхнера». Это самое лучшее вино в нынешнем году.

— Почему бы и нет! Все равно сейчас еще слишком рано для таможни.

Они сидели в палисаднике и пили терпкий светлый «Гумпольдскирхнер». Кругом стояли

покой и тишина. Небо было ясным, высоким и зеленым, как яблоко. Хозяин принес кувшин и поставил его на стол. Это был первый вечер, который Керн провел на воздухе. Два месяца он не видел открытого неба и открытого пространства. Ему казалось, что он впервые снова задышал. Он сидел тихо, наслаждаясь той каплей покоя, которая у него еще оставалась. Через пару часов снова начнутся заботы и травля.

— Нет, в самом деле, от этого можно осатанеть! — вдруг проворчал чиновник.

Керн взглянул на него.

— Я тоже так думаю!

— Я имею в виду нечто иное.

— Могу себе представить.

— Я имею в виду, вас, эмигрантов, — мрачно пояснил чиновник. — Из-за вас теряешь профессиональную честь. Только и делаешь, что конвоируешь эмигрантов. Каждый день одно и то же. Всегда из Вены на границу. Разве это жизнь! Не то что добрый старый способ конвоировать в наручниках!

— Возможно, через год-два вы и будете доставлять нас до границы в наручниках! — сухо ответил Керн.

— Это совсем другое дело! — Чиновник по-

смотрел на него довольно презрительно. — В полицейском отношении вы — сущее ничто! Вот раз мне пришлось конвоировать с револьвером на изготовку четырехкратного убийцу Мюллера Второго… А два года назад я сопровождал убийцу женщин Бергмана и Бруста-Потрошителя, не говоря уж об Осквернителе трупов Тедди Блюмеле! Вот было золотое время! А нынче с вами можно подохнуть от скуки! — Он вздохнул и допил свой стакан. — Хотя… Вы, по крайней мере, знаете толк в вине. Выпьемте еще по маленькой! На этот раз я ставлю.

— Хорошо.

Они в полном согласии распили вторую четвертинку. Потом поднялись. Тем временем стемнело. Над дорогой стремительно проносились летучие мыши и ночные бабочки. Таможня была ярко освещена. Все старые чиновники были еще на месте. Сопровождающий сдал им Керна.

— Посидите пока у нас, — сказал один из чиновников. — Еще рано.

— Я знаю, — ответил Керн.

— Вот как? Знаете?

— Конечно. Границы — это наша родина.

На рассвете Керн снова был в Пратере. Он не рискнул подойти к жилому вагончику Штайнера,

чтобы разбудить его, так как не знал, что произошло за это время. Он бродил вокруг. Деревья яркими пятнами выступали из тумана. Пока он сидел в тюрьме, наступила осень. Он довольно долго стоял перед задернутой серой парусиной каруселью. Потом он приподнял парусину и залез внутрь. Он сел в одну из гондол и почувствовал себя в безопасности от рыскавших кругом полицейских.

Он проснулся, когда услышал чей-то смех. Было светло, и тенты были отдернуты. Он вскочил. Перед ним стоял Штайнер в голубом комбинезоне.

Керн одним прыжком выскочил из гондолы. Он вдруг оказался дома.

— Штайнер! — закричал он, сияя. — Слава богу, я снова здесь!

— Вижу. Блудный сын возвратился из полицейских застенков. Иди сюда, дай на тебя поглядеть! Почему ты не зашел ко мне?

— Я не знал, здесь ли ты еще.

— Пока здесь. А теперь давай завтракать. После еды мир выглядит иначе. Лило! — крикнул Штайнер, обернувшись к вагончику. — Наш малыш снова здесь. Его нужно накормить посытнее! — Он снова повернулся к Керну. — Вырос и немного возмужал! Чему-нибудь научился за это время,

малыш?

— Да. Тому, что надо быть жестоким, если не хочешь сдохнуть. И тому, что им меня не сломать! А еще я умею шить мешки и говорить по-французски! И знаю, что от приказа больше толку, чем от просьбы.

— Это уже немало! — Штайнер ухмыльнулся. — Немало, детка!

— Где Рут? — спросил Керн.

— В Цюрихе. Ее выслали. Больше с ней ничего не случилось. У Лило есть для тебя письма. Она — наш почтамт. Ведь у нее одной есть настоящие документы. Рут писала тебе на ее адрес.

— В Цюрихе… — сказал Керн.

— Да, малыш. Это плохо?

Керн взглянул на него:

— Нет.

— Ведь она живет у знакомых. Ты тоже скоро будешь в Цюрихе, вот и все. К тому же здесь становится довольно горячо.

— Да…

Пришла Лило. Она поздоровалась с Керном так, словно он вернулся с прогулки. Для нее два месяца не значили ничего, что стоило бы обсуждать. Она почти двадцать лет жила вне России и видела, как из Китая и Сибири возвращаются люди, от

которых десять, пятнадцать лет не было никаких известий. Спокойным жестом она поставила на стол поднос с чашками и кофейник.

— Отдай ему его письма, Лило, — сказал Штайнер. — Ведь он, пока не прочтет, не станет завтракать.

Лило указала на поднос. Письма были прислонены к одной из чашек. Керн вскрыл их. Он начал читать и вдруг забыл обо всем. Это были первые письма, которые он получил от Рут. Первые любовные письма в его жизни. Все, как по волшебству, вдруг спало с него — разочарование, что ее здесь не было, беспокойство, страх, неуверенность, одиночество… Он читал, и черные чернильные штрихи начали светиться и фосфоресцировать… Был на свете человек, который заботился о нем, который приходил в отчаяние от того, что с ним произошло, и который говорил ему, что любит его! Твоя Рут. Твоя Рут. «Боже мой, — подумал он, — твоя Рут! Твоя!» Это казалось почти невозможным. Чем он владел до сих пор? Что ему принадлежало? Несколько флаконов, немного мыла и носильные вещи. А теперь — человек? Целый человек? Эти тяжелые черные волосы, эти глаза! Это было почти невероятно!

Он очнулся. Лило ушла в вагончик. Штайнер

курил сигарету.

— Все в порядке, малыш? — спросил он.

— Да. Она пишет, чтобы я не приезжал. Что я не должен опять рисковать из-за нее чем бы то ни было.

Штайнер улыбнулся.

— Чего они только не напишут, а? — Он налил ему чашку кофе. — Сначала позавтракай.

Он прислонился к вагончику и глядел на Керна, на то, как тот пил и ел. Сквозь редкий белый туман пробилось солнце. Керн почувствовал его на своем лице; он почувствовал его так, словно вдыхал аромат вина. Еще вчера утром он хлебал из мятой жестяной миски в вонючей камере остывшее пойло под аккомпанемент пальбы, которой портил воздух бродяга Лео, — это было его любимое занятие по утрам. Сейчас над ним веял легкий свежий ветер, он ел белый хлеб и запивал его хорошим кофе, в его кармане хрустело письмо от Рут, а Штайнер сидел рядом, прислонившись к стене вагончика.

— У тюряги есть одно преимущество, — сказал он. — После нее все кажется чудесным.

Штайнер кивнул.

— Ты, конечно, предпочел бы рвануть отсюда сегодня же вечером.

Керн взглянул на него.

— Я хотел бы рвануть и хотел бы остаться здесь. Я хотел бы, чтобы мы отправились все вместе.

Штайнер протянул ему сигарету.

— Останься здесь пока на два-три денька, — сказал он. — Ты выглядишь измотанным. Тюремная жратва довела тебя до ручки. Подкормись немного. Надо набраться сил, дорога неблизкая. Лучше пару дней подождать, а то ты свалишься в дороге, и тебя загребут. С Швейцарией шутки плохи. В чужой стране надо крепко держаться друг за друга.

— Найдется здесь какая-нибудь работа?

— Можешь помогать в тире. А по вечерам на сеансах ясновидения. Правда, мне пришлось уже нанять одного человека; но два всегда лучше.

— Хорошо, — сказал Керн. — Ты, наверное, прав. Мне надо сначала прийти в себя, а потом отправляться. Я испытываю какой-то ужасный голод. Он не только в животе — в глазах, в голове, везде. Лучше будет, если я немного разберусь, что к чему.

Штайнер рассмеялся.

— Верно! Вон идет Лило с пирогами. Ешь хорошенько, малыш. Я пока разбужу Поцлоха.

Лило поставила перед Керном тарелку. Он снова принялся за еду. Время от времени он ощу-

пывал карман, где лежали письма.

— Вы останетесь здесь? — спросила Лило на своем протяжном, жестковатом немецком.

Керн кивнул.

— Не бойтесь, — сказала Лило. — Вы не должны бояться за Рут. Она выдержит. Я умею читать по лицам.

Керн хотел ей сказать, что он боится другого, боится, что в Цюрихе ее схватят до его приезда… Но он лишь взглянул в темное, затаенное невыразимой печалью лицо русской женщины и промолчал. По сравнению с этой печалью все казалось мелким и несущественным. Но она все-таки что-то почувствовала.

— Ничего страшного, — сказала она. — Пока другой человек жив, не страшно.

Это случилось через два дня, после обеда. К тиру подошли несколько развязных субъектов. Лило была занята с группой молодых парней, и вошедшие обратились к Керну.

— Пошевеливайся! Мы желаем пострелять!

Керн дал первому ружье. Клиенты сначала немного постреляли по фигуркам, которые с шумом попадали вниз, и по тонким стеклянным шарикам, танцующим в струе маленького фонтана. Затем они принялись изучать список призов

и потребовали мишени для призовой стрельбы.

Двое первых выбили сорок три и сорок четыре очка. Они выиграли плюшевого медведя и посеребренный портсигар. Третий, приземистый мужчина с вздыбленными волосами и плотной коричневой щеткой усов, целился долго и тщательно и выбил сорок восемь очков. Его приятели одобрительно взревели. Лило предупреждающе посмотрела на Керна.

— Еще пять выстрелов! — потребовал человек и сдвинул на затылок шляпу. — Тем же ружьем.

Керн зарядил ружье. Человек тремя выстрелами выбил тридцать шесть очков. Каждым выстрелом он выбивал дюжину. Керн понял, что серебряная корзина для фруктов со столовыми приборами, эта семейная драгоценность, которая не подлежала выигрышу, находится в опасности. Он взял одну из «счастливых» пуль директора Поцлоха. Следующий выстрел принес клиенту шесть очков.

— Вот это да! — Мужчина отложил ружье. — Здесь что-то не чисто. Я прицелился точно.

— Может, у вас немного дрогнула рука, — сказал Керн. — Ведь ружье то же самое.

— У меня рука не дрожит, — раздраженно ответил мужчина. — Я полицейский фельдфебель

со стажем. Я не промахиваюсь. Я знаю, как я стреляю.

На этот раз дрогнул Керн. Полицейский, даже в штатском, действовал ему на нервы. Мужчина пристально посмотрел на него.

— Здесь что-то не чисто! — сказал он с угрозой.

Керн ничего не ответил. Он снова протянул ему заряженное ружье. На этот раз он зарядил его обычной пулей. Прежде чем прицелиться, полицейский еще раз посмотрел на него. Он выбил двенадцать очков и отложил ружье.

— Ну?

— Бывает, — сказал Керн.

— Бывает? Такого не бывает! Четыре дюжины и одна шестерка! Вы небось и сами в это не верите, а?

Керн молчал. Мужчина приблизил к нему свою красную физиономию:

— Что-то ваше лицо мне знакомо.

Его приятели не дали ему договорить. Они с шумом потребовали бесплатного выстрела. Вместо недействительной, по их мнению, шестерки.

— Вы что-то химичите с пулями, любезный! — кричали они.

Подошла Лило.

— Что случилось? — спросила она. — Не могу ли

я помочь вам? Молодой человек у нас недавно.

Компания набросилась на нее с упреками. Полицейский молчал. Он глядел на Керна, и в его голове крутилась какая-то мысль. Керн выдержал этот взгляд. Он вспомнил все уроки, которые дала ему его беспокойная жизнь.

— Я поговорю с директором, — сказал он небрежно. — Я здесь ничего не решаю.

Он прикидывал, можно ли дать полицейскому дополнительный бесплатный выстрел. Но он тут же представил себе бешенство Поцлоха, если семейная реликвия его супруги пойдет ко всем чертям. Он оказался между Сциллой и Харибдой. Он медленно вынул сигарету и закурил. Он собрал в кулак всю волю, чтобы у него не задрожали руки. Потом он повернулся и как бы нехотя перешел на место Лило.

Лило осталась вместо него. Она предложила полицейскому сделать еще раз пять выстрелов, чтобы сверить результат. Разумеется, бесплатно. Компания не соглашалась. Лило взглянула на Керна. Она увидела, что он побледнел, и поняла, что дело было не только в споре о волшебных пулях Поцлоха. Она вдруг улыбнулась и села на стол напротив полицейского.

— Такой роскошный мужчина и второй раз

попадет без промаха, — сказала она. — Очень советую попробовать! Пять бесплатных даровых выстрелов для короля стрелков!

Польщенный полицейский гордо вытянул шею.

— У кого такая твердая рука, тому нечего бояться, — сказала Лило и положила свою узкую руку на сильную, покрытую рыжим волосом руку фельдфебеля.

— Бояться! Нам бояться нечего! — Полицейский выпятил грудь и демонстративно захохотал. — Этого только не хватало.

— Так я и думала! — Лило посмотрела на него с восхищением и протянула ему ружье. Полицейский взял его, тщательно прицелился и выстрелил. Двенадцать очков. Он самодовольно взглянул на Лило. Она улыбнулась и снова зарядила ружье. Полицейский выбил пятьдесят восемь очков.

Лило одарила его ослепительной улыбкой.

— Вы лучший стрелок здесь за много лет, — заявила она. — Вашей жене в самом деле нечего бояться.

— Я еще не женат.

Она заглянула ему в глаза:

— Наверное, потому только, что вы не хотите

жениться.

Он ухмыльнулся. Его приятели одобрительно зашумели. Лило отошла, чтобы принести ему коробку для пикников, которую он выиграл. Он погладил себя по усам и, глядя маленькими холодными глазами на Керна, вдруг сказал:

— А с вами я разберусь! Я вернусь сюда в мундире!

Потом он, ухмыляясь, взял свою коробку, и вся компания удалилась.

— Он вас узнал? — быстро спросила Лило.

— Не знаю. Не думаю. Я никогда его не видел. Но, может быть, он где-нибудь видел меня.

— Вам лучше пока уйти. Не надо больше попадаться ему на глаза. Скажите об этом Штайнеру.

В этот день полицейский больше не появлялся. Но Керн решил уехать в тот же вечер.

— Мне нужно убираться отсюда, — сказал он Штайнеру. — У меня такое чувство, что иначе что-то случится. Я пробыл здесь два дня. Мне кажется, я снова в порядке, ты не считаешь?

Штайнер кивнул.

— Уезжай, малыш. Я тоже двинусь через пару недель. С моим паспортом везде лучше, чем здесь. В Австрии становится опасно. Я кое-что слышал в последние дни. Пойдем к Поцлоху.

Директор Поцлох был в ярости из-за коробки для пикников.

— Она стоит тридцать шиллингов, молодой человек, чистыми, у оптовика, — бушевал он. — Вы меня разорите!

— Он уезжает, — сказал Штайнер и объяснил ему положение дел. — Это была чистая необходимость, — заключил он. — Иначе вы потеряли бы свою фамильную реликвию.

Поцлох задним числом пришел в ужас, а потом успокоился.

— Ну ладно, тогда другое дело. — Он уплатил Керну его гонорар, а потом повел его в тир. — Молодой человек, — сказал он, — вы должны знать, кто такой Леопольд Поцлох, последний из альтруистов! Выберите себе что-нибудь из этих вещей! На память. Разумеется, для продажи. Порядочный человек не хранит никаких сувениров. Они только отравляют жизнь. Вы же будете немного торговать, а? Выбирайте! Не буду мешать…

Он исчез в направлении панорамы сенсаций.

— Не стесняйся, — сказал Штайнер. — Это барахло хорошо идет. Бери маленькие, легкие вещи. Поторапливайся, пока Поцлох не раздумал.

Но Поцлох не раздумал. Напротив: к пепельницам, расческам и игральным костям, которые

выбрал Керн, он добавил еще трех маленьких голых богинь из настоящего заменителя бронзы.

— В маленьких городках они пользуются наибольшим успехом, — пояснил он и с издевательским смехом подхватил свое пенсне. — Человек в маленьком городе страдает под гнетом подавленных страстей. Конечно, в маленьком городе нет борделя! Ну а теперь с богом, Керн. Я тороплюсь на конференцию против высоких налогов на развлечения. Налог на развлечения! Типичная глупость нашего века! Вместо того, чтобы назначить за это премию!

Керн собрал свой чемодан. Он выстирал свое белье и рубашки и повесил сушиться. Потом он поужинал с Лило и Штайнером.

— Ты погрусти, малыш, — сказал Штайнер. — Это твое право. Древнегреческие герои плакали больше, чем какая-нибудь сентиментальная дура в наши дни. Они знали, что от этого их не убудет. Наш идеал — это несгибаемая стойкость статуи. Тебе она ни к чему. Ты погрусти, и тебе станет легче.

— Иногда печаль — это последнее счастье, — сказала спокойно Лило и поставила перед Керном тарелку борща со сметаной. Штайнер улыбнулся и погладил ее по волосам.

— Последнее счастье для тебя, мой маленький космополит, — это пока что хороший ужин. Такова старая солдатская мудрость. А ты — солдат, не забывай этого. Форпост. Патруль. Пионер всемирного гражданства. В наше время можно в один день пересечь на самолете десять государственных границ; каждая очередная обусловлена предыдущей, и все они ощетинились друг на друга железом и порохом. Но так не будет. Ты один из первых европейцев, не забывай об этом. Гордись этим.

Керн усмехнулся:

— Все прекрасно. Я этим горжусь. Но что мне делать сегодня вечером, когда я останусь один?

Он уехал ночным поездом. Он купил самый дешевый билет на самый дешевый поезд и кружным путем доехал до Инсбрука. Оттуда он пошел пешком дальше, пытаясь сесть на попутную машину. Но попутной машины не нашлось. Вечером он зашел в маленькую гостиницу и съел порцию жареной картошки; это было сытно и недорого. Ночью он спал в стоге сена. При этом он воспользовался способом, которому обучил его в тюрьме карманный вор. Способ оказался первоклассным. На следующее утро он нашел машину до Ландека. Владелец купил у него за пять шиллингов одну

из богинь, подаренных директором Поцлохом. Вечером пошел дождь. Керн остался в маленькой придорожной гостинице, где играл в тарок с дровосеками. Причем проиграл три шиллинга. Он так из-за этого злился, что не мог уснуть до полуночи. Но потом он подумал, что заплатил за ночлег два шиллинга, и если не заснет, то и они пропадут даром; и с этой мыслью уснул. Утром он отправился дальше. Он остановил попутную машину, но водитель запросил пять шиллингов. Машина была «австро-даймлер» стоимостью пятнадцать тысяч шиллингов. Керн не поехал. Потом его немного подвез на своей телеге какой-то крестьянин и еще угостил большим куском хлеба с маслом. Вечером он снова спал в стоге. Шел дождь, и он долго прислушивался к его монотонному шуму и вдыхал терпкий и возбуждающий запах мокрого перегнивающего сена. На следующий день он одолел перевал Арльберг. Он был очень усталым, когда его задержал жандарм. Тем не менее ему пришлось проделать обратный путь до Сант-Антона, идя рядом с велосипедом жандарма. Там его заперли на ночь. Он не спал ни единой минуты, так как боялся, что выяснится, что он был в Вене, и его вернут обратно, и там опять посадят. Но ему поверили, что он хочет пе-

рейти границу, и на следующее утро отпустили. На этот раз он отправил свой чемодан багажом до Фельдкирха, потому что жандарм узнал бы его по чемодану. На следующий день он пришел в Фельдкирх, забрал свой чемодан, подождал до ночи, разделся и перешел вброд Рейн, держа чемодан и одежду в высоко поднятых руках. Теперь он был в Швейцарии. Он шагал две ночи, пока не вышел из опасной зоны. Тогда от отправил чемодан багажом и скоро поймал попутную машину до Цюриха.

На главный вокзал он пришел в полдень. Чемодан он оставил в камере хранения. Он знал адрес Рут, но не хотел являться на квартиру, где она жила, средь бела дня. Некоторое время он торчал на вокзале. Потом справился в еврейских магазинах, где находится комитет помощи беженцам. В одной лавочке, где торговали носками и чулками, ему дали адрес общины верующих, и он отправился туда.

Его принял некий молодой человек. Керн объяснил ему, что вчера перешел границу.

— Легально? — спросил молодой человек.

— Нет.

— У вас есть документы?

Керн изумленно воззрился на него.

— Будь у меня документы, я бы не пришел сюда.

— Еврей?

— Нет. Наполовину.

— Вероисповедание?

— Евангелическое.

— Ах, евангелическое. Ну тогда мы вряд ли вам поможем. Наши средства весьма ограниченны, и как религиозная община, мы главным образом заботимся, разумеется, о… вы понимаете… о евреях нашей веры.

— Я понимаю, — сказал Керн. — Меня вышвырнули из Германии из-за того, что мой отец — еврей. А вы не можете мне помочь, потому что моя мать — христианка. Забавный мир!

— Весьма сожалею. Но мы располагаем только частными пожертвованиями.

— Может, вы, по крайней мере, подскажете, где можно прожить без прописки хотя бы пару дней?

— Весьма сожалею. Я не могу и не имею на это права. Здесь очень строгие инструкции, и мы обязаны точно их соблюдать. Вам следует обратиться в полицию за разрешением на жительство.

— Ну, — сказал Керн, — на этот счет у меня есть некоторый опыт.

Молодой человек внимательно посмотрел на него.

— Подождите минуточку. — Он вышел в другую комнату и быстро вернулся. — В порядке исключения мы можем предложить вам двадцать франков. К сожалению, больше ничем мы вам помочь не можем.

— Большое спасибо! Я и не надеялся получить так много!

Керн тщательно сложил купюру и сунул ее в свой бумажник. Других швейцарских денег у него не было.

На улице он остановился. Он не знал, куда податься.

— Ну-с, господин Керн, — произнес кто-то насмешливо у него за спиной.

Керн вздрогнул и обернулся. За ним стоял молодой, довольно элегантно одетый человек примерно его возраста. Он улыбался.

— Не пугайтесь! Я тоже только что оттуда! — Он указал на дверь религиозной общины. — Вы впервые в Цюрихе, а?

Секунду Керн недоверчиво глядел на него.

— Да, — сказал он потом. — Я даже впервые в Швейцарии.

— Так я и думал. Судя по вашей истории. До-

вольно неуклюжей, кстати сказать. Не было никакой надобности сообщать, что вы евангелического вероисповедания. Хотя пособие вы все-таки получили. Моя фамилия Биндер. Если хотите, я немного введу вас в курс здешних дел. Хотите, выпьем по чашке кофе?

— Да, с удовольствием. Есть здесь эмигрантское кафе или что-то в этом роде?

— И даже не одно. Мы пойдем в кафе «Грайф». Это недалеко отсюда, и полиция еще не взяла его на мушку. По крайней мере, до сих пор облавы не было.

Они пошли в кафе «Грайф». Оно было как две капли воды похоже на кафе «Шперлер» в Вене.

— Откуда вы? — спросил Биндер.

— Из Вены.

— Тогда вы должны кое-чему переучиться. Слушайте! Вы, конечно, можете получить в полиции разрешение на проживание. Но, разумеется, всего на несколько дней, потом надо убраться. Вероятность обойтись без документов в настоящий момент составляет менее двух процентов; вероятность быть немедленно высланным — примерно девяносто восемь. Желаете рискнуть?

— Ни в коем случае.

— Правильно. Вы, кроме того, рискуете тем,

что вам немедленно запретят въезд — на год, на три года, на пять и больше, смотря по обстоятельствам. Если после этого вас зацапают — посадят в тюрьму.

— Это я знаю, — сказал Керн. — Так везде.

— Хорошо. Помалкивайте об этом, если останетесь здесь на нелегальном положении. Разумеется, до тех пор, пока вас не зацапают. Но это вопрос ловкости и везения.

Керн кивнул.

— Как здесь с работой?

Биндер рассмеялся.

— Исключено. Швейцария — маленькая страна, у нее достаточно своих безработных.

— Значит, как везде: либо подыхать с голоду легально или нелегально, либо нарушать законы.

— Вот именно! — подхватил Биндер. — Теперь к вопросу о зонах. Цюрих очень опасен. Весьма старательная полиция. В штатском, что самое неприятное. Здесь выдерживают только знатоки. Дилетантам здесь делать нечего. Французская Швейцария сейчас лучше. Прежде всего Женева. Социалистическое правительство. В Тессине тоже неплохо, но эти города слишком маленькие. Как вы работаете? По чистой или в обертке?

— Что это значит?

— Это значит, что вы либо просто пытаетесь получить пособие, либо вы пытаетесь получить пособие, но при этом имеете при себе что-то на продажу.

— Я хотел бы что-то продавать.

— Опасно. Это считается работой. Вдвойне наказуемо. Нелегальное пребывание в стране и нелегальная работа. Особенно если на вас донесут.

— Донесут?

— Милый мой, — поучительным тоном эксперта терпеливо начал объяснять Биндер, — на меня однажды уже донес еврей, у которого было больше миллионов, чем у вас франков. Он был весьма обижен тем, что я попросил у него денег на билет до Базеля. Итак, если торговать, то только мелочами: продавайте карандаши, шнурки, ластики, зубные щетки и тому подобное. Никогда не берите с собой ни чемодана, ни ящика, ни даже папки. Люди попадались даже с папками. Лучше всего носить все при себе, в карманах. Теперь осень, так что станет полегче: можно надеть пальто. Вы что продаете?

— Мыло, духи, туалетную воду, расчески, английские булавки и прочее.

— Хорошо. Чем бесполезнее предмет, тем луч-

ше заработок. Я сам принципиально не торгую ничем. Я специализируюсь на добыче пособий. Таким образом я обхожу статьи уголовного кодекса о нелегальной работе и подпадаю только под статьи о нищенстве и бродяжничестве. Как у вас с адресами? Есть адреса?

— Какие адреса?

Биндер откинулся на спинку стула и с изумлением уставился на Керна.

— Да ведь это же самое главное! Адреса людей, к которым вы можете обратиться. Не можете же вы бегать наобум из одного дома в другой! Так вы сгорите в три дня.

Он предложил Керну сигарету.

— Я могу дать вам несколько надежных адресов, — продолжал он. — Имеются три разновидности: правоверные еврейские, смешанные и христианские. Вы получите их бесплатно. Мне же пришлось заплатить за них мои первые двадцать франков. Конечно, этих людей одолевают со всех сторон; но они, по крайней мере, не причинят вам неприятностей.

Он придирчиво осмотрел костюм Керна.

— Ваша одежда в порядке. В Швейцарии надо за этим следить. Из-за сыщиков. Хотя бы пальто должно быть приличным: в случае необходи-

мости под ним можно спрятать обтрепанный костюм, чтобы не вызывать раздражения. Впрочем, некоторые люди никогда не окажут помощи человеку, если у него еще есть костюм, который он бережет. А есть ли у вас хорошая история, которую вы сможете рассказать?

Он поднял глаза и встретил взгляд Керна.

— Мой милый, — сказал он, — я знаю, о чем вы теперь думаете. Я тоже раньше так думал. Но поверьте: содержать себя даже в нищете — это уже искусство. А благотворительность — корова, которую трудно доить, да и молока у нее мало. Я знаю людей, у которых в запасе минимум по три истории: сентиментальная, брутальная и деловая — в зависимости от того, что желает услышать человек, согласный выложить свои несколько франков вспомоществования. Конечно, они лгут. Но только потому, что вынуждены лгать. Основная история всегда одна и та же: нужда, побег и голод.

— Я знаю, — ответил Керн. — Я не об этом. Я просто поражен, что вы знаете так много и в таких подробностях.

— Сконцентрированный опыт трехлетней упорной борьбы за существование. Я в этом поднаторел, это верно. Не многим это удается.

Мой брат не выдержал. Он застрелился год тому назад.

Лицо Биндера на мгновение исказилось. Потом снова разгладилось. Он встал.

— Если вам некуда идти, можете одну ночь провести у меня. Случайно у меня есть надежная хата на неделю. Комната моего цюрихского знакомого, который уехал в отпуск. Я буду здесь с одиннадцати. В двенадцать — полицейский час. После двенадцати будьте осторожны: на улицах кишмя кишат сыщики.

— Похоже, в Швейцарии чертовски горячо, — сказал Керн. — Слава богу, что я встретил вас. Без вас меня бы, наверное, взяли в первый же день. Большое спасибо! Вы очень мне помогли!

Биндер отмахнулся.

— Это само собой разумеется между людьми, которые оказались на самом дне. Чувство локтя развито у нелегальных почти как у преступников. Каждый из нас может завтра влипнуть, и ему тоже понадобится помощь. Значит, если захотите, в одиннадцать здесь.

Он заплатил за кофе, пожал Керну руку и удалился, уверенный в себе и элегантный.

Керн просидел до темноты в кафе «Грайф». Он попросил принести ему план города и нарисовал

себе путь до дома, где жила Рут. Потом он вышел и быстро пошел по улицам в каком-то беспокойном напряжении всех сил. Примерно через полчаса он отыскал этот дом. Расположенный в уютном, тихом квартале, большой белый дом мерцал в лунном свете. Керн остановился у подъезда. Он взглянул на широкую медную ручку входной двери, и его волнение вдруг погасло. Ему показалось невероятным, что вот сейчас он поднимется по лестнице и увидит Рут. Это было слишком просто после всех месяцев разлуки. Он не привык, чтобы было просто. Он стал глядеть вверх на окна. Может, ее вообще нет дома. Может, ее уже вообще нет в Цюрихе.

Он прошел мимо дома. За углом была табачная лавка. Он вошел.

— Пачку «Парижьенн», — обратился он к высокой угрюмой женщине за прилавком.

Женщина придвинула ему пачку. Потом вытащила из ящика под прилавком коробок спичек и положила на сигареты. Коробков оказалось два, они приклеились друг к другу. Женщина отлепила один и бросила обратно, в ящик.

— Пятьдесят раппенов, — сказала она.

Керн уплатил.

— Можно позвонить по телефону? — спросил

он.

Женщина кивнула.

— Налево в углу аппарат.

Керн взял телефонную книгу. Нойман… В этом городе были сотни Нойманов. Наконец он нашел нужный номер. Он поднял трубку и назвал номер. Женщина за прилавком внимательно наблюдала за ним. Керн раздраженно повернулся к ней спиной. Прошла вечность, пока с той стороны отозвался голос.

— Можно позвать фройляйн Голланд? — спросил он в черную трубку телефона.

— Кто ее спрашивает?

— Людвиг Керн.

Голос в трубке на мгновение замолк.

— Людвиг, — сказала она потом, как будто задохнувшись. — Людвиг, ты?

— Да. — Керн вдруг услышал стук своего сердца, тяжелый, как удары молота. — Да… это ты, Рут? Я не узнал твоего голоса. Мы ведь еще никогда не говорили с тобой по телефону.

— Где же ты? Откуда ты звонишь?

— Я здесь. В Цюрихе. В табачной лавке.

— Здесь?

— Да, на твоей улице.

— Почему же ты не заходишь? Что-нибудь

случилось?

— Нет, ничего. Я приехал сегодня. Я уж думал, что не застану тебя. Где мы можем встретиться?

— Здесь! Приходи! Скорей! Ты знаешь дом? Квартира на третьем этаже.

— Да. Я знаю. А разве можно? Я хочу сказать, что там же твои хозяева.

— Никого нет. Я одна. Все уехали на субботу и воскресенье. Приходи!

— Да.

Керн положил трубку. Он оглянулся вокруг, плохо соображая, где он и что с ним. Потом он вернулся к прилавку.

— Сколько стоит разговор? — спросил он.

— Десять раппенов.

— Всего десять раппенов?

— Не так уж и дешево. — Женщина подкинула вверх никелевую монетку. — Не забудьте ваши сигареты.

— Ах да… конечно…

Керн вышел на улицу. «Только не бежать, — подумал он. — Бегущий человек вызывает подозрение. Надо взять себя в руки. Штайнер не побежал бы. Я пойду шагом. Чтобы никто ничего не заметил. Но я могу идти быстро. Я могу идти очень быстро. Быстрым шагом — это все равно

что бегом».

Рут ждала его на лестнице. В подъезде было темно, и Керн не сразу ее разглядел.

— Осторожно, — торопливо и хрипло сказал он, — я грязный! Мои вещи на вокзале. Я не мог ни умыться, ни переодеться.

Она не ответила. Она стояла, перегнувшись через перила над пролетом лестницы, и ждала его. Он взбежал наверх по ступеням, и вдруг она оказалась рядом, теплая и настоящая, как жизнь, и больше, чем жизнь.

Она замерла в его объятиях. Он слышал ее дыхание и чувствовал касание ее волос. Он стоял неподвижно, и ему казалось, что смутная темнота вокруг него качается и грозит рухнуть. Потом он заметил, что она плачет. Он пошевелился. Она покачала головой у его плеча, не отпуская его от себя.

— Это ничего. Я сейчас перестану.

Внизу открылась дверь. Керн осторожно и почти незаметно повернулся в сторону, чтобы удержать в поле зрения лестницу. Он услышал шаги. Потом щелкнул выключатель, и в подъезде стало светло. Рут вздрогнула.

— Заходи! Скорее заходи!

Она потащила его к двери.

Они сидели в гостиной семейства Нойман. Впервые за долгое время Керн снова очутился в частной квартире. Комната была обставлена по-мещански, без особого вкуса — солидная мебель красного дерева, персидский ковер современного производства, несколько кресел с репсовой обивкой и торшеры с абажурами из цветного шелка. Но Керну она показалась миражом покоя и островом безопасности.

— Когда истек срок твоей прописки? — спросил он.

— Семь недель тому назад, Людвиг.

Рут вынула из буфета два бокала и бутылку.

— Ты подавала просьбу о продлении?

— Да. Я была в консульстве здесь, в Цюрихе. Они ее отклонили. Ничего другого я и не ожидала.

— Собственно, я тоже не ожидал. Хотя все еще надеялся на чудо. Мы ведь государственные преступники. Собственно, мы могли бы считать себя важными персонами, а?

— Мне все равно, — сказала Рут, ставя на стол бутылку. — Теперь у меня нет перед тобой преимущества, это тоже кое-что значит.

Керн рассмеялся. Он взял ее за плечи и указал на бутылку.

— Что это? Коньяк?

— Да. Лучший коньяк семейства Нойман. Хочу выпить с тобой за то, что ты снова есть. Без тебя было ужасно. И ужасно было сознавать, что ты в тюрьме. Они избили тебя, эти подонки! И все из-за меня!

Она глядела на него и улыбалась. Но Керн заметил, что она волнуется. Ее голос был почти сердитым, и рука ее дрожала, когда она наполняла бокалы.

— Это было ужасно, — повторила она, подавая ему бокал. — Но теперь ты снова есть!

Они выпили.

— Все было не так уж скверно, — сказал Керн. — Правда!

Рут отставила свой бокал. Она обняла Керна за шею и поцеловала.

— Теперь я не отпущу тебя, — прошептала она. — Никогда!

Керн смотрел на нее. Он еще никогда не видел ее такой. Она совершенно изменилась. Что-то чужое, непонятное, что раньше как тень стояло между ними, исчезло. Теперь она была откровенна до конца, и он впервые почувствовал, что она принадлежит ему. Раньше он никогда не был в этом уверен.

— Рут, — сказал он, — я бы хотел, чтобы потолок

разверзся, и прилетел самолет, и мы улетели бы с тобой на какой-нибудь остров, где пальмы и кораллы и где никто не знает, что такое паспорт и разрешение на прописку!

Она снова поцеловала его.

— Я боюсь, Людвиг, что и там знают, что это такое. И там у них под пальмами и кораллами тоже крепости, и пушки, и военные корабли, и они следят за всеми еще больше, чем в Цюрихе.

— Да, конечно! Давай еще выпьем! — Он взял бутылку и наполнил бокалы. — Но и в Цюрихе тоже уже опасно. Здесь надолго не спрячешься.

— Тогда давай уедем!

Керн окинул взглядом комнату, штофные гардины, кресла и торшеры с желтыми шелковыми абажурами.

— Рут, — сказал он, взмахнув рукой как бы надо всем этим, — уехать с тобой было бы чудесно, и я себе никогда ничего другого не мог и представить. Но того, что здесь, тогда не будет, ты должна это знать. Будет только необходимость прятаться, и дорога, и сеновалы, и маленькие убогие пансионы, и страх перед полицией, если повезет. И тюрьма.

— Я знаю. Мне все равно. И ты не задумывайся об этом. Мне и так надо уезжать отсюда. Я боль-

ше не могу здесь оставаться. Эти люди боятся полиции, потому что я живу у них без прописки. Они будут рады, если я уеду. У меня тоже есть немного денег, Людвиг. И я стану помогать тебе торговать. Я непритязательна и, кажется, довольно практична.

— Так, — сказал Керн. — У тебя, значит, есть немного денег и ты поможешь мне торговать?! Еще одно слово, и я разрыдаюсь, как старая баба. У тебя с собой много вещей?

— Не очень. Все, что мне не нужно, я оставлю здесь.

— Хорошо. А твои книги? Особенно эта толстая по химии? Оставим ее пока здесь?

— Книги я продала. Последовала твоему совету. Помнишь, в Праге, ты тогда сказал, что нельзя брать с собой ничего из прошлого. Ничего. И что нельзя оглядываться назад, что это только разлагает и лишает сил. Эти книги принесли нам несчастье. Я продала их. К тому же они слишком тяжелые, чтобы таскать их с собой.

Керн улыбнулся.

— Ты права, ты практичная, Рут. Я думаю, сначала мы отправимся в Люцерн. Мне посоветовал это Георг Биндер, специалист по Швейцарии. Там много иностранцев, поэтому мы не слишком

будем бросаться в глаза, и полиция там не такая вредная, как в Цюрихе. Когда мы отправимся?

— Послезавтра утром. А до тех пор мы можем оставаться здесь.

— Хорошо. У меня есть хата для ночлега. Я только должен до двенадцати быть в кафе «Грайф».

— Ты не будешь до двенадцати в кафе «Грайф»! Ты останешься здесь, Людвиг! До послезавтрашнего утра мы не выйдем на улицу. Иначе я умру от страха.

Керн уставился на нее.

— А разве можно? Разве тут нет горничной или еще кого-нибудь, кто может нас выдать?

— Горничная получила выходной до понедельника. Она приедет утренним поездом в одиннадцать сорок. Остальные — дневным трехчасовым. До понедельника, до трех часов, у нас есть время.

— Господи всемогущий, — сказал Керн. — И до тех пор вся эта квартира — в нашем распоряжении?

— Да.

— И мы сможем жить в ней так, как будто все это принадлежит нам? И гостиная, и спальни, и столовая, и белоснежная скатерть, и сплошь серебряные вилки и ножи, и ножички для яблок,

и кофе, и кофейные чашечки, и радиоприемник?

— Все! А я буду варить и печь и надену для тебя вечернее платье Сильвии Нойман!

— А я сегодня вечером — смокинг господина Ноймана! Даже если он мне непомерно велик! В тюрьме я изучал «Элегантный мир» и знаю, как следует одеваться к ужину!

— Он будет тебе в самый раз!

— Великолепно! Это надо отпраздновать! — Керн даже подскочил от восторга. — Тогда я приму горячую ванну и не пожалею мыла, а? Я так давно не мылся хорошим мылом. В тюрьме выдавали только какую-то мерзость, сваренную на лизоле.

— Конечно! Ты примешь горячую ванну и даже распустишь в воде дезодорант «Фарр» всемирно известной фирмы Керн.

— Вот его я как раз распродал.

— Но у меня еще есть один флакон! Тот, который ты подарил мне в кино, в Праге. В наш первый вечер. Я его сохранила.

— Господи всемогущий, — сказал Керн. — Благословенный Цюрих! Рут, ты положила меня на обе лопатки! Нам начинает везти!

XII

В Люцерне Керн два дня осаждал виллу коммерции советника Арнольда Оппенгейма. Белый дом подобно крепости возвышался на холме над Фирвальдштеттерским озером. В списке адресов, который подарил Керну эксперт по Швейцарии Биндер, фамилия Оппенгейм была снабжена примечанием: немец, еврей, дает, но только под нажимом; националист; о сионизме не упоминать.

На третий день Керна впустили. Оппенгейм принял его в большом саду, полном астр, декоративных подсолнечников и хризантем. Это был жизнерадостный, крепкий мужчина с толстыми короткими пальцами и маленькими густыми усами.

— Вы сейчас из Германии? — спросил он.

— Нет. Я уехал оттуда два года назад.

— И откуда же вы?

— Из Дрездена.

— Ах, Дрезден! — Оппенгейм погладил себя по блестящей лысине и мечтательно вздохнул. — Дрезден великолепный город! Жемчужина! Чего стоит одна терраса Брюля! Это нечто неповторимое, верно?

— Да, — сказал Керн. Ему было жарко, и он с удовольствием бы выпил виноградного сока, который стоял перед Оппенгеймом на каменном столике. Но Оппенгейму не приходило в голову предложить ему стакан. Он задумчиво глядел в ясное небо.

— А Цвингер… этот дворец… эти галереи… вы, конечно, все там знаете наизусть, верно?

— Не то чтобы наизусть. Скорее — поверхностно.

— Но помилуйте, мой юный друг! — Оппенгейм поглядел на него с глубоким укором. — Не знать таких вещей! Ведь это благороднейшее немецкое барокко! Вы хоть слышали что-нибудь о Даниэле Пеппельмане?

— Конечно, разумеется! — Керн понятия не имел об этом архитекторе, но ему хотелось ублажить Оппенгейма.

— Вот видите! — Оппенгейм откинулся на спинку садового кресла. — Да, вот что значит наша Германия! Никто в мире не может с ней тягаться!

— Конечно, не может. И это очень хорошо.

— Хорошо? Что вы имеете в виду?

— Очень просто. Это хорошо для евреев. Иначе мы бы пропали.

— Ах вот вы о чем! Вы имеете в виду политику! Послушайте… «пропали»… «пропали»… все это словеса! Поверьте мне, в наши дни люди многое преувеличивают. Мне известно из достоверных источников: все совсем не так плохо.

— Правда?

— Разумеется. — Оппенгейм наклонился к нему и доверительно понизил голос: — Говоря между нами, евреи сами во многом виноваты. Во многом, говорю я вам, и я знаю, что говорю. Они многое сделали без крайней необходимости, уж в этом-то я кое-что понимаю!

«Интересно, сколько он мне даст, — думал Керн. — И хватит ли этого, чтобы нам добраться до Берна?»

— Возьмите хотя бы проблему восточных евреев, галицийских и польских эмигрантов, — разглагольствовал Оппенгейм, прихлебывая виноградный сок. — Неужели всех их надо было пускать в Германию? Что им здесь делать, этим людям? Я, так же как и правительство, против того, чтобы позволить им въезд. Евреи есть евреи, это известно испокон веков. Но скажите мне, что общего между грязным уличным торговцем с пейсами в засаленном сюртуке и старинной еврейской буржуазной семьей, укоренившейся

здесь несколько столетий тому назад?

— Одни переселились раньше, другие позже, — не подумав, сказал Керн и только потом испугался. Он ни в коем случае не хотел раздражать Оппенгейма.

Но тот ничего не заметил: слишком уж он был занят своей проблемой.

— Одни — ассимилированные, достойные, ценные, национально первоклассные граждане, а другие — чуждые пришельцы! Вот в чем дело, дорогой мой! Что у нас общего с этими людьми? Ровно ничего, совершенно ничего! Надо было оставить их в Польше!

— Но ведь их не хотели там оставлять!

Оппенгейм сделал широкий пренебрежительный жест и сердито поглядел на Керна.

— Но Германия здесь ни при чем! Это совершенно другое дело! Надо быть объективным. Я терпеть не могу огульных обвинений. Можно обвинять Германию в чем угодно, но люди там кое-чего стоят! И кое-чего достигли! С этим-то вы, надеюсь, согласны!

— Конечно.

«Двадцать марок, — думал Керн, — на это можно прожить четыре дня. Может быть, он даст и больше».

— Возможно, кто-то от этого и пострадает, пусть даже отдельные группы, — Оппенгейм хмыкнул. — Что ж, такова жесткая политическая необходимость! В большой политике неуместна сентиментальность. Приходится с этим мириться…

— Разумеется…

— Видите ли, — сказал Оппенгейм, — народ избавлен от безработицы. Национальное достоинство поднято на новую высоту. Конечно, случаются и перегибы, но поначалу всегда так бывает. Вы только посмотрите, каким стал наш вермахт! Это же феноменально! В один момент мы снова обрели полноценность. Народ без великой, боеспособной армии — это ничто, совершенно ничто!

— Я в этом ничего не понимаю, — ответил Керн.

Оппенгейм искоса взглянул на него.

— А следовало бы понимать, — заявил он и встал. — Как раз за границей! — Он поймал комара и старательно раздавил его. — Нас уже начали бояться, можете мне поверить! Только внушив страх, вы можете добиться своего.

— Это я понимаю, — сказал Керн.

Оппенгейм допил свой виноградный сок и сде-

лал несколько шагов по своему саду. Внизу, как синий, упавший с неба щит, сверкало озеро.

— А что, собственно, произошло с вами? — спросил он, изменив интонацию. — Куда вы направляетесь?

— В Париж.

— Почему именно в Париж?

— Не знаю. Чтобы иметь цель. Наверное, лучше погибнуть там.

— Почему бы вам не остаться в Швейцарии?

— Господин коммерции советник! — Керн вдруг задохнулся. — Если б я только мог! Если бы вы только смогли мне в этом помочь! Может быть, дать рекомендацию, или работу… если б только вы… с вашим именем…

— Я абсолютно ничего не могу сделать, — торопливо перебил его Оппенгейм. — Абсолютно. Я вообще ничего не могу. Я совершенно не то имел в виду. Я просто так спросил. Я должен соблюдать политический нейтралитет во всех отношениях. Я ни во что не могу вмешиваться!

— Но в этом нет никакой политики…

— В наше время политика во всем! В Швейцарии я — гость. Нет, нет, не обременяйте меня подобными просьбами. — Оппенгейм все более раздражался. — Что вам еще угодно?

— Я хотел спросить, не пригодятся ли вам эти мелочи? — Керн вытащил из кармана кое-какие вещи.

— Что там у вас? Духи? Туалетная вода? Не может быть и речи. — Оппенгейм отодвинул флаконы в сторону. — Мыло? Ну что ж. Мыло всегда пригодится. Покажите-ка! Так и быть. Оставьте здесь один кусок. Подождите! — Он полез в карман, немного поколебался, положил обратно несколько купюр и выложил на стол два франка. — Кажется, очень неплохая цена, а?

— Это даже слишком. Мыло стоит только один франк.

— Оставьте, — великодушно объявил Оппенгейм. — Но только никому не говорите. Меня и так одолевают просители.

— Господин коммерции советник, — спокойно сказал Керн, — именно поэтому я хотел бы получить ровно столько, сколько стоит это мыло.

Оппенгейм поглядел на него с изумлением.

— Ну, как угодно. Впрочем, это хороший принцип. Ничего не получать даром. Это всегда было моим девизом.

После обеда Керн продал еще два куска мыла, расческу и три пакета английских булавок. На этом он заработал три франка. Скорее от безраз-

личия он зашел потом в маленькую прачечную, принадлежавшую некой Саре Грюнберг.

Фрау Грюнберг, женщина с взлохмаченными волосами и в пенсне, терпеливо выслушала его.

— Похоже, торговля — это не ваша профессия? — спросила она.

— Нет, — сказал Керн. — Я, наверное, и не слишком гожусь для нее.

— Хотите заработать? У меня как раз сейчас учет. Работы на два-три дня. Семь франков в день и хорошая еда. Можете прийти завтра в восемь.

— С удовольствием, — сказал Керн, — но…

— Понимаю, я никому не скажу. А теперь продайте мне кусок мыла. Три франка достаточно?

— Это слишком много.

— Это не слишком много. Это слишком мало. Не теряйте мужества.

— На одном мужестве далеко не уедешь, — сказал Керн и взял деньги. — Но бывает и везение. Это лучше.

— Сейчас вы могли бы помочь мне сделать уборку. Один франк в час. Вы и это называете везением?

— Да, — сказал Керн. — Везением никогда нельзя пренебрегать. Тем чаще оно приходит.

— Вы обучаетесь таким вещам в дороге? —

спросила фрау Грюнберг.

— Нет, не в дороге, а в перерывах, когда дороги нет. Тогда я размышляю об этом и пытаюсь кое-чему научиться. Каждый день учиться чему-то. Иногда даже у коммерции советников.

— Вы что-нибудь понимаете в белье? — спросила фрау Грюнберг.

— Только в очень грубом. Недавно я в одном институте два месяца учился шить. Хотя только очень простые вещи.

— Это вам всегда пригодится, — заявила фрау Грюнберг. — Я умею даже дергать зубы. Выучилась этому у одной дантистки двадцать лет назад. Кто знает, может, это когда-нибудь принесет мне счастье.

Керн работал до десяти часов и кроме хорошего ужина получил еще пять франков наличными. Всего, что у него было, хватало на два дня, а действовало это на самочувствие лучше, чем подействовали бы сто франков коммерции советника Оппенгейма.

Рут ждала его в маленьком пансионе, который они нашли по списку адресов, подаренному Биндером. Там можно было жить несколько дней без прописки. Она была не одна. Рядом с ней за столом на маленькой террасе сидел стройный

пожилой человек.

— Наконец-то! Слава богу! — сказала Рут и встала. — Я уже начала бояться.

— Ты не должна бояться. Когда боишься, обычно ничего не случается. Случается только тогда, если совсем на это не рассчитываешь.

— Это не философия, а софистика, — сказал человек, сидевший с Рут за столом.

Керн обернулся к нему. Человек улыбнулся.

— Присаживайтесь. Выпейте со мной стакан вина. Фрейлейн Голланд скажет вам, что я совершенно безобиден. Моя фамилия Фогт, и когда-то давным-давно я был приват-доцентом в Германии. Составьте мне компанию за моей последней бутылкой.

— Почему последней?

— Потому что завтра я на некоторое время перехожу на полное довольствие. Мне нужно немного отдохнуть.

— Полное довольствие? — спросил недоуменно Керн.

— Я это так называю. А можно назвать тюрьмой. Завтра я пойду в полицию и заявлю, что два месяца нелегально нахожусь в Швейцарии. За это я получу несколько недель тюрьмы, потому что меня уже два раза высылали. И значит, государ-

ство возьмет меня на полное довольствие. Важно сказать, что ты уже не в первый раз нелегально находишься в стране некоторое время; иначе они применят статью о незаконном въезде и доставят тебя на границу.

Керн поглядел на Рут.

— Если вам нужно немного денег… я сегодня неплохо заработал.

Фогт сделал отрицательный жест.

— Спасибо, нет, у меня еще есть десять франков. Этого хватит на вино и на ночлег. Я только устал; я хочу еще раз немного отдохнуть. А это для нас возможно только в тюрьме. Мне пятьдесят два года, и я не очень здоров. Я в самом деле очень устал убегать и прятаться. Присаживайтесь ко мне оба. Когда так много бываешь один, радуешься человеческому обществу.

Он разлил вино по бокалам.

— Это «Невшательское», терпкое и чистое, как вода с горного ледника.

— Но тюрьма… — сказал Керн.

— Тюрьма в Люцерне хорошая. Я ее знаю: это та роскошь, которую я себе позволяю, — выбирать подходящую тюрьму. Я только боюсь, что мне не удастся туда попасть. Что я наткнусь на слишком гуманного судью и он просто прикажет доставить

меня на границу. Тогда все начнется сначала. А для нас, так называемых арийцев, это еще тяжелее, чем для евреев. Нас не поддерживают никакие религиозные общины и никакие единоверцы. Но не будем говорить об этих вещах…

Он поднял свой бокал.

— Давайте выпьем за красоту мира… она несокрушима.

Они чокнулись. Бокалы издали чистый звон. Керн выпил прохладное вино. «Виноградный сок», — подумал он. Он сел за стол к Фогту и Рут.

— А я уж думал, что придется пить одному, — сказал Фогт. — А тут подвернулись вы. Какой прекрасный вечер! Как хорош этот ясный осенний свет!

Они долго молча сидели на полуосвещенной террасе. Несколько поздних ночных бабочек тяжело и настойчиво бились о горячее стекло электрической лампочки. Фогт как-то отрешенно и очень спокойно откинулся на спинку стула, и, глядя на его узкое лицо и ясные глаза, они оба вдруг подумали, что перед ними человек минувшего века, который, сохраняя полное самообладание, навсегда прощается со своей жизнью и с миром.

— Веселость, — сказал Фогт задумчиво, слов-

но обращаясь к самому себе, — веселость, эта беззаботная дочь терпимости, утеряна нашим временем. Для нее нужно слишком многое: знание, рассудительность, скромность и спокойный отказ от невозможного. Все это бежало от дикого казарменного идеализма, который ныне нетерпеливо стремится улучшить мир. Те, кто занимается улучшением мира, всегда его ухудшали… а диктаторы никогда не бывают веселыми.

— Те, кому они диктуют, тоже не бывают, — сказал Керн.

Фогт кивнул и медленно отпил глоток светлого вина. Потом он указал на озеро, серебрившееся в сиянии полумесяца и окаймленное горами, словно краями драгоценной чаши.

— Вот им нельзя диктовать, — сказал он. — И бабочкам нельзя, и листве деревьев. И вот этим нельзя. — Он указал на несколько зачитанных книг. — Гёльдерлин и Ницше. Один писал чистейшие гимны во славу жизни… другой грезил о божественных плясках, исполненных дионисийского веселья… и оба кончили безумием… как будто природа где-то провела свои границы.

— Диктаторы никогда не сходят с ума, — сказал Керн.

— Конечно, нет. — Фогт встал и улыбнулся. —

Но и разумными тоже не становятся.

— Вы правда завтра пойдете в полицию? — спросил Керн.

— Да, пойду. Прощайте, и спасибо вам за то, что хотели мне помочь. Я еще часик прогуляюсь у озера.

Он медленно шел вдоль по улице. Улица была пуста, и звук его шагов все еще раздавался, когда он уже скрылся из виду.

Керн поглядел на Рут. Она ему улыбнулась.

— Тебе страшно? — спросил он.

Она покачала головой.

— С нами это по-другому, — сказал он. — Мы молоды. Мы пробьемся.

Через два дня появился Биндер из Цюриха; холодный, элегантный и самоуверенный.

— Как дела? — спросил он. — Все получилось как надо?

Керн поведал ему о своем приключении с коммерции советником Оппенгеймом.

Биндер внимательно слушал. Он расхохотался, когда Керн рассказал, как просил Оппенгейма оказать ему протекцию.

— Это было вашей ошибкой, — сказал он. — Этот человек — самая трусливая жаба, какую я только знаю. Но я предприму против него кара-

тельную экспедицию.

Он исчез и вернулся вечером с двадцатифранковым билетом в руке.

— Здорово! — сказал Керн.

Биндера передернуло.

— Это было некрасиво, можете мне поверить. Господин Оппенгейм, наш патриот, готовый все понять благодаря своим миллионам. Деньги делают человека чертовски бесхарактерным, верно?

— Безденежье тоже.

— Но реже. Я его основательно застращал бредовыми новостями из Германии. Он дает только от страха. Чтобы откупиться от судьбы. Разве я не пометил в списке?

— Нет. Тут написано: дает, но только под нажимом.

— Это одно и то же. Ну, может быть, мы еще встретим коммерции советника как товарища по несчастью на большой дороге. Это вознаградило бы меня за многое.

Керн рассмеялся.

— Он уж как-нибудь выкарабкается. Но почему вы оказались в Люцерне?

— В Цюрихе стало слишком горячо. Ко мне привязался какой-то сыщик. И потом, — его лицо помрачнело, — я иногда приезжаю сюда забрать

письма из Германии.

— От ваших родителей?

— От матери.

Керн промолчал. Он подумал о своей матери. Он писал ей иногда. Но ответа получить не мог, так как постоянно менял адрес.

— Вы любите пирожные? — спросил после паузы Биндер.

— Да, конечно. А у вас есть?

— Да. Погодите минутку.

Он вернулся с пакетом. Это была картонка, в которой, тщательно упакованный в шелковистую бумагу, лежал маленький песочный торт.

— Сегодня получил, — сказал Биндер. — Здешние знакомые забрали его для меня с таможни.

— Но почему вы-то его не попробуете? — сказал Керн. — Ваша мама сама его пекла, это сразу видно.

— Да, она сама его пекла. Потому-то я и не хочу его есть. Я не могу. Ни куска!

— Не понимаю. Господи, если б я получил торт от матери! Я бы ел его целый месяц! Каждый вечер по кусочку.

— Но поймите же! — сказал Биндер сдавленным нервным голосом. — Она прислала его не для меня! Это для моего брата!

Керн удивленно посмотрел на него.

— Но вы же сказали, что ваш брат умер.

— Да, конечно. Но она об этом не знает.

— Не знает?

— Нет. Я не могу ей об этом написать. Просто не могу. Она умрет, если узнает. Он был ее любимчиком. Меня она не слишком жаловала. Да он и был лучше меня. Потому-то он и не выдержал. Я-то пробьюсь! Конечно! Вы же видите! — И он швырнул на пол деньги Оппенгейма.

Керн поднял кредитку и снова положил ее на стол, Биндер сел на стул и закурил сигарету. Потом вытащил из кармана письмо.

— Вот — ее последнее письмо. Оно было вложено в посылку. Прочитайте — и поймете, что от этого можно рехнуться.

Письмо было написано на бледно-голубой бумаге мягким косым почерком, как будто его писала молодая девушка.

«Мой дорогой и любимый Леопольд. Вчера я получила твое письмо и так ему обрадовалась, что мне сначала пришлось сесть, чтобы немного успокоиться. Потом я его вскрыла и стала читать. С сердцем у меня не очень-то хорошо из-за всех волнений, это ты, конечно, себе представляешь. Как я обрадовалась, что ты наконец-то нашел

работу! Если даже заработок небольшой, ты не расстраивайся; если будешь стараться, все наладится. Потом, может быть, снова начнешь учиться. Дорогой Леопольд, пригляди за Георгом. Он такой невыдержанный и легкомысленный. Но пока ты там, я спокойна. Сегодня утром я испекла для тебя твой любимый песочный торт, ты всегда его обожал. Посылаю его тебе, надеюсь, что он не засохнет. Хотя песочный торт, даже если и засохнет, не испортится, поэтому я его и испекла, а то бы я послала тебе «Франкфуртский венок», его ты любишь больше всего. Но он, наверное, испортится, пока дойдет. Дорогой Леопольд, если у тебя найдется время, напиши мне поскорее ответ, я очень беспокоюсь. Нет ли у тебя твоей фотографии? Надеюсь, что скоро мы все снова будем вместе. Не забывай меня. Твоя любящая мама. Передай привет Георгу».

Керн положил письмо на стол. Он не отдал его в руки Биндеру; он положил его на стол рядом с ним.

— Фотография, — сказал Биндер. — Где я достану фотографию?

— Она только теперь получила последнее письмо вашего брата?

Биндер покачал головой.

— Он застрелился год назад. С тех пор ей пишу я. Примерно раз в месяц. Почерком моего брата. Я научился его подделывать. Она не должна ничего знать. Это невозможно. Вы ведь тоже считаете, что ей не следует ничего знать?

Он умоляюще поглядел на Керна.

— Скажите же, как по-вашему?

— Да. Я думаю, так лучше.

— Ей шестьдесят. Шестьдесят, и совершенно никудышное сердце. Она долго не проживет. Может, мне все-таки удастся сделать так, чтобы она ничего не узнала. То, что он сделал это сам, — вы понимаете, — это она никогда не смогла бы понять.

— Да.

Биндер встал.

— Теперь я должен снова написать письмо. От него. Только бы быстрее покончить с этим. Фотография… где же мне достать фотографию?

Он взял письмо со стола.

— Берите этот торт, прошу вас! Если вам не хочется, угостите Рут. Вам не обязательно объяснять ей его происхождение.

Керн не решался прикоснуться к торту.

— Это очень хороший торт. Я только отрежу себе маленький кусочек… просто так…

Биндер вытащил из кармана перочинный нож, отрезал узкую полоску с края песочного торта и положил в конверт от письма своей матери.

— Видите ли, — сказал он, и лицо его как-то странно исказилось. — Мой брат… он не очень любил маму. А я… я… Смешно, правда?

Он ушел в свою комнату.

Было около одиннадцати часов вечера. Рут и Керн сидели на террасе. По лестнице спустился Биндер. Снова такой же бесстрастный и элегантный, как всегда.

— Пройдемтесь куда-нибудь, — сказал он. — Я еще не могу спать. И сегодня мне не хочется быть одному. Подарите мне всего час. Я знаю одно надежное кафе. Доставьте мне это удовольствие.

Керн взглянул на Рут.

— Ты не устала? — спросил он.

Рут покачала головой.

— Доставьте мне это удовольствие, — сказал Биндер. — Всего один час. Чтобы переменить обстановку.

— Хорошо.

Он повел их в кафе-дансинг. Рут заглянула внутрь.

— Там слишком шикарно, — сказала она. — Это не для нас!

— А для кого же еще, как не для нас, космополитов, — мрачно пошутил в ответ Биндер. — Да здесь и не так уж шикарно, если приглядеться. Не шикарнее, чем надо, чтобы не опасаться сыщиков. И коньяк здесь не дороже, чем везде. Но музыка много лучше. Иной раз это бывает необходимо. Давайте зайдем, прошу вас. Вон освободился столик.

Они сели и заказали выпивку.

— Зачем все это нужно, — сказал Биндер и поднял свой бокал. — Давайте веселиться! Жизнь быстро кончится, и тогда никому не будет дела до того, веселились мы или грустили.

— Правильно, — Керн тоже взял свой бокал. — Мы просто представим, что мы — местные, не правда ли, Рут? Представим, что у нас квартира в Цюрихе и мы приехали в Люцерн развлечься.

Рут кивнула и улыбнулась ему.

— Или что мы туристы, — сказал Биндер. — Богатые туристы.

Он выпил свой бокал и заказал еще.

— А вы выпьете еще бокал? — спросил он Керна.

— Попозже.

— Выпейте еще. Надо же немного расслабиться. Прошу вас.

— Так и быть.

Они сидели за своим столиком и наблюдали за танцующими. В кафе было много молодых людей, не старше их по возрасту, но они странным образом казались тремя заблудившимися детьми, которые смотрят, широко открыв глаза, на совершенно чуждый им мир. Вокруг них словно замкнулось серое кольцо бездомности и неприкаянности, безрадостной юности без надежды и будущего. «Да что это с нами, — думал Керн, — ведь мы же хотели веселиться! Ведь у меня есть все, что только можно иметь, и почти еще больше, да что же это со мной?»

— Тебе нравится здесь? — спросил он Рут.

— Да, очень, — ответила она.

В кафе стало темно, пестрый луч прожектора метнулся по паркету, и в этом луче закружилась прелестная стройная фигурка танцовщицы.

— Чудесно, правда? — спросила Рут и захлопала в ладоши.

— Великолепно! — Керн тоже зааплодировал.

— Отличная музыка, ты согласен?

— Первоклассная!

Они сидели за своим столиком и страстно желали восхищаться и быть легкими и радостными, но во всем был какой-то прах и пепел, и они не

знали, откуда в них это ощущение.

— Почему бы вам не потанцевать? — спросил Биндер.

— Давай попробуем? — Керн встал.

— Не думаю, что у меня получится, — сказала Рут.

— Я тоже не умею. Это упрощает дело.

Рут помедлила одно мгновение; потом вместе с Керном прошла к танцевальной площадке. Пестрые лучи прожекторов скользили над танцующими.

— Сейчас будет фиолетовый, — сказал Керн. — Самый подходящий цвет, чтобы затеряться в этой толпе!

Они танцевали осторожно, немного робея. Постепенно они почувствовали себя уверенней, особенно когда заметили, что никто не обращает на них внимания.

— Как с тобой хорошо танцевать, — сказал Керн. — Все время обнаруживаются вещи, которые хорошо делать с тобой. Не говоря уже о том, что ты — есть, все вокруг тоже становится другим и красивым.

Она передвинула руку ближе к его плечу и теснее прижалась к нему. Они медленно скользили в ритме музыки. Прожекторы сомкнули над ними

лучи, словно накрыли потоками цветной воды, и на миг они забыли обо всем — в них заструилась живая юная жизнь, свободная от тени страха, скрытности и недоверия.

Музыка оборвалась. Они вернулись к столику. Керн поглядел на Рут. Ее глаза сияли, а лицо оживилось. В нем появилось вдруг что-то сверкающее, самозабвенное и почти дерзкое. «Черт возьми, — подумал он, — если бы жить как хочешь...» И на какую-то секунду ему стало невыносимо горько.

— Смотрите, кто пришел! — сказал Биндер.

Керн поднял глаза. Коммерции советник Арнольд Оппенгейм пересекал зал, направляясь к выходу. Около их столика он остановился как вкопанный. Некоторое время он пристально разглядывал всех троих.

— Весьма интересно! — проворчал он. — В высшей степени поучительно!

Никто не ответил.

— Вот, значит, какова благодарность за доброту и поддержку! — возмущенно продолжал Оппенгейм. — Денежки тут же транжирим в дансингах!

— Немного забыться иногда бывает нужнее, чем поужинать, господин коммерции совет-

ник! — спокойно возразил Биндер.

— Отговорки! Таким молодым людям нечего делать в ресторанах!

— На большой дороге им тоже нечего делать, — ответил Биндер.

— Разреши тебе представить, — сказал Керн, обращаясь к Рут. — Этот господин, которого мы так рассердили, — коммерции советник Оппенгейм. Он купил у меня кусок мыла. Я заработал на этом сорок сантимов.

Оппенгейм ошалело воззрился на него. Потом он пробормотал что-то похожее на «Какая наглость!» и с достоинством удалился.

— Что это с ним? — спросила Рут.

— Самая обычная на свете вещь, — ответил Биндер голосом, полным сарказма. — Сознательная благотворительность. Тверже стали.

Рут поднялась.

— Он, наверное, вызовет полицию! Нам нужно уходить!

— Для этого он слишком труслив. Это доставит ему неприятности.

— Давайте лучше уйдем!

— Уйдем.

Биндер уплатил, и они встали и пошли в свой пансион. Недалеко от вокзала им навстречу по-

пались двое мужчин.

— Осторожно! — прошептал Биндер. — Сыщик! Держитесь непринужденно.

Керн тихо засвистел, взял Рут под руку и пошел медленнее. Он чувствовал, что Рут заторопилась. Он прижал ее локоть, рассмеялся и медленно, развязной походкой побрел дальше.

Мужчины прошли мимо. Один из них был в котелке и равнодушно курил сигарету. Другой был Фогт. Он узнал их и подал им почти незаметный знак взглядом, выражавшим сожаление.

Через некоторое время Керн оглянулся. Оба мужчины пропали из виду.

— Базельское направление, поезд отходит в двенадцать пятнадцать, идет до границы, — пояснил Биндер тоном эксперта.

Керн кивнул.

— Ему попался слишком гуманный судья.

Они пошли дальше. Рут замерзла, ее знобило.

— Здесь вдруг стало как-то жутко, — сказала она.

— Франция, — ответил Биндер. — Париж. Большой город — это самое лучшее.

— Почему же вы не едете туда?

— Я не знаю ни слова по-французски. И потом, я — специалист по Швейцарии. А кроме того… — он

не докончил фразы.

Они молча пошли дальше. С озера дул холодный ветер. Небо над ними было огромным, серым, как сталь, и чужим.

Перед Штайнером сидел бывший адвокат доктор Гольдбах Второй из Судебной палаты в Берлине. Это был новый телепатический медиум. Штайнер нашел его в кафе «Шперлер».

Гольдбаху было лет пятьдесят. Его выслали из Германии как еврея. Он торговал галстуками и подпольными юридическими советами. Этим он зарабатывал ровно столько, чтобы не умереть с голоду. У него была красивая тридцатилетняя жена, которую он любил. Она жила пока что на то, что выручала от продажи своих драгоценностей; но он знал, что, вероятно, не удержит ее. Штайнер выслушал его исповедь и пристроил его на место — подрабатывать во время вечерних представлений. Поэтому днем Гольдбах мог заниматься своими прочими делами.

Через некоторое время выяснилось, что Гольдбах не годится в качестве медиума. Он все путал и проваливал сеансы. По ночам он в отчаянии умолял Штайнера не выгонять его на улицу.

— Гольдбах, — говорил Штайнер, — сегодня было особенно скверно. Так дальше не пойдет! Вы

же вынуждаете меня на самом деле заниматься ясновидением!

Гольдбах глядел на него печальными глазами умирающей овчарки.

— Это же так просто, — продолжал Штайнер. — Число ваших шагов до первой опоры тента означает, в каком ряду искать. Закрываете правый глаз — дама, левый — господин. Число пальцев, которые вы незаметно показываете мне, — номер стула слева. Выставляете вперед правую ногу — я ищу спрятанный предмет выше пояса, выставляете левую — я ищу ниже. Чем дальше выставили, тем выше или ниже. Мы уж и так из-за вас изменили систему, слишком вы дергаетесь.

Адвокат нервно перебирал пальцами у ворота.

— Господин Штайнер, — сказал он виновато, — я вызубрил это наизусть, репетирую каждый день, Бог мне свидетель… но эта чертовщина не дается…

— Помилуйте, Гольдбах! — терпеливо втолковывал Штайнер. — В вашей практике вам приходилось удерживать в памяти куда больше!

Гольдбах заломил руки.

— Я знаю наизусть весь гражданский кодекс, я помню сотни поправок, прецедентов, поверьте,

господин Штайнер, моя память наводила страх на присяжных и судей… но эта чертовщина никак не дается…

Штайнер покачал головой.

— Это может запомнить и ребенок. Восемь различных знаков, всего-то! Плюс четыре — для особых, редких случаев.

— Да ведь я их знаю, я же репетирую каждый день. Просто я волнуюсь…

Гольдбах, маленький и согбенный, сидел на своем ящике и беспомощно смотрел в пространство.

Штайнер рассмеялся.

— Но вы же никогда не волновались в зале суда! Вы выигрывали крупные процессы, совершенно и хладнокровно владея тяжелейшим материалом!

— Да, да, это было легко. Но здесь! Пока сеанс не начнется, я точно помню каждую деталь, но стоит мне войти в павильон, как я начинаю волноваться и все путать…

— Господи, да почему вы так волнуетесь?

Гольдбах немного помолчал.

— Не знаю, — тихо сказал он. — Наверное, тут очень многое сходится.

Он поднялся.

— Вы порепетируете завтра еще раз со мной, господин Штайнер?

— Конечно. Но завтра у вас должно получиться. Иначе Поцлох не даст нам жизни.

Гольдбах выудил из кармана своего пиджака завернутый в шелковую бумагу галстук. Он протянул его Штайнеру.

— Я тут принес вам маленький сувенир. Вы столько со мной возитесь…

Штайнер отмахнулся.

— Исключено! У нас это не принято.

— Он мне ничего не стоил.

Штайнер похлопал Гольдбаха по плечу.

— Попытка подкупа со стороны юриста. Какой за это положен максимальный срок?

Гольдбах слабо улыбнулся.

— О максимальном сроке спрашивайте прокурора. Хорошего адвоката спрашивают только о минимальном. Впрочем, мера наказания будет та же; только в подобном случае исключаются смягчающие обстоятельства. Последним крупным процессом такого рода была афера Хауэра и сообщников.

Он немного оживился.

— Защиту вел тогда Фрейганг. Способный человек, но слишком любит парадоксы. Парадокс как

частность — неоценим, потому что ставит оппонента в тупик; но не как основание для защиты. На этом Фрейганг проиграл: он пытался на суде сослаться на смягчающие обстоятельства… — Гольдбах нервно засмеялся, — на незнание законов.

— Неплохо, — сказал Штайнер.

— Для анекдота, но не для процесса.

Гольдбах стоял, слегка склонив голову, взгляд его стал вдруг острым, глаза прищурились… Жалкий эмигрант и торговец галстуками внезапно исчез, а вместо него снова возник доктор Гольдбах Второй из Судебной палаты, внушающий ужас тигр в джунглях юриспруденции.

Быстро, уверенно, выпрямившись, как когда-то, шагал Гольдбах по главной аллее Пратера. Он не замечал тяжелой тоски ясной осенней ночи, он снова стоял в переполненном зале суда, перед ним лежали его заметки, он был на месте адвоката Фрейганга, он видел, как сел прокурор, закончив обвинительную речь, он поправил свою мантию, легко облокотился костяшками пальцев о кафедру, немного наклонился вперед, подобно фехтовальщику, и начал с металлом в голосе: «Высокий Суд! Обвиняемый Хауэр…»

Тезисы следовали один за другим, краткие и

резкие, несокрушимые в своей логике. Он повторил все мотивы прокурора, один за другим, казалось, он следует его аргументации, казалось, он не защищает, а обвиняет, в зале стало тихо, присяжные подняли головы — но вдруг, одним виртуозным выпадом, он все перевернул, процитировал статью о подкупе и четырьмя жесткими вопросительными фразами высветил ее двузначность, чтобы затем, стремительно и неопровержимо, представить оправдательный материал, который теперь оказал совершенно новое воздействие.

Он постоял перед домом, где жил. Потом стал подниматься по лестнице — все нерешительнее, все медленнее.

— Моя жена уже пришла? — спросил он у заспанной девушки, открывшей ему дверь.

— Четверть часа назад.

— Спасибо. — Гольдбах прошел по коридору в свою комнату — узкую, с маленьким окном во двор. Он причесался, потом постучал в дверь смежной комнаты.

— Да…

Жена сидела перед зеркалом и внимательно рассматривала свое лицо. Она не обернулась.

— Ну что? — спросила она.

— Как идут дела, Лена?

— Как могут идти дела при такой жизни? Плохо! Зачем ты, собственно, об этом спрашиваешь? — Женщина разглядывала свои веки.

— Ты уходила? Где ты была?

— В одном месте. Я же не могу по целым дням сидеть здесь и пялиться на эти стены.

— Ты и не должна этого делать. Я бываю только рад, когда у тебя находится развлечение.

— Ну вот и хорошо.

Женщина начала медленно и старательно втирать в кожу крем. Она разговаривала с Гольдбахом как с бревном — без всякого возмущения, с чудовищным безразличием. Он стоял в дверях и смотрел на нее — погибая от голода по доброму слову. У нее была чистая, без единого пятнышка, розовая кожа, мерцавшая в свете лампы. Ее тело было пышным и мягким.

— Нашел что-нибудь? — спросила она.

Гольдбах поник.

— Ты же знаешь, Лена… у меня еще нет разрешения на работу. Я заходил к коллеге Хепфнеру; он тоже ничего не может сделать. Все это длится так ужасно долго…

— Да, это длится уже слишком долго.

— Я делаю что могу, Лена.

— Да, я знаю. Я устала.

— Я сейчас уйду. Покойной ночи.

Гольдбах закрыл дверь. Он не знал, что ему делать. Ворваться силой и умолять, молить ее, чтоб она поняла, чтобы спала с ним, хотя бы одну ночь… или не стоит? Он бессильно сжал кулаки. Избить, подумал он, вколотить в это розовое мясо все унижение и стыд, хоть раз дать себе волю, разъяриться, расколошматить вдребезги всю комнату и бить, бить, чтобы этот равнодушный высокомерный рот заорал и завизжал и мягкое тело стало извиваться на полу от боли.

Он дрожал и прислушивался. Карбатке, или нет, Карбутке была фамилия того человека; приземистый такой парень с заросшим лбом и лицом, какое профаны в уголовных делах называют физиономией убийцы. Трудно было как раз для него добиваться оправдания, доказывать, что он действовал в состоянии аффекта. Парень выбил своей девушке зубы, сломал руку, глубоко разорвал губу; под глазами у нее еще во время судебного разбирательства держались синяки, так она была избита; и, несмотря на это, она с собачьей преданностью цеплялась за это грубое животное, за этого парня, — может быть, даже именно поэтому. Оправдательный приговор

был большим успехом психологически тонкой, мастерской защиты. Гольдбаха тогда поздравлял коллега Кон Третий.

Гольдбах опустил руки. Он смотрел на груду дешевых галстуков из искусственного шелка, лежащих на столе. Да, тогда, в комнате адвокатов, он весьма остроумно доказывал коллегам, что любовь женщины стремится обрести хозяина и повелителя; тогда он зарабатывал шестьдесят тысяч марок в год и дарил Лене украшения, выручку от продажи которых она тратит теперь на себя.

Он прислушался, как она ложится в постель. Он делал это каждый вечер и презирал себя за это, но не мог удержаться. Его щеки покрылись пятнами, когда он услышал скрип пружин. Он стиснул зубы, подошел к зеркалу и долго смотрел на себя. Потом взял стул и поставил его на середину комнаты.

— Допустим, в девятом ряду третья женщина спрятала в туфлю ключ, — пробормотал он. Потом тщательно отмерил девять коротких шагов до стула, моргнул правым глазом, провел тремя пальцами по лбу и выставил вперед левую ногу… еще дальше… теперь он был абсолютно сосредоточен, он видел, как ищет ключ Штайнер, и все дальше вперед выставлял ногу.

В красноватом свете лампочки жалко колебалась на стене его скрюченная тень.

— Что-то поделывает наш малыш, Лило? — спрашивал в это время Штайнер. — Богу известно, не только из-за этого придурка Гольдбаха… я в самом деле часто скучаю без него!

XIII

Керн и Рут были в Берне. Они жили в пансионе «Иммергрюн». Пансион упоминался в списке Биндера. Там можно было оставаться два дня, не обращаясь за пропиской в полицию.

На второй день поздно вечером в номер Керна постучали. Он уже разделся и собрался ложиться в постель. Какой-то момент он подождал, не двигаясь с места. Стук повторился. Бесшумно, босиком он пробежал к окну. Окно было слишком высоким, чтобы из него выпрыгнуть, но не было и дождевого желоба, чтобы по нему залезть на крышу. Он медленно вернулся и открыл дверь.

За дверью стоял мужчина лет тридцати. Он был на голову выше Керна, с круглым лицом, водянисто-голубыми глазами и светло-русыми, кудрявыми волосами, в руках он держал велюровую шляпу и нервно мял ее поля.

— Простите, — сказал он, — я такой же эмигрант, как вы…

Керну показалось, что за спиной у него вдруг выросли крылья. «Спасен! — думал он. — Это не полиция!»

— Я оказался в большом затруднении, — продолжал мужчина. — Меня зовут Биндинг. Рихард Биндинг. Я здесь по пути в Цюрих, и у меня нет ни сантима, чтобы где-нибудь переночевать. Я не хочу просить у вас денег. Я только хотел спросить, нельзя ли мне поспать здесь у вас на полу.

Керн посмотрел на него.

— Здесь? — спросил он. — В этом номере? На полу?

— Да. Я привык, и я вам ничуть не помешаю. Я уже три ночи в дороге. Вы знаете, каково это — спать на скамейках в вечном страхе перед полицией. Тут бываешь рад даже нескольким часам безопасности.

— Я знаю. Но вы поглядите на эту комнату! Здесь же нигде нет места, чтобы вы могли вытянуться во весь рост. Где же вы тут хотите спать?

— Это ничего! — живо отозвался Биндинг. — Я помещусь! Хотя бы в углу! Я могу спать сидя, опираясь о шкаф. Очень хорошо получается! Когда есть немного покоя, наш брат уснет в любом

месте!

— Нет, так не пойдет. — Керн немного подумал. — Номер стоит два франка. Я могу дать вам эти деньги. Так будет проще всего. Тогда вы сможете основательно выспаться.

Биндинг протестующе поднял руки. Они были большие, красные и толстые.

— Я не хочу брать у вас деньги! Я не для того пришел! Тем, кто живет здесь, самим нужен каждый грош! И потом… Я уже спрашивал внизу, нельзя ли где-нибудь переночевать. Ни одной свободной комнаты нет.

— Может быть, одна найдется, если у вас будут два франка наличными.

— Не думаю. Хозяин сказал мне, что человека, проведшего два года в концентрационном лагере, он всегда пустил бы ночевать бесплатно. Но у него в самом деле нет ни одной свободной комнаты.

— Что? — сказал Керн. — Вы два года были в концентрационном лагере?

— Да. — Биндинг зажал между коленями свою велюровую шляпу и вытащил из нагрудного кармана обтрепанную бумагу. Он развернул ее и отдал Керну. — Вот… смотрите! Справка о моем освобождении из Ораниенбурга.

Керн осторожно взял бумагу, стараясь не порвать хрупкие сгибы. Он еще никогда не видел справки об освобождении из концлагеря. Он прочел типографский заголовок и стандартный текст, впечатанное на машинке имя «Рихард Биндинг»… потом посмотрел на печать со свастикой и чистую, разборчивую подпись чиновника… все было правильно. Все было правильно даже в смысле педантичного и бюрократического порядка, и как раз поэтому все вместе производило впечатление жуткой нереальности, словно кто-то возвратился из ада и демонстрирует разрешение на прописку и визу на въезд туда.

Он вернул справку Биндингу.

— Послушайте, — сказал он. — Я знаю, что мы сделаем! Вы останетесь на моей кровати, в моем номере. Я тут в пансионе знаю кое-кого, у него комната побольше. Я прекрасно высплюсь там. И нам обоим будет легче.

Биндинг глядел на него округлившимися глазами.

— Но это абсолютно невозможно!

— Напротив! Нет ничего легче! — Керн взял свое пальто и накинул его на пижаму. Потом повесил на руку костюм и захватил туфли. — Вот видите! Я забираю это с собой. Так что даже не

потревожу вас утром. Я там и оденусь. Я рад, что могу хоть что-то сделать для человека, который столько вынес.

— Но как же… — Биндинг вдруг схватил Керна за руки. Казалось, он хотел их поцеловать. — Господи, да вы ангел! — простонал он. — Избавитель!

— Ну что вы! — смущенно возразил Керн. — Люди помогают один другому. А иначе что с нами станет? Спокойной ночи!

Керн немного подумал, стоит ли ему забирать с собой чемодан. Там у него в боковом кармашке было припрятано сорок франков. Но деньги были спрятаны надежно, чемодан закрыт на ключ, и ему было стыдно открыто показывать недоверие человеку, вернувшемуся из концлагеря. Эмигранты друг у друга не воруют.

— Спокойной ночи! Приятного сна! — повторил он и вышел.

Рут жила на том же этаже. Керн постучал в ее дверь двумя короткими ударами. Это был их условный знак. Она сразу же открыла.

— Что-нибудь случилось? — спросила она испуганно, увидев, что он с вещами в руках.

— Нет. Просто я уступил свой номер одному бедняге из концлагеря, который не спал несколько ночей подряд. Можно я посплю у тебя на

шезлонге?

Рут улыбнулась.

— Шезлонг старый, того гляди развалится; а тебе не кажется, что эта кровать достаточно велика для нас обоих?

Керн быстро вошел и поцеловал ее.

— Иногда я действительно задаю самые глупые вопросы на свете, — сказал он. — Но, поверь, это только от смущения. Это все еще слишком ново для меня.

Комната Рут была просторнее, чем номер Керна. За исключением шезлонга, обставлена она была точно так же, но Керн считал, что она выглядит совершенно иначе. Странно, думал он, наверное, это из-за ее вещей… вон ее узкие туфли, блузка, коричневая юбка… сколько в них нежности! А мои вещи в номере только вносят беспорядок.

— Рут, — сказал он, — если бы мы захотели пожениться… ты знаешь, мы бы не смогли. Потому что у нас нет документов.

— Я знаю. Но меня это нисколько не волнует. Вообще, зачем нам, собственно, две комнаты?

Керн рассмеялся.

— Из-за высокого уровня морали в Швейцарии. Проживать в гостинице без прописки — это еще туда-сюда, но не состоять в законном браке — это

невозможно!

На следующее утро он подождал до десяти часов. Потом пошел к себе в номер за чемоданом. Он хотел «отработать» с утра несколько адресов, а Биндинга оставить отсыпаться.

Но в номере уже никого не было. Вероятно, Биндинг отправился дальше. Керн открыл свой чемодан. Чемодан не был заперт, это его удивило. Он точно помнил, что вечером запирал его. Еще ему показалось, что флаконы лежат иначе, чем он привык их класть. Он быстро проверил содержимое. Маленький конверт в тайном боковом кармашке был на месте. Он открыл его и увидел, что швейцарские деньги исчезли. Только две одинокие австрийские пятишиллинговые бумажки выпорхнули ему навстречу.

Он еще раз обыскал все; даже свой костюм, хотя был твердо уверен, что денег в нем нет. Он никогда ничего не носил при себе на случай, если его схватят на улице. Тогда, по крайней мере, у Рут останутся деньги и чемодан. Но эти сорок франков исчезли.

Некоторое время он сидел не двигаясь. Потом стал прикидывать, следует ли рассказать обо всем Рут; но он решил сделать это лишь в крайнем случае, когда ничего другого ему не останется. Он

не хотел беспокоить ее раньше времени.

В конце концов он вытащил список Биндера и пометил несколько бернских адресов. Потом битком набил карманы мылом, шнурками, английскими булавками, флаконами с туалетной водой и спустился вниз по лестнице. Внизу он встретил хозяина.

— Вы знаете человека по имени Рихард Биндинг? — спросил он.

Хозяин немного подумал. Потом покачал головой.

— Я имею в виду того человека, который приходил вчера вечером. Он просил комнату.

— Вчера вечером никто комнату не просил. Меня вообще вчера не было. Я до двенадцати играл в кегли.

— Ах так! А свободные комнаты у вас были?

— Да, три. Они и сегодня еще свободны. Вы кого-нибудь ожидаете? Можете взять седьмой номер по вашему коридору.

— Нет. Я не думаю, что тот, кого я жду, вернется. Он, наверное, давно уже едет в Цюрих.

К середине дня Керн заработал три франка. Он зашел в дешевый ресторан, чтобы съесть бутерброд и потом сразу же снова отправиться торговать.

Он стоял у стойки и торопливо жевал. Вдруг бутерброд чуть не выпал у него из рук. За одним из дальних столиков он заметил Биндинга.

Он запихнул остаток бутерброда в рот, проглотил его и медленно подошел к столику. Биндинг сидел один, поставив локти на скатерть, перед большой тарелкой, и самозабвенно поглощал свиную отбивную с красной капустой и картофелем.

Он поднял глаза только тогда, когда Керн приблизился к нему вплотную.

— А, это вы! — сказал он небрежно. — Как дела?

— У меня пропало сорок франков, — сказал Керн.

— Досадно, — ответил Биндинг и проглотил большой кусок отбивной. — В самом деле, очень досадно!

— Верните мне то, что у вас осталось, и покончим с этим делом.

Биндинг глотнул пива и вытер губы.

— С ним и так покончено, — заявил он благодушно. — Или вы что-то собираетесь предпринять?

Керн смотрел на него в упор. В своей ярости он еще не успел сообразить, что в самом деле ничего

не может поделать. Если он пойдет в полицию, у него потребуют документы и самого его посадят и вышлют.

Прищурив глаза, он продолжал разглядывать Биндинга в упор.

— Никаких шансов, — сказал тот. — Я очень хороший боксер. На сорок фунтов тяжелее вас. Кроме того, за скандал в публичном месте — полиция и высылка.

В тот момент Керну было наплевать на то, что произойдет с ним самим, но он подумал о Рут, Биндинг был прав: у него не было никаких шансов сделать что-нибудь.

— Вы часто это проделываете? — спросил он.

— Я этим живу. И, как видите, неплохо.

Керн чуть не задохнулся от горькой обиды.

— Верните мне хотя бы двадцать франков, — сказал он хрипло. — Мне нужны эти деньги. Не для себя. Для другого человека, которому они принадлежат.

Биндинг покачал головой.

— Мне они самому нужны. Вы дешево отделались. За сорок франков вы получили самый большой урок, который только бывает в жизни: не быть легковерным.

— Это верно. — Керн поглядел на него. Он хо-

тел уйти, но не мог. — Все ваши бумаги — это, конечно, липа!

— Представьте себе, нет! — возразил Биндинг. — Я был в концлагере. — Он засмеялся. — Правда, за то, что обокрал одного гауляйтера. Редкий случай!

Он потянулся к последней отбивной, которая еще оставалась на тарелке. В следующий миг котлета оказалась в руке у Керна.

— Можете устроить скандал, — сказал он.

Биндинг ухмыльнулся.

— И не подумаю! Я почти наелся. Попросите, чтоб вам принесли тарелку, и отведайте красной капусты. Я даже готов угостить вас кружкой пива!

Керн ничего не ответил. Он был на пределе, он чуть не отхлестал Биндинга зажатым в руке куском. Быстро повернувшись, он пошел к выходу, сжимая в руке трофейную отбивную. У стойки он попросил немного бумаги, чтобы ее завернуть. Девушка-подавальщица посмотрела на него с любопытством. Потом выловила из банки пару огурцов.

— Вот, — сказала она. — Это гарнир.

Керн взял огурцы.

— Спасибо, — сказал он. — Большое спасибо.

«Ужин для Рут, — подумал он. — Дьявольщина и проклятье, за сорок франков!»

У дверей он еще раз оглянулся. Биндинг провожал его взглядом. Керн плюнул. Биндинг с улыбкой отдал ему честь двумя сложенными пальцами правой руки.

За Берном пошел дождь. У Рут и Керна не хватило денег, чтобы доехать по железной дороге до ближайшего городка. Хотя у них оставался маленький неприкосновенный запас, но его они не хотели трогать до Франции. Километров пятьдесят их подвезла попутная машина. Потом пришлось идти пешком. Керн редко рисковал продавать что-нибудь в деревнях. Это слишком бросалось в глаза. Больше одной ночи они нигде не ночевали. Они приходили в селение поздно вечером, когда полицейские участки уже были закрыты, и уходили утром, прежде чем они открывались. Таким образом, они успевали уйти прежде, чем в жандармерию поступали сведения о новоприбывших. В этой части Швейцарии список Биндера не срабатывал; в нем перечислялись только крупные города.

Неподалеку от Муртена они заночевали в пустом сарае. Ночью разразился ливень. Крыша была дырявая, они промокли до нитки и просну-

лись. Они попытались высушить свои вещи, но не смогли развести огонь. Все было влажным, и они с трудом нашли сухое место, куда не проникал дождь. Они спали, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, но их пальто, которыми они накрылись, были слишком мокры, — от холода они проснулись снова. Так они дождались рассвета и снова двинулись в путь.

— Согреемся на ходу, — сказал Керн. — Где-нибудь через час мы раздобудем по чашке кофе.

Рут кивнула.

— Может быть, выглянет солнце. Тогда мы быстро высохнем.

Но целый день было холодно и дул порывистый ветер. То и дело принимался накрапывать дождь. Это был первый очень холодный день месяца, над полями нависли набухшие низкие тучи, а после обеда снова разразился ливень. Рут и Керн пережидали его в маленькой придорожной часовне. В ней было очень темно, а через некоторое время загрохотал гром и за пестрыми витражами, на которых святые в синих и красных одеяниях держали светильники с надписями о мире небес и души, засверкали молнии.

Керн чувствовал, что Рут дрожит.

— Тебе очень холодно? — спросил он.

— Нет, не очень.

— Давай немного походим, так будет лучше. Я боюсь, что ты простудишься.

— Не простужусь. Только ты дай мне немного посидеть.

— Ты устала?

— Нет. Просто мне хочется минутку посидеть.

— Может, тебе лучше походить? Хоть несколько минут? Нельзя сидеть во всем мокром. Каменный пол такой холодный.

— Хорошо.

Они медленно обошли часовню. Их шаги гулко отдавались в пустом помещении. Они прошли мимо исповедален с зелеными занавесами, которые вздувались на сквозняке, вокруг алтаря, к ризнице и обратно.

— До Муртена еще девять километров, — сказал Керн. — Надо бы устроиться где-нибудь поближе.

— Девять километров мы еще сможем пройти.

Керн что-то пробормотал про себя.

— Что ты сказал? — спросила Рут.

— Ничего. Я только проклинаю некоего Биндинга.

Она взяла его под руку.

— Забудь об этом! Самое простое — забыть. Кажется, дождь перестает.

Они вышли. С неба еще капало, но над горами уже стояла огромная радуга. Она как гигантский пестрый мост перекинулась через всю долину. За лесами сквозь разорванные облака на землю низвергалась лавина желто-белого света. Солнца не было видно — лишь свет, клубящийся, как сияющий туман.

— Пошли, — сказала Рут. — Теперь будет лучше.

Вечером они проходили мимо овчарни. Пастух, пожилой молчаливый крестьянин, сидел перед дверью. Рядом с ним лежали две овчарки. Они с лаем бросились на проходящих.

Крестьянин вынул изо рта трубку и свистом отозвал собак.

Керн подошел к нему.

— Нельзя ли здесь переночевать? Мы промокли и устали и не можем идти дальше.

Крестьянин пристально посмотрел на него.

— Наверху есть сеновал, — сказал он наконец.

— Это все, что нам нужно.

Крестьянин опять долго глядел на него.

— Отдайте мне ваши спички и сигареты, — сказал он. — Там много сена.

Керн отдал ему курево.

— Вам придется залезть туда по лестнице, —

объяснил крестьянин. — Я запру за вами. Я живу в деревне. Завтра утром я вас выпушу.

— Спасибо. Большое спасибо.

Они залезли на сеновал. Наверху было сумрачно и тепло. Через некоторое время пришел крестьянин. Он принес им винограду, немного овечьего сыра и темного хлеба.

— Теперь я вас запру, — сказал он. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Они прислушивались, пока он не спустился вниз. Потом сняли свои мокрые вещи и разложили их на сене, вытащили из чемоданов ночное белье и принялись есть. Они были очень голодны.

— Вкусно? — спросил Керн.

— Чудесно. — Рут прислонилась к нему.

— Нам везет, а?

Она кивнула.

Спустившись, крестьянин запер овчарню. Они сидели у круглого окошка и глядели, как он уходил. Небо прояснилось. Оно отражалось в озере. Крестьянин медленно шел по сжатым полям степенным шагом человека, живущего на природе. Кроме него, никого не было видно. Он шел через поля один, и казалось, что на своих темных

плечах он несет целое небо.

Они сидели у окна, пока блеклые сумерки не окрасили в серое весь свет. Сено за их спинами в игре теней разрослось в какую-то фантастическую гору. Его запах смешивался с запахом торфа и виски, исходившим от овец.

Овец можно было рассматривать сквозь щель в полу: смутное колыхание пушистых спин, издававшее нестройные звуки, становилось все спокойнее и постепенно затихло.

На следующее утро пришел крестьянин и открыл овчарню. Керн спустился вниз. Рут еще спала. Ее лицо пылало, и дышала она неровно. Керн помог крестьянину выгнать овец.

— Можно нам остаться здесь еще на один день? — спросил он. — Мы бы охотно помогли вам, если вы согласитесь.

— Помогать особенно нечего. А остаться можно.

— Спасибо.

Керн разузнал адреса немцев, живущих в городке. В списке Биндера городок не значился. Крестьянин назвал ему несколько человек и объяснил, как их найти.

Вечером, когда стемнело, Керн отправился в город. Первый дом он нашел очень легко. Это

была белая вилла, окруженная маленьким садом. Дверь открыла опрятная горничная. Она сразу же провела его в маленькую прихожую, не заставив ждать за порогом. «Добрый знак», — подумал Керн.

— Можно видеть господина Аммерса? Или госпожу Аммерс? — спросил он.

— Минутку.

Девушка исчезла и тут же появилась снова. Она провела его в гостиную, обставленную новой мебелью красного дерева. Керн чуть не упал, таким гладким был натертый пол. Повсюду на мебели лежали кружевные салфетки.

Через минуту появился господин Аммерс. Это был маленького роста мужчина с белой бородой, с виду очень доброжелательный. Керн решился из двух историй, имевшихся у него в запасе, выбрать правдивую.

Аммерс выслушал его сочувственно.

— Значит, вы эмигрант без паспорта и без прописки? — сказал он потом. — И у вас есть на продажу мыло и хозяйственные мелочи?

— Да.

— Отлично. — Аммерс встал. — Моя жена может посмотреть ваши вещи.

Он вышел. Через некоторое время вошла его

жена, выцветшее бесполое существо с лицом цвета вываренного мяса и бледными рыбьими глазами.

— Какие у вас вещи? — спросила она жеманно.

Керн разложил свои сокровища. Их осталось не так уж много. Женщина долго перебирала все подряд, разглядывала английские булавки с таким видом, словно в жизни не видела ничего подобного, принюхивалась к мылу и ощупывала зубные щетки; потом спросила, что почем, и наконец решила позвать сестру.

Сестра была ее точной копией. По-видимому, коротышка Аммерс, с его бородкой клинышком, завел у себя в доме железные порядки, потому что и сестра эта была тоже словно погашенная и голос у нее был приглушенный и боязливый. Взгляды обеих женщин то и дело устремлялись к двери. Они медлили и привередничали, так что Керн наконец начал терять терпение. Он заметил, что женщины ни на что не могут решиться, и собрал свои вещи.

— Может быть, вы подумаете до завтра, — сказал он. — Я же могу зайти еще раз.

Жена хозяина поглядела на него, как будто чего-то испугавшись.

— Не хотите ли выпить чашку кофе? — спро-

сила она.

Керн давно уже не пил кофе.

— Если у вас найдется.

— Да, конечно! Сейчас! Одну минутку!

Она выкатилась из комнаты, неловко, как кривая бочка, но быстро. Сестра хозяйки осталась.

— Как это здорово, выпить сейчас чашку кофе! — сказал Керн, чтобы что-то сказать.

Сестра булькнула, как глухарь, коротким смешком, и вдруг замолкла, словно подавилась. Керн посмотрел на нее с изумлением. Она сжалась и издала носом высокий свистящий звук.

Вошла хозяйка и поставила на стол перед Керном дымящуюся чашку кофе.

— Только вы пейте спокойно, не торопясь, — сказала она озабоченно. — Время у вас есть, а кофе очень горячий.

Сестра визгливо хохотнула и тут же снова испуганно сжалась.

Керн не успел пригубить кофе. Дверь отворилась, и вошел Аммерс — быстрыми мягкими шагами, в сопровождении жандарма; вид у жандарма был недовольный.

Аммерс ритуальным жестом указал на Керна.

— Господин жандарм, исполняйте ваш долг! Перед вами безродный индивидуум без паспорта,

выдворенный из Германской империи!

Керн замер. Жандарм оглядел его с головы до пят.

— Пройдемте! — проворчал он.

На какой-то момент Керну почудилось, что его мозг отказал. Он ожидал всего, только не этого. Медленно и автоматически, как в замедленной съемке, он собрал свои вещи. Потом выпрямился.

— Вот, значит, зачем были кофе и вся эта любезность! — сказал он с трудом и запинаясь, словно должен был прежде всего уяснить это сам. — Все для того, чтобы задержать меня! Вот для чего! — Он сжал кулаки и сделал шаг в сторону Аммерса, который резко отпрянул в сторону. — Не бойтесь! — сказал Керн очень тихо. — Я вас не трону! Я вас только прокляну. Проклинаю вас и ваших детей и вашу жену всеми силами моей души! Да падет на вас все горе мира! Пусть ваши дети возненавидят вас и бросят одного в бедности, убожестве и нищете!

Аммерс побледнел. Его острая бороденка задергалась.

— Защитите меня! — приказал он жандарму.

— Он вас не оскорбил, — флегматично возразил тот. — Пока он только проклял вас. Вот если бы

он, к примеру, обозвал вас грязным доносчиком, это было бы оскорблением, и то из-за слова «грязный».

Аммерс смотрел на него вне себя от ярости.

— Исполняйте ваш долг! — рявкнул он.

— Господин Аммерс, — спокойно разъяснил жандарм. — Вы не должны давать мне инструкций. Я их получаю от моего начальства. Вы донесли на человека; я явился по вызову, остальное предоставьте мне. Следуйте за мной! — сказал он Керну.

Оба вышли. Дверь за ними захлопнулась. Керн молча шел рядом с жандармом. Он все еще не мог собраться с мыслями. Он словно отупел. Рут… он просто не решался думать о ней.

— Приятель, — сказал жандарм немного погодя, — и впрямь случается, что овцы забредают в гости к гиенам. Вы что, не знали, кто он такой? Тайный шпион немецкой нацистской партии в наших местах. Он уже не первый раз доносит на людей.

— Господи! — сказал Керн.

— Да, — ответил жандарм. — Это называется — повезло как утопленнику, а?

Керн молчал.

— Я не знаю, — тупо отозвался он. — Я только

знаю, что меня ждет больной человек.

Жандарм взглянул на улицу и пожал плечами.

— Чем тут поможешь! Да и не мое это дело. Я обязан отвести вас в полицию. — Он оглянулся. Улица была пуста. — Я бы не советовал вам убегать! — продолжал он. — Это не имеет смысла! Правда, я растянул ногу и мне вас не догнать, но я тут же закричу «Стой!» и выну револьвер, если вы не остановитесь. — Несколько секунд он пристально глядел на Керна. — Конечно, для этого понадобится некоторое время, — резюмировал он. — Может, вам и удалось бы удрать, особенно в таком месте, куда мы сейчас пройдем, там сплошь переулки да закоулки и не больно-то удобно стрелять. Вот если бы вы удрали там, мне вас нипочем не поймать. Разве что заранее надеть на вас наручники.

Керн вдруг очнулся, и бессмысленная надежда завладела всем его существом. Он уставился на своего конвоира.

Жандарм невозмутимо шел дальше.

— Видите ли, — сказал он задумчиво через некоторое время, — иной раз мы и вправду бываем излишне порядочны.

Керн почувствовал, что его руки взмокли от волнения.

— Послушайте, — торопливо сказал он, — меня ждет один человек, который без меня погибнет! Отпустите меня! Мы идем во Францию, мы все равно хотели уйти из Швейцарии, какая вам разница!

— Не имею права! — флегматично возразил конвоир. — Это будет нарушением инструкции. Я обязан доставить вас в полицию, это мой долг. Вы в крайнем случае можете от меня убежать, против этого я, конечно, ничего не могу поделать. — Он остановился. — Если вы, допустим, побежите по этой улице, потом за угол и налево… тогда вы, конечно, исчезнете, прежде чем я успею выстрелить. — Он нетерпеливо поглядел на Керна. — Или мне придется надеть вам сейчас наручники! Черт возьми, куда я их задевал?

Повернувшись к Керну вполоборота, он стал неторопливо рыться в своей сумке.

— Спасибо! — сказал Керн и ринулся прочь.

Добежав до угла, он оглянулся. Жандарм стоял, подбоченясь, и ухмылялся вслед ему.

Ночью Керн проснулся. Он услышал неровное поверхностное дыхание Рут. Он потрогал ее лоб — он был горячий и влажный. Разбудить ее он не рискнул: она спала глубоким, но неспокойным сном. Сено сильно пахло, хотя на нем были рассте-

лены одеяла и грубые простыни. Через некоторое время она проснулась сама. Заспанным детским голосом попросила воды. Керн принес ей кувшин и кружку, и она с жадностью выпила.

— Тебе жарко? — спросил он.

— Да, очень. Но, может быть, это из-за сена. У меня в горле все пересохло.

— Только бы не было температуры.

— Я не имею права температурить. И болеть нельзя. Я и не больна. Не больна.

Она повернулась, спрятала голову под локоть и снова заснула.

Керн лежал тихо. Ему хотелось зажечь свет, чтобы посмотреть, как выглядит Рут. По влажному жару ее лица он почувствовал, что у нее температура. Но у него не было карманного фонарика. Поэтому он лежал тихо, прислушиваясь к ее прерывистому дыханию и следя за бесконечно медленным кружением стрелки на светящемся циферблате своих часов, который мерцал в темноте, как далекая призрачная адская машина времени. Овцы внизу толкались и иногда постанывали, и, казалось, прошли годы, прежде чем за овалом окна начало светать.

Рут проснулась.

— Дай мне воды, Людвиг.

Керн протянул ей кружку.

— У тебя жар, Рут. Ты можешь побыть часок одна?

— Да.

— Я только сбегаю в город за лекарством.

Пришел крестьянин и отпер сарай. Керн рассказал ему, что случилось. Крестьянин явно скис.

— Ее, наверно, нужно отправить в больницу. Здесь ей нельзя оставаться.

— Мы подождем до обеда, может, ей станет лучше.

Несмотря на страх встретить жандарма или кого-нибудь из семейства Аммерс, Керн отправился в городишко, нашел аптеку и попросил аптекаря одолжить ему термометр.

Помощник аптекаря дал ему градусник, взяв деньги под залог. Керн купил еще упаковку аркаголя и побежал обратно.

Градусник показал 38,5. Рут проглотила две таблетки, и Керн укутал ее в свою куртку, завернул в пальто и обложил сеном. Днем, несмотря на эти меры, температура поднялась до 39 градусов.

Крестьянин почесал в затылке.

— Ей нужно лечение. На вашем месте я бы положил ее в больницу.

— Я не хочу в больницу, — тихо прохрипела

Рут. — Я завтра буду здорова.

— Непохоже, — сказал крестьянин. — Вам нужно лежать в комнате, на кровати, а не здесь, на сеновале.

— Нет, здесь тепло и хорошо. Пожалуйста, позвольте мне лежать здесь.

Крестьянин спустился вниз, Керн последовал за ним.

— Почему она не хочет отсюда уходить? — спросил крестьянин.

— Потому что тогда мы разлучимся.

— Ну и что с того? Вы же можете ее подождать.

— Не могу. Если ее положить в больницу, там увидят, что она без паспорта. Может, ее там и оставят, хотя денег у нас мало; но потом полиция доставит ее на границу, а я не узнаю, куда и когда.

Крестьянин покачал головой.

— И вы ничего не натворили? Никаких безобразий?

— У нас нет паспортов, и мы не можем их получить, вот и все.

— Я не об этом. Вы ничего нигде не украли, никого не обманули или вроде того?

— Нет.

— И, несмотря на это, вас отовсюду гонят, слов-

но вы преступники?

— Да.

Крестьянин сплюнул.

— Вот и пойми тут, что к чему. Простому человеку этого не понять.

— Я понимаю, — сказал Керн.

— Может, у нее воспаление легких, вы это знаете?

— Воспаление легких? — Керн испуганно посмотрел на него. — Это невозможно! Ведь это же опасно для жизни!

— Конечно, — сказал крестьянин. — Потому-то я и говорю с вами.

— Это, наверное, грипп.

— У нее жар, сильный жар, и только врач может сказать, что с ней.

— Значит, я должен позвать врача.

— Сюда?

— Может, кто-нибудь согласится. Я поищу в телефонной книге адрес еврейского врача.

Керн снова отправился в город. Он купил в табачной лавке две сигареты и попросил телефонную книгу. Он нашел в ней адрес врача по имени Рудольф Беер.

Когда он пришел, прием уже окончился, и ему пришлось ждать целый час. Он пытался отвлечь-

ся от своих мыслей, рассматривая журналы и рекламные каталоги; он тупо смотрел на фотографии и не мог постичь, что существуют теннисные матчи, и торжественные приемы, и полуобнаженные женщины во Флориде, и веселые люди, и что он сидит здесь, совершенно беспомощный, и что Рут больна.

Наконец пришел врач. Это был еще молодой человек. Он молча выслушал Керна. Потом уложил свою сумку и взял шляпу.

— Прошу! Моя машина стоит внизу, мы поедем туда.

Керн сглотнул вставший в горле комок.

— Нельзя ли нам пойти туда пешком? Ведь на машине обойдется дороже. А у нас совсем мало денег.

— Пусть это вас не беспокоит, — возразил Беер.

Они доехали до овчарни на машине. Врач выслушал Рут.

Она боязливо поглядела на Керна и тихо покачала головой. Она не хотела, чтоб ее забирали.

Беер встал.

— Вас надо положить в больницу. Шум в правом легком. Грипп и опасность пневмонии. Я заберу вас с собой.

— Нет! Я не хочу в больницу. Нам и платить

нечем!

— О деньгах не беспокойтесь. Вам надо выбраться отсюда. Вы серьезно больны.

Рут посмотрела на Керна.

— Мы еще обсудим это, — сказал он. — Я сейчас же вернусь.

— Я заберу вас через полчаса, — решительно объявил врач. — У вас есть теплые вещи и одеяла?

— Только вот это.

— Я захвачу. Значит, так: через полчаса я заезжаю за вами.

Керн спустился с ним вниз.

— Неужели это обязательно? — спросил он.

— Да. Нельзя ей оставаться на сеновале. И нет смысла прятать ее в какой-то комнате. Ее надо положить в больницу, причем как можно скорее.

— Понятно, — сказал Керн. — Тогда я должен объяснить вам, что это значит для нас.

Беер выслушал его.

— Вы считаете, что не сможете к ней приходить?

— Нет. Через пару дней пойдут разговоры, и полиция не заставит себя ждать. А так у меня есть шанс оставаться с ней рядом и узнавать от вас, что ей надо, и выполнять все ваши инструкции.

— Понимаю. Можете приходить ко мне в любое время и спрашивать.

— Спасибо. Ее состояние опасно?

— Оно может стать опасным. Надо непременно забрать ее отсюда.

Врач уехал. Керн медленно по лестнице снова залез на чердак. Он как будто окаменел и оглох. Из сумрачной тьмы низкого помещения к нему повернулось белое лицо с темными пятнами глазных впадин.

— Я знаю, что ты хочешь сказать, — прошептала Рут.

Керн кивнул.

— Другого выхода нет. Счастье еще, что мы нашли этого врача. Я уверен, он бесплатно положит тебя в больницу.

— Да. — Взгляд ее был неподвижен. Потом вдруг она испуганно выпрямилась. — Господи, а где же будешь ты, когда я попаду в больницу? Как мы увидимся? Ты не сможешь туда приходить, тебя же там, наверное, арестуют!

Он сел рядом с ней и крепко сжал в своих руках ее горячие руки.

— Рут, — сказал он, — посмотрим на вещи трезво. Я уже все продумал. Я остаюсь здесь и прячусь. Крестьянин мне разрешил. Я просто

жду тебя. Лучше, если я не буду приходить к тебе в больницу. Начнутся пересуды, и меня могут сцапать. Мы сделаем по-другому. Я буду каждый вечер подходить к больнице и смотреть на твое окно. Врач скажет мне, куда тебя положат. Тогда это будет вроде посещения.

— В какое время?

— В девять часов.

— В девять часов будет темно, и я тебя не увижу.

— Я могу приходить, только когда стемнеет, в другое время это опасно. Днем я не должен показываться на людях.

— Ты вообще не должен приходить. Я как-нибудь справлюсь одна.

— Нет, я буду приходить. Иначе я не выдержу. А теперь одевайся.

Он намочил носовой платок водой из кувшина и протер ей лицо, а потом вытер его. Губы у нее были потрескавшиеся и горячие. Она припала лицом к его руке.

— Рут, — сказал он, — мы должны все продумать. Если ты выздоровеешь, а меня здесь уже не окажется или если тебя засекут — проси, чтоб тебя выслали в Женеву, на границу. Давай условимся, что будем писать друг другу в Женеву,

до востребования. Так мы всегда сможем встретиться. Женева, Главпочтамт, до востребования. Мы еще пошлем наши адреса этому врачу, если меня возьмут. Тогда он в любой момент сможет связать нас, он мне обещал. Он все мне будет рассказывать, что услышит, а я через него буду все сообщать тебе. И мы не потеряемся. Никогда.

— Да, Людвиг, — прошептала она.

— Не бойся, Рут. Я говорю тебе это только на самый крайний случай. Только на случай, если меня зацапают. Или если тебя так просто не выпустят из больницы. Я совершенно уверен, что они тебя выпустят, и полиция ничего не узнает, и мы с тобой просто отправимся дальше.

— А если она узнает?

— Они только и могут, что отправить тебя на границу. А там я буду тебя ждать. В Женеве, на Главпочтамте.

Он подбодрил ее взглядом.

— Вот тебе деньги. Спрячь их, они могут тебе понадобиться на проезд до Женевы.

Он отдал ей всю небольшую сумму, которая у него еще оставалась.

— Не говори в больнице, что у тебя есть деньги, они понадобятся тебе потом.

Снизу их окликнул врач.

— Рут! — сказал Керн, обнимая ее. — Ты будешь молодцом, Рут?

Она с трудом заставила себя высвободиться.

— Я буду молодцом. И я хочу видеть тебя.

— Женева, Главпочтамт, если не повезет. Если повезет, я дождусь тебя здесь. Каждый вечер в девять буду стоять у тебя под окном и желать тебе всего, что только есть на свете.

— Я подойду к окну.

— Ты останешься в постели, а то я не приду! Улыбнись еще раз!

— Готовы? — закричал снизу врач.

Она улыбнулась сквозь слезы.

— Не забывай меня!

— Как я могу тебя забыть? Ведь ты все, что у меня есть!

Он поцеловал ее в сухие губы. В люке сеновала показалась голова врача.

— Ничего, не стесняйтесь, — сказал он, — но поторапливайтесь!

Они посадили Рут в машину и укрыли одеялами.

— А сегодня вечером можно к вам прийти? — спросил Керн.

— Разумеется. Вы сейчас остаетесь здесь? Да, так будет лучше. Можете приходить в любое время.

Машина тронулась. Керн стоял и смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. Он стоял, но ему казалось, что штормовой ветер сбивает его с ног и тащит назад.

В восемь вечера он пошел к доктору Бееру. Врач был дома. Он успокоил Керна: сказал, что температура высокая, но большой опасности нет. Похоже, что разовьется обычное воспаление легких.

— Это надолго?

— Если все пойдет хорошо, две недели. И потом одна неделя на выздоровление.

— А как быть с деньгами? — спросил Керн. — У нас их нет.

Беер рассмеялся.

— Пока что она лежит в больнице. Потом расходы возьмет на себя одно благотворительное учреждение.

Керн посмотрел на него.

— А ваш гонорар?

Беер рассмеялся снова.

— Оставьте себе эти несколько франков. Я без них проживу. Можете и завтра приходить. — Он встал.

— Где она лежит? — спросил Керн. — На каком этаже?

Беер задумался, приложив к носу костлявый палец.

— Погодите-ка… тридцать пятая палата, третий этаж.

— Это какое окно?

Беер поморгал глазами.

— Кажется, второе справа. Но это не поможет; она, наверное, спит.

— Я не в том смысле.

— Разумеется, — ответил Беер.

Керн разузнал дорогу к больнице. Он быстро нашел ее и поглядел на часы. Было без четверти девять. Второе окно справа было темным. Он ждал. Он никогда бы не поверил, что четверть часа могут тянуться так долго. Вдруг он увидел, что окно осветилось. Он стоял, напрягшись, как струна, и смотрел на красноватый четырехугольник. Он когда-то что-то слышал о передаче мыслей на расстоянии и теперь пытался сосредоточиться, чтобы переслать всю свою энергию туда, наверх, где за окнами была Рут. Он сжимал кулаки и напрягал мускулы, он поднимался на цыпочки, словно хотел подпрыгнуть и снова и снова шептал светящемуся в ночи квадратику:

— Выздоравливай! Выздоравливай! Я люблю тебя!

В окне появилась тень. «Ей же надо лежать в постели!» — думал он, но его захлестывал водопад счастья. Она помахала ему рукой; он бешено замахал в ответ. Потом он вспомнил, что ей его не видно. В отчаянии он стал озираться, ища фонарь, ища хоть какой-то источник света, чтобы встать перед ним. Ничего. Тут его осенило. Он выхватил из кармана коробок спичек, полученный в качестве бесплатного приложения к двум вчерашним сигаретам, зажег одну и поднял высоко вверх.

Тень замахала рукой. Он осторожно помахал в ответ горящей спичкой. Потом он чиркнул еще несколькими сразу и держал их так, что они освещали его лицо. Рут замахала что было сил. Он показал ей знаками, чтобы она ложилась в постель. Она не послушалась. Он стал объяснять ей жестами, что, если она не ляжет, он будет вынужден уйти. Он сделал несколько шагов, показывая, что уходит. Потом подбросил вверх все горящие спички. Они крохотными искрами упали на землю и погасли. Свет в окне горел еще мгновение. Потом он погас, и ему показалось, что это окно стало темнее, чем все остальные.

— Поздравляю, Гольдбах! — сказал Штайнер. — Сегодня вы впервые работали хорошо. Без единой ошибки, спокойно и продуманно. Вы превосходно

подали мне знак насчет спички в бюстгальтере! Это в самом деле было трудно!

Гольдбах смотрел на него с благодарностью.

— Сам не знаю, как это у меня получилось. Ни с того ни с сего, словно внезапно на меня снизошло озарение. Вот увидите, я еще стану хорошим медиумом. Завтра же начну придумывать новые трюки.

Штайнер рассмеялся.

— Пойдемте выпьем по одной в честь приятного события.

Он принес бутылку «Марилленгейста» и налил.

— Ваше здоровье, Гольдбах!

— Ваше здоровье!

Гольдбах поперхнулся и опустил стакан.

— Простите, — сказал он, — я уже отвык пить. Если вы не против, я теперь пойду.

— Ну, разумеется! Мы кончили на сегодня. Не хотите ли по крайней мере выпить еще стакан?

— Да, с удовольствием. — Гольдбах покорно выпил, Штайнер протянул ему руку.

— И не изобретайте слишком много трюков. А то я не найду вас среди сплошных изысков.

— Нет. Нет.

Гольдбах быстро шел вниз по аллее, в город. Он

чувствовал себя легким, словно сбросил тяжкий груз. Но эта легкость не приносила радости — как будто его кости стали полыми, а воля — газообразной, неуправляемой и послушной всем ветрам.

— Моя жена у себя? — спросил он консьержку, входя в пансион.

— Нет. — Девушка засмеялась.

— Чему же вы смеетесь? — спросил неприятно удивленный Гольдбах.

— А почему бы мне не посмеяться? Разве смеяться запрещено?

Гольдбах посмотрел на нее отсутствующим взглядом.

— Я не это имел в виду, — пробормотал он. — Смейтесь сколько угодно.

Он прошел по длинному коридору в свою комнату и прислушался у двери в смежный номер. Он ничего не услышал. Он тщательно причесал волосы и почистил щеткой костюм; потом постучал в дверь смежной комнаты, хотя девушка внизу сказала, что жены нет дома. Может быть, она тем временем пришла, подумал он. Может быть, эта девушка ее не заметила. Он постучал еще раз. Никто не ответил. Он осторожно нажал на ручку и вошел. У зеркала горел свет. Он смотрел на этот свет, как мореход смотрит на башню

маяка. «Она вернется, — думал он. — Иначе свет не горел бы».

Он уже знал — воздушной пустотой в костях, серой сумятицей пепла в жилах, — что она не вернется. Он знал это подкоркой, а мозг, как утопающий за соломинку, с упрямством страха цеплялся за логику бессмысленных слов: «Иначе свет не горел бы…»

Потом он обнаружил пустоту комнаты. С подзеркальника исчезли щетки и баночки с кремами; одна створка шкафа приоткрылась, и в проеме не видно было розовато-пастельного пятна платьев; он зиял черной пустотой. Только запах, этот неуловимый след жизни, еще задержался, но становился все слабее, превращаясь в воспоминание и подстерегающую боль. Потом он нашел письмо и тупо удивился, что так долго не замечал его, — оно лежало посреди стола.

Он долго не решался его вскрыть. Он и так все знал — к чему вскрывать? Наконец он разорвал его забытой шпилькой, лежавшей рядом с ним на кресле. Он читал, но слова не проникали сквозь ледниковый слой его мозга; они оставались мертвыми словами, не имевшими к нему отношения. Шпилька в его руке была более живой.

Он спокойно сидел и ждал боли и удивлялся,

что она не приходила. Было только чувство глухоты, невероятного отупения, как в тот страшный момент перед засыпанием, когда примешь слишком большую дозу брома.

Он долго сидел так, глядя на свои руки; они лежали у него на коленях как белые мертвые животные: бледные, бесчувственные клещи с пятью вялыми щупальцами. Они ему не принадлежали. Он вообще не принадлежал сам себе; он был телом другого, чьи глаза были устремлены внутрь и неотрывно следили за прогрессирующим параличом.

Наконец он встал и вернулся в свою комнату. Он увидел разложенные на столе галстуки. Он автоматически разыскал ножницы и начал разрезать их, тщательно, кусок за куском. Он не бросал отрезанные клочки на пол, но педантично собирал в подставленную ладонь и укладывал на столе в пеструю кучку. Он механически продолжал заниматься этим делом, пока вдруг не удивился тому, что делает; он отложил ножницы и прислушался. И сразу же забыл, что он сделал. Деревянными шагами он пересек комнату и сел в угол. И остался сидеть там, потирая руки, снова и снова странно усталыми, старческими движениями, словно он мерз и у него не хватало сил

по-настоящему согреться.

XIV

Керн подбросил вверх последние спички. И тогда на его плечо легла чья-то рука.

— Вы что тут делаете?

Он вздрогнул, обернулся и увидел мундир.

— Ничего, — прошептал он. — Простите! Это игра и больше ничего.

Полицейский внимательно посмотрел ему в лицо. Это был не тот, который арестовал его у Аммерса. Керн быстро взглянул вверх, на окно. Рут больше не было видно. Она, кажется, тоже ничего не заметила: было слишком темно.

Керн попытался скроить доверчивую улыбку.

— Простите, бога ради, — сказал он небрежным тоном. — Это всего лишь шутка. Вы же сами видите, ничего особенного не произошло. Сгорело несколько спичек, вот и все. Я хотел закурить сигарету, а она не зажигалась, тогда я зажег полдюжины спичек сразу и чуть не обжег пальцы.

Он засмеялся, сбросил с плеча чужую руку и хотел уйти. Но полицейский удержал его.

— Минутку! Вы ведь не швейцарец?

— Почему бы и нет?

— Это слышно. Зачем вы это отрицаете?

— Я вовсе не отрицаю, — возразил Керн. — Просто интересно, что вы так сразу это поняли.

Полицейский недоверчиво приглядывался к нему.

— Может быть, мы тогда… — пробормотал он и зажег карманный фонарик. — Послушайте! — его голос вдруг приобрел другое звучание. — Вы знаете господина Аммерса?

— Впервые слышу, — как можно спокойнее ответил Керн.

— Где вы живете?

— Я приехал сюда только сегодня утром и как раз собирался подыскать гостиницу. Вы не посоветуете какую-нибудь? Не слишком дорогую.

— Сначала пройдемте со мной. У нас лежит заявление господина Аммерса. Описание в точности соответствует вам. Давайте сперва внесем в это ясность!

Керн пошел с полицейским. Он проклинал себя за потерю бдительности. Наверное, полицейский незаметно подкрался на резиновых подошвах. Целую неделю ему везло, вероятно, в этом дело. Он стал слишком самоуверен.

Он исподтишка оглянулся, ища возможности удрать. Но дорога была слишком короткая: через несколько минут они оказались в полицейском

участке.

Жандарм, который отпустил его в первый раз, сидел за столом и писал. Керн собрал все свое мужество.

— Это он? — спросил полицейский, который его привел.

— Возможно. Не могу сказать точно. Было слишком темно.

— Тогда я позвоню Аммерсу, уж он-то знает.

Он вышел.

— Приятель! — сказал жандарм Керну. — Я думал, вас и след простыл. Теперь дело плохо. Аммерс тогда донес на вас.

— А нельзя убежать еще раз? — быстро спросил Керн. — Вы же знаете…

— Исключено. Единственный выход — через проходную. А там стоит ваш друг и звонит по телефону. Нет, теперь вы попались. И надо же было вам нарваться на нашего самого старательного служаку, который спит и видит повышение.

— Чертово невезение!

— Да. Тем более что один раз вы уже сбегали. Мне пришлось тогда писать рапорт, потому что я знал, что Аммерс этого так не оставит.

— Господи милосердный! — Керн отступил на шаг назад.

— Можете даже прямо обратиться: «Иисусе Христе!» — пояснил жандарм. — На этот раз не поможет, пару недель вы получите.

Через несколько минут пришел Аммерс. Он так спешил, что едва мог перевести дух. Его острая бородка сияла.

— Конечно! — сказал он. — Это он! В натуральную величину! Тот самый наглец.

Керн посмотрел на него.

— На этот раз он, надеюсь, не улизнет? — спросил Аммерс.

— На этот раз не улизнет, — подтвердил жандарм.

— Мельницы Господа мелют медленно, — елейно и торжествующе продекламировал Аммерс. — Медленно, но верно. Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сложить.

— Вы знаете, что такое рак печени? — перебил его Керн. Он едва сознавал, что говорит. И не знал, почему ему пришла в голову эта идея. Но только его вдруг охватила бешеная ярость. Еще не совсем понимая, насколько ему не повезло, он сфокусировал все свои мысли на одном: причинить боль Аммерсу. Ударить его он не мог, это увеличило бы срок наказания.

— Что? — Аммерс от неожиданности забыл

закрыть рот.

— Рак печени! Типичный рак печени! — Керн видел, что попал в цель. И тут же бросился в атаку: — Я медик, я знаю! Через год начнутся невыносимые боли! Вы умрете чудовищной смертью! Ничего нельзя поделать! Ничего!

— Да как вы смеете…

— Мельницы Господа! — прошипел Керн. — Как вы сказали? Медленно, медленно! Годами!

— Господин жандарм! — возопил Аммерс. — Я требую оградить меня от этого индивидуума!

— Пишите завещание, — свистящим шопотом продолжал Керн. — Это единственное, что вам остается! Вас разъест изнутри, и вы сгниете заживо!

— Господин жандарм! — Аммерс дико озирался в поисках помощи. — Вы обязаны оградить меня от этого оскорбления!

Жандарм с интересом разглядывал его.

— Пока еще он вас не оскорбил. Он делал медицинские заключения.

— Я требую, чтобы все это занесли в протокол! — заорал Аммерс.

— Вы только поглядите! — Керн ткнул пальцем в направлении Аммерса, и тот отпрянул, словно увидел змею. — В возбужденном состоянии

наблюдается свинцово-серый цвет лица, желтизна глазных яблок — несомненные симптомы! Летальный исход неизбежен! Остается только молиться за этого кандидата в покойники!

— Кандидат в покойники! — бесновался Аммерс. — Занесите в протокол кандидата в покойники!

— «Кандидат в покойники» также не оскорбление, — пояснил жандарм с явным злорадством. — Вы не сможете подать жалобу на этом основании. Мы все кандидаты в покойники!

— Печень разлагается заживо! — Керн увидел, что Аммерс внезапно побледнел. Он шагнул вперед. Аммерс отпрянул от него, как от сатаны.

— Сначала ничего не заметно! — возгласил Керн с яростным триумфом. — Почти ничего нельзя диагностировать. А когда диагноз поставлен, бывает поздно. Рак печени! Самая медленная и мучительная смерть, какая только бывает на свете!

Аммерс не мог отвести взгляда от Керна. Он больше ничего не отвечал. Непроизвольно он схватился рукой за живот в том месте, где расположена печень.

— Тихо! — вдруг рявкнул второй полицейский. — Хватит! Сядьте вон туда и отвечайте

на вопросы. Сколько времени вы находитесь в Швейцарии?

На следующий день утром Керн предстал перед окружным судом. Судья — пожилой толстяк с круглой красной физиономией — проявил человечность, но ничем не смог помочь Керну. Параграфы закона были однозначны.

— Почему вы не сообщили в полиции, что нелегально перешли границу? — спросил он.

— Потому что меня немедленно выслали бы, — устало ответил Керн.

— Да, разумеется, вас выслали бы.

— А по ту сторону границы я должен был бы сообщить о нелегальном переходе первому встречному полицейскому — если бы не захотел нарушать закон. Тогда меня в ту же ночь переправили бы в Швейцарию. А оттуда назад. И я бы медленно подыхал с голоду, мотаясь между двумя границами, от одного полицейского поста к другому. Что же нам остается делать, как не нарушать закон?

Судья пожал плечами.

— Ничем не могу вам помочь. Я должен приговорить вас самое малое к двум неделям тюремного заключения. Таков закон. Мы должны оградить страну, которую захлестывают волны беженцев.

— Я понимаю.

Судья заглянул в свои бумаги.

— Все, что я могу для вас сделать, — это подать прошение в суд высшей инстанции, чтобы вам заменили тюремное заключение предварительным.

— Большое спасибо, — сказал Керн. — Мне все равно. Я больше не стыжусь тюрьмы.

— Вам не все равно, — пояснил судья даже с некоторым жаром. — Напротив, это весьма важно с точки зрения ваших почетных гражданских прав. Если вы получите предварительное, вы не считаетесь судимым, вы, наверное, еще не знаете об этом?

Керн некоторое время глядел на этого наивного добродушного человека.

— Почетные гражданские права, — сказал он. — На что они мне? У меня же нет самых элементарных гражданских прав! Я — тень, привидение, гражданский труп. На что мне странные вещи, которые вы называете почетными гражданскими правами?

Судья долго молчал.

— Должны же вы иметь право на получение хоть каких-то документов, — сказал он наконец. — Может быть, через немецкое консульство

послать запрос на паспорт?

— Это уже сделал год назад один чешский суд. Запрос был отклонен. Мы больше не существуем для Германии. Для прочего мира мы существуем только как подозрительные субъекты для полиции.

Судья покачал головой.

— Неужели Лига Наций ничего не сделала для вас? Вас же многие тысячи; и вы должны же иметь хоть какое-то право на существование!

— Лига Наций вот уже несколько лет совещается относительно того, давать ли нам удостоверение личности, — терпеливо возразил Керн. — Там тоже каждая страна старается спихнуть нас какой-то другой. Так что это, наверное, будет тянуться еще много лет.

— А пока…

— А пока… вы же видите…

— Но боже мой! — воскликнул судья вдруг довольно беспомощно на своем раскатистом мягком швейцарском диалекте. — Ведь это же проблема! Что же тогда с вами будет?

— Не знаю. Важнее, что со мной произойдет теперь.

Судья провел рукой по своему блестящему от пота лицу и взглянул на Керна.

— У меня есть сын, — сказал он, — примерно вашего возраста. Не могу себе представить, что его гонят отовсюду без всякой причины, кроме той, что он родился на свет…

— У меня есть отец, — ответил Керн. — Видели бы вы его…

Он посмотрел в окно. Осеннее солнце мирно освещало яблоню, увешанную плодами. Там, за окном, была свобода. Там была Рут.

— Я хотел бы спросить вас кое о чем, — сказал немного погодя судья. — Это больше не относится к делу. Но я все-таки хотел бы спросить. Вы еще верите во что-нибудь?

— О да. Я верю в святой эгоизм! В беспощадность! В ложь! В бессердечие!

— Этого я и опасался. Да и как же вы можете иначе…

— Но это еще не все, — спокойно продолжал Керн. — Я верю в доброту, в товарищество, в любовь и в готовность прийти на помощь! Я знаком с ними. Может быть, лучше, чем кто-то, у кого все хорошо.

Судья встал и, тяжело обойдя вокруг стула, направился к Керну.

— Приятно это слышать, — пробормотал он. — Если б я только знал, что я могу для вас сделать!

— Ничего, — сказал Керн. — Я тоже уже знаю законы, и у меня есть знакомый, который разбирается в них как эксперт. Пошлите меня в тюрьму.

— Я пошлю вас в камеру предварительного заключения и передам дело в вышестоящий суд.

— Я не против — если это облегчит вам вынесение приговора. Но если это затянет дело, отправьте меня лучше в тюрьму.

— Не затянет, я позабочусь об этом.

Судья вынул из кармана огромный бумажник.

— К сожалению, остается только эта примитивная форма помощи, — сказал он и вынул из бумажника сложенную купюру. — Мне очень досадно, что я не могу ничего больше сделать для вас.

Керн взял деньги.

— Это единственное, что действительно нам помогает, — сказал он и подумал: «Двадцать франков! Какое счастье! На них Рут доедет до границы!»

Он не решился написать ей. Тогда обнаружилось бы, что она уже давно находится в Швейцарии, и ее могли бы посадить. А так сохранялся шанс, что ее просто вышлют или, если повезет, без лишних проволочек выпишут из больницы.

В первый вечер он мучился и тревожился и не мог заснуть. Он представлял себе, как Рут в жару мечется на постели, и он очнулся в ужасе, потому что ему приснилось, что ее хоронят. Он долго сидел на нарах, обхватив руками колени. Он не хотел поддаваться панике, но чувствовал, что может не выдержать. «Это ночь, — думал он, — ночь и страх ночи. Страх днем имеет разумные границы; страх ночью — безграничен».

Он встал и стал расхаживать по тесной камере. Делал глубокие вдохи и медленные выдохи. Потом снял куртку и занялся гимнастическими упражнениями. «Мне нельзя терять самообладания, — думал он. — Иначе я пропал. Я не имею права болеть». Он делал наклоны, приседания, повороты корпуса, и постепенно ему удалось сконцентрировать внимание на своем теле. Потом пришло воспоминание о вечере в полицейском участке в Вене и о студенте, обучавшем его боксу. Лицо его разгладилось. «Не будь этого студента, я не сумел бы сегодня вечером так уверенно противостоять Аммерсу, — думал он. — Не будь этого студента и Штайнера. Вся эта тяжесть жизни закаляет. Пусть закаляет, но я не позволю доконать себя. Я буду защищаться». Он расслабился, мягко пружиня в коленях, а потом стал

всем телом посылать в темноту длинные прямые удары, справа и слева, перемежая их короткими апперкотами, все быстрее и быстрее… и тут перед ним, подобно призраку, замаячила в темноте острая бороденка страдающего от приступов печени Аммерса, и удары обрели сочность и силу. Он выдал ему короткий прямой и мощный свинг в подбородок и по ушам, он вмазал ему два бешеных хука в сердце и еще один жуткий удар в солнечное сплетение, и ему показалось, что он услышал, как Аммерс со стоном валится наземь. Но ему было этого мало. Он снова и снова заставлял его подниматься и систематически избивал тень своего врага, кряхтя от возбуждения, а под конец он в качестве особого деликатеса нанес ему серию тяжелых хуков по печени. И тут наступило утро, а он так устал и выдохся, что повалился на нары и сразу заснул, и страх ночи отступил.

Через два дня в камеру вошел доктор Беер. Керн вскочил.

— Как она?

— Хорошо; то есть нормально.

Керн облегченно вздохнул.

— Откуда вы узнали, что я здесь?

— Это было просто. Вы перестали приходить. Значит, вы здесь.

— Верно. Она знает?

— Да. Когда вчера вечером вы не появились в роли Прометея, она все поставила вверх дном, чтобы пробиться ко мне. Через час мы были в курсе дела. Кстати, эта идея со спичками — сумасшедшая!

— Да, так и было! Иногда кажешься себе таким ловким, тут-то и делаешь обычно глупости. Пока что меня приговорили к двум неделям. Вероятно, через двенадцать дней выпустят. Она выздоровеет к тому времени?

— Нет. Во всяком случае, не настолько, чтобы путешествовать. Я думаю, мы продержим ее в больнице, пока сможем.

— Конечно! — Керн осмыслил сказанное. — Тогда мне придется ждать ее в Женеве. Я все равно не могу взять ее с собой. Меня же вышлют.

Беер вынул из кармана письмо.

— Прошу! Это я захватил для вас.

Керн торопливо схватил письмо… но затем спрятал его в карман.

— Можете прочесть сейчас, — сказал Беер. — У меня есть время.

— Нет, я прочту его потом.

— Тогда я теперь вернусь в больницу. Хочу доложить ей, что видел вас. Хотите передать ей

что-нибудь? — Беер извлек из кармана своего плаща авторучку и лист писчей бумаги. — Я все для вас захватил.

— Спасибо. Огромное спасибо. — Керн быстро написал письмо: у него все хорошо, пусть Рут спокойно выздоравливает. Если его вышлют раньше, он будет ждать ее в Женеве. Каждый день в полдень у Главного почтамта. Беер объяснит ей все в точности.

Он вложил в письмо двадцать франков, полученные от судьи, и заклеил конверт.

— Вот!

— Вы не хотите сначала прочесть ее письмо? — спросил Беер.

— Нет! Еще нет. Не так быстро. У меня же впереди целый пустой день.

Беер с некоторым удивлением поглядел на него; потом спрятал в карман письмо к Рут.

— Отлично. Через несколько дней я опять зайду.

— Правда?

Беер рассмеялся.

— Да, правда! Ведь теперь все в порядке. По крайней мере, в этом отношении. В ближайшие двенадцать дней не случится ничего непредвиденного. Никаких неожиданностей. Собственно

говоря, это весьма успокоительно.

Когда Беер ушел, Керн вынул письмо от Рут. «Такое легкое, — подумал он, — немного бумаги и несколько строчек, выведенных чернилами… и столько счастья».

Он положил письмо на нары. Потом проделал свои гимнастические упражнения. Он еще раз нокаутировал Аммерса и на этот раз вмазал ему пару запрещенных ударов ниже пояса. «Мы им не поддадимся», — сказал он письму и роскошным свингом в челюсть еще раз послал Аммерса в нокаут. Потом он дал себе передышку, продолжая беседовать с письмом. Только когда наступили сумерки, он вскрыл его и прочел первые строчки. Каждый час он читал по кусочку. Поздно вечером он дочитал его до подписи. Он увидел тревогу Рут, ее страх, ее любовь и ее мужество, он вскочил и начал снова дубасить Аммерса. Эта схватка была, впрочем, не слишком спортивной — Аммерсу достались пощечины, пинки ногами, и под конец у него была выдрана белая бородка клинышком.

Штайнер уложил свои вещи. Он решил уехать во Францию. В Австрии было опасно — присоединение ее к Германии стало только вопросом времени. Кроме того, Пратер и аттракционы директора Поцлоха готовились к погружению в

зимнюю спячку.

Поцлох пожал Штайнеру руку.

— Ведь мы, странствующие и путешествующие, привыкли к разлукам. Бог даст, еще где-нибудь встретимся.

— Наверняка.

— Ну что ж! — Поцлох подхватил свое пенсне. — Желаю успешно перезимовать. Долгие проводы — лишние слезы.

— Ваша правда, — сказал Штайнер.

— Видите ли, — Поцлох подмигнул, — это вопрос привычки. Столько людей приходит и уходит… в конце концов к этому привыкаешь. Как будто прямо из тира переходишь в лотерею.

— Красивая картинка! Из тира в лотерею, а из лотереи снова в тир… влюбиться можно в такую картинку!

Поцлох ухмыльнулся, польщенный.

— Говоря между нами, Штайнер… вы знаете, что на свете всего ужаснее? Признаюсь вам по секрету: то, что в конце концов ко всему привыкаешь. — Он снова нацепил на нос свое пенсне. — Даже к так называемым встречам!

— Даже к войне, — сказал Штайнер. — Даже к боли! Даже к смерти! У одного моего знакомого за десять лет умерли четыре жены. Теперь у него

пятая. Она уже недомогает. Ну, что вам сказать, он спокойно приглядывает себе шестую. Ко всему привыкаешь! Кроме собственной смерти.

Поцлох небрежно отмахнулся.

— В нее же никто серьезно не верит, Штайнер! И в войну тоже; иначе бы войны прекратились. Каждый всегда думает, что именно его пронесет. Верно?

Склонив голову набок, он вопросительно глядел на Штайнера. Выглядел он очень забавно. Штайнер кивнул. Поцлох еще раз протянул ему руку.

— Ну, желаю удачи! Мне нужно в тир, приглядеть, хорошо ли они сложили инвентарь.

— Желаю удачи! А я еще раз попытаю счастья в лотерее.

Поцлох ухмыльнулся и усвистал прочь.

Штайнер пошел в вагончик. Сухая листва шуршала у него под ногами. Над лесом стояла ночь, молчаливая и безжалостная. Из тира доносился стук молотков. На разобранной наполовину карусели качались фонари.

Штайнер шел попрощаться с Лило. Она оставалась в Вене. Ее удостоверения и разрешение на работу были действительны только в Австрии. Она и не поехала бы с ним, даже если бы мог-

ла. Они со Штайнером были товарищами по несчастью, которых загнал в один угол ветер времени, — и они оба понимали это.

Она стояла в вагончике и накрывала на стол. Когда он вошел, она обернулась.

— Тебе пришло письмо, — сказала она.

Штайнер взял письмо и посмотрел на марку.

— Из Швейцарии. Наверно, от нашего малыша. — Он разорвал конверт и прочитал письмо. — Рут в больнице, — сказал он.

— Что с ней? — спросила Лило.

— Воспаление легких. Но, похоже, не тяжелое. Они в Муртене. Малыш по вечерам сигналит ей огнем под окнами больницы. Может быть, я их еще застану, если поеду через Швейцарию.

Штайнер сунул письмо в нагрудный карман.

— Надеюсь, малыш знает, что делать, чтобы они снова встретились.

— Наверное, знает, — сказала Лило. — Он многому научился.

— Да, но несмотря на это…

Штайнер хотел объяснить Лило, что Керну будет тяжело, если из больницы Рут доставят на границу. Но потом он подумал о том, что сегодня вечером они видятся в последний раз… и что лучше не говорить о двоих, которые хотят снова

встретиться и остаться друг с другом.

Он подошел к окну и выглянул наружу. На площади, освещенной карбидными фонарями, рабочие упаковывали в серые мешки лебедей, лошадей и жирафов карусели. Звери в беспорядке стояли и валялись на земле, как будто бомба вдруг разрушила их райскую мирную жизнь. В одной из размонтированных гондол сидели двое рабочих и пили пиво из бутылок. Свои куртки и шапки они нахлобучили на рога белого оленя, прислоненного к какому-то ящику; казалось, олень застыл, неожиданно прервав стремительный бег, и обречен быть вечно готовым снова сорваться с места.

— Садись, — сказала Лило у него за спиной, — ужин готов. Я испекла пироги.

Штайнер обернулся, обнял ее за плечи.

— Ужин, — сказал он. — Пироги. Для таких бездомных бродяг, как мы, ужин вдвоем — уже почти родина, верно?

— Бывает и еще кое-что. Но ты этого не знаешь. — Она помолчала. — Ты не знаешь, потому что не умеешь плакать и не понимаешь, что это такое — общая печаль.

— Да, этого я не знаю, — сказал Штайнер. — Мы не часто печалились, Лило.

— Нет. Ты — не знаешь. Ты или бешеный, или равнодушный, или смеешься, или бываешь таким… отважным, как вы это называете. Но это не отвага.

— Что же это, Лило?

— Боязнь отдаться чувству. Боязнь слез. Боязнь проявить слабость. В России мужчины могут плакать и все-таки оставаться отважными мужчинами. Ты никогда не давал волю сердцу.

— Нет, — сказал Штайнер.

— Чего ты ждешь?

— Не знаю. И не хочу знать.

Лило пристально и долго смотрела на него.

— Пойдем ужинать, — сказала она. — Я провожу тебя хлебом-солью и благословлю на дорогу… А ты, перекати-поле, может быть, и над этим будешь смеяться.

— Нет.

Она поставила на стол миску с пирогами.

— Садись со мной, Лило.

Она покачала головой.

— Сегодня ты будешь есть один. А я тебе прислуживать. Это твой прощальный ужин.

Она осталась стоять и подавала ему пироги, и хлеб, и мясо, и огурцы. Она смотрела, как он ест, и молча наливала чай. Своими большими шагами

она плавно кружила по маленькому вагончику, как пантера, уже привыкшая к своей слишком тесной клетке. Ее узкие бронзовые руки резали для него мясо, ее лицо сохраняло сосредоточенное, загадочное выражение, и Штайнер вдруг увидел в ней какую-то библейскую фигуру.

Он поднялся и принес свои пожитки. Он обменял свой рюкзак на чемодан — ведь у него же был паспорт. Он открыл дверь вагончика, медленно сошел по ступенькам вниз и поставил чемодан на землю. Потом он вернулся.

Лило стояла у стола. Она опиралась на него одной рукой, и глаза ее отражали такую слепую пустоту, словно не видели ничего и она уже была одна. Штайнер подошел к ней.

— Лило…

Она очнулась и посмотрела на него. Выражение ее глаз изменилось.

— Тяжело уходить, — сказал Штайнер.

Она кивнула и обняла его за шею.

— Мне будет без тебя одиноко.

— Куда ты отправишься?

— Еще не знаю.

— В Австрии для тебя безопасно. Даже если она станет немецкой.

— Да.

Она серьезно взглянула на него. Ее глаза были бездонными и блестящими.

— Жаль, Лило, — тихо произнес Штайнер.

— Да.

— Ты знаешь почему?

— Я это знаю, и ты это знаешь обо мне.

Они все еще смотрели друг на друга.

— Странно, — сказал Штайнер, — между нами стоит только немного времени и немного жизни. Все остальное есть.

— Все время, Штайнер, — мягко возразила Лило, — все время и вся наша жизнь…

Он кивнул. Лило обвила руками его голову и сказала что-то по-русски. Потом она дала ему хлеб и немного соли.

— Съешь в дороге. Это тебе на счастье, чтоб ты не голодал на чужбине. А теперь уходи.

Штайнер хотел поцеловать ее, но взглянул на нее — и не решился.

— Теперь уходи, — сказала она тихо. — Уходи!

Он пошел через лес. Через некоторое время он оглянулся. Городок павильонов потонул в ночи, и ничего больше не было, кроме неимоверной проносящейся мимо темноты со светлым прямоугольником далекой, открытой двери и маленькой фигурки, которая не махала ему вслед.

XV

Через две недели Керн снова предстал перед окружным судом. Толстяк с румяным, как яблоко, лицом озабоченно поглядел на него.

— Я должен сообщить вам нечто неприятное, господин Керн…

Керн весь напрягся. «Четыре недели, — думал он, — хоть бы не больше четырех недель! Дольше Беер не сможет держать Рут в больнице».

— Наше прошение смягчить вам наказание было отклонено судом высшей инстанции. Вы слишком долго пробыли в Швейцарии. Статус вынужденного пребывания больше не имеет юридической силы. Кроме того, за вами числится эта история с жандармом. Вы были приговорены к четырнадцати дням тюремного заключения.

— Еще к четырнадцати?

— Нет. Всего к четырнадцати. Предварительное зачтется вам полностью.

Керн облегченно перевел дух.

— Следовательно, я сегодня выхожу?

— Да. Имейте в виду, что вы отбывали не предварительное, а тюремное заключение. Жаль только, что теперь за вами числится судимость.

— Я это переживу.

Судья поглядел на него.

— Лучше бы ее не иметь. Но ничего нельзя было поделать.

— Меня выдворят сегодня?

— Да. Через Базель.

— Через Базель? В Германию? — Керн молниеносно обернулся. Он был готов тут же выпрыгнуть из окна и бежать. Он несколько раз слышал о том, что эмигрантов возвращают в Германию, но это были в основном беженцы, только что попавшие сюда из Германии.

Окно было открыто, и зал суда находился на уровне земли. За окном светило солнце. За окном раскачивала свои ветви яблоня, а за ней была изгородь, через которую можно было перепрыгнуть, а за ней была свобода.

Судья покачал головой.

— Вас доставят во Францию. Не в Германию. Базель — это наша немецкая и наша французская граница.

— А нельзя ли сплавить меня через границу в Женеве?

— Нет, к сожалению, это не получится. Базель — ближайшее место. У нас есть указание на этот счет. Женева много дальше.

Керн помолчал.

— Это точно, что меня сплавят во Францию? — спросил он потом.

— Совершенно точно.

— И никого из тех, кого здесь забирают за отсутствием документов, не сплавляют в Германию?

— Никого, сколько мне известно. Случайно это может произойти в приграничных городах. Но я почти ничего об этом не слышал.

— А женщину ведь не станут отправлять обратно в Германию?

— Конечно, нет. Я, во всяком случае, никогда бы этого не сделал. Почему вы об этом спрашиваете?

— Так, без особой причины. Просто я иногда встречал по пути женщин без документов. Для них все было намного труднее. Вот я и спросил.

Судья вынул из дела исписанный листок бумаги и показал Керну.

— Вот приказ о вашей высылке. Теперь вы мне верите, что вас доставят во Францию?

— Да.

Судья положил листок обратно, в папку с делом.

— Ваш поезд отходит через два часа.

— И совершенно невозможно попасть в Женеву?

— Совершенно. Мы тратим пропасть денег на железнодорожные билеты для беженцев. Есть строжайшая инструкция доставлять их на ближайшую границу. Я действительно ничем не могу вам помочь.

— А если бы я сам оплатил проезд, вы смогли бы доставить меня в Женеву?

— Да, это было бы возможно. Вы просите об этом?

— Нет, у меня не хватит денег. Я просто так спросил.

— Не задавайте лишних вопросов. Собственно говоря, вы должны были оплатить проезд и до Базеля, если бы у вас были при себе деньги. Я не стал вам задавать соответствующего вопроса. — Он встал. — Прощайте! Всего хорошего! Надеюсь, во Франции вы не пропадете! Надеюсь, скоро все будет по-другому!

— Да, может быть! А то ведь хоть сразу вешайся.

У Керна не было больше возможности связаться с Рут. Беер был у него два дня назад и объявил ему, что она должна оставаться в больнице еще примерно неделю. Керн решил написать ему сразу же с французской границы. Он знал теперь самое важное — что Рут ни в коем случае не спла-

вят в Германию и что она, если у нее есть деньги на проезд, может быть доставлена в Женеву.

Ровно через два часа за ним зашел детектив в штатском. Они пошли на вокзал. Керн нес свой чемодан. За день до этого Беер забрал его из овчарни и принес ему.

Они проходили мимо какой-то харчевни. Окна на нижнем этаже были открыты настежь. Небольшой оркестр цитр наигрывал лендлер, а мужской хор пел. У окна стояли двое певцов в альпийских народных костюмах и выводили трели. При этом они раскачивались из стороны в сторону, обняв друг друга за плечи.

Детектив остановился. Один из певцов замолк. Это был тенор.

— Где тебя носит, Макс? — спросил он. — Все уже ждут.

— Служба! — ответил детектив.

Певец окинул Керна взглядом.

— Кой дьявол! — проворчал он неожиданно низким голосом. — Тогда сегодня вечером весь наш квартет — коту под хвост.

— Исключено. Я через двадцать минут вернусь.

— Точно?

— Точно.

— Отлично! Ты нам нужен сегодня до зарезу. Не простудись!

— Нет, нет!

Они двинулись дальше.

— Разве вы не поедете со мной до границы? — спросил Керн немного погодя.

— Нет, у нас новая инструкция.

Они пришли на вокзал. Детектив разыскал машиниста поезда.

— Вот этот, — сказал он, указывая на Керна. Потом передал машинисту приказ о высылке. — Счастливого пути, сударь, — сказал он вдруг очень вежливо и удалился прочь.

— Пройдемте!

Машинист привел Керна к тормозной будке товарного вагона.

— Садитесь!

В маленькой кабине было только одно деревянное сиденье. Керн сунул под него свой чемодан. Машинист запер дверь снаружи.

— Вот так! В Базеле вас выпустят.

Он пошел дальше, вдоль слабо освещенной платформы. Керн выглянул из окна кабины. Потом осторожно попытался вылезти из него. Не вышло: окно было слишком узким.

Через несколько минут поезд тронулся. Зас-

кользили мимо залы ожидания с пустыми столами и пустым бессмысленным светом. Дежурный по вокзалу в своей красной фуражке остался позади. Промелькнули несколько горбатых улиц, шлагбаум с ожидающими перед ним автомобилями, маленькое кафе, где несколько человек играли в карты, — потом город исчез из виду.

Керн сел на деревянную скамейку, поставил ноги на чемодан, уперся в него покрепче и стал глядеть в окно. Ночь была темная, ветреная и незнакомая, и он вдруг почувствовал себя очень скверно.

В Базеле его встретил полицейский и отвел на таможенный пункт. Его накормили. Потом они с дежурным поехали на трамвае в Бургфельден. Во тьме ночи прошли мимо какого-то еврейского кладбища, миновали кирпичный завод и свернули с шоссе. Через некоторое время его конвоир остановился.

— Пойдете все время прямо.

Керн пошел дальше. Он примерно знал, где находится, и держался направления на Сен-Луи. Он не прятался: ему было все равно, схватят его немедленно или нет.

Он сбился с дороги. Только под утро он пришел в Сен-Луи.

Он немедленно явился во французскую полицию и заявил, что переправлен через границу из Базеля. Он всячески старался избежать посадки в тюрьму. А это можно было сделать, только если в тот же день явиться в полицию или на таможенный пункт. Тогда он подлежал не наказанию, а лишь обратной высылке.

Полицейский продержал его под арестом целый день. Вечером его отправили на пограничный таможенный пункт.

Там было двое таможенников. Один сидел за столом и писал. Другой примостился на скамье у печки. Он курил сигареты из крепкого алжирского табака и время от времени пристально разглядывал Керна.

— Что у вас в чемодане? — спросил он немного погодя.

— Кое-какие вещи, они принадлежат мне.

— Откройте-ка.

Керн поднял крышку. Таможенник встал и лениво подошел ближе. Потом с интересом склонился над чемоданом.

— Туалетная вода, мыло, духи! Надо же… вы это все привезли из Швейцарии? Уж не хотите ли вы сказать, что воспользуетесь всем этим сами? Для вашего личного употребления?

— Нет. Я этим торгую.

— Тогда платите пошлину! — заявил чиновник. — Распаковывайте! А это барахло, — он указал на булавки, шнурки и прочие мелочи, — я оставляю вам!

Керн подумал, что ему это снится.

— Платить пошлину? — спросил он. — Это я должен платить пошлину?

— Разумеется! Вы же не дипломатический курьер, верно? А может, вы думали, что я собираюсь покупать эти пузырьки? Вы привезли во Францию товар, он облагается пошлиной. Ну и не тяните волынку!

Чиновник взял прейскурант и придвинул к себе весы.

— У меня нет денег, — сказал Керн.

— Нет денег? — Чиновник засунул руки в карманы брюк и покачался на каблуках. — Отлично, тогда эти вещи подлежат конфискации. Давайте-ка их сюда!

Керн остался сидеть на полу, крепко держась за чемодан.

— Я явился сюда, чтобы меня отправили назад в Швейцарию. Не обязан я платить никакой пошлины.

— Каков гусь! Он еще вздумал меня учить!

— Оставь парня в покое, Франсуа! — сказал таможенник, который сидел за столом и писал.

— И не подумаю! Всякий бош будет мне указывать, они там — одна шайка! Давай выкладывай свои банки!

— Я не бош! — сказал Керн.

В этот момент вошел третий чиновник. Керн увидел, что он по рангу выше этих двоих.

— В чем дело? — коротко спросил третий.

Таможенник доложил обстановку. Инспектор поглядел на Керна.

— Вы сразу же явились в полицию? — спросил он.

— Да.

— И вы хотите вернуться в Швейцарию?

— Да. Потому-то я здесь.

Инспектор подумал немного.

— Тогда он ни при чем. Он не контрабандист. Его самого доставили сюда контрабандой. Отправьте его назад, и на этом точка.

Он вышел.

— Вот видишь, Франсуа, — сказал таможенник, сидевший за столом. — Зачем ты каждый раз заводишься? Только печенку себе портишь.

Франсуа ничего не ответил. Он испуганно пялился на Керна. Керн тоже воззрился на него. Он

вдруг сообразил, что говорил по-французски и понимал французов, и в глубине души благословил русского профессора из тюрьмы в Вене.

На следующее утро он снова был в Базеле. Теперь он изменил тактику. Он не явился немедленно в то же утро в полицию. Ничего ему не сделают, если он пробудет день в Базеле и появится там только вечером. Базель значился в списке адресов Биндера. Правда, здесь было полно эмигрантов, больше, чем где-либо еще в Швейцарии, но, несмотря на это, он решил попытать счастья.

Он начал со священников. Он был почти уверен, что они не станут на него доносить. Первый пастор немедленно вышвырнул его прочь. Второй дал ему бутерброд; третий — пять франков. Он продолжал работать, и ему повезло — до обеда он заработал семнадцать франков. Он пытался прежде всего сбыть свои последние духи и туалетную воду — на случай, если еще раз встретит Франсуа. С пасторами это не выгорело, но удалось в других местах. После обеда он заработал двадцать восемь франков. Он пошел в католическую церковь. Она была открыта, и там можно было отдохнуть в безопасности. Он не спал две ночи подряд.

Церковь была полутемная и пустая, в ней пахло

ладаном и свечами. Керн сел на скамью и написал письмо доктору Бееру. Он вложил в конверт письмо для Рут и деньги. Потом заклеил конверт и сунул его в карман. Он чувствовал ужасную усталость. Он медленно опустился на молитвенную скамью и положил голову на пюпитр. Он хотел только немного отдохнуть, но он заснул.

Проснувшись, он не сразу понял, где находится. Матовый красный отблеск лампад слепил глаза, и он лишь постепенно пришел в себя. Послышались чьи-то шаги, и он сразу же напрягся и насторожился.

По проходу между скамьями медленно шел священник в черной сутане. Около Керна он остановился и внимательно оглядел его. Керн из осторожности сложил руки как для молитвы.

— Я не хотел вам мешать, — сказал священник.

— Я как раз собрался уходить, — возразил Керн.

— Я увидел вас из ризницы. Вы здесь уже два часа. Вы молились о чем-то особенном?

— О да, — сказал Керн, захваченный врасплох, но тут же овладевший собой.

— Вы не здешний? — Священник поглядел на чемодан Керна.

— Нет. — Керн поднял на него глаза. Внешность священника вызывала доверие. — Я эмигрант. Сегодня ночью я должен перейти границу. Там в чемодане вещи, которыми я торгую.

У него еще остался один флакон туалетной воды, и ему внезапно пришла в голову безумная мысль продать ее священнику в церкви. Это было невероятно; но он привык к невероятным вещам.

— Туалетная вода, — сказал он. — Очень хорошая. И очень дешевая. Я как раз ее продаю.

Он хотел открыть чемодан.

Священник сделал протестующий жест.

— Полноте. Я вам верю. Не будем подражать торгующим во храме. Я радуюсь, что вы так долго молились. Пройдемте в ризницу. У нас есть небольшой фонд помощи верующим.

Керн получил десять франков. Ему было немного стыдно, но это скоро прошло. Десять франков означали, что во Франции он и Рут смогут проехать часть пути по железной дороге. Кажется, полоса невезения кончается, подумал он. Он вернулся в церковь и на этот раз молился по-настоящему. Он не знал точно — кому, сам он был протестантской веры, его отец был еврей, и он стоял на коленях в католической церкви… но он

считал, что в такие времена, как эти, вероятно, и на небесах возникла некоторая путаница, и решил, что его молитва, наверное, найдет правильную дорогу.

Вечером он по железной дороге уехал в Женеву. Ему вдруг показалось, что Рут могут выписать из больницы раньше времени. Он приехал утром, оставил чемодан на вокзале и пошел в полицию. Дежурному чиновнику он заявил, что только что переправлен из Франции. Поскольку он предъявил швейцарский приказ о высылке, ему поверили; его продержали там день и ночью сплавили через границу в районе Колоньи.

Он немедленно явился на французский таможенный пункт.

— Заходите, — сказал ему заспанный дежурный. — Тут уже есть один такой. Часа в четыре мы переправим вас назад.

Керн пошел в таможенную будку.

— Фогт! — сказал он изумленно. — Как вы сюда попали?

Фогт пожал плечами.

— Я в очередной раз осаждаю швейцарскую границу.

— С тех пор? С тех пор, как вас отвели на вокзал в Люцерне?

— С тех пор.

Выглядел Фогт скверно. Он исхудал, а его кожа напоминала серую бумагу.

— Мне не везет, — сказал он. — Мне не удается попасть в тюрьму. А ночи уже такие холодные, что я больше их не выдерживаю.

Керн подсел к нему.

— Я был в тюрьме, — сказал он. — И я рад, что снова вышел. Такова жизнь!

Жандарм принес им немного хлеба и красного вина. Они поели и заснули тут же, на скамье. В четыре утра их разбудили и привели на границу. Было еще совсем темно. Спелые поля матово мерцали по обочинам дороги.

Фогт дрожал от холода. Керн снял с себя свитер.

— Вот, наденьте. Мне не холодно.

— Правда не холодно?

— Ничуть.

— Вы молоды, — сказал Фогт, — в этом все дело. — Он надел свитер. — Только на пару часиков. Пока не взойдет солнце.

Недалеко от Женевы они расстались. Фогт хотел через Лозанну поглубже проникнуть в Швейцарию. Пока он находился близко от границы, его просто отсылали обратно, и он не мог рассчиты-

вать на тюрьму.

— Оставьте свитер себе, — сказал Керн.

— Исключено! Ведь это целое состояние!

— У меня есть еще один. Мне подарил его тюремный священник в Вене. Он в камере хранения в Женеве.

— Это правда?

— Конечно. Синий свитер с красной отделкой. Теперь верите?

Фогт усмехнулся. Он вытащил из кармана тонкую книжку.

— Вот вам взамен.

Это были стихотворения Гельдерлина.

— Но ведь это вам еще нужнее, — сказал Керн.

— Ничего. Я почти все знаю наизусть.

Керн отправился в Женеву. Два часа он проспал в церкви и в двенадцать уже стоял на Главпочтамте. Он знал, что Рут еще не могла приехать, но все-таки ждал до двух. Потом призвал на помощь список адресов Биндера. Ему опять повезло. До вечера он заработал семнадцать франков и с тем направился в полицию.

Была суббота. Ночь выдалась беспокойная. Уже в одиннадцать в участок доставили двух совершенно пьяных типов. Они заблевали помещение, а потом принялись петь. К часу их набралось

пятеро. В два привели Фогта.

— Заколдованный круг, — сказал он меланхолически. — Но все-таки мы, по крайней мере, вдвоем.

Через час их увели. Ночь была холодной. Звезды едва мерцали и были очень далекими. Полумесяц отливал расплавленным металлом.

Жандарм остановился.

— Здесь повернете направо, потом…

— Я знаю, — перебил его Керн. — Дорога знакомая.

— Тогда всего хорошего.

Они двинулись дальше по узкой полосе ничейной земли между границей и границей.

Против ожидания, их не отослали обратно в ту же ночь. Их отвели в префектуру и составили протокол. Потом им дали поесть. На следующую ночь их снова сплавили.

Погода стояла ветреная и унылая. Фогт очень устал. Он почти не разговаривал и выглядел отчаявшимся. Отойдя немного от границы, они забрались в стог сена. Фогт проспал до утра как убитый.

Он проснулся, когда солнце уже взошло. Он не двигался, только открыл глаза. Керна охватило странное ощущение жалости при виде этой

жуткой неподвижной фигуры под тоненьким плащом, этого человеческого комочка с широко открытыми неподвижными глазами.

Они лежали на мягко опадающем склоне, с которого открывался вид на утренний город и озеро. Дым поднимался из печных труб в ясное небо и вызывал воспоминания о тепле, укрытости, завтраке и постели. Озеро посверкивало легкой зыбью. Фогт молча провожал взглядом трепещущие клубы тумана, поглощаемые солнцем; они исчезли, а из-за разорванных в клочья туч медленно выступил белый массив Монблана и засиял в вышине, как светлые стены вознесенного над землей небесного Иерусалима.

Примерно в девять утра они отправились в путь.

Они пришли в Женеву и выбрали дорогу вдоль озера. Через некоторое время Фогт остановился.

— Взгляните туда! — сказал он.

— О чем вы?

Фогт указал на похожее на дворец здание, окруженное парком. Мощное строение сверкало на солнце как оплот безопасности и благополучной жизни. Великолепный парк искрился золотом и багрянцем осенней листвы. Длинные ряды автомобилей выстроились на просторном въезде,

и толпы довольных людей входили и выходили из дворца.

— Чудесно, — сказал Керн. — Можно подумать, что здесь живет швейцарский император.

— Вы не знаете, что это?

Керн покачал головой.

— Это Дворец Лиги Наций, — сказал Фогт, и в его тоне прозвучали печаль и ирония.

Керн изумленно уставился на него.

Фогт кивнул.

— В этом здании вот уже много лет решается наша судьба. Здесь обсуждают, надо ли выдавать нам паспорта и снова делать нас людьми или нет.

Открытый «Кадиллак» отделился от рядов автомобилей и заскользил к воротам. В нем сидели несколько элегантных молодых людей и среди них очень красивая девушка в норковом манто. Они смеялись и подавали знаки второму автомобилю и условливались о ленче на берегу озера.

— Да… — помолчав, сказал Фогт. — Теперь вы понимаете, почему это долго тянется?

— Да, — ответил Керн.

— Безнадежно, не так ли?

Керн пожал плечами.

— Не думаю, чтобы им было очень к спеху.

Подошел швейцар и смерил Керна и Фогта недоверчивым взглядом.

— Вы кого-нибудь ищете?

Керн покачал головой.

— В таком случае что вам угодно? — спросил швейцар.

Фогт взглянул на Керна. В его глазах блеснула усталая искорка насмешки.

— Ничего, — сказал он швейцару. — Мы только туристы. Простые странники на земле Господа.

— Тогда вам лучше отойти подальше, — сказал швейцар, в чьей голове пронеслась мысль о сумасшедших анархистах.

На улице Монблан они засмотрелись на витрины магазинов. Перед одной ювелирной лавкой Фогт остановился.

— Здесь я с вами прощусь.

— Куда вы собрались на этот раз? — спросил Керн.

— Неподалеку. Я войду в этот магазин.

Керн, недоумевая, уставился на витрину, где на сером бархате были выложены бриллианты, рубины и изумруды.

— Я думаю, вам не повезет, — сказал он. — Ювелиры, как известно, не отличаются мягкосердечием. Может быть, потому, что они постоянно

имеют дело с твердыми камнями. Они никогда ничего не дают.

— Мне ничего не надо. Я хочу только что-нибудь украсть.

— Что? — Керн с сомнением воззрился на Фогта. — Вы это серьезно? С этим вам далеко не уйти, в вашем-то состоянии.

— Я и не собираюсь. Мне только того и надо.

— Не понимаю, — сказал Керн.

— Сейчас поймете. Я все точно рассчитал. Для меня это единственная возможность перезимовать. Получу за это самое малое несколько месяцев. У меня больше нет выбора. Я дошел до предела. Еще несколько недель на границе окончательно меня доконают. Я вынужден это сделать.

— Но… — начал Керн.

— Я знаю все, что вы хотите сказать. — Лицо Фогта вдруг опало, как будто порвались державшие его нити. — Я больше не могу, — тихо произнес он. — Прощайте.

Керн видел, что говорить еще что-то бесполезно. Он пожал слабую руку Фогта.

— Надеюсь, вы скоро отдохнете.

— Да, будем надеяться. Здешняя тюрьма вполне сносная.

Фогт подождал, пока Керн отошел подальше. Потом он вошел в магазин. Керн остановился на углу и стал наблюдать за входом в магазин, делая вид, что ждет трамвая. Через некоторое время он увидел, как из магазина опрометью выбежал какой-то молодой человек и побежал куда-то. Вскоре вернулся обратно с полицейским. «Дай бог ему наконец отдохнуть», — подумал Керн и двинулся дальше.

Недалеко от Вены Штайнер нашел машину, которая доставила его до границы. Ему не хотелось предъявлять свой паспорт австрийским таможенникам. Чтобы не рисковать, он вышел из машины недалеко от границы и остаток пути проделал пешком. Около десяти вечера он пришел в таможню. Он сказал, что только что переправлен из Швейцарии.

— Прекрасно, — ответил старый таможенник с бородой а-ля император Франц Иосиф. — Дело знакомое. Завтра утром отправим вас обратно. Подождите где-нибудь здесь.

Штайнер сел перед таможенной будкой и закурил. Он был совершенно спокоен. Дежурный чиновник все время клевал носом. Время от времени через границу проезжала какая-нибудь машина. Приблизительно через час вышел чи-

новник с императорской бородой.

— Как вы сказали? — спросил он Штайнера. — Вы австриец?

Штайнер мгновенно насторожился. Он зашил свой паспорт за подкладку шляпы.

— Что вы, — сказал он спокойно. — Если бы я был австрийцем, я бы не был эмигрантом.

Чиновник хлопнул себя по лбу так, что его серебряная борода заколыхалась.

— Верно, верно. Иной раз все забываешь. Я ведь спросил только оттого, что если бы вы были австрийцем, то вы бы играли в тарок.

— Я играю в тарок. Выучился еще ребенком на войне. Я служил одно время в австрийской дивизии.

— Великолепно! Великолепно! — Император Франц Иосиф похлопал Штайнера по плечу. — Да. Вы почти соотечественник. Ну так как же? Сыграем партию? Нам как раз не хватает одного партнера.

Они вошли в таможню. Через час Штайнер выиграл семь шиллингов. Он играл не по способу шулера Фреда — он играл честно. Но он играл много лучше таможенников, и потому он не мог не выигрывать, если ему хотя бы немного шла карта.

В одиннадцать они поужинали. Таможенники объяснили, что это был их завтрак; дежурство начинается с восьми утра. Завтрак был вкусный и плотный. Потом они возобновили игру. Штайнеру шла очень хорошая карта. Австрийская таможня играла против него с мужеством отчаяния. Они боролись, но боролись честно. В час ночи они уже называли друг друга по именам. В три часа перешли на «ты». В четыре они почувствовали себя совсем свободно; обращения типа «свинья», «скотина», «сволочь» звучали не оскорблением, но стихийным выражением восторга, восхищения и симпатии.

В пять утра вернулся очередной дежурный.

— Ребята, сейчас самое время переправить Йозефа через границу.

Наступило молчание. Все глаза были устремлены на горку денег, лежащую перед Штайнером. Наконец император Франц Иосиф произнес разочарованно:

— Что выиграно, то выиграно. Он нас всех облапошил. А теперь он смывается, этот висельник!

— Мне шла карта, — сказал Штайнер. — Чертовски везло.

— Вот именно, — меланхолично подтвердил император Франц Иосиф. — Тебе везло. А завтра,

может быть, повезло бы нам. А тебя уж не будет. В этом есть какая-то несправедливость.

— Да. Но где же вообще справедливость, братцы?

— Справедливость в картах — это реванш, который обязан дать выигравший. Если он опять выиграет — тогда ничего не поделаешь. Но так, — император Франц Иосиф воздел руки к небу, — в этом есть что-то незавершенное.

— Дети мои, — сказал Штайнер. — Если дело только в этом! Вы переправите меня через границу, а завтра вечером швейцарцы отправят меня обратно — и я дам вам реванш!

Император Франц Иосиф хлопнул все еще воздетыми вверх руками в ладоши. По комнате даже прокатилось эхо.

— Вот оно! — простонал он упоенно. — Мы сами не могли тебе это предложить, понимаешь? Ведь мы же власти. И мы не имеем права. Но если ты сам перейдешь обратно, это совсем другое дело!

— Я вернусь, — сказал Штайнер. — Можете на меня положиться.

Он заявил швейцарскому пограничнику, что хочет ночью возвратиться в Австрию. Его не отослали в полицию, а задержали на границе. Было воскресенье. Прямо рядом с таможней была

маленькая пивная. После обеда в ней было много народу. Но вечером после восьми она опустела. В пивной сидели только несколько свободных от работы таможенников. Они начали играть в ясс. Штайнер не успел оглянуться, как был втянут в игру. Швейцарцы были прекрасные игроки. У них было железное спокойствие, и им невероятно везло. Уже в десять часов Штайнер выложил им восемь франков, к полуночи он отыграл пять. Но к двум часам ночи, когда пивную закрыли, он проиграл тринадцать франков.

Швейцарцы снабдили его несколькими бутылками вишневой настойки. Это было очень кстати: ночь была холодная, а ему предстояло еще переходить вброд Рейн.

На другой стороне он увидел темную фигуру, выделявшуюся на фоне неба. Это был император Франц Иосиф. Луна, сиявшая над его головой, казалась ореолом над головой святого.

Штайнер обсушился. У него стучали зубы. Он допил остаток вишневой настойки, которую дали ему швейцарцы, и оделся. Потом он направился к одинокой фигуре.

— Где ты пропадаешь? — приветствовал его Франц Иосиф. — Я жду тебя уже с часу. Мы думали, ты можешь заблудиться, поэтому я и стою здесь.

Штайнер засмеялся.

— Меня швейцарцы задержали.

— Ну, иди же скорее. У нас еще только два с половиной часа!

Сражение началось. В пять часов его исход был еще неясен, австрийцам сегодня везло. Император Франц Иосиф бросил на стол карты.

— Какая подлость. Именно сейчас мне пора заступать на дежурство!

Он надел шинель и пристегнул портупею.

— Пошли, Зепп! Ничего не попишешь. Служба есть служба. Надо тебя переправлять!

Они пошли к границе. Франц Иосиф дымил крепкой сигаретой.

— Знаешь, — сказал он по некотором размышлении, — у меня такое чувство, что швейцарцы сегодня ночью следят особенно внимательно. Они ждут, что ты перейдешь обратно, как потвоему?

— Вполне возможно, — ответил Штайнер.

— Может, было бы разумнее отправить тебя только завтра ночью. Тогда они будут думать, что ты остался в Австрии.

— Это ясно.

Франц Иосиф остановился.

— Видел, там что-то блеснуло? Это карманный

фонарь. Вон, и там еще! Ты видел?

— Конечно. — Штайнер ухмыльнулся. Он ничего не видел. Но он знал, чего хочет старый таможенник.

Франц Иосиф поскреб свою серебряную бороду. Потом хитро подмигнул Штайнеру.

— Тебе не пройти, это ясно, надо вернуться, Зепп! Мне очень жаль, но вся граница строго охраняется. Нам остается только ждать до завтра. Я напишу докладную!

— Хорошо.

Они играли до восьми утра. Штайнер проиграл семнадцать шиллингов, но двадцать два у него еще оставались. Франц Иосиф написал свою докладную и поручил Штайнера дежурной смене.

Таможенники дневной смены держались официально и весьма формально. Они заперли Штайнера в полицейском участке. Он проспал там весь день. Ровно в восемь появился император Франц Иосиф, чтобы с триумфом доставить его обратно на таможню. Они быстро, но плотно поели — и бой начался. Через каждые два часа один из таможенников сменял дежурного. Штайнер просидел за столом до пяти утра. В четверть первого император Франц Иосиф в азарте спалил верхние кудри своей бороды. Ему показалось, что

у него во рту сигарета, и он попытался ее зажечь. Это был обман чувств, так как ему целый час шли только пики и трефы. Ему все виделось в черном цвете.

Штайнер наголову разгромил таможню. Это было полное поражение, особенно между тремя и пятью часами. В отчаянии Франц Иосиф вызвал подкрепление. Он позвонил по телефону местному чемпиону по тароку, который с помпой прибыл на своем мотоцикле. Напрасно: Штайнер и его ободрал как липку. Первый раз, сколько Штайнер его помнил, Господь Бог был на стороне страждущего; Штайнеру шла такая карта, что он желал лишь одного: играть с миллионерами.

В пять часов игра пошла на убыль. Потом произвели расчет. Штайнер выиграл сто шесть шиллингов.

Местный чемпион бесславно отбыл на своем мотоцикле. Штайнер и император Франц Иосиф отправились на границу. Франц Иосиф показал ему другую дорогу, чем два дня назад.

— Держись этого направления, — сказал он. — Завтра утром скрывайся. После обеда можешь идти на вокзал. У тебя же теперь есть деньги. И чтобы я тебя больше не видел, разбойник! — прибавил он замогильным голосом. — Иначе нам

придется просить об увеличении жалованья.

— Хорошо. Я как-нибудь еще дам вам реванш.

— Только не в тарок. Хватит с нас. Если хочешь, в шахматы или козла.

Штайнер перешел границу. Он поразмыслил, не следует ли зайти в швейцарскую таможню и потребовать реванша. Но он знал, что проиграет. Он решил поехать в Муртен и поискать Керна. Муртен лежал на дороге в Париж, и крюк был небольшой.

Керн медленно шел к Главному почтамту. Он чувствовал себя усталым. Последние ночи он почти не мог спать. Рут должна была приехать три дня назад. Все это время он ничего не слыхал о ней. Она не писала. Он все верил, что здесь какая-то другая причина, и придумывал этому тысячи оправданий — но теперь вдруг ему показалось, что она больше не приедет. Он испытывал странную пустоту. Шум улицы откуда-то издалека просачивался в его тупую, бесформенную печаль, и он автоматически передвигал ноги.

Прошло несколько минут, прежде чем он узнал синий плащ. Он остановился. «Мало ли какой плащ, — подумал он, — их сотни, этих плащей, которые столько раз за эту неделю лишали меня рассудка». Он отвел глаза, снова посмотрел в

ту сторону. Посыльный и толстая дама, нагруженная пакетами, загородили синий плащ. Он перевел дыхание. Он чувствовал, что дрожит. Синий плащ прыгал перед его глазами между красных лиц, шляп, велосипедов, пакетов, людей — в сплошном разделяющем их потоке толпы. Керн медленно стал пробираться вперед, словно шел по канату и каждую секунду боялся упасть. Даже когда Рут обернулась и он увидел ее лицо, он все еще верил в невероятное сходство и галлюцинацию. Только когда она, увидев его, изменилась в лице, он бросился вперед навстречу ей.

— Рут! Это ты! Это ты! Ты ждешь, а меня нет!

Он крепко обнимал ее и чувствовал ее объятия. Они цеплялись друг за друга, словно стояли на узкой горной вершине, а вокруг бушевала буря, грозящая сбросить их вниз. Они стояли в дверях Главного почтамта в Женеве, в час пик, и люди спешили мимо, наталкивались на них, удивленно оборачивались и смеялись — они ничего не замечали. Они были одни. Только когда Керн вдруг заметил какой-то мундир, он мгновенно протрезвел. Он отпустил Рут.

— Быстрей! — прошептал он. — Идем на почту! Пока ничего не случилось.

Они влились в людской поток.

— Иди сюда!

Они встали в конец очереди к окошку, где продавались почтовые марки.

— Когда ты приехала? — спросил Керн. Главный почтамт в Женеве никогда не казался ему таким светлым.

— Сегодня утром.

— Тебя доставили в Базель? Или прямо сюда?

— Нет. В Муртене я получила трехдневную прописку. И сразу поехала прямо сюда.

— Чудесно! Даже прописка! Значит, тебе вообще нечего бояться. Я уже представил тебя одну, на границе. Ты побледнела, Рут, и похудела!

— Но я совершенно здорова. Я выгляжу ужасно, да?

— Нет, ты стала еще красивее. Каждый раз, когда мы встречаемся после разлуки, ты становишься еще красивее. Ты голодна?

— Да, — сказала Рут. — Я изголодалась по всему: по тебе, по свежему воздуху, по улицам, по разговорам.

— Тогда мы сейчас пойдем есть. Я знаю маленький ресторан. Там подают свежую рыбу прямо из озера. Как в Люцерне. — Керн сиял. — В Швейцарии так много озер. Где твой багаж?

— На вокзале, разумеется. Я же старый опыт-

ный бродяга.

— Да. Я горжусь тобой! Ну, Рут. Тебе предстоит твоя первая нелегальная граница. Это приблизительно как вступительные экзамены. Ты боишься?

— Ничуть.

— И не нужно. Я знаю эту границу как свой карман. Я знаю все. У меня даже есть билеты. Я купил их во Франции, позавчера. Мы подождем в одной харчевне, она надежна, и в самый последний момент сядем на поезд.

— У тебя уже есть билеты? Откуда у тебя деньги? Ты же так много посылал мне?

— Отчаявшись, я разорил все швейцарское духовенство. Я великий гангстер, прославленный от Базеля до Женевы. Ближайшие полгода мне нельзя здесь показываться.

Рут рассмеялась.

— У меня тоже есть немного денег. Доктор Беер раздобыл их в одном комитете помощи беженцам.

Очередь медленно продвигалась вперед. Керн крепко сжимал в руках опущенную руку девушки. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, говорили тихо, понизив голос, и старались выглядеть как можно безучастнее и равнодушнее.

— Кажется, нам страшно повезло, — сказал Керн. — Ты приезжаешь, привозишь прописку, мало этого — деньги! Почему же ты не писала? Ты не могла?

— Я боялась! Я думала, что тебя могут схватить, когда ты придешь за письмом. Беер рассказал мне историю с Аммерсом. Он тоже считал, что лучше не писать. Я писала тебе много писем. Я тебе все время писала — мысленно. Ты знаешь, да? — Она посмотрела на него.

Керн сжал ее руку.

— Я знаю. У тебя уже есть комната?

— Нет. Я пришла сюда прямо с вокзала.

— Да, только… — Керн заколебался на мгновение. — Знаешь, я в последние дни стал этаким ночным бродягой. Я не хотел ничем рисковать. В основном я пользовался услугами государственных пансионов. — Он заметил взгляд Рут. — Нет-нет, — сказал он. — Не тюрьмой. Таможней. Там очень хорошо спать. Главное, тепло. Все таможни великолепно отапливаются, когда наступают холода. Но это не для тебя. У тебя есть разрешение на жительство — для тебя можно снять великолепный номер в «Гранд-отеле Бельвю». Там живут представители Лиги Наций, министры и тому подобные бесполезные люди.

— Нет. Я останусь с тобой. Если ты думаешь, что это опасно, давай уйдем сегодня ночью.

— Что? — нетерпеливо спросил служащий в окошке.

Они не заметили, как подошла их очередь.

— Марку за десять сантимов, — ответил Керн, быстро придя в себя.

Служащий протянул марку. Керн расплатился, и они пошли к выходу.

— Зачем тебе марка? — спросила Рут.

— Не знаю. Просто так. Я реагирую автоматически, когда вижу униформу. — Керн посмотрел на марку. На ней был изображен Чертов мост на Сен-Готарде. — Я бы мог послать анонимное письмо Аммерсу, — заявил он.

— Аммерс, — сказала Рут. — Ты знаешь, что он находится под врачебным наблюдением Беера?

— Что? Это верно? — Керн уставился на Рут. — Теперь скажи только, что у него болит печень, и я от радости пройдусь на руках.

Рут рассмеялась. Она смеялась так сильно, что ее раскачивало как иву на ветру.

— Да — это верно! И поэтому он лечится у Беера. Беер — единственный специалист в Муртене. Подумай, ведь у Аммерса угрызения совести — он вынужден обращаться к еврейскому врачу!

— Великий боже! Это незабываемое мгновение моей жизни. Штайнер сказал мне однажды, что самое редкое наслаждение — это любовь и месть одновременно. И вот я стою на ступенях Главного почтамта в Женеве и испытываю это счастье! Может быть, и Биндинга посадили или он сломал себе ногу!

— Или у него украли деньги!

— Еще лучше! У тебя блестящие идеи, Рут!

Они спустились вниз по ступеням.

— Чем оживленнее движение, тем лучше, — сказал Керн. — Тут вряд ли что случится.

— Мы перейдем сегодня через границу? — спросила Рут.

— Нет. Ты должна отдохнуть и выспаться. Это долгий путь.

— А ты? Ты разве не должен выспаться? Мы можем пойти в какой-нибудь пансион, указанный в списке Биндера. Это правда очень опасно?

— Я уж не знаю, — сказал Керн. — Не думаю. Так близко от границы вряд ли что-нибудь произойдет. Я слишком часто переходил туда-обратно. Самое большее, они отправят нас в таможню, и все. И даже если б было еще опаснее — я бы не смог сегодня снова уйти. Днем, в четверть первого, в толпе чувствуешь себя весьма уверенно — но

ночью, когда темнеет, все по-другому. И без того каждая минута кажется невероятной. Ты здесь — как я могу добровольно уйти!

— Я бы тоже не могла остаться одна, — сказала Рут.

XVI

Керн и Рут благополучно перешли границу и сели на поезд в Бельгарде. Вечером они прибыли в Париж и, выйдя из вокзала, остановились в нерешительности.

— Мужайся, Рут! — сказал Керн. — Мы пойдем в какой-нибудь маленький отель. Сегодня уже поздно искать что-нибудь еще. А завтра посмотрим.

Рут кивнула. Она устала от поездки и от бессонной ночи.

— Пойдем в какой-нибудь отель.

На одной из боковых улочек они увидели красную светящуюся вывеску «Отель «Гавана». Керн вошел и спросил, сколько стоит номер.

— На всю ночь? — спросил портье.

— Да, конечно, — ответил Керн удивленно.

— Двадцать пять франков.

— На двоих? — спросил Керн.

— Да, конечно, — ответил портье, удивившись

в свою очередь.

Керн вышел за Рут. Портье бросил на обоих быстрый взгляд и протянул Керну лист для приезжих. Увидев, что Керн в затруднении, он улыбнулся и сказал:

— Особой точности не требуется.

Керн с облегчением записал «Людвиг Оппенгейм».

— Этого достаточно, — сказал портье. — Двадцать пять франков.

Керн уплатил, и мальчик отвел их наверх. Номер был маленький, чистый и не лишенный известной элегантности. В нем стояли большая, удобная кровать, две тумбочки, кресло, но не было шкафа.

— Обойдемся без шкафа, — сказал Керн и подошел к окну. Потом он оглянулся. — Ну вот мы и в Париже, Рут.

— Да, — ответила она и улыбнулась ему. — И как все быстро произошло.

— С этими листами для приезжих мы теперь справимся. Ты слышала, как я говорил по-французски? Я все понимал, что говорил портье.

— Ты был великолепен! — ответила Рут. — Я бы не смогла рта раскрыть!

— А ведь ты говоришь по-французски много

лучше, чем я. Я просто нахальнее, вот и все! Пойдем поедим. Город кажется враждебным до тех пор, пока в нем не поешь и не выпьешь.

Они зашли поблизости в маленькое освещенное бистро. В нем все блестело от зеркал и пахло стружкой и анисом. За шесть франков они получили полный ужин и графин красного вина в придачу. Вино было дешевое и хорошее. Целый день они почти ничего не ели, вино ударило им в голову, и они почувствовали себя такими усталыми, что скоро вернулись в отель.

В вестибюле около портье стояли девушка в меховом манто и подвыпивший мужчина. Они торговались с портье. Девушка была красива и со вкусом подкрашена. Она презрительно посмотрела на Рут. Мужчина курил сигару и не посторонился, когда Керн попросил у портье ключ.

— Кажется, здесь довольно элегантно, — сказал Керн, когда они поднимались по лестнице. — Видала, какое манто?

— Да, Людвиг, — Рут улыбнулась. — Это была имитация. Простая кошка. Оно стоит не больше, чем хорошее драповое пальто.

— Я бы никогда не заметил. Я подумал, что это норка.

Керн повернул выключатель. Рут уронила на пол сумку и пальто, обняла его за шею и прижалась лицом к его лицу.

— Я устала, — сказала она, — я устала, и счастлива, и немного боюсь, и больше всего устала. Помоги мне: уложи меня спать.

— Да.

Они лежали рядом в темноте. Рут положила голову на плечо Керну и, глубоко вздохнув, сразу же заснула, как ребенок. Керн еще некоторое время лежал без сна, прислушиваясь к ее дыханию. Потом и он заснул.

Что-то разбудило его. Он вскочил на кровати и прислушался. Снаружи раздавался шум. Его сердце готово было выпрыгнуть. «Полиция», — подумал он. Он быстро вскочил с постели, подбежал к двери, приоткрыл ее и выглянул в коридор. Внизу что-то кричали, и высокий злобный женский голос визгливо отвечал по-французски. Через некоторое время наверх поднялся портье.

— Что случилось? — спросил возбужденно Керн через щель.

Усталый портье посмотрел на него с изумлением.

— Ничего, пьяный. Не хочет платить.

— И больше ничего?

— А что же еще? Такие вещи случаются. Не понимаю, почему вас это интересует.

Он открыл дверь соседнего номера и впустил туда мужчину с черными как смоль усами и пышную блондинку, которые поднялись вслед за ним. Керн закрыл дверь и ощупью стал пробираться назад. Он нашел кровать и, ложась, ощутил вдруг под рукой мягкую грудь Рут. «Прага», — вспомнил он, и волна нежности захлестнула его. В ту же секунду грудь задрожала, Рут оперлась на локти, чужой, испуганный, совсем тонкий голос прошептал:

— Что, что случилось? Ради бога, — и замолк, и в темноте слышалось только прерывистое дыхание.

— Это я, Рут, — сказал Керн и лег. — Это я тебя испугал.

— Это ты, — пробормотала она, и ее локти ослабли, опустились. Она сразу же снова заснула. Ее горячее лицо лежало на плече Керна. «Вот до чего они тебя довели, — подумал он огорченно. — Тогда в Праге ты только тихо спросила: кто это? — а теперь вся дрожишь и боишься».

— Раздевайся, — сказал сальный мужской голос в соседней комнате. — Хочу поглядеть на твой толстый зад.

Женщина засмеялась:

— У меня есть на что поглядеть.

Керн прислушался. Он понял наконец, куда они попали. В этом отеле сдавали комнаты на несколько часов. Он осторожно покосился на Рут. Кажется, она ничего не слышала.

— Рут, — сказал он почти беззвучно, — маленький мой, любимый усталый пони. Спи крепко, не просыпайся. То, что происходит за стеной, не касается нас. Я люблю тебя, и ты любишь меня, и мы одни.

— Черт возьми! — Из-за тонкой стены донесся звонкий шлепок. — Это класс! Ах, стерва! Ну и задница у тебя!

— Ой! Ах ты, скотина! Ты прямо озверел! — орала женщина.

— Еще бы! А ты думала, я вчера родился?

«Мы совсем не здесь, — шептал Керн. — Рут, мы совсем не здесь. Мы лежим на лугу под солнцем, и вокруг нас цветут ромашки и одуванчики, и кричит кукушка, и пестрые бабочки летают мимо твоего лица…»

— Повернись! Оставь свет! — сдавленно прошипел сальный голос в соседнем номере.

— Чего тебе теперь. А… — женщина визжала от смеха.

«Мы в маленьком крестьянском доме, — шептал Керн. — Уже вечер, и мы выпили кислого молока и съели свежего хлеба. Спускаются сумерки, кругом тишина, мы ждем ночи, мы спокойны и знаем, что любим друг друга».

Рядом послышалась возня, скрипы и вскрики.

«Я положил голову тебе на колени и чувствую твои руки в моих волосах. Ты больше не боишься, и у тебя есть паспорт, и все полицейские отдают нам честь, кругом тишина, мы ждем ночи, мы спокойны и знаем, что любим друг друга — я…»

В коридоре раздались шаги. С другой стороны от их номера, где до сих пор было тихо, загремели ключи.

— Спасибо, — сказал портье. — Большое спасибо.

— Что ты мне подаришь, лапочка? — спросил ленивый голос.

— Денег у меня немного, — сказал мужчина. — Пятьдесят франков. Пойдет?

— Ты спятил. Меньше чем за сотню я и пуговицы не расстегну.

— Послушай, малышка… — голос перешел в горловой клекот.

«У нас каникулы, и мы на берегу моря, — говорил Керн тихо и проникновенно. — Ты выку-

палась и заснула на горячем песке. Море совсем синее, а на горизонте виден белый парус. Кричат чайки, и ветер веет…»

Что-то ударилось об стену. Рут вздрогнула.

— Что это? — спросила она сонно.

— Ничего, ничего! Спи, Рут. Ты со мной, да?

— Я всегда с тобой и люблю тебя.

— Да, люби меня.

Она снова заснула.

«Ты со мной, а я с тобой, и вся эта грязь, через которую нас гонят, не касается нас, — шептал Керн сквозь бесстыдный шум дома свиданий. — Мы одни, мы молоды, мы чисты, Рут, родная моя девочка, мой маленький пони с далеких цветущих полей любви…»

Керн вернулся из бюро помощи беженцам. Как и следовало ожидать, он не узнал там ничего нового. О разрешении на прописку нечего было и думать. О пособии — только в самом крайнем случае. Работа с пропиской или без прописки была, разумеется, запрещена.

Керн не был особенно подавлен. Во всех странах — одно и то же. И однако на свете жили тысячи эмигрантов, которые по всем законам должны были давно умереть с голоду.

Некоторое время он толкался в вестибюле

бюро. В помещении было полно народу. Керн внимательно пригляделся ко всем по очереди. Потом подошел к одному мужчине, который сидел несколько в стороне и производил впечатление спокойного опытного человека.

— Простите, — сказал Керн. — Я хотел бы вас спросить. Вы не могли бы сказать, где можно жить без прописки? Я только со вчерашнего дня в Париже.

— У вас есть деньги? — спросил мужчина, ничуть не удивившись.

— Немного.

— Вы можете платить шесть франков в день за комнату?

— Пока да.

— Тогда идите в отель «Верден» на рю де Тюренн. Скажите хозяйке, что я вас послал. Меня зовут Классман. Доктор Классман, — добавил он с горькой усмешкой.

— И в этом «Вердене» безопасно?

— Нигде не безопасно. Лист для приезжающих заполняют без даты и не отдают в полицию. Если предстоит проверка, то вы только что приехали, а лист должен быть отправлен в полицию на следующий день, понятно? Главное, что вас сразу не схватят. Там есть роскошный подземный ход. Вы

сами увидите. Этот «Верден» — не отель, а Божье благословенье. Господь создал его специально для эмигрантов пятьдесят лет назад. Вы прочли уже вашу газету?

— Да.

— Тогда отдайте ее мне. И мы квиты.

— Пожалуйста. Спасибо большое.

Керн вернулся к Рут, которая ожидала его в кафе на углу. Перед ней лежали план Парижа и французская грамматика.

— Вот, — сказала она. — Купила в книжном магазине, пока ты уходил. Антикварные книги. Очень дешевые. Это то оружие, которым мы завоюем Париж.

— Именно. И мы его немедленно пустим в ход. Давай-ка посмотрим, где находится рю де Тюренн.

Отель «Верден» помещался в старом покосившемся доме, с которого большими кусками отваливалась штукатурка. В него вела маленькая входная дверь, за которой сразу же находилась швейцарская, где сидела хозяйка — худая женщина, одетая в черное.

Керн на ломаном французском языке изложил ей свою просьбу. Хозяйка оглядела их с ног до головы своими блестящими черными птичьими

глазами.

— С пансионом или без? — спросила она коротко.

— А сколько стоит с пансионом?

— Двадцать франков на человека. Питание три раза в день. Завтрак подается в комнату, обед и ужин — в столовой.

— Я думаю, мы возьмем с пансионом на первый день, — обратился Керн к Рут по-немецки. — Потом всегда можно будет отказаться. Главное, что для начала мы устроились.

Рут кивнула.

— Значит, с пансионом, — сказал Керн. — А есть ли разница в цене, если мы возьмем одну комнату?

Хозяйка покачала головой.

— Двойные номера заняты. Вы будете жить в сто сорок первом и сто сорок втором. — Она бросила на стол два ключа. — Платить вперед. Каждый день.

— Хорошо.

Керн заполнил формуляр без даты. Потом он заплатил и взял ключи. Они висели на больших деревянных грушах с выжженными на них номерами.

Их комнаты были рядом. Это были маленькие

однокомнатные каморки с окнами на двор. По сравнению с ними номер в отеле «Гавана» казался просто роскошным дворцом. Керн огляделся.

— Как раз для эмигрантов, — сказал он. — Неутешительно, зато честно. Эти номера и должны быть такими. А, Рут?

— Великолепные номера, — возразила Рут. — Отдельная комната и постель. Ты вспомни Прагу! По трое, по четверо в одной комнате.

— Верно, об этом я совсем забыл. Я думал о квартире Нойманов в Цюрихе.

Рут засмеялась.

— А я — о сарае, где мы промокли.

— Ты думаешь лучше, чем я. А знаешь, почему я так думаю?

— Да, — сказала Рут, — но это глупо, и это обижает меня. Мы купим немного шелковой бумаги и сделаем великолепные абажуры. За этим столом мы будем учить французский и смотреть на кусок неба над крышей. Мы будем спать на этих лучших в мире кроватях, и просыпаться, и стоять у окна, и этот грязный двор будет казаться нам полным романтики, ведь мы в Париже!

— Хорошо, — сказал Керн. — Тогда пойдем сейчас в столовую. Там нам подадут французские блюда. Ведь французская кухня — лучшая

в мире!

Столовая отеля «Верден» располагалась в подвале. Поэтому жильцы называли ее катакомбой. Чтобы попасть туда, нужно было проделать долгий трудный путь — по лестницам, переходам и странным комнатам, которые не проветривались десятилетиями и где воздух был неподвижным, как вода в стоячем пруду. Столовая была довольно вместительным помещением, так как она принадлежала одновременно отелю «Интернациональ», который находился в соседнем здании и принадлежал сестре хозяйки «Вердена».

Эта общая столовая была самым большим достоинством обеих ветхих гостиниц. Для эмигрантов она значила то же, что катакомбы Древнего Рима для первых христиан.

Если происходила облава в отеле «Интернациональ», то через столовую все переходили в отель «Верден» и наоборот. Общий подвал был спасением.

Некоторое время Керн и Рут нерешительно стояли в дверях. Был полдень, но так как в столовой не было окон, то горели электрические лампы. Электрический свет в этот час произвел странно тяжелое, почти болезненное впечатление — словно кто-то забыл здесь кусок вчерашнего вечера.

— Смотри, здесь Мариль! — сказал Керн.

— Где?

— Там, около лампы! Вот это да! Сразу нашлись знакомые!

Теперь и Мариль увидел их. Не веря своим глазам, он схватил очки. Потом встал, подошел к ним, пожал руки.

— Дети, вы в Париже! Возможно ли? А как вы открыли старый «Верден»?

— Нам сказал доктор Классман!

— Ах, Классман! Тогда все правильно. Этот «Верден» — просто чудо. Вы взяли пансион?

— Да, но только на один день.

— Хорошо. Откажитесь от него завтра. Платите только за комнату, а остальное покупайте сами. Много дешевле! Время от времени питайтесь здесь, чтобы не злить хозяйку. Вы правильно сделали, что уехали из Вены. Там сейчас очень опасно!

— А как здесь?

— Здесь? Мой мальчик, Австрия, Чехословакия, Швейцария — для эмигрантов это была маневренная война. Париж — это позиционная война. Передовая линия окопов. Каждая новая волна эмигрантов достигала Парижа. Видите того пышноволосого брюнета? Итальянец. А того

с бородой? Русский. Дальше, через два стола? Испанец. Еще через два стола — поляк и двое армян. Рядом четверо немцев. Париж — последняя надежда и последний шанс для всех. — Он посмотрел на часы. — Идемте, дети! Скоро два. Если хотите есть, сейчас самое время. Французы очень пунктуальны, когда дело идет о еде. После двух вам ничего не достанете.

Они сели за стол Мариля.

— Если будете здесь питаться, то рекомендую вам эту полную официантку. Ее зовут Ивонна, она из Эльзаса. Не знаю, как это у нее выходит, — но в ее тарелках всегда больше, чем в других.

Ивонна поставила суп на стол и ухмыльнулась.

— А деньги у вас есть? — спросил Мариль.

— Приблизительно на две недели, — ответил Керн.

Мариль кивнул.

— Это хорошо. Вы думали, что будете делать?

— Нет. Мы только вчера приехали. А чем здесь живут?

— Вопрос по существу. Начнем с меня. Я живу на те статьи, что пишу для разных эмигрантских газет. Их раскупают, потому что я когда-то был депутатом рейхстага. У русских — паспорта

Нансена и разрешение на работу. Это была первая волна эмигрантов. Двадцать лет назад. Они теперь кельнеры, повара, массажисты, портье, сапожники, шоферы и тому подобное. Итальянцы тоже в основном устроились; это была вторая волна. Дальше идем мы, немцы. Кое-кто имеет паспорта, очень немногие — разрешение на работу. У некоторых есть деньги, они их тратят очень осторожно. Большинство же ничего не имеет. Работают нелегально, чтобы прокормиться. Продают последнее. Вон тот адвокат живет на переводы, берет переписку на машинке. Молодой человек рядом с ним водит денежных немцев в ночные клубы, получает с этого проценты. Актриса, что сидит напротив, занимается хиромантией и астрологией. Некоторые преподают язык. Некоторые гимнастику. Кое-кто ходит по утрам на рынок таскать корзины. Кое-кто получает пособия в комитете по делам беженцев. Некоторые торгуют, некоторые нищенствуют — а некоторые просто исчезают в один прекрасный день. Вы уже были в комитете?

— Я был, — сказал Керн. — Сегодня утром.

— Ничего не получили?

— Нет.

— Не важно. Надо еще сходить. Пусть Рут схо-

дит в еврейский, а вы в смешанный; я хожу в арийский. — Мариль рассмеялся. — И у нужды есть своя бюрократия. Вас занесли в списки?

— Нет еще.

— Добейтесь этого завтра. Классман вам поможет. Он эксперт в этих делах. Может быть, он даже достанет для Рут разрешение на работу. У нее же есть паспорт.

— У нее есть паспорт, — сказал Керн. — Но он просрочен, и ей пришлось нелегально переходить границу.

— Не важно. Паспорт есть паспорт. Ему цены нет. Классман вам объяснит.

Ивонна принесла картофель и блюдо, на котором лежали три куска телятины. Керн улыбнулся ей. В ответ она широко ухмыльнулась.

— Видите! — сказал Мариль. — Что значит Ивонна! В обычной порции — один кусок мяса. Она принесла еще сверх нормы.

— Большое спасибо, Ивонна, — сказала Рут. — Ивонна ухмыльнулась еще шире и выплыла из столовой.

— Боже правый! — сказал Керн. — Разрешение на работу для Рут. Кажется, ей на это везет. В Швейцарии она уже получала его. Пусть всего на три дня.

— Вы бросили химию, Рут? — спросил Мариль.

— Да. Да и нет. Пока да.

Мариль кивнул.

— Правильно сделали. — Он показал на юношу, сидевшего у окна с книгой в руках. — Этот мальчик два года работал судомойкой в ночном клубе. В Германии он был студентом. Две недели назад он стал французским доктором. Тогда ему стало известно, что здесь нельзя найти места, но есть шансы устроиться в Капштадте. Теперь он изучает английский, чтобы стать английским доктором и уехать в Южную Африку. Такие вещи здесь тоже случаются. Вас это утешает?

— Да.

— И вас, Керн?

— Меня все утешает. А как здесь полиция?

— Довольно терпимо. Надо быть осторожным, но все же полиция здесь не так лютует, как в Швейцарии.

— Это меня утешает! — сказал Керн.

На следующий день утром Керн вместе с Классманом отправился в комитет помощи беженцам, где его занесли в списки. Оттуда они пошли в префектуру.

— Нет никакого смысла вставать на учет, — сказал Классман. — Они вас просто вышлют. Но

полезно знать, как обстоят дела. Это не опасно. Полицейские участки, так же как церкви и музеи, самые безопасные для эмигрантов места.

— Это верно! — ответил Керн. — Правда, о музеях я еще не подумал.

Префектура размещалась в нескольких массивных корпусах в глубине большого двора. Через многочисленные арки и двери Классман провел Керна в большой зал, похожий на вокзальный зал ожидания. Вдоль стен шел ряд окошек, за которыми сидели чиновники. В центре стояло несколько скамей без спинок. Несколько сотен людей сидели и стояли в длинных очередях к окошкам.

— Это зал для избранных, — сказал Классман. — Это почти рай. Люди, которых вы видите, имеют разрешение на работу, которое они хотят продлить.

Керн ощутил гнетущую озабоченность и серьезность этого помещения.

— Это и есть рай? — спросил он.

— Да. Смотрите!

Классман показал на женщину, которая отошла от ближайшего к ним окошка. С выражением безумного восторга она смотрела на документ с печатью, который возвратила ей служащая. По-

том она подбежала к группе ожидающих людей.

— Четыре недели! — крикнула она сдавленно.

— Четыре недели — это сейчас почти целая жизнь, а?

Керн кивнул.

Перед окном стоял теперь старик.

— Но что же мне делать? — спрашивал он растерянно.

Чиновник быстро ответил что-то по-французски. Керн не понял. Старик прислушался.

— Да, но что же мне делать? — спросил он во второй раз.

Чиновник повторил свое объяснение.

— Следующий, — и он взял бумаги, которые через голову старика протянули ему из очереди.

Старик повернул голову.

— Но я еще не закончил! — сказал он. — Я же не знаю, что мне делать. Куда мне идти? — спросил он чиновника.

Чиновник сказал что-то и занялся бумагами следующего. Старик уцепился за планку, как утопающий за соломинку.

— Что же мне делать, если вы не продлите моего разрешения? — спросил он.

Чиновник больше не обращал на него внимания. Старик повернулся к людям позади него.

— Но что же мне теперь делать?

Перед ним была стена окаменевших, озабоченных, затравленных лиц. Никто не ответил; но никто и не оттолкнул его. Осторожно, стараясь не задеть старика, люди протягивали бумаги в окно через его голову.

Он снова повернулся к чиновнику.

— Кто-то должен же мне сказать, что делать! — тихо повторял он снова и снова. Теперь он только шептал это, пригибаясь под руками, которые как волны двигались к окну над его головой. В его глазах застыл ужас, руки с набухшими запутанными жилами все еще цеплялись за планку перед окном. Потом он замолчал. И вдруг, словно у него кончились силы, он отпустил руки и отошел от окошка. Большие, бесполезные руки болтались на его теле как привязанные, словно их случайно подвесили к плечам, и казалось, что он вдруг ослеп. Он еще не ушел из зала, когда Керн увидел еще одни глаза, с таким же ужасом устремленные в пустоту. Потом перед окном замелькали другие лица, и снова этот ужасный, безнадежный тупой взгляд, устремленный внутрь, как будто нигде больше не было спасения.

— Это и есть рай? — сказал Керн.

— Да, — ответил Классман. — Здесь уже рай.

Многие уходят ни с чем; но многим и продлевают документы.

Они прошли через несколько коридоров и попали в помещение, похожее уже не на вокзал, а на зал ожидания четвертого класса. Он был битком набит. Скамей давно уже не хватало, царило настоящее вавилонское столпотворение. Люди стояли и сидели на полу. Керн обратил внимание на крупную темноволосую женщину, которая сидела в углу, прямо на полу, как большая наседка на яйцах. У нее было неподвижное лицо с правильными чертами. Черные волосы были расчесаны на пробор и заплетены в косу. Вокруг нее играли несколько ребятишек. Самого маленького она держала у обнаженной груди. Она сидела невозмутимо посреди этого шума, странно величественная, словно здоровое животное, и видела только своих детей, которые играли у ее колен, как у подножия памятника.

Около нее стояла группа евреев с редкими седыми бородами, в черных сюртуках, с пейсами. Они стояли и ждали с выражением такой непоколебимой покорности, словно они ждали уже сотни лет и знают, что должны ждать еще столько же. На скамье у стены сидела беременная женщина. Около нее — мужчина, который все время нервно

потирал руки. Рядом седоволосый старик тихо убеждал в чем-то плачущую женщину. У другой стены прыщавый молодой человек с сигаретой во рту украдкой, как вор, оглядывал красивую элегантную женщину, которая сидела напротив и то снимала, то надевала перчатки. Какой-то горбун делал заметки в блокноте. Несколько румын, пыхтевших, как паровозы. Мужчина, который рассматривал фотографии, прятал их в карман, сразу же вынимал опять, снова рассматривал, снова прятал. Толстая женщина, которая читала итальянскую газету. Молодая девушка, сидевшая совершенно безучастно, целиком погруженная в свою печаль.

— А это люди, которые добились прописки, — сказал Классман. — Или же хотят ее добиться.

— Какие документы нужно для этого иметь?

— У большинства есть паспорта, действительные или уже просроченные. Или они приехали легально с визой.

— Значит, это еще не самое худшее?

— Нет, — сказал Классман.

Керн видел, что среди чиновников были и девушки. Они были хороши собой и одеты с известной претензией: на многих — белые блузки и нарукавники из черного сатина. Ему вдруг

показалось странным, что людям за окошками было важно предохранить рукава своих блуз от небольшого загрязнения, в то время как перед ними теснились другие люди, вся жизнь которых тонула в грязи.

— За последние несколько недель здесь в префектуре стало много хуже, — сказал Классман. — Всегда, когда что-то происходит в Германии, соседние страны начинают нервничать, а эмигранты раньше всех ощущают это на своей шкуре. Они — козлы отпущения.

Керн заметил у окошка мужчину с тонким одухотворенным лицом. Кажется, его бумаги были в порядке; девушка в окошке взяла их, спросила что-то и начала писать. Но Керн увидел, как мужчина, ожидавший у окошка, вдруг вспотел. В большом помещении было холодно, на мужчине был только легкий костюм; но пот проступал через все его поры, лицо стало влажным и заблестело, светлые капли поползли по лбу и щекам. Он стоял неподвижно, опершись руками на планку перед окном, в любезной, даже в услужливой позе, готовый дать ответ на любой вопрос, — и его желание исполнялось, — и все же он весь исходил смертным потом, словно его поджаривали на невидимом вертеле бессердечия.

Если б он кричал, жаловался, умолял, это было бы не так жутко. Но то, как он стоял, вежливый, светский, владеющий собой, и только его поры не подчинялись его воле, — производило такое впечатление, словно человек утопал в самом себе. Это была мука живой твари, которая, казалось, просачивалась сквозь все плотины, созданные цивилизацией.

Девушка отдала мужчине его бумаги, сопроводив их любезной фразой. Он поблагодарил ее на безупречном мягком французском языке и быстро отошел от окошка. Только у выхода он развернул бумаги, чтобы посмотреть, что там было написано. Он увидел только голубоватую печать и несколько дат, но ему вдруг показалось, что наступил май и в мрачном зале оглушительно запели соловьи свободы.

— Пошли? — спросил Керн.

— Вы насмотрелись?

— Да.

Они направились к выходу. Но их задержала группа жалких евреев, которые окружили их, как стая растрепанных голодных галок.

— Пожалста — помогай, — старший вышел вперед, пытаясь объясниться и делая широкие, какие-то словно падающие, униженные же-

сты. — Мы не говорить французский — помогай — пожалста — человек — человек.

— Человек — человек, — хором загалдели остальные и замахали своими широкими рукавами. — Человек — человек…

Казалось, это было единственное немецкое слово, которое они знали, потому что они повторяли его беспрерывно и при этом показывали желтоватыми, исхудавшими руками на себя, на свои лбы, свои глаза, свои сердца, продолжая мягко, настойчиво, почти вкрадчиво скандировать: «Человек — человек» — и только старший добавил:

— Тоже — человек. — Он знал еще несколько немецких слов.

— Вы говорите на идиш? — спросил Классман.

— Нет, — ответил Керн. — Ни слова.

— Это евреи, которые говорят только на идиш. Они сидят здесь день за днем и не могут объясниться. Они ищут кого-нибудь, кто помог бы им переводить.

— Идиш, идиш! — старик быстро закивал головой.

— Человек — человек, — жужжал нестройный хор возбужденных людей с выразительными лицами.

— Помогай — помогай. — Старший указал на

окошки. — Не умей — говорить — только — человек.

Классман сделал жест сожаления.

— Я не говорю на идиш.

Галки окружили Керна.

— Идиш? Идиш? Человек…

Керн покачал головой. Трепыхание прекратилось. Движение замерло. Старик спросил еще раз, наклонив голову, оцепенев:

— Нет?

Керн снова покачал головой.

— А-а…

Старый еврей поднял руки до высоты груди, концы пальцев соприкоснулись, и ладони образовали маленькую крышу над сердцем. Он стоял, слегка наклонившись вперед, словно прислушиваясь к зову откуда-то издалека. Потом он наклонился и медленно опустил руки.

Керн и Классман вышли из зала. Дойдя до переднего коридора, они услышали доносившуюся сверху громкую музыку. Это был бравурный марш с ликующим барабанным боем и резкими выкриками фанфар.

— Что это? — спросил Керн.

— Радио. Наверху полицейские казармы. Воскресный концерт.

Музыка неслась вниз по лестнице, как сверкающий ручей; она скапливалась в коридоре и разливалась водопадом через широкие входные двери. Она искрилась, захлестывая маленькую бесцветную одинокую фигуру, сгорбившуюся в темноте на нижней ступени лестницы, этот неподвижный черный комок, маленькое возвышение с неспокойными недоуменными глазами. Это был тот старик, что с таким трудом отошел от окошка. Бессильный и жалкий, он сидел в углу, втянув плечи, подняв колени, словно уже не мог встать, а над ним искрилась и ликовала музыка, пестрые, энергичные праздничные каскады, беспощадные и бесконечные, как сама жизнь.

— Пойдемте, — сказал Классман, когда они вышли. — Выпьем кофе.

Они сели за выносной столик перед маленьким бистро. Керну стало легче, когда он выпил горького черного кофе.

— Где же последняя остановка? — спросил он.

— Последняя остановка там, где умирают с голоду в одиночестве, — ответил Классман. — Тюрьмы. Станции метро по ночам. Мосты через Сену.

Керн смотрел на нескончаемый людской поток, который двигался перед столиками бистро. Про-

ходившая мимо девушка с шляпной картонкой в руках улыбнулась ему. На ходу она еще раз обернулась и бросила ему через плечо быстрый взгляд.

— Сколько вам лет? — спросил Классман.

— Двадцать один. Скоро двадцать два.

— Так я и думал. — Классман помешал кофе. — Мой сын вам ровесник.

— Он здесь?

— Нет, — сказал Классман, — он в Германии.

Керн поднял глаза.

— Это плохо, я знаю.

— Не для него.

— Тем лучше.

— Для него было бы хуже оказаться здесь, — сказал Классман.

— Да? — Керн посмотрел на него несколько удивленно.

— Да. Я бы избил его до смерти.

— Что?

— Он донес на меня. Из-за него я должен был уехать.

— О черт! — сказал Керн.

— Я католик, верующий католик. А мальчишка уже несколько лет состоял в этой молодежной организации при партии. Это называется «старая

гвардия». Вы, конечно, понимаете, что мне это не нравилось, и я время от времени говорил ему об этом. Парень становился все строптивее. Однажды он заявил мне, ну прямо как унтер-офицер какому-нибудь новобранцу, чтобы я заткнулся, а то мне будет хуже. Угрожал, понимаете ли. Я дал ему пощечину. Он в бешенстве бросился прочь и донес на меня в полицию. Слово в слово передал всю мою брань в адрес партии для занесения в протокол. К счастью, у меня там был знакомый, который предупредил меня по телефону. Мне пришлось немедленно бежать. Через час за мной пришла рота — и во главе был мой сын.

— Здесь не до шуток, — сказал Керн.

Классман кивнул.

— Ему тоже будет не до шуток, если я когда-нибудь вернусь.

— Может быть, к тому времени у него самого будет сын, который донесет на него коммунистам.

Классман посмотрел на Керна удивленно.

— Вы думаете, это так долго продлится?

— Я не знаю. Я не могу себе представить, что когда-нибудь вернусь обратно.

Штайнер прикрепил значок члена национал-социалистической партии к левому лацкану пиджака с внутренней стороны.

— Великолепно, Беер! — сказал он. — Где вы это достали?

Доктор Беер ухмыльнулся:

— От одного пациента. Автомобильная катастрофа недалеко от Муртена. Я наложил ему шину. Сначала он был осторожен и говорил, что в Германии все прекрасно; потом мы распили с ним пару бутылок коньяку, и он начал бранить всю эту лавочку на чем свет стоит и оставил мне на память свой партийный значок. К сожалению, ему пришлось вернуться в Германию.

— Благослови его Бог! — Штайнер взял со стола синюю папку для бумаг и открыл ее. Там лежали бланк со свастикой и несколько пропагандистских листовок. — Я думаю, этого довольно. На это он обязательно клюнет.

Бланк и листовки он получил от Беера, которому они были по каким-то загадочным причинам присланы из Штутгарта много лет назад. Штайнер принял решение и объявил Аммерсу войну. Беер рассказал ему, что случилось с Керном.

— Когда вы уезжаете? — спросил Беер.

— В одиннадцать. До этого я еще занесу вам значок.

— Хорошо. Буду ждать вас с бутылкой «фандана».

Штайнер отправился. Он позвонил у входной двери.

Открыла горничная.

— Я хотел бы видеть господина Аммерса, — сказал он коротко. — Моя фамилия Губер.

Горничная исчезла, потом вернулась.

— По какому делу?

«Ага, — подумал Штайнер, — это заслуга Керна». Он знал, что Керна ни о чем не спрашивали.

— Партийное поручение, — пояснил он кратко.

На этот раз появился сам Аммерс. Он с любопытством уставился на Штайнера. Тот небрежно протянул ему руку.

— Вы — Аммерс?

— Да.

Штайнер отвернул лацкан пиджака и показал свой значок.

— Губер, — заявил он. — Я по партийному делу. Мне надо вас кое о чем спросить.

Аммерс тоже встал по стойке «смирно» и поклонился.

— Пожалуйста, входите, господин… господин…

— Губер. Просто Губер. Вы знаете — уши врага повсюду. Враг не дремлет. Враги повсюду.

— Я знаю! Большая честь для меня, господин Губер.

Штайнер рассчитал верно. Аммерсу и в голову не пришло заподозрить его. Послушание и страх перед гестапо слишком глубоко засели в нем. И даже если бы он что-то заподозрил, в Швейцарии он был бессилен против Штайнера. У Штайнера был австрийский паспорт на имя Губера. Насколько он был связан с немецкой организацией, никто не мог установить точно. Даже немецкое посольство, которое было информировано далеко не обо всех тайных пропагандистских мероприятиях.

Аммерс провел Штайнера в гостиную.

— Садитесь, Аммерс, — сказал Штайнер и сел сам в кресло Аммерса.

Он полистал в папке.

— Вам известно, Аммерс, что в работе за границей мы придерживаемся одного основного принципа: абсолютная тайна.

Аммерс кивнул.

— Этого мы ожидали и от вас. Бесшумной работы. И вот нам стало известно, что из-за какого-то эмигранта вы поднимаете ненужный шум!

Аммерс подскочил на своем стуле.

— Этот негодяй! Он довел меня до болезни, сделал посмешищем, этот мерзавец…

— Посмешищем? — прервал его резко Штай-

нер. — Публично? Аммерс!

— Не публично, не публично! — Аммерс видел, что совершил ошибку. Он почти заговаривался от возбуждения. — Я хотел сказать, только перед самим собой!

Штайнер просверлил его взглядом.

— Аммерс, — сказал он медленно, — настоящий национал-социалист не бывает посмешищем даже перед самим собой! Что с вами? Неужели демократические бредни проникли в ваше сознание? Посмешище — для нас вообще не существует такого слова! Другие могут быть посмешищем, только не мы, понятно?

— Да, конечно, конечно! — Аммерс провел рукой по лбу. Он уже видел себя в концлагере, куда его посадят, чтобы очистить его сознание. — Это был единственный случай! Я всегда тверд как сталь. Моя верность непоколебима.

Некоторое время Штайнер не прерывал его. Потом резко оборвал на слове:

— Хорошо, Аммерс. Я надеюсь, это больше не повторится. Не беспокойтесь об эмигрантах. Мы рады, что отделались от них.

Аммерс торопливо закивал. Он встал и принес хрустальный графин и две серебряные, позолоченные изнутри, мизерные рюмки на высоких

ножках. Штайнер брезгливо наблюдал за этими приготовлениями.

— Что это? — спросил он.

— Коньяк. Я думал, что, может быть, вы хотите немного освежиться…

— Так сервируют коньяк, когда он никуда не годится, Аммерс, — сказал Штайнер несколько снисходительно. — Или для членов общества девственников. Принесите мне простой, не слишком маленький стакан.

— С удовольствием, — Аммерс был в восторге, ему казалось, что лед сломлен.

Штайнер выпил. Коньяк был неплох. Но это не было заслугой Аммерса. В Швейцарии не было плохого коньяка.

Штайнер вынул из кожаной папки синий бланк, взятый у Беера.

— Да, вот еще что, Аммерс. Строго секретно. Вы знаете, что наша пропаганда в Швейцарии все еще не на высоте?

— Да, — подтвердил с готовностью Аммерс. — Я всегда так считал.

— Хорошо, — Штайнер фамильярно подмигнул. — Это должно измениться. Проводится тайная подписка. — Он заглянул в свой бланк. — Мы уже собрали крупные вклады. Но и небольшие

пожертвования придутся очень кстати. Этот очаровательный дом — ваша собственность, не так ли?

— Да. Хотя он дважды заложен. Практически он принадлежит банку, — объяснил Аммерс торопливо.

— Заклады для того и существуют, чтобы меньше платить налогов. Член партии, который имеет дом, не какой-нибудь ветрогон. Он и должен держать деньги в банке. На какую сумму вас подписать?

Аммерс колебался.

— Сейчас самый подходящий момент для вас, — сказал Штайнер ободряюще. — Конечно, список фамилий мы пошлем в Берлин. Я думаю, мы подпишем вас на пятьдесят франков.

Аммерс облегченно кивнул. Он рассчитывал минимум на сто франков. Он знал ненасытную жадность партии.

— Разумеется, — быстро согласился он. — Или даже на шестьдесят, — прибавил он.

— Хорошо, значит, шестьдесят. — Штайнер записал. — У вас есть еще имена кроме Хайнца?

— Хайнц, Карл, Госвин — Госвин через одно «с».

— Госвин — редкое имя.

— Да, но чисто немецкое. Старонемецкое. Король Госвин упоминается еще со времен великого переселения народов.

— Верю.

Аммерс положил на стол пятидесятифранковую и десятифранковую банкноты. Штайнер спрятал деньги.

— Расписка исключена, — сказал он. — Вы понимаете почему?

— Разумеется! Секретность! Здесь, в Швейцарии! — Аммерс хитро подмигнул.

— И никакого больше шума, Аммерс! Тайна — половина успеха. Помните об этом!

— Конечно! Я понимаю! Это был лишь несчастный случай.

Запутанными улицами Штайнер возвращался к доктору Бееру. Он ухмылялся. Рак печени! Ах уж этот Керн! Какие у него будут глаза, когда он получит шестьдесят франков после этой карательной экспедиции!

XVII

В дверь постучали. Рут прислушалась. Она была одна. Керн с утра ушел искать работу. Мгновение она колебалась. Потом тихо встала, перешла в

комнату Керна и закрыла за собой проходную дверь. Комнаты располагались под углом. Это было удобно на случай облавы. Из каждой комнаты можно было попасть в коридор, оставаясь при этом невидимым для того, кто стоял у другой двери.

Рут бесшумно закрыла за собой дверь, которая вела в коридор из комнаты Керна, и завернула за угол.

Перед ее дверью стоял человек лет сорока. Рут видела его раньше. Он жил в отеле, его звали Брозе. Семь месяцев его больная жена не вставала с постели. Оба жили на маленькое пособие комитета помощи беженцам и на те гроши, которые у них еще оставались. Это не было тайной. В отеле «Верден» все знали обо всех почти все.

— Вы ко мне? — спросила Рут.

— Да. У меня к вам просьба. Вы фрейлейн Голланд, не так ли?

— Да.

— Меня зовут Брозе, я живу этажом ниже, — сказал человек смущенно. — Моя жена лежит больная, а я должен уйти искать работу. Я хотел вас спросить, может быть, у вас есть немного времени… — У Брозе было худое, измученное лицо. Рут знала, что в отеле все убегали от него, как

только он появлялся. Он постоянно искал общества для своей жены. — Она очень давно лежит одна, а вы же знаете, как это тяжело — человек легко теряет надежду. Бывают дни… когда ей особенно грустно. Но когда она не одна — ей сразу легче. Я подумал, может быть, вы как-нибудь побеседуете с ней. Моя жена — умная женщина…

Рут как раз училась вязать свитер из легкой кашемировой шерсти; ей сказали, что русский магазин на Елисейских Полях покупает такие вещи, а потом продает втридорога. Она хотела уже отказаться, но эта беспомощная похвала: «Моя жена умная женщина» — решила дело. Ей почему-то стало стыдно.

— Подождите минуточку, — сказала она. — Я возьму кое-какие вещи и пойду с вами.

Она забрала шерсть и образец и спустилась с Брозе вниз. Женщина лежала в маленькой комнате на первом этаже, с окнами на улицу. Лицо Брозе изменилось, как только он вошел в комнату вместе с Рут. Он напряженно улыбался.

— Люси, это фрейлейн Голланд, — сказал он торопливо. — Она хочет побыть с тобой.

Два черных глаза на восковом лице недоверчиво взглянули на Рут.

— Ну, я ухожу, — быстро сказал Брозе. — Я

приду вечером. Сегодня обязательно что-нибудь найдется. До свидания.

Он улыбнулся, помахал рукой и закрыл за собой дверь.

— Он вас привел, не правда ли? — спросила бледная женщина после продолжительного молчания.

Сначала Рут хотела солгать, но потом кивнула головой.

— Так я и думала. Спасибо, что вы пришли. Но я могу прекрасно оставаться и одна. Простите, что вас отвлекли от работы. Я могу немного поспать.

— Я не занята, — сказала Рут. — Я как раз учусь вязать. Это можно и здесь. Я взяла с собой вязанье.

— Есть более приятные вещи, чем сидеть с больной, — устало произнесла женщина.

— Конечно. Но это лучше, чем сидеть одной.

— Все это говорят для утешения, — пробормотала женщина. — Я знаю, всегда хотят утешить больную. Скажите прямо, что вам неприятно сидеть с незнакомой, больной, раздражительной женщиной и что вы это делаете только потому, что мой муж уговорил вас.

— Это верно, — ответила Рут. — И я не стараюсь вас утешать. Но я рада, что могу с кем-то пого-

ворить.

— Но вы можете пойти куда-нибудь.

— Я не люблю выходить.

Рут подняла глаза, потому что ответа не последовало. Она увидела, что больная совершенно потеряла самообладание. Она оперлась на локти, не отрываясь смотрела на Рут, и вдруг слезы градом полились у нее из глаз. На секунду ее лицо словно было затоплено слезами.

— Господи, — всхлипывала женщина, — вы это так просто говорите… а я… если бы я хоть раз могла выйти на улицу…

Она откинулась на подушки. Рут встала. Она увидела, как вздрагивают эти серые плечи, она увидела жалкую постель в пыльном послеполуденном свете, а позади — солнечную холодную улицу, дома с маленькими железными балконами и над крышами огромную светящуюся раскаленную бутылку — рекламу аперитива «Дюбонне», которая бессмысленно светилась еще днем, и на мгновение все это показалось ей очень далеким, словно на другой планете.

Женщина перестала плакать. Она медленно приподнялась.

— Вы еще здесь? — спросила она.

— Да.

— Я истерична и нервозна. У меня бывают такие дни. Пожалуйста, не сердитесь.

— Нет. Я просто не подумала, вот и все. — Рут снова села на кровать. Она положила перед собой узор свитера и начала его копировать. Она не смотрела на больную. Она не хотела больше видеть ее растерянное лицо. Ее собственное здоровье казалось ей наглостью.

— Вы неправильно держите спицы, — сказала женщина через некоторое время. — Так вы работаете очень медленно. Это нужно делать иначе. — Она взяла спицы и показала Рут, как надо их держать. Потом взяла у Рут связанный кусок. — Здесь не хватает одной петли, — объяснила она. — Это надо начать снова. Смотрите. — Рут взглянула на нее. Больная улыбнулась. Ее лицо было теперь сосредоточенным и совершенно поглощенным работой. От только что прошедшей вспышки не осталось и следа. Бледные руки работали легко и быстро. — Так, — сказала она увлеченно, — а теперь попробуйте вы.

Брозе вернулся вечером. В комнате было темно. За окном на фоне зеленого, как яблоко, вечернего неба светилась огромная красная бутылка «Дюбонне».

— Люси? — спросил он в темноту.

Женщина на постели повернулась, и Брозе увидел теперь ее лицо. От света рекламы оно казалось слегка порозовевшим — словно произошло чудо и она вдруг выздоровела.

— Ты спала? — спросил он.

— Нет. Я просто лежу.

— Фрейлейн Голланд давно ушла?

— Нет. Несколько минут назад.

— Люси. — Он осторожно сел на край постели.

— Любимый мой. — Она погладила его руку. — Ты что-нибудь нашел?

— Еще нет, но найду обязательно.

Женщина некоторое время лежала молча.

— Я такое бремя для тебя, Отто, — сказала она.

— Как ты можешь так говорить, Люси! Что бы я делал без тебя?

— Ты был бы свободен. Ты мог бы делать что захочешь. Ты мог бы вернуться в Германию и работать.

— Да?

— Да, — сказала она, — разведись со мной. Там это высоко оценят.

— Ариец, который одумался, вспомнил о своей чистой крови и развелся с еврейкой, а? — спросил Брозе.

— Кажется, они это так называют. Ведь они

больше ничего против тебя не имеют, Отто.

— Нет, но я имею кое-что против них.

Брозе оперся головой о спинку кровати. Он вспоминал о том, как его шеф пришел к нему в чертежное бюро и долго говорил вокруг да около о тяжелых временах, о его, Брозе, прилежании и как жалко, что он должен его уволить только потому, что его жена — еврейка. Он взял шляпу и ушел. Через восемь дней консьерж его дома, который был одновременно дворником и шпионом, назвал жену Брозе еврейской свиньей, и Брозе в кровь разбил ему физиономию.

Это чуть было не кончилось плохо. На счастье, его адвокат смог уличить консьержа в том, что тот за пивом высказывал антигосударственные мысли; после этого консьерж исчез из дому. Но жена Брозе больше не решалась появиться на улице: она не хотела, чтобы ее оскорбляли школьники в формах гитлерюгенда. Брозе не мог больше устроиться на работу. Тогда они уехали в Париж. В пути жена заболела.

Небо за окном, зеленое, как яблоко, померкло. Стало пыльно и темно.

— Тебе было больно, Люси? — спросил Брозе.

— Не очень. Я только ужасно устала. Как-то внутренне.

Брозе погладил ее волосы. Они отливали медью под светом рекламы «Дюбонне».

— Ты скоро снова сможешь встать.

Женщина медленно повернула голову под его рукой.

— Как это может быть, Отто? У меня никогда такого не было. И это длится уже месяцы.

— Мало ли что. Ничего страшного. У женщин часто что-нибудь бывает.

— Я думаю, я больше никогда не выздоровлю, — вдруг безутешно сказала женщина.

— Ты обязательно выздоровеешь. И очень скоро. Ты только не должна падать духом.

За окном надвигалась на крыши ночь. Брозе сидел тихо, все еще опираясь головой о спинку кровати. Его озабоченное и замученное лицо вдруг стало ясным и спокойным в неверном свете заката.

— Если бы я не была таким бременем для тебя, Отто.

— Я люблю тебя, Люси, — сказал Брозе тихо, не изменив позы.

— Нельзя любить больную жену.

— Больную жену любишь вдвойне. Она сразу и жена и ребенок.

— В том-то и дело! — Голос женщины стал тон-

ким и детским. — Я даже этого не могу! Я даже не жена тебе. Я только обременяю тебя и больше ничего.

— У меня есть твои волосы, — сказал Брозе, — твои чудные волосы! — Он наклонился и поцеловал ее волосы. — У меня есть твои глаза. — Он поцеловал ее глаза. — Твои руки. — Он поцеловал ее руки. — И у меня есть ты. Твоя любовь. Или ты больше не любишь меня? — Его лицо прижалось к ее лицу. — Ты больше не любишь меня? — спрашивал он.

— Отто, — слабо пробормотала она и просунула руку между ним и своей грудью.

— Ты больше не любишь меня? — спрашивал он тихо. — Скажи! Я понимаю, что можно разлюбить мужа, который не умеет заработать на жизнь. Скажи прямо, любимая моя, единственная, — повторял он, всматриваясь в осунувшееся лицо.

Ее слезы вдруг стали легкими, а голос мягким и молодым.

— Ты правда еще любишь меня, Отто? — спросила она с улыбкой, которая разрывала ему сердце.

— Я должен повторять тебе это каждый вечер? Я люблю тебя так, что ревную даже к постели, на которой ты лежишь. Ты вся во мне, в моем

сердце, в моей крови. — Он улыбнулся так, чтобы она видела, и наклонился над ней. Он любил ее, она была все, что он имел, — и все-таки, целуя ее, он испытывал необъяснимое отвращение. Он ненавидел себя за это — он знал, чем она больна, и его здоровое тело было просто сильнее его. Но теперь в милосердном теплом отсвете рекламы аперитива вечер казался ему таким, как много лет назад — по ту сторону мрачной власти болезни, — мягким отрадным отблеском, как этот красный свет, отраженный от крыш.

— Люси, — шептал он.

Она прикоснулась влажными губами к его рту. Так она лежала несколько мгновений, позабыв о своем измученном теле, в котором таинственно и бесшумно размножались раковые клетки, медленно разрушая матку и яичники, как разрушаются гаснущие угли, превращаясь в серый бесформенный пепел.

Керн и Рут медленно брели по Елисейским Полям. Сияли витрины, сверкали световые рекламы, в кафе было полно посетителей, и темная, как ворота в небо, Триумфальная арка выделялась на ясном, даже ночью еще серебряном фоне парижского воздуха.

— Взгляни-ка направо! — сказал Керн. — Вон

Вазер и Розенфельд.

Перед огромными витринами «Дженерал моторс» стояли двое молодых людей. Одеты они были скверно. Их костюмы обтрепались, и оба были без пальто. Они так возбужденно спорили, что долгое время не замечали стоящих рядом Керна и Рут. Оба были постояльцами отеля «Верден». Вазер был техником и коммунистом; Розенфельд — сыном банкира из Франкфурта, семья которого жила на третьем этаже. Оба были помешаны на автомобилях. Обоим было почти не на что жить.

— Розенфельд! — заклинал Вазер. — Да опомнитесь же хоть на минуту. «Кадиллак» хорош для стариков, я согласен! Но на кой черт вам шестнадцатицилиндровый? Он жрет бензин, как корова — воду, а скорость — та же.

Розенфельд покачал головой. Он как зачарованный не сводил глаз с ярко освещенной витрины, где медленно вращался на укрепленном в полу круглом постаменте огромный черный «Кадиллак».

— Ну и пусть он жрет бензин! — яростно доказывал он. — Хоть бочками. Не в этом дело! Вы только посмотрите, какая это фантастически удобная тачка! Надежная и прочная, как танк!

— Розенфельд, ваши аргументы хороши для

страховой конторы, а не для автомобиля! — Вазер указал на соседнюю витрину фирмы «Лансиа».

— Поглядите-ка на это. Вот где стиль и класс! Всего четыре цилиндра, нервная, низкая бестия, но сущая пантера на ходу! На ней, если хотите, можно въехать хоть на вертикальную стенку!

— Я не хочу на вертикальную! Я хочу на коктейль в отель «Ритц»! — невозмутимо возразил Розенфельд.

Вазер пренебрег возражением.

— Вы взгляните, какое изящество! — бредил он. — Так и стелется по земле! Стрела, молния! По мне, так и восемь цилиндров уже перебор. О такой скорости только мечтать!

Розенфельд разразился сардоническим хохотом.

— Да как вы усядетесь в этот детский гроб? Вазер, это автомобиль для лилипутов. Представьте: с вами красивая женщина в длинном вечернем платье, может быть, из золотой парчи или бархата с блестками, в дорогом манто, вы выходите на улицу, из «Максима», декабрь, снег, слякоть, а перед подъездом стоит этот радиоаппарат на колесах — да это просто курам насмех!

Вазер покраснел от обиды.

— Идеи типичного капиталиста! Розенфельд,

я вас умоляю! Вы грезите о каком-то паровозе, а не об автомобиле. Что за удовольствие водить такого мамонта? Он годится для коммерции советников! Вы же молодой человек! Если хотите иметь тяжелую машину, то, ради бога, возьмите хоть «Делайе», это все-таки класс, и свои сто шестьдесят он делает запросто!

— «Делайе»? — Розенфельд презрительно шмыгнул носом. — Каждую минуту замасленные свечи, вы это имеете в виду?

— Исключено, если вы умеете прилично водить машину! Ну, берите «Ягуар» или «Проектиль»! Пьянеешь от одного звука мотора! А если так уж приспичило иметь нечто сказочное, то вот вам новый «супертальбот»! Сто восемьдесят километров — играючи! Вот это действительно вещь!

Розенфельд плавился от возмущения.

— «Тальбот»! Нечего сказать, посватали! Да я эту тачку и даром не возьму, у нее в моторе такое давление, что она прямо закипает на ходу! Нет, Вазер, я предпочитаю свой «Кадиллак»!

Он снова повернулся к витрине «Дженерал моторс».

— Вы поглядите, какое качество! Пять лет вам не понадобится даже открывать капот! Только американцы, дорогой Вазер, знают толк в ком-

форте! Мотор элегантный и бесшумный, вы его вообще не слышите!

— Какого черта, — взорвался Вазер. — А я как раз желаю слышать мотор! Это же музыка, когда такая нервная сволочь срывается с места!

— Ну и покупайте себе трактор! Он еще громче!

Вазер изумленно уставился на Розенфельда.

— Послушайте, — сказал он потом тихо, с усилием овладевая собой, — я предлагаю вам компромисс: возьмите «Мерседес-компрессор»! Он тяжелый, но у него класс! Согласны?

Розенфельд, подумав, отрицательно покачал головой.

— Это не для меня! Напрасно стараетесь! «Кадиллак» — и больше ничего!

И он снова углубился в созерцание черной элегантности огромного автомобиля на вращающемся круге. Вазер в отчаянии огляделся вокруг. При этом он заметил Керна и Рут.

— Послушайте, Керн, — сказал он. — Будь у вас выбор между «Кадиллаком» и «Тальботом», что бы вы взяли? Ведь «Тальбот», так?

Розенфельд обернулся.

— Конечно, «Кадиллак», без всякого сомнения!

Керн ухмыльнулся.

— Я бы удовольствовался даже маленьким «Ситроеном».

— «Ситроен»? — Оба автоэнтузиаста смерили его презрительным взглядом, как какую-то паршивую овцу.

— Или велосипедом, — прибавил Керн.

Двое экспертов многозначительно переглянулись.

— Ах так! — холодно отозвался Розенфельд. — Вы не очень-то разбираетесь в машинах, а?

— И в автоспорте, наверное, тоже не слишком? — несколько брезгливо прибавил Вазер. — Что ж, бывают люди, которых интересуют почтовые марки.

— Меня интересуют, — радостно признался Керн, — особенно без штемпеля.

— Что ж, в таком случае извините! — Розенфельд поднял воротник пиджака. — Идемте, Вазер, нам надо еще посмотреть на той стороне новые модели «Альфа-Ромео» и «Испано».

И оба, примиренные невежественным Керном, такие похожие в своих обтрепанных костюмах, удалились, продолжая спорить о гоночных автомобилях. Времени на это у них было предостаточно, так как денег на ужин не было.

Керн весело поглядел им вслед.

— Человек — это чудо, а, Рут?
Она смеялась.

Керн не нашел работы. Он обращался всюду, но не мог устроиться даже за двадцать франков в день. Через две недели кончились деньги. Рут получала маленькое пособие от еврейского, а Керн — от смешанного еврейско-христианского комитета помощи беженцам; все вместе это составляло около пятидесяти франков в неделю. Керн поговорил с хозяйкой и узнал, что за эти деньги они могут сохранить обе комнаты и получать по утрам немного кофе с хлебом.

Он продал пальто, чемодан и все вещи, которые подарил ему Поцлох. Потом они начали продавать вещи Рут. Кольцо матери, платья и узкий золотой браслет. Они не очень страдали. Они жили в Париже, этого им было достаточно. Они жили надеждой на завтра и чувствовали себя в безопасности. В этом городе, который принял всех эмигрантов столетия, царил дух терпимости; здесь можно было умереть с голоду, но их преследовали только по необходимости, не больше, и это было уже очень много для них.

Однажды в воскресенье, когда вход был бесплатным, Мариль повел их в Лувр.

— Зимой вы должны как-то убивать время, —

сказал он. — Проблемы эмигранта — это голод, кров и время, которое он не знает куда девать, потому что ему запрещено работать. Голод и забота о крове — это два смертельных врага, с которыми он должен бороться, но время, много пустого ненужного времени, — это тайный враг, который пожирает его энергию, это ожидание, которое его изматывает, это призрачный страх, который его парализует. Два других нападают с фронта, и он должен защищаться или погибнуть, а время подкрадывается с тыла и разлагает его кровь. Вы молоды. Не сидите в кафе, не пейте, не уставайте. Если будет плохо — идите в большой зал ожидания Парижа — Лувр. Его хорошо отапливают зимой. Лучше страдать в обществе Делакруа, Рембрандта или Ван Гога, чем за бутылкой шнапса под аккомпанемент бессильных жалоб и озлобленности. Это говорю вам я, Мариль, который тоже предпочитает шнапс. Иначе я не читал бы вам нравоучений.

Они бродили по Лувру в сумерках великого искусства, мимо столетий, мимо каменных богов Египта, богинь Греции, цезарей Рима, мимо вавилонских алтарей, персидских ковров, фламандских гобеленов, мимо картин, созданных величайшими сердцами, мимо Рембрандта, Гойи,

Греко, Леонардо, Дюрера, по бесконечным залам и коридорам, пока не попали туда, где висели картины импрессионистов.

Они сели на один из диванов, стоявших посредине зала. На стенах светились пейзажи Сезанна, Ван Гога и Моне, танцовщицы Дега, пастельные женские головки Ренуара и красочные сцены Мане. Было тихо, кроме них, в зале не было никого, и постепенно Керну и Рут стало казаться, что они сидят в зачарованной башне, а картины — это окна в далекие миры, в сады глубокой радости, далеких чувств, великих мечтаний, окна в извечный пейзаж души, что лежит по ту сторону произвола, страха и бесправия.

— Эмигранты! — сказал Мариль. — Все они тоже были эмигрантами! Затравленные, осмеянные, часто без крова, голодные, выброшенные из жизни, игнорируемые современниками, они жили и умирали в нужде — но посмотрите, что они создали! Культуру мира! Это я и хотел вам показать. — Он снял очки и тщательно их протер. — Что произвело на вас самое сильное впечатление? — спросил он Рут.

— Мир, — ответила она тотчас.

— Мир. Я думал, вы скажете: красота. Но это верно. Сегодня мир — это красота. Особенно для

нас. А что вы скажете, Керн?

— Я не знаю, — сказал Керн. — Я бы продал одну из картин, чтобы нам было на что жить.

— Вы идеалист, — возразил Мариль.

— Я знаю, что это глупо. Но уже зима, и я бы купил пальто Рут.

Керн чувствовал себя довольно глупо, но ему действительно ничто больше не приходило в голову, он все время только об этом и думал.

К своему удивлению, он вдруг почувствовал руку Рут в своей руке. Она посмотрела на него сияющими глазами и крепко прижалась к нему.

Мариль снова надел очки. Потом он оглянулся.

— Человек велик в своих крайностях, — сказал он. — В искусстве, в любви, в глупости, в ненависти, в эгоизме, даже в самопожертвовании, но чего действительно больше всего не хватает миру, так это обыкновенной средней доброты.

Керн и Рут закончили ужин. Он состоял из хлеба и какао. Вот уже неделя, как это было их ежедневным рационом, если не считать чашки кофе с двумя бриошами по утрам, которые Керн выторговал у хозяйки.

— Сегодня у хлеба вкус бифштекса, — сказал Керн. — Вкусного сочного бифштекса с луком.

— Я нахожу, что у него вкус курицы, — возра-

зила Рут. — Молодая жареная курица со свежим зеленым салатом.

— Возможно. Наверное, это с твоей стороны. Отрежь мне оттуда кусочек. Попробую-ка я еще немного жареной курятины.

Рут отрезала толстый кусок от длинного французского батона.

— Прошу, — сказала она. — Это ножка. Или ты предпочитаешь грудку?

Керн рассмеялся.

— Рут, если б у меня не было тебя, я бы сейчас прогневил Бога!

— Я бы без тебя лежала в постели и ревела белугой.

В дверь постучали.

— Брозе, — сказал Керн без особого восторга. — И как раз в момент нежнейших любовных признаний!

— Войдите! — крикнула Рут.

Дверь открылась.

— Нет! — сказал Керн. — Не может быть! Я сплю! — Он встал так осторожно, словно боялся вспугнуть привидение. — Штайнер, — пролепетал он. Привидение ухмыльнулось. — Штайнер! — заорал Керн. — Боже правый, это Штайнер!

— Хорошая память укрепляет дружбу и разрушает любовь, — ответил Штайнер. — Простите, Рут, эту сентенцию, но я только что встретил внизу моего старого знакомого Мариля. А посему — сентенция неизбежна.

— Откуда ты? — спросил Керн. — Прямо из Вены?

— Из Вены. Кружным путем через Муртен.

— Что? — Керн отступил на шаг. — Через Муртен?

Рут смеялась.

— Муртен — место нашего позора, Штайнер. Я там заболела, а этого старого перебежчика схватила полиция. Муртен — свидетель нашего бесславия.

Штайнер ухмылялся во весь рот.

— Поэтому-то я там и был. Я отомстил за вас, дети. — Он извлек бумажник и вынул из него шестьдесят франков. — Прошу. Это четырнадцать долларов, или приблизительно триста пятьдесят французских франков. Подарок Аммерса.

Керн пялился на него, ничего не понимая.

— Аммерс? — сказал он. — Триста пятьдесят франков?

— Я объясню тебе позже, мальчик. Спрячь это. Ну, дайте же на вас поглядеть! — Он оглядел обо-

их. — Исхудали, щеки ввалились, на ужин какао с водой — и никому ни слова, а?

— Пока держимся, — ответил Керн. — Всегда, когда дело шло к этому, Мариль приглашал нас поесть. Словно у него шестое чувство.

— У него и седьмое есть. Картины. А он не потащил вас после этого в музей? Обычно такова расплата.

— Да. Он показывал нам Сезанна, Ван Гога, Мане, Ренуара и Дега, — сказала Рут.

— Ага. Импрессионисты. Значит, вы с ним обедали. После ужина полагаются Рембрандт, Гойя и Греко. Ну быстро, ребятки, одевайтесь. Рестораны города Парижа ждут нас!

— Мы как раз…

— Вижу! — свирепо перебил Штайнер. — Немедленно одевайтесь! Я утопаю в деньгах.

— А мы уже одеты.

— Ах так! Пальто проданы какому-нибудь единоверцу, который наверняка вас надул.

— Нет, — сказала Рут.

— Дитя, бывают и нечестные евреи! Каким бы святым мучеником ни был ваш народ. Ну, идем! Мы будем решать расовую проблему жареной курятины.

— Ну а теперь рассказывайте, что у вас, — ска-

зал Штайнер, когда они поели.

— Здесь словно заколдовано, — сказал Керн. — Париж не только город туалетной воды, мыла и духов, это город английских булавок, шнурков, кнопок и даже, кажется, икон. Торговля здесь почти совершенно отпадает. Чего я только не пробовал — мыл посуду, таскал корзины с фруктами, торговал игрушками, — но это не дало ничего стоящего. Все это было случайно. Рут две недели работала уборщицей в одном учреждении; потом фирма лопнула, и она вообще ничего не получила. За свитер из кашемировой шерсти ей предложили ровно столько, что ей хватило на шерсть для еще одного свитера. А посему… — Он распахнул пиджак. — А посему я разгуливаю как богатый американец. При отсутствии пальто самое милое дело. Может быть, она и тебе свитер свяжет, Штайнер.

— У меня хватит шерсти еще на один, — сказала Рут. — Правда, она черная. Вы любите черный цвет?

— Еще как! Ведь это цвет нашей жизни. — Штайнер зажег сигарету. — Понятно! Вы продали ваши пальто или заложили?

— Сперва заложили, потом продали.

— Хорошо. Естественная последовательность.

Вы уже были в кафе «Морис»?

— Нет. Только в «Эльзасе».

— Прекрасно. Тогда зайдем как-нибудь к «Морису». Там есть Дикман. Он знает все. В том числе и насчет пальто. Я собираюсь спросить его кое о чем поважнее. О Всемирной выставке, которая будет в этом году.

— Всемирная выставка?

— Да, крошка, — сказал Штайнер. — Там должна быть работа. И может быть, не будут особенно спрашивать документы.

— Сколько же времени ты в Париже, Штайнер? Откуда ты все знаешь?

— Четыре дня. До этого я был в Страсбурге. Надо было кое-что уладить. Вас я нашел через Класcмана. Встретил его в префектуре. У меня же есть паспорт, ребятки. Через пару дней я переезжаю в «Интернациональ». Мне нравится это название.

Кафе «Морис» было похоже на кафе «Шперлер» в Вене и кафе «Грацио» в Цюрихе. Это была типичная эмигрантская биржа.

Штайнер заказал кофе для Керна и Рут и отошел к пожилому человеку за стойкой. Человек испытующе посмотрел на Керна и Рут и вышел.

— Это Дикман, — сказал Штайнер. — Он знает все. Насчет выставки все верно, Кери. Теперь

строятся иностранные павильоны. Их оплачивают иностранные правительства. Частично они присылают рабочих, а для простых вещей, земляных работ и прочего людей нанимают здесь. И здесь-то наш крупный шанс! У нас есть шанс! Поскольку платят иностранные комитеты, французам мало дела до того, кто там работает. Завтра утром мы отправимся туда. Там уже работают многие эмигранты. Мы дешевле, чем французы, — в этом наше преимущество.

Вернулся Дикман. Под мышкой он нес два пальто.

— Я думаю, это подойдет.

— Примерь-ка пальто, — сказал Штайнер Керну. — Сперва ты. Потом Рут. Сопротивление бесполезно.

Пальто подошли точно. У пальто Рут имелся даже потертый маленький меховой воротник.

Дикман слабо улыбнулся.

— У меня глаз, — сказал он.

— Это твои лучшие тряпки, Генрих? — спросил Штайнер.

Дикман взглянул на него несколько обиженно.

— Пальто хорошие. Не новы, ясно. Но это, с мехом, принадлежало даже одной графине… в изгнании, — прибавил он в ответ на взгляд Штай-

нера. — Настоящий бобер, Йозеф. Не кролик!

— Хорошо. Мы их берем. Я зайду завтра, и мы об этом еще поговорим.

— Незачем. Можешь их взять и так. Мне же нужно еще кое за что рассчитаться.

— Чушь.

— Вовсе нет. Возьми их, и кончено. Я тогда попал в переделку. Господи боже!

— Ну а теперь как дела? — спросил Штайнер.

Дикман пожал плечами.

— Детям и мне хватает. Но отвратительно жить в таких судорогах.

Штайнер засмеялся.

— Не будь сентиментальным, Генрих! Я живу по чужому паспорту, я шулер, бродяга, за мной числятся нанесение физических увечий, сопротивление государственной власти и еще кое-что — и тем не менее у меня чистая совесть.

Дикман кивнул.

— Моя младшая заболела. Грипп. Температура. Но ведь температура у детей — это еще ничего страшного? — Он умоляюще посмотрел на Штайнера.

Тот кивнул головой:

— Быстрый процесс выздоровления, больше ничего.

— Я сегодня пораньше уйду домой.

Штайнер заказал себе один коньяк.

— Крошка, — обратился он к Керну, — тебе тоже?

— Послушай, Штайнер… — начал было Керн.

Штайнер сделал знак кельнеру.

— Молчи! Это рождественские подарки, которые мне ничего не стоят. Вы же видели. Хотите коньяка, Рут? Да?

— Да.

— Новое пальто. Работа в перспективе! — Керн выпил свой коньяк. — Жизнь начинает становиться интересной.

— Не заблуждайся! — усмехнулся Штайнер. — Позже, когда у тебя будет вдоволь работы, время, когда ты не мог работать, покажется тебе самым интересным в твоей жизни. Чудесные истории для внуков, которые будут играть у тебя на коленях. Тогда, в Париже…

Мимо прошел Дикман. Он устало попрощался и пошел к выходу.

— Был когда-то бургомистром от социал-демократов. — Штайнер посмотрел ему вслед. — Пятеро детей. Жена умерла. Хороший нищий. С достоинством. Все знает. Пожалуй, слишком нежная душа, с социал-демократами это случается.

Поэтому они такие плохие политики.

Кафе начало наполняться. Те, кто спал здесь по ночам, старались занять угловые места. Штайнер допил свой коньяк.

— Хозяин здесь великолепный. Позволяет спать всем, кто найдет место. Бесплатно. Или за чашку кофе. Если бы не было таких забегаловок, кое-кому пришлось бы туго. — Он встал. — Пошли, ребятки.

Они вышли. Было ветрено и холодно. Рут подняла бобровый воротник своего нового пальто и поплотнее закуталась. Она улыбнулась Штайнеру. Тот кивнул.

— Тепло, маленькая Рут! Все на свете зависит только от капли тепла.

Мимо них проковыляла старая цветочница. Штайнер подозвал ее.

— Фиалки, — прохрипела она. — Свежие фиалки с Ривьеры.

— Что за город! Фиалки в декабре, прямо на улице! — Штайнер взял букетик и протянул его Рут. — Фиолетовое счастье! Бесполезное цветение! Бесполезные вещи! Впрочем, они дают больше всего тепла! — Он подмигнул Керну. — Жизненный урок, как сказал бы Мариль.

XVIII

Они сидели в столовой Всемирной выставки. Был день зарплаты. Керн разложил тонкие бумажки вокруг своей тарелки.

— Двести семьдесят франков, — сказал он. — Заработано за одну неделю! И уже в третий раз! Просто сказка.

Некоторое время Мариль насмешливо глядел на него, потом поднял свой стакан и сказал, адресуясь к Штайнеру:

— Выпьем за отвращение к бумаге, дорогой Губер! Поразительно, какую власть она приобрела над людьми. Наши первобытные предки дрожали перед громом и молнией, перед тиграми и землетрясением, наши средневековые предки боялись мечей, разбойников, оспы и бога, мы же дрожим перед листком бумаги, будь то денежный банкнот или паспорт. Неандертальца убивали дубиной, римлянина — мечом, средневекового человека уносила чума, а нас можно прихлопнуть насмерть просто листком бумаги.

— Или воскресить, — заключил Керн, рассматривая ассигнации французского государственного банка, разложенные вокруг его тарелки.

Мариль покосился на него.

— Что ты скажешь об этом мальчике? — спросил он Штайнера. — Взрослеет, а?

— Еще как! Он расцветает под суровым ветром чужбины. И даже сыплет остротами.

— Я знавал его еще ребенком, — сказал Мариль. — Нежным и беззащитным. Месяца два тому назад.

Штайнер усмехнулся.

— Он живет в неустойчивом веке, когда легко погибают, но и быстро взрослеют.

Мариль глотнул легкого красного вина.

— Неустойчивый век, — повторил он. — Великий сдвиг, Людвиг Керн, юный вандал эпохи второго переселения народов.

— Неверно, — отозвался Керн. — Я юный полуеврей эпохи второго исхода из Египта!

Мариль с укором посмотрел на Штайнера.

— Твой ученик, Губер, — сказал он.

— Нет, склонность к афоризмам у него от тебя, Мариль. Впрочем, регулярный заработок развивает чувство юмора у любого человека. Да здравствует возвращение блудных сыновей в лоно зарплаты! — Штайнер повернулся к Керну. — Спрячь деньги в карман, крошка, а то разлетятся. Деньги не любят света.

— Я отдам их тебе, — сказал Керн. — Тут-то они

и разлетятся. Я и так должен тебе много больше.

— Брось! Я еще не настолько богат, чтобы отбирать у людей деньги.

Керн взглянул на него. Потом спрятал банкноты в карман.

— До которого часу сегодня открыты магазины? — спросил он.

— Зачем тебе?

— Ведь сегодня же Новый год.

— До семи, Керн, — сказал Мариль.

— Хотите купить спиртного к ужину? Оно дешевле здесь, в столовой. Великолепный ром с Мартиники.

— Нет, не спиртного.

— Ага! Кажется, в последний день года вы решили вернуться на стезю мещанской сентиментальности?

— В этом роде. — Керн встал. — Я собираюсь к Соломону Леви. Может быть, и он сегодня в сентиментальном настроении и немного спустит цены.

— В неустойчивые времена цены поднимаются, — возразил Мариль.

— Но вы не пасуйте, Керн! Привычка — ничто, главное — импульс! Обделывайте ваши делишки, но не забудьте, что в восемь состоится ужин

ветеранов эмиграции у мамаши Марго!

Соломон Леви был шустрым, похожим на хорька человечком с редкой козлиной бородкой. Он обитал в темном сводчатом подвале среди часов, музыкальных инструментов, потертых ковров, картин, гипсовых гномов, фарфоровых зверей и разной утвари. В витрине были беспорядочно нагромождены дешевые подделки, искусственные жемчуга, старинные украшения, оправленные в серебро, карманные часы и старые монеты.

Леви сразу узнал Керна. Память у него была не хуже бухгалтерской книги, что не раз помогало ему в делах.

— Что у вас? — спросил он, сразу переходя в наступление, так как ничуть не сомневался, что Керн опять хочет что-то продать. — Вы выбрали неудачное время!

— Почему? То кольцо уже продано?

— Продано, продано! — захныкал Леви. — Вы сказали «продано», если я не ослышался? Или я ослышался?

— Нет.

— Молодой человек, — продолжал Леви речитативом, — вы что, не читаете газет? Или вы живете на Луне и не знаете, что делается на свете? Продано! Продать такой старый хлам? Как это

вы великолепно сказали, прямо как Ротшильд. А вы знаете, что это такое, продать? — Он сделал театральную паузу, а потом патетически объяснил: — Это значит, что к вам приходит посторонний человек и что-то хочет иметь и вытаскивает из кармана кошелек, — Леви вытащил из кармана портмоне, — открывает его, — Леви открыл портмоне, — и вынимает чистую звонкую монету, — он извлек десятифранковую купюру, — выкладывает ее, — он разгладил купюру, лежавшую на столе, — и потом, самое главное, — голос Леви вскарабкался вверх до фальцета, — расстается с ней навсегда!

Леви спрятал деньги обратно.

— А за что? За какой-нибудь дрек, какую-нибудь вещь! Чистую, звонкую монету! Чтобы я так смеялся! Только сумасшедшие и гои делают такое. Или я, несчастный, с моей страстью к делу. Ну, так что у вас на этот раз? Много я не могу дать. Да, месяц назад — тогда было еще золотое время.

— Я ничего не хочу продавать, господин Леви. Я хотел бы вернуть кольцо.

— Что? — Леви на мгновение раскрыл рот, как голодная овсянка в гнезде. Гнездом была борода. — А, я уже понимаю, вы хотите обменять. Нет, молодой человек. Неделю назад я имел неприят-

ности, часы, понимаете ли, они, конечно, не шли, но часы — это, в конце концов, часы, так я их обменял на бронзовую чернильницу и авторучку с золотым пером. Так что вам сказать? Меня так и надули, старого доверчивого идиота, — ручка не пишет. Конечно, часы тоже идут только четверть часа. Но это же разные вещи. Часы это часы, а пустая авторучка, что вы себе об этом думаете? Это же кошмар, это все равно что ничего. Так что вы хотите менять?

— Ничего, господин Леви. Я сказал, я хочу купить. Купить.

— На деньги?

— Да, на деньги.

— Ага. Я уже знаю! Какие-нибудь венгерские, или румынские, или обесцененные австрийские деньги, или инфляционные бумажки, конечно, а потом не знаешь, что с ними делать! Только недавно приходил один такой фрукт с ватной бородой как у Карла Великого…

Керн вынул стофранковый билет и положил на стол бумажник. Леви издал тихий протяжный свист.

— Вы при деньгах? Первый раз такое вижу! Молодой человек, полиция…

— Заработано! — сказал Керн. — Честным тру-

дом. Ну, так где же кольцо?

— Минуточку! — Леви умчался и вернулся с кольцом матери Рут. Он протер его рукавом, осторожно дунул на него, еще раз протер, а затем положил на кусочек бархата, словно это был бриллиант в двадцать каратов.

— Таки прекрасная вещь, — сказал он благоговейно, — таки настоящая редкость!

— Господин Леви, — сказал Керн. — Вы тогда дали мне за кольцо сто пятьдесят франков. Если я вам верну сто восемьдесят, вы получаете двадцать процентов прибыли. Это хорошее предложение, а?

Леви не слушал.

— Можно влюбиться в такую вещь, — грезил он в упоении. — Не какая-нибудь современная дешевка. Товар. Настоящий товар! Я собирался оставить это себе. У меня есть такая маленькая коллекция, частная, лично для меня!

Керн отсчитал сто восемьдесят франков и положил на стол.

— Деньги, — сказал Леви с презрением, — что значат деньги в наше время? При такой инфляции! Ценные вещи — это да! Такое вот колечко — это же радость, и оно еще дорожает. Это же радость вдвойне! Золото как раз подорожало, —

рассуждал он. — Четыреста франков было бы дешево за такую прекрасную вещь. За него можно просить любительскую цену!

Керн испугался.

— Господин Леви!

— Я — человек, — сказал Леви решительно, — я расстанусь с ним. Я хочу доставить вам радость. Я не собираюсь на нем зарабатывать, ведь сегодня Новый год! Триста франков — и кончено, отрываю от сердца.

— Это же двойная цена! — сказал Керн возмущенно.

— Двойная цена! Вы не знаете, что говорите. Что значит — двойная? Двойная цена — это полцены, говорил когда-то рабби Михаэль фон Говородка. Вы уже когда-нибудь слыхивали о накладных расходах, молодой человек? Это все стоит денег и денег! Налоги, жилищная плата, уголь, пожертвования, убытки! Для вас это ничего, а для меня это ужасно! Не каждый день попадается такое колечко!

— Я же эмигрант, у меня же ни черта нет…

Леви отмахнулся.

— А кто не эмигрант? Тот, кто покупает, всегда богаче того, кто вынужден продавать. Ну, так кто же из нас двоих хочет покупать?

— Двести франков, — сказал Керн, — это последняя цена.

Леви взял кольцо, подул на него и унес. Керн спрятал деньги и пошел к двери. Когда он ее открыл, Леви крикнул ему вслед:

— Двести пятьдесят, ибо вы молоды, а я имею доброе сердце!

— Двести, — откликнулся Керн, не отходя от двери.

— Шолом алейхем! — попрощался Леви.

— Двести двадцать.

— Двести двадцать пять, честно и благородно, ибо мне завтра платить за квартиру.

Керн вернулся и выложил деньги.

Леви запаковал кольцо в маленькую картонную коробочку.

— Футлярчик вы имеете бесплатно, — сказал он, — и эту красивую голубую вату тоже. Вы меня разорили.

— Пятьдесят процентов, — прорычал Керн. — Кровопийца!

Последнее замечание Леви не пожелал принять к сведению.

— Поверьте мне, — возразил он вполне чистосердечно, — на рю де ля Пэ у Картье такое колечко стоит шестьсот. Цена ему триста пятьдесят. На

этот раз все точно.

Керн вернулся в отель.

— Рут, — сказал он, входя. — Нам начинает здорово везти! Смотри! Последний из могикан вернулся домой.

Рут открыла футляр и заглянула внутрь.

— Людвиг… — сказала она.

— Бесполезные вещи, больше ничего! — смущенно пробормотал Керн. — Как это сказал Штайнер? Согревают больше всего. Мне тоже захотелось разок попробовать. Ну, надень его! Сегодня мы все вместе ужинаем в ресторане, как настоящие рабочие с получки!

Было десять часов вечера. Штайнер, Мариль, Рут и Керн сидели у «Мамаши Марго». Официанты начали сдвигать стулья и огромными щетками подметать пол, сбрызгивая его водой.

Кошка, сидевшая на кассе, потянулась и спрыгнула вниз. Хозяйка дремала, закутавшись в вязаную кофту. Лишь время от времени она приоткрывала бдительное око.

— Кажется, нас собираются отсюда выставить, — сказал Штайнер и сделал знак официанту. — Да и пора. Нам надо к Эдит Розенфельд. Сегодня приехал папаша Мориц.

— Папаша Мориц? — спросила Рут. — Кто это?

— Папаша Мориц — это старейшина эмигрантов, — ответил Штайнер. — Ему семьдесят пять, маленькая Рут. Знает все границы, все города, все отели, все пансионаты и частные квартиры, где можно жить без прописки, а также тюрьмы пяти цивилизованных государств. Его зовут Мориц Розенталь, и он происходит из Годесберга на Рейне.

— Тогда я его знаю, — сказал Керн. — Я один раз переходил с ним границу из Чехословакии в Австрию.

— А я из Швейцарии в Италию, — сказал Мариль.

Официант принес счет.

— Я тоже сделал с ним парочку границ, — сказал Штайнер.

— Найдется у вас бутылка коньяка на вынос? — обратился он к официанту. — Скажем, «Курвуазье»? Конечно, по вашей цене.

— Минутку. Я спрошу хозяйку. — Официант подошел к дремлющей вязаной кофте. Она открыла один глаз и кивнула. Официант снял с полки бутылку и подал ее Штайнеру, тот сунул ее в боковой карман.

В этот момент наружная дверь отворилась, и на пороге возникла какая-то призрачная фигура. Хозяйка зевнула, прикрыла рот и открыла оба

глаза.

Официанты недовольно уставились на вошедшего. Человек молча, как лунатик, направился через всю комнату к большой жаровне, где над углем поворачивались на вертеле несколько жареных кур. Человек смотрел на кур так, словно просвечивал их рентгеном.

— Сколько стоит вот эта? — спросил он официанта.

— Двадцать шесть франков.

— А эта?

— Двадцать шесть франков.

— Они все по двадцать шесть франков?

— Да.

— Почему же вы сразу не сказали?

— Потому что вы об этом не спрашивали.

Человек поднял глаза. Сквозь его лунатизм на мгновение прорвалась здоровая злоба. Потом он указал на самую большую курицу.

— Дайте мне эту!

Керн толкнул Штайнера. Штайнер внимательно вгляделся. Его губы вздрогнули от смеха.

— С салатом, с рисом, с жареным картофелем? — спросил официант.

— С ничем. С вилкой и ножом. Давайте ее сюда.

— Пулярка, — прошептал Керн. — Старый Пулярка, ей-богу!

Штайнер кивнул.

— Это он! Пулярка из венской тюрьмы.

Человек уселся за стол. Он вынул зеленый бумажник и пересчитал деньги. Потом спрятал его обратно и торжественно повязал салфетку. Перед ним возлежала жареная курица. Человек поднял руки, словно священник для благословения. Он весь сиял от блаженного предвкушения. Потом он переложил курицу с блюда на свою тарелку.

— Не будем ему мешать, — тихо усмехнулся Штайнер. — Она ему нелегко досталась, эта курица.

— Я предлагаю немедленно удрать! — ответил Керн. — Я встречался с ним дважды. Оба раза в тюрьме. И каждый раз его арестовывали в тот самый момент, когда он собирался съесть жареную курицу. Значит, через секунду сюда явится полиция!

Штайнер рассмеялся.

— Тогда пошли! Лучше встретить Новый год в кругу обиженных судьбой, чем в полицейском участке префектуры.

Они встали. У двери они еще раз оглянулись. Пулярка как раз ободрал хрустящую коричневую

ножку курицы, посмотрел на нее, как пилигрим на гроб Господень, и сперва благоговейно, потом решительно, с выражением невероятной прожорливости вонзил в нее зубы.

Эдит Розенфельд была изящная седая женщина шестидесяти шести лет. Два года назад она приехала в Париж с семью детьми. Шестерых она пристроила. Старший сын уехал врачом на китайскую войну; старшая дочь, филолог, получившая образование в Бонне, получила через комитет помощи беженцам место горничной в Шотландии; второй сын сдал экстерном государственные экзамены на юридическом факультете, и так как он не нашел практики, то стал кельнером в отеле «Карлтон» в Каннах; третий сын завербовался в Иностранный легион; четвертый уехал в Боливию; вторая дочь работала на апельсиновых плантациях в Палестине. Остался только самый младший сын. Комитет помощи беженцам обещал достать для него место шофера в Мексике. Квартира Эдит Розенфельд состояла из двух комнат — большой, где жила она, и маленькой, где жил ее младший сын, фанатичный автомобилист Макс Розенфельд. К тому времени, когда пришли Мариль, Штайнер, Керн и Рут, в двух комнатах собралось около двадцати чело-

век — все эмигранты из Германии, некоторые имели разрешение на работу, некоторые — не имели. Те, кто мог себе это позволить, захватили вина. Почти все принесли дешевый французский портвейн. Штайнер и Мариль со своим коньяком оказались гвоздем программы. Они щедро наливали из бутылки, чтобы избежать излишней сентиментальности.

Мориц Розенталь появился в одиннадцать часов. Керн едва узнал его. За один год он, казалось, постарел на десять лет. Его лицо было желтым, без кровинки, он шел, с усилием опираясь на палку из черного дерева со старомодным набалдашником слоновой кости.

— Эдит, дорогая моя, — сказал он. — Вот я и вернулся. Я не мог прийти раньше. Очень устал.

Он наклонился, чтобы поцеловать ей руку. Это ему не удалось. Эдит Розенфельд встала. Она была легкая, как птица. Она взяла его за руку и поцеловала в щеку.

— Мне кажется, я старею, — сказал Мориц Розенталь. — Я не могу больше поцеловать тебе руку. А ты бесстрашно целуешь меня в щеку. Да, было бы мне сейчас семьдесят!

Эдит Розенфельд взглянула на него и улыбнулась. Она не хотела показать ему, как ее ужаснул

его вид. И Мориц Розенталь не показал ей, что он понял, как она ужаснулась. Он был спокоен и ровен, он приехал в Париж, чтобы умереть. Он оглянулся.

— Знакомые лица, — сказал он. — Те, кому нет места на земле, места под солнцем, всегда встречаются вновь. Странное дело! Штайнер, где мы виделись с вами в последний раз? В Вене, разумеется! И Мариль! Бриссаго и позднее Локарно, полицейский участок, не так ли? А вот Классман здесь, наш Шерлок Холмс из Цюриха! Да, память еще мне не изменяет. И Вазер! Брозе! И Керн из Чехии! Мейер, друг карабинеров в Палланце! Господи, дети, где оно, доброе старое время? Теперь не то. Ноги отказывают.

Он медленно сел.

— Откуда вы теперь, папаша Мориц? — спросил Штайнер.

— Из Базеля. Дети, говорю вам: избегайте Эльзаса! Будьте осторожны в Страсбурге и бегите из Кольмара! Атмосфера каторги! Матиас Грюнвальд и Изенхаймерский алтарь ничему не в силах помочь. Три месяца тюрьмы за нелегальный переход границы; всякий другой суд дает самое большее две недели. За повторный переход — шесть месяцев. А тюрьмы — прямо каторги.

Итак, избегайте Кольмара и Эльзаса, дети. Идите через Женеву.

— А как теперь в Италии?

Мориц Розенталь взял стакан портвейна, который подала ему Эдит Розенфельд. Его руки сильно дрожали, когда он поднимал его. Он застыдился и снова поставил его.

— В Италии полно немецких агентов, — сказал он. — Нам там нечего делать.

— А Австрия? — спросил Вазер.

— Австрия и Чехословакия — мышеловки. Франция — единственная страна, которая осталась для нас в Европе. Постарайтесь остаться здесь.

— Ты слышал что-нибудь о Мери Альтман, Мориц? — спросила спустя некоторое время Эдит Розенфельд. — Последний раз она была в Милане.

— Да. Она теперь работает горничной в Амстердаме. Ее дети в эмигрантском приюте в Швейцарии. Кажется, в Локарно. Муж ее в Бразилии.

— Ты говорил с ней?

— Да, незадолго перед отъездом в Цюрих. Она была вне себя от счастья, что всех пристроила.

— Вы что-нибудь знаете о Йозефе Фесслe-

ре? — спросил Классман. — Он ожидал в Цюрихе разрешения на работу.

— Фесслер застрелил свою жену и застрелился сам, — ответил Мориц Розенталь так спокойно, словно рассказывал о чем-то вроде пчеловодства. Он не смотрел на Классмана. Он смотрел на дверь. Классман не отвечал. И никто из остальных тоже. На мгновение стало тихо. Каждый делал вид, что ничего не слышал.

— Вы не встречали где-нибудь Йозефа Фридмана? — спросил Брозе.

— Нет, но я знаю, что он в тюрьме, в Зальцбурге. Его брат вернулся в Германию. Говорят, он теперь в исправительном концлагере.

Мориц Розенталь взял стакан двумя руками, осторожно, как кубок, и медленно выпил.

— А что поделывает министр Альтхоф? — спросил Мариль.

— У него все блестяще. Он стал шофером такси в Цюрихе. Прописка и разрешение на работу.

— Еще бы! — сказал коммунист Вазер.

— А Бернштейн?

— Бернштейн в Австралии. Его отец в Восточной Африке. Максу Мэю особенно повезло: он стал ассистентом зубного врача в Бомбее. Конечно, нелегально, но его кормят. Левенштейн

сдал адвокатский экзамен по английскому праву, и теперь он адвокат в Палестине. Актер Хаксдорф играет в Государственном театре в Цюрихе. Шторм повесился. Ты знала в Берлине советника Биндера?

— Да.

— Он развелся. Из-за карьеры. Он был женат на некой Оппенгеймер. Жена отравилась с двумя детьми.

Мориц Розенталь немного подумал.

— Это почти все, что я знаю. Остальные где-то блуждают, как всегда. Их стало только намного больше.

Мариль налил себе коньяку. Для этого он использовал стакан с надписью «Лионский вокзал». Это было воспоминание о первом аресте, и он таскал его повсюду с собой. Мариль одним глотком осушил стакан.

— Подробная хроника! — заявил он. — Да здравствует уничтожение индивида! У древних греков мышление было достоинством. Потом оно стало счастьем. Позднее превратилось в болезнь. В наши дни это преступление. История культуры — это история страданий тех, кто ее создавал.

Штайнер усмехнулся ему. Мариль ответил такой же усмешкой. В то же мгновение на улице

начали звонить колокола. Штайнер вгляделся в лица окружающих — много маленьких судеб, которые согнал сюда ветер истории, — и поднял стакан.

— Папаша Мориц! — сказал он. — Король изгнанников, последний потомок Агасфера, вечный эмигрант! Черт знает, что принесет нам этот год. Да здравствует подземная бригада! Пока мы живем, ничего не потеряно!

Мориц Розенталь кивнул. Он чокнулся со Штайнером и выпил. В глубине комнаты кто-то засмеялся. Потом стало тихо. Все смотрели друг на друга так, словно их поймали за каким-то запрещенным занятием. С улицы донеслись крики. Захлопал фейерверк. Мимо с гудками пронеслись такси. На балконе дома напротив маленький человек в жилетке без пиджака зажег зеленый бенгальский огонь. Весь фасад вспыхнул. Зеленый свет проник в комнату Эдит Розенфельд и сделал ее нереальной — словно это был не номер парижского отеля, а каюта затонувшего корабля, глубоко под водой.

Актриса Барбара Клейн сидела за столиком в углу катакомбы. Было поздно, и только две электрические лампочки еще горели над проходными дверями. Она сидела в кресле около кадки

с пальмой, и, когда откидывалась назад, листья пальмы вцеплялись ей в волосы, как чьи-то скрюченные пальцы. Она каждый раз ощущала это и вздрагивала, но у нее не было больше сил встать и пересесть на другое место.

Из кухни доносился звон посуды и жалобный звук аккордеона — играло радио. «Тулуза, — думала Барбара Клейн. — Радиостанция Тулуза. Я не хочу больше жить. Станция Тулуза. Что все они знают о том, как можно устать. Я не пьяна, — думала она. — Просто мои мысли уже стали медленней. Как мухи зимой, когда приближается смерть. Смерть вырастает во мне, как дерево. Она вырастает, как дерево, из замерзающих жил. Кто-то принес мне стакан коньяка. Тот, которого они называют Мариль, или тот, другой, который потом ушел. Чтобы я согрелась. Но мне даже не холодно. Я только больше не ощущаю себя».

Она сидела и смотрела через стеклянную дверь, как кто-то приближается к ней. Он подходил все ближе, и она различала его все яснее; но между ними все еще оставалась стеклянная дверь. Теперь она его узнала; он сидел рядом с ней в номере Эдит Розенфельд. У него были робкое неразличимое лицо с большими стеклами очков и искаженным ртом и неспокойные руки — и он

хромал, а теперь он прохромал сквозь стекло, и оно снова захлопнулось за ним мягко и пронзительно, как жидкое стеклянное желе. Он долго о чем-то говорил, пока она начала понимать. Она видела, как он ушел, хромая, словно плывя, и видела, как он вернулся и сел рядом, и она пила то, что он принес, и не чувствовала, что это было. У нее слегка шумело в ушах, в ушах звучали голоса, слова, ненужные, бессмысленные слова откуда-то издалека, с другого берега.

И горячий, неспокойный, весь в красных пятнах человек, который сидел перед ней, вдруг исчез, и было только что-то жалкое, шевелящееся, что-то забитое, измученное, были только затравленные, умоляющие глаза, какое-то животное, запертое в это одиночество из стекла, станции Тулузы и чужой ночи.

— Да, — сказала она, — да.

Ей хотелось, чтобы он ушел и оставил ее одну, только на мгновение, на несколько минут из той долгой вечности, которая лежала перед ней, но он уже встал и стоял перед ней, потом наклонился, взял ее за руку, поднял ее и повел, и она пошла вброд через стеклянный ил, по мягким лестницам, которые ступенями, словно зубами, ловили ее ноги.

Она сидела на постели. У нее было такое чувство, что она никогда больше не сможет встать. Мысли распадались. Это не было больно. Это было бесшумное падение. Так падают в тишине осенних ночей перезрелые плоды с неподвижного дерева. Она наклонилась вперед, посмотрела на стертый половичок, словно эти плоды должны были лежать внизу, а потом подняла голову, и кто-то посмотрел на нее.

Это были незнакомые глаза под мягкими волосами, худое незнакомое лицо, наклонившееся вперед, словно маска, и еще было холодное отвращение, и дрожь, и пробуждение от далекого сна, и она увидела, что это ее лицо смотрело на нее из зеркала.

Она пошевелилась. И тогда она заметила мужчину, который стоял на коленях у ее постели в странно смешной позе и держал ее за руку. Она отняла руки.

— Что вам угодно? — спросила она резко. — Что вы от меня хотите?

Мужчина оторопело взглянул на нее.

— Но вы же мне… вы же сказали, что я могу идти с вами…

Она уже снова обессилела.

— Нет, — сказала она. — Нет…

И снова зазвучали слова. Слова несчастья, и жалоб, и одиночества, и страданий, слишком большие слова, но разве есть маленькие слова для того ничтожного, что разрывает и истирает нас? И что ему надо завтра уезжать, и что с ним никогда не было женщины, а только страх, и увечье, которое парализует его и делает его трусливым и смешным, сломанная нога, всего только нога, и отчаяние и надежда, как раз сегодня ночью, ведь она все время смотрела на него, и он подумал…

Она смотрела на него. Она не помнила этого. Она только знала, что это ее комната, и она никогда больше не выйдет из нее, и что все прочее было мелким и туманным.

— Это значило бы для меня новую жизнь! — шептал мужчина у ее колен. — Все бы изменилось для меня, поймите же! Не чувствовать себя больше отверженным…

Она ничего не понимала. Она снова посмотрела в зеркало. Барбара Клейн, актриса, двадцати восьми лет, не тронутая никем, сберегавшая себя всю жизнь для мечты, которая никогда не осуществится, без надежды, у последней черты.

Она осторожно встала. Она не отрывала глаз от отражения в зеркале. Посмотрела на него, улыбнулась, и на мгновение в нем промелькнуло

что-то вроде иронии и жуткой насмешки.

— Да, — сказала она устало. — Да, хорошо.

Мужчина замолк. Он, почти не веря, глядел на нее.

Она не обращала внимания. Все вдруг стало слишком тяжелым. Платье сжимало, как броня. Она сбросила его, уронила свое тяжелое худое тело, сбросила тяжелые туфли, и постель вырастала, становясь огромной и принимая ее в свои объятья, как мягкая белая могила… Она услышала щелчок выключателя и шорох одежды. С трудом открыла глаза. Было темно.

— Свет! — сказала она в подушки. — Свет должен гореть!

— Минуту! Пожалуйста, еще одно мгновение! — Голос мужчины был смущенным и торопливым. — Еще только… пожалуйста, поймите…

— Свет должен гореть, — повторила она.

— Да, конечно, сейчас, только…

— Потом будет так долго темно, — пробормотала она.

— Да-да, конечно — ночи зимой такие долгие.

Она услышала звук выключателя. На ее закрытых веках снова был свет, мягкие красные сумерки. Потом она ощутила другое тело. На одну секунду все в ней сжалось — потом ослабло. «Это

пройдет, — думала она, — как проходит все…»

Она медленно открыла глаза. Перед ее кроватью стоял человек, которого она не знала. У нее было воспоминание о чем-то неспокойном, жалком, дрожащем — но сейчас она увидела перед собой горячее открытое лицо, вспыхивающее нежностью и счастьем. Мгновение она смотрела на него.

— Вы должны теперь уйти, — сказала она потом. — Пожалуйста, уходите…

Мужчина сделал какое-то движение. Потом снова потекли слова, быстрые, горячие слова. Сначала она ничего не поняла. Он говорил слишком быстро, а она была слишком выключена. Ей только хотелось, чтобы он ушел. Потом она понемногу поняла, что он был в отчаянии, что он был конченый человек и что теперь этого больше нет. И что он снова обрел силы, как раз теперь, когда его высылают из Франции…

Она кивнула. Пусть он замолчит.

— Пожалуйста, — сказала она.

Он умолк.

— Вы должны теперь уйти, — сказала она.

— Да.

Она лежала под одеялом совсем разбитая. Ее глаза следили за мужчиной, который шел к две-

ри. Это последний человек, которого она видит. Она лежала совсем тихо, странно успокоившаяся, словно все это ее больше не касалось.

Мужчина остановился в нерешительности. Несколько мгновений он ждал. Он ждал и медлил. Потом повернулся к ней.

— Скажи мне еще что-нибудь, — сказал он. — Ты это… сделала просто так… скорее из жалости… или…

Она взглянула на него. Последний человек. Последняя капля жизни.

— Нет, — сказала она с большим напряжением.

— Не из жалости?

— Нет.

Мужчина у двери замер. Он ждал, потеряв дыхание.

— Что? — спросил он так тихо, словно боялся упасть. Она все еще смотрела на него. Она была очень спокойна. Последняя капля жизни.

— Люблю, — сказала она.

Мужчина у двери молчал. Словно он ожидал удара дубинкой по голове, а упал в объятия. Он стоял неподвижно, и все же, казалось, он вдруг вырос.

— Боже мой, — сказал он.

Она вдруг испугалась, что он вернется.

— Ты должен сейчас уйти, — сказала она. — Я очень устала.

— Да…

Она больше не слышала, о чем он говорил. Она испытывала утомление и закрыла глаза. Потом снова увидела дверь, чистую и блестящую, она была одна и забыла его.

Некоторое время она лежала тихо. В зеркале она увидела свое лицо и улыбнулась ему — устало и нежно. Ее голова была теперь совсем ясной. «Барбара Клейн, — думала она. — Актриса. Как раз в Новый год. Актриса. Но разве это не был такой же день, как все другие?» На ночном столике она увидела свои часы. Она завела их утром. Они будут тикать еще целую неделю. Она посмотрела на лежавшее рядом письмо. Страшное письмо, в котором была смерть. Из ящика она вынула маленькую бритву. Зажала ее между большим и указательным пальцем и натянула одеяло. Было не очень больно. Хозяйка будет завтра браниться. Но у нее ничего больше не было. У нее не было веронала. Она уткнулась лицом в подушки. Стало темнее. Потом оно опять появилось. Издалека. Радио Тулуза. Ближе и ближе. Неясный грохот, водоворот, который затягивает и кружит. Все

быстрее и быстрее. А потом ветер…

XIX

В столовую вошел Мариль.

— Тебя там кто-то спрашивает, Штайнер.

— Меня? Он спрашивает Штайнера или Губера?

— Штайнера.

— Ты спросил, что ему надо?

— Разумеется. Даже из простой осторожности. — Мариль взглянул на него. — У него для тебя письмо из Берлина.

Штайнер рывком отодвинул стул.

— Где он?

— Около румынского павильона.

— Это не шпик?

— Непохоже.

Они пошли вместе. Под закоченевшими деревьями их ждал человек лет пятидесяти.

— Вы Штайнер? — спросил он.

— Нет, — сказал Штайнер. — А в чем дело?

Человек окинул его быстрым испытующим взглядом.

— У меня для вас письмо. От вашей жены. — Он вынул из нагрудного кармана письмо и показал его Штайнеру. — Вы же знаете почерк.

У Штайнера было такое ощущение, что он продолжает стоять, внешне еще спокойный и сильный, а внутри него все вдруг обмякло, задрожало, полетело. Он не мог поднять руки, ему казалось, она улетит.

— Откуда вам известно, что Штайнер в Париже? — спросил Мариль.

— Письмо пришло из Вены. Кто-то захватил его из Берлина. Вас пытались найти и узнали, что вы в Париже, — мужчина показал второй конверт. «Йозеф Штайнер, Париж» — было написано на нем крупным почерком Лило.

— Письмо переслали мне с прочей почтой. Я ищу вас несколько дней. В кафе «Морис» я наконец услышал, что могу найти вас здесь. Вы не обязаны говорить, что вы — Штайнер. Я понимаю, надо быть осторожным. Вы должны только взять письмо. Я хочу от него отделаться.

— Оно — мне, — сказал Штайнер.

— Хорошо.

Человек отдал ему письмо. Штайнеру пришлось сделать над собой усилие, чтобы взять его, оно было совсем особым и тяжелее всех писем мира. Но когда он почувствовал в своих пальцах конверт, то понадобилось бы отрубить ему руку, чтобы получить письмо обратно.

— Спасибо, — сказал он мужчине. — Оно причинило вам столько беспокойства.

— Не стоит благодарности. Если уж мы получаем почту, она достаточно важна, чтобы искать адресата. Хорошо, что я вас нашел.

Он попрощался и ушел.

— Мариль, — сказал Штайнер, совершенно вне себя. — От моей жены. Первое письмо. Что это может быть? Она же не должна была писать!

— Прочти его…

— Да. Не уходи. Проклятье, что с ней могло случиться?

Он разорвал конверт и начал читать. Он сидел как каменный и дочитывал письмо до конца; но его лицо начало изменяться, оно побледнело и, казалось, запало. Мускулы на щеках напряглись, и выступили вены.

Он уронил письмо и сидел некоторое время молча, устремив взгляд в землю. Потом он взглянул на дату.

— Десять дней, — сказал он. — Она лежит в больнице. Десять дней назад она еще была жива.

Мариль смотрел на него и ждал.

— Она пишет, что ее нельзя спасти. Поэтому она написала. Теперь ей все равно. Она не пишет, что с ней. Она пишет — ты понимаешь — это ее

последнее письмо.

— В какой больнице она лежит? — спросил Мариль. — Она написала?

— Да.

— Мы сейчас же позвоним. Позвоним в больницу. Под каким-нибудь именем.

Штайнер встал, слегка пошатываясь.

— Я должен ехать.

— Позвони сперва. Идем вернемся в «Верден».

Штайнер заказал разговор. Через полчаса зазвонил телефон, и он вошел в кабину, словно спустился в темную шахту. Когда он вышел, он был весь мокрый от пота.

— Она еще жива, — сказал он.

— Ты говорил с ней? — спросил Мариль.

— Нет, с врачом.

— Ты назвал свое имя?

— Нет, я сказал, что я один из ее родственников. Ее оперировали. Ее нельзя спасти. Врач говорит, три-четыре дня самое большее. Поэтому она и написала. Она не думала, что письмо дойдет так быстро. Проклятье! — Он все еще держал письмо в руке и оглядывался, словно впервые попал в грязный вестибюль «Вердена».

— Мариль, я еду сегодня вечером.

Мариль взглянул на него.

— Ты сошел с ума, мальчик? — спросил он потом тихо.

— Нет. Я перейду через границу. У меня же есть паспорт.

— Паспорт не поможет тебе, когда ты попадешь в Германию. Ты сам это прекрасно знаешь.

— Да.

— Тогда ты понимаешь, что будет значить для тебя поездка туда?

— Да.

— Что ты наверняка погибнешь.

— Я все равно погибну, если она умрет.

— Это неправда! — Мариль вдруг почувствовал глухую ярость. — Это звучит жестоко, но я тебе говорю, Штайнер, пиши ей, телеграфируй ей, но оставайся здесь.

Штайнер безучастно покачал головой. Он почти не слушал.

Мариль схватил его за плечо.

— Ты не сможешь ей помочь. Даже если приедешь.

— Я смогу ее увидеть.

— Но, послушай, она ведь ужаснется, если ты приедешь. Если бы ты спросил ее сейчас, она бы сделала все, чтобы ты остался здесь.

Штайнер упорно смотрел на мостовую, ничего

не видя. Вдруг он быстро обернулся.

— Мариль, — сказал он, и его глаза вспыхнули. — Это все, что у меня есть, она жива еще, она еще дышит, ее глаза еще смотрят, и ее мысль работает, и я еще живу в ее глазах, а через несколько дней она будет мертва, от нее ничего не останется, будет незнакомый разлагающийся труп, больше ничего, — но сейчас, сейчас она же еще есть, она еще есть, еще несколько дней, последних дней, и я не смогу быть с ней, пойми же, что я должен ехать, иначе нельзя, будь оно все проклято. Для меня будет все кончено, если я не поеду, я просто сломаюсь, я умру с ней!

— Ты не умрешь. Пойдем, возьми денег у меня, возьми у Керна, телеграфируй ей каждый час, страницами, письмами, все, что угодно, но останься здесь!

— Это неопасно, если я поеду. У меня паспорт, я вернусь!

— Не болтай чепухи! Ты знаешь, что это опасно! У них там дьявольски хорошая организация.

— Я еду, — сказал Штайнер.

Мариль попытался схватить его за плечо и увести с собой.

— Пойдем выпьем пару бутылок шнапса. Напейся! Я обещаю тебе, я буду звонить через

каждые несколько часов.

Штайнер отстранил его.

— Оставь, Мариль! Не в этом дело. Я знаю, о чем ты думаешь. Я все понимаю, я не сошел с ума. Я знаю, что поставлено на карту, но если бы на карту было поставлено в тысячу раз больше, я бы поехал, и ничто не могло бы удержать меня. Неужели ты не понимаешь?

— Да, — прорычал Мариль. — Разумеется, я понимаю! Я же сам поехал бы!

Штайнер собирал вещи. Он был как замерзшая река, которая прорвала лед. Он едва мог постичь, что разговаривал по телефону с кем-то, кто жил в одном доме с Марией; ему казалось непостижимым, что его собственный голос звучал так близко от нее в черном каучуке телефонной трубки; все казалось ему немыслимым: и то, что он собирал вещи, и то, что он сядет на поезд, и что он завтра будет там, где она.

Он положил последние вещи, которые ему понадобятся, и захлопнул чемодан. Потом поднялся к Рут и Керну. Они уже слышали обо всем от Мариля и ожидали его. Они были совсем растеряны.

— Дети, — сказал он. — Я сейчас уезжаю. Это долго тянулось, но я, собственно, всегда знал, что так оно выйдет. Не совсем так, — прибавил

он. — Но в это я еще не верю. Я только знаю. — Он улыбнулся рассеянно и печально. — Всего хорошего, Рут.

Рут подала ему руку. Она плакала.

— Я хотела так много сказать вам, Штайнер. Но сейчас я ничего больше не знаю. Мне только очень грустно. Хотите взять с собой это? — Она протянула ему черный пуловер. — Я как раз сегодня его довязала.

Штайнер улыбнулся и стал на мгновение прежним Штайнером.

— Ловко получилось, — сказал он. Потом повернулся к Керну. — Всего хорошего, крошка. Иногда все происходит ужасно медленно, а? А иногда чертовски быстро.

— Я не знаю, выжил бы я без тебя, Штайнер, — сказал Керн.

— Наверняка. Но хорошо, что ты мне это сказал. Значит, время не совсем пропало.

— Возвращайтесь! — сказала Рут. — Больше я не знаю, что сказать. Возвращайтесь. Мы мало можем сделать для вас, но мы всегда ваши. Всегда.

— Хорошо. Я попытаюсь. До свидания, малыши. Не вешайте нос.

— Можно мы проводим тебя до вокзала? — сказал Керн.

Штайнер помолчал.

— Мариль идет со мной. Или нет, вы тоже.

Они спустились вниз. На улице Штайнер обернулся и взглянул на серый, обшарпанный фасад отеля.

— «Верден», — сказал он тихо.

— Можно я понесу твой чемодан? — сказал Керн.

— Зачем, малыш? Я и сам его прекрасно донесу.

— Позволь, — сказал Керн с кривой улыбкой. — Сегодня после обеда я показывал тебе, каким я стал сильным.

— Да. Сегодня. После обеда. Как давно это было!

Штайнер отдал ему чемодан. Он понимал, что Керн хотел что-нибудь сделать для него.

Они пришли точно к отходу поезда. Штайнер вошел в купе и опустил стекло. Поезд все еще стоял; но тем троим, на перроне, казалось, что Штайнера отделяет от них какая- то неотвратимая сила. Горящими глазами Керн вглядывался в это твердое худое лицо; ему хотелось запомнить его на всю жизнь. Много месяцев он видел его рядом, лицо своего учителя; он был обязан Штайнеру всем, что закалилось в нем самом, Керне. И

теперь он видел, как Штайнер спокойно и хладнокровно шел навстречу своей гибели; никто из них не надеялся на чудо возвращения.

Поезд тронулся. Никто не произнес ни слова. Штайнер медленно поднял руку. Трое на перроне смотрели ему вслед, пока вагон не исчез из виду.

— Черт! — сказал Мариль хрипло. — Пошли, я должен выпить. Я видел, как умирали многие люди, но никогда еще не присутствовал при самоубийстве.

Они вернулись в отель.

— Рут, — сказал Керн, когда они остались одни в номере, — как пусто и холодно стало вдруг, словно весь город вымер.

Вечером они зашли к папаше Морицу. Он лежал в постели, вставать он уже не мог.

— Садитесь, дети, — сказал он. — Я уже все знаю. Здесь уж ничего не поделаешь. Каждый человек имеет право решать свою судьбу.

Мориц Розенталь знал, что он больше никогда не встанет. Поэтому он попросил поставить свою постель так, чтобы можно было смотреть в окно. В окно было видно немного: только несколько домов напротив. Но так как у него ничего больше не было, это немногое стало всем. Окна на другой стороне улицы превратились для него

в символ жизни. Он смотрел на них по утрам, когда их открывали и в рамах появлялись лица; он знал угрюмую девушку, которая мыла стекла; усталую молодую женщину, которая в сумерках почти неподвижно сидела у отодвинутой гардины и смотрела на улицу; лысого мужчину на верхнем этаже, который каждый вечер, открыв окно, делал гимнастику. Он видел, как вечерами зажигался свет за спущенными занавесками, мелькали тени; были вечера, когда все погружалось в темноту, словно покинутая пещера, и другие вечера, когда огни не гасли долго. Все это и приглушенный шум с улицы были для него внешним миром, к которому он принадлежал теперь мыслями, но не телом. Другой мир, мир воспоминаний, окружал его в комнате. Собрав свои последние силы, он с помощью горничной развесил на стенах номера все фотографии и портреты, которые имел.

На стене над кроватью висели пожелтевшие фотографии его семьи: его родителей, жены, которая умерла сорок лет назад; портрет одного из внуков, который умер семнадцати лет от роду; портрет невестки, которая умерла в тридцать пять, — мертвые, среди которых старый и одинокий Мориц Розенталь сам ожидал смерти.

На стене напротив висели пейзажи. Рейнские ландшафты, крепости, замки, виноградники, а между ними пестрые вырезки из журналов, восходы солнца и бури на Рейне и, наконец, серия фотографий прирейнского городка Годесберга.

— Ничего не поделаешь, — говорил смущенно Мориц Розенталь. — Собственно, надо бы повесить сюда фотографии Палестины; хотя бы несколько штук. Но можно обойтись и без них.

— Сколько вы прожили в Годесберге? — спросила Рут.

— До восемнадцати лет. А потом мы уехали.

— А позже?

— Я больше никогда не был там.

— Это было давно, папа Мориц, — сказала Рут.

— Да, тебя тогда еще не было на свете. Может быть, в то время только родилась твоя мать.

«Странно, — подумала Рут, — моя мать родилась, когда эти картинки уже стали воспоминаниями в мозгу за этим лбом, а она прожила свою тяжелую жизнь, и ее не стало, но те же самые воспоминания все еще бродят, как привидения, за этим старым лбом, — как будто они сильнее, чем чья-то жизнь».

В дверь постучали. Вошла Эдит Розенфельд.

— Эдит, — сказал Мориц Розенталь. — Моя веч-

ная любовь! Ты откуда?

— С вокзала, Мориц. Я проводила Макса. Он едет в Лондон, а оттуда в Мехико.

— Значит, ты теперь одна, Эдит…

— Да, Мориц, теперь я всех пристроила, и они могут работать.

— Что будет делать Макс в Мехико?

— Он едет туда рабочим. Но он попытается устроиться где-нибудь по продаже автомобилей.

— Ты хорошая мать, Эдит, — сказал Мориц Розенталь спустя несколько мгновений.

— Я — как все, Мориц.

— Что ты теперь будешь делать?

— Я немного отдохну. А потом у меня снова будет работа. Здесь в отеле есть малыш. Родился две недели назад. Матери придется скоро снова работать. А я стану приемной бабушкой.

Мориц Розенталь немного приподнялся.

— Малыш? Двухнедельный? Значит, теперь у тебя француз? В восемьдесят лет мне бы это не удалось. — Он улыбнулся. — А ты умеешь петь колыбельные, Эдит?

— Да.

— Те, которые ты когда-то пела моему сыну? Это было давно, Эдит. Все вдруг отодвинулось так далеко. Не споешь ли ты и мне снова одну

из тех песен? Иногда я чувствую себя ребенком, которому хочется спать.

— Какую же, Мориц?

— Песню о бедном еврейском мальчике. Ты пела ее сорок лет назад. Тогда ты была очень красива и молода. Ты все еще красива, Эдит.

Эдит Розенфельд усмехнулась. Потом немного выпрямилась и нетвердым голосом запела старую еврейскую песню. Ее голос слегка скрипел, словно слабая мелодия старинной музыкальной шкатулки. Мориц Розенталь слушал, откинувшись назад. Он закрыл глаза, и дыхание его было ровным. Старая женщина в неуютной комнате тихо пела тоскливую песню о тех, у кого нет родины, с печальными словами:

Изюмчиком, миндальчиком

Ты будешь торговать.

Будь послушным еврейским мальчиком,

Ложись, мой еврейчик, спать.

Рут и Керн сидели молча и слушали. Над их головами шумел ветер времени — сорок, пятьдесят лет промелькнули в разговоре старой женщины с ее старым другом, и обоим старикам это казалось понятным. Но для этих двух двадцатилетних

даже один год был чем-то бесконечным и почти невообразимым, и они ощущали что-то вроде призрачного страха: перед тем, что все прошло и должно пройти, и перед тем, что это когда-нибудь коснется и их…

Эдит Розенфельд встала и наклонилась над Морицем Розенталем. Он спал. Она долго смотрела на крупное лицо старца.

— Идемте, — сказала она наконец, — пусть он спит.

Она погасила свет, и они бесшумно вышли в мрачный коридор и поднялись в свой номер.

Керн как раз притащил тяжелую тачку с землей к павильону, где его ждал Мариль, когда его остановили двое.

— Одну минуточку! Вы также, — обратился один из них к Марилю.

Керн медленно опустил тачку на землю. Он знал, что произошло.

Он знал эту интонацию: в любой точке планеты он очнулся бы от самого глубокого сна, услышав эту тихую, вежливую и неумолимую интонацию около своей постели.

— Будьте любезны предъявить ваши документы.

— У меня их нет с собой, — ответил Керн.

— Будьте так любезны предъявить прежде ваши, — сказал Мариль.

— Ну разумеется, пожалуйста. Прошу, этого достаточно, не так ли? Полиция. Этот господин — контролер министерства труда. Вы понимаете; большое число французских безработных вынуждает нас… контролировать…

— Я понимаю, сударь. К сожалению, я могу предъявить вам лишь разрешение на жительство. Разрешения на работу у меня нет; но вы его, конечно, и не ожидали.

— Вы совершенно правы, сударь, — вежливо сказал контролер, — мы этого не ожидали. Но нам достаточно. Вы можете продолжать работу. В этом особом случае на строительстве Выставки правительство не будет слишком строго придерживаться формы. Извините, пожалуйста, что помешал.

— Пожалуйста, это же ваш долг.

— Позвольте ваше разрешение? — обратился контролер к Керну.

— У меня его нет.

— Нет разрешения на жительство?

— Нет.

— Вы иммигрировали нелегально?

— У меня не было другой возможности.

— Очень сожалею, — сказал полицейский, — но мы обязаны доставить вас в префектуру.

— Я так и думал, — ответил Керн и посмотрел на Мариля. — Скажите Рут, что меня сцапали; я вернусь, как только смогу. Пусть она не беспокоится.

Они говорили по-немецки.

— Если вам надо немного поговорить, то я не имею ничего против, — любезно заявил контролер.

— Я позабочусь о Рут, пока вы не вернетесь, — сказал Мариль по-немецки. — Ни пуха ни пера, старина. Попросите, чтобы вас отправили через Базель. Вернетесь через Бургфельден обратно. Закажите из кафе «Штайф» при гостинице «Штайф» в Сен-Луисе такси до Мюльхаузена, а оттуда до Бельфора. Это лучший путь. Если вас доставят в тюрьму «Сайте», напишите мне, как только сможете. Классман будет тоже иметь вас в виду. Я ему сейчас же позвоню.

Керн кивнул Марилю.

— Я готов, — сказал он.

Представитель полиции передал его человеку, который ожидал поблизости. Контролер с усмешкой посмотрел на Мариля.

— Вы очень трогательно прощались, — сказал

он на безупречном немецком языке. — Кажется, вы хорошо знаете наши границы.

— К сожалению, — ответил Мариль.

Мариль сидел в бистро с Вазером.

— Давайте выпьем еще, — сказал он. — Я не решаюсь вернуться в отель! Это со мной первый раз. Что вы пьете? Фэн или перно?

— Фэн, — заявил Вазер с достоинством. — Перно — это анисовая бурда для баб.

— Но не во Франции. — Мариль подозвал официанта и заказал один коньяк и один чистый перно.

— Я могу ей сказать, — предложил Вазер. — В нашем кругу такие вещи происходят сплошь и рядом. У нас человека могут сцапать в любую минуту, и всегда надо сообщать об этом жене или девушке. Хорошо, если бы вы посвятили себя великому общему делу, которое всегда требует жертв.

— Что за общее дело?

— Движение! Революционное просвещение масс, разумеется!

Мариль некоторое время внимательно смотрел на коммуниста.

— Вазер, — сказал он потом спокойно. — На этом далеко не уедешь. Это хорошо для социали-

стического манифеста, но не больше. Я забыл, что вы погрязли в политике. Выпьем еще — и за дело. Как-то нужно это сделать.

Они расплатились и пошли по слякоти в отель «Верден». Вазер исчез в катакомбе, а Мариль медленно поднялся по лестнице. Он постучал в дверь. Рут открыла так быстро, словно ждала за дверью. Улыбка на ее лице намного стерлась, когда она увидела Мариля.

— Мариль, — сказала она.

— Да, вы, конечно, не меня ждали, а?

— Я думала, это Людвиг. Он должен прийти с минуты на минуту.

— Да.

Мариль вошел. Он увидел тарелки, стоящие на столе, воду, кипящую на спиртовке, хлеб, салат и цветы в вазе. Он видел это все, он видел Рут, в ожидании стоявшую перед ним, и нерешительно поднял вазу, чтобы что-то сделать.

— Цветы, — пробормотал он. — Снова цветы…

— Цветы очень дешевы в Париже, — сказала Рут.

— Да. Я не об этом. Только… — Мариль так осторожно поставил на место вазу, словно она была не из дешевого толстого плексигласа, а из тончайшего фарфора. — Только от этого становится

еще хуже, все это и без того чертовски тяжело…

— Что?

Мариль не отвечал.

— Я знаю, — вдруг сказала Рут. — Полиция схватила Людвига.

Мариль повернулся к ней.

— Да, Рут.

— Где он?

— В префектуре.

Рут молча взяла пальто. Она его надела, засунула в карманы кое-какие вещи и пошла к двери мимо Мариля. Он задержал ее.

— Это бессмысленно, — заявил он. — Это не поможет ни вам, ни ему. У нас есть в префектуре свой человек, который будет в курсе дела. Останьтесь!

— Как я могу? Я ведь могу его еще увидеть! Пусть они меня тоже посадят. И тогда мы вместе перейдем через границу.

Мариль крепко держал ее. Она была как сжатая пружина. Ее лицо было бледным и, кажется, уменьшилось от напряжения. Потом она вдруг обмякла.

— Мариль, — сказала она беспомощно, — что мне делать?

— Оставаться здесь. Классман в префектуре.

Он нам скажет, что произошло. Его могут только выслать. Тогда он вернется через несколько дней. Он знает, что вы будете разумной.

— Да, буду. — Ее глаза были полны слез. Она сняла пальто и уронила его на пол. — Мариль, — сказала она, — за что с нами так поступают? Мы же никому не причинили зла?

Мариль задумчиво посмотрел на нее.

— Я думаю, именно в этом все дело, — сказал он. — Я правда думаю, что именно в этом.

— Его отправят в тюрьму?

— Думаю, что нет. Узнаем через Классмана. Надо ждать до завтра.

Рут кивнула и медленно подняла с пола пальто.

— Классман больше ничего не сказал?

— Нет. Я говорил с ним одну минуту. А потом он сразу же ушел в префектуру.

— Я была там с ним сегодня утром. Меня поставили на учет. — Она вынула из кармана пальто бумагу, разгладила и отдала Марилю. — Вот почему он ушел.

Это было разрешение на прописку Рут, действительное на четыре недели.

— Комитету по делам беженцев удалось получить прописку. У меня все-таки есть паспорт,

хотя и просроченный. Классман приходил рассказать об этом. Он все эти месяцы добивался разрешения. Я хотела показать его Людвигу. Вот почему и цветы.

— Значит, поэтому, — Мариль взял бумажку. — Это счастье и одновременно страшное невезение, — сказал он. — Но больше счастье. Это что-то вроде чуда. Такие вещи нечасто случаются. А Керн вернется. Вы верите в это?

— Да, — сказала Рут. — Одно не бывает без другого. Он должен вернуться!

— Хорошо. А теперь пойдемте со мной. Мы где-нибудь поедим. И что-нибудь выпьем. Он старый солдат. Мы все солдаты. И вы тоже, Рут. Разве я не прав?

— Да.

— За то, что у вас в руках, Керн согласился бы, чтобы его пятьдесят раз выслали. И при этом кричал бы от радости. Не так ли?

— Да, но я бы лучше сто раз отказалась…

— Я знаю, — перебил Мариль. — Мы поговорим об этом, когда он вернется. Это одно из первых солдатских правил.

— У него есть деньги, чтобы вернуться?

— Думаю, есть. Старые солдаты всегда имеют при себе немного денег на всякий случай. Если у

него не хватит, Классман найдет способ передать ему. Он наш передовой пост и патруль. А теперь идемте. Иногда чертовски здорово, что на свете есть шнапс. Особенно в последнее время.

Когда поезд остановился на границе, Штайнер был очень напряжен и насторожен. Французские таможенники равнодушно и быстро прошли по вагону. Они попросили паспорт, проштемпелевали его и вышли из купе. Поезд снова тронулся и медленно пошел дальше. Штайнер знал, что в этот момент его судьба была решена, пути назад больше не было.

Через некоторое время появились два немецких чиновника.

— Предъявите ваш паспорт.

Штайнер вынул документ и отдал тому, который был моложе.

— Зачем вы едете в Германию? — спросил второй.

— Я хочу посетить родственников.

— Вы живете в Париже?

— Нет, в Граце. В Париже я был у родственника.

— Сколько времени вы собираетесь пробыть в Германии?

— Около четырнадцати дней. Потом я вернусь

в Грац.

— У вас есть с собой валюта?

— Да. Пятьсот франков.

— Мы должны занести эти данные в паспорт. Вы привезли деньги из Австрии?

— Нет. Я получил их от племянника в Париже.

Чиновник просмотрел паспорт, потом вписал туда что-то и поставил штемпель.

— Вы должны что-нибудь провезти через таможню? — спросил второй.

— Нет, ничего, — Штайнер снял свой чемодан.

— У вас есть еще багаж?

— Нет, это все.

Чиновник мельком взглянул на чемодан.

— У вас есть газеты, брошюры или книги?

— Ничего.

— Благодарю. — Молодой чиновник отдал паспорт назад Штайнеру. Оба попрощались и вышли. Штайнер облегченно вздохнул. Он вдруг заметил, что весь мокрый от пота.

Поезд начал набирать скорость. Штайнер откинулся назад и стал смотреть через стекла в окно. За окном была ночь. По небу быстро неслись низкие облака, а между ними мерцали звезды. Проносились маленькие, полуосвещенные вокзалы. Мелькали красные и зеленые огни сигналов,

и блестели рельсы. Штайнер опустил стекло и выглянул. Влажный дорожный ветер ударил в лицо, взъерошил волосы. Он глубоко дышал: казалось, это был другой воздух. Это был другой ветер, другой горизонт, другой свет, тополя на дорогах склонялись иначе, казались доверчивее, сами дороги вели куда-то, в самое сердце, — ему было жарко. Стучала кровь в висках, пейзаж будто вырастал и глядел на него, загадочный и все же родной, — черт возьми, думал он, что это, я становлюсь сентиментальным! Он снова сел и попытался уснуть — но не мог. Темный пейзаж за окном манил и звал, превращаясь в лица и воспоминания, а когда поезд загрохотал по Рейнскому мосту, перед ним встали тяжелые годы войны: искрящиеся воды Рейна неслись с глухим шумом, вызывая в памяти имена — отзвучавшие, мертвые, почти уже забытые имена и фамилии друзей и названия полков, городов и лагерей, сотни имен из ночи лет; это было как взрыв, и Штайнера вдруг захватила буря прошлого, и он хотел защититься, и не смог. Он был один в купе. Зажигая одну сигарету за другой, он метался в тесном помещении. Он не думал, что все это могло еще иметь над ним такую власть. Он судорожно пытался заставить себя думать о завтрашнем

дне, о том, что он должен попытаться не вызвать подозрений, о больнице, о своем положении и о том, кого из друзей он мог бы найти и расспросить. Но все это показалось ему вдруг странно расплывчатым и нереальным — ускользало из его сознания; даже угрожающая ему опасность, навстречу которой он ехал, расплывалась в некое абстрактное понятие, она была бессильна охладить его пульсирующую кровь и заставить его сосредоточиться, напротив, она подхлестывала ее, и казалось, что его жизнь словно захвачена этим вихрем и совершает кружение, словно в каком-то темном мистическом танце. Тогда он сдался. Он знал, это была последняя ночь в неведении, в водовороте чувств, это была последняя ночь без жестокого сознания ясности конца. Он перестал сопротивляться. Он отдался течению.

За окном торопящегося вдаль поезда лежала большая ночь. У нее не было конца, она распласталась над сорока годами человека и его жизни, для которой сорок лет означают вечность.

Скользящие за окном деревни с редкими огнями, где изредка раздавался собачий лай, были деревнями его детства — он играл здесь, над ними проходили зимы и лета, и колокола их церквей звонили для него. Черные заснувшие леса, про-

летающие мимо, были лесами его юности — в тени их зелено-золотых сумерек совершались его первые путешествия в неведомое, в их гладких прудах отражалось его лицо, когда он, затаив дыхание, разглядывал божью коровку с красным брюшком, чья маленькая жизнь трепетала на его ладони, и ветер, который шумел в буках и пел в елях, был старым как мир ветром приключений.

Мерцающие матовые дороги, которые, как сеть, затягивали тучные поля, были дорогами его терзаний, он бродил по этим дорогам, в сомнениях нерешительно останавливался на перекрестках, он знал их расставания и надежды и повторение их от горизонта к горизонту, он знал все верстовые столбы и постоялые дворы на этих дорогах. И дома, под крышами которых теплился огонь, и красноватый свет в их окнах как обещание тепла и родины; он жил в каждом доме, помнил мягкий поворот дверных ручек, он знал, кто ждет его, слегка наклонив голову с золотыми, огнистыми волосами, искрящимися от светового круга лампы, — она, чье лицо всегда ожидало его, на всех дорогах и во всех углах света. Иногда затемненное, часто почти невидимое, залитое тоской и стремлением забыть, лицо его жизни, навстречу которому он сейчас ехал. Лицо, которое вставало

теперь на ночном небе, глаза, которые мерцали за облаками, рот, произносивший беззвучные слова на горизонте, руки, которые он уже ощущал в прикосновении ветра, в шелесте деревьев, и улыбка, в которой тонули ландшафт и его сердце под натиском бесконечного чувства.

Он чувствовал, как его жилы сжимались и открывались, казалось, его кровь вытекает из них в тот чистый поток, что был вне его, вбирал в себя его кровь и возвращался с новой силой, соединял его руки с теми далекими руками, что протягивались ему навстречу, в этот вечный круговорот, который отламывал от него кусок за куском и уносил прочь, который растворил его одиночество, как весеннее половодье растворяет льдину, и который дал ему единственной бесконечной ночью это одинокое счастье причастности ко всему сущему и все вместил в его груди: его жизнь, потерянные годы, сияние любви и глубокое знание о возвращении по ту сторону разрушения.

XX

Штайнер приехал в одиннадцать утра. Он оставил чемодан в камере хранения и сразу же пошел в больницу. Он не видел города; он видел только то немногое, что проносилось с обеих сторон от

него, — поток домов, машин и людей.

Он остановился перед большим белым строением. Мгновение он медлил. Он смотрел на белый портал и бесконечные ряды окон, этаж за этажом. Где-то там — а может быть, уже и нет. Он стиснул зубы и вошел.

— Я хотел бы узнать, когда приемные часы для посетителей? — спросил он в справочном бюро.

— Какой класс? — спросила сестра.

— Я не знаю. Я прихожу в первый раз.

— Кого вы хотите видеть?

— Госпожу Марию Штайнер.

Штайнер на мгновение поразился, когда сестра равнодушно заглянула в толстую книгу.

Произнося это имя, он почти ожидал, что белый приемный покой обрушится или что сестра вскочит с места и позовет кого-нибудь, вахтера или полицию.

Сестра листала книгу.

— Пациентов первого класса можно посещать в любое время, — сказала она.

— Это не первый класс, — ответил Штайнер. — Может быть, третий.

— Третий класс — приемные часы от трех до пяти.

Сестра все искала и искала.

— Какая, вы сказали, фамилия? — спросила она.

— Штайнер, Мария Штайнер. — У Штайнера вдруг пересохло в горле. Он не отрываясь смотрел на миловидную, похожую на куклу сестру словно ждал своего смертного приговора. Он ждал, что она скажет: умерла.

— Мария Штайнер, — сказала сестра, — второй класс. Палата номер пятьсот пять, пятый этаж. Приемные часы от трех до шести.

— Пятьсот пять. Большое спасибо, сестра.

— Пожалуйста.

Штайнер остановился. Сестра взяла трубку зазвонившего телефона.

— Вы хотите о чем-то спросить, сударь?

— Она еще жива? — спросил Штайнер.

Сестра положила трубку на стол. В трубке продолжал квакать тихий металлический голос, словно телефон был каким-то животным.

— Конечно, сударь, — сказала сестра и заглянула в книгу. — Иначе около фамилии стояла бы пометка. У нас точно все отмечается.

— Спасибо.

Штайнер собрал всю свою волю, чтобы не попросить разрешения сразу же подняться наверх. Он боялся, что его спросят почему, а он не должен

был привлекать внимания. Поэтому он ушел.

Он бесцельно бродил по улицам, описывал все большие круги вокруг больницы. «Она жива, — думал он. — Мой бог, она жива!» Потом его вдруг охватил страх, что его могут узнать, и он вошел в какую-то маленькую пивную, чтобы там переждать. Он заказал что-то поесть, но не мог проглотить ни куска. Официант неприязненно поглядел на него.

— Вам не нравится?

— Нет, это вкусно. Но принесите мне раньше вишневки.

Он заставил себя съесть обед. Потом попросил газету и сигареты. Он делал вид, что читает, и пытался читать. Но ничего не проникало сквозь стену его лба. Он сидел в полутемном помещении, где пахло едой и прокисшим разлитым пивом, и переживал самые страшные часы своей жизни. Ему казалось, что Мария умирает теперь, именно в эти минуты. Он слышал, как она в отчаянии звала его, он видел ее лицо, покрытое смертельным потом, а он, словно придавленный свинцовой тяжестью, сидел на своем стуле, закрывшись газетой, и стискивал зубы, чтобы не застонать, не вскочить и не броситься прочь. Медленно ползущая стрелка на его часах была

рукой судьбы, которая останавливала его жизнь и почти душила его своей медленностью.

Наконец он опустил газету и встал. Официант, облокотившись на стойку, ковырял в зубах. Увидев, что посетитель поднялся, он подошел ближе.

— Счет? — спросил он.

— Нет, — сказал Штайнер. — Еще вишневки.

— Хорошо. — Официант налил.

— Выпейте со мной.

— Можно. — Официант налил полный стакан и поднял его двумя пальцами. — Ваше здоровье!

— Да, — сказал Штайнер. — На здоровье. — Они выпили и поставили стаканы. — Вы играете в бильярд? — спросил Штайнер. Официант взглянул на стол, затянутый зеленым сукном, стоявший посредине комнаты.

— Немного.

— Сыграем партию?

— А почему бы и нет? Вы хорошо играете?

— Я давно не играл. Можем сыграть пробную партию, если хотите.

— Согласен.

Они помелили кии и разогнали несколько шаров. Потом начали партию, и Штайнер выиграл.

— Вы играете лучше, чем я, — сказал офици-

ант. — Вы должны дать мне десять очков вперед.

— Хорошо.

«Если я выиграю эту партию, все будет хорошо, — подумал Штайнер. — Она жива, я увижу ее, может быть, она выздоровеет». Он играл сосредоточенно и выиграл партию.

— Теперь я дам вам двадцать очков вперед, — сказал он. Эти двадцать очков были жизнью, здоровьем и одновременно бегством, а стук белых шаров был словно скрежет ключей судьбы. Игра была трудной. Официант серией хороших ударов почти добился выигрыша. Ему оставалось только два очка; потом он промазал последний шар на один сантиметр. Штайнер взял кий и начал играть. У него ломило в глазах, и ему пришлось несколько раз останавливаться; но он доиграл, не сделав ни одного неудачного удара.

— Хорошо сыграно, — сказал официант с уважением.

Штайнер благодарно кивнул ему и посмотрел на часы.

Было немного больше трех. Он быстро уплатил и вышел.

Он поднимался наверх по ступеням, покрытым линолеумом, и его била страшная, невыносимо частая дрожь. Длинный коридор петлял и из-

вивался, а потом вдруг возникла белая меловая дверь, качнулась на него и остановилась неподвижно: пятьсот пять.

Штайнер постучал. Никто не ответил. Он постучал еще раз. В животе у него судорожно сжалось от ужасной мысли, что что-то произошло. Он открыл дверь.

Маленькая комната, освещенная послеполуденным солнцем, казалась островом покоя, возникшим из другого мира. Казалось, что ревущее, несущееся вперед время больше не властно над бесконечно спокойной женщиной, которая лежала в кровати и смотрела на Штайнера. Он закачался, шляпа выпала у него из рук. Он хотел нагнуться, чтобы поднять ее, но, наклоняясь, он словно получил удар в спину, и, не сознавая, что делает, упал на колени перед кроватью, отдавшись этой дрожи и чувству возвращения.

Глаза женщины долго и умиротворенно смотрели на него. Только постепенно в них появилось беспокойство. Лоб задрожал, шевельнулись губы. Потом в них вспыхнул ужас. Рука, лежавшая неподвижно на одеяле, поднялась, словно она хотела удостовериться и коснуться того, что видели глаза.

— Это я, Мария, — сказал Штайнер. Женщи-

на попыталась приподнять голову. Ее глаза блуждали по его лицу, приблизившемуся к ней вплотную. — Успокойся, Мария, это я, — сказал Штайнер. — Я приехал.

— Йозеф, — прошептала женщина.

Штайнер должен был опустить голову. Его глаза были полны влаги. Он закусил губы и глотнул.

— Это я, Мария. Я вернулся к тебе.

— Если они найдут тебя… — прошептала женщина.

— Они не найдут меня. Они не могут меня найти. Я могу остаться здесь. Я останусь с тобой.

— Обними меня, Йозеф… я должна чувствовать, что ты здесь. Я часто видела тебя…

Он взял ее легкую руку с голубыми прожилками в свои руки и поцеловал. Потом он наклонился над ней и прикоснулся губами к ее усталому, уже далекому рту. Когда он поднялся, ее глаза были полны слез. Она слегка качнула головой, и капли упали вниз, словно дождь.

— Я знала, что ты не можешь приехать. Но я все время ждала тебя…

— Я теперь останусь с тобой.

Она попыталась оттолкнуть его.

— Ты же не можешь здесь оставаться. Ты должен уехать. Ты же знаешь, что здесь было. Ты

должен сейчас же уйти. Уходи, Йозеф!

— Нет, это не опасно.

— Это опасно, я знаю лучше. Я видела тебя, а теперь уходи! Это еще недолго протянется. Я могу справиться одна.

— Я все так устроил, что могу остаться здесь, Мария. Скоро будет амнистия, и я буду свободен.

Она посмотрела на него недоверчиво.

— Это правда, — сказал он. — Я клянусь тебе, Мария. Никому не нужно знать, что я здесь. Но если кто-нибудь и узнает, ничего страшного.

— Я ничего не скажу, Йозеф. Я никогда ничего не говорила.

— Я знаю, Мария. — Горячая теплая волна ударила ему в голову. — Ты не развелась со мной?

— Нет. Я не могла. Не сердись на меня за это.

— Это было только ради тебя, чтобы тебе было легче.

— Мне не было трудно. Мне помогали. И с этой палатой. Одной лежать лучше. Ты тогда больше со мной.

Штайнер посмотрел на нее. Ее лицо осунулось, выступили кости, кожа была бледно-восковой с синими тенями. Шея была хрупкой и тонкой, а ключицы выпирали из впалых плеч. Даже глаза замутились, а рот потерял краски. Только волосы

светились и искрились, они, казалось, стали еще пышнее и гуще, словно в них собралась вся ушедшая сила, торжествуя над угасающей плотью. В послеполуденном солнце они казались большим красно-золотым георгином, отчаянным протестом против усталости по-детски беспомощного тела, которое едва вырисовывалось под простыней.

Дверь открылась, вошла сестра. Штайнер встал. Сестра принесла стакан с какой-то молочной жидкостью и поставила его на стол.

— У вас посетители? — спросила она, а ее быстрые синие глаза в это время изучали Штайнера.

Больная повернула голову.

— Из Бреслау, — прошептала она.

— Это далеко. Ну и прекрасно. Вас это все же несколько развлечет. — Торопливый взгляд синих глаз снова скользнул по Штайнеру, пока сестра вынимала термометр.

— У нее температура? — спросил Штайнер.

— Где там, — ответила сестра любезно. — Уже много дней, как температуры больше нет. — Она поставила градусник и вышла.

Штайнер пододвинул стул к постели и сел совсем рядом с Марией. Он взял ее руки в свои.

— Ты рада, что я здесь? — он понимал, насколь-

ко нелеп его вопрос.

— Это все, — сказала Мария без улыбки.

Они смотрели друг на друга и молчали. Им мало что надо было сказать, ведь то, что они были вместе, было так много. Они смотрели друг на друга, и, кроме них, не было никого. Они растворились друг в друге. Они вернулись к себе. У жизни не было прошлого и не было будущего; только настоящее. Это был покой, тишина и мир.

Сестра вошла еще раз и сделала пометку на кривой температуры: они почти не заметили этого. Они смотрели друг на друга. Солнце медленно уходило, оно нехотя оставило прекрасные пламенеющие волосы и, как мягкая кошка, примостилось рядом на подушке; потом оно с неудовольствием передвинулось на стену и медленно поползло по ней вверх. Двое смотрели друг на друга. Пришли синеногие сумерки и заполнили комнату; они не отрываясь смотрели друг на друга, пока из углов комнаты не прилетели тени и не закрыли своими крыльями белое лицо, единственное в мире лицо.

Дверь открылась, с потоком света в комнату вошел врач, а за ним сестра.

— Теперь вы должны идти, — сказала сестра.

— Да, — Штайнер поднялся и наклонился над

кроватью. — Я приду завтра еще, Мария.

Она лежала, как уставший от игр, полусонный, дремлющий ребенок.

— Да, — сказала она, и он не смог понять, обращается она к нему или к его образу во сне. — Да, приходи еще.

За дверью Штайнер дождался врача. Он спросил его, как долго это еще продлится. Врач внимательно поглядел на него.

— Самое большее три-четыре дня, — сказал он потом. — Чудо, что она вообще так долго продержалась.

— Спасибо.

Штайнер медленно спустился по лестницам. Перед порталом он остановился. Перед ним вдруг встал город. Он не воспринял его, когда приехал, — но теперь он лежал перед ним, различимый и неотступный. Он видел улицы, он видел опасность, невидимую, молчаливую опасность, которая ждала его на каждом углу, за каждой дверью, в каждом прохожем. Он знал, что он не много может сделать. Белое каменное здание за его спиной было ловушкой, где его могли поймать на приманку, как дикого кабана в трясине. Но он знал также, что должен спрятаться, чтобы иметь возможность вернуться туда. Три или

четыре дня. Это было ничто — и целая вечность. Некоторое время он раздумывал, должен ли он попытаться встретить кого-нибудь из друзей, но потом решил остановиться в каком-нибудь отеле средней руки. На первый день это было самое благоразумное.

Керн сидел с австрийцем Леопольдом Бруком и вестфальцем Мёнке в камере тюрьмы «Сайте». Они склеивали пакеты.

— Дети мои, — сказал Леопольд через некоторое время, — я голоден как волк! Больше всего я хотел бы сожрать этот клейстер — если бы за это не наказывали!

— Подожди еще десять минут, — ответил Керн. — Принесут жратву.

— Разве это поможет! После нее только и начинается настоящий голод. — Леопольд надул пакет и с треском разорвал его. — Все несчастье нашего проклятого времени в том, что у человека есть живот. Когда я подумаю о куске говядины или даже о кружевах на скатерти — я готов разнести всю эту лавочку!

Мёнке поднял голову.

— Я мечтаю скорее о большом бифштексе с кровью, — заявил он. — С луком и жареным картофелем. А к этому холодное, как лед, пиво.

— Прекрати! — простонал Леопольд. — Подумаем о чем-нибудь другом. О цветах, например.

— Почему именно о цветах?

— О чем-нибудь прекрасном, ты что, не понимаешь? Чтобы отвлечься!

— Цветы меня не отвлекают.

— Однажды я видел клумбу роз. — Леопольд судорожно пытался сосредоточиться. — Прошлым летом. Перед тюрьмой в Палланце. Вечером, в лучах солнца, когда нас выпустили. Красные розы. Красные, как… как…

— Как сырой бифштекс, — подсказал Мёнке.

— Ах, сволочь!

Заскрежетал ключ.

— Принесли жратву, — сказал Мёнке.

Дверь открылась. Это не был служитель с ужином. Это был надзиратель.

— Керн, — сказал он.

Керн встал.

— К вам посетитель.

— Наверное, президент республики, — предположил Леопольд.

— Может быть, Классман. Ведь у него документы. Может быть, он захватил еду.

— Масло! — сказал Леопольд кровожадно. — Большой кусок. Желтое, как подсолнечник!

Мёнке ухмыльнулся.

— Леопольд, скотина, да ты лирик! Теперь тебе мерещатся даже подсолнухи!

Керн остановился в дверях, словно его ударили.

— Рут, — произнес он, задыхаясь. — Как ты сюда попала? Тебя сцапали?

— Нет, нет, Людвиг!

Керн бросил быстрый взгляд на надзирателя, который безучастно стоял в углу. Потом торопливо подошел к Рут.

— Бога ради, уходи немедленно, Рут, — зашептал он по-немецки. — Ты не знаешь, что творится. Тебя могут схватить в любой момент, а это означает четыре недели тюрьмы, а повторно шесть месяцев! Ну уходи же скорей, уходи!

— Четыре недели? — Рут смотрела на него испуганно. — Ты будешь здесь четыре недели?

— Это не важно! Просто не повезло! Но ты — давай не будем так легкомысленны! У тебя любой может потребовать документы! В любую секунду.

— Но у меня же есть документы!

— Что?

— У меня разрешение на прописку, Людвиг!

Она вынула из сумки бумажку и отдала Керну.

Он уставился на документ.

— Боже правый! — произнес он медленно через некоторое время. — Это факт! Истинный и реальный! Это все равно как если бы кто-нибудь воскрес из мертвых! Значит, это удалось второй раз! Кто это сделал? Комитет?

— Да. Комитет беженцев и Классман.

— Господин надзиратель, — сказал Керн, — разрешается ли заключенному поцеловать даму?

Надзиратель лениво взглянул на него.

— Мне-то что, целуйте сколько угодно, — ответствовал он. — Главное, чтобы она при этом не передала вам нож или напильник!

— К чему, раз сидеть всего несколько недель.

Надзиратель свернул себе цигарку и зажег.

— Рут, — сказал Керн. — Что-нибудь слышно о Штайнере?

— Нет, ничего. Но Мариль говорит, что это и невозможно. Он наверняка и не будет писать. Он просто вернется. Он просто появится вдруг.

Керн посмотрел на нее.

— Мариль действительно верит в это?

— Мы все верим в это, Людвиг. А что мы можем еще?

Керн кивнул.

— Да, что еще мы можем сделать! Ведь только

неделя прошла с тех пор, как он уехал. Может быть, он выживет.

— Он должен выжить. Я не могу думать иначе.

— Пора, — сказал надзиратель. — Конец на сегодня.

Керн обнял Рут.

— Возвращайся, — прошептала она. — Возвращайся скорее! Ты останешься в «Сайте»?

— Нет. Они переводят нас. На границу.

— Я попытаюсь получить разрешение прийти еще! Возвращайся! Я люблю тебя. Возвращайся скорее! Мне страшно! Я хотела бы поехать с тобой!

— Этого нельзя. Твоя прописка действительна только в Париже. Я вернусь.

— У меня здесь деньги. Они под планкой на плече. Возьми, когда будешь целовать меня.

— Мне ничего не надо. У меня достаточно. Оставь себе! Мариль поможет тебе. Может быть, и Штайнер скоро вернется.

— Пора! — напомнил надзиратель. — Дети, ведь он же не идет на гильотину!

— До свиданья! — Рут поцеловала Керна. — Я люблю тебя. Возвращайся, Людвиг. — Она обернулась и взяла со скамьи пакет. — Здесь еда. Внизу проверили. Все в порядке, — сказала она надзи-

рателю. — До свиданья, Людвиг!

— Я счастлив, Рут! Господи, я счастлив, что у тебя прописка. Теперь для меня здесь рай!

— Прошу! — сказал надзиратель. — Обратно в рай.

Керн взял пакет под мышку. Он был тяжелый. Керн вернулся в камеру вместе с надзирателем.

— Знаете, — сказал тот задумчиво через мгновение, — моей жене шестьдесят, и у нее небольшой горб. Иногда это бросается в глаза.

Служащий с мисками стоял перед камерой как раз в тот момент, когда Керн вернулся.

— Керн, — сказал Леопольд с безутешной физиономией. — Снова картофельный суп без картофеля.

— Это овощной суп, — заявил служащий.

— Можешь сказать, что это кофе, — возразил Леопольд. — Я верю тебе во всем.

— Что у тебя в пакете? — спросил вестфалец Мёнке.

— Какая-то еда. Я еще не знаю что.

Физиономия Леопольда засияла, как икона.

— Открывай! Быстро!

Керн развязал пакет.

— Масло! — сказал Леопольд благоговейно.

— Желтое, как подсолнух! — докончил Мёнке.

— Белое масло! Колбаса! Шоколад! — продолжал Леопольд в экстазе. — Смотрите — целый сыр!

— Желтый, как подсолнух, — повторил Мёнке.

Леопольд не обращал внимания. Он выпрямился.

— Сударь! — сказал он повелительно, обращаясь к служащему. — Заберите свою жалкую стряпню и…

— Стоп! — перебил Мёнке. — Не торопись! Ах уж эти австрийцы! Из-за них мы проиграли войну в восемнадцатом! Дайте сюда миски, — сказал он служащему. Он взял миски и поставил их на скамью. Потом расположил всю остальную еду рядом и стал внимательно изучать натюрморт. Над сыром на стене была видна надпись чернильным карандашом, сделанная прежними обитателями камеры: «Все проходит — жизнь уходит!»

Мёнке ухмыльнулся.

— Будем рассматривать овощной суп как чай, — заявил он. — А теперь поужинаем, цивилизованные люди! Что ты скажешь на это, Керн?

— Аминь, — отозвался тот.

— Я приду завтра, Мария. — Штайнер наклонился над спокойным лицом и выпрямился.

В дверях стояла сестра. Ее быстрый взгляд скользнул мимо него. Стакан в ее руке задрожал и тихо зазвенел.

Штайнер вышел в коридор.

— Стой! — скомандовал чей-то голос. Справа и слева от двери стояли два человека в униформе, с револьверами в руках. Штайнер остановился. Он даже не испытывал страха.

— Ваше имя?

— Иоганн Губер.

Подошел третий и посмотрел на него.

— Это Штайнер, — сказал он. — Без сомнения. Я его узнал. Ты ведь тоже узнал меня, Штайнер, а?

— Я не забыл тебя, Штайнбреннер, — спокойно ответил Штайнер.

— Это тебе и не удастся, — захихикал мужчина. — Добро пожаловать домой! Очень приятно снова увидеться. Ты у нас погостишь немного, а? У нас превосходный новый лагерь, со всеми удобствами.

— Представляю себе.

— Наручники, — приказал Штайнбреннер. — На всякий случай, мой милый. Если ты еще раз уйдешь, я умру от разрыва сердца.

Хлопнула дверь, Штайнер поглядел через плечо. Это была дверь той комнаты, где лежала его

жена. Сестра выглянула в коридор и быстро втянула голову обратно.

— Ага, — сказал Штайнер, — вот в чем дело…

— Да, любовь! — хихикал Штайнбреннер. — Она даже самых хитрых птичек приводит обратно в гнездышко, на благо государства и на радость друзьям.

Штайнер смотрел на прыщавое лицо с покатым подбородком и синеватыми тенями у глаз. Он смотрел спокойно: он знал, чего ему ждать от этого лица, но это было далеко, как что-то, что его еще не касалось. Штайнбреннер моргнул, облизнул губы и отступил на шаг назад.

— Тебя еще не мучает совесть, Штайнбреннер? — спросил Штайнер.

Тот ухмыльнулся.

— У меня она чистая, голубчик. И становится тем чище, чем больше вашего брата я беру за жабры. Сплю великолепно. Ради тебя, однако, сделаю исключение. К тебе я загляну ночью, чтобы немного поболтать. Увести! — вдруг заорал он.

Штайнер под конвоем спускался по лестнице. Люди, которые встречались им по дороге, останавливались и молча пропускали их. На улице царило то же молчание.

Штайнера привели на допрос. Его допрашивал

пожилой чиновник. Он заносил в протокол его показания.

— Почему вы вернулись в Германию? — спросил чиновник.

— Я хотел увидеть мою жену, прежде чем она умрет.

— Кого из ваших политических сообщников вы встречали?

— Никого.

— Лучше скажите мне, пока вас не перевели.

— Я уже сказал: никого.

— По чьему заданию вы очутились здесь?

— У меня нет никаких заданий.

— К какой политической организации вы примыкали за границей?

— Ни к какой.

— На что же вы тогда жили?

— На то, что зарабатывал. Вы же видите, что у меня австрийский паспорт.

— С какой группой вы должны были здесь установить связь?

— Если бы я собирался это сделать, я вел бы себя иначе. Я знал, что делал, когда ехал к моей жене.

Чиновник допрашивал его еще некоторое время. Потом стал изучать его паспорт и письмо, которое отобрали у него при обыске. Он взглянул

на Штайнера, потом еще раз перечел письмо.

— Вас переведут сегодня во второй половине дня, — сказал он наконец, пожав плечами.

— У меня к вам просьба, — ответил Штайнер. — Это немного, но для меня в этом все. Моя жена еще жива. Врач говорит, что это может продлиться еще два дня, самое большее. Она знает, что я должен прийти завтра. Если я не приду, она поймет, что я здесь. Я не жду для себя ни сочувствия, ни каких-либо поблажек; но я хотел бы, чтобы моя жена умерла спокойно. Я прошу вас задержать меня здесь на один или два дня и разрешить мне видеться с женой.

— Это невозможно. Я не могу предоставить вам возможность для побега.

— Я не убегу. Палата на пятом этаже, и в ней нет запасных выходов. Если меня приведут туда и будут охранять за дверью, я ничего не смогу сделать. Я прошу не ради себя: я прошу ради умирающей женщины.

— Невозможно, — сказал чиновник. — Это не в моей компетенции.

— В вашей компетенции. Вы можете допросить меня еще раз. И вы можете разрешить мне это свидание. Хотя бы под тем предлогом, что я могу сказать жене нечто важное. Это было бы основа-

нием для того, чтобы охрана осталась в коридоре. Вы могли бы устроить так, что сестра останется в палате, ведь она человек надежный.

— Это все бессмысленно. Ваша жена ничего не скажет вам, а вы ничего не скажете ей.

— Конечно, нет. Она же ничего не знает. Но она умрет спокойно.

Чиновник размышлял, перелистывая бумаги.

— Мы допрашивали вас тогда о группе «Семь». Вы не назвали имен. За это время мы нашли Мюллера, Бозе и Вельдорфа. Вы назовете нам остальные имена?

Штайнер молчал.

— Вы назовете остальные имена, если я предоставлю вам возможность два дня видеться с женой?

— Да, — сказал Штайнер через несколько мгновений.

— Тогда назовите их мне.

Штайнер молчал.

— Вы назовете два имени завтра вечером, а остальные послезавтра?

— Я назову вам имена послезавтра.

— Вы обещаете?

— Да.

Чиновник долго смотрел на него.

— Я попробую для вас кое-что сделать. Теперь вас отведут в вашу камеру.

— Вы не отдадите мне письмо? — спросил Штайнер.

— Письмо? Оно должно остаться в бумагах. — Чиновник нерешительно рассматривал листок. — В нем нет ничего компрометирующего. Хорошо, возьмите его.

— Спасибо, — сказал Штайнер.

Чиновник позвонил и приказал увести Штайнера. «Жаль, — подумал он, — но что же делать? Прояви хоть каплю человечности — сам попадешь в эту чертову мельницу». Он вдруг стукнул кулаком по столу.

Мориц Розенталь лежал в постели. В первый раз за много дней он не испытывал боли. Был ранний вечер, и в серебряно-голубых сумерках парижского февраля зажигались первые огни. Не поворачивая головы, Мориц Розенталь заметил, что осветились окна дома напротив, в сумерках этот дом качался, словно огромный корабль, словно океанский теплоход перед отплытием. Часть стены между окнами бросала длинную темную тень на отель «Верден»; он казался сделанным из теней сходней, по которым надо было сойти на берег.

Мориц Розенталь лежал неподвижно в своей постели, но он видел, как окна напротив вдруг отворились и кто-то похожий на него встал и вышел. Этот кто-то перешагнул на корабль, который тихо покачивался в долгих сумерках жизни, якорь сверкнул и медленно опустился. Комната вокруг него, словно размокшая картонная коробка, захваченная водоворотом, уплыла прочь. Неслись прочь улицы, в тумане скользили леса, корабль мягко погружался в тихую зыбь бесконечности, наплывали облака, звезды и глубокая синева, а потом в этой качке словно зазвучала колыбельная песня — навстречу ему показался берег, золотой и розовый… Темные сходни снова беззвучно опустились, он сошел по ним на берег, а когда оглянулся, корабля уже не было, и он остался один на незнакомом берегу.

У его ног расстилалась длинная широкая дорога. Старый бродяга, он недолго раздумывал: дорога существует для того, чтобы идти по ней, — а его ноги знали много дорог.

Но уже через некоторое время он увидел огромные ворота, сверкающие за серебряными деревьями; за воротами сияли купола и башни. Перед входом стояла какая-то фигура с жезлом, окруженная сиянием и светом.

«Таможня!» — подумал испуганно папаша Мориц и отпрыгнул назад, за кусты. Он оглянулся. Дороги назад не было: дорога вела в никуда. «Ничего не поделаешь, — подумал привычно старый эмигрант, — придется прятаться здесь до ночи. Может быть, тогда мне удастся убраться отсюда и обойти таможню стороной». Он осторожно выглянул из кустов, между ветками оникса и карбункула, и увидел, что огромный привратник машет своим жезлом. Он еще раз оглянулся. Кроме него, никого не было. Привратник снова замахал.

— Папаша Мориц! — раздался вдруг мягкий, но очень звучный голос.

«Кричи себе сколько угодно, — подумал папаша Мориц, — я не отзовусь».

— Папаша Мориц! — снова крикнул голос. — Выйди из-за куста страданий.

Мориц встал. «Попался, — подумал он. — Этот парень, конечно, бегает лучше меня, ничего не поделаешь, надо идти».

— Папаша Мориц! — снова крикнул голос.

«Он уже меня знает, какая неприятность, — бормотал Мориц. — И отсюда меня тоже выселят. Это значит — по самым последним законам три месяца тюрьмы, самое меньшее. Но, может быть,

здесь хорошо кормят. И дадут почитать что-нибудь новенькое, а не «Семейный журнал» за 1902 год. Я бы почитал что-нибудь Хемингуэя».

Ворота светились все ярче, пока он подходил. «Что это у них за световые эффекты на границе, — размышлял папаша Мориц. — Может быть, они завели эту иллюминацию, чтобы им было легче ловить нас? Ужасная расточительность!»

— Папаша Мориц! — сказал привратник. — Почему же ты прячешься?

«Ну и вопрос, — подумал Мориц, — ведь он же знает меня и понимает, в чем дело».

— Входи, — сказал привратник.

— Послушайте, — возразил Мориц, — пока я еще не совершил никакого нарушения, мне кажется. Я же еще не перешел вашей границы. Или уже перешел?

— Уже перешел, — сказал страж.

«Тогда я пропал, — подумал Розенталь. — Это похоже на остров, может быть, это Куба, туда в последнее время все едут».

— Не бойся, — сказал великан, — тебе ничего не будет. Входи спокойно.

— Послушайте, — ответил Мориц Розенталь, — я вам сразу скажу правду: у меня нет паспорта.

— У тебя нет паспорта?

«Шесть месяцев», — подумал Мориц, услышав трубный голос стража, и огорченно покачал головой.

Привратник поднял свой жезл.

— Значит, ты не должен двадцать миллионов световых лет стоять в небесных сферах. Ты немедленно получишь мягкое кресло с подлокотниками и подставками для крыльев.

— Все хорошо, — отвечал папаша Мориц, — но ничего не выйдет. У меня ведь нет разрешения на въезд и прописку. Не говоря уже о разрешении на работу.

— Нет разрешения на прописку? Нет визы? Нет работы? — стражник поднял руку. — Тогда ты получишь ложу в первом ряду, в середине, с прекрасным видом на небесные сферы и ангелов.

— Это было бы неплохо, — сказал Мориц, — тем более что я так люблю ходить в театр. Но я вам скажу такое, что все пойдет насмарку, и я очень удивляюсь, почему у вас нет объявления, чтобы нас сюда не пускать. Так я вам скажу, что я еврей. Выслан из Германии. Уже много лет на нелегальном положении.

Привратник воздел руки.

— Еврей? Выслан? Много лет на нелегальном? Тогда ты получишь двух ангелов с трубами для

личных услуг. Ангел бездомных! — крикнул он в ворота. И огромная фигура в голубых одеждах с лицом как у всех матерей мира встала рядом с папашей Морицем. — Ангел тех, кто много страдал! — снова крикнул страж, и фигура в белом с кувшином слёз на плече встала с другой стороны.

— Одну минуточку, — попросил тот и спросил привратника: — А вы уверены, месье, что там не…

— Не бойся. Наши концлагеря далеко внизу.

Ангелы взяли его под руки, и утешенный папаша Мориц, старый бродяга, старейшина эмигрантов, вошел в ворота, навстречу ослепительному сиянию, в котором все быстрее и быстрее с тихим шелестом кружились цветные тени…

— Мориц, — сказала Эдит Розенфельд, входя. — Вот малыш. Маленький француз. Хочешь на него посмотреть?

Он не отвечал. Она осторожно приблизилась. Мориц Розенталь из Годесберга на Рейне больше не дышал.

Мария еще раз проснулась. Все утро она пролежала в агонии, теряя сознание. Теперь она очнулась и узнала Штайнера.

— Ты еще здесь? — прошептала она испуганно.

— Я могу оставаться здесь столько, сколько захочу, Мария.

— Что это значит?

— Вышла амнистия. Я подпадаю под нее. Ты больше не должна бояться. Теперь я останусь здесь, с тобой.

Она задумчиво поглядела на него.

— Ты говоришь так, чтобы успокоить меня, Йозеф.

— Нет, Мария. Амнистия вышла вчера. — Он обернулся к сестре, которая возилась с чем-то в глубине палаты. — Не правда ли, сестра, со вчерашнего дня для меня нет никакой опасности быть арестованным?

— Нет, — невнятно ответила сестра.

— Пожалуйста, подойдите же поближе, жене хотелось бы точно слышать, что вы сказали.

Сестра, сгорбившись, оставалась стоять на месте.

— Я же сказала.

— Пожалуйста, сестра! — прошептала Мария.

В палате стало тихо.

— Пожалуйста, сестра, — еще раз прошептала больная.

Сестра нехотя приблизилась. Больная смотрела на нее, не отрывая напряженного взгляда.

— Не правда ли, со вчерашнего дня мне разрешено оставаться здесь? — спросил Штайнер.

— Да, — выдавила сестра.

— Для меня больше нет опасности быть арестованным?

— Нет.

— Спасибо, сестра.

Штайнер видел, как затуманились глаза умирающей. У нее больше не было сил плакать.

— Теперь все хорошо, Йозеф, — прошептала она. — И как раз теперь, когда я могу тебе понадобиться, я должна уйти…

— Ты не уйдешь, Мария…

— Мне бы хотелось встать и уйти с тобой.

— Мы уйдем отсюда вместе.

Некоторое время она лежала, глядя на него. Ее лицо было серым, под кожей резко обозначился скелет, а волосы за одну ночь потускнели и потеряли блеск, словно ослепли. Штайнер видел это все и не видел; он видел только, что она еще дышит; и пока она жила, она была для него Марией, его женой, окруженной мерцанием юности и близости.

В палату вполз вечер, и снаружи, из-за двери, временами доносилось наглое пыхтенье Штайнбреннера. Дыхание Марии стало поверхностным,

потом прерывистым, с паузами. Наконец, оно стихло и прекратилось — так засыпает слабый ветер. Штайнер держал ее за руки, пока они не стали холодными. Он умирал с ней. Когда он встал, чтобы выйти, он был бесчувственным посторонним, пустой оболочкой, двигавшейся как человек. Его равнодушный взгляд скользнул мимо сестры. За дверью его взяли Штайнбреннер и второй.

— Мы ждали тебя больше трех часов, — проворчал Штайнбреннер. — Мы с тобой еще не раз побеседуем на эту тему, можешь не сомневаться.

— Я и не сомневаюсь, Штайнбреннер, тут я в тебе уверен.

Штайнбреннер облизнул губы.

— Тебе прекрасно известно, что ко мне следует обращаться «господин охранник», так? Можешь и дальше называть меня Штайнбреннером и тыкать, а за каждый раз ты у меня неделю будешь плакать кровавыми слезами, миленький. Теперь-то у меня найдется время.

Они спускались по широкой лестнице, Штайнер между двумя охранниками. Вечер был теплым, и доходящие до пола окна овального эркера были широко открыты. Пахло бензином и предвестием весны.

— Теперь-то у меня найдется сколько угодно времени, — пояснил Штайнбреннер медленно и со смаком. — Вся твоя жизнь в моем распоряжении, миленький. И фамилии у нас вполне подходящие — Штайнер и Штайнбреннер. Поглядим, что из этого может получиться.

Штайнер задумчиво кивнул. Косо врезанное в эркер открытое окно увеличилось, приблизилось, совсем вплотную, он толкнул Штайнбреннера к окну, прыгнул к нему, на него, и вместе с ним бросился в пустоту.

— Вы можете спокойно взять эти деньги, — сказал Мариль рассеянно и печально. — Он оставил их мне для вас обоих. Просил передать их вам, если не вернется.

Керн покачал головой. Он только что приехал и сидел с Марилем в катакомбе грязный и оборванный. Он добрался из Дижона с попутной колонной грузовиков, работая на подхвате у грузчиков.

— Он вернется, — говорил он. — Штайнер вернется.

— Он не вернется, — Мариль не выдержал. — Господи Боже, да не терзайте вы меня вашим вечным: он вернется! Он не вернется! Вот, читайте это!

Он вынул из кармана смятую телеграмму и бросил ее на стол. Керн взял ее и разгладил. Телеграмма была из Берлина и адресована хозяйке «Вердена». «Поздравляю с днем рождения, Отто», — прочел он. Он посмотрел на Мариля.

— Что это значит? — спросил он.

— Это значит, что его взяли. Мы так условились. Один из его друзей должен был послать такую телеграмму. Этого надо было ожидать. Я сразу сказал ему. Ну, возьмите же, наконец, эти дурацкие деньги! — Он придвинул бумажки к Керну. — Здесь две тысячи двести сорок франков, — пояснил он. — И здесь еще кое-что! — Он вынул бумажник и оттуда две небольшие тетрадки. — Это билеты от Бордо до Мехико. На «Пакому», португальский грузовой корабль. Для вас и Рут. Уходит восемнадцатого. Мы купили их на эти деньги. Здесь то, что осталось. Визы уже есть. Отложены для вас в комитете по делам беженцев.

Керн тупо уставился на тетрадки.

— Но… — сказал он, ничего не понимая.

— Никаких «но»! — перебил Мариль сердито. — Не усложняйте дела, Керн! Все это слишком тяжело досталось! Невероятная случайность! Она произошла три дня назад. Комитет получил

от мексиканского правительства разрешение на въезд ста пятидесяти эмигрантов. При условии, что они оплатят проезд. Одно из чудес, которые все же происходят время от времени. Классман сообщил об этом. Мы немедленно стали действовать, имея в виду вас двоих. Ведь были же деньги на проезд именно теперь… Ну и… — Он умолк. — Ивонна, принесите мне один кирш, — обратился он через несколько мгновений к толстой кельнерше из Эльзаса.

Ивонна кивнула и, качая бедрами, заковыляла в кухню.

— Принесите два! — крикнул Мариль ей вслед.

Ивонна обернулась.

— Я бы так и сделала, месье Мариль, — заявила она.

— Хорошо. По крайней мере, одна добрая душа.

Мариль снова повернулся к Керну.

— Ну, поняли наконец? — спросил он. — Все это несколько неожиданно, признаюсь. Когда вы предъявите билеты и визу в префектуре, получите разрешение на жительство во Франции до того дня, когда отплывает корабль. Даже если вы на нелегальном. Комитет добился этого. Можете идти туда прямо завтра же. Это для вас единственная возможность выбраться из этого дерьма.

— Да. Первый раз — один месяц, при вторичном аресте — шесть месяцев тюрьмы.

— Шесть месяцев, да. И где-нибудь обязательно сцапают во второй раз, непременно!

Мариль поднял глаза. Перед ним стояла Ивонна и ставила на стол поднос с двумя стаканами: один был обычный стакан, а второй чайный, доверху наполненный киршем.

— Это для вас, — заявила Ивонна, ухмыляясь, и указала пальцем на чайный стакан. — За ту же цену!

— Спасибо! Вы разумная девочка, Ивонна. Жаль, если в замужестве вы превратитесь в неизбежную Ксантиппу. Или в стойкую мученицу. Ваше здоровье!

Мариль выпил одним глотком полстакана.

— Ваше здоровье, Керн! — сказал он. — Почему же вы не пьете? — Он поставил стакан на стол и в первый раз посмотрел Керну прямо в лицо. — Этого только не хватало, — сказал он, — чтобы вы начали реветь! Держитесь, вы же мужчина.

— Я не реву! — ответил Керн. — А если бы и ревел, то мне в высшей степени плевать! Проклятье, я все время думал, что вернусь, а Штайнер уже здесь, а вы мне суете деньги и билеты, я спасен, потому что он погиб, в этом какое-то подлое

свинство, разве вы не понимаете?

— Нет! Я не понимаю! Вы несете сентиментальную чепуху! В ней нечего понимать. Так всегда бывает! А теперь выпейте это! Так, как… ну, как он бы выпил. Черт возьми, вы думаете, мне легче?

— Нет… — Керн выпил свой стакан. — Я снова в форме, — сказал он. — У вас есть сигарета, Мариль?

— Конечно. Прошу…

Керн глубоко затянулся. Он увидел вдруг в глубине катакомбы лицо Штайнера. Немного насмешливое, наклоненное, освещенное неверным пламенем свечей, как тогда, тысячу лет назад, в венской тюрьме, и ему показалось, что он слышит спокойный низкий голос: «Ну, крошка?» — «Да, — подумал он, — да, Штайнер!»

— Рут знает? — спросил он.

— Да.

— Где она?

— Я не знаю. Вероятно, в комитете. Она не знала, что вы приезжаете?

— Нет. Я сам не знал точно, когда приеду. Можно в Мехико найти работу?

— Да. Какую, я не знаю. Но вы получите разрешение на жительство и работу. Это гарантировано.

— Я же не знаю ни слова по-испански, — сказал

Керн. — Или там говорят по-португальски?

— По-испански. Вам придется немедленно начать заниматься.

Керн кивнул.

Мариль наклонился к нему.

— Керн, — сказал он изменившимся вдруг голосом. — Я знаю, это не просто. Но я говорю вам: уезжайте! Не думайте! Уезжайте! Вам надо выбраться из Европы! Черт знает, что здесь еще будет! Такой шанс вряд ли может повториться. И столько денег вы тоже никогда не соберете! Уезжайте, дети! Здесь… — Он допил свой стакан.

— Вы тоже поедете? — спросил Керн.

— Нет.

— Разве денег не хватит на троих? Ведь и у нас есть еще немного.

— Дело не в этом. Я остаюсь здесь. Я не могу вам объяснить, почему я остаюсь. Мне все равно, что бы ни случилось. Этого нельзя объяснить. Это знаешь, и все.

— Я понимаю, — сказал Керн.

— Вон идет Рут, — ответил Мариль. — И вы так же должны уехать, как я остаться, понимаете?

— Да, Мариль.

— Слава богу!

Рут на секунду остановилась в дверях. Потом

бросилась к Керну:

— Когда ты приехал?

— Полчаса назад.

Рут высвободилась из объятия, которое было бесконечным и все же коротким, как один удар сердца.

— Ты знаешь?

— Да. Мариль мне все рассказал.

Керн оглянулся. Мариль уже ушел.

— И ты знаешь?.. — спросила Рут нерешительно.

— Да, знаю. Мы не будем сейчас говорить об этом. Выйдем отсюда! Пойдем на улицу. На воздух. Я хочу уйти отсюда. Пойдем на улицу.

— Да.

Они шли по Елисейским Полям. Был вечер, и в яблочно-зеленом небе бледнел месяц. Воздух был серебряным, ясным и таким теплым, что веранды кафе были заполнены посетителями.

Они долго шли молча.

— А ты знаешь, собственно, где находится Мексика? — спросил наконец Керн.

Рут покачала головой.

— Не совсем точно. Но я больше не знаю, где находится Германия.

Керн взглянул на нее. Потом взял под руку.

— Рут, нам надо купить грамматику и учить испанский.

— Я купила позавчера. В букинистическом.

— Значит, в букинистическом, — Керн улыбнулся. — Мы не пропадем, Рут, а?

Она кивнула.

— Во всяком случае, посмотрим немного на белый свет. Дома мы никогда бы не сумели этого.

Она снова кивнула.

Они шли дальше, мимо Ronde Pointe. На деревьях появлялась первая зелень. В свете ранних фонарей она напоминала мерцание огней святого Эльма, возникающих из земли и вспыхивающих сквозь сучья и ветки каштанов. Земля в парках была взрыта. Ее сильный запах странно смешивался с запахом бензина и машинного масла, который всегда сохранялся на улицах. Кое-где садовники уже разбили клумбы нарциссов. И нарциссы мерцали в сумерках. Был час, когда кончается работа, и толпа была такой густой, что продвигаться вперед было почти невозможно.

Керн посмотрел на Рут.

— Как много людей, — сказал он.

— Да, — ответила она. — Ужасно много людей.

Ночь в Лиссабоне

I

Я не сводил глаз с корабля. Ярко освещенный, он стоял поодаль от набережной, на Тежу. В Лиссабоне я находился уже неделю, но пока еще не привык к беспечному свету этого города. В тех краях, откуда я приехал, города по ночам тонули во мраке, черные, как угольные копи, а фонарь в темноте был опаснее чумы в Средние века. Я приехал из Европы двадцатого столетия.

Корабль — пассажирский пароход — стоял на погрузке. Я знал, что в море он должен выйти завтра вечером. В резком свете голых электрических ламп в трюмы загружали мясо, рыбу, консервы, хлеб и овощи; докеры тащили на борт багаж, а кран так бесшумно подносил ящики и тюки, будто они ничего не весили. Пароход готовился к рейсу, как ковчег времен потопа. Да это и *был* ковчег. Любой корабль, покидавший Европу в эти месяцы 1942 года, был ковчегом. Горой Арарат была Америка, а воды потопа день ото дня поднимались. Они давным-давно поглотили Германию и Австрию, затопили Польшу и Прагу;

Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Осло и Париж уже ушли на дно, города Италии пахли потопом, да и в Испании стало небезопасно. Побережье Португалии сделалось последним пристанищем для беглецов, которые превыше родины и существования ценили справедливость, свободу и терпимость. Для того, кто не мог добраться отсюда в обетованную землю, в Америку, все было кончено. Ему назначено обессилеть в дебрях отказов во въездных и выездных визах, недостижимых разрешений на работу и жительство, лагерей для интернированных, бюрократии, одиночества, чужбины и страшного всеобщего безразличия к судьбе одиночки, какое неизбежно порождают война, страх и нищета. Человек в это время был уже ничем, действительный паспорт — всем.

После обеда я играл в казино, в Эшториле[12]. Мой костюм выглядел пока вполне прилично, и меня туда пропустили. То была последняя, отчаянная попытка подкупить судьбу. Через несколько дней португальское разрешение на жительство истекало, а других виз мы с Рут не имели. Корабль, стоящий на Тежу, — последний, и во Франции мы надеялись отправиться на нем

[12] notes: 12

Эшторил — курортный городок в окрестностях Лиссабона, где расположено известное казино. — *Здесь и далее примеч. перев.*

в Нью-Йорк; но все билеты оказались распроданы много месяцев назад, а нам, кроме американской въездной визы, недоставало еще и трехсот с лишним долларов на переезд. Я пытался достать хотя бы денег, единственным способом, какой здесь пока что был возможен, — игрой. Попытка бессмысленная, ведь даже если б я выиграл, попасть на корабль мы могли бы только чудом. Но отчаяние и опасность учат беглеца верить в чудеса — иначе-то не выживешь. Из шестидесяти двух долларов, какие у нас еще оставались, пятьдесят шесть я проиграл.

Поздней ночью набережная была почти безлюдна. Однако немного погодя я заметил мужчину, который бесцельно расхаживал туда-сюда, останавливался и, как и я, смотрел на корабль. Наверно, тоже один из многих потерпевших крушение, подумал я и уже не обращал на него внимания, пока не почувствовал, что он глядит на меня. Страх перед полицией не покидает беглеца никогда, даже во сне, даже когда бояться нечего, — поэтому я тотчас скучливо отвернулся и не спеша пошел прочь, как человек, которому совершенно нечего опасаться.

Вскоре я услышал за спиной шаги. Но продолжал идти не спеша, раздумывая, как бы известить

Рут, если меня арестуют. Пастельные дома, которые спали в конце набережной, точно мотыльки в ночи, были еще слишком далеко, чтобы я без риска получить пулю добежал до них и исчез в переулках.

Незнакомец поравнялся со мной. Ростом он был чуть ниже меня.

— Вы немец? — спросил он по-немецки.

Не останавливаясь, я покачал головой.

— Австриец?

Я не ответил. Смотрел на пастельные дома, приближавшиеся слишком медленно. Знал ведь, что некоторые португальские полицейские прекрасно говорят по-немецки.

— Я не полицейский, — сказал мужчина.

Я ему не поверил. Он был в штатском, но в Европе меня раз пять задерживали жандармы в штатском. Сейчас документы у меня есть, причем неплохие, сделанные в Париже пражским профессором математики, но не вполне подлинные.

— Вы смотрели на корабль, — сказал мужчина. — Вот я и подумал…

Я смерил его равнодушным взглядом. На полицейского не похож; впрочем, последний жандарм, сцапавший меня в Бордо, выглядел жалостно, прямо как Лазарь после трех дней во

гробе, а оказался самым безжалостным из всех. Взял меня под арест, хотя знал, что через день в Бордо войдут немецкие войска и тогда все, спета моя песенка, но, к счастью, через несколько часов жалостливый директор тюрьмы отпустил меня на свободу.

— Хотите в Нью-Йорк? — спросил мужчина.

Я не ответил. Еще двадцать метров — и при необходимости можно оттолкнуть его и смыться.

— У меня есть два билета на пароход, который стоит вон там, — сказал мужчина и полез в карман.

В самом деле билеты. Хотя в тусклом освещении ничего не прочтешь. Но мы уже достаточно близко от домов. Можно рискнуть и остановиться.

— Что все это значит? — спросил я по-португальски. На несколько слов моих познаний хватало.

— Вы можете их получить, — сказал он. — Мне они не нужны.

— Не нужны? Что это значит?

— Больше не нужны.

Я смотрел на незнакомца. И не понимал его. Кажется, он и вправду не полицейский. Чтобы арестовать меня, в таких нелепых уловках нет

необходимости. Но если билеты подлинные, то почему он не может ими воспользоваться? И почему предложил их мне? Чтобы продать? Что-то во мне затрепетало.

— Я не могу их купить, — в конце концов сказал я по-немецки. — Они стоят целое состояние. В Лиссабоне, говорят, есть богатые эмигранты, они заплатят вам, сколько запросите. Вы обратились не по адресу. У меня денег нет.

— Я не хочу их продавать, — сказал он.

Я опять посмотрел на билеты:

— Они настоящие?

Ни слова не говоря, он протянул их мне. Они хрустнули в моих руках. Настоящие. Обладание ими — рывок от гибели к спасению. Я, правда, не мог ими воспользоваться, потому что у нас не было американских виз, но мог завтра утром еще попробовать с их помощью получить визы… или хотя бы продать их.

Это означало лишних шесть месяцев жизни. Я не понимал этого человека.

— Я вас не понимаю, — сказал я.

— Вы можете получить их, — отвечал он. — Даром. Завтра утром я уеду из Лиссабона. Но у меня есть одно условие.

Я опустил руки. Так и знал, это не может быть

правдой.

— Какое же? — спросил я.

— Мне бы не хотелось оставаться этой ночью одному.

— Вы хотите, чтобы я был с вами?

— Да. До завтрашнего утра.

— И все?

— Все.

— Больше ничего?

— Ничего.

Я недоверчиво смотрел на него. Привык, конечно, что люди вроде нас порой не выдерживали, часто не могли оставаться одни, страдали агорафобией, как те, кому уже нигде нет места, и товарищ в ночи, пусть даже совершенно незнакомый, может спасти от самоубийства, но в таких случаях помогать друг другу вполне естественно, и никакую цену за это не назначали. Тем паче такую.

— Где вы живете? — спросил я.

Он отмахнулся.

— Туда я не хочу. Здесь найдется ресторанчик, где можно посидеть?

— Наверняка найдется.

— А нет такого, чтоб для эмигрантов? Вроде парижского кафе «Роза»?

Кафе «Роза» я знал. Две недели мы с Рут там ночевали. Хозяин позволял, если закажешь кофе. Приносишь газеты и устраиваешься на полу. На столах я не спал никогда; с полу не упадешь.

— Такого я не знаю. — Вообще-то я знал один, но человека, у которого есть два билета на пароход, не водят туда, где народ глаз себе выколет, лишь бы их заполучить.

— Я знаю здесь только одно заведение, — сказал незнакомец. — Но можно попытаться. Вдруг там еще открыто.

Он подозвал одинокое такси, взглянул на меня.

— Ладно, — сказал я.

Мы сели в машину, и он назвал шоферу адрес. Хорошо бы сообщить Рут, что этой ночью я не вернусь; но, когда я садился в дурно пахнущее, темное такси, меня вдруг захлестнула такая отчаянная, жуткая надежда, что я едва устоял на ногах. Может, все это и в самом деле правда, может, наша жизнь еще не кончилась и невозможное сбудется — наше спасение. Я уже не решался ни на миг оставить незнакомца одного.

Мы объехали театральную кулису площади Праса-ду-Комерсиу и немного погодя очутились в лабиринте лестниц и переулков, ведущих в гору. Эта часть Лиссабона была для меня незнакомой;

как обычно, я знал главным образом церкви да музеи — не потому, что так сильно любил Бога или искусство, а просто потому, что в церквах и музеях не спрашивали документы. Перед Распятым и мастерами искусства ты покамест оставался человеком, а не индивидом с сомнительными бумагами.

Мы вышли из такси и зашагали вверх по лестницам и путаным переулкам. Пахло рыбой, чесноком, ночными цветами, мертвым солнцем и сном. Сбоку под восходящей луной вырастал из ночи замок Святого Георгия, и свет, словно водопад, каскадами струился вниз по множеству ступеней. Я обернулся, посмотрел на гавань. Внизу лежала река, и река эта была свободой, жизнью, она впадала в море, а море было Америкой.

Я остановился:

— Надеюсь, вы не шутите.

— Нет, — ответил незнакомец.

— То есть не шутите насчет билетов на пароход?

На набережной он снова спрятал их в карман.

— Нет, не шучу. — Он кивнул на маленькую площадь, окаймленную деревьями. — Вон там находится кафе, о котором я говорил. Пока открыто. Мы не привлечем внимания. Кроме иностранцев,

туда мало кто заходит. Нас примут за людей, которые завтра уедут. Как и все прочие, что отмечают там свою последнюю ночь в Португалии, а наутро садятся на корабль.

Кафе оказалось чем-то вроде бара, с маленькой площадочкой для танцев и террасой — заведение, рассчитанное на туристов. Слышались звуки гитары, в глубине виднелась певица, исполнительница фаду. Несколько столиков на террасе занимали иностранцы. Среди них женщина в вечернем платье и мужчина в белом смокинге. Мы устроились в конце террасы. Оттуда открывался вид на Лиссабон, на церкви в блеклом свете, на освещенные улицы, гавань, доки и корабль, который был ковчегом.

— Вы верите в жизнь после смерти? — спросил человек с билетами.

Я поднял взгляд. Вот так вопрос! Я ожидал чего угодно, только не этого.

— Не знаю, — в конце концов ответил я. — В последние годы меня слишком занимала жизнь *до* смерти. Доберусь до Америки, тогда с удовольствием подумаю об этом, — добавил я, напоминая, что он обещал мне билеты.

— А я в нее не верю, — сказал он.

Я облегченно вздохнул. Был готов выслушать

несчастливца, но вести философские дискуссии вовсе не хотел. Спокойствия недоставало. На реке стоял корабль.

Некоторое время незнакомец словно бы спал с открытыми глазами. Однако когда на террасу вышел гитарист, он встрепенулся.

— Мое имя Шварц, — сообщил он. — Не настоящее, конечно, а то, что значится в паспорте. Но я привык к нему, и на сегодняшнюю ночь его достаточно. Вы долго жили во Франции?

— Пока мог.

— Интернированы?

— Когда началась война. Как все остальные.

Мужчина кивнул.

— Мы тоже. Я был счастлив, — неожиданно сказал он, тихо и быстро, опустив голову, глядя в сторону. — Очень счастлив. Даже не представлял себе, что могу быть так счастлив.

Я с удивлением обернулся. В самом деле, по нему никак не скажешь. Он производил впечатление человека вполне заурядного, причем довольно робкого.

— Когда? — спросил я. — Неужели в лагере?

— В последнее лето.

— В тридцать девятом? Во Франции?

— Да. В предвоенное лето. Я и сейчас не пони-

маю, как все вышло. Вот почему мне необходимо с кем-нибудь об этом поговорить. Я никого здесь не знаю. А если поговорю об этом с кем-нибудь, оно снова оживет. И станет тогда совершенно ясным. И сохранится. Нужно только еще раз… — Он осекся. А немного погодя спросил: — Понимаете?

— Да, — ответил я и осторожно добавил: — Понять несложно, господин Шварц.

— Это вообще невозможно понять! — возразил он, неожиданно резко и страстно. — Она лежит там, внизу, в комнате с закрытыми окнами, в мерзком деревянном гробу, мертвая, уже не существующая! Кто может это понять? Никто! Ни вы, ни я, никто, а тот, кто говорит, что понимает, лжет!

Я молча ждал. Не раз мне доводилось сидеть вот так с разными людьми. Когда у тебя нет родной страны, утраты пережить труднее. Тогда нет опоры, и чужбина становится до ужаса чужой. Я пережил такое в Швейцарии, когда получил известие, что моих родителей в Германии убили в концлагере и сожгли. Я постоянно думал о глазах матери в огне печи. Эта картина преследовала меня до сих пор.

— Полагаю, вы знаете, что такое эмигрантское безумие, — уже спокойнее сказал Шварц.

Я кивнул. Официант принес мисочку креветок. Я вдруг почувствовал, что очень проголодался, и вспомнил, что с полудня ничего не ел. Нерешительно посмотрел на Шварца.

— Ешьте, — сказал он. — Я подожду.

Он заказал вино и сигареты. Я торопливо ел. Креветки были свежие и пряные.

— Извините, — сказал я, — я правда очень проголодался.

Я ел и смотрел на Шварца. Он спокойно сидел, глядя вниз, на театральный город, без нетерпения и досады. Во мне шевельнулось что-то вроде симпатии. Как видно, он покончил с заповедями ложного благоприличия и знал, что человек может быть голодным и не откажется от еды, хотя кто-то рядом страдает, и бесчувственность здесь ни при чем. Если сделать для ближнего ничего не можешь, нет ничего дурного в том, чтобы утолить голод его хлебом, пока не отняли. Кто знает, когда отнимут.

Я отодвинул тарелку, взял сигарету. Давно не курил. Экономил деньги, чтобы на сегодняшнюю игру побольше осталось.

— Эмигрантское безумие одолело меня весной тридцать девятого, — сказал Шварц. — После пяти с лишним лет в эмиграции. Вы где были

осенью тридцать восьмого?

— В Париже.

— Я тоже. В ту пору я вконец пал духом. Накануне Мюнхенского соглашения. Агония страха. Я еще автоматически прятался и защищался, но уже поставил точку. Будет война, придут немцы и заберут меня. Такова моя судьба. Я смирился.

Я кивнул:

— Это было время самоубийств. Странно, когда через полтора года в самом деле пришли немцы, самоубийства случались реже.

— Потом заключили Мюнхенские соглашения, — сказал Шварц. — Тогда, осенью тридцать восьмого, нам вдруг снова подарили жизнь! Она казалась такой легкой, что люди забывали об осторожности. В Париже даже второй раз зацвели каштаны, помните? Я стал настолько легкомыслен, что чувствовал себя человеком и, увы, так себя и вел. Полиция схватила меня и по причине повторного недозволенного въезда засадила на месяц под арест. Потом началась старая игра: под Базелем швейцарцы выдворили меня назад, за границу, французы в другом месте опять выпихнули в Швейцарию, арестовали… Ну, вы же знаете эти шахматы с людьми…

— Знаю. Зимой было не до шуток. Самые

лучшие тюрьмы — швейцарские. Теплые, как гостиницы.

Я опять взялся за еду. В неприятных воспоминаниях есть кое-что хорошее: они убеждают, что ты счастлив, пусть даже секундой раньше думал, что отнюдь нет. У счастья много степеней. Кто это понимает, редко бывает совсем несчастлив. Я был счастлив в швейцарских тюрьмах, потому что они были не немецкие. Но передо мной-то сидел человек, утверждавший, что владел счастьем, хотя где-то в Лиссабоне, в душной комнате, стоял деревянный гроб.

— Когда меня последний раз выпустили на волю, то пригрозили выдворить в Германию, если снова поймают без документов, — сказал Шварц. — Всего-навсего угроза, но я испугался. Начал обдумывать, что мне делать, если так случится на самом деле. Потом мне ночами стало сниться, что я вправду там и за мной охотится СС. Этот сон повторялся так часто, что в конце концов я и заснуть боялся. Вам и это тоже знакомо?

— Впору диссертацию писать, — ответил я. — К сожалению.

— Однажды ночью мне приснилось, будто я в Оснабрюке, в городе, где раньше жил сам и где по-прежнему жила моя жена. Я стоял в ее комна-

те и видел, что она хворает. Она очень исхудала и плакала. В испуге я проснулся. Больше пяти лет я не видел ее и ничего о ней не слышал. И никогда ей не писал, потому что не знал, досматривают ли ее почту. Перед бегством она обещала мне подать на развод. Это убережет ее от неприятностей. Несколько лет я был уверен, что она так и поступила.

Шварц помолчал. Я не спрашивал, почему он покинул Германию. Причин для этого хватало. И интереса они не представляли, поскольку любая была несправедлива. Быть жертвой неинтересно. Он либо еврей, либо состоял в политической партии, враждебной нынешнему режиму, либо имел врагов, которые вдруг стали влиятельными, — существовали десятки причин, чтобы угодить в Германии в концлагерь или лишиться жизни.

— Мне удалось снова добраться до Парижа, — сказал Шварц. — Но тот сон не оставлял меня. Снился снова и снова. Одновременно пошла прахом и иллюзия Мюнхенских соглашений. Весной стало ясно, что война неизбежна. Ее чуяли, как чуют пожар задолго до того, как увидят его. Лишь мировая дипломатия беспомощно закрывала глаза и предавалась несбыточным мечтаниям — о втором и третьем Мюнхене, обо всем, только

не о войне. Никогда вера в чудо не была так велика, как в наше время, когда никаких чудес уже не случается.

— Случаются, — возразил я. — Иначе бы никто из нас не остался в живых.

Шварц кивнул:

— Вы правы. Частные чудеса. Я сам пережил одно такое. Все началось в Париже. Я неожиданно получил в наследство действительный паспорт. Этот самый, на имя Шварца. Принадлежал он австрийцу, с которым я познакомился в кафе «Роза». Он умер и завещал мне свой паспорт и деньги. Во Францию он приехал всего три месяца назад. Мы встретились в Лувре… перед полотнами импрессионистов. Я тогда проводил там много времени, чтобы успокоиться. Когда стоишь перед этими напоенными солнцем мирными пейзажами, не верится, что вид животных, способный создать такое, одновременно способен планировать убийственную войну, — иллюзия, конечно, однако ж она на часок слегка понижает кровяное давление.

Человек с паспортом на имя Шварца часто сидел перед картинами Моне, изображающими кувшинки и соборы. Мы разговорились, и он рассказал, что после того, как власть в Австрии

захватили нацисты, ему удалось освободиться и покинуть страну, отказавшись от своего состояния. А заключалось оно в коллекции импрессионистов, которая отошла государству. Он не жалел. Пока в музеях выставлены картины, он может любоваться ими как своими собственными, вдобавок не тревожась о пожаре и краже. Да и картины во французских музеях получше тех, какими владел он. Коллекционер прикован к своему ограниченному собранию, как отец к семейству, с обязательством отдавать предпочтение своим и, стало быть, находиться под их влиянием, теперь же ему принадлежали все картины открытых собраний, причем для этого даже пальцем шевелить незачем. Странный человек, тихий, кроткий и веселый, невзирая на все, что пережил. Денег он смог вывезти очень мало, но спас некоторое количество старинных почтовых марок. Почтовые марки спрятать несложно, легче, нежели брильянты. С брильянтами ходить неудобно, когда они спрятаны в ботинках, а тебя ведут на допрос. Да и продать их невозможно без больших потерь и массы вопросов. Марки же интересны для коллекционеров. А коллекционеры не очень-то задают вопросы.

— Как же он их вывез? — спросил я с професси-

ональным любопытством эмигранта.

— Взял с собой старые, невинные, вскрытые письма и сунул марки под подкладку конвертов. Таможенники досматривали письма, но не конверты.

— Ловко, — сказал я.

— Кроме того, он прихватил еще два маленьких портрета работы Энгра. Карандашные рисунки. Вложил их в широкие паспарту и безвкусные якобы золоченые рамки и сказал, что это портреты его родителей. С изнанки паспарту он незаметно вклеил два рисунка Дега.

— Ловко, — опять сказал я.

— В апреле у него случился сердечный приступ, и он отдал мне свой паспорт, остатки марок и рисунки. Дал и адреса людей, которые купят марки. Когда я зашел к нему следующим утром, он лежал в постели мертвый, и я едва узнал его, так он изменился в упокоении. Я забрал деньги, которые у него оставались, костюм и немного белья. Накануне он сказал, чтобы я это сделал, пусть вещи достанутся товарищам по несчастью, а не квартирному хозяину.

— Вы что-то меняли в паспорте?

— Только фото и год рождения. Шварц был на двадцать пять лет старше меня. А имена у нас

одинаковые.

— И кто это сделал? Брюннер?

— Кто-то из Мюнхена.

— Тогда наверняка Брюннер, паспортный доктор. Очень дельный человек.

Брюннер славился хорошей работой. Многим помог, но, когда был арестован, сам документов не имел, по причине суеверия: думал, что раз он честный и делает добрые дела, то ничего с ним случиться не может, пока он не использует свое искусство ради себя самого. До эмиграции у него была в Мюнхене маленькая типография.

— Где он теперь? — спросил я.

— А разве не здесь, в Лиссабоне?

Я не знал. Хотя вполне возможно, если он еще жив.

— Так странно было иметь паспорт, — сказал Шварц-второй. — Я не решался им пользоваться. И так-то несколько дней потребовалось, чтобы привыкнуть к новой фамилии. Я все время твердил ее про себя. Шел по Елисейским Полям и бормотал фамилию, новую дату и место рождения. Сидел в музее перед Ренуаром и, если был один, шептал воображаемый диалог… резким голосом: «Шварц!», чтобы тотчас вскочить и ответить: «Я!»… или рявкал: «Фамилия!», чтобы тотчас

автоматически отбарабанить: «Йозеф Шварц, родился в Винер-Нойштадте двадцать второго июня тысяча восемьсот девяносто восьмого года». Даже вечером перед сном тренировался. Вдруг ночью меня поднимет на ноги полиция, а я спросонья брякну не то, что надо. Хотел забыть свое прежнее имя. Вот в чем разница между отсутствием паспорта и обладанием фальшивым паспортом. Фальшивый опаснее.

Рисунки Энгра я продал. Дали за них меньше, чем я рассчитывал, но неожиданно у меня появились деньги, давно я не видал такой суммы.

И вот однажды ночью мне пришла в голову мысль, которая потом уже не отпускала. Нельзя ли с этим паспортом съездить в Германию? Он ведь почти действительный, так почему на границе непременно что-нибудь заподозрят? Тогда я смогу повидать жену. Смогу унять страх за нее. Смогу…

Шварц посмотрел на меня.

— Вам это наверняка знакомо! Эмигрантское безумие в чистейшем виде. Спазм в желудке, в горле и в глазницах. То, что пять лет кряду втаптывал в землю, старался забыть, избегал как чумы, поднимается вновь — смертельное воспоминание, рак души для эмигранта!

Я пытался освободиться. Ходил, как прежде, к картинам мира и тишины, к Сислею, к Писсарро, к Ренуару, часами сидел в музее… но теперь они действовали на меня иначе. Уже не успокаивали, наоборот, стали звать, требовать, напоминать… о стране, которую еще не затопила коричневая чума, о вечерах в переулках, где над каменными оградами свисали гроздья сирени, о золотых сумерках старинного города, о его зеленых церковных башнях, вокруг которых вились ласточки… и о жене.

Я человек заурядный, особенных качеств не имею. Прожил с женой четыре года, как живут обычно: без сложностей, приятно, но и без большой страсти. После первых месяцев наши отношения стали тем, что принято называть хорошим браком, — узами, связующими людей, которые сознают, что взаимное уважение есть основа спокойной совместной жизни. Мечтаниями мы не увлекались. По крайней мере, мне так казалось. Были разумными людьми. И искренне любили друг друга.

Теперь все изменилось. Я стал винить себя, что вел в браке такую заурядную жизнь. Все упустил. Ради чего жил? Что делал теперь? Прятался, прозябал. Долго ли так будет продолжаться? И чем

кончится? Начнется война, и победит, наверное, Германия. Единственная страна, которая вооружена до зубов. Что тогда будет? Куда я спрячусь, если еще будет время и дыхание? В каком лагере умру с голоду? У какой стены меня убьют выстрелом в затылок, если повезет?

Паспорт, который должен бы успокаивать, доводил меня до отчаяния. Я метался по улицам, пока от усталости едва не падал с ног, но и спать не мог, а если засыпал, сны вновь будили меня. Я видел жену в подвале гестапо, слышал, как она зовет на помощь с заднего двора гостиницы, а однажды, когда я вошел в кафе «Роза», в зеркале, висевшем наискосок против входа, мне почудилось ее лицо, на миг оно обернулось ко мне, бледное, с безутешным взглядом, и тотчас скользнуло прочь. Видение было необычайно отчетливым, я решил, что она там, и поспешил в заднее помещение. Как всегда, там было полно народу, но ее я не нашел.

Несколько дней меня преследовала эта навязчивая идея: она приехала сюда и ищет меня. Сотни раз я видел, как она сворачивает за угол, как сидит на скамейках Люксембургского сада, а когда подходил ближе, мне навстречу с удивлением смотрело чужое лицо; она пересекла

площадь Согласия, за секунду до того, как поток автомобилей вновь сорвался с места, и на сей раз это вправду была она — ее походка, ее осанка, даже платье показалось мне знакомым, но когда регулировщик наконец опять остановил движение и я бросился за ней вдогонку, она исчезла, поглощенная черным зевом метро, а когда я добрался до платформы, то увидел в темноте лишь глумливые хвостовые огни отъехавшего поезда.

Я доверился одному из знакомых. Звали его Лёзер, он торговал чулками, но раньше был врачом в Бреслау. Он посоветовал мне меньше сидеть в одиночестве. Сказал: «Найдите себе женщину».

Без толку. Вы же знаете эти романы по необходимости, от одиночества, от страха, порыв к хоть какому-то теплу, к голосу, телу… пробуждение в убогой комнатенке в чужой стране, словно рухнул под землю, а потом унылая благодарность за то, что слышишь рядом чужое дыхание… но много ли это значит в сравнении с могучим напором фантазии, которая пьет кровь и заставляет человека просыпаться утром с мутным ощущением, что он себя изнасиловал?

Сейчас, когда я рассказываю, все это выглядит нелепо и противоречиво; тогда было иначе. После всех борений оставалось только одно: надо

вернуться. Надо еще раз увидеть жену. Возможно, она давным-давно живет с другим. Но какая разница? Я должен ее увидеть. Это казалось мне совершенно логичным.

Вести о предстоящей войне множились. Каждый видел, что Гитлер, который сразу нарушил свое обещание занять лишь Судетскую область, а не всю Чехословакию, теперь затевает то же самое с Польшей. Война неизбежна. Союзные договоры Франции и Англии с Польшей иного не допускали. И это был уже не вопрос месяцев, а вопрос считаных недель. Как и для меня. Как и для моей жизни. Надо было решаться. И я решился. Поеду туда. Что делать потом, я не знал. И не думал об этом. Если грянет война, мне все равно конец. Так почему бы не совершить безумный поступок?

В последние дни меня охватило странное веселье. Стоял май, клумбы на Рон-Пуан пестрели тюльпанами. Ранние вечера уже полнились серебристым светом импрессионистов, голубели тенями, и высокое светло-зеленое небо служило фоном холодному газовому свету первых уличных фонарей и беспокойным красным лентам неоновых надписей на крышах зданий газет, которые возвещали о войне каждому, кто умел

их прочесть.

Сначала я поехал в Швейцарию. Хотел опробовать свой паспорт на безопасной территории, прежде чем поверить в него. Французский таможенник равнодушно вернул его мне, как я и ожидал. Сложности с выездом чинят только в диктаторских странах. Но когда появился швейцарец, я почувствовал, как что-то внутри у меня свело судорогой. Я изо всех сил старался сидеть спокойно, но мне казалось, будто края моих легких дрожат, как порой в полном безветрии один листок на дереве трепещет, словно безумный.

Он рассматривал мой паспорт. Огромный, широкоплечий таможенник, пахнувший трубочным дымом. Стоя в купе, он заслонил окно, и на миг меня захлестнуло гнетущее ощущение, что он перекрыл небо и свободу — будто купе уже стало тюремной камерой. Потом он вернул мне паспорт.

«Вы забыли поставить штамп», — сам того не желая, быстро сказал я в приливе облегчения.

Таможенник усмехнулся: «Успеется. Вам это так важно?»

«Да нет. Просто он тогда будет своего рода сувениром».

Он поставил в паспорт штамп и ушел. Я прику-

сил губу. До чего же нервным я стал! Потом мне подумалось, что со штампом паспорт выглядит несколько более настоящим.

В Швейцарии я целый день раздумывал, не стоит ли и в Германию поехать поездом, однако не решился. Вдобавок неизвестно, вдруг они проверяют возвращенцев с особой тщательностью, даже тех, кто родом из бывшей Австрии. Вряд ли, конечно, но на всякий случай лучше перейти границу нелегально.

Поэтому в Цюрихе, как и раньше, я первым делом отправился на главный почтамт. У окошка корреспонденции до востребования там обычно можно встретить знакомых — таких же скитальцев без разрешения на жительство, которые могут сообщить какую-нибудь информацию. Оттуда я пошел в кафе «Грайф», тамошний вариант кафе «Роза». Повстречал разных людей, которые ходили через границу, но никто из них не знал в точности, где можно пробраться в Германию. Оно и понятно. Кому, кроме меня, охота в Германию? Я замечал, как они смотрели на меня, а потом, уразумев, что я говорю всерьез, торопились отойти. Раз человек хочет вернуться, он наверняка перебежчик; ведь возвращение предполагает и приятие режима, не так ли? И что еще

он сделает, если готов на такое? Кого предаст? Что выболтает?

Я вдруг остался один. Меня избегали, как избегают убийцу. Ведь и объяснить я ничего не мог; временами меня самого охватывала такая жуткая паника, что я пóтом обливался при мысли о своей затее, — где уж тут объяснять другим!

На третий день, в шесть утра, пришел полицейский, поднял меня с постели. Принялся дотошно расспрашивать. Я сразу сообразил, что донес на меня один из знакомых. Недоверчиво изучив мой паспорт, полицейский забрал меня на допрос. Штамп в паспорте теперь в самом деле был удачей. Я мог доказать, что въехал в страну легально и нахожусь здесь всего три дня. Как сейчас помню раннее утро, когда шел с полицейским по улицам. День выдался ясный, башни и крыши города четко, словно вырезанные из металла, проступали на фоне неба. Из какой-то пекарни пахло свежим хлебом, и казалось, в этом запахе сосредоточено все на свете утешение. Вам это знакомо?

Я кивнул.

— Мир вокруг видится как никогда прекрасным в тот миг, когда тебя арестуют. Перед тем, как ты его покинешь. Вот бы всегда чувствовать его таким! Наверно, для этого просто не хватает

времени. И покоя.

Шварц покачал головой:

— Покой тут ни при чем. Я так чувствовал.

— И могли удержать это чувство? — спросил я.

— Не знаю, — медленно проговорил Шварц. — Именно это я и должен выяснить. Оно выскользнуло у меня из рук… но было ли целиком моим, когда я держал его? Может быть, теперь у меня есть шанс вернуть его еще более сильным и удержать навсегда? Теперь, когда оно не меняется? Разве беспрерывно не теряешь то, что как будто бы держишь, именно потому, что оно двигается? И разве оно не останавливается только тогда, когда уже не существует и не может меняться? Может быть, лишь тогда оно и становится твоим?

Его неподвижный взгляд был устремлен на меня. Впервые он смотрел мне прямо в глаза. Зрачки расширены. Фанатик или безумец, вдруг подумал я.

— Мне это незнакомо, — сказал я. — Но ведь этого хочет каждый? Удержать то, что удержать невозможно? И покинуть то, что не желает тебя покинуть?

Сидевшая за соседним столиком женщина в вечернем платье встала. Взглянула с веранды

вниз, на город и гавань.

— Дорогой, ну почему нам надо возвращаться? — сказала она мужчине в белом смокинге. — Если б мы могли остаться! Мне совсем не хочется обратно в Америку.

II

— Цюрихская полиция продержала меня под арестом всего один день, — сказал Шварц. — Но для меня он был тяжким. Я боялся, что они проверят мой паспорт. Достаточно позвонить по телефону в Вену или поручить специалисту проверить подправленные данные.

К вечеру я успокоился. Смотрел на предстоящее как на этакий Божий суд. Меня как бы избавили от необходимости принимать решение. Если посадят в тюрьму, я не попытаюсь попасть в Германию. Однако вечером меня выпустили и настоятельно рекомендовали как можно скорее выехать из Швейцарии.

Я решил ехать через Австрию. Тамошнюю границу я немного знал, и охраняют ее наверняка не так тщательно, как немецкую. Да и зачем их вообще тщательно охранять? Кто туда пойдет? Но, вероятно, многие хотели уйти оттуда.

Я поехал в Оберрит, чтобы попробовать где-ни-

будь там перейти границу. Лучше бы дождаться дождливой погоды, однако целых два дня было ясно. На третью ночь я отправился в путь, чтобы не привлекать внимание обитателей городка к своей персоне.

Ночь выдалась звездная. Кругом царило такое безмолвие, что мне казалось, я слышу тихие шорохи роста. Вы знаете, при опасности зрение меняется… не то чтобы взгляд становится острее, фокусируется, скорее зрячим становится все тело, ты как бы видишь кожей, особенно ночью. Шорохи и те делаются прямо-таки зримыми, настолько и слух перемещается на кожу. Открываешь рот и слушаешь, и рот тоже словно бы видит и слышит.

Мне никогда не забыть ту ночь. Я полностью сознавал себя, все мои чувства были широко распахнуты, я приготовился ко всему, но абсолютно не испытывал страха. Словно бы шел по высокому мосту, с одного берега своей жизни к другому, и знал, что за моей спиной этот мост растает, как серебряный дым, и вернуться я никогда не смогу. Шел от разума в чувство, от надежности в авантюру, от рационального в иллюзорное. Я был совершенно один, но на сей раз одиночество не мучило, в нем сквозило прямо-таки что-то

мистическое.

Я вышел к Рейну, в этом месте еще юному и не очень широкому. Разделся, связал одежду в узел, чтобы держать над головой. Странное ощущение овладело мной, когда я нагишом погрузился в воду. Она была черная, очень холодная и чужая, я будто окунулся в Лету, чтобы испить забвения. Вдобавок необходимость плыть нагишом показалась мне символом, что я все оставляю позади.

На берегу я обсушился и продолжил путь. Проходя мимо какой-то деревни, услышал, как залаяла собака. Я не знал, где именно проходит граница, и потому держался на обочине дороги, которая вела вдоль опушки рощи. Долгое время я не встречал ни души. Так и шел до утра. Внезапно пала сильная роса, и на краю просеки появилась косуля. А я все шел, пока не услышал громыханье первых крестьянских телег. И тогда спрятался поблизости от дороги. Не хотел вызывать подозрений, ведь был на ногах в такую рань да еще и шел со стороны границы. Позднее я увидел двух таможенников, кативших на велосипедах по проселку. Узнал их мундиры. Я находился в Австрии. В ту пору Австрия уже год принадлежала к Германии.

Женщина в вечернем платье и ее спутник ушли

с террасы. Плечи женщины покрывал густой загар, и ростом она была выше своего кавалера. Еще несколько туристов не спеша спускались вниз по лестницам. Все они шли как люди, которых никто и никогда не преследовал. Ни один не оглянулся.

— Я захватил с собой бутерброды, — продолжал Шварц, — и отыскал ручей, чтобы напиться. В полдень отправился дальше. Шел я в городок Фельдкирх, зная, что летом его посещают отпускники, а потому надеялся не привлечь там особого внимания. Там и поезда останавливались. В конце концов я добрался до Фельдкирха. И ближайшим поездом поехал прочь от границы, подальше от самой опасной зоны. Вошел в купе — и увидел двух штурмовиков в форме.

По-моему, в этот миг мне помогли тренировки с европейской полицией, иначе я бы, наверно, отпрянул назад. Словом, я вошел и сел в уголке возле мужчины в грубошерстном костюме и с ружьем.

Вот так впервые после пятилетнего перерыва я столкнулся со всем тем, что для меня олицетворяло мерзость. В минувшие недели я часто представлял себе эту встречу, но реальность оказалась иной. Среагировало тело, а не голова; желудок, ставший камнем, рот, обернувшийся

рашпилем.

Охотник и штурмовики вели разговор о некой вдове Пфунднер. Она, судя по всему, была особа весьма бойкая, потому что все трое перечисляли ее интрижки. Потом они стали закусывать. Бутербродами с ветчиной. «Куда направляетесь, сосед?» — спросил у меня охотник.

«В Брегенц возвращаюсь», — ответил я.

«Вы, стало быть, не местный?»

«Верно, я в отпуске».

«И откуда же вы будете?»

Секунду я помедлил. Если скажу, что из Вены, как значится в паспорте, все трое, пожалуй, заметят, что говорю я не на мягком венском диалекте. «Из Ганновера, — сказал я. — Больше тридцати лет там живу».

«Из Ганновера! Далеконько».

«Что правда, то правда. Но ведь в отпуске не хочется торчать дома».

Охотник рассмеялся: «Это верно. И с погодкой вам повезло!»

Я чувствовал, что рубашка прилипла к телу. «Отличная погода, — кивнул я, — только жарковато, будто лето уже в разгаре».

Троица опять принялась перемывать косточки вдове Пфунднер. Через несколько остановок они

сошли, и я остался в купе один. Теперь поезд проезжал один из красивейших ландшафтов Европы, но я мало что видел. На меня вдруг накатил почти невыносимый приступ сожаления, страха и отчаяния. Я уже совершенно не понимал, зачем перешел границу. Не шевелясь, сидел в углу и смотрел в окно. Я попал в ловушку, причем сам захлопнул за собой дверцу. Раз десять порывался сойти и ночью попробовать вернуться в Швейцарию.

Но не сошел. Левая рука крепко сжимала в кармане паспорт покойного Шварца, словно он мог придать мне силы. Я твердил себе, что теперь уже все равно, задержусь я вблизи границы или нет, и чем дальше я уезжаю в глубь страны, тем меньше опасность. Я решил и ночь провести в вагоне. В поездах меньше интересуются документами, чем в гостинице.

Типично, что, поддавшись панике, думаешь, будто отовсюду на тебя нацелены прожектора и миру делать больше нечего, кроме как искать тебя. Не можешь отделаться от ощущения, будто все клетки тела хотят стать самостоятельными, ноги хотят создать дергающееся ножное царство, руки — быть только сопротивлением и ударом, и даже губы и рот, трепеща, способны лишь сдер-

жать невнятный крик.

Я закрыл глаза. Соблазн уступить панике усиливался, оттого что я был в купе один. Но я знал: каждый сантиметр отступления обернется метром, если я действительно окажусь в опасности. И сказал себе, что никто меня не ищет, что режиму я интересен не более, чем лопата песку в пустыне, и что никто по мне ничего заметить не может. Конечно, так оно и было. Я мало отличался от окружающих. Белокурый ариец — германская легенда, но не факт. Взгляните на Гитлера, Геббельса, Гесса и остальное правительство — собственно, все они суть доказательство их собственной иллюзии.

В Мюнхене я впервые покинул защиту вокзалов и заставил себя целый час гулять. Города я не знал и потому считал, что и меня никто не знает. Зашел поесть во «Францисканскую пивную». Народу там было полно. В одиночестве я сидел за столиком, слушал. Немного погодя ко мне подсел потный толстяк. Он заказал пиво и говядину, развернул газету, стал читать. Сам я до этой минуты еще не додумался почитать немецкие газеты и теперь купил сразу две. Не один год минул с тех пор, как я последний раз читал по-немецки, да и к тому, что вокруг говорят по-немецки, пока что

не вполне привык.

Передовицы в газетах были ужасающие. Лживые, кровожадные, заносчивые. Мир за пределами Германии представал в них выродившимся, коварным, глупым, пригодным лишь на то, чтобы им завладела Германия. Газеты были не местные и раньше имели хорошую репутацию. Не только их содержание, но и стиль просто в голове не укладывались.

Я посмотрел на соседа. Он ел, пил и с удовольствием читал. Оглядевшись вокруг, я нигде не заметил на лицах читателей ни тени возмущения, они привыкли к своей ежедневной духовной пище, как к пиву.

Я продолжал чтение, пока не нашел среди мелких заметок одну про Оснабрюк. На Лоттерштрассе сгорел дом. Эта улица сразу возникла у меня перед глазами. По валам выходишь к Хегертор, а оттуда — на Лоттерштрассе, которая ведет из города. Я сложил газету. Неожиданно навалилось такое одиночество, какого я даже за пределами Германии не испытывал.

Мало-помалу я привык к постоянным сменам потрясений и фаталистической апатии. Привык и чувствовать себя увереннее, чем раньше. Я понимал, с приближением к Оснабрюку опасность

возрастет. Там есть люди, которые знали меня по прежним временам.

Чтобы не привлекать внимания в гостиницах, я купил дешевый чемоданчик, немного белья и вещи, необходимые в короткой поездке. Потом поехал дальше. Я еще не придумал, как встретиться с женой, и каждый час менял планы. Придется уповать на случай, я ведь даже не знал, не уступила ли она своей родне, которая безоговорочно поддерживала режим, и не вышла ли за другого. Прочитав газеты, я уже не был уверен, что требуется много времени, чтобы поверить всему там написанному, особенно если нет возможности для сравнения. Иностранные газеты подвергались в Германии жестокой цензуре.

В Мюнстере я остановился в гостинице средней руки. Не мог все время по ночам бодрствовать, а днем где-нибудь спать; пришлось пойти на риск, что немецкая гостиница зарегистрирует меня в полиции. Вы знаете Мюнстер?

— Поверхностно, — ответил я. — Кажется, это старинный город с множеством церквей, где был подписан Вестфальский мир?

Шварц кивнул:

— В Мюнстере и Оснабрюке, в тысяча шестьсот сорок восьмом году. После Тридцатилетней вой-

ны. Кто знает, как долго продлится эта?

— Если и дальше так пойдет, то недолго. Немцам понадобилось четыре недели, чтобы захватить Францию.

Подошел официант, сообщил, что заведение закрывается. Мы — последние посетители.

— А есть какое-нибудь другое, которое еще открыто? — спросил Шварц.

Официант объяснил, что Лиссабон не из тех городов, где процветает ночная жизнь. Но когда Шварц дал ему на чай, он вспомнил одно кафе, тайное, по его словам, русский ночной клуб.

— Весьма шикарный, — добавил он.

— Нас туда пустят? — спросил я.

— Конечно, сударь. Я только хотел сказать, что там шикарные женщины. Всех национальностей. В том числе немки.

— У них долго открыто?

— Пока есть посетители. А сейчас посетители есть всегда. Много немцев-то, сударь.

— Каких немцев?

— Ну, немцев же.

— С деньгами?

— Ясное дело, с деньгами. — Официант засмеялся. — Заведение не из дешевых. Но весьма веселое. Вы могли бы сказать им, что отсюда вас

прислал Мануэл? Тогда больше ничего сообщать не надо.

— А разве надо что-нибудь сообщать?

— Да нет, ничего. Портье запишет вас на вымышленное имя как члена клуба. Для проформы.

— Хорошо.

Шварц расплатился по счету. Мы медленно пошли вниз по уличным лестницам. Блеклые дома спали, прислонясь друг к другу. Из окон доносились вздохи, храп и дыхание людей, которые не тревожились по поводу паспортов. Наши шаги звучали громче, чем днем.

— Свет, — сказал Шварц. — Вас он тоже удивляет?

— Да. Мы ведь привыкли к затемненной Европе. Здесь думаешь, что кто-то забыл выключить свет, а в следующий миг грянет воздушный налет.

Шварц остановился.

— Мы получили этот подарок, потому что в нас есть что-то от Бога, — вдруг патетически произнес он. — А теперь прячем его, потому что убиваем эту частицу Бога в нас.

— Насколько я помню предания, огонь мы получили не в подарок, Прометей украл его, — возразил я. — За это боги одарили его хроническим

циррозом печени. По-моему, это больше под стать нашему характеру.

Шварц посмотрел на меня.

— Я давно перестал иронизировать. И отбросил страх перед высокими словами. Пока иронизируешь и боишься, пытаешься свести вещи к меньшему масштабу, нежели реальный.

— Пожалуй, — сказал я. — Но стоит ли все время таращиться на невозможное и твердить: это невозможно? Не лучше ли уменьшить его и тем самым впустить лучик надежды?

— Вы правы! Простите меня. Я забыл, что вы спасаетесь бегством. В такой ситуации не до размышлений о пропорциях.

— А вы разве не спасаетесь бегством?

Шварц покачал головой:

— Уже нет. Я второй раз возвращаюсь.

— Куда? — с удивлением спросил я. Не мог поверить, что он опять возвращается в Германию.

— Обратно, — ответил он. — Я объясню вам.

III

Ночной клуб оказался одним из типичных заведений, какими управляют русские белоэмигранты, после революции 1917 года их повсюду в Европе великое множество, от Берлина до Лис-

сабона. Повсюду те же официанты, в прошлом аристократы, те же хоры из бывших гвардейских офицеров, те же высокие цены и то же меланхолическое настроение.

И освещение повсюду одинаковое, приглушенное, на какое я и рассчитывал. Немцы, о которых говорил официант, явно не были эмигрантами. Вероятно, шпионы, сотрудники посольства или служащие немецких фирм.

— Русские устроились получше, чем мы, — сказал Шварц. — Правда, они стали эмигрантами на пятнадцать лет раньше. А пятнадцать лет несчастья — долгий срок, много опыта накопишь.

— Они были первой волной эмиграции, — заметил я. — Им еще сочувствовали. Разрешали работать, выдавали документы. Нансеновские паспорта. Когда эмигрантами стали мы, мир давным-давно израсходовал свое сочувствие. Мы были докучливы, как термиты, и почти никто за нас не вступался. Мы не вправе работать, не вправе существовать, и документов у нас нет как нет.

С первой же минуты в клубе я занервничал. Вероятно, объяснялось это изолированностью помещения с множеством занавесей, сознанием, что здесь присутствуют немцы, и тем, что сидел я слишком далеко от двери — не убежишь, а я

привык всюду сидеть рядом с выходом. Вдобавок я больше не видел парохода, что опять-таки усиливало нервозность. Кто знает, вдруг он снимется с якоря ночью, раньше объявленного срока, по причине непредвиденных обстоятельств.

Шварц, похоже, это почувствовал. Слазил в карман, положил билеты передо мной:

— Возьмите. Я не работорговец. Возьмите их и уходите, если хочется.

Сгорая от стыда, я посмотрел на него:

— Вы превратно меня поняли. У меня есть время. Сколько угодно.

Шварц не ответил. Ждал. Я взял билеты, спрятал в карман.

— Я постарался найти поезд, который прибывал в Оснабрюк под вечер, — продолжал он как ни в чем не бывало. — Меня вдруг охватило ощущение, будто я только теперь пересеку границу. Все прежнее было еще чужбиной, даже Германия, но теперь каждое дерево мало-помалу заговорило. Мы проезжали через знакомые деревни, я бывал там в школьных походах, бывал с Хелен в первые недели нашего знакомства, любил эти места, как любил и сам город с его домами и садами.

До сих пор мое отвращение было абстрактным монолитом. Случившееся оцепенило все

во мне, превратило в камень. У меня никогда не возникало потребности, более того, я боялся анализировать его и детализовать. А теперь, нежданно-негаданно, заговорили вещи, имеющие к этому отношение, но никак со всем этим не связанные.

Ландшафт не изменился. Остался прежним. Церковные башни стояли как раньше, все так же мягко зеленели патиной на фоне наступающего вечера; река, как всегда, отражала небо. Мне вспомнилось время, когда я ловил там рыбу и мечтал о приключениях в дальних странах — позднее приключений хватало, но не таких, какие я представлял себе тогда. Луга с мотыльками и стрекозами и склоны холмов с деревьями и полевыми цветами не изменились, остались прежними, как во времена моей юности, в них и была моя юность — погребенная, если угодно, или сбереженная, если посмотреть иначе.

И ничто не нарушало эту картину. Людей из окна поезда я видел мало, а мундиров — вообще ни одного. Я видел только вечер, который медленно окутывал ландшафт. В крохотных садиках у домишек железнодорожных смотрителей уже распускались розы, и георгины, и лилии, как всегда; эта проказа их не тронула, они свисали с

деревянных заборчиков, как и во Франции, а на лугах паслись коровы, как и на лугах в Швейцарии, бурые, черные, белые — без свастики, — с теми же, как обычно, терпеливыми глазами. Видел я и щелкающего клювом аиста на каком-то крестьянском доме, и ласточки летали, как летают везде и всегда. Только люди стали другими, я знал, но в этот вечер не мог ни увидеть, ни понять.

Да и другими они были не на один манер, как мне бездумно представлялось до сих пор. Купе заполнялось, пустело и заполнялось вновь. Людей в форме среди пассажиров было в этот час совсем немного, почти сплошь самый обыкновенный народ, с разговорами вроде тех, какие я слыхал во Франции и в Швейцарии, — о погоде, об урожае, о событиях дня и страхе перед войной. Они боялись ее, только вот за пределами Германии все знали, что войны хочет Германия, а здесь я слышал, что заграница навязывает ее Германии. Почти каждый был за мир, как всегда накануне катастрофы.

Поезд остановился. Вместе с толпой других пассажиров я протиснулся через турникет. Зал ожидания не изменился с тех пор, как я видел его последний раз, только казался меньше и запы-

леннее, чем в памяти.

Едва я ступил на Вокзальную площадь, все, что я думал прежде, разом отпало. Вокруг было сумеречно и сыро, как после дождя, ландшафта я уже не видел, внезапно все во мне затрепетало, и я понял, что с этой минуты нахожусь в большой опасности. Одновременно меня не оставляло ощущение, что ничего со мной случиться не может. Я как бы стоял под стеклянным колпаком, который защищал меня, но в любую минуту мог разбиться.

Я вернулся в здание вокзала, к кассе, чтобы купить обратный билет до Мюнстера, — жить-то мне в Оснабрюке нельзя. Слишком опасно. «Когда отходит последний поезд?» — спросил я у служащего, который, сверкая лысиной, сидел в желтом свете за окошком, словно этакий захолустный будда, уверенный и неуязвимый.

«Один — в двадцать два двадцать, второй — в двадцать три двенадцать».

Я пошел к автомату, вытянул перронный билет. Пусть будет под рукой, на случай, если придется по-быстрому исчезнуть, в то время, когда мой билет еще не действует. Как правило, перроны — укрытия никудышные, но их хотя бы несколько (в Оснабрюке три), и можно вскочить в любой

отъезжающий поезд, объяснить кондуктору, что ошибся, оплатить проезд и сойти на следующей остановке.

Я решил позвонить давнему другу, зная, что он не сторонник режима. По телефону выясню, сможет ли он мне посодействовать. Позвонить прямо жене я не рискнул, потому что не знал, живет ли она одна.

Я стоял в стеклянной кабинке, перед телефонным справочником и аппаратом. Пока листал страницы с замусоленными и загнутыми уголками, сердце так колотилось, что я прямо слышал его стук, опасался даже, что его слышат и другие, и нагнул голову пониже, чтобы меня не узнали. Не раздумывая, я открыл страницу на ту букву, с которой начиналась моя прежняя фамилия. И нашел свою жену, телефон был тот же, но адрес изменился. Рисмюллер-плац называлась теперь Гитлер-плац.

Когда я увидел адрес, мне почудилось, будто тусклая лампочка в кабинке вспыхнула стократ сильнее. Я поднял голову, настолько отчетливым было ощущение, что глубокой ночью я стою в ярко освещенной стеклянной коробке… или на меня снаружи направлен прожектор. И мне вновь полностью открылось все безумие моей затеи.

Я вышел из кабинки, зашагал через полутемный зал ожидания.

Плакаты общества «Сила через радость» и рекламы немецких курортов грозили мне своими синими небесами и радостными людьми. По-видимому, прибыло несколько поездов — толпа пассажиров поднималась по лестнице. От одной группы отделился эсэсовец. Пошел мне навстречу.

Я не побежал. Возможно, эсэсовец шел вовсе не ко мне. Однако он остановился перед мной, посмотрел на меня:

«Простите, огоньку не найдется?»

«Огоньку? — переспросил я и тотчас быстро добавил: — Ну конечно! Спички!»

Я пошарил в кармане.

«Зачем спички? — удивился эсэсовец. — Вы же курите сигарету!»

А я и не знал, что закурил. Протянул ему свою сигарету. Он поднес свою к ее тлеющему кончику, потянул. «Что за сигарета у вас? Пахнет прямо как сигара!»

Это была французская «Голуаз». Собираясь через границу, я захватил с собой несколько пачек. «Подарок друга, — объяснил я. — Французский табачок. Черный. Привезен оттуда. На мой вкус,

они чересчур крепкие».

Эсэсовец засмеялся. «Лучше совсем бросить курить, а? Как фюрер. Но кто сможет, особенно в нынешние времена?» Он козырнул и отошел.

Шварц слабо усмехнулся:

— В бытность человеком, который еще имел право ходить где угодно, я часто сомневался, читая, как писатели описывают страх и испуг… у жертвы, мол, замирает сердце, она стоит в оцепенении, купается в поту, по спине и по жилам пробегает мороз… я считал это штампами и дурным стилем… возможно, так оно и есть, но притом это чистая правда. Я на себе испытал, все правильно, хотя раньше, когда понятия об этом не имел, только смеялся.

Подошел официант:

— Не желаете компании, господа?

— Нет.

Он наклонился ко мне:

— Не хотите ли, прежде чем отказываться, взглянуть на двух дам у стойки?

Я посмотрел туда. Одна весьма хорошо сложена. Обе в вечерних платьях. Лиц не разглядеть.

— Нет, — повторил я.

— Это же дамы, — сказал официант. — Та, что справа, немка.

— Она вас сюда послала?

— Нет, сударь, — ответил официант с очаровательно невинной улыбкой. — Это моя идея.

— Ладно. Забудьте свою идею. Лучше принесите нам закусить.

— Чего он хотел? — спросил Шварц.

— Свести нас с внучкой Маты Хари. Наверно, вы дали ему чересчур много чаевых.

— Я пока не платил. Думаете, они шпионки?

— Возможно. Но в пользу единственного интернационала на свете: денег.

— Немки?

— Одна, по словам официанта.

— Как считаете, она здесь затем, чтобы заманивать немцев обратно?

— Вряд ли. В похищениях людей сейчас больше наторели русские.

Официант принес тарелку бутербродов. Я заказал их, потому что чувствовал действие вина. Хотел сохранить ясность мысли.

— Не хотите поесть? — спросил я у Шварца.

Он рассеянно покачал головой:

— Я не подумал, что эти сигареты могут меня выдать. И еще раз проверил все, что имел при себе. Спички, тоже французские, я выбросил вместе с оставшимися сигаретами и купил немецкие.

Потом вспомнил, что в паспорте у меня стоят французский въездной штамп и виза и, стало быть, в случае обыска французские сигареты были бы вполне оправданны. Мокрый от пота, злясь на себя и свой страх, я вернулся к телефонной кабинке.

Пришлось ждать. Женщина с большим партийным значком позвонила по двум номерам, пролаяла приказания. Третий номер не ответил, и она, злая и властная, вышла из кабинки.

Я позвонил другу. Ответил женский голос. «Будьте добры, можно поговорить с доктором Мартенсом?» — спросил я и заметил, что охрип. «Кто у аппарата?» — осведомилась женщина.

«Друг доктора Мартенса». Назвать свое имя я не мог. Не знал, кто у телефона — его жена или прислуга, но ни той ни другой выдать себя не мог.

«Ваше имя, пожалуйста», — сказала женщина.

«Я друг доктора Мартенса, — повторил я. — Так ему и скажите. По срочному делу».

«Сожалею, — сказал женский голос. — Если вы не назовете свое имя, я не смогу вас записать».

«Вам придется сделать исключение… — сказал я. — Доктор Мартенс ждет моего звонка».

«Если так, вы можете сказать мне свое имя…»

Я лихорадочно размышлял. Потом услышал,

как положили трубку.

Я стоял на сквозняке, в сером здании вокзала. Первая попытка, казавшаяся мне очень простой, не удалась, и я уже не знал, как быть дальше. Может, надо было все-таки позвонить самой Хелен, пойти на риск, что кто-нибудь из ее семейства узнает меня по голосу. Я мог назвать и другое имя, но какое? Доктор Мартенс — никто иной мне сейчас в голову не приходил. Я все еще мешкал, когда в мозгу вдруг сверкнула мысль, до которой в десять лет я наверняка бы додумался первым делом. Почему бы не позвонить Мартенсу от имени брата жены? Он знал его и еще десять лет назад на дух не выносил.

Так я и сделал, не откладывая. По телефону снова ответил тот женский голос. «Георг Юргенс, — решительно произнес я. — Доктора Мартенса, пожалуйста».

«Это вы только что звонили?»

«Штурмбаннфюрер Юргенс. Мне нужно поговорить с доктором Мартенсом. Немедля!»

«Да-да, — сказала женщина. — Минуточку! Сейчас!»

Шварц посмотрел на меня:

— Вам знаком этот ужасный, тихий шум в трубке, когда ждешь у телефона свою жизнь?

Я кивнул:

— Не обязательно жизнь. Может быть, пытаешься призвать Ничто.

— Наконец я услышал: «Доктор Мартенс у аппарата», — сказал Шварц. — И опять почувствовал то самое, над чем раньше смеялся. В горле пересохло.

«Рудольф», — наконец прошептал я.

«Как вы сказали?»

«Рудольф, — повторил я. — Звонит родственник Хелен Юргенс».

«Не понимаю. Вы разве не штурмбаннфюрер Юргенс?»

«Я назвался его именем, Рудольф. И звоню насчет Хелен Юргенс. Теперь понимаешь?»

«Нет, совершенно не понимаю, — раздраженно сказал человек на другом конце линии. — У меня идет прием…»

«Я могу зайти к тебе на прием, Рудольф? Ты очень занят?»

«Позвольте! Я вас не знаю, а вы…»

«Олд Шеттерхенд», — сказал я.

Наконец-то я вспомнил, как мы мальчишками называли друг друга, когда играли в индейцев. Именами из романов Карла Мая. В двенадцать лет мы буквально глотали эти книжки. Секунду

в трубке молчали. Потом Мартенс тихо сказал: «Что?»

«Виннету, — продолжал я. — Ты забыл давние имена? Это же любимые книги фюрера».

«Верно», — сказал он. Все знали, что человек, развязавший Вторую мировую войну, для чтения на сон грядущий держал у себя в спальне тридцать с лишним томов про индейцев, трапперов и охотников, которые уже пятнадцатилетний мальчишка начинает воспринимать слегка иронически.

«Виннету?» — недоверчиво повторил Мартенс.

«Да. Мне нужно повидать тебя».

«Не понимаю. Где вы находитесь?»

«Здесь. В Оснабрюке. Где мы можем встретиться?»

«У меня сейчас прием пациентов», — машинально сказал Мартенс.

«Я болен. Могу прийти на прием».

«Ничего не понимаю, — сказал Мартенс, вполне решительно. — Если вы больны, приходите на прием. Зачем по телефону-то звонить?»

«Когда?»

«Лучше всего в семь тридцать. В семь тридцать, — повторил он. — Не раньше!»

«Ладно, в семь тридцать».

Я положил трубку. Опять весь в поту. Медленно направился к выходу. На улице нет-нет выглядывал из-за туч бледный месяц. Через неделю новолуние, подумалось мне. Хорошее время для перехода границы. Я посмотрел на часы. В моем распоряжении еще сорок пять минут. С вокзала надо уходить. Подозрительно, когда слишком долго там слоняешься. Я зашагал по той улице, что была самой темной и малолюдной. Она вела к старым городским валам. Часть их сровняли и засадили высокими деревьями; другая часть сохранилась и шла вдоль реки. Я двинулся в ту сторону, через площадь, мимо церкви Сердца Христова.

С верхнего вала виднелись городские крыши и башни на другом берегу. Барочный купол собора поблескивал в неверном свете. Я знал эту панораму, воспроизведенную на тысячах почтовых открыток. Знал запах воды и запах липовой аллеи, тянувшейся вдоль вала.

На лавочках в аллее сидели влюбленные пары, а лавочки были поставлены так, чтобы смотреть на реку и на город; я сел на свободную, чтобы подождать полчасика, а затем пойти к Мартенсу.

Зазвонили колокола собора. Я был настолько взбудоражен, что физически ощущал эти удары,

будто они возникали в незримом теннисном матче двух игроков, бросавших их друг другу. Один игрок — мое давнее «я», знакомое мне, испуганное, охваченное страхом и не смеющее обдумать свое положение, а другой — второе, новое, не желавшее размышлять, дерзкое, рискующее собой, словно иначе и быть не может… странная шизофрения, в которой участвовал еще и третий, зритель, бесстрастный, как арбитр, пассивный, но желающий победы новому «я».

Я хорошо помню эти полчаса. Помню даже, что удивлялся, ощущая самого себя так отстраненно. Мне казалось, я стоял в комнате, где на стенах друг против друга висят зеркала; они отбрасывали мой образ в даль пустой бесконечности, и за каждым отражением я видел еще одно, выглядывавшее из-за плеча первого. Зеркала казались старыми, потемневшими, и я не мог разглядеть выражение лица — вопросительное, печальное или полное надежды. Все они угасали в серебристой тьме.

Какая-то женщина села рядом со мной. Я понятия не имел, чего она хотела, да и как знать, может, варварский режим успел давным-давно перевести и эти вещи в разряд военных учений. Поэтому я встал и пошел прочь. За спиной послы-

шался смех женщины, я никогда его не забуду — тихий, слегка презрительный и сочувственный смех незнакомки на валу Херрентайхсвалль в Оснабрюке.

IV

Приемная была пуста. Растения с длинными кожистыми листьями стояли на жардиньерке у окна. На столе лежали иллюстрированные журналы с фотографиями чиновных бонз режима, солдат и марширующего отряда гитлерюгенда на обложках. Потом я услыхал быстрые шаги. В дверях появился Мартенс. Пристально посмотрел на меня, снял очки, прищурил глаза. Свет в приемной был тусклый. И узнал он меня не сразу, вероятно из-за усов.

«Это я, Рудольф, — сказал я. — Йозеф».

Он поднял руку, зна́ком призывая к молчанию. Прошептал: «Откуда ты?»

Я пожал плечами. Какая разница? «Вот, приехал, — сказал я. — Ты должен мне помочь».

Он взглянул на меня. В тусклом освещении близорукие глаза походили на рыбьи за толстым стеклом аквариума. «Тебе разрешено находиться здесь?»

«Я сам себе разрешил».

«Как ты перешел границу?»

«Не все ли равно. Я приехал увидеть Хелен».

Он неотрывно глядел на меня. «Ты приехал ради этого?»

«Да», — ответил я.

Внезапно мной овладело спокойствие. Пока был один, меня снедала тревога. Но теперь волнения разом улетучились, потому что я обдумывал, как успокоить человека, которого застал врасплох.

«Ради этого?» — снова спросил он.

«Да, ради этого. И ты должен мне помочь».

«Господи!» — сказал он.

«Она умерла?» — спросил я.

«Нет, не умерла».

«Она в городе?»

«Да. Была в городе. По крайней мере, неделю назад».

«Мы можем говорить здесь?» — спросил я.

Мартенс кивнул. «Я отослал помощницу. Если придут пациенты, отошлю и их тоже. Ко мне в квартиру нельзя. Я женился. Два года назад. Ты понимаешь…»

Я понимал. В Тысячелетнем рейхе даже родственникам давно нельзя доверять. Спасители Германии ежедневно восхваляли доносы как

национальную добродетель. Я испытал это на собственном опыте. На меня донес брат жены.

«Моя жена в партии не состоит, — быстро сказал Мартенс. — Но мы никогда не говорили… — он в замешательстве посмотрел на меня, — о подобных ситуациях. Я не знаю точно, что́ она может подумать. Заходи».

Он открыл дверь кабинета и запер ее за нами. «Оставь открытой, — сказал я. — Запертый кабинет подозрительнее, чем если нас увидят».

Он опять повернул ключ, посмотрел на меня. «Йозеф, ради бога, что ты здесь делаешь? Ты приехал украдкой?»

«Да. И тебе не нужно меня прятать. Я живу в гостинице за городом. А к тебе пришел просто потому, что не знаю никого другого, кто сообщил бы Хелен, что я здесь. Пять лет я ничего о ней не слышал. Не знаю, что с ней и как. Не знаю, вышла ли она снова замуж. Если вышла…»

«Ты поэтому и приехал?»

«Да, — удивленно ответил я. — Почему же еще?»

«Тебя надо спрятать, — сказал он. — Сегодня можешь переночевать здесь, в кабинете, на кушетке. Утром до семи я тебя разбужу. В семь придет уборщица. После восьми ты сможешь

вернуться. Пациенты явятся не раньше одиннадцати».

«Она замужем?» — спросил я.

«Хелен? — Он покачал головой. — Думаю, она с тобой даже не разводилась».

«Где она живет? В старой квартире?»

«Должно быть».

«Там с ней живет кто-нибудь еще?»

«Кто?»

«Мать. Сестра. Брат. Кто-нибудь еще из родни».

«Этого я точно не знаю».

«Тогда узнай, — сказал я. — И скажи ей, что я здесь».

«Почему ты сам не скажешь? — спросил Мартенс. — Телефон к твоим услугам».

«А если она не одна? Если там брат, который однажды уже донес на меня?»

«Ты прав. Она, наверно, растеряется, как я. И тем себя выдаст».

«Я даже не знаю, как она ко мне относится, Рудольф. Пять лет прошло, а до того мы прожили в браке всего четыре года. Пять лет больше, чем четыре… а отсутствие вдесятеро длиннее совместной жизни».

Он кивнул, потом сказал:

«Не понимаю я тебя».

«Вполне возможно. Я и сам себя не понимаю. Мы живем разными жизнями».

«Почему ты ей не писал?»

«Сейчас я не могу тебе объяснить, Рудольф. Сходи к Хелен. Поговори с ней. Разузнай, что она думает. Если сочтешь нужным, скажи ей, что я здесь, и спроси, как бы нам повидаться».

«Когда мне идти?»

«Прямо сейчас, — с удивлением сказал я. — Когда же еще?»

Он огляделся по сторонам. «А ты где будешь в это время? Здесь небезопасно. Жена пошлет вниз служанку, если я не появлюсь. Она привыкла, что, закончив прием, я поднимаюсь в квартиру. Или мне придется запереть тебя, но это опять-таки привлечет внимание».

«Я не хочу сидеть под замком, — сказал я. — Разве ты не можешь сказать жене, что должен навестить пациента?»

«Это я ей потом скажу. Так проще».

В его глазах блеснул огонек, и мне почудилось, будто левый на секунду слегка прищурился. Прямо как в детстве. «Пойду пока в собор, — сказал я. — Церкви сейчас еще более-менее безопасны, точно в Средневековье. Когда тебе позвонить?»

«Через час. Назовись Отто Штурмом. Но как я

тебя найду? Может, все-таки пойдешь куда-нибудь, где есть телефон?»

«Где телефон, там и опасность».

«Да, пожалуй. — Секунду он стоял в нерешительности. — Да, пожалуй, ты прав. Если я к тому времени не вернусь, перезвони еще разок… или оставь сообщение, где находишься».

«Ладно».

Я взял шляпу.

«Йозеф», — сказал он.

Я обернулся.

«Как там, за границей? — спросил он. — Ну… безо всего…»

«Безо всего? Примерно так: безо всего. Почти. А как здесь? Со всем, кроме одного?»

«Паршиво, — сказал он. — Паршиво, Йозеф. Но с виду блестяще».

Самыми малолюдными улицами я направился к собору. Идти было недалеко. На Кранштрассе мимо прошагала рота солдат. Они пели какую-то незнакомую песню. На Соборной площади я опять увидел солдат. Чуть дальше, перед тремя крестами Малой церкви, стояли вплотную друг к другу сотни две-три людей. Почти все в партийной форме. Я услышал голос и поискал оратора, но не нашел. Лишь немного погодя углядел на

возвышении черный громкоговоритель. Он стоял там — освещенный, голый, сиротливый автомат — и кричал о праве на возвращение всех германских земель, о большой Германии, о возмездии и о том, что миру будет гарантирован мир, если он поступит так, как хочет Германия, и это справедливо.

Вновь задул ветер, качающиеся ветви бросали свои беспокойные тени на лица, на кричащую машину и безмолвные каменные скульптуры на церковной стене у них за спиной — распятого Христа и двух разбойников. Лица у слушателей были сосредоточенные и просветленные. Они верили всему, что им кричал автомат, и, что характерно для странного гипноза, который здесь происходил, аплодировали тому, кто не мог ни слышать их, ни видеть, аплодировали как человеку. Мне это показалось характерным и для пустой, мрачной одержимости нашего времени, которое в страхе и истерике следует лозунгам, безразлично, выкрикивает ли их представитель левых или правых, главное, чтобы крикун избавлял массу от тягостных размышлений и от ответственности, что придется выступить за то, чего она боится и чего не избежит.

Я не ожидал застать в соборе столько народу.

Лишь немного погодя сообразил, что на дворе конец мая, а в этом месяце богослужение совершают каждый вечер. Секунду я прикидывал, не лучше ли пойти в одну из протестантских церквей, но не знал, открыты ли они вечером. Неподалеку от входа я протиснулся в пустую скамью. У алтаря мерцали свечи; в остальном храм был освещен слабо, и узнать меня будет нелегко.

Священник медленно прохаживался взад-вперед возле алтаря, в облаке ладана, парчи и света, в окружении служек в красных облачениях и белых стихарях, с дымящимся кадилом. Я слышал орган и пение хора, и вдруг мне почудилось, будто я вижу те же восторженные лица, что и на улице, глаза, тоже словно находящиеся в отрешенном сне наяву, полные веры без вопросов и жажды безопасности и безответственности. Все здесь было кротко и мягче, нежели за стенами, но эта религия любви к Господу и ближнему не всегда была столь кроткой: на протяжении темных веков она тоже стоила большой крови. А когда ее самое уже не преследовали, она тоже начала преследовать — кострами инквизиции, мечом и пыткой. Брат Хелен, глумливо смеясь, объяснил мне это в лагере: «Мы заимствовали методы у вашей церкви. Ваша инквизиция с

камерами пыток во имя Господа научила нас, как надо обращаться с врагами веры. Мы даже менее фанатичны, заживо сжигаем очень редко». Пока он это объяснял, я висел на кресте — то был один из довольно безобидных способов выжать из арестантов имена.

Священник у алтаря поднял золотой ковчег, благословил толпу. Я сидел очень тихо, но мне казалось, будто я плыву в прохладном потоке дыма, утешения и света. Затем запели последний хорал: «Будь ночью мне защитою и стражем». Я пел его в детстве, и в ту пору опасностью казалась мне ночная тьма, теперь же опасностью был свет.

Верующие начали расходиться. Мне оставалось ждать еще четверть часа, и я отодвинулся в угол, к большой колонне из тех, что подпирали свод.

В тот же миг я увидел Хелен. Сперва как этакий вихрь среди выходящих. Кто-то там пробирался против течения, раздвигал людей, проскальзывал между ними. Секунду-другую я видел светлое, сердитое и решительное лицо и подумал: вот женщина что-то забыла. Я не сразу узнал ее, потому что никак не ожидал здесь увидеть. Только когда она оказалась чуть впереди меня, там, где толпа поредела, по движению плеча, которым она разделяла людской поток, я понял, что

это она. Она словно бы никого не толкала, проскальзывая меж людьми, и скоро стояла почти свободно в широком центральном проходе перед свечами, на фоне сине-алой тьмы высоких романских окон, внезапно худенькая и маленькая, уже, считай, совсем одна, потерянная.

Я встал, чтобы привлечь ее внимание. Помахать рукой не смел. Народу было еще слишком много, в церкви такой жест бросится в глаза. Она жива — вот о чем я подумал в первую очередь. Не умерла и не больна! Странно, в нашей ситуации всегда первым делом думаешь именно об этом! Диву даешься, что какие-то вещи не изменились… что кто-то по-прежнему жив.

Она шла дальше, быстрыми шагами, к хорам. Я вылез из скамьи, пошел следом. У скамьи причащающихся она остановилась, обернулась. Присмотрелась к людям, которые еще преклоняли колени в скамьях, потом медленно пошла по проходу обратно. Я остановился. Она была настолько уверена, что найдет меня на одной из скамей, что прошла вплотную мимо меня, почти задела плечом. Я последовал за ней. «Хелен, — сказал я, когда она опять остановилась, сказал прямо ей в ухо. — Не оборачивайся! Выйди на улицу! Я пойду за тобой. Здесь нас не должны

увидеть».

Она вздрогнула, как от удара, пошла дальше. Зачем только она явилась сюда? Мы очень рисковали быть узнанными. Хотя я ведь тоже не знал, что здесь будет столько народу.

Я смотрел, как она идет впереди, но не чувствовал ничего, кроме тревоги: надо как можно скорее выбраться из церкви. Хелен была в черном костюме и крохотной шляпке, голову она держала очень высоко, чуть-чуть склонив набок, словно прислушивалась к моим шагам. Я немного отстал, но так, чтобы не потерять ее из виду; я по опыту знал, что человека нередко опознаю́т только оттого, что он стоит слишком близко от другого.

Она прошла мимо каменной чаши со святой водой, через большой портал и сразу свернула налево. Вдоль стены собора вела широкая, вымощенная плитами дорожка, отделенная от большой соборной площади чугунными цепями на столбиках из песчаника. Она перепрыгнула через цепи, прошла несколько шагов в темноту и обернулась. Не могу объяснить, что́ я почувствовал в этот миг. Если скажу, что там, впереди, шла вся моя жизнь, как бы уходила прочь и вдруг обернулась и посмотрела на меня… это опять

будет штамп, правда и неправда, но я все равно чувствовал так, и не только. Я пошел навстречу Хелен, навстречу ее тонкой темной фигурке, бледному лицу, глазам, губам, и оставил позади все, что было. Время, проведенное в разлуке, не исчезло, осталось, но казалось чем-то, что я прочитал, но не пережил.

«Откуда ты взялся?» — спросила Хелен чуть ли не враждебно, пока я шел к ней.

«Из Франции».

«Они тебя впустили?»

«Нет. Я пересек границу нелегально».

Вопросы почти те же, какие задавал Мартенс.

«Почему?» — спросила она.

«Чтобы увидеть тебя».

«Тебе не следовало приезжать!»

«Знаю. Я твердил себе это каждый день».

«И почему же приехал?»

«Если б знал, меня бы здесь не было».

Я не смел поцеловать ее. Она стояла совсем близко, но так неподвижно, будто разобьется, если дотронешься. Я не знал, о чем она думает, но снова увидел ее, она была жива, и теперь я мог уйти или ждать, что произойдет.

«Ты не знаешь?» — спросила она.

«Завтра буду знать. Или через неделю. Или

позднее».

Я смотрел на нее. Что тут надо знать? Знание — всего лишь клочок пены, пляшущий на волне. Любой ветерок мог его сдуть, а волна оставалась.

«Ты приехал», — сказала Хелен, и лицо ее утратило неподвижность, стало нежным, она шагнула поближе. Я держал ее за плечи, ее ладони упирались мне в грудь, словно она хотела оттолкнуть меня. Казалось, мы давно уже стоим вот так вдвоем, друг против друга, на черной, ветреной Соборной площади, а уличный шум достигает нас лишь издалека, приглушенно, словно сквозь звукопоглощающую стеклянную стену. Слева, в сотне шагов, через площадь, высился ярко освещенный городской театр с широкими белыми ступенями, и я до сих пор помню, как на мгновение смутно удивился, что там еще играют спектакли, а не устроили казарму или тюрьму.

Мимо прошла группа людей. Кто-то засмеялся, некоторые оглянулись на нас.

«Идем, — шепнула Хелен. — Нельзя здесь оставаться».

«Куда же мы пойдем?»

«В твою квартиру».

Мне показалось, я ослышался.

«Куда?» — переспросил я.

«В твою квартиру. Куда же еще?»

«Меня могут узнать в подъезде! Разве жильцы в доме не те, что раньше?»

«Тебя не увидят».

«А прислуга?»

«Я отошлю ее на сегодняшний вечер».

«А завтра утром?»

Хелен посмотрела на меня.

«Ты приехал из такой дали, чтобы задавать мне эти вопросы?»

«Я приехал не затем, чтобы меня схватили, а тебя посадили в лагерь, Хелен».

Она вдруг улыбнулась:

«Йозеф, ты не изменился. Как ты только сумел добраться сюда?»

«Сам не знаю. — Невольно я тоже улыбнулся. Воспоминание о том, что́ она, бывало, наполовину с гневом, наполовину с отчаянием говорила о моей осмотрительности, разом стерло опасность. — Но я здесь».

Она покачала головой, и я увидел, что ее глаза полны слез.

«Пока нет, — возразила она. — Пока нет! А теперь идем, или нас в самом деле арестуют, ведь со стороны кажется, будто я закатываю тебе скандал».

Мы пошли через площадь. «Я не могу сразу идти с тобой, — сказал я. — Сперва ты должна отослать прислугу! Я снял номер в одной из мюнстерских гостиниц. Там меня никто не знает. Собирался пожить там».

Она остановилась. «Как долго?»

«Не знаю, — ответил я. — Я не мог думать вперед, думал только о том, что хочу увидеть тебя, а потом как-нибудь вернуться».

«Через границу?»

«Куда же еще, Хелен?»

Она наклонила голову, пошла дальше. Я думал, что сейчас мне положено быть очень счастливым, но ничего такого не чувствовал. Наверно, по-настоящему всегда чувствуешь это лишь задним числом. Теперь… теперь я знаю, что был счастлив.

«Мне надо позвонить Мартенсу», — сказал я.

«Можешь позвонить из своей квартиры», — ответила Хелен. Всякий раз, когда она упоминала про мою квартиру, меня словно током ударяло. Она делала так нарочно. Не знаю почему.

«Я обещал Мартенсу позвонить через час, — сказал я. — Пора. Если не позвоню, он решит, что-то случилось. И глядишь, совершит какую-нибудь оплошность».

«Он знает, что я пошла за тобой».

Я взглянул на часы. Со звонком я опоздал уже на четверть часа. «Я могу позвонить из ближайшего кафе, — сказал я. — Минутное дело».

«Господи, Йозеф! — рассердилась Хелен. — Ты и правда не изменился. Стал еще бóльшим педантом».

«Это не педантизм. Это опыт. Я слишком часто видел, сколько бед может случиться, когда забывают о мелочах. И слишком хорошо знаю, что значит ожидание под угрозой опасности. — Я взял ее под руку. — Без такого педантизма меня бы уже не было в живых, Хелен».

Она крепко стиснула мое плечо и пробормотала: «Я знаю. Разве ты не видишь, что мне страшно, как бы чего не случилось, если я хоть на секунду оставлю тебя одного?»

Я ощутил все тепло мира. «Ничего не случится, Хелен. В это тоже можно верить. При всем педантизме».

Она улыбнулась, подняла бледное лицо: «Иди звони! Но не из кафе. Вон там есть телефонная будка. Ее установили, пока тебя не было. Там безопаснее, чем в кафе».

Я зашел в стеклянную будку. Хелен осталась снаружи. Позвонил Мартенсу. Занято. Немного

подождал, позвонил еще раз. Монета с дребезжанием выпала, номер был по-прежнему занят. Я встревожился. Сквозь стекло я видел Хелен: она сосредоточенно расхаживала взад-вперед. Я сделал ей знак, но она на меня не глядела. Наблюдала за улицей, вытянув шею, всматриваясь, но стараясь не слишком это показывать, страж и ангел-хранитель одновременно, в превосходно сидящем костюме, как я теперь заметил. Пока ждал, заметил и что она подкрасила губы. В желтом свете они казались черными. А я вдруг вспомнил, что косметика и губная помада в новой Германии не приветствовались.

На третий раз я дозвонился до Мартенса.

«Жена говорила по телефону, — сказал он. — Почти полчаса. Я не мог ее прервать. О платьях, войне и детях».

«Где она сейчас?»

«На кухне. Пришлось дать ей поговорить. Понимаешь?»

«Да. Все в порядке. Спасибо, Рудольф. Забудь про все».

«Ты где?»

«На улице. Спасибо тебе, Рудольф. Больше мне ничего не требуется. Я все нашел. Мы вместе».

Сквозь стекло я смотрел на Хелен, хотел по-

ложить трубку. «Крыша над головой у тебя есть?» — спросил Мартенс.

«Думаю, да. Не беспокойся. Забудь этот вечер, как сон».

«Если я могу сделать еще что-нибудь, — помедлив, сказал он, — сообщи. Сегодня я просто был слишком ошеломлен. Понимаешь…»

«Да, Рудольф, понимаю. И если мне что-то понадобится, сообщу».

«Если захочешь тут переночевать… мы бы могли еще поговорить…»

Я улыбнулся: «Посмотрим. Сейчас мне пора закругляться…»

«Да, конечно, — поспешно сказал он. — Извини. Удачи, Йозеф! В самом деле!»

«Спасибо, Рудольф».

Я вышел из душной будки. Порыв ветра налетел на меня, едва не сорвал шляпу. Хелен быстро подошла. «Идем домой! Ты заразил меня своей осторожностью. Не могу отделаться от ощущения, будто из темноты пялятся сотни глаз».

«Прислуга у тебя все та же?»

«Лена? Нет, она шпионила для моего брата. Он хотел знать, пишешь ли ты мне. Или я тебе».

«А нынешняя?»

«Глупая и равнодушная. Я могу отослать ее, она

только обрадуется и раздумывать не станет».

«Ты ее еще не отослала?»

Она улыбнулась и вдруг очень похорошела. «Сперва я должна была убедиться, что ты вправду здесь».

«Отошли ее до моего прихода, — сказал я. — Она не должна нас видеть. Может, пойдем куда-нибудь в другое место?»

«Куда?»

Действительно, куда? Хелен вдруг рассмеялась: «Стоим тут как подростки, которые вынуждены встречаться тайком, потому что родители считают их слишком маленькими! Куда мы можем пойти? В дворцовый парк? Его в восемь закрывают. Посидеть на лавочке где-нибудь в городском сквере? В кондитерскую? Слишком уж опасно!»

Она была права. Мелочи, которых я не предусмотрел… их никогда не предугадаешь. «Да, — сказал я. — Мы как подростки. Нас словно отбросило назад, в юность».

Я посмотрел на нее. Ей было двадцать девять, но казалась она той же, какой я ее знал. Минувшие пять лет как бы исчезли, стекли, как вода с молодого тюленя. «Я и приехал сюда как подросток, — сказал я. — Все говорило против этого, но я, как подросток, не думал вперед. Не знал даже,

не живешь ли ты давным-давно с кем-нибудь другим».

Она не ответила. Каштановые волосы блестели в свете фонаря. «Я пойду первой и отошлю прислугу, — сказала она. — Но мне ненавистно оставлять тебя одного на улице. Вдруг ты опять исчезнешь… как и появился. Где побудешь?»

«Там, где ты меня нашла. В какой-нибудь церкви. Могу вернуться в собор. Церкви безопасны, Хелен. Я стал большим знатоком французских, швейцарских и итальянских церквей и музеев».

«Приходи через полчаса, — шепнула она. — Помнишь окна нашей квартиры?

«Да», — ответил я.

«Если угловое окно будет открыто, значит, все в порядке и ты можешь подняться наверх. Если оно будет закрыто, дождись, когда я его открою».

Я невольно вспомнил Мартенса и детство, когда мы играли в индейцев. Тогда сигналом служила свеча в окне… сигналом для Кожаного Чулка или Виннету, ожидавшего внизу. Все повторяется? Неужели что-то в самом деле повторяется?

«Хорошо», — сказал я, собираясь уходить.

«Куда пойдешь?»

«Погляжу, открыта ли еще церковь Девы Марии. Помнится, это прекрасный образец готического

зодчества. Я научился ценить такие вещи».

«Перестань! — сказала она. — Достаточно и того, что я должна оставить тебя одного».

«Хелен, — сказал я. — Я умею быть осторожным».

Она покачала головой. Лицо вдруг утратило все претензии на храбрость. «Недостаточно, — сказала она. — Недостаточно. Что мне делать, если ты не придешь?»

«Ничего. Телефон у тебя тот же?»

«Да».

Я тронул ее плечо. «Хелен, все будет хорошо».

Она кивнула: «Я провожу тебя до церкви Девы Марии. Хочу убедиться, что там ты в безопасности».

Мы молча зашагали по улице. Идти было недалеко. Хелен покинула меня, не сказав ни слова. Я смотрел ей вслед, пока она шла через Рыночную площадь. Шла быстро, не оглядываясь.

Я остановился в тени портала. Справа в тени была ратуша, только на каменных лицах старинных изваяний поблескивала полоска лунного света. С этого крыльца в 1648 году объявили об окончании Тридцатилетней войны, а в 1933-м — о начале Тысячелетнего рейха. Интересно, доживу ли я до той поры, когда отсюда же объявят о его

конце. Вряд ли, надежды маловато.

Войти в церковь я не пытался. Мне вдруг стало противно прятаться. Разумеется, я не хотел действовать неосторожно, но, увидев Хелен, более не желал без нужды быть загнанным зверем.

Чтобы не привлекать внимания, я пошел дальше. Город, прежде опасный, знакомый и вместе чужой, теперь стал оживать. Я это чувствовал, потому что оживал сам. Анонимное существование последних лет, по сути всего-навсего выживание, бесплодное прозябание от одного дня к другому, вдруг показалось мне уже не столь бесполезным. Оно сформировало меня, и, словно утлый цветок, распустившийся тайком, неожиданно возникло чувство жизни, мне ранее неведомое. Оно не имело отношения к романтике, но было таким новым и волнующим, как огромный, сияющий тропический цветок, точно по волшебству явившийся на заурядном кусте, от которого ожидали разве что несколько скромных, заурядных бутончиков. Я вышел к реке и остановился на мосту, глядя через парапет на воду. Слева от меня стояла средневековая сторожевая башня, где теперь устроили прачечную. Окна были освещены, девушки еще работали. Свет широкими отблесками бежал внизу по воде. Черный вал с липами рисовался

на фоне высокого неба, а справа — сады и силуэт собора над ними.

Я стоял очень тихо, совершенно расслабившись. Слышался только плеск воды и приглушенные голоса прачек за окнами. Я не мог разобрать, о чем они говорят. Слышал просто человеческие звуки, еще не ставшие словами. Всего лишь знаки, что рядом люди, — но покуда не знаки лжи, обмана, глупости и адского одиночества, что содержались бы в них, готовых словах, как обертоны чисто запланированной мелодии.

Я дышал, и мне казалось, я дышу в том же ритме, что и вода. На мгновение, на вневременное мгновение мне даже почудилось, будто я часть моста и вода течет, как мое дыхание, течет сквозь меня. Я полагал это естественным и не удивлялся. И не думал, мысли мои стали столь же бессознательными, как дыхание и вода.

Прикрытый огонек быстро двигался по черной липовой аллее слева от меня. Я следил за ним взглядом, потом опять услышал голоса прачек. Сообразил, что некоторое время их не слышал. Теперь я снова почуял и запах лип. Легкий ветерок нес его по-над водой.

Подвижный огонек погас, одновременно погасли и окна у меня за спиной. С минуту вода

была черной и смолистой, потом возникли узкие отблески луны, которых прежде не было видно из-за более яркого света прачечной. Теперь, оставшись одни, они заиграли нежнее и многообразнее, чем давешний резкий желтый свет. Я думал о своей жизни, где много лет назад тоже угас огонь, и спрашивал себя, не появится ли и в ней множество мягких огоньков, которых я раньше никогда не видел, вот как сейчас отблески луны на воде. До сих пор я ощущал лишь утрату, мне и в голову не приходило, что, может статься, благодаря этому я кое-что и обрел.

Я покинул мост и прогуливался по валу, пока не истекли полчаса ожидания. Запах лип в ночи набирал силу, луна осыпала серебром кровли и башни. Город как бы отчаянно стремился доказать мне, что я создал себе ложное представление… что нигде меня не караулит опасность… что после долгих блужданий я спокойно могу вернуться и снова быть самим собой.

Сопротивляться этому не было нужды. Что-то во мне автоматически стояло на страже, охраняло со всех сторон. Слишком часто меня именно в такой ситуации брали под арест в Париже, в Риме и в других городах — погруженного в красоту, убаюканного безопасностью создаваемой

ею обманчивой иллюзии любви, понимания и забвения. Полицейские не забывали. И доносчики не становились святыми от лунного света и аромата лип.

Я направился к Гитлер-плац, осторожно, все мои чувства были напряжены, как крылья летучей мыши. Дом стоял на углу, где одна из улиц вливалась в площадь. Улица еще носила давнее название.

Окно было открыто. Мне вдруг вспомнились легенда о Геро и Леандре и сказка о королевских детях, где монахиня погасила свечу и королевский сын утонул, — я не королевский сын, думал я, а у немцев много очень красивых сказок и, несмотря на это или, возможно, как раз поэтому — самые страшные концлагеря на свете. Я спокойно пересек улицу, ведь это был не Геллеспонт и не северное море.

В подъезде кто-то был, шел мне навстречу. Повернуть назад я уже не мог, продолжал идти к лестнице, будто знал, куда мне надо. Это оказалась пожилая женщина, которой я по прежним временам не знал. Сердце у меня сжалось, — Шварц улыбнулся, — вот вам опять штамп, которому веришь, только когда изведаешь на собственном опыте. Я не оглянулся, услышал, как

захлопнулась входная дверь, и быстро поднялся наверх.

Дверь была чуть-чуть приоткрыта. Я толкнул ее и очутился лицом к лицу с Хелен. «Тебя кто-нибудь видел?» — спросила она.

«Да, пожилая женщина».

«Без шляпы?»

«Да, без шляпы».

«Должно быть, моя прислуга. У нее комната в мансарде. Я сказала, что она свободна до вечера понедельника, и она, видимо, замешкалась у себя. Служанки считают, людям на улице больше делать нечего, кроме как критиковать их одежду».

«К черту прислугу, — сказал я. — Кто бы эта женщина ни была, меня она не узнала. Я сразу чую, когда меня узнают».

Хелен забрала у меня плащ и шляпу, хотела повесить на вешалку. «Не здесь, — сказал я. — В шкаф. Вдруг кто-нибудь придет и увидит».

«Никто не придет», — сказала Хелен и впереди меня прошла в комнату.

Я обернулся и повернул в замке ключ. Потом последовал за ней.

В первые годы эмиграции я часто думал о своей квартире, позднее же старался ее забыть. Теперь, находясь в ней, я мало что почувствовал. Она

была словно картина, которой я некогда владел и которая напоминала мне об определенном периоде моей жизни. Я стоял в дверях, глядя по сторонам. Почти ничего не изменилось. Диван и кресла обиты заново.

«Раньше они, кажется, были зелеными?» — спросил я.

«Голубыми», — ответила Хелен.

Шварц повернулся ко мне:

— У вещей своя жизнь, и просто страх берет, когда сравниваешь ее со своей собственной.

— А зачем сравнивать? — спросил я.

— Вы не сравниваете?

— Сравниваю, но не на разных уровнях. Ограничиваюсь самим собой. Когда голодный стою возле порта, сравниваю себя с воображаемым «я», которое вдобавок болеет раком. И тогда на минуту бываю счастлив, потому что не болею раком, только голоден.

— Рак, — сказал Шварц, пристально глядя на меня. — Почему рак?

— Я мог бы сказать и сифилис. Или туберкулез. Рак — самое первое, что приходит в голову.

— Самое первое? — Шварц по-прежнему не сводил с меня глаз. — А по-моему, самое последнее! Самое последнее! — повторил он.

— Ладно, — уступил я. — Пусть самое последнее. Я упомянул его просто для примера.

— Он самое последнее и потому непостижимое.

— Такова любая смертельная болезнь, господин Шварц. Всегда.

Он молча кивнул. Потом спросил:

— Вы еще голодны?

— Нет. А что?

— Вы что-то сказали об этом.

— Опять-таки для примера. Сегодня благодаря вам я уже дважды поужинал.

Он поднял голову.

— Как звучит! Ужинать! Как утешительно! Как недостижимо, когда все минует!

Я молчал. Немного погодя он уже спокойнее сказал:

— Желтые кресла. Их заново обтянули, вот и все, за те пять лет, когда мое бытие проделало десяток иронических сальто. Порой все как-то не сходится, вот что я имел в виду.

— Да. Человек умирает, а кровать остается. Дом остается. Вещи остаются. Хочется и их уничтожить.

— Нет, если они тебе безразличны.

— Не стоит их уничтожать, — сказал я. — Чело-

век не настолько важен.

— Вот как? — отозвался Шварц, повернув ко мне неожиданно растерянное лицо. — Не важен? Ну конечно! Но скажите мне: что же важно, коль скоро не важна жизнь?

— Ничто, — ответил я, зная, что это и правда, и неправда. — Только одни мы придаем ей важность.

Шварц поспешно отхлебнул темного вина.

— А почему? — громко спросил он. — Вы можете мне сказать, почему нам не стоит придавать ей важность?

— Нет, не могу. Это просто глупая болтовня. Я и сам считаю жизнь достаточно важной.

Я взглянул на часы. Начало третьего. Оркестр играл танцевальную музыку, танго, и короткие приглушенные возгласы корнета напомнили мне далекие гудки отплывающего корабля. Еще несколько часов, подумал я, и наступит рассвет, тогда я смогу уйти. Ощупал карман. Билеты на месте. А я было решил, что их там нет; непривычная музыка, вино, занавешенные помещения и голос Шварца убаюкивали, казались нереальными.

— Я так и стоял в дверях гостиной, — продолжал Шварц. — Хелен посмотрела на меня, спросила: «Твоя квартира стала для тебя настолько

чужой?»

Я покачал головой, сделал несколько шагов вперед. Странное смущение охватило меня. Вещи словно хотели прикоснуться ко мне, но для них я перестал быть своим. Меня пронзил ужас: вдруг я и для Хелен уже чужой? «Все как было — поспешно сказал я, с отчаянием и с жаром. — Все как было, Хелен».

«Нет, — возразила она. — Все теперь иначе. Почему ты вернулся? Поэтому? Чтобы все было как раньше?»

«Нет, — сказал я. — Знаю, так не бывает. Но разве мы не жили здесь? Где все это?»

«Не здесь. И не в старой одежде, которую мы выбросили. Ты об этом?»

«Нет. Я спрашиваю не о себе. Но ты все время была здесь. Я спрашиваю о тебе».

Хелен как-то странно посмотрела на меня. «Почему ты раньше никогда не спрашивал?» — помолчав, сказала она.

«Раньше? — недоуменно спросил я. — Почему раньше? Я не мог приехать».

«Раньше. До того, как уехал».

Я не понимал ее. «О чем я должен был спросить, Хелен?»

Она помолчала. «Почему ты не спросил, поеду

ли я с тобой?» — наконец сказала она.

Я уставился на нее. «Со мной? Отсюда? От твоей семьи? От всего, что ты любила?»

«Я ненавижу свою семью».

Я вконец растерялся. «Ты не знаешь, что такое чужбина», — наконец пробормотал я.

«В ту пору ты тоже не знал».

Это правда. «Я не хотел увозить тебя отсюда», — неуверенно ответил я.

«Ненавижу. Все здесь ненавижу! Почему ты вернулся?»

«Тогда ты все это не ненавидела».

«Почему ты вернулся?» — повторила она.

Она стояла в другом конце комнаты, и разделяло нас нечто большее, чем желтые кресла, и нечто большее, чем пять лет времени. Внезапно мне навстречу хлынули враждебность и явное разочарование, и я смутно ощутил, что своим, как мне казалось, вполне естественным желанием не обрекать ее на тяготы, пожалуй, очень ее обидел: сам бежал, а ее оставил.

«Почему ты вернулся, Йозеф?» — спросила Хелен.

Я бы с радостью ответил, что вернулся из-за нее, но в ту минуту не смог дать такой ответ. Все не так-то просто. Я вдруг понял — понял лишь в ту

минуту, — что назад меня гнало спокойное, ясное отчаяние. Все мои резервы были истрачены, а простой воли выжить никак не хватит, чтобы и дальше противостоять стуже одиночества. Я оказался неспособен выстроить себе новую жизнь. Да, по сути, никогда по-настоящему и не хотел. С прошлой своей жизнью и с той отнюдь не совладал, не смог ни покинуть ее, ни преодолеть, началась гангрена, и мне осталось только сделать выбор: сдохнуть в смраде гангрены или вернуться и попробовать ее излечить.

Я никогда особо не задумывался об этом, да и сейчас уяснил себе лишь в общих чертах, но ощутил как избавление, что хотя бы это теперь знаю. Тяжесть и смущение отступили. Теперь я понимал, почему приехал. После пяти лет эмиграции я привез сюда лишь обостренность восприятия, готовность жить и осторожность и опыт беглого преступника. Все прочее потерпело крах. Множество ночей меж границами, чудовищная тоска бытия, которому дозволено бороться лишь за крохи еды да несколько часов сна, подпольное, кротовье существование — все исчезло без следа, пока я стоял на пороге своей квартиры. Я потерпел крах, обанкротился, но долгов за мной не осталось. Я был свободен. «Я» тех лет покончило

самоубийством, когда я пересек границу. Это не возвращение. Я умер, жило другое «я», жило даровым временем. Ответственности больше не было. Бремя отпало.

Шварц повернулся ко мне:

— Вы понимаете, о чем я? Я повторяюсь и рассуждаю противоречиво.

— Думаю, да, понимаю, — ответил я. — Возможность самоубийства — это милость, какую редко осознаешь. Она дает человеку иллюзию свободной воли. И, вероятно, мы совершаем больше самоубийств, чем полагаем. Просто не знаем об этом.

— Вот именно! — оживленно сказал Шварц. — Если б мы только осознали их как самоубийства! Тогда были бы способны воскресать из мертвых. Могли бы прожить несколько жизней, а не тащить от кризиса к кризису язвы опыта и в конце концов погибать от них.

— Хелен я этого, конечно, объяснить не мог, — продолжал он. — Да и нужды не было. При той легкости, какую вдруг ощутил, я даже потребности такой не испытывал. Напротив, чувствовал, что объяснения лишь запутают. Вероятно, ей хотелось услышать, что я вернулся ради нее, но я, с моей новой проницательностью, понимал, что

этим себя погублю. Тогда прошлое навалится на нас со всеми своими аргументами насчет вины, и ошибки, и обиженной любви, и мы никогда из этого не выберемся. Если идея духовного самоубийства, теперь чуть ли не радостная, имеет смысл, то ей надлежит быть еще и полной и охватывать не только годы эмиграции, но и годы до нее, иначе будет опасность второй гангрены, даже более застарелой, и она немедля проявится. Хелен стояла там как враг, готовый нанести удар любовью и точным знанием моих уязвимых мест, а я был в настолько невыгодном положении, что вообще не имел шансов. Если раньше я испытывал избавительное ощущение смерти, то теперь оно обернется мучительным моральным издыханием — уже не смертью и воскресением, но полнейшим уничтожением. Женщинам ничего объяснять не стоит, надо действовать.

Я шагнул к Хелен. Коснувшись ее плеч, я почувствовал, что она дрожит. «Почему ты вернулся?» — опять спросила она.

«Забыл почему, — ответил я. — Мне бы поесть, Хелен. За целый день маковой росинки во рту не было».

Рядом с нею на разрисованном итальянском столике стояла серебряная рамка с фотографией

мужчины, которого я не знал. «А это нам нужно?» — спросил я.

«Нет», — удивленно ответила она, взяла фотографию, сунула в ящик стола.

Шварц посмотрел на меня и улыбнулся.

— Она ее не выбросила. Не разорвала. Сунула в ящик. Стало быть, в любое время могла снова достать и поставить на столик. Не знаю почему, но этот жест raison d'être[13] привел меня в восхищение. Пятью годами раньше я бы ее не понял и устроил скандал. Теперь она переломила ситуацию, которая грозила стать слишком помпезной. Мы терпим громкие слова в политике, но в чувствах пока нет. К сожалению. Лучше бы наоборот. Французский жест Хелен говорил не о нехватке любви, нет, только о женской осторожности. Однажды я ее разочаровал, зачем же тотчас снова мне доверять? Но я не напрасно жил во Франции, не стал задавать вопросов. Да и о чем спрашивать? И откуда у меня право на это? Я рассмеялся. Она несколько опешила. Потом ее лицо просветлело, и она тоже рассмеялась. «Кстати говоря, ты со мной развелась?» — спросил я.

Она покачала головой. «Нет. Но не из-за тебя. А

---

[13] notes: 13

Зд.: рассудочность (*фр.*).

чтобы позлить свое семейство».

V

— Той ночью я спал лишь несколько часов, — сказал Шварц. — Очень устал, но то и дело просыпался. Ночь напирала снаружи на маленькую комнату, где были мы. Мне чудились шорохи, в секундах полусна я снова бежал — и резко просыпался.

Хелен проснулась только один раз. «Не спится?» — спросила она в темноту.

«Да. Я и не надеялся».

Она включила свет. Тени метнулись в окно. «Нельзя требовать всего сразу, — сказал я. — Над своими снами я не властен. Вино еще осталось?»

«Вполне достаточно. Тут на мою семейку можно положиться. С каких пор ты пьешь вино?»

«С тех пор как живу во Франции».

«Та-ак, — сказала она. — Уже немножко в нем разбираешься?»

«Не очень. Главным образом в красном. Дешевом».

Хелен встала, пошла на кухню. Вернулась с двумя бутылками и штопором. «Наш достославный фюрер изменил старый закон о вине, — сказала она. — Раньше в натуральные вина не разре-

шалось добавлять сахар. Теперь можно даже брожение прерывать».

Она посмотрела на мое недоуменное лицо. «Таким манером кислые вина в скверные годы становятся слаще, — объяснила она и засмеялась. — Мошенничество расы господ, чтобы увеличивать экспорт и получать валюту».

Она отдала мне бутылки и штопор. Я откупорил бутылку мозельского. Хелен принесла два тонких бокала. «Где ты так загорела?» — спросил я.

«В марте ездила в горы. Каталась на лыжах».

«Нагишом?»

«Нет. Но загорать можно и лежа нагишом».

«С каких пор ты катаешься на лыжах?»

«Меня научили». Она с вызовом посмотрела на меня.

«Отлично. Говорят, очень полезно для здоровья».

Я наполнил бокал, протянул ей. Вино пахло пряно, было ароматнее, чем бургундские вина. Я не пил его с тех пор, как уехал из Германии.

«Не хочешь узнать, кто меня научил?» — спросила Хелен.

«Нет».

Она изумилась. Раньше-то я бы, наверно, всю ночь допытывался. Теперь же воспринял это

как сущий пустяк. Снова нахлынула невесомая нереальность этого вечера. «Ты изменился», — сказала Хелен. «Сегодня вечером ты дважды повторила, что я не изменился, — заметил я. — И то и другое не имеет значения».

Она держала бокал в руке, но не пила. «Может, мне хочется, чтобы ты не изменился».

Я выпил. «Так будет легче сокрушить меня?»

«А раньше я тебя сокрушала?»

«Не знаю. Вряд ли. Столько времени прошло. Когда вспоминаю, каким я тогда был, то сам понять не могу, почему ты не пыталась».

«Попытки делаешь всегда, разве ты не знаешь?»

«Нет, — сказал я. — Но теперь буду начеку. Хорошее вино. Вероятно, его брожение не прерывали».

«Как и твое?»

«Хелен, ты не только очень волнуешь, ты еще и забавная, а это сочетание крайне редкое и очаровательное».

«Напрасно ты так уверен», — сердито сказала она и села на кровать, по-прежнему с бокалом в руке.

«Я не уверен. Но предельная неуверенность, если она не ведет к смерти, может привести к

совершенно непоколебимой уверенности, — смеясь, заметил я. — Слова патетические, но они лишь простой итог шарового бытия».

«А что это — шаровое бытие?»

«Мое. Оно нигде не может задержаться, не вправе закрепиться, должно постоянно быть в движении. Бытие эмигранта. Бытие нищенствующего индийского монаха. Бытие современного человека. Кстати, эмигрантов куда больше, чем все думают. Есть и такие, что никогда не трогались с места».

«Звучит здóрово, — сказала Хелен. — Лучше, чем буржуазное болото».

Я кивнул. «Можно описать это и другими словами, тогда звучит не так здорово. Но сила нашего воображения, слава богу, не очень велика. Иначе было бы намного меньше солдат-добровольцев».

«Всё лучше болота», — сказала Хелен и осушила бокал.

Пока она пила, я рассматривал ее. Какая она молодая, думал я, какая молодая, неопытная, капризно-очаровательная, опасная и опрометчивая. Ничего она не знает. Не знает даже, что буржуазное болото — состояние моральное, а не географическое.

«Ты хочешь туда вернуться?» — спросила она.

«Не думаю, что смог бы. Против моей воли отечество сделало меня гражданином мира. И я должен им остаться. Вернуться назад вообще невозможно».

«В том числе и к человеку?»

«И к человеку тоже, — сказал я. — Земля и та ведет шаровое существование. Солнечная эмигрантка. Вернуться назад невозможно. Или рассоришься».

«Слава богу. — Хелен протянула мне свой бокал. — Тебе никогда не хотелось вернуться?»

«Хотелось, всегда, — ответил я. — Я никогда не следую своим теориям. От этого они вдвойне привлекательны».

Хелен рассмеялась. «Это же все неправда!»

«Конечно. Немножко паутины, чтобы прикрыть другое».

«Что?»

«Нечто бессловесное».

«Которое бывает только по ночам?»

Я не ответил. Спокойно сидел на кровати. Ветер времени утих. Больше не свистел в ушах. Я как бы пересел с самолета на воздушный шар. Еще парил и летел, но шум моторов смолк.

«Как тебя теперь зовут?» — спросила Хелен.

«Йозеф Шварц».

Секунду она размышляла.

«Тогда и я теперь тоже Шварц?»

Я невольно улыбнулся: «Нет, Хелен. Это просто фамилия. Человек, от которого она мне досталась, тоже получил ее, так сказать, в наследство. Какой-то далекий, покойный Йозеф Шварц живет во мне, словно вечный жид, уже в третьем поколении. Чужой, умерший духовный предок».

«Ты его не знаешь?»

«Нет».

«Ты чувствуешь себя по-другому, с тех пор как у тебя другая фамилия?»

«Да, — сказал я. — Потому что с ней соотносится бумага. Паспорт».

«Хоть и фальшивый?»

Я засмеялся. Вопрос пришел из другого мира. Поддельность или подлинность паспорта зависела от полицейского, который его проверял. «Об этом можно бы сочинить философскую притчу, — сказал я. — И начать ее надо с выяснения, что́ есть фамилия. Случайность или установление тождества».

«Фамилия есть фамилия, — вдруг упрямо возразила Хелен. — Я свою защищала. То есть твою. А ты, оказывается, где-то нашел себе другую».

«Мне ее подарили, — сказал я. — И для меня это

был самый дорогой подарок на свете. Я ношу ее с радостью. Для меня она означает доброту. Человечность. Если я буду в отчаянии когда-нибудь, она напомнит мне, что доброта жива. О чем напоминает тебе твоя фамилия? О племени прусских вояк и охотников с мировоззрением лис, волков и павлинов».

«Я говорила не о фамилии моего семейства, — сказала Хелен, покачивая тапкой на кончиках пальцев. — Я ведь ношу и твою. Прежнюю, господин Шварц».

Я откупорил вторую бутылку вина. «Мне рассказывали, что в Индонезии есть обычай время от времени менять имена. Когда человеку надоедает его личность, он ее меняет, берет новое имя и начинает новую жизнь. Хорошая идея!»

«Ты начал новую жизнь?»

«Сегодня», — сказал я.

Она уронила тапку на пол. «И в новую жизнь ничего с собой не берут?»

«Эхо», — сказал я.

«Не воспоминание?»

«Эхо воспоминания, которое уже не причиняет боли и стыда».

«Будто смотришь фильм?» — спросила Хелен.

Я посмотрел на нее. Казалось, еще секунда — и

она швырнет бокал мне в голову. Я забрал его у нее, налил вина из второй бутылки, спросил: «А это какое?»

«“Замок Райнхартсхаузен”. Превосходное рейнское вино. Полностью вызревшее. Без прерывания брожения. Осталось по характеру прежним. Не перетолковано как пфальцское».

«Стало быть, не эмигрант?» — сказал я.

«Не хамелеон, меняющий окраску. Не кто-то, бегущий от ответственности».

«Господи, Хелен! Я что же, слышу шум крыльев буржуазной добропорядочности? Разве ты не хотела избежать ее болота?»

«Ты вынуждаешь меня говорить то, чего я вовсе не имею в виду, — сердито сказала она. — О чем мы тут говорим? И зачем? В первую ночь! Почему не целуемся или не ненавидим друг друга?»

«Мы целуемся и ненавидим».

«Это просто слова! Откуда у тебя такая уйма слов? Разве правильно, что мы сидим тут и разглагольствуем?»

«Я не знаю, что правильно».

«Тогда откуда у тебя столько слов? Ты так много говорил за границей, так много общался с людьми?»

«Нет, — сказал я. — Совсем мало. Потому-то

слова сейчас и сыплются градом, как яблоки из корзины. Я сам удивлен не меньше тебя».

«Правда?»

«Да, Хелен. Правда. Разве ты не понимаешь, что́ это значит?»

«А проще ты сказать не можешь?»

Я покачал головой.

«Почему?»

«Потому что боюсь утверждений. И боюсь слов, которые что-то утверждают. Ты не поверишь, но так оно и есть. Вдобавок я боюсь безымянного страха, который крадется где-то по городу и о котором я не хочу ни думать, ни говорить, поскольку глупое суеверие во мне считает, что опасности нет, покуда я не приму ее к сведению. Вот почему мы ведем этот странный разговор. Он как бы упраздняет время, словно в разорванном фильме. Все вдруг замирает, так что ничего случиться не может».

«Слишком сложно для меня».

«Для меня тоже. Разве недостаточно, что я здесь, с тобой, что ты по-прежнему жива и что меня пока не схватили?»

«Поэтому ты приехал?»

Я не ответил. Она сидела передо мной как маленькая грациозная амазонка, нагая, с бокалом

вина в руке, требовательная, не отступающая, хитрая и отважная, и я понял, что раньше ничего о ней не знал. Уму непостижимо, как она выдерживала жизнь со мной, я казался себе человеком, который думал, что обладает хорошенькой овечкой и заботится о ней как о хорошенькой овечке, и неожиданно обнаружил, что это молодая пума, которой совершенно не по нраву голубенькие ошейники и мягкие щетки и которая вполне способна прокусить ласковую руку.

Я ступил на опасную почву. Как вы можете догадаться, случилось то, чего и следовало ожидать в первую ночь: я самым примитивным образом спасовал. Предчувствие меня не обмануло, хотя, возможно, так вышло именно потому, что я этого ждал. Короче говоря, я не смог, однако, поскольку ожидал такого, к счастью, не стал отчаянно повторять попытки, как обычно бывает в подобных случаях. Можно, конечно, сколько угодно хорохориться и твердить, что от этого застрахованы разве только конюхи, а женщины могут сколько угодно притворяться, что все понимают, и утешать бедолагу тягостной материнской лаской, — так или иначе ситуация ужасная, в которой любой пафос оборачивается чудовищной смехотворностью.

Не услышав от меня банальных оправданий, Хелен от расстройства налетела на меня с упреками. Не могла понять, почему я ее не взял, и обиделась. Я мог бы просто сказать ей правду, но для этого мне недоставало спокойствия. К тому же тут есть две правды — одна, при которой выкладываешь все как на духу, и вторая, стратегическая, когда не выкладываешь ничего. За пять лет я усвоил: выложив все как на духу, не стоит удивляться, что в тебя стреляют.

«Люди в моем положении становятся суеверны, — сказал я Хелен. — Они думают, что если напрямик скажут или сделают что-нибудь, то получат обратный результат. Поэтому они осторожны. Со словами тоже».

«Какая бессмыслица!»

Я рассмеялся. «От веры в смысл я давно отказался. Иначе бы горечи во мне было не меньше, чем в диком лимоне».

«Надеюсь, твоя суеверность заходит не слишком далеко».

«Лишь настолько, Хелен, — очень спокойно сказал я, — что если скажу тебе, как безмерно тебя люблю, то буду ждать, что минутой позже в дверь постучит гестапо».

На миг она замерла, как зверек, услыхавший

непривычный шорох. Потом медленно повернулась ко мне лицом. Поразительно, как оно изменилось. «Это и есть причина?» — тихо спросила она.

«Лишь одна из… — ответил я. — Ну как ты можешь ожидать, что в моих мыслях царит порядок, если меня вот только что принесло из безотрадного ада в опасный рай?»

«Иной раз я думала о том, как все будет, если ты вернешься, — сказала она, помолчав. — Все было совершенно по-другому».

Я остерегся спрашивать, как по-другому. В любви всегда задают слишком много вопросов, а когда возникает желание действительно узнать ответы, она быстро проходит. «Все всегда по-другому, — сказал я, — слава богу!»

Она улыбнулась. «В сущности, по-другому никогда не бывает, Йозеф. Так только с виду кажется. У нас не осталось вина?»

Она обошла вокруг кровати, как танцовщица, поставила бокал на пол, потянулась. Загорелая от чужого солнца и беспечная в своей наготе, как женщина, которая не только знает, что желанна, но и много раз это слышала.

«Когда мне надо уйти?» — спросил я.

«Прислуга завтра не придет».

«Послезавтра?»

Хелен кивнула. «Все было просто. Сегодня суббота. Я отпустила ее на выходные. Она вернется в понедельник к полудню. У нее есть любовник. Полицейский, женатый, с двумя детьми. — Полуприкрыв глаза, она посмотрела на меня: — Она обрадовалась».

С улицы донеслись мерные шаги и пение. «Что это?» — спросил я.

«Солдаты или гитлерюгенд. В Германии все время где-нибудь да маршируют».

Я встал и сквозь щелку в шторах выглянул наружу. Отряд гитлерюгенда. «Странно, в кого ж ты такая уродилась?» — сказал я.

«Наверно, в бабушку-француженку, — объяснила Хелен. — Есть у нас одна. О ней помалкивают, будто она еврейка».

Она зевнула, снова потянулась. Вдруг совсем утихла, словно мы уже не одну неделю пробыли вместе и извне опасность тоже более не грозит. До сих пор мы оба старались не говорить об этом. Хелен тоже пока не расспрашивала о моей жизни в эмиграции. Я не знал, что она видит меня насквозь и уже успела принять решение.

«Не хочешь еще поспать?» — спросила она.

Был час ночи. Я лег. «Можно не гасить свет? —

спросил я. — Я так лучше сплю. Не привык к немецким потемкам».

Она быстро взглянула на меня. «Пусть все лампы горят, милый, если хочешь».

Мы лежали совсем рядом. Я-то почти запамятовал, что раньше мы каждую ночь спали в одной постели. Воспоминание об этом казалось блеклой тенью, без красок. Хелен была рядом, но совершенно по-другому, в какой-то странно чуждой близости, я узнавал в ней лишь безымянное — ее дыхание, запах волос, но в первую очередь запах кожи, так надолго утраченный и еще не вполне вернувшийся, но все же вернувшийся и уже куда более умный, чем мозг. Утешение кожи любимого человека! Насколько она умнее и насколько выразительнее рта с его ложью! Той ночью я долго лежал без сна, держал Хелен в объятиях, видел свет и полуосвещенную комнату, знакомую и незнакомую, и в конце концов перестал задавать себе вопросы. Хелен еще раз проснулась. «У тебя во Франции было много женщин?» — пробормотала она, не открывая глаз.

«Не больше, чем необходимо, — ответил я. — И с ними было не так, как с тобой».

Она вздохнула, хотела отвернуться, но не успела, сон вновь сморил ее. Она опустилась на

подушку. Медленно сон пришел и ко мне, без сновидений, тишина и дыхание Хелен наполняли меня, а под утро, когда я проснулся, нас ничто больше не разделяло, я взял ее, и она охотно подчинилась, и мы снова уснули, погрузились в сон, как в облако, в котором все сияло и не было темноты.

VI

— Утром я позвонил в мюнстерскую гостиницу, где оставил чемодан, объяснил, что в Оснабрюке опоздал на поезд и вернусь ночью, и попросил оставить номер за мной. Это была предосторожность, я не хотел, чтобы на меня донесли за неуплату и чтобы меня караулила полиция. Равнодушный голос ответил, что они так и сделают. Я спросил, нет ли для меня почты. Нет, почты не было.

Я положил трубку. За спиной у меня стояла Хелен. «Почта? — сказала она. — От кого ты ждешь письмо?»

«Ни от кого. Сказал просто так, чтобы не вызывать особых подозрений. Людей, которые ожидают писем, как ни странно, обычно не сразу причисляют к мошенникам».

«А ты мошенник?»

«К сожалению. Против воли. Но не без удовольствия».

Она рассмеялась. «Хочешь сегодня вечером уехать в Мюнстер?»

«Я ведь не могу задержаться дольше. Завтра придет твоя прислуга. И тут, в городе, я пойти в гостиницу не рискну. Усы — маскировка недостаточная».

«А у Мартенса ты не можешь остаться?»

«Он предложил мне для ночлега свой врачебный кабинет, но днем ему негде меня устроить. Лучше уехать в Мюнстер, Хелен. Там меня не так легко узнать на улице, как здесь. Да и ехать всего лишь час».

«Как долго ты намерен оставаться в Мюнстере?»

«Это я смогу выяснить только там. Со временем вырабатываешь чутье к опасности».

«Ты чуешь здесь опасность?»

«Да, — сказал я. — С сегодняшнего утра. Вчера не чуял».

Нахмурив брови, она смотрела на меня: «На улицу тебе, конечно, нельзя».

«Не раньше, чем стемнеет. Да и тогда только чтобы до вокзала добраться».

Хелен молчала. «Все будет хорошо, — сказал

я. — Не думай об этом. Я привык жить минутой, не забывая думать о следующем дне».

«Вот как? — сказала Хелен. — Весьма практично!» В ее голосе опять звучала легкая досада, как накануне вечером.

«Не только практично — необходимо, — ответил я. — Но тем не менее я иной раз что-нибудь да забываю. Надо было прихватить из Мюнстера бритвенный станок. Сегодня вечером буду похож на бродягу. Руководство для эмигрантов предписывает на всякий случай этого избегать».

«В ванной есть бритвенный станок, — сказала Хелен. — Тот, который ты оставил пять лет назад, когда уходил. И белье есть, и твои старые костюмы висят слева в шкафу».

Все это она сказала так, будто пять лет назад я ушел от нее с другой женщиной и теперь вернулся один, чтобы забрать свои вещи и опять уйти. Я не стал вносить ясность, ведь это ничего не даст. Она только удивленно посмотрит на меня и скажет, что ничего такого не думала, но раз *я* так думаю… и тогда мне придется перейти в бестолковую оборону. Странно, до чего же кривые дороги мы зачастую выбираем, лишь бы не показать, что́ чувствуем!

Я пошел в ванную. При виде своих старых

костюмов отметил только, до какой степени похудел. Обрадовался, что нашлось белье, и решил захватить с собой достаточное количество. Никаких сантиментов я не испытывал. Принятое три года назад решение считать эмиграцию не бедой, а чем-то вроде холодной войны, необходимой для моего развития, по крайней мере, принесло кой-какие плоды.

День прошел в смешанных чувствах. Необходимость отъезда тревожила нас обоих, но у Хелен, не в пример мне, это не вошло в привычку. Она воспринимала это обстоятельство чуть ли не как личное оскорбление. Я был подготовлен жизненным опытом и временем, минувшим после отъезда из Франции; Хелен, однако, еще не успела свыкнуться с моим приездом, как впереди уже замаячил отъезд. Ее гордости не хватило времени, чтобы смириться, а уже повторялась та же ситуация. Мало того, добавилась реакция на вчерашний вечер — волна эмоций схлынула, и давние утонувшие обломки вдруг снова возникли перед глазами и казались больше, чем на самом деле. Мы держались друг с другом осторожно, отвыкли один от другого. Я бы с удовольствием побыл часок в одиночестве, чтобы создать некоторую дистанцию, но при мысли, что речь

не о часе, а о двенадцатой части того времени, какое я еще мог провести с Хелен, это казалось мне совершенно невозможным. Раньше, в спокойные годы, я порой забавы ради размышлял о том, что бы стал делать, если бы знал, что жить мне осталось всего месяц. К четкому выводу я ни разу прийти не смог. Все, что, как я полагал, надо сделать, в некой странной полярности было одновременно и тем, чего ни под каким видом делать нельзя, — вот так и сейчас. Вместо того чтобы заключить день в объятия, целиком открыться ему навстречу и всеми чувствами принять в себя Хелен, я ходил из угла в угол с горячим желанием именно так и поступить, но притом с большой осторожностью, будто был из стекла, и с Хелен, видимо, обстояло точно так же. Мы оба страдали и оба топорщились колючками и углами, лишь в сумерках страх потерять друг друга подступил настолько близко, что мы вдруг опять признали один другого.

В семь часов раздался звонок в дверь. Я вздрогнул. Для меня звонок означал полицию. «Кто это может быть?» — прошептал я.

«Давай посидим тихонько, подождем, — сказала Хелен. — Наверно, кто-то из знакомых. Если я не отвечу, он уйдет».

Звонок повторился. Потом кто-то энергично застучал в дверь. «Иди в спальню», — прошептала Хелен.

«Кто это?»

«Не знаю. Иди в спальню. Я его сплавлю. Лучше не привлекать внимания соседей».

Она подтолкнула меня к двери. Я быстро огляделся, не осталось ли в комнате чего-нибудь моего. Потом прошел в спальню. Услышал, как Хелен спросила: «Кто там?» — и как ей ответил мужской голос. Потом Хелен сказала: «Ты? Что случилось?» Я закрыл дверь. В квартире был второй выход, через кухню, но до него не добраться, меня наверняка увидят. Оставалось только одно — спрятаться в просторном стенном шкафу, где висели платья Хелен. Собственно, это был не шкаф, а большая ниша, снабженная дверцей. Воздуху там вполне достаточно.

Я слышал, как посетитель прошел вместе с Хелен в гостиную. Я узнал его голос. Брат Хелен, Георг, который упрятал меня в концлагерь.

Я бросил взгляд на туалетный столик Хелен. Единственное, что можно использовать как оружие, — нож для бумаг, с нефритовой рукояткой, больше ничего нет. Не раздумывая, я сунул нож в карман и вернулся в шкаф. Само собой, если он

меня обнаружит, я буду сопротивляться, другого выхода у меня нет, только убить его и попробовать скрыться.

«Телефон? — послышался голос Хелен. — Я не слыхала. Спала. Что случилось-то?»

В большой опасности всегда бывает миг, когда ты весь настолько напряжен, что, кажется, достаточно искры — и вспыхнешь, как трут. В этот миг становишься почти ясновидцем, так быстро думаешь сразу обо всем. Прежде чем Георг ответил, я уже смекнул, что про меня он ничего не знает.

«Я звонил несколько раз, — сказал он. — Никто не отвечал. Прислуга тоже. Мы подумали, что-то случилось. Почему ты не открывала?»

«Спала, — спокойно ответила Хелен. — Потому и телефон отключила. У меня болит голова, до сих пор. Ты меня разбудил».

«Болит голова?»

«Да. И сейчас сильнее прежнего. Я приняла две таблетки. И теперь должна спать, тогда все пройдет».

«Снотворное?»

«Таблетки от головной боли. Уходи, Георг. Мне надо поспать».

«Таблетки — это чепуха, — сказал Георг. — Одевайся, пойдем гулять. На улице чудесно. Свежий

воздух лучше любых таблеток».

«Я их уже приняла и должна поспать. Не хочу я слоняться по улице».

Разговор продолжался еще некоторое время. Георг хотел зайти за Хелен попозже, но она не согласилась. Он спросил, есть ли у нее продукты. Да, есть, вполне достаточно. Где прислуга? Она отпустила ее, вечером та вернется и приготовит ужин.

«Значит, все в порядке?» — спросил Георг.

«А что должно быть не в порядке?»

«Да это я так! В голову часто приходят никчемные мысли. В конце концов…»

«Что — в конце концов?» — резко спросила Хелен.

«Ну, в ту пору…»

«Что — в ту пору?»

«Ты права, — сказал Георг. — К чему говорить об этом? Раз все в порядке, то, стало быть, в порядке. Я, в конце концов, твой брат, ну и иной раз…»

«Да».

«Что?»

«Ты мой брат».

«Хорошо бы, ты уразумела это как следует. Я желаю тебе добра!»

«Да-да, — нетерпеливо обронила Хелен. — Ты

мне уже не раз объяснял».

«Что с тобой сегодня? Обычно ты другая».

«Да?»

«Благоразумнее, я имею в виду. Если опять начнется старая песня…»

«Ничего не начнется. У меня болит голова, вот и все! И я терпеть не могу, когда меня контролируют».

«Никто тебя не контролирует! Я просто беспокоюсь о тебе».

«Не беспокойся. Со мной все хорошо».

«Ты всегда так говоришь. В ту пору…»

«Об этом мы говорить не будем», — отрезала Хелен.

«Конечно! Я уж точно не буду. Ты была у врача?»

«Да», — помедлив, сказала Хелен.

«Что он говорит?»

«Ничего».

«Он наверняка что-то говорил».

«Сказал, что мне надо отдыхать, — раздраженно ответила Хелен. — Спать, когда я устаю и у меня болит голова, не вступать в споры и не спрашивать, согласуется ли это с моими обязанностями соотечественницы и гражданки достославного Тысячелетнего рейха».

«Он так говорил?»

«Нет, этого он не говорил, — громко и быстро сказала Хелен. — Это я сама добавила! Он только сказал, чтобы я без нужды не волновалась! То есть никаких преступлений он не совершал и в концлагерь его отправлять незачем. Он честный сторонник правительства. Достаточно?»

Георг что-то пробормотал. Я предположил, что он собирается уходить, а поскольку усвоил, что это момент рискованный, так как может случиться непредвиденное, то плотнее закрыл дверцу шкафа, оставив лишь маленькую щелочку. И сразу же услышал, как он вошел в спальню. Его тень скользнула по узенькой полоске света, он прошел в ванную. Мне показалось, Хелен тоже вошла, но я ее не видел. Я совсем закрыл шкаф и стоял теперь в полной темноте среди платьев Хелен, крепко сжимая нож для бумаги.

Я понимал, что Георг меня не обнаружил и что из ванной он, наверно, вернется в гостиную и попрощается, но тем не менее горло у меня перехватило, и одновременно я облился потом. Страх перед неизвестным совсем не то, что страх перед чем-то знакомым. Неизвестное может показаться опасным, но по причине его неопределенности страх можно обуздать дисциплиной и даже

уловками. А вот когда знаешь, что́ предстоит, от дисциплины и психологических кульбитов толку мало. Первый страх я знал еще до того, как загремел в концлагерь; второй испытывал сейчас, уже зная, что ждет меня в лагере, если я опять туда попаду.

Странно, с тех пор как пересек границу, я вообще не отдавал себе в этом отчета, да и не хотел. Это остановило бы меня, а что-то во мне не желало останавливаться. Вдобавок наша память фальшивит, чтобы дать нам возможность выжить. Пытается смягчить невыносимое патиной забвения. Вам это знакомо?

— Да, знакомо, — сказал я. — Но это не забвение, а что-то вроде дремоты. Достаточно толчка, и все опять оживает.

Шварц кивнул:

— Я недвижно стоял в темной, надушенной тесноте стенной ниши, среди одежды, стиснутый ею будто мягкими крыльями огромных летучих мышей, и едва дышал, чтобы не зашуршал шелк или я не чихнул и не закашлялся. Впервые я полностью осознал, что́ сделал. Страх черным газом поднимался от пола, и я боялся задохнуться. Со мной самим в лагере не случилось самого худшего, обращались со мной так же скверно, как с

другими, но выпустили, и, быть может, именно поэтому мои воспоминания замутились. Однако теперь перед глазами вдруг снова встало то, что я видел, то, что произошло с другими, о чем я слышал и знаки чего видел… и я уже не понимал безумия и растерянности, побудивших меня покинуть благословенные края, где меня карали за мое существование только тюрьмой и высылкой. Теперь они казались мне гаванями гуманности.

Я слышал Георга в ванной. Стена была тонкая, а Георг, истинный представитель расы господ, вел себя отнюдь не тихо. Он с грохотом откинул крышку унитаза и справил нужду. Поневоле я слышал, как он мочится, и позднее это представлялось мне верхом позора, хотя и показало, что он не тревожился и ни о чем не подозревал. Мне вспомнились случаи краж и грабежей, когда преступники перед бегством загаживают квартиры, отчасти назло, а отчасти от стыда, ведь позыв к этому прежде был признаком их собственного страха.

Я слышал, как Георг спустил воду, бодро-весело покинул ванную и прошагал через спальню. Потом приглушенно стукнула входная дверь, шкаф распахнулся, и на фоне света возник темный силуэт Хелен. «Ушел», — прошептала она.

Я вышел из шкафа, чувствуя себя едва ли не Ахиллом, застигнутым в женском платье. Перепад от страха к смехотворности и смущению был настолько скорым, что вся эта троица перемешалась и присутствовала одновременно. Я привык, что они быстро приходят и уходят, но есть разница, означает ли внезапная хватка за горло высылку или смерть.

«Ты должен уехать», — прошептала Хелен.

Я посмотрел на нее. Не знаю, почему я ожидал увидеть на ее лице что-то вроде презрения, наверно, все дело в том, что, едва только опасность миновала, я сам, как мужчина, устыдился, чего никогда бы не случилось, будь на месте Хелен кто-то другой.

На ее лице читался один лишь страх. «Ты должен уехать, — повторила она. — Твой приезд сюда — чистое безумие!»

Секундой раньше я подумал о том же, но теперь покачал головой. «Не сию минуту! — сказал я. — Часом позже. Возможно, он еще торчит на улице. Он может вернуться?»

«Не думаю. Он ни о чем не догадывается».

Хелен прошла в гостиную, выключила лампу, раздвинула шторы и выглянула наружу. Свет из спальни золотым ромбом падал через откры-

тую дверь на пол. Она стояла за ним, наклонясь вперед, напряженная, будто высматривала дичь. «Идти на вокзал пешком нельзя, — шепнула она. — Тебя могут узнать. Но уехать необходимо! Я возьму у Эллы машину и отвезу тебя в Мюнстер. Какие же мы дураки! Ты никак не можешь оставаться здесь!»

Она стояла у окна, отделенная от меня всего-навсего пространством комнаты, но уже далекая, и я ощутил резкую боль. Сама она, кажется, только сейчас впервые осознала, что мы опять должны расстаться. Все отговорки, призраками маячившие в течение дня, вдруг исчезли. Хелен увидела опасность, увидела собственными глазами, и все прочее стерлось. Она мгновенно стала лишь страхом и любовью, а секундой позже — уже разлукой и утратой. Я увидел это, как увидела и она сама, отчетливо и беспощадно, наконец-то без туманной пелены и без осторожности, и нестерпимое понимание странным образом тотчас обернулось столь же нестерпимым желанием. Я хотел удержать ее, должен был удержать, схватил ее, хотел овладеть ею, еще раз, целиком, уже примирившись с тем, что должен ее потерять, тогда как она еще строила планы, надеялась, еще не сдалась, сопротивлялась и шептала: «Не сейчас! Я должна

позвонить Элле! Не сейчас! Мы ведь должны…»

Ничего мы не должны, думал я. У меня еще час, а потом мир рухнет. Почему я раньше не ощущал этого так сильно? Ощущал, но почему не разбил стеклянную стену между мною и моим чувством? Если мое возвращение было бессмысленно, то ведь это еще бессмысленнее! Я должен увезти с собой частицу Хелен в серую пустоту, куда вернусь, если повезет, должен увезти с собой нечто большее, чем просто воспоминание об осторожности, о кружении друг возле друга и последнем единении меж снами, я должен овладеть Хелен, осознанно, овладеть всеми чувствами, ее мозгом, ее глазами, ее мыслями, целиком, а не только как зверь меж ночью и утром.

Она сопротивлялась. Шептала, что может вернуться Георг, и я не знаю, вправду ли она так думала. Сам я слишком часто бывал в опасности и привык забывать про нее в ту же секунду, как она оставалась позади… сейчас в этой сумрачной комнате с запахом духов Хелен, ее платьев и постели я желал только одного: обладать ею всем моим существом, всем, на что я способен, и единственное, что причиняло боль и пронизывало банальную, тупую муку утраты, была неспособность обладать ею полнее и глубже,

чем позволяла природа. Мне хотелось покровом раскинуться над нею, хотелось иметь тысячи губ и рук, сделаться идеальным футляром, повторяющим ее форму, чтобы чувствовать ее повсюду, без каких-либо зазоров, прильнуть кожей к коже, испытывая, несмотря ни на что, первозданную боль, что можно лишь прижаться кожей к коже, а не излиться кровью в кровь, что это не единение, а только близость.

VII

Я слушал Шварца не перебивая. Хотя обращался он ко мне, я понимал, что был для него всего лишь стеной, от которой порою отбивалось эхо. Я и сам смотрел на себя так же, иначе не смог бы слушать его без смущения, и был уверен, что и он бы иначе не смог рассказывать о том, что хотел еще раз воскресить, прежде чем волей-неволей похоронит в беззвучно сыплющемся песке воспоминаний. Я был для него человеком посторонним, путь которого на одну ночь пересекся с его собственным и перед которым ему нет нужды смущаться. Закутанный в анонимный плащ далекого мертвого имени — Шварц, — он встретился со мной, и если сбросит этот плащ, вместе с ним сбросит и свою личность и вновь ис-

чезнет в анонимной толпе, что бредет к черным вратам на последней границе, где документы не нужны и никого никогда не высылают и не отправляют назад.

Официант сообщил нам, что, кроме английских дипломатов, прибыл еще и германский. И показал его нам. Посланец Гитлера сидел пятью столиками дальше в компании троих людей, в том числе двух женщин, с виду крепких и здоровых, одетых в шелковые платья двух оттенков синего, друг с другом не сочетавшихся. Мужчина, на которого указал официант, сидел к нам спиной, что я счел вполне приемлемым и утешительным.

— Я думал, вам будет интересно, — сказал официант, — вы ведь тоже говорите по-немецки.

Мы со Шварцем невольно обменялись эмигрантским взглядом — легкое поднятие век, а затем равнодушный уход в сторону. Казалось, ничто нас не интересовало меньше. Эмигрантский взгляд не такой, как германский при Гитлере — осторожная оглядка по сторонам, чтобы затем что-то шепнуть, — но тот и другой принадлежат к культуре нашего столетия, как и вынужденное переселение народов, начиная от несчетных отдельных Шварцев в Германии до перемеще-

ния целых провинций в России. Через сто лет, когда горестные вопли утихнут, какой-нибудь находчивый историк торжественно объявит все это фактом, который способствовал развитию культуры, обогащал ее и распространял.

Шварц безучастно взглянул на официанта.

— Мы знаем, кто он. Принесите нам еще вина… Хелен, — продолжил он так же спокойно, — пошла к подруге за автомобилем. Я остался один в квартире, стал ждать. Был вечер, окна стояли настежь. Я выключил весь свет, чтобы никто меня в квартире не видел. Если позвонят в дверь, я не отвечу. Если придет Георг, в крайнем случае смогу сбежать через черный ход.

Полчаса я просидел поблизости от окна, слушая уличные шумы. Через некоторое время меня начало беззвучно охватывать огромное чувство утраты. В нем не было боли, скорее оно походило на сумрак, расползающийся вокруг, омрачающий и опустошающий все, в конце концов скрывающий даже горизонт. Призрачные весы уравновешивали пустое прошлое и пустое будущее, а посредине стояла Хелен, и призрачное коромысло весов лежало у нее на плечах, и она была уже потеряна. Мне казалось, будто я нахожусь посредине своей жизни, следующий шаг

нарушит баланс весов, они медленно опустятся в сторону будущего, станут все больше и больше наполняться серостью и никогда уже не вернутся в равновесие.

Шум подъехавшего автомобиля разбудил меня. В свете уличного фонаря я увидел, как Хелен вышла из машины и исчезла в парадном. Я прошел через темную безжизненную квартиру, услышал, как в замке повернулся ключ. Она быстро вошла, сказала: «Можно ехать. Тебе обязательно надо в Мюнстер?»

«Я оставил там чемодан. И зарегистрировался под именем Шварца. Куда мне еще ехать?»

«Оплати гостиницу и пойди в другую».

«Где?»

«Действительно, где? — Хелен задумалась, потом наконец сказала: — В Мюнстере. Ты прав. Где же еще? Это ближе всего».

Кой-какие вещи, которые могли пригодиться, я заранее сложил в чемодан. Мы решили, что в машину я сяду не возле дома, а подальше, на Гитлер-плац. Чемодан привезет Хелен.

Никем не замеченный, я выбрался на улицу. Теплый ветерок дул в лицо. Листва деревьев шелестела во мраке. Хелен подобрала меня на площади. «Залезай, — шепнула она. — Быстрее!»

Машина была кабриолетом, верх Хелен опустила. Лицо ее освещал отблеск приборной доски. Глаза блестели. «Мне надо ехать осторожно, — сказала она. — Авария и полиция — нам только этого недоставало!»

Я не ответил. В эмиграции о подобных вещах не говорили, чтоб не накликать беду. Хелен рассмеялась и поехала вдоль валов. Она кипела прямо-таки лихорадочной энергией, словно все это — приключение; уворачиваясь от других автомобилей или обгоняя их, она говорила сама с собой и с машиной. Когда поблизости от регулировщика приходилось тормозить, бормотала какие-то заклинания, а когда ее останавливал красный свет, торопила светофор: «Ну! Давай! Включай зеленый!»

Я не знал, как ее понимать. Для меня это был наш последний час. Я и не догадывался, на что она успела решиться.

Город остался позади, и Хелен немного успокоилась.

«Когда ты собираешься уехать из Мюнстера?» — спросила она.

Я не знал, потому что никакой цели у меня не было. Знал только, что задерживаться надолго уже нельзя. Судьба дает человеку лишь

известную иллюзию свободы, потом остерегает и наносит удар. Порой чуешь, когда приходит срок. Я почуял. И сказал: «Завтра».

Она помолчала. Потом спросила: «И каким образом?»

Об этом я думал, пока сидел один в темной гостиной. Попытка сесть на поезд и просто предъявить на границе паспорт казалась мне слишком рискованной. У меня могут потребовать другие документы, разрешение на выезд, квитанцию об уплате налога на проживание вне рейха, отметку в паспорте, а я ничего такого не имел. «Так же, как приехал, — ответил я. — Через Австрию. И через Рейн в Швейцарию. Ночью. — Я повернулся к Хелен. — Давай не будем говорить об этом. Или как можно меньше».

Она кивнула. «Я захватила деньги. Они тебе пригодятся. Когда тайком пойдешь через границу, сможешь взять с собой. В Швейцарии их можно обменять?»

«Да. Но разве тебе самой они не нужны?»

«Я их взять с собой не могу. Из-за пограничного контроля. Нам разрешается иметь при себе лишь несколько марок».

Я воззрился на нее. О чем она? Не иначе как оговорилась. «Сколько там?» — спросил я.

Хелен быстро взглянула на меня. «Не так мало, как ты думаешь. Я давно их откладывала. Они вон там, в сумке».

Она показала на маленькую кожаную сумку. «Большей частью сотенные купюры. И пачечка двадцаток, для Германии, чтобы тебе не менять крупную купюру. Ты их не считай. Просто возьми. Это же твои деньги».

«Разве партия не конфисковала мой счет?»

«Да, но не сразу. Я успела снять эти деньги. Кое-кто в банке мне помог. Я хотела сохранить их и при случае переслать тебе, но не знала, где ты».

«Я не писал тебе, потому что думал, за тобой следят. Не хотел, чтобы и тебя отправили в лагерь».

«Не только поэтому», — спокойно проговорила Хелен.

«Да, пожалуй, не только».

Мы ехали по деревне — белые вестфальские домики с соломенными крышами и черными балками. Повсюду самоуверенно расхаживали молодые парни в форме. Из пивной гремела «Песня о Хорсте Весселе».

«Будет война, — неожиданно сказала Хелен. — Ты поэтому вернулся?»

«Откуда тебе известно, что будет война?»

«От Георга. Ты поэтому вернулся?»

Я не знал, почему она допытывается.

Неужели я вновь спасаюсь бегством?

«Да, — ответил я. — И поэтому тоже, Хелен».

«Хотел забрать меня с собой?»

Я уставился на нее. «Господи, Хелен, — наконец сказал я. — Не надо так говорить об этом. Ты понятия не имеешь, каково там. Это не приключение, и станет вовсе немыслимо, если начнется война. Всех немцев засадят в тюрьму».

У железнодорожного переезда нам пришлось остановиться. Возле домишка смотрителя цвели в садике георгины и розы. Шлагбаумы звенели на ветру, будто арфы. Подъехали и другие машины — сперва маленький «Опель» с четырьмя серьезными толстяками, за ним открытая зеленая двухместная машина со старухой, потом беззвучно подкатил черный, точно катафалк, лимузин «Мерседес». Шофер в черном эсэсовском мундире сидел за рулем, а в салоне — двое эсэсовских офицеров с очень бледными лицами. «Мерседес» стал вплотную рядом с нами, я мог бы дотянуться до него рукой. Ожидание затягивалось. Хелен молча сидела подле меня. Сверкающий хромом «Мерседес» продвинулся еще дальше вперед, почти касаясь радиатором шлагбаума. В самом деле похож на катафалк, в котором везут двух

покойников. Мы только что говорили о войне, и здесь, рядом с нами, как бы возник ее символ: черные мундиры, мертвенные лица, серебряные эмблемы с мертвыми головами, черный автомобиль и тишина, которая пахла уже не розами, а горечью вечнозеленого барвинка и тленом.

Поезд загромыхал мимо, как сама жизнь. Скорый, со спальными купе и ярко освещенным вагоном-рестораном со столиками под белыми скатертями. Когда шлагбаумы поднялись, «Мерседес» первым рванул вперед, во мрак, как темная торпеда, призрачно обесцветившая весь пейзаж, будто деревья уже стали черными скелетами.

«Я еду с тобой», — прошептала Хелен.

«Что? Что ты говоришь?»

«Почему нет?»

Она остановила машину. Тишина обрушилась на нас беззвучным ударом, а затем мы услышали шорохи ночи. «Почему нет? — вдруг очень взволнованно повторила Хелен. — Ты хочешь снова оставить меня здесь?»

В синем отсвете приборной доски ее лицо было таким же бледным, как у тех офицеров, — словно и она уже была отмечена печатью смерти, бродившей в июньской ночи. В этот миг я понял: вот он, мой самый глубинный страх, — что между на-

ми станет война и что, когда она отбеснуется, нам никогда не отыскать друг друга, ведь даже при величайшей самонадеянности нельзя уповать на такое личное счастье после землетрясения, которое разрушит все.

«Если ты приехал не за мной, то, вообще приехав сюда, совершил преступление! Неужели не ясно?» — сказала Хелен, дрожа от гнева.

«Ясно», — ответил я.

«Тогда почему ты увиливаешь?»

«Я не увиливаю. Но ты не понимаешь, что это значит».

«А ты в точности знаешь? Почему же тогда приехал? Не лги! Чтобы еще раз распрощаться?»

«Нет».

«Тогда почему? Чтобы остаться здесь и покончить с собой?»

Я покачал головой. Понимал, что есть лишь один ответ, какой она поймет, лишь один, какой я могу сейчас ей дать, даже если этого не произойдет. Обязан дать. «Чтобы забрать тебя с собой, — сказал я. — Неужели ты до сих пор не поняла?»

Ее лицо изменилось. Гнев исчез. Оно стало очень красивым. «Поняла, — пробормотала она. — Но ты должен сказать мне. Неужели еще

не понял?»

Я собрался с духом. «Мне хочется сказать это сто раз, Хелен, и повторять каждую минуту… но в основном я говорю так, когда вынужден объяснять, что это невозможно».

«Не невозможно. У меня есть паспорт».

Секунду я молчал. Это слово молнией пробило сумбурные тучи моих размышлений. «У тебя есть паспорт? — повторил я. — Заграничный?»

Хелен открыла сумку, достала паспорт. Она не просто имела его, он был при ней. Я рассматривал паспорт, словно священный Грааль. Действительный паспорт и был не чем иным — декларацией и правом. «С каких пор?» — спросил я.

«Уже два года, — ответила она. — Он действует еще три года. Я трижды им пользовалась, один раз для поездки в Австрию, когда она еще была независимой, и дважды для поездок в Швейцарию».

Я перелистал странички. Мне надо было собраться с мыслями. Передо мной вдруг встала реальность. Паспорт похрустывал в моей руке. Уже не исключалось, что Хелен может покинуть Германию. Я думал, это возможно, только если она сбежит и перейдет границу нелегально, как я. «Просто, да?» — сказала Хелен, наблюдая за

мной.

Я кивнул, как дурак. «Стало быть, ты можешь сесть на поезд и просто уехать, — ответил я, опять глядя на паспорт. Это мне даже в голову не приходило. — Но у тебя нет французской визы».

«Я могу поехать в Цюрих и там получить французскую визу. Для Швейцарии мне виза не требуется».

«Что правда, то правда. — Я не сводил с нее глаз. — А твоя семья? Они позволят тебе уехать?»

«Я не стану их спрашивать. И ничего им не скажу. Сообщу, что мне надо в Цюрих к врачу. Я и раньше туда ездила».

«Ты разве больна?»

«Нет, конечно, — ответила Хелен. — Это был предлог, чтобы получить заграничный паспорт. Чтобы выехать отсюда. Я задыхалась».

Я вспомнил, что Георг спросил, ходила ли она к врачу, и повторил: «Ты правда не больна?»

«Вздор. Но моя семейка думает, что больна. Я им внушила, чтоб не приставали. И чтобы иметь возможность выехать. Мартенс мне помог. Нужно время, чтобы убедить настоящего немца, что в Швейцарии могут быть специалисты, которые знают больше, нежели светила в Берлине. — Хелен неожиданно засмеялась. — Не нервничай!

Речь идет не о жизни и смерти и не о тайном побеге. Завтра я просто на несколько дней уеду в Цюрих на обследование, как уже бывало раньше. Может быть, повидаю тебя, если ты будешь там. Так звучит лучше?»

«Да, — сказал я. — Но давай поедем дальше. Меня до сих пор словно кунают головой то в кипяток, то в ледяную воду, и я не чувствую разницы. Почему я никогда об этом не думал? Все вдруг стало так просто, что я боюсь, как бы из лесу сию минуту не вынырнула бригада СС».

«Все кажется простым, когда ты в отчаянии, дорогой мой, — очень мягко сказала Хелен. — Странная компенсация! Так всегда бывает?»

«Надеюсь, нам вообще не понадобится думать об этом».

Машина съехала с пыльного проселка на шоссе. «Я даже готова жить так всегда», — сказала Хелен без малейшего признака отчаяния.

Она пошла со мной в гостиницу. Поразительно, как быстро она освоилась с моей ситуацией. «Я зайду с тобой в холл, — объявила она. — Одинокий мужчина выглядит подозрительнее, чем мужчина с женщиной».

«Ты быстро учишься».

Она покачала головой: «Это я поняла еще до

твоего приезда. В годы доносов. Национальные подъемы похожи на камни, которые поднимают с земли, — из-под них тотчас выползает всякая нечисть. И наконец-то находит высокие слова, маскирующие ее вульгарность».

Гостиничный служащий дал мне ключ, и я поднялся в свой номер. Хелен осталась внизу.

Чемодан стоял на подставке у двери. Я огляделся в непритязательной комнате. Такая же, как многие, где мне довелось обитать. Попытался вспомнить, как приехал сюда, но воспоминание успело стереться. Я осознал, что уже не стою на берегу, не прячусь и не гляжу на реку — уже плыву на какой-то доске.

Принесенный чемодан я поставил рядом с первым, купленным раньше. Потом спустился к Хелен.

«Сколько у тебя времени?» — спросил я.

«Сегодня ночью я должна вернуть автомобиль».

Я смотрел на нее. И так ее желал, что секунду-другую не мог произнести ни слова. Смотрел на коричневые и зеленые кресла в холле, на стойку портье, на ярко освещенный стол и множество ячеек для писем на заднем плане, прекрасно понимая, что здесь повести Хелен в номер невоз-

можно. «Мы можем вместе поужинать, — сказал я. — Давай сделаем вид, будто завтра утром увидимся снова».

«Не завтра, — возразила Хелен. — Послезавтра».

Наверно, послезавтра что-то для нее значило; для меня оно было по-прежнему все равно что «никогда» или сомнительный шанс в лотерее с немногими выигрышами и несчетными пустышками. Я пережил слишком много послезавтра, и все они были не такими, как я надеялся.

«Послезавтра, — сказал я. — Послезавтра или послепослезавтра. Смотря по погоде. Сегодня мы не будем об этом думать».

«Я думаю только об этом», — ответила Хелен.

Мы пошли в «Соборный погребок», ресторан в старонемецком вкусе, и нашли столик, где нас не подслушают. Я заказал бутылку вина, и мы обсудили все необходимое. Завтра Хелен поедет в Цюрих. И там будет ждать меня. Я вернусь знакомым путем, через Австрию и Рейн, и позвоню ей, когда доберусь до Цюриха.

«А если не доберешься?» — спросила она.

«Из швейцарских тюрем можно писать письма. Подожди неделю. Если к тому времени не получишь от меня вестей, возвращайся обратно».

Хелен долго смотрела на меня. Знала, что́ я имею в виду. Из немецких тюрем письма́ не напишешь. «Граница строго охраняется?» — шепнула она.

«Нет, — сказал я. — И не думай об этом. Я приехал сюда, так почему же не выберусь отсюда?»

Мы старались игнорировать разлуку, но не слишком успешно. Словно могучая черная колонна, она стояла между нами, и мы разве что могли порой бросить из-за нее взгляд на растерянные лица друг друга. «Как пять лет назад, — сказал я. — Только на сей раз уезжаем мы оба».

Хелен помотала головой. «Будь осторожен! Ради бога, будь осторожен! Я подожду. Больше недели! Сколько хочешь. Только не рискуй!»

«Я буду осторожен. Не надо об этом. Осторожность можно заболтать. А тогда она притупляется».

Она накрыла мою руку своей. «Я только теперь поняла, что ты вернулся! Теперь, когда ты опять уходишь! Так поздно!»

«Я тоже. Хорошо, что теперь мы это знаем».

«Так поздно, — пробормотала она. — Только теперь, когда ты уходишь».

«Не только теперь. Мы все время знали. Разве бы я иначе приехал и разве бы ты меня ждала?

Просто теперь мы можем сказать друг другу об этом».

«Я ждала не все время», — сказала она.

Я молчал. Я тоже не ждал, но понимал, что никогда не посмею сказать ей об этом. И меньше всего сейчас. И она, и я были совершенно открыты и без всякой защиты. Если нам суждено жить вместе, то именно к этому мгновению в шумном мюнстерском ресторане мы оба, каждый сам по себе, сможем возвращаться вновь и вновь, чтобы черпать силу и твердость. Оно будет зеркалом, в которое мы сможем смотреть, и покажет нам два образа: тот, каким нас хотела видеть судьба, и тот, каким она сделала нас, а это много; ошибки случаются всегда оттого, что первый образ утрачен.

«Тебе пора, — сказал я. — Будь осторожна. Не превышай скорость».

Губы у нее дрогнули. Иронию я заметил, лишь когда уже произнес эту фразу. Мы стояли на ветреной улице меж старых домов. «Ты будь осторожен, — прошептала она. — Тебе это нужнее».

Некоторое время я сидел у себя в номере, потом не выдержал. Пошел на вокзал, купил билет до Мюнхена и выписал на листок подходящие поезда. Нашелся один, который отходил в тот же вечер. На нем я и уеду.

В городе царила тишина. Я прошел мимо Соборной площади и остановился. В темноте я различал лишь часть старинных зданий. Думал о Хелен и о том, что будет, но все это стало таким же огромным и неясным, как высокие окна в тени церкви; я вдруг опять засомневался, правильно ли брать ее с собой, не приведет ли это к гибели, не совершил ли я легкомысленный проступок или получил неслыханную милость, а может, то и другое разом.

Неподалеку от гостиницы я услышал приглушенные голоса и шаги. Двое эсэсовцев вышли из подъезда, вытолкнув на улицу какого-то мужчину. Я видел его лицо в свете уличного фонаря. Узкое, восковое, из правого уголка рта стекала на подбородок черная струйка крови. Голова лысая, но на висках темные волосы. Глаза широко открыты и полны такого ужаса, какого я давно не видел. Мужчина молчал. Конвоиры тычками нетерпеливо подгоняли его вперед. Они не шумели, во всей сцене было что-то приглушенное, призрачное. Мимоходом эсэсовцы с яростным вызовом взглянули на меня, а пленник посмотрел на меня остановившимися глазами и сделал что-то вроде умоляющего жеста, губы его шевелились, но с них не слетело ни звука.

Извечная для человечества сцена — прислужники насилия, жертва и вечный третий, зритель, который не поднимет руки, не защитит жертву и не попытается освободить ее, потому что боится за собственную безопасность, а собственная его безопасность именно по этой причине всегда под угрозой.

Я знал, что ничего не могу сделать для арестованного. Вооруженные эсэсовцы без труда сладят со мной… вдобавок мне вспомнилось, как кто-то рассказывал мне о подобной сцене. Он видел, как эсэсовец арестовал и бил еврея, и бросился на помощь бедняге, послал эсэсовца в нокаут, а жертве крикнул, что надо бежать. Но арестованный проклинал своего избавителя, он, мол, теперь совсем пропал, потому что угодил в ситуацию, когда ему еще и это вменят в вину, и, рыдая, пошел за водой, чтобы привести эсэсовца в чувство и под его конвоем отправиться на смерть. Я вспомнил этот рассказ, однако все равно растерялся и, раздираемый противоречивостью беспомощности, презрения к себе, страха и едва ли не легкомысленных поисков счастья, пока других убивают, вернулся в гостиницу, забрал вещи и поехал на вокзал, хотя было еще слишком рано. Решил, что лучше сидеть в зале ожидания, чем прятаться

в гостиничном номере. Небольшой риск, на который я при этом шел, по-детски давал хотя бы некоторую опору моему самолюбию.

VIII

— Ехал я всю ночь и следующий день и без затруднений добрался до Австрии. Газеты были полны требований, заверений и обычных сообщений о пограничных инцидентах, которые всегда предшествуют войнам и при которых сильные нации странным образом всегда обвиняют слабых в агрессивности. Я видел эшелоны с войсками, но большинство людей, с которыми я разговаривал, в войну не верили. Надеялись, что за прошлогодним Мюнхеном всякий раз будет следовать новый и что Европа слишком слаба и упадочна, чтобы отважиться воевать с Германией. Разительный контраст с Францией, где каждый знал, что войны не миновать, но находящийся под угрозой всегда знает больше, причем раньше, нежели агрессор.

В Фельдкирхе я снял комнату в маленьком пансионе. Стояло лето, время туристов, так что я никому в глаза не бросался. Два чемодана придавали мне респектабельности. Я решил оставить их здесь, взять с собой ровно столько вещей, что-

бы они меня не стесняли. Сложил все в рюкзак, так меньше всего привлекаешь внимание. Комнату я оплатил на неделю вперед.

На другой день я отправился в дорогу. До полуночи прятался на прогалине поблизости от границы. Помню, что поначалу меня донимали комары и что я видел тритона, который жил в прозрачной воде маленького бочажка. У него был гребешок, и временами он всплывал на поверхность вдохнуть воздуху. И тогда показывал пятнистое желто-красное брюшко. Я наблюдал за ним и думал, что для него весь мир ограничен этим бочажком. Для него это — Швейцария, Германия, Франция, Африка и Иокогама, все разом. Он мирно всплывал и нырял, в полной гармонии с вечером.

Я вздремнул несколько часов, потом приготовился. Был вполне уверен. А через десять минут рядом со мной словно из-под земли вырос таможенник: «Стоять! Ни с места! Что вы здесь делаете?»

Должно быть, он давно караулил в потемках. Мое заявление, что я безобидный турист, он пропустил мимо ушей. «Можете рассказать все это на таможне». С этими словами он снял оружие с предохранителя и повел меня в ближайшую

деревню.

Я шел вконец пришибленный, отупевший, лишь крошечный уголок в мозгу был начеку, прикидывал, как бы смыться. Но куда там — таможенник хорошо знал свое дело. Шагал за мной на безопасном расстоянии, врасплох его не застигнешь, не нападешь, я бы и пяти шагов не пробежал, он бы немедля выстрелил.

На таможне он отпер крошечную комнатушку. «Заходите сюда. Ждите».

«Как долго?»

«Пока не вызовут на допрос».

«А сразу допросить нельзя? Я ничего не сделал, чтобы держать меня под арестом».

«Тогда вам не о чем беспокоиться».

«Я и не беспокоюсь, — сказал я, снимая рюкзак. — Стало быть, начнем».

«Начнем, когда мы тут будем готовы, — сказал таможенник, показывая превосходные белые зубы. Он выглядел как охотник, да и вел себя так же. — Утром придет нужный сотрудник. Поспать можете в этом кресле. Осталось всего-то несколько часов. Хайль Гитлер!»

Я осмотрелся. Окно зарешечено, дверь крепкая и заперта снаружи. Не сбежишь. Кроме того, за стеной разговаривали люди. Я сидел и ждал.

Безнадежно. Наконец небо посерело, потом мало-помалу стало голубым и ясным. Я опять услышал голоса, запахло кофе. Дверь отперли. Я сделал вид, будто проснулся, и зевнул. Вошел незнакомый таможенник, краснолицый толстяк, с виду добродушнее охотника. «Наконец-то! — сказал я. — Спать тут чертовски неудобно».

«Что вы делали на границе? — спросил он и принялся развязывать мой рюкзак. — Удрать хотели? Или у вас контрабанда?»

«Ношеные штаны контрабандой не провозят, — ответил я. — Как и ношеные рубашки».

«Ладно. Тогда что же вы делали там ночью?» Он отложил мой рюкзак в сторону. Я вдруг подумал о деньгах, которые имел при себе. Если он их найдет, я пропал. Надеюсь, он не станет меня обыскивать.

«Хотел ночью полюбоваться Рейном, — улыбнулся я. — Я же турист. И романтик».

«Откуда вы?»

Я назвал пансион и место, откуда пришел. «Хотел нынче утром туда вернуться, — сказал я. — Оставил там чемоданы. Я снял комнату на неделю, с оплатой вперед. Не похоже на контрабанду, а?»

«Ну-ну, — пробормотал он. — Мы все проверим.

Через час я зайду за вами. Вместе отправимся туда. Поглядим, что у вас в чемоданах».

Путь был долгий. Толстяк тоже оказался бдительным, как овчарка. Он катил рядом с собой велосипед и курил. Наконец мы добрались до места.

«Да вот же он!» — крикнул кто-то из окна пансиона. И тотчас передо мной выросла хозяйка. Красная как рак от волнения. «Господи, мы уж думали, с вами что-то случилось! Где вы были всю ночь?»

Утром хозяйка обнаружила мою нетронутую постель и вообразила, что меня убили. В здешних местах якобы шныряет разбойник, у которого на совести уже несколько грабежей. Поэтому она вызвала полицию. Полицейский вышел из дома следом за нею. Похож на охотника. «Я заблудился, — сказал я как можно спокойнее. — Вдобавок ночь была такая красивая! Впервые с детства я опять ночевал под открытым небом. Чудесно! Сожалею, что доставил вам беспокойство. К сожалению, я ненароком оказался слишком близко к границе. Пожалуйста, объясните таможеннику, что я здесь живу».

Хозяйка так и сделала. Таможенник был вполне удовлетворен, зато насторожился полицейский:

«С границы? Документы у вас есть? Кто вы?»

На секунду у меня перехватило дыхание. Деньги Хелен лежали у меня в нагрудном кармане; если он их найдет, то заподозрит, что я хотел контрабандой провезти их в Швейцарию, и меня немедля возьмут под стражу. А что тогда будет, представить себе невозможно.

Я назвал свое имя, но паспорт пока не предъявлял, немцам и австрийцам в своей стране он не нужен. «Кто нам докажет, что вы не тот самый преступник, которого мы разыскиваем?» — сказал полицейский, похожий на охотника.

Я рассмеялся. «Тут нет ничего смешного», — сердито бросил он и вместе с таможенником принялся обыскивать мои чемоданы.

Я сделал вид, что расцениваю все как шутку, но толком не знал, как мне объяснить наличие денег, если дальше последует личный обыск. Решил сказать, что подумываю купить домик в здешних краях.

К моему удивлению, в боковом кармане второго чемодана чиновник нашел письмо, о котором я не знал. Этот чемодан я захватил из Оснабрюка, Хелен сложила туда мои давние вещи и привезла на машине. Полицейский достал из конверта бумагу, начал читать. Я напряженно наблюдал

за ним, ведь понятия не имел, что это за письмо, только надеялся, что оно старое, ничего не значащее.

Чиновник крякнул, поднял глаза. «Ваше имя — Йозеф Шварц?»

Я кивнул. «Что же вы сразу-то не сказали?» — спросил он.

«Так ведь я вам раньше говорил», — ответил я, пытаясь прочитать перевернутую типографскую шапку на бумаге.

«Верно, он говорил», — подтвердил таможенник.

«Значит, письмо касается вас?» — спросил полицейский.

Я протянул руку. Секунду он медлил, потом отдал мне бумагу. Теперь я разглядел типографскую шапку. Это был адрес отделения национал-социалистской партии в Оснабрюке. Я медленно прочел, что партийное отделение Оснабрюк просит оказывать всяческую поддержку члену партии Йозефу Шварцу, который находится при исполнении важного секретного задания. Подпись: Георг Юргенс, обер-штурмбаннфюрер, — рукой Хелен.

Я держал письмо в руке. «Там все верно?» — спросил таможенник с куда большим почтением,

чем раньше.

Теперь я достал паспорт, открыл его, показал на имя и снова спрятал. «Секретное государственное дело», — сказал я.

«Поэтому?»

«Поэтому, — серьезно произнес я, пряча и письмо. — Надеюсь, этого вам достаточно?»

«Само собой. — Таможенник подмигнул блекло-голубым глазом. — Понятно. Наблюдение за границей».

Я поднял руку. «Ни слова об этом, пожалуйста. Дело секретное. Поэтому я и не мог ничего сказать. Однако вы все же выяснили. Вы состоите в партии?»

«Конечно», — сказал полицейский. Только сейчас я увидел, что он рыжий, и похлопал его по потному плечу: «Отлично! Вот вам обоим на стаканчик вина после всех трудов».

Шварц с меланхоличной улыбкой посмотрел на меня:

— Иной раз удивительно, как легко можно обвести вокруг пальца людей, которым по долгу службы надо быть недоверчивыми. Вам это знакомо?

— Без документов не получится, — сказал я. — Но снимаю шляпу перед вашей женой! Она

предвидела, что такое письмо может вам понадобиться.

— Наверно, Хелен подумала, что, предложи она мне это письмо, я бы его не взял. По моральным причинам, пожалуй, или просто потому, что счел бы опасным. Главным образом, наверно, поэтому. А так я его взял. И оно меня спасло.

Я слушал Шварца с растущим интересом. А сейчас глянул по сторонам. Английский и немецкий дипломаты находились на танцплощадке. Танцевали фокстрот, и из них двоих англичанин был лучшим танцором. Немцу требовалось больше пространства, он танцевал с ожесточенной агрессивностью и двигал партнершу перед собой, словно пушку. В полумраке мне на миг почудилось, будто ожила доска с шахматными фигурами. Оба короля, немецкий и английский, порой угрожающе сближались, но англичанин каждый раз уворачивался.

— Что вы сделали потом? — спросил я у Шварца.

— Пошел к себе в комнату, — ответил он. — Я был совершенно без сил, хотел успокоиться и поразмыслить. Хелен спасла меня настолько неожиданным образом, что мне это показалось

деянием некоего deus ex machina[14], театральным трюком, который внезапно приводит ужасную неразбериху к благополучному разрешению. Но мне необходимо было уехать отсюда, пока полицейский не успел раззвонить обо всем или призадуматься. Поэтому я решил положиться на удачу, покуда она еще на моей стороне. Выяснил насчет ближайшего скорого поезда в Швейцарию. Он отходил через час. Хозяйке я объяснил, что мне нужно на денек съездить в Цюрих, поэтому я возьму с собой только один чемодан, а второй пусть побудет у нее, ведь через несколько дней я вернусь. Затем я пошел на вокзал. Вам знаком этот внезапный отказ от многолетней осторожности?

— Да, — сказал я. — Но при этом нередко впадаешь в заблуждение. Воображаешь, будто судьба задолжала тебе реванш. Только вот ничего она не задолжала.

— Конечно, — сказал Шварц. — Но порой все равно перестаешь доверять привычным приемам и думаешь, что надо опробовать новый. Хелен хотела, чтобы я поехал через границу вместе с ней. Я отказался и пропал бы, если бы не ее спаситель-

---

[14] notes: 14
Бог из машины (*лат.*).

ная хитрость, вот и решил теперь последовать ее примеру и поступить так, как она хотела.

— И поступили?

Шварц кивнул.

— Купил билет первого класса; роскошь всегда внушает доверие. Только когда поезд тронулся, я вспомнил о деньгах, которые были при мне. В купе их спрятать невозможно, я был не один. Вместе со мной ехал еще один пассажир, очень бледный и встревоженный. Я попытал счастья с туалетами — оба оказались заняты. Между тем поезд добрался до пограничной станции. Инстинкт погнал меня в вагон-ресторан. Я сел за столик, заказал бутылку дорогого вина и стандартный обед.

«У вас есть багаж?» — спросил официант.

«Да, в ближайшем вагоне первого класса».

«Тогда не угодно ли сначала покончить с таможенным досмотром? Я придержу для вас это место».

«Все это может затянуться. Принесите мне заказ. Я проголодался. И хочу заплатить сразу, чтобы вы потом не подумали, что я сбегу».

Надежда, что пограничники проглядят меня в вагоне-ресторане, не сбылась. Официант как раз ставил на стол вино и суп, когда появились

двое в форме. Деньги, которые были при мне, я тем временем засунул под войлочную подкладку скатерти, а письмо Хелен положил в паспорт.

«Паспорт», — резко бросил пограничник. Я протянул ему свой паспорт.

«Багажа нет?» — спросил он, еще не открыв его.

«Только ручной чемоданчик, — сказал я. — В ближайшем вагоне первого класса».

«Вам придется открыть чемодан», — сказал второй.

Я встал. «Придержите за мной это место», — сказал я официанту.

«Разумеется! Вы же уплатили вперед!»

Первый таможенник посмотрел на меня: «Вы уплатили вперед?»

«Да. Иначе я бы не мог позволить себе обед и вино. По ту сторону границы надо платить валютой. А ее у меня нет».

Таможенник неожиданно рассмеялся. «Неплохая идея! — воскликнул он. — Забавно, что мало кто до этого додумывается. Идите вперед. Мне надо закончить здесь проверку».

«А мой паспорт?»

«Мы вас найдем».

Я вернулся в свое купе. Попутчик сидел там,

еще более встревоженный, чем раньше. Он потел, то и дело утирая руки и лицо влажным платком. Я смотрел на вокзал, открыл окно. Если меня схватят, выпрыгивать не имеет смысла, убежать невозможно, однако открытое окно немного успокаивало.

В дверях появился второй таможенник: «Ваш багаж!»

Я снял с полки чемодан, открыл крышку. Он заглянул внутрь, потом досмотрел чемодан моего попутчика, козырнул и сказал: «Порядок».

«Мой паспорт», — сказал я.

«Он у моего коллеги».

Коллега появился в ту же минуту. Не тот, что прежде, — партиец в форме, худой, в очках и в сапогах.

Шварц усмехнулся:

— До чего же немцы любят сапоги!

— Они им нужны, — сказал я. — Ведь по такой грязище топают!

Шварц осушил свой бокал. За ночь он выпил немного. Я взглянул на часы: половина четвертого. Шварц заметил.

— Осталось недолго, — сказал он. — Вам хватит времени на пароход и все прочее. Теперь мне нужно рассказать о времени счастья. А о счастье

много не расскажешь.

— Как же вы выкрутились?

— Партиец прочитал письмо Хелен. Вернул мне паспорт и спросил, есть ли у меня знакомые в Швейцарии. Я кивнул.

«Кто они?»

«Господа Аммер и Ротенберг».

Так звали двух нацистов, работавших в Швейцарии. Каждый эмигрант, который жил в Швейцарии, знал их и ненавидел.

«А еще?»

«Наши в Берне. Незачем называть их всех, не правда ли?»

Он выбросил вперед руку. «Желаю удачи! Хайль Гитлер!»

Моему попутчику повезло меньше. Ему пришлось предъявить все документы и выдержать перекрестный допрос. Он потел и запинался. Сил не было смотреть. «Я могу вернуться в вагон-ресторан?» — спросил я.

«Разумеется! — ответил партиец. — Приятного аппетита!»

В вагоне-ресторане оказалось полно народу. Группа американцев оккупировала мой столик. «Где мое место?» — спросил я у официанта.

Он пожал плечами. «Я не мог его сохранить. Что

сделаешь с этими американцами? По-немецки они не понимают и садятся где ходят! Садитесь вон там. Столик есть столик, не так ли? Я уже переставил туда ваше вино».

Я не знал, как быть. Целое семейство радостно конфисковало все четыре места за моим столиком. Там, где лежали деньги, сейчас сидела очень красивая девушка лет шестнадцати, с фотоаппаратом. Начни я настаивать на том, чтобы сесть на прежнее место, я привлек бы внимание. Мы находились еще на германской территории.

Пока я стоял в замешательстве, официант сказал: «Почему бы вам не устроиться пока что за тем столиком, а потом пересесть, когда старое место освободится? Американцы едят быстро — бутерброды и апельсиновый сок. А я после принесу вам настоящий обед».

«Ну хорошо».

Я сел так, чтобы не выпускать из виду свои деньги. Странно, еще минутой раньше я бы охотно отказался от всех денег, лишь бы выкрутиться, а теперь сидел тут, думая только о том, что хочу получить их обратно, правда в Швейцарии, пусть даже мне придется напасть на американское семейство. Потом я заметил, как по перрону уводят маленького потного человека, и меня охватило

чувство глубокого, бессознательного удовлетворения, что это не я, соединенное с лицемерным сожалением, которое представляет собой всегонавсего подкуп судьбы посредством дешевого сочувствия. Я ощутил отвращение к самому себе и не мог да и не хотел ничего предпринять. Хотел спастись и вернуть свои деньги. Даже не деньги как таковые, а безопасность, Хелен, месяцы будущего, и все же это были деньги, и моя собственная шкура, и мое собственное эгоистичное счастье. Нам никогда от этого не избавиться. Но тот у нас внутри, кого мы не можем контролировать, должен бы оставить притворство…

— Господин Шварц, — перебил я. — Как вам удалось забрать свои деньги?

— Вы правы, — сказал он. — И без этой опрометчивой тирады тоже не обойтись. В вагон-ресторан явились швейцарские таможенники, а у американского семейства, как выяснилось, был не только ручной багаж, но и чемоданы в багажном вагоне. Пришлось им выходить. Вместе с детьми. Обед они закончили. Со стола убрали. Я пересел, положил руку на скатерть, почувствовал узкое возвышение.

«Закончили с таможней?» — спросил официант, подойдя с моей бутылкой.

«Конечно, — ответил я. — Несите-ка ростбиф. Мы уже в Швейцарии?»

«Пока нет, — сказал он. — Только когда поедем».

Он ушел, а я стал ждать, когда поезд тронется. Последнее безумное нетерпение, вероятно знакомое и вам. Я смотрел в окно на людей на перроне, где какой-то карлик в смокинге и не в меру коротких брюках изо всех сил старался продать с передвижной никелированной тележки гумпольдскирхенское вино и шоколад. Потом я увидел своего потного попутчика, он возвращался. Один, бегом бежал к вагону. «А вы в ударе», — сказал официант, возникший рядом.

«Что?»

«В смысле, здорово пьете, сударь, будто пожар тушите».

Я взглянул на бутылку. Она была почти пуста. Я пил, сам того не замечая. В этот миг вагон-ресторан дернулся. Бутылка закачалась и едва не упала. Я поймал ее. Поезд тронулся. «Принесите еще одну», — сказал я. Официант исчез.

Я извлек из-под скатерти деньги, спрятал в карман. Сразу после этого вернулись американцы. Сели за тот столик, где только что сидел я, заказали кофе. Девушка принялась фотографировать

пейзаж. Я решил, что она права: это был самый красивый пейзаж на свете.

Официант принес бутылку. «Вот теперь мы в Швейцарии».

Я заплатил за бутылку и дал ему щедрые чаевые. «Возьмите вино себе, — сказал я. — Мне оно уже не требуется. Хотел кое-что отметить, но теперь вижу, что и первой бутылки было многовато».

«Вы же пили почти что на голодный желудок, сударь», — сказал он.

«То-то и оно». Я встал.

«Может быть, у вас день рождения?» — спросил официант.

«Юбилей, — ответил я. — Золотой юбилей!»

Маленький попутчик несколько минут сидел молча; он уже не потел, но было видно, что костюм и белье отсырели. Потом он спросил: «Мы в Швейцарии?»

«Да», — ответил я.

Он опять замолчал, глядя в окно. Мы подъехали к станции со швейцарским названием. Швейцарский начальник станции махал рукой, двое швейцарских полицейских разговаривали, стоя возле багажа, который грузили в вагон. В киоске можно было купить швейцарский шоколад и

швейцарские сосиски. Попутчик высунулся в окно, купил швейцарскую газету. «Мы в Швейцарии?» — спросил он у мальчишки-газетчика.

«Да, где же еще? Десять раппенов».

«Что?»

«Десять раппенов! Десять сантимов! За газету!»

Попутчик расплатился так, будто сорвал большой куш. Другие деньги, видимо, наконец-то его убедили. Мне он не поверил. Он развернул газету, заглянул в нее и отложил в сторону. Я не сразу услышал, что́ он говорит. Был настолько оглушен новой свободой, что колеса поезда громыхали словно у меня в голове. Только заметив, как шевелятся губы попутчика, я сообразил, что он говорит.

«Наконец-то выбрался, — сказал он, пристально глядя на меня, — из вашей окаянной страны, господин партиец! Из страны, которую вы, сволочи, превратили в казарму и концлагерь! Я в Швейцарии, в свободной стране, где вам командовать не дано! Наконец-то можно открыть рот и не получить от вас сапогом в зубы! Что вы сделали с Германией, разбойники, убийцы, палачи!»

Крошечные пузырьки слюны пенились в уголках его рта. Он смотрел на меня, как истеричная женщина на жабу. Считал меня партийцем и

после всего, что слышал, был прав.

Я слушал его с глубочайшим спокойствием, потому что был спасен.

«Вы мужественный человек, — сказал я. — Я по меньшей мере фунтов на двадцать тяжелее и сантиметров на пятнадцать выше вас. Но вы продолжайте. Выговоритесь. Станет легче».

«Издеваетесь! — Он разозлился еще сильнее. — Вы еще и издеваетесь надо мной, да? Ну уж нет! Прошли те времена! Что вы сделали с моими родителями? Чем вам насолил мой старик-отец? А теперь! Теперь замыслили поджечь весь мир!»

«Думаете, будет война?» — спросил я.

«Давайте! Издевайтесь дальше! Будто сами не знаете! Что еще вам остается с вашим тысячелетним рейхом и гнусным оружием? Вы же профессиональные убийцы и преступники! Если не затеете войну, ваше мнимое благоденствие рухнет, и вы с ним вместе!»

«Я тоже так думаю, — сказал я, чувствуя на лице ласку предвечернего солнечного тепла. — Но что, если Германия победит?»

Человек в отсыревшем костюме уставился на меня и сглотнул. «Если вы победите, то, значит, Бога больше нет», — помолчав, с трудом выговорил он.

«Вот и я так считаю». Я встал.

«Не прикасайтесь ко мне! — прошипел он. — Вас арестуют! Я дерну экстренный тормоз! Донесу на вас! Да на вас все равно донесут, вы же шпион! Я слышал, что́ вы им говорили!»

Еще чего недоставало, подумал я. И сказал: «Швейцария — свободная страна. Тут из-за доноса почем зря не арестуют. Вы там, похоже, многому научились».

Я взял чемодан и перебрался в другое купе. Не хотел просвещать истеричного попутчика, но и сидеть напротив него не хотел. Ненависть — кислота, разъедающая душу, все равно, сам ли ненавидишь или ненавидят тебя. Это я усвоил в своих скитаниях.

Так я добрался до Цюриха.

IX

На миг музыка умолкла. С танцплощадки донеслись возбужденные голоса. Затем оркестр грянул с новой силой, запела какая-то женщина в канареечном платье, с ниткой фальшивых брильянтов в волосах. Случилось неизбежное: немецкий партиец во время танца столкнулся с одним из англичан. Оба обвиняли друг друга в умысле. Управляющий и двое официантов изоб-

ражали Лигу Наций и старались их успокоить, но те не слушали. Оркестр был умнее: изменил ритм. Вместо фокстрота заиграл танго, и дипломатам пришлось делать выбор: либо по-прежнему стоять, выставляя себя на посмешище, либо продолжить танец. Правда, немец, судя по всему, танцевать танго не умел, тогда как англичанин, не сходя с места, сразу вошел в ритм. Поскольку вслед за тем их стали толкать другие пары, спор заглох. Яростно глядя друг на друга, они отошли к своим столикам.

— Дуэль, — презрительно обронил Шварц. — Почему они не вызовут друг друга на дуэль?

— Вы прибыли в Цюрих, — сказал я.

Он слабо улыбнулся:

— Уйдем отсюда?

— Куда?

— Наверняка есть простенькие кафе, открытые всю ночь. А это могила, где танцуют и играют в войну.

Он расплатился и спросил официанта насчет другого заведения. Тот записал адрес на листке, вырванном из своего блокнота, и указал нам, в какую сторону идти.

За порогом нас встретила дивная ночь. По-прежнему сияли звезды, но море и утро уже

заключили друг друга у горизонта в первые голубые объятия, небо стало выше, а запах соли и цветов еще усилился. День будет ясный. Днем Лиссабону присуще что-то наивно-театральное, чарующее и пленительное, а вот ночью он — город-сказка, который уступами, весь в огнях, спускается к морю, как женщина в праздничном уборе, склоняющаяся к смуглому возлюбленному.

Некоторое время мы стояли молча.

— Вот такой некогда представлялась нам жизнь, верно? — наконец печально проговорил Шварц. — Тысячи огней и улицы, ведущие в бесконечность…

Я не ответил. Для меня жизнь была кораблем, что стоял на якоре внизу, на Тежу, а он плыл не в бесконечность… он плыл в Америку. Хватит с меня приключений, время закидало нас ими, как гнилыми яйцами. Самое замечательное приключение — действительный паспорт, виза и билет. Для скитальца против воли будничное давным-давно стало фантасмагорией, а приключение — бедствием.

— Цюрих казался мне тогда таким же, как вам нынче ночью этот город, — сказал Шварц. — Там началось то, что я считал утраченным. Вы ведь

знаете, время — жиденькая заварка смерти, которой нас исподволь потчуют как безвредным ядом. Поначалу он бодрит и даже внушает нам мысль, что мы почти бессмертны… но когда капля за каплей, день за днем становится на одну каплю и один день сильнее, то оборачивается кислотой, замутняющей и разрушающей нашу кровь. Даже попытайся мы выкупить юность теми годами, что нам еще остались, ничего бы не вышло, кислота времени изменила нас, и химический состав уже не тот, разве что случится чудо. И это чудо случилось.

Он остановился, не сводя глаз с искрящегося города.

— Мне бы хотелось, чтобы эта ночь стала в моей памяти самой счастливой в жизни, — прошептал он. — А она самая страшная. Как вы думаете, память сумеет совершить такое? Должна же суметь! Чудо, когда его переживаешь, никогда не бывает совершенным, таким его делает только память… и если счастье умерло, оно ведь больше не может измениться и стать разочарованием. Остается совершенным. Если теперь я еще раз сумею воскресить его, разве не должно оно остаться таким, каким я его вижу? Не должно остаться со мной, пока я жив?

Он выглядел почти как лунатик, стоя вот так на лестнице, на фоне неумолимо наступающего утра, несчастная, забытая фигура из ночи, и мне вдруг стало страшно жаль его.

— В самом деле, — осторожно сказал я, — как мы можем по-настоящему знать, счастливы ли и до какой степени, коль скоро не знаем, что́ останется и как останется?

— Зная каждую секунду, что не можем да и не пытаемся его удержать, — прошептал Шварц. — Если мы не желаем удержать и схватить его руками, грубой хваткой, разве оно тогда без испуга не остается у нас в глазах? И разве не живет там, пока живут глаза?

Он все еще смотрел вниз на город, где находился еловый гроб и стоял на якоре корабль. На мгновение его лицо словно бы распалось на части, так его исказило выражение мертвой боли; потом оно опять задвигалось, рот уже не был черным провалом, а глаза не были галькой.

Мы продолжили спуск к гавани.

— Господи, — немного погодя сказал он. — Кто мы? Кто вы, кто я, кто остальные и кто те, кого уже нет? Что реально — отражение или стоящий перед зеркалом? Живой или воспоминание, образ без боли? Мы теперь слились воедино, умершая

и я, и, может статься, она лишь теперь целиком моя, в этой безотрадной алхимии, в какой она сейчас отвечает, лишь когда я хочу и как я хочу, усопшая, оставшаяся только в легкой фосфоресценции здесь, под моим черепом? Или я не просто потерял ее, но теряю теперь еще раз, каждую секунду понемногу, оттого что воспоминание медленно угасает? Я должен удержать ее, сударь, понимаете? — Он хлопнул себя по лбу.

Мы вышли на улицу, которая длинными уступами вела вниз по холму. Вчера днем здесь, должно быть, состоялся какой-то праздник. Гирлянды, уже увядшие и пахнущие кладбищем, висели на железных штангах меж домами, вдобавок от дома к дому тянулись шнуры с электрическими лампочками, перемежающимися с похожими на тюльпаны большими лампами. Высоко над ними, примерно через каждые двадцать метров, парили пятиконечные звезды из мелких электрических лампочек. Вероятно, все это соорудили для какого-то шествия или для одного из многих религиозных праздников. Теперь, при свете начинающегося утра, декор выглядел убогим и потрепанным, и лишь в одном месте, внизу, что-то, видимо, не заладилось с контактами — там до сих пор горела звезда странно резким, бледным

светом, какой бывает у ламп ранним вечером или утром.

— Вот оно, — сказал Шварц, открывая дверь кафе, где все еще не выключили свет. Крепкий загорелый мужчина вышел нам навстречу. Указал на столик. В низком помещении стояли несколько бочек, за одним из немногочисленных столиков сидели мужчина и женщина. Хозяин мог предложить только вино и холодную жареную рыбу.

— Вы знаете Цюрих? — спросил у меня Шварц.

— Да. В Швейцарии полиция арестовывала меня четыре раза. Там хорошие тюрьмы. Гораздо лучше, чем во Франции. Особенно зимой. К сожалению, сажают максимум на две недели, когда хочешь отдохнуть. Потом тебя выдворяют, и опять начинается пограничный балет.

— Решение открыто пересечь границу что-то во мне освободило, — сказал Шварц. — Я вдруг перестал бояться. При виде полицейского на улице сердце у меня больше не замирало, я пока что испытывал шок, но совсем легкий, в самый раз, чтобы спустя секунду тем отчетливее осознать свою свободу.

Я кивнул:

— Обостренное ощущение жизни благодаря

присутствию опасности. Превосходно, пока опасность лишь маячит на горизонте.

— Вы так полагаете? — Шварц как-то странно посмотрел на меня. — Это идет намного дальше. До того, что мы называем смертью, и еще дальше. Где утрата, если можно удержать чувство? Разве город исчезает, когда покинешь его? Разве не живет в вас, даже если разрушен? И кто знает, что́ есть умирание? Не скользит ли по нашим переменчивым лицам не только неспешный луч света? И разве не было у нас лица, прежде чем мы родились, самого первого лица, того, что должно остаться после разрушения других, преходящих?

Кошка потерлась о стулья. Я бросил ей кусочек рыбы. Она подняла хвост трубой и отвернулась.

— Вы встретились в Цюрихе с женой? — осторожно спросил я.

— Да, в гостинице. Скованность, выжидание, одолевавшее меня в Оснабрюке, стратегия боли и обиды исчезли и не возвращались. Я встретился с женщиной, которую не знал, но любил, с которой меня вроде как связывали девять лет беззвучного прошлого, однако это прошлое не имело над нею никакой власти, не ограничивало ее, не подчиняло себе. Яд времени, казалось, и у Хелен испарился, когда она пересекла границу.

Прошлое теперь принадлежало нам, но мы не принадлежали ему; вместо гнетущего образа лет, каким представляется обычно, оно перевернулось и теперь было зеркалом, которое отражало одних только нас, без привязки к нему. Решение вырваться и сам поступок так категорично отделили нас от всего Раньше, что невозможное стало реальностью: новое ощущение жизни, без морщин минувшего.

Шварц посмотрел на меня, и опять на его лице мелькнуло странное выражение.

— Так и осталось. И опорой всему была Хелен. Я не мог, особенно ближе к концу. Но она-то могла, и этого хватало, вот что важно, как думаете? Лишь теперь мне тоже необходимо смочь, потому-то я и говорю с вами! Да, именно потому!

— Вы остались в Цюрихе? — спросил я.

— Мы пробыли там неделю, — сказал Шварц прежним тоном. — Жили в этом городе и в единственной европейской стране, где мир еще как будто бы не пошатнулся. У нас были деньги на несколько месяцев, и Хелен привезла с собой драгоценности, которые мы могли продать. Вдобавок во Франции еще остались рисунки покойного Шварца.

Лето тридцать девятого года! Казалось, Бог

хотел еще раз показать всему свету, что такое мир и что́ он потеряет. Дни до краев полнились покоем этого лета и стали нереальными, когда мы позднее уехали из Цюриха на юг Швейцарии, к озеру Лаго-Маджоре.

Семья слала Хелен письма, звонила по телефону. Она сообщила им только, что едет в Цюрих к своему врачу. При отлично поставленной в Швейцарии системе регистрации они без труда установили ее адрес. И теперь засыпали ее вопросами и упреками. Она еще могла вернуться. Нам предстояло принять решение.

Жили мы в одной гостинице, но не вместе. Состояли в браке, но паспорта были на разные фамилии, а поскольку главное — бумага, то фактически жить вместе мы не могли. Ситуация странная, однако она усиливала ощущение, что время для нас повернуло вспять. По одному закону мы были мужем и женой, по другому — нет. Новое окружение, долгая разлука, а в первую очередь Хелен, которая очень изменилась, с тех пор как попала сюда, — все это создавало атмосферу зыбкой нереальности и одновременно сияюще-обрывочной реальности, над которой витал последний редеющий туман грезы, уже канувшей в забвение. Тогда я еще не знал, отку-

да это взялось… воспринимал как нечаянный подарок, будто мне разрешено повторить часть никудышного бытия и преобразить его в наполненную жизнь. Из крота, который без паспорта прокапывался под границами, я стал птицей, не ведавшей границ.

Однажды утром, когда я пришел за Хелен, я застал у нее некоего господина Краузе, которого она представила как сотрудника германского консульства. Ко мне она обратилась по-французски и назвала мсье Ленуаром. Краузе понял ее неправильно и на скверном французском спросил, не сын ли я знаменитого художника.

Хелен рассмеялась. «Господин Ленуар — женевец, — объяснила она. — Но говорит и по-немецки. С Ренуаром его связывает лишь огромное восхищение».

«Вы любите импрессионистские картины?» — спросил меня Краузе.

«У него целая коллекция», — сказала Хелен.

«Несколько карандашных рисунков», — возразил я. Именовать наследство покойного Шварца коллекцией показалось мне одной из новых причуд Хелен. Но поскольку одна из ее причуд спасла меня от концлагеря, я подыграл ей.

«Вы знакомы с коллекцией Оскара Райнхарта в

Винтертуре?» — любезно осведомился Краузе.

Я кивнул: «У Райнхарта есть Ван Гог, за которого я бы месяц жизни отдал».

«Какой месяц?» — спросила Хелен.

«Какой Ван Гог?» — спросил Краузе.

«Сад дома для умалишенных».

Краузе усмехнулся: «Чудесная картина!»

Он повел речь о других полотнах, а когда заговорил о Лувре, я, вышколенный покойным Шварцем, мог вставить словечко. Теперь я понял и тактику Хелен; она не хотела, чтобы во мне распознали ее мужа или эмигранта. Германские консульства не брезговали доносами в полицию по делам иностранцев. Я чувствовал, что Краузе пытается выяснить, какое отношение я имею к Хелен. Она все поняла еще до того, как он начал задавать вопросы, и теперь придумала мне жену — Люсьен — и двоих детей, из которых старшая дочка изумительно играла на фортепиано.

Глаза Краузе быстро перебегали с нее на меня и обратно. Пользуясь разговором, он любезно предложил новую встречу — быть может, ленч в одном из рыбных ресторанчиков у озера… так редко встречаешь людей, которые вправду знают толк в живописи.

Я столь же любезно согласился — когда снова

буду в Швейцарии. То есть через месяц-полтора. Он удивился: думал, что я живу в Женеве. Я объяснил, что родом из Женевы, но живу в Бельфоре. Бельфор расположен во Франции, там ему не так-то просто навести справки. На прощание он не забыл задать последний вопрос: где же мы с Хелен познакомились, ведь с симпатичными людьми сталкиваешься так редко.

Хелен посмотрела на меня. «У врача, господин Краузе. Больные люди зачастую симпатичнее… — она коварно улыбнулась ему, — …здоровяков, у которых даже в мозгу не нервы, а мускулы».

На сей финал он ответил многозначительным взглядом:

«Понимаю, сударыня».

«Разве у вас Ренуар не относится к декадентам? — спросил я, чтобы не отставать от Хелен. — Ван Гог-то наверняка».

«Не для нас, не для знатоков», — отвечал Краузе, опять-таки с многозначительным взглядом, и выскользнул за дверь.

«Чего он хотел?» — спросил я у Хелен.

«Шпионил. Я хотела предупредить, чтобы ты не заходил, но уже не застала тебя в номере. Его послал мой брат. Как я все это ненавижу!»

Призрачная рука гестапо протянулась через

границу, напоминая нам, что мы еще не вполне сбежали. Краузе сказал Хелен, чтобы она при случае зашла в консульство. Ничего серьезного, просто надо проставить в паспорта новый штамп. Вроде как разрешение на выезд. Ликвидировать маленькое упущение.

«Он говорит, таково новое предписание», — пояснила Хелен.

«Ложь, — сказал я. — Иначе я бы знал. Эмигранты всегда сразу узнают подобные вещи. Если пойдешь, они могут изъять у тебя паспорт».

«И тогда я стану эмигранткой, как ты?»

«Да. Если не вернешься».

«Я останусь. И в консульство не пойду, и назад не вернусь».

Прежде мы никогда об этом не говорили. Она приняла решение. Я молчал. Только смотрел на Хелен, видел за нею небо, и деревья сада, и узкую, искристую полоску озера. На фоне яркого света ее лицо казалось темным. «Ты за это не в ответе, — нетерпеливо сказала она. — Ты меня не уговаривал и совершенно тут ни при чем. Даже если б тебя здесь не было, я бы туда больше не вернулась. Достаточно?»

«Да, — растерянно и слегка пристыженно сказал я. — Но я думал не об этом».

«Я знаю, Йозеф. Тогда давай не будем говорить об этом. Никогда больше не будем».

«Краузе придет снова, — сказал я. — Или кто-нибудь другой».

Хелен кивнула: «Они могут раскопать, кто ты, и начнут чинить тебе препятствия. Давай уедем на юг».

«В Италию нельзя. Гестапо слишком дружит с полицией Муссолини».

«А другого юга нет?»

«Есть. Швейцарский Тессин. Локарно и Лугано».

Под вечер мы уехали. И спустя пять часов сидели на *piazza*[15] в Асконе перед «Locanda Svizzera»[16], в мире, который отделяли от Цюриха не пять, а пятьдесят часов. Итальянский пейзаж, городок полон туристов, и каждый, казалось, думал лишь о том, чтобы поплавать, позагорать на солнце и спешно урвать от жизни все, что только возможно. Странное настроение владело Европой в те месяцы. Вы помните? — спросил Шварц.

— Да, — ответил я. — Все надеялись на чудо. На второй Мюнхен. И на третий. И так далее.

---

[15] notes: 15
Площадь (*ит.*).

[16] notes: 16
«Швейцарская гостиница» (*ит.*).

— Полусумрак надежды и отчаяния. Время затаило дыхание. Казалось, ничто другое уже не отбрасывало тени под прозрачной и нереальной тенью великой угрозы. Вместе с солнцем в сияющих небесах словно бы стояла огромная средневековая комета. Все расшаталось. И все было возможно.

— Когда же вы уехали во Францию? — спросил я.

Шварц кивнул.

— Вы правы. Все прочее было лишь краткосрочно. Франция — неугомонный приют бесприютных. Все дороги всегда ведут туда. Через неделю Хелен получила от господина Краузе письмо. Ей, мол, надлежит немедля явиться в консульство в Цюрихе или в Лугано. Это важно.

Пришла пора уезжать. Швейцария слишком мала и слишком хорошо организована. Нас везде отыщут. И меня с моим фальшивым паспортом могут в любое время проверить и выслать.

Мы поехали в Лугано, но не в германское, а во французское консульство, за визой. Я ожидал сложностей, но все прошло гладко. Нам дали годичную туристическую визу. Я рассчитывал максимум на трехмесячную.

«Когда поедем?» — спросил я у Хелен.

«Завтра».

В последний вечер мы поужинали в саду в «Albergo della posta»[17] в Ронко, деревне, подвешенной, точно ласточкино гнездо, на горах высоко над озером. Меж деревьями поблескивали фонарики со свечами, кошки крались по оградам, а с террас, расположенных ниже сада, веяло ароматом роз и дикого жасмина. Озеро с островами, где в римские времена, говорят, стоял храм Венеры, лежало недвижно, горы вокруг — кобальтово-синие на фоне светлого неба; мы ели спагетти и пиккату[18], запивая местным вином, «Нострано». Вечер выдался почти невыносимо сладостный и меланхоличный.

«Жаль, что надо уезжать, — сказала Хелен. — Я бы с удовольствием осталась здесь на все лето».

«Это ты скажешь еще не раз».

«Что может быть лучше, чем так говорить? Я часто говорила обратное».

«Что же?»

«Жаль, что я должна остаться».

Я взял ее руку. Хелен прекрасно загорела, солнцу понадобилось не более двух дней, а от этого ее

---

[17] notes: 17
«Почтовый постоялый двор» (*ит.*).

[18] notes: 18
Пикката — традиционное итальянское блюдо из курицы.

глаза казались светлее. «Я очень тебя люблю, — сказал я. — Люблю тебя, и этот миг, и это лето, которое не задержится, и этот пейзаж, и прощание, и впервые в жизни себя самого, потому что я, как зеркало, отражаю тебя и таким образом вижу вдвойне. Благословен будь этот вечер и этот час!»

«Благословенно будь все! Давай выпьем за это. И будь благословен ты, потому что наконец осмелился сказать нечто такое, из-за чего раньше покраснел бы».

«Я все еще краснею. Но внутренне и без стыда. Дай мне немного времени. Я должен привыкнуть. Даже гусенице надо привыкнуть, когда она после бытия в потемках выползает на свет и обнаруживает, что у нее есть крылья. Как счастливы здесь люди! Как дивно пахнет дикий жасмин! Официантка говорит, тут в лесах его полным-полно».

Мы допили вино и пошли прогуляться средь узких улочек по старой горной дороге, ведущей в Аскону. Кладбище Ронко, полное цветов и крестов, нависало над дорогой. Юг — искуситель, он стирает мысли и делает фантазию царицей. Средь пальм и олеандров ей не требуется особой помощи, не то что средь армейских сапог и казарм. Как огромное шумящее знамя, над нами

реяло небо, где каждую минуту высыпа́ло все больше звезд, словно было оно флагом некой расширяющейся вселенской Америки. Асконская *piazza* искрилась огнями кафе далеко по озеру, а из долин веяло прохладным ветерком.

Мы подошли к дому, который арендовали. Он стоял у озера и имел две спальни; здешней морали этого, по-видимому, было достаточно.

«Сколько нам осталось жить?» — спросила Хелен.

«Если будем осторожны, то год, а может, еще на полгода дольше».

«А если мы будем жить неосторожно?»

«Это лето».

«Давай будем жить неосторожно», — сказала она.

«Лето коротко».

«Да, — вдруг с жаром сказала она. — Лето коротко, и жизнь коротка, но что ее укорачивает? Знание, что она коротка. Кошки на улице знают, что жизнь коротка? Птица знает? Мотылек? Они считают ее вечной. Никто им не говорил! Почему же нам сказали?»

«На это есть много ответов».

«Дай один!»

Мы стояли в темной комнате. Двери и окна

были распахнуты. «Один таков: жизнь была бы невыносимой, будь она вечной».

«Ты имеешь в виду, скучной? Как жизнь Бога? Это неправда. Дай другой ответ!»

«В жизни больше бед, нежели счастья. И что она не длится вечно, на самом деле милосердно».

«Все это неправда, — помолчав, сказала Хелен. — Мы говорим так потому только, что знаем: нам не дано остаться, не дано ничего удержать, а в этом милосердия нет. Мы его придумываем. Изобретаем, чтобы надеяться».

«И все же верим в него, разве нет?» — спросил я.

«Я не верю!»

«В надежду?»

«Ни во что не верю. Для каждого настанет черед. — Она сердито швырнула одежду на кровать. — Для каждого. А том числе для арестанта с его надеждой, пусть даже однажды он увернется. Все равно в следующий раз настанет его черед».

«Так он на это и надеется. Лишь на это».

«Да. Это все, что мы можем! Вот так же обстоит в мире с войной. Мир надеется на другой раз. Но никто не в силах предотвратить ее».

«Войну все-таки можно предотвратить, — возразил я. — А смерть нет».

«Не смейся!» — выкрикнула она.

Я шагнул к ней. Она отпрянула, выбежала на улицу.

«Что с тобой, Хелен?» — удивленно спросил я. Снаружи было светлее, чем в комнате, и я увидел, что лицо у нее залито слезами. Она не ответила, и я расспрашивать не стал.

«Я напилась, — наконец сказала она. — Разве ты не видишь?»

«Нет».

«Выпила слишком много вина».

«Слишком мало. Вот еще бутылка».

Я поставил «Фьяско нострано» на каменный стол, стоявший на лужайке за домом, и пошел в дом за бокалами. Вернувшись, я увидел, что Хелен идет по лужайке к озеру. Я не сразу пошел за ней. Наполнил бокалы, в бледном отсвете неба и озера вино казалось черным. Потом я медленно зашагал по лужайке вниз, к пальмам и олеандрам на берегу. Меня вдруг охватила тревога за Хелен, и, увидев ее, я вздохнул с облегчением. Она стояла у воды в странно пассивной, склоненной позе, словно ждала — зова или чего-то, что возникнет перед нею. Я замер — не затем, чтобы наблюдать за нею, а чтобы не испугать ее. Немного погодя она вздохнула и выпрямилась. А потом шагнула

в воду.

Когда увидел, что она плывет, я сходил в дом, принес мохнатое полотенце и купальный халат. Потом сел на гранитную глыбу и стал ждать. Глядя на ее голову с высоко подколотыми волосами, совсем маленькую в водном просторе, я думал о том, что она — все мое достояние, и с удовольствием окликнул бы ее, позвал обратно. Но в то же время меня не оставляло ощущение, что ей нужно в одиночку выдержать схватку с чем-то мне неведомым и сейчас она именно этим и занята… вода была для нее судьбой, и вопросом, и ответом, и ей нужно вынести все в одиночку, как любому из нас, — та малость, какую может сделать другой, это просто быть рядом, чтобы дать хоть немного тепла.

Хелен заплыла далеко по дуге, потом повернула и по прямой поплыла обратно, ко мне. Такое счастье было видеть, как она приближается, темная головка на лиловом озере, а потом наконец тоненькая и светлая выходит из воды и быстро направляется ко мне.

«Холодно. И неуютно. Горничная говорит, на дне озера среди островов живет гигантский кракен».

«Самые большие рыбы в этом озере — старые

щуки, — сказал я, закутывая ее в полотенце. — Кракены тут не водятся. Они есть только в Германии, с тридцать третьего года. Но по ночам любой водоем неуютен».

«Если мы можем думать, что кракены существуют, то наверняка так и есть, — объявила Хелен. — Мы не умеем представлять себе несуществующее».

«Это было бы попросту доказательство бытия Бога».

«Ты не веришь?»

«Сегодня ночью я верю всему».

Она прижалась ко мне. Я выпустил из рук мокрое полотенце, протянул ей купальный халат. «Ты веришь, что мы живем несколько раз?» — спросила она.

«Да», — без колебаний ответил я.

Она вздохнула. «Слава богу! Я бы не смогла сейчас спорить еще и об этом. Я устала и замерзла. Как-то забываешь, что озеро горное».

Кроме вина, я прихватил на «Почтовом дворе» бутылку граппы, чистой водки из виноградных выжимок, наподобие французского марка. Пряная, крепкая, в самый раз для подобных мгновений. Я принес бутылку и налил Хелен большой бокал. Она медленно выпила. «Мне не хочется

уезжать отсюда», — сказала она.

«Завтра ты все забудешь, — возразил я. — Мы поедем в Париж. Ты никогда там не бывала. Это самый прекрасный город на свете».

«Самый прекрасный город на свете — тот, где ты счастлив. Это банальность?»

Я рассмеялся: «К черту осторожность в стилистике! Пусть у нас будет сколько угодно банальностей! Особенно таких. Хочешь еще граппы?»

Она кивнула, я принес бокал и себе. Мы сидели на лужайке за каменным столиком, пока Хелен не задремала. Я уложил ее в постель. Она уснула рядом со мной. В открытую дверь я смотрел на лужайку, которая мало-помалу налилась синевой, а затем серебром. Через час Хелен проснулась, пошла на кухню за водой. Вернулась она с письмом, которое доставили, пока мы были в Ронко. Должно быть, оно лежало у нее в комнате. «От Мартенса», — сказала она.

Прочитав письмо, она отложила его в сторону. «Он знает, что ты здесь?» — спросил я.

Она кивнула: «Он сообщил моей семье, что я снова поехала в Швейцарию на обследование по его совету и задержусь на несколько недель».

«Ты у него лечилась?»

«Иногда».

«От чего?»

«Да так, пустяки», — ответила она и сунула письмо в сумочку. Мне она не дала его прочитать.

«Откуда у тебя, собственно, этот шрам?» — спросил я.

Тонкая белая полоска тянулась по ее животу. Я еще раньше заметил ее, но на загорелой коже она проступила отчетливее.

«Небольшая операция. Ничего серьезного».

«Что за операция?»

«Из тех, о которых не говорят. У женщин иной раз бывает такое.

Она погасила свет. Шепнула: «Как хорошо, что ты приехал за мной. Я была уже на пределе. Люби меня! Люби и ни о чем не спрашивай. Ни о чем. Никогда».

X

— Счастье, — произнес Шварц. — Как оно съеживается в памяти! Словно дешевая ткань при стирке. В счет идет только беда. Мы приехали в Париж, сняли комнаты в маленькой гостинице на левом берегу Сены, на набережной Гран-Огюстен. Гостиница была без лифта, ступеньки лестниц от старости прогнулись и искривились,

комнаты крошечные, но с видом на Сену, на лавки букинистов на набережной, на Консьержери и Нотр-Дам. У нас были паспорта. До сентября тридцать девятого мы оставались людьми.

До сентября мы оставались людьми, и не имело значения, подлинные у нас паспорта или нет. Но приобрело значение, когда началась холодная война. «На что ты здесь жил? — спросила у меня Хелен в июле, через несколько дней по приезде. — Тебе разрешалось работать?»

«Конечно, нет. Мне ведь и существовать не разрешалось. Как в таком случае получишь разрешение на работу?»

«И на что же ты жил?»

«Не помню уже, — ответил я совершенно правдиво. — Кем я только не работал. Всегда недолго. Во Франции не за всем следят в оба, нередко есть возможность чем-нибудь заняться нелегально, особенно если работаешь за гроши. Я загружал и разгружал ящики на Центральном рынке, был официантом, торговал носками, галстуками и рубашками, давал уроки немецкого, иногда получал кое-что от Комитета беженцев, продавал свои вещи, какие еще имел, шоферил, писал мелкие заметки для швейцарских газет».

«А снова стать редактором не мог?»

«Нет. Для этого нужно разрешение на жительство и на работу. Последний раз я надписывал адреса. Потом появился Шварц, а с ним моя апокрифическая жизнь».

«Почему апокрифическая?»

«Фальшивая, тайная, под защитой покойника и чужого имени».

«На твоем месте я бы называла ее иначе», — сказала Хелен.

«Можно называть ее как угодно. Двойная жизнь, заемная, вторая. Скорее уж вторая. Я так чувствую. Мы как потерпевшие крушение, утратившие память. Им не о чем жалеть — ведь память всегда еще и сожаление, что пришлось проиграть времени то хорошее, что имел, а плохое оставить неисправленным».

Хелен засмеялась: «Кто же мы теперь? Обманщики, покойники или духи?»

«Легально мы туристы. Нам разрешено находиться здесь, но работать нельзя».

«Ладно, — сказала она. — Тогда давай не будем работать. Давай отправимся на остров Сен-Луи, посидим на лавочке на солнышке, а потом пойдем в «Кафе де ла Франс» и пообедаем на воздухе. Хорошая программа?»

«Очень хорошая», — согласился я, на том и по-

решили. Я не стал искать случайного заработка. Мы были вместе с раннего утра до раннего утра и много недель не разлучались.

Мимо с шумом летело время, с экстренными выпусками газет, тревожными новостями и чрезвычайными заседаниями, но внутренне оно нас не затрагивало. Мы жили не в нем. Его не было. А что же тогда было? Вечность! Когда чувство заполняет все, для времени больше нет места. Ты на других берегах, по ту его сторону. Или вы не верите?

На лице Шварца вновь появилось напряженное, отчаянное выражение, какое я уже видел раньше.

— Или вы не верите? — спросил он.

Я устал и против воли начал терять терпение. Слушать о счастье неинтересно, о фокусах Шварца с вечностью — тоже.

— Не знаю, — бездумно обронил я. — Быть может, вправду счастье или вечность, когда там умираешь; время тогда более не может приложить календарный масштаб и должно это принять. Но когда продолжаешь жить, поневоле приходится принять, что и это тоже, хочешь не хочешь, опять-таки становится частью времени и преходящности.

— Оно не должно умирать! — вдруг с жаром воскликнул Шварц. — Оно должно остаться, как мраморное изваяние! Не как замок из песка, толику которого всякий день уносит прочь! Что же происходит с умершими, которых мы любим? Что с ними происходит, сударь? Разве их не умерщвляют всегда снова и снова? Где они, если не в нашей памяти? И не становимся ли мы все убийцами, сами того не желая? Я что же, должен отдать под нож времени это лицо, которое знаю один только я? Знаю, оно наверняка распадется во мне и станет подделкой, если я не выну его из себя, не выставлю наружу, чтобы ложь моего продолжающего жить мозга не оплела его, как плющ, и не разрушила, ведь иначе в конце концов останется один этот плющ и оно станет перегноем, питающим трутня-время! Это я знаю! Потому и должен спасти его даже от меня самого, от гложущего, эгоистичного стремления жить дальше, которое хочет забыть его и уничтожить! Неужели вам непонятно?

— Понятно, господин Шварц, — осторожно ответил я. — Вы ведь потому и говорите со мной… чтобы спасти его от вас самого…

Я досадовал, что прежде ответил так небрежно. Этот человек логическим и поэтическим образом

был безумец, донкихот, желающий сразиться с ветряными мельницами времени… а я слишком уважал боль, чтобы стремиться выяснить, почему и как далеко он мог в этом зайти.

— Если мне все удастся… — сказал Шварц и осекся. — Если удастся, тогда я ему не опасен. В это вы верите?

— Да, господин Шварц. Наша память не ларец из слоновой кости в пыленепроницаемом музее. Это зверь, который живет, жрет, переваривает. Она пожирает сама себя, как сказочный феникс, чтобы мы могли жить дальше, чтобы она нас не уничтожила. Вы хотите этому помешать.

— Да! — Шварц благодарно посмотрел на меня. — Вы говорили, что только со смертью память каменеет. Я умру.

— Я наговорил чепухи, — устало возразил я. Терпеть не могу такие разговоры. Я знал слишком много невротиков, эмиграция рождала их, как лужайка грибы после дождя.

— Но кончать самоубийством я не стану. — Шварц неожиданно улыбнулся, будто угадал мои мысли. — Жизни сейчас слишком нужны для других целей. Я умру только как Йозеф Шварц. Утром, когда мы попрощаемся, его уже не станет.

Меня пронзила некая мысль и одновременно

безумная надежда.

— Что вы собираетесь сделать? — спросил я.

— Исчезнуть.

— Как Йозеф Шварц?

— Да.

— Как имя?

— Как всё, чем был во мне Йозеф Шварц. И как то, чем я был прежде.

— И что вы думаете сделать со своим паспортом?

— Мне он больше не нужен.

— У вас есть другой?

Шварц покачал головой:

— Мне вообще больше не нужен паспорт.

— В нем есть американская виза?

— Да.

— Не продадите его мне? — спросил я, хотя денег у меня не было.

Шварц покачал головой.

— Почему нет?

— Продать не могу, — сказал он. — Я сам получил его в подарок. Но могу подарить вам. Утром. Вам он пригодится?

— Господи! — У меня перехватило дыхание. — Пригодится! Он меня спасет! В моем паспорте нет американской визы и вряд ли я смог бы получить

ее раньше завтрашнего вечера.

Шварц меланхолично улыбнулся:

— Как все повторяется! Вы напоминаете мне о времени, когда я сидел в комнате умирающего Шварца и думал только о паспорте, который снова сделает меня человеком. Хорошо, я отдам вам свой паспорт. Вам нужно лишь переклеить фотографию. Возраст примерно тот же.

— Тридцать пять, — сказал я.

— Станете на год старше. У вас найдется человек, который умеет работать с паспортами?

— Я знаю тут одного, — ответил я. — Фотографию заменить несложно.

Шварц кивнул:

— Легче, чем сменить личность. — Некоторое время он смотрел в пространство перед собой. — Не странно ли, если вы теперь тоже полюбите картины? Как покойный Шварц… а потом я?

Против воли я слегка похолодел.

— Паспорт — всего лишь бумага, — сказал я. — Никакой магии.

— Нет? — спросил Шварц.

— Есть немного, — ответил я. — Но не так. Как долго вы пробыли в Париже?

Я так разволновался из-за Шварцева обещания отдать мне паспорт, что не услышал, что́ он ска-

зал. Думал только о том, как бы получить визу и для Рут. Может, сумею выдать ее в консульстве за свою сестру. Едва ли от этого будет толк, ведь американские консульства очень въедливы, но без попытки не обойтись, если не случится второго чуда. И тут я вдруг услышал, как Шварц сказал:

— Он вдруг возник на пороге нашей парижской комнаты. Полтора месяца потратил, но разыскал нас. На сей раз не мобилизовал сотрудника германского консульства, явился сам и стоял перед нами в маленьком гостиничном номере с репродукциями амурных рисунков восемнадцатого века на стене, Георг Юргенс, обер-штурмбаннфюрер, брат Хелен, большой, широкий, две сотни фунтов весу и втрое больший германец, чем в Оснабрюке, хоть сейчас и в штатском. Стоял и смотрел на нас.

«Стало быть, сплошное вранье, — сказал он. — Я так и думал: что-то здесь чертовски нечисто!»

«А что вас удивляет? — отозвался я. — Куда вы ни явитесь, всюду нечисто. Вонь и грязища! Из-за вашего появления».

Хелен рассмеялась.

«Прекрати смеяться!» — рявкнул Георг.

«А вы не орите! — сказал я. — Или вас отсюда вышвырнут!»

«Почему бы вам самому не попробовать?»

Я покачал головой: «По-прежнему изображаете героя, когда опасности нет? Вы фунтов на сорок тяжелее меня. Ни один арбитр не позволил бы нам боксировать друг с другом. Что вам здесь нужно?»

«Вас, изменника родины, это не касается. Выйдите вон! Я хочу поговорить с сестрой!»

«Останься! — сказала мне Хелен. Она пылала гневом. Медленно встала, взяла в руки мраморную пепельницу. — Еще одна подобная фраза, и эта штуковина полетит тебе в физиономию, — очень спокойно сказала она Георгу. — Ты не в Германии».

«К сожалению, пока нет! Но погодите, скоро здесь будет Германия!»

«Здесь никогда не будет Германии, — сказала Хелен. — Возможно, вы, солдатня, на время захватите этот город, но он останется Францией. Ты явился спорить об этом?»

«Я приехал забрать тебя домой. Неужели ты не понимаешь, что с тобой случится, если война застанет тебя здесь?»

«Ничего особенного не случится».

«Тебя посадят в тюрьму».

Я увидел, что на миг Хелен растерялась.

«Возможно, нас посадят в лагерь, — сказал я. — Но это будет лагерь для интернированных, а не концентрационный, как в Германии».

«Много вы знаете!» — выкрикнул Георг.

«Достаточно, — сказал я. — Я побывал в одном из ваших… при вашем содействии».

«Вы, червяк, были в воспитательном лагере, — презрительно бросил Георг. — Но бесполезно. Как только вас выпустили, вы дезертировали».

«Завидую вашему лексикону, — сказал я. — Если кто-то от вас убегает, вы сразу объявляете его дезертиром».

«А как иначе? У вас был приказ не покидать Германию!»

Я отмахнулся. У меня было достаточно подобных разговоров с Георгом, еще до того, как он получил власть засадить меня за это в лагерь.

«Георг всегда был идиотом, — сказала Хелен. — Мускулистый слабак. Ему, как толстухе корсет, необходимо бронированное мировоззрение, ведь иначе он расползется. Не спорь с ним. Он бесится, оттого что слаб».

«Прекрати! — сказал Георг более мирным тоном, чем я ожидал. — Собери вещи, Хелен. Положение серьезное. Сегодня вечером мы уезжаем».

«Насколько серьезно положение?»

«Будет война. Иначе бы я не приехал».

«Все равно бы приехал, — сказала Хелен. — Как два года назад в Швейцарию, когда я не хотела возвращаться. Тебе некстати, что сестра столь преданного партийца не желает жить в Германии. Тогда ты сумел меня вернуть. Сейчас я останусь здесь и не хочу больше говорить об этом».

Георг неотрывно смотрел на нее. «Из-за этого жалкого негодяя? Он опять тебя уболтал?»

Хелен рассмеялась: «Негодяй… как давно я не слыхала этого слова. У вас и правда допотопный лексикон! Нет, этот негодяй, мой муж, меня не убалтывал. Мало того, даже делал все, чтобы отослать меня назад. По более серьезным причинам, нежели ты!»

«Я хочу поговорить с тобой наедине», — сказал Георг.

«Толку не будет».

«Мы же брат и сестра».

«Я замужем».

«Это не кровные узы, — возразил Георг. — Ты даже сесть мне не предложила, — добавил он вдруг с ребячливой обидой. — Проделываешь долгий путь из Оснабрюка и так и стоишь на

пороге».

Хелен опять рассмеялась: «Это не моя комната. За нее платит муж».

«Садитесь, обер-штурмбаннфюрер и прихвостень Гитлера, — сказал я. — И поскорее уходите отсюда».

Георг злобно посмотрел на меня и плюхнулся на ветхий диван. «Я хочу поговорить с сестрой наедине, неужели непонятно?»

«Вы позволяли мне поговорить с нею наедине, когда арестовали?» — в свою очередь спросил я.

«Это совсем другое дело», — буркнул Георг.

«Для Георга и его партийцев всегда другое дело, когда они делают то же, что и другие, — саркастически заметила Хелен. — Когда сажают в тюрьму или убивают людей, думающих иначе, чем они, они тем самым защищают свободу Германии; когда отправили тебя в концлагерь, они защищали поруганную честь своего отечества… не так ли, Георг?»

«Именно так!»

«Вдобавок он всегда прав, — продолжала Хелен. — Никогда не сомневается и не испытывает угрызений совести. И всегда стоит на правильной стороне, на стороне власти. Он такой же, как его фюрер, — самый миролюбивый человек на

свете, если только другие поступают так, как *он* считает правильным. Спокойствие нарушают всегда другие. Верно, Георг?»

«Мы-то тут при чем?»

«Ни при чем, — сказала Хелен. — И при всем. Неужели ты не понимаешь, как ты здесь смешон, ты, столп несговорчивости в этом терпимом городе? Даже в штатском ты все еще в сапогах, чтобы растаптывать других. Но здесь у тебя нет власти, пока что нет! Здесь ты не можешь записать меня в свой воняющий потом, колченогий партийный «Фрауэншафт»! Здесь ты не можешь следить за мной, как за пленницей! Здесь я могу дышать и хочу дышать!»

«У тебя немецкий паспорт! Будет война. Тебя посадят за решетку».

«Пока нет! И лучше уж здесь, чем у вас! Вам ведь тоже придется засадить меня за решетку! Я же не стану ходить как немая, вновь вдохнув здесь сладкий воздух свободы и сбежав от вас, от ваших казарм, инкубаториев и бесконечной шумихи!»

Я встал. Не хотел, чтобы она раскрывала себя перед этим неотесанным нацистом, который никогда ее не понимал. «Это он виноват! — выкрикнул Георг. — Космополит окаянный! Он тебя испортил! Погоди, парень, мы еще с тобой

поквитаемся!»

Он тоже встал. Ему бы ничего не стоило сбить меня с ног. Он был значительно сильнее, а моя правая рука плохо двигалась в локте после национального воспитания в концлагере. «Не трогай его!» — очень тихо сказала Хелен.

«Ты должна защищать этого труса? — спросил Георг. — Он сам не в состоянии?»

Шварц повернулся ко мне:

— Странное дело с этим физическим превосходством. Ведь ничего примитивнее просто быть не может, и ничего общего с мужеством и мужественностью оно не имеет. Револьвер в руках калеки может его уничтожить. Это ведь всего лишь фунты и мускулы, и только… но тем не менее, столкнувшись с их жестокостью, испытываешь унижение. Каждому известно, что подлинное мужество начинается не здесь и что вызывающе наглая гора мускулов может самым жалким образом спасовать… и все же мы ищем неловкие объяснения и ненужные оправдания и ужасно себя чувствуем, не желая, чтобы нас избили до смерти. Разве не так?

— Бессмысленно, но оттого особенно обидно, — кивнул я.

— Я бы отбился, — сказал Шварц. — Конечно

же, отбился!

Я поднял руку.

— Господин Шварц, зачем? Мне объяснений не требуется.

Он слабо улыбнулся:

— Верно. Видите, насколько глубоко это сидит, раз я даже сейчас пытаюсь объяснять? Как рыболовный крючок в плоти. Когда же кончается мужское тщеславие?

— Что случилось дальше? — спросил я. — До драки дошло?

— Нет. Хелен неожиданно расхохоталась. «Ты посмотри на этого дурня! — сказала она мне. — Он воображает, что, если поколотит тебя, я так разочаруюсь в твоей мужественности, что покорно вернусь с ним в страну однобокого кулачного права. — Она повернулась к Георгу. — Ты, с твоей болтовней о мужестве и трусости! Вот у него… — она указала на меня, — мужества куда больше, чем ты способен себе представить! Он приехал за мной. Ради меня вернулся и увез меня с собой».

«Что? — Георг вылупил на меня глаза. — В Германию?»

Хелен опомнилась. «Какая разница. Я здесь и никуда отсюда не поеду».

«Вернулся? За тобой? — переспросил Георг. —

Кто ему помогал?»

«Никто, — ответила Хелен. — У тебя небось руки чешутся по-быстрому арестовать кого-нибудь?»

Никогда я не видел ее такой. Она была настолько переполнена сопротивлением, отвращением, ненавистью и жарким триумфом спасения, что вся дрожала. Меня обуревали сходные чувства, но неожиданно ослепительной молнией мелькнула и иная мысль — о мести. Здесь Георг не имел власти! Не мог свистнуть своему гестапо. Был один.

Эта мысль повергла меня в такое смятение, что я не знал, что мне сейчас делать. Драться я не мог и не хотел, но очень хотел истребить эту тварь передо мною. Навсегда стереть с лица земли. Чтобы истребить воплощение зла, приговора не требуется, — вот так для меня обстояло с Георгом. Уничтожить его — не просто месть, но еще и спасение десятков неведомых будущих жертв. Не задумываясь, я шагнул к двери. Удивился, что меня не шатает. Надо побыть одному. Надо подумать. Хелен пристально смотрела на меня. Не говоря ни слова. Георг смерил меня презрительным взглядом и опять сел. «Наконец-то!» — буркнул он, когда дверь за мной закрылась.

Я спускался по лестнице. Пахло обедом, рыбой. На площадке стоял итальянский сундук. Сколько

раз я проходил мимо него, не замечая. Теперь же внимательно присмотрелся к резьбе, словно вздумал купить его. Как лунатик, пошел дальше. На третьем этаже одна из дверей была открыта. Комната покрашена в светло-зеленый, окна распахнуты, горничная переворачивала матрас. Странно, чего только не видишь, полагая, что от волнения не видишь ничего!

Я постучал к знакомому, жившему на втором этаже. Звали его Фишер, и как-то раз он показывал мне револьвер, которым обзавелся, чтобы мало-мальски примириться со своим существованием. Оружие дарило ему иллюзию, будто он добровольно ведет скудную и унылую жизнь эмигранта, поскольку может когда угодно ее оборвать.

Фишера я не застал, но комнату он не запер. Ему было нечего скрывать. Я вошел, хотел подождать его. Вообще-то сам толком не знал, что мне вправду нужно, хотя и понимал, что должен позаимствовать у него револьвер.

Убивать Георга в гостинице бессмысленно, это ясно; я бы навлек опасность на Хелен, на себя и на других здешних эмигрантов. Я сел на стул, попробовал успокоиться. Безуспешно. Сидел и смотрел в пространство перед собой.

Как вдруг запела канарейка. В проволочной клетке между окнами. Раньше я ее не замечал и потому испугался, будто меня кто ударил. И сразу после этого вошла Хелен.

«Что ты здесь делаешь?» — спросила она.

«Ничего. Где Георг?»

«Ушел».

Я не знал, как долго пробыл в комнате Фишера. Мне казалось, совсем недолго. «Он вернется?» — спросил я.

«Не знаю. Он упрямый. Почему ты ушел? Чтобы оставить нас одних?»

«Нет, — ответил я. — Не поэтому, Хелен. Мне просто вдруг стало невмоготу видеть его».

Она стояла в дверях, смотрела на меня: «Ты меня ненавидишь?»

«Я? Тебя? — Я был изумлен до глубины души. — Почему?»

«Я вдруг подумала, когда Георг ушел. Если б ты не женился на мне, с тобой ничего бы не случилось».

«Все равно бы случилось. Возможно, и кое-что похуже. Не исключено, что Георг на свой лад отнесся ко мне даже мягче, из-за тебя. Меня не погнали на электрическую колючую проволоку, не подвесили на мясницкий крюк… Ненавидеть

тебя! Как тебе такое в голову пришло!»

Внезапно я опять увидел за фишеровскими окнами зеленое лето. Номер выходил на задний двор, где рос огромный каштан, сквозь листву которого светило солнце. Спазм в затылке отпустил, как похмелье под вечер. Я вновь стал самим собой. Знал, какой сегодня день недели, и что на улице лето, и что я в Париже, и что людей не стреляют как зайцев. «Я бы скорее подумал, что ты меня возненавидишь, — сказал я. — Или запрезираешь».

«Я?»

«Да. Потому что я не могу держать твоего брата от нас подальше. Потому что я…»

Я замолчал. Недавние минуты вдруг показались страшно далекими. «Что мы здесь делаем? — сказал я. — В этой комнате?»

Мы поднялись вверх по лестнице. «Все, что говорил Георг, чистая правда, — сказал я. — Ты должна знать! Когда начнется война, мы станем гражданами враждебного государства, ты даже больше, чем я».

Хелен открыла окна и дверь. «Пахнет солдатскими сапожищами и террором, — сказала она. — Впустим сюда август! Оставим окна нараспашку и уйдем. Кажется, пора обедать?»

«Да. И пора уезжать из Парижа».

«Почему?»

«Георг попытается донести на меня».

«До этого он не додумается. Он не знает, что ты живешь под чужим именем».

«Додумается. И придет снова».

«Вероятно. Я выставлю его за дверь. Пойдем на улицу».

Мы пошли в ресторанчик за Дворцом юстиции и пообедали за уличным столиком. Заказали pâté maison, boeuf à la mode[19], салат и камамбер. Запивали игристым «Вувре», а потом угощались кофе. Я помню все подробности, даже хлеб с хрустящей золотистой корочкой и оббитые кофейные чашки; в тот полдень я был совершенно без сил от глубокой, безымянной благодарности. Мне казалось, я выбрался из темной грязной канализации, куда даже заглянуть теперь робел, потому что, сам того не сознавая, был частью этой грязи. Я уберегся, сидел за столиком, покрытым красно-белой клетчатой скатертью, и чувствовал себя очищенным и спасенным, солнце бросало сквозь вино желтые отблески, воробьи галдели над кучей конского навоза, сытая хозяйская

---

[19] notes: 19
Домашний пирог, говядина особая (*фр.*).

кошка равнодушно наблюдала за ними, легкий ветерок гулял по тихой площади, и жизнь опять была такой прекрасной, какой бывает лишь в наших мечтах.

Позднее мы шли окруженные медовым солнечным парижским днем и остановились у витрины дамской портнихи. Мы уже не раз здесь останавливались. «Тебе нужно новое платье», — сказал я.

«Сейчас? — спросила Хелен. — Когда вот-вот грянет война? Не слишком ли сумасбродно?»

«Именно сейчас. И именно потому, что сумасбродно».

Она поцеловала меня: «Ну хорошо!»

Я спокойно сидел в кресле у входа в заднюю комнату, где происходила примерка. Портниха подносила платья, и вскоре Хелен так увлеклась, что почти забыла обо мне. Я слышал голоса обеих женщин, видел, как мимо стеклянного оконца в двери мелькают платья, а порой обнаженная загорелая спина Хелен, и мною овладела мягкая усталость, в которой было что-то от безболезненного умирания, но умирания неосознанного.

Я понимал, с легким стыдом, почему мне захотелось купить платье. То был бунт против нынешнего дня, против Георга, против моей бес-

помощности — очередная ребячливая попытка еще более ребячливого оправдания.

Очнулся я, когда передо мной вдруг выросла Хелен в платье с широченной пестрой юбкой и черным, коротким, облегающим лифом. «То, что надо! — заявил я. — Берем».

«Это очень дорого», — сказала Хелен.

Портниха уверяла, что фасон разработан крупным модным домом — очаровательная ложь, — но в итоге мы договорились и сразу же забрали платье. Приятно купить что-то, что тебе не по карману, подумал я. Связанное с этим легкомыслие изгнало последнюю тень Георга. Хелен была в этом платье вечером и ночью, когда мы еще раз встали и, сидя на подоконнике, глядели на город в лунном свете и не могли наглядеться, скупились на сон, зная, что все это продлится уже недолго.

XI

— Что остается? — сказал Шварц. — Уже сейчас все съеживается, как рубашка, из которой выполоскали весь крахмал. Перспективы времени больше нет, картина стала плоской, освещенной переменчивыми огнями. Да и не картина больше — текучее воспоминание, из которого всплывают

разрозненные образы — гостиничное окно, обнаженное плечо, произнесенные шепотом слова, призрачно живущие дальше, свет над зелеными крышами, ночной запах воды, луна на сером камне собора, беззаветное лицо, потом оно же, но другое, в Провансе и в Пиренеях, потом застывшее, последнее, которого ты никогда не знал и которое вдруг норовит вытеснить остальные, будто все прежнее было лишь заблуждением.

Шварц поднял голову. На лице его вновь возникло выражение муки, в которое он пытался силком втиснуть улыбку.

— Оно уже только здесь, — сказал он, показывая на свою голову. — И даже здесь под угрозой, как платье в шкафу, полном моли. Потому я вам и рассказываю. Впредь вы будете хранить его, и у вас оно вне опасности. Ваша память не попытается, как моя, стереть его, чтобы спасти вас. У меня оно в плохих руках, уже сейчас последнее застывшее лицо, точно раковая опухоль, расползается поверх других, более ранних… — Его голос стал громче: — А ведь другие существовали, *они* были нами, а не это незнакомое, страшное, последнее…

— Вы еще задержались в Париже? — спросил я.

— Георг приходил снова, — сказал Шварц. —

Пытался разжалобить, угрожал. Явился в мое отсутствие. Я увидел его, только когда он вышел из гостиницы. Остановился передо мной, очень тихо сказал: «Мерзавец! Ты губишь мою сестру! Но погоди! Скоро мы до тебя доберемся! Через неделю-другую вы оба будете в наших руках! А тогда, мальчик мой, я лично тобой займусь! На коленях будешь передо мной ползать и умолять покончить с тобой… если у тебя еще останется голос!»

«Могу себе представить», — ответил я.

«Ничего ты не можешь себе представить! Иначе убрался бы куда подальше. Даю тебе еще один шанс. Если через три дня сестра вернется в Оснабрюк, я кое-что забуду. Через три дня! Понял?»

«Вас понять несложно».

«Да? Тогда запомни: моя сестра должна вернуться! Ты же все знаешь, мерзавец! Или станешь утверждать, будто не знаешь, что она больна? Даже не пытайся!»

Я неотрывно смотрел на него. Не знал, придумал ли он это сейчас или Хелен именно это рассказала ему, чтобы уехать в Швейцарию. «Нет, — сказал я. — Я не знаю!»

«Не знаешь? Ишь ты! Неприятно, а? Ей надо к врачу, лгун! Немедля! Напиши Мартенсу и спроси

его. Он-то знает!»

Я видел, как две темные фигуры средь бела дня вошли в открытое парадное. «Через три дня, — прошипел Георг. — Или ты выблюешь свою проклятую душу по кусочкам! Скоро я опять буду здесь! В форме!»

Он протиснулся между мужчинами, стоявшими теперь в вестибюле, и вышел вон. Те двое, обойдя меня, стали подниматься вверх по лестнице. Я зашагал следом. Хелен стояла в комнате у окна. «Ты встретил его?» — спросила она.

«Да. Он сказал, ты больна и должна вернуться!»

Она покачала головой. «Чего он только не напридумывает!»

«Ты больна?» — спросил я.

«Чепуха! Я все это выдумала, чтобы уехать».

«Он сказал, Мартенс тоже об этом знает».

Хелен засмеялась: «Конечно, знает. Разве ты не помнишь? Он же писал мне в Аскону. Мы с ним обо всем договорились».

«Значит, ты не больна, Хелен?»

«Я выгляжу больной?»

«Нет, но это ничего не значит. Ты не больна?»

«Нет, — нетерпеливо ответила она. — Больше Георг ничего не говорил?»

«Как обычно. Угрожал. Чего он хотел от тебя?»

«Того же. Не думаю, что он явится еще раз».

«Зачем он вообще приходил?»

Хелен улыбнулась. Странной улыбкой. «Он думает, я его собственность. И должна делать, как он хочет. Он всегда был таким. Еще в детстве. Братья часто бывают такими. Думает, что действует в интересах семьи. Ненавижу его».

«Поэтому?»

«Ненавижу. Этого достаточно. Так я ему и сказала. Но война будет. Он знает».

Мы замолчали. Шум автомобилей на набережной Гран-Огюстен, казалось, стал громче. За Консьержери в ясное небо вонзался шпиль Сент-Шапель. Доносились крики газетчиков. Они перекрывали рев моторов, как крики чаек шум моря.

«Я не смогу защитить тебя», — сказал я.

«Знаю».

«Тебя интернируют».

«А тебя?»

Я пожал плечами. «Вероятно, и меня тоже. Возможно, нас разлучат».

Она кивнула.

«Французские тюрьмы не санатории».

«Немецкие тоже».

«В Германии тебя не посадят».

Хелен мгновенно встрепенулась. «Я останусь здесь! Ты исполнил свой долг, предупредил меня. Не думай об этом больше. Я остаюсь. И ты тут ни при чем. Назад я не поеду».

Я смотрел на нее.

«К черту безопасность! — сказала она. — И к черту осторожность! Я долго ими пользовалась».

Я обнял ее за плечи. «Так только говорить легко, Хелен…»

Она оттолкнула меня и неожиданно выкрикнула: «Тогда уходи! Уходи, тогда ты ни за что не отвечаешь! Оставь меня одну! Уходи! Я и одна справлюсь! — Она смотрела на меня так, будто я Георг. — Не будь наседкой! Много ли ты знаешь? Не души меня своей заботой, страхом и ответственностью! Я уехала не ради тебя. Пойми, наконец! Не ради тебя! Ради себя самой!»

«Я понимаю».

Она снова подошла ко мне, тихо проговорила: «Ты должен поверить. Даже если с виду все иначе! Я хотела уехать! Твой приезд был случайностью. Пойми, наконец! Безопасность не всегда самое главное».

«Это правда, — ответил я. — Но к ней стремишься, если любишь кого-то. Для другого».

«Безопасности не существует. Не существует, — повторила она. — Молчи. Я знаю! Лучше, чем ты! Я все это обдумала. Господи, как же долго я все это обдумывала! И не будем больше говорить об этом, любимый! За окном вечер, он ждет нас. Их в Париже у нас осталось не так много».

«А ты не можешь уехать в Швейцарию, раз не хочешь возвращаться?»

«Георг утверждает, что нацисты в два счета займут Швейцарию, как Бельгию в первой войне».

«Георг знает не все».

«Давай еще побудем здесь. Может, он вообще врал. Откуда ему так точно известно, что́ будет? Ведь один раз уже казалось, что война неизбежна. А потом случился Мюнхен. Почему бы не случиться второму Мюнхену?»

Я не знал, верила ли она тому, что говорила, или просто хотела отвлечь меня. Человек так легковерен, когда любит; вот и я был таким в тот вечер. Как Франция может вступить в войну? Она не готова. Наверняка уступит. С какой стати ей воевать за Польшу? За Чехословакию-то она воевать не стала.

Через десять дней границы закрыли. Началась война.

— Вас сразу же арестовали, господин Шварц? —

спросил я.

— Нам дали неделю. Покидать город было запрещено. Странная ирония: пять лет меня выдворяли, а теперь вдруг решили не выпускать. А где были вы?

— В Париже, — ответил я.

— Вас тоже держали на Велодроме?

— Конечно.

— Я не припоминаю вашего лица.

— На Велодроме были толпы эмигрантов, господин Шварц.

— Вы помните последние дни перед войной, когда Париж затемнили?

— О да! Казалось, затемнили весь мир.

— Разрешены были только маленькие синие лампочки, — сказал Шварц. — Ночами они горели на углах, словно освещенные плошки туберкулезников. Город стал не просто темным, он заболел в этой холодной синей тьме, в которой было зябко, хотя стояло лето. В те дни я продал один из рисунков, унаследованных от покойного Шварца. Хотел, чтобы у нас было побольше наличных. Время для продажи неудачное. Торговец, к которому я пошел, предложил очень мало. Я отказался, забрал рисунок. И в конце концов продал богатому эмигранту-киношнику, который

считал, что вещи надежнее денег. Последний рисунок я оставил на хранение у хозяина гостиницы. Потом, под вечер, за мной явилась полиция. Двое. Сказали, чтобы я попрощался с Хелен. Она стояла передо мной, бледная, с блестящими глазами. «Это невозможно», — сказала она.

«Нет, возможно, — возразил я. — Позднее они придут и за тобой. Паспорта лучше не выбрасывать, а сохранить. Тебе тоже».

«В самом деле, так лучше», — сказал один из полицейских на хорошем немецком.

«Спасибо, — поблагодарил я. — Мы можем попрощаться наедине?»

Полицейский взглянул на дверь.

«Если бы я хотел сбежать, то давным-давно бы мог это сделать», — сказал я.

Он кивнул. Мы с Хелен пошли в ее комнату. «Когда все происходит на самом деле, то совершенно не так, как когда раньше рассуждал об этом, верно?» — сказал я и обнял ее.

Она высвободилась. «Как с тобой связаться?»

Мы говорили обычные вещи. Адресов у нас было два: гостиница и один француз. Полицейский постучал в дверь. Я открыл. «Возьмите с собой одеяло, — сказал он. — Все только на один-два дня. Но на всякий случай возьмите одеяло и

немного еды».

«У меня нет одеяла».

«Я тебе принесу, — сказала Хелен. Она быстро запаковала съестное. — Только на один-два дня?» — спросила она.

«Максимум, — сказал полицейский. — Установление личности и все такое. C'est la guerre, Madame»[20].

Эти слова мы слышали еще не раз.

Шварц достал из кармана сигару, раскурил.

— Вы и сами знаете — ожидание в полицейском участке, приезд других эмигрантов, пойманных, будто они опасные нацисты, поездка в зарешеченных автомобилях в префектуру и бесконечное ожидание в префектуре. Вы и в Salle Lepine[21] тоже были?

Я кивнул. Salle Lepine — это просторное помещение в префектуре, где полицейским обычно демонстрировали учебные фильмы. Там было несколько сотен стульев и киноэкран.

— Я провел там два дня, — сказал я. — На ночь нас отводили в большой угольный подвал, где стояли лавки для сна. Утром мы выглядели как

---

[20] notes: 20
Война, мадам (*фр.*).

[21] notes: 21
Зал Лепина (*фр.*).

трубочисты.

— Мы весь день сидели на стульях, — сказал Шварц. — Грязные. Вскоре все и правда выглядели как преступники, каковыми нас и считали. Георг запоздало и нечаянно отомстил, наш адрес он узнал тогда в префектуре. Кто-то провел для него разыскания. Георг не скрывал своей партийной принадлежности, и из-за этого меня как нацистского шпиона теперь по четыре раза в день допрашивали о моих дружеских связях с Георгом и с Национал-социалистской партией. Поначалу я смеялся, слишком это было абсурдно. Но потом заметил, что и абсурдное может стать опасным. Доказательством тому существование партии в Германии… теперь же, казалось, и Франция, страна рассудка, под совокупным напором бюрократии и войны уже не была от этого застрахована. Георг, сам о том не подозревая, заложил бомбу с часовым механизмом; считаться в войну шпионом — это не шутка.

Каждый день доставляли новые группы запуганных людей. С объявления войны на фронте пока никого не убили — la drôle de guerre[22], как назвали это время острословы, — но надо всем

[22] notes: 22
Странная война (*фр.*).

уже нависала мрачная атмосфера сниженного уважения к жизни и индивидуальности, какие война, словно чуму, приносит с собой. Люди уже не были людьми, их классифицировали по военным критериям как солдат, пригодных к службе, непригодных к службе и врагов.

На третий день я сидел в Salle Lepine совершенно без сил. Часть наших товарищей по несчастью увели. Остальные шепотом переговаривались, спали, ели; наше существование уже свелось к минимуму. Это не мешало; по сравнению с немецким концлагерем обстановка вполне комфортабельная. Мы получали разве что пинки да тычки, когда недостаточно быстро выходили из строя; власть есть власть, а полицейский в любой стране на свете есть полицейский.

От допросов я очень устал. На возвышении под экраном сидели в ряд, одетые в форму, расставив ноги, вооруженные, наши охранники. Полутемный зал, грязный, пустой экран, и мы внизу — безнадежный символ жизни, где ты всего лишь пленник или охранник и где разве что от тебя самого зависело, какой фильм увидишь на пустом экране — учебный, комедию или трагедию. Ведь в итоге снова и снова оставались только пустой экран, голодное сердце и тупая власть, которая

действовала так, будто была вечной и воплощала право, тогда как все экраны давным-давно опустели. Так будет всегда, думал я, ничего не изменится, и когда-нибудь ты исчезнешь, а никто и не заметит. Вам тоже знакомы такие минуты… когда гаснет надежда.

Я кивнул:

— Час тихих самоубийств. Уже не защищаешься и почти случайно и бездумно делаешь последний шаг.

— Дверь открылась, — продолжал Шварц, — и вместе с желтым светом из коридора появилась Хелен. С корзиной, несколькими одеялами и леопардовой шубкой на руке. Я узнал ее по манере держать голову и по походке. На миг она остановилась, потом, вглядываясь, стала обходить ряды. Прошла совсем близко от меня и не увидела. Почти как тогда, в оснабрюкском соборе. «Хелен!» — окликнул я.

Она обернулась. Я встал. Она взглянула на меня, со злостью спросила: «Что они с вами сделали?»

«Ничего особенного. Мы ночуем в угольном подвале, потому так и выглядим. Ты-то как сюда попала?»

«Меня арестовали, — чуть ли не с гордостью сказала она. — Как и тебя. И гораздо раньше

остальных женщин. Я надеялась найти тебя здесь».

«Почему тебя арестовали?»

«А тебя почему?»

«Меня считают шпионом».

«Меня тоже. Причина — мой действительный паспорт».

«Откуда ты знаешь?»

«Меня сразу же допросили и сообщили об этом. Я не настоящая эмигрантка. Эмигрантки пока что на свободе. Маленький господинчик с напомаженными волосами, пахнущий эскарго[23], просветил меня. Он и тебя тоже допрашивает?»

«Не знаю. Здесь все пахнет эскарго. Слава богу, ты принесла одеяла».

«Захватила, что могла. — Хелен открыла корзинку. Звякнули две бутылки. — Коньяк, — сказала она. — Не вино. Я постаралась прихватить самое необходимое. Вас тут кормят?»

«Кое-как. Можно послать за бутербродами».

Хелен наклонилась ближе, посмотрела на меня. «Вы тут все как сборище негров. Умыться здесь нельзя?»

«До сих пор не разрешали. Не от злости. По

---

[23] notes: 23
Традиционное французское блюдо из улиток.

халатности».

Она достала коньяк: «Уже откупорен. Последняя любезность хозяина гостиницы. Он полагал, что штопора здесь не найти. Пей!»

Я отпил большой глоток и отдал ей бутылку.

«У меня даже стакан есть, — сказала она. — Не будем отказываться от цивилизации, пока возможно».

Она налила стакан, выпила. «Ты пахнешь летом и свободой, — сказал я. — Как там, снаружи?»

«Как в мирное время. Кафе полнехоньки. Небо синее. — Она посмотрела на ряд полицейских на возвышении и засмеялась. — Прямо как в тире. Словно можно стрелять по этим фигурам наверху, а когда они упадут, получить в качестве приза бутылку вина или пепельницу».

«У этих фигур есть оружие».

Хелен достала из корзинки пирог. «От хозяина, — сказала она. — С множеством приветов и словами: «La guerre, merde!»[24] Пирог с птицей. Я прихватила также вилки и нож. Еще раз: да здравствует цивилизация!»

Я вдруг развеселился. Хелен была здесь, ничего не потеряно. Война покуда не началась, и, быть

---

[24] notes: 24
Война, черт бы ее побрал! (*фр.*)

может, нас и правда отпустят.

Следующим вечером мы узнали, что нас разлучат. Меня отправят в сборный лагерь в Коломбе, Хелен — в тюрьму «Ла птит рокет». Даже если поверят, что мы женаты, толку не будет. Супружеские пары тоже разлучали.

Ночь мы просидели в подвале. Сердобольный охранник разрешил. Кто-то принес несколько свечей. Часть арестантов уже увезли, нас осталось человек сто. В том числе испанские эмигранты. Их тоже арестовали. Рвение, с каким в антифашистской стране хватали антифашистов, было не лишено иронии; впору подумать, будто мы в Германии.

«Зачем они нас разлучают?» — спросила Хелен.

«Не знаю. По глупости, не по жестокости».

«Находись мужчины и женщины в одном лагере, только и знай ревновали бы да скандалили, — назидательно заметил маленький старый испанец. — Потому вас и разлучают. C'est la guerre!»

Хелен в своей леопардовой шубке спала рядом со мной. В подвале было несколько удобных мягких лавок, но их освободили для четырех-пяти старушек, которых на эту ночь тоже устроили тут.

Одна из них предложила Хелен поспать на лавке с трех до пяти утра, Хелен отказалась. «Позднее у меня будет достаточно времени, чтобы спать в одиночестве», — сказала она.

Странная выдалась ночь. Голоса мало-помалу стихли. Плач старушек умолк, только изредка, проснувшись, они снова рыдали, а затем снова кутались в сон, как в черную душную шерсть. Свечи одна за другой погасли. Хелен спала у меня на плече. Во сне она обняла меня, а просыпаясь, нашептывала мне то слова ребенка, то слова возлюбленной, — слова, каких днем не говорят, а в обычной жизни даже ночью говорят редко; то были слова беды и прощания, слова тела, которое не хочет разлуки, слова кожи, крови и жалобы, древнейшей жалобы на свете: что нельзя остаться вместе, что один всегда должен уйти первым и что смерть каждую секунду теребит нашу руку, чтобы мы не останавливались, а мы-то устали и хотя бы на часок мечтали предаться иллюзии вечности. Потом она потихоньку соскользнула мне на колени. Я держал в ладонях ее голову и при свете последней свечи смотрел, как она дышит. Слышал, как мужчины вставали и шли за угольные кучи осторожно помочиться. Слабый огонек трепетал, и огромные тени метались вокруг,

словно мы находились в призрачных джунглях и Хелен была беглым леопардом, которого колдуны искали с помощью своих заклинаний. Но вот и последний огонек погас, осталась лишь душная, храпящая тьма. Руками я чувствовал дыхание Хелен. Один раз она проснулась с коротким резким вскриком. «Я здесь, — прошептал я. — Не бойся. Все по-старому».

Она снова легла, поцеловала мои руки, пробормотала: «Да, ты здесь. Ты должен всегда быть рядом».

«Я всегда буду рядом, — прошептал я в ответ. — И даже если нас ненадолго разлучат, я непременно тебя найду».

«Ты придешь?» — пробормотала она, уже сквозь сон.

«Всегда буду приходить. Всегда! Где бы ты ни была, я тебя найду. Как нашел последний раз».

«Хорошо», — вздохнула она, повернув лицо так, что оно лежало в моих ладонях будто в чаше. Я сидел без сна. Время от времени чувствовал ее губы на своих пальцах, а однажды мне показалось, я ощутил слезы, но ничего не сказал. Я очень любил ее и думал, что никогда, даже обладая ею, не любил ее больше, чем в эту грязную ночь с ее храпом и странным шипящим звуком, какой производит

на угле моча. Я сидел очень тихо, и мое «я» было стерто любовью. Потом настало утро, бледное, раннее, серое, эта серость поглощает все краски, делает зримым скелет под кожей, и мне вдруг почудилось, что Хелен умирает и я должен разбудить ее и удержать. Она проснулась, открыла один глаз и спросила: «Как думаешь, мы сможем организовать горячий кофе и круассаны?»

«Попробую подкупить кого-нибудь из охраны», — сказал я, совершенно счастливый.

Хелен открыла второй глаз, посмотрела на меня.

«Что случилось? — спросила она. — У тебя такой вид, будто мы выиграли большой куш. Нас что, отпускают?»

«Нет, — ответил я. — Просто я отпустил себя на свободу». Она сонно повертела головой в моих ладонях.

«А ты не можешь хоть ненадолго оставить себя в покое?»

«Могу. И даже обязан. Боюсь, даже надолго. У меня не будет возможности самому принимать решения. В некотором смысле это опять-таки утешает».

«Все утешает. — Хелен зевнула. — Пока мы живы, все утешает, неужели ты еще не понял?

Думаешь, нас расстреляют как шпионов?»

«Нет. Посадят за решетку».

«А эмигрантов, которых не считают шпионами, тоже посадят?»

«Да. Кого найдут, всех посадят. Мужчин уже забрали».

Хелен приподнялась. «В чем же тогда разница?»

«Может, остальным будет легче выйти на свободу».

«Это пока неизвестно. Может, с нами станут лучше обращаться, как раз потому, что считают нас шпионами».

«Чепуха, Хелен».

Она покачала головой: «Нет, не чепуха. Это опыт. Разве ты еще не понял, что в нашем столетии невиновность — преступление, которое карается наиболее сурово? Тебе надо угодить за решетку в двух странах, чтобы это уразуметь? Эх ты, мечтатель о справедливости! Коньяк еще есть?»

«Коньяк и пирог».

«Давай то и другое, — сказала Хелен. — Необычный завтрак, но боюсь, впереди у нас еще больше приключений».

«Хорошо, что ты так это воспринимаешь», —

сказал я, наливая ей коньяк.

«Это единственный способ восприятия. Или ты намерен умереть от ожесточения и цирроза печени? Если отключить идею справедливости, не так уж трудно рассматривать все как приключение, ты не находишь?»

Чудесный аромат старого коньяка и доброго пирога окружал Хелен как привет золотого бытия. Она ела с огромным наслаждением. «Вот не знал, что для тебя все это окажется так просто», — сказал я.

«Не беспокойся за меня. — Она поискала в корзинке белый хлеб. — Я справлюсь. Женщинам справедливость не так важна, как вам».

«А что вам важно?»

«Вот это. — Она показала на хлеб, бутылку и пирог. — Ешь, любимый! Как-нибудь пробьемся. Через десять лет это станет большим приключением, и вечерами мы будем часто рассказывать о нем гостям, так что им надоест слушать. Лопай, человек с фальшивым именем! То, что съедим сейчас, не придется потом тащить с собой».

— Не хочу рассказывать вам все подробности, — сказал Шварц. — Вы же знаете путь эмигрантов. На стадионе Коломб я провел лишь несколько дней. Хелен попала в «Птит рокет». В послед-

ний день на стадион пришел хозяин нашей гостиницы. Я видел его только издалека, нам не разрешалось разговаривать с посетителями. Хозяин оставил маленький пирог и большую бутылку коньяка. В пироге я нашел записку: «Мадам здорова и в хорошем настроении. Не в опасности. Ожидает транспортировки в женский лагерь, который строят в Пиренеях. Письма через гостиницу. Мадам formidable!»[25] Там же я нашел крошечную записочку от Хелен: «Не беспокойся. Опасности больше нет. Это по-прежнему приключение. До скорого. С любовью».

Она сумела пробить нерадивую блокаду. Я не мог себе представить как. Позднее она рассказала, что заявила, будто ей надо привезти недостающие документы. Ее послали с полицейским в гостиницу. Она сунула хозяину записку и шепнула ему, как передать ее мне. Полицейский относился к любви с пониманием и закрыл на это глаза. Никаких документов она не привезла, зато привезла духи, коньяк и корзинку съестного. Она любила поесть. Как ей удавалось сохранить при этом стройную фигуру, навсегда осталось для меня загадкой. Когда мы еще были на сво-

[25] notes: 25
Великолепна (*фр.*).

боде, я, проснувшись и не найдя ее рядом, мог не раздумывая идти туда, где мы хранили свои припасы: она сидела в лунном свете и с самозабвенной улыбкой грызла ветчинную косточку или уминала вечерний десерт, который приберегла. Запивая все это вином из бутылки. Как кошка, которой по ночам особенно хочется есть. Она рассказывала, что, когда ее арестовали, она уговорила полицейского дождаться, пока хозяин гостиницы допечет пирог, который как раз стоял в духовке. Ее любимый пирог, она хотела взять его с собой. Полицейский поворчал, но сдался, когда она просто наотрез отказалась уходить. Флики[26] предпочитали не тащить людей в полицейскую машину силком. Хелен не забыла даже прихватить пачку бумажных салфеток.

На следующий день нас отправили в Пиренеи. Началась унылая и волнительная одиссея страха, комизма, бегства, бюрократизма, отчаяния и любви.

XII

— Может статься, когда-нибудь наше время назовут временем иронии, — сказал Шварц. — Ра-

---

[26] notes: 26
Флик — бытовое прозвище французских полицейских.

зумеется, не остроумной иронии восемнадцатого столетия, а недобровольной и, во всяком случае, злой или глупой иронии нашей неуклюжей эпохи прогресса в технике и регресса в культуре. Гитлер не только кричит об этом на весь свет, он еще и верит, что является апостолом мира и что войну ему навязали другие. Вместе с ним этому верят пятьдесят миллионов немцев. А что они одни много лет кряду вооружались, тогда как никакая другая нация к войне не готовилась, ничего в их позиции не меняет. Поэтому неудивительно, что мы, избежавшие немецких лагерей, теперь угодили во французские. Тут даже возразить особо нечего — у нации, которая сражается за свою жизнь, есть дела поважнее, чем обеспечивать каждому эмигранту полную справедливость. Нас не пытали, не травили газом и не расстреливали, только посадили за решетку, — чего еще мы могли требовать?

— Когда вы снова встретились с женой? — спросил я.

— Много времени спустя. Вы были в Ле-Верне?

— Нет, но знаю, что это один из худших французских лагерей.

Шварц иронически усмехнулся.

— Это как посмотреть. Вы знаете историю о

раках, которых бросили в котел с холодной водой, чтобы сварить? Когда вода нагрелась до пятидесяти градусов, они закричали, что это невыносимо, и запричитали, жалея о прекрасном времени, когда ее температура была всего сорок градусов; когда жар достиг шестидесяти градусов, они закричали, как хорошо было при пятидесяти, потом, при семидесяти, — как хорошо было при шестидесяти, и так далее. Ле-Верне был в тысячу раз лучше самого лучшего немецкого концлагеря, точно так же, как концлагерь без газовой камеры лучше того, где она есть, — вот так можно приложить притчу о раках к нашему времени.

Я кивнул:

— Что же с вами произошло?

— Скоро захолодало. У нас, понятно, не хватало одеял и не было угля. Обычная халатность, но, когда мерзнешь, беду выносить труднее. Не хочу утомлять вас описанием зимы в лагере. Ирония тут более чем уместна. Признай мы с Хелен себя нацистами, нам было бы лучше, мы бы попали в особые лагеря. Пока мы голодали, мерзли, страдали от поноса, я видел в газетах фотографии интернированных немецких пленных, которые не были эмигрантами; они имели ножи и вилки, столы и стулья, кровати, одеяла, даже соб-

ственную столовую. Газеты гордились тем, как порядочно французы обращались с врагами. С нами церемониться не стоило, мы были неопасны.

Я привык. Отключил идею справедливости, как посоветовала Хелен. Вечер за вечером после работы сидел в своей части барака. Мне выдали немного соломы, отвели участок метр в ширину на два в длину, и я упорно старался рассматривать это время как переходный период, не имеющий касательства к моему «я». Происходили разные события, и я должен был реагировать на них как изворотливый зверь. Несчастье может убить точно так же, как дизентерия, а справедливость — роскошь, уместная в спокойные времена.

— Вы действительно в это верили? — спросил я.

— Нет, — ответил Шварц. — Приходилось ежечасно вдалбливать себе это заново. Небольшая несправедливость, которую труднее всего от себя скрыть. Не большая. Приходилось снова и снова преодолевать будничные мелочи вроде уменьшенной порции хлеба, более тяжелой работы, чтобы, злясь на них, не потерять из виду большую.

— Стало быть, вы жили как изворотливый зверь?

— Так я жил, пока не пришло первое письмо от Хелен, — сказал Шварц. — Оно пришло спустя два месяца через хозяина нашей парижской гостиницы. Мне показалось, будто в душной темной комнате распахнули окно. Жизнь, правда, по другую его сторону, но снова здесь. Письма приходили нерегулярно, иногда неделями не было ни одного. Странно, как они меняли и подтверждали образ Хелен. Она писала, что у нее все хорошо, что ее наконец-то определили в лагерь и она там работает, сперва на кухне, потом в столовой. Дважды она сумела переправить мне посылку с продуктами — как и какими уловками и подкупом, я не знаю. Одновременно из писем стало смотреть на меня другое лицо. В какой мере виной тому ее отсутствие, мои собственные желания и обманчивое воображение, я не знаю. Вам ведь известно, как все вырастает почти до нереальных размеров, когда сидишь в плену и не имеешь ничего, кроме нескольких писем. Нечаянная фраза, не значащая ничего, если написана в других обстоятельствах, может стать молнией, разрушающей твое существование, и точно так же какая-нибудь другая может неделями дарить тепло, хотя столь же нечаянна, как и первая. Месяцами размышляешь о вещах, о которых дру-

гой, заклеивая письмо, уже успел забыть. В один прекрасный день пришла и фотография; Хелен стояла возле своего барака с какой-то женщиной и с мужчиной. Она написала, что это французы из лагерного руководства.

Шварц поднял голову.

— Как я изучал лицо этого мужчины! Позаимствовал лупу у часовщика. Не понимал, почему Хелен прислала это фото. Сама она, вероятно, вообще ни о чем не задумывалась. Или все-таки? Не знаю. Вам такое знакомо?

— Такое знакомо каждому, — ответил я. — Психоз пленника — случай не единичный.

Хозяин кафе подошел со счетом. Мы были последними посетителями.

— Мы можем посидеть где-нибудь еще? — спросил Шварц.

Хозяин назвал такое место.

— Там и женщины есть, — добавил он. — Красивые, упитанные. Недорого.

— А другого ничего нет?

— Ничего другого в эту пору я не знаю. — Он надел пиджак. — Если хотите, я провожу вас. Освободился уже. Тамошние женщины — народ хитрый. Я мог бы проследить, чтоб вас не обманули.

— А без женщин там можно посидеть?

— Без женщин? — Хозяин недоуменно посмотрел на нас. Затем по его лицу быстро скользнула ухмылка. — Без женщин, понятно! Конечно, господа, конечно. Но там только женщины.

Он проводил нас взглядом, когда мы вышли на улицу. Уже наступило прекрасное, очень раннее утро. Солнце пока не взошло, но запах соли усилился. Кошки шныряли по улицам, из некоторых окон веяло запахом кофе, смешанным с запахом сна. Фонари погасли. Поодаль, несколькими переулками дальше, громыхала незримая повозка, рыбацкие лодки, словно желтые и красные кувшинки, цвели на беспокойной Тежу, а внизу, бледный и тихий сейчас, без искусственного освещения, стоял корабль, ковчег, последняя надежда, и мы спустились еще ближе к нему.

Бордель оказался довольно-таки унылым заведением. Несколько неопрятных толстух играли в карты и курили. После вялой попытки привлечь к себе внимание они оставили нас в покое. Я посмотрел на часы. Шварц заметил.

— Уже недолго, — сказал он. — А консульства открываются не раньше девяти.

Это я знал не хуже его. Но он не знал, что слушать и рассказывать не одно и то же.

— Год кажется бесконечным, — сказал Шварц. — А потом вдруг нет. В январе, когда нас посылали на работы вне лагеря, я попытался бежать. Через два дня печально знаменитый лейтенант К. нашел меня, угостил по лицу плеткой и на три недели засадил в одиночку на хлеб и воду. При второй попытке меня схватили сразу. Тогда я прекратил попытки, все равно было почти невозможно продержаться без продуктовых карточек и документов. Любой жандарм мог тебя сцапать. А до лагеря Хелен путь долгий.

Все изменилось, когда в мае действительно началась война и через месяц закончилась. Мы находились в неоккупированной зоне, но шли разговоры, что лагерь будет под контролем армейской комиссии или даже гестапо. Вам знакома паника, которая тут вспыхнула?

— Да, — сказал я. — Паника, самоубийства, петиции насчет того, чтобы нас выпустили заранее, и халатность бюрократов, которая зачастую становилась почти неодолимым препятствием. Не всегда. Комендантам иных лагерей хватало ума под собственную ответственность выпустить эмигрантов на волю. Правда, многих затем все равно хватали в Марселе или на границе.

— В Марселе! Тогда мы с Хелен уже запаслись

ядом, — сказал Шварц. — В маленьких капсулах. Они дарили фаталистический покой. Их продал мне лагерный аптекарь. Две капсулы. Не знаю, что именно это было, но я ему поверил, что, если их проглотить, умрешь быстро и почти безболезненно. По его словам, яда хватит на двоих. А продал он их мне из боязни, что примет их сам, под утро, в час отчаяния, перед рассветом.

Нас построили шеренгой, как голубей для расстрела. Поражение случилось слишком неожиданно. Никто не ожидал его так скоро. Мы пока не знали, что Англия не станет заключать мир. Видели только, что все пропало… — Шварц устало шевельнул рукой, — …да и теперь еще не знаем, не все ли потеряно. Нас оттеснили на побережье. Впереди только море.

Море, подумал я. И корабли, которые еще пересекают его.

В дверях возник хозяин последнего кафе, где мы ужинали. Он насмешливо нам отсалютовал, почти по-военному. Потом что-то шепнул толстым шлюхам. Одна из них, с могучим бюстом, подошла к нам.

— Как вы это делаете? — спросила она.

— Что?

— Наверняка ведь ужас как больно.

— Что? — рассеянно спросил Шварц.

— Матросская любовь в открытом море! — крикнул патрон от двери, чуть не выплюнув от смеха все свои зубы.

— Этот вот наивный умник вас обманул, — сказал я шлюхе, от которой разило здоровым запахом оливкового масла, чеснока, лука, пота и жизни. — Мы не гомосексуалисты. Оба воевали в Абиссинии, и аборигены нас кастрировали.

— Вы итальянцы?

— Бывшие, — ответил я. — Кастраты уже не имеют национальности. Они космополиты.

Она призадумалась, потом серьезно сказала:

— Tu es comique[27], — и, покачивая огромным задом, вернулась к двери, где патрон тотчас принялся ее лапать.

— Странная штука — безнадежность, — сказал Шварц. — До чего крепко в нас сидит то, что даже более не называет себя «я», всего лишь хочет жить, всего лишь цепляется за существование, за простое существование! Порой тогда попадаешь в такое место, какое, по рассказам моряков, есть у тайфуна, — в полный штиль, в око ураганного вихря. Оставляешь всякую надежду…

---

[27] notes: 27
Ты смешной (*фр.*).

становишься похож на жука, притворившегося мертвым… но ты не мертв. Просто отказываешься от всех усилий, кроме одного — выжить, только выжить. Являешь собой настороженную, сосредоточенную, предельную пассивность. Безрассудно растрачивать уже нечего. Штиль… меж тем как тайфун беснуется вокруг, словно круглая стена. Страх вдруг исчезает, отчаяние тоже… ведь и они — роскошь, теперь непозволительная. Усилие, какого они бы потребовали, пришлось бы черпать из сущности выживания и ослаблять ее… вот почему оно исключается. Ты только лишь зрение и расслабленная, совершенно пассивная готовность. Странная, спокойная ясность нисходит на тебя. В те дни у меня порой возникало ощущение, что я очень похож на индийского йога, который тоже отбрасывает все связанное с сознательным «я», чтобы… — Шварц осекся.

— Искать Бога? — спросил я с полунасмешкой.

Шварц покачал головой:

— Найти Бога. Его ищут всегда. Но так, будто хочешь поплыть, а в воду прыгаешь в одежде, в доспехах и с багажом. Надо быть нагим. Как той ночью, когда я покидал безопасную чужбину, чтобы вернуться на опасную родину, и переплыл Рейн как реку судьбы, узкую, освещенную луной

полоску жизни.

В лагере я порой вспоминал о той ночи. Мысль о ней не ослабляла меня, наоборот, придавала сил. Я сделал то, чего потребовала жизнь, не потерпел неудачи, получил вторую, нежданную жизнь с Хелен… а легкое отчаяние, порой призрачно блуждавшее в моих снах, возникало лишь оттого, что было все остальное: Париж, Хелен и непостижимое ощущение, что ты не один. Хелен где-то жила, быть может с другим мужчиной, но жила. Это очень-очень много во времена вроде наших, когда человек ничтожнее муравья под сапогом!

Шварц умолк.

— Вы нашли Бога? — спросил я. Вопрос грубый, но он вдруг показался мне настолько важным, что я все-таки задал его.

— Лицо в зеркале, — ответил Шварц.

— Чье лицо?

— Всегда одно и то же. Разве вы знаете собственное? Лицо, с каким вы родились?

Я изумленно глянул на него. Однажды он уже прибегал к этому выражению.

— Лицо в зеркале, — повторил он. — И лицо, которое смотрит вам через плечо, и за ним другое… а потом вы вдруг становитесь зеркалом с его бесконечными повторами. Нет, я его не нашел.

Да и что бы мы с ним делали, если б нашли? Для этого надо перестать быть людьми. Искать — это совсем другое.

Он улыбнулся.

— Но тогда у меня даже не осталось на это ни времени, ни сил. Я слишком опустился. Думал только о том, что любил. Жил этим. О Боге больше не думал. О справедливости тоже. Круг замкнулся. Та же ситуация, что и на реке. Она повторилась. И опять дело было лишь во мне. Когда возникает такое состояние, ты сам почти ничего сделать не можешь. Да это и не нужно, размышления только собьют с толку. Все происходит само собой. Из смехотворной человеческой изолированности возвращаешься в анонимный закон истории, и нужно лишь быть готовым идти, когда незримая рука легонько толкнет тебя в плечо. Нужно лишь подчиниться; пока не задаешь вопросов, ты защищен. Вероятно, вы думаете, я несу мистическую чепуху.

Я покачал головой:

— Мне тоже это знакомо. Так бывает и в мгновения большой опасности. Я знал людей, которые пережили это на войне. Внезапно, без причины и без колебаний, они покидали блиндаж, который минутой позже становился братской могилой.

Они не знали почему, ведь по законам рассудка блиндаж в сто раз безопаснее незащищенного участка траншеи, куда они выходили.

— Я совершил невозможное, — сказал Шварц. — Причем будто самое естественное на свете. Собрал вещички и однажды утром вышел из лагеря на проселок. Отказался от обычной попытки бежать ночью. В ярком свете раннего утра подошел к большим воротам, сказал часовым, что меня отпустили, слазил в карман, дал обоим немного денег и велел выпить за мое здоровье. У них и в мыслях не было, чтобы узник настолько обнаглел и, наплевав на запрет, на глазах у всех покинул лагерь, — эти крестьянские парни в мундирах от удивления даже не подумали спросить у меня справку об освобождении.

Я медленно шагал по белой дороге. Не бежал, хотя через двадцать шагов лагерные ворота за спиной словно обернулись челюстью дракона, который крался следом и норовил сцапать меня. Я спокойно спрятал паспорт покойного Шварца, которым небрежно помахал перед часовыми, и пошел дальше. Пахло розмарином и тимьяном. Запах свободы.

Немного погодя я сделал вид, что завязываю шнурок. Нагнулся и глянул назад. Дорога была

безлюдна. Я ускорил шаги.

У меня не было ни одной из многочисленных бумаг, необходимых в ту пору. Я сносно изъяснялся по-французски и положился на то, что меня, возможно, примут за француза, говорящего на диалекте. Ведь вся страна тогда еще кочевала. В городах было полно беженцев из оккупированных областей, дороги кишмя кишели беглыми солдатами, всевозможными повозками и тачками с постелями и домашней утварью.

Я добрался до маленького трактира с несколькими столиками на лужайке, с огородом и плодовым садом. Трактирный зал был выложен плиткой и пах разлитым вином, свежим хлебом и кофе.

Меня обслуживала босоногая девушка. Расстелила скатерть, принесла кофейник, чашку, тарелку, мед и хлеб. Ни с чем не сравнимая роскошь, я с Парижа ничего такого в глаза не видал.

Снаружи, за пыльной живой изгородью, тащился мимо вдребезги разбитый мир, — здесь же, в тени деревьев, уцелел трепетный клочок мирной жизни, с жужжанием пчел и золотым светом позднего лета. Мне казалось, я мог напиться им про запас, как верблюд водой для перехода через пустыню. Закрыл глаза, чувствовал и пил свет.

XIII

— У вокзала стоял жандарм. Я повернул обратно. Хоть и не думал, что мое исчезновение уже заметили, решил до поры до времени держаться подальше от железной дороги. Как ни мало мы значим, пока сидим в лагере, сбежав, мы разом становимся огромной ценностью. Пока мы там, для нас жалеют куска хлеба, однако не жалеют ничего, чтобы снова нас поймать, целые роты бросают на розыски.

Часть пути я проехал на грузовике. Шофер ругал войну, немцев, французское правительство, американское правительство и Господа Бога, но, прежде чем высадить, поделился со мной обедом. Целый час я шел по проселку пешком, пока не добрался до следующей железнодорожной станции. Давно усвоив, что, если не хочешь вызвать подозрений, прятаться не стоит, я спросил билет первого класса до ближайшего города. Кассир медлил. Я ждал, что он потребует документы, и напустился на него первым. Он растерялся, потерял уверенность и выдал мне билет. Я пошел в кафе и стал ждать поезда, который действительно пришел, правда с часовым опозданием.

За три дня мне удалось добраться до лагеря

Хелен. На жандарма, который хотел было меня задержать, я наорал по-немецки, сунув ему под нос шварцевский паспорт. Он испуганно отпрянул и обрадовался, когда я оставил его в покое. Австрия относилась к Германии, и австрийский паспорт уже действовал как визитная карточка гестапо. Удивительно, на что только не был способен документ покойного Шварца. На куда большее, чем человек, — всего-навсего бумага с печатным текстом!

Чтобы подойти к лагерю Хелен, требовалось взобраться на гору, через дрок, вереск, розмарин и лес. Я очутился там во второй половине дня. Лагерь окружало проволочное ограждение, но выглядел он не таким мрачным, как Ле-Верне, вероятно, потому, что был женским. Почти поголовно все женщины были в пестрых платках, повязанных наподобие тюрбанов, и в пестрых платьях — вид чуть ли не беззаботный. Я заметил еще с опушки леса.

И вот это вдруг меня обескуражило. Я ожидал крайнего уныния, в которое ворвусь, как этакий Дон Кихот и святой Георгий; а теперь я здесь вроде и не нужен. Лагерь казался самодостаточным. Если Хелен здесь, она давным-давно меня забыла.

Я остался в укрытии, хотел прикинуть, как поступить. В сумерках к забору подошла какая-то женщина. За ней потянулись другие. Скоро их стало много. Стояли они молча, почти не переговариваясь. Невидящими глазами смотрели сквозь колючую проволоку. Того, что им хотелось увидеть, здесь не было — свободы. Небо наливалось лиловостью, из долины ползли тени, тут и там виднелись замаскированные фонари. Женщины превратились в тени, утратили краски и даже телесность. Бледные бесформенные лица беспорядочной цепочкой парили над плоскими черными силуэтами за проволокой; одна за другой они ушли. Час отчаяния миновал. Позднее я слышал, что в лагере его именно так и называли.

Только одна женщина по-прежнему стояла у забора. Я осторожно приблизился. «Не пугайтесь», — сказал я по-французски.

«Пугаться? — помолчав, переспросила она. — Чего?»

«Я хотел бы кое о чем вас попросить».

«Нечего тебе тут просить, мразь, — ответила она. — Неужто в ваших чугунных мозгах больше никаких мыслишек нету?»

Я воззрился на нее:

«Вы о чем?»

«Не прикидывайся дураком! Пошел к черту! Чтоб ты лопнул от своей окаянной похоти! У вас что, баб в деревне нет? Вечно тут ошиваетесь, кобели поганые!»

Я сообразил, о чем она. «Вы ошибаетесь, — сказал я. — Мне надо поговорить с одной женщиной из лагеря».

«Всем вам надо! Почему с одной? Почему не с двумя? Или не со всеми?»

«Послушайте! — сказал я. — Здесь находится моя жена. Мне надо поговорить с женой!»

«Да ну? — женщина расхохоталась. Она вроде бы даже не сердилась, только устала. — Новая хитрость! Каждую неделю новые выдумки!»

«Я здесь впервые!»

«Больно ты бойкий для этого. Пошел к черту!»

«Да послушайте же, — сказал я по-немецки. — Я прошу вас передать одной женщине в лагере, что я здесь. Я немец. Сам сидел! В Ле-Верне!»

«Гляньте на него, — спокойно произнесла женщина. — Он и по-немецки шпарит. Эльзасец хренов! Чтоб тебя сифилис сожрал, мерзавец! Тебя и твоих окаянных корешей, которые торчат тут по вечерам. Чтоб каждому из вас рак сожрал то, что вы нам тут суете! Неужто все чувства растеряли, подонки паршивые? Не понимаете, что

делаете? Оставьте нас в покое! В покое! — громко и резко бросила она. — Мало вам, что засадили нас в лагерь? Оставьте нас в покое!» — выкрикнула она.

Я услыхал, что подходят другие, и поспешил назад. Ночь провел в лесу. Не зная, куда податься. Лежал среди стволов, видел, как угас свет, а потом над ландшафтом взошел месяц, бледный, словно белое золото, уже с туманом, мглой и прохладой осени. Утром я спустился вниз. Нашел человека, у которого выменял свой костюм на синий комбинезон монтера.

Вернулся к лагерю. Часовым я объяснил, что мне надо проверить электропроводку. По-французски я говорил вполне хорошо, поэтому меня впустили, особо не расспрашивая. Ну кто добровольно сунется в лагерь для интернированных?

Я осторожно обходил лагерные улицы. Женщины жили вроде как в больших коробках, отделенных друг от друга занавесками. В каждом бараке — верхний и нижний этаж. Посередине проход, по обе стороны занавески. Многие были отдернуты, и можно было видеть, как обустроены отсеки. В большинстве — лишь самое необходимое, но в иных благодаря скатерке, нескольким открыткам, какой-нибудь фотографии сквозила

персональная нотка, пусть и до крайности скудная. Я шел по сумрачным баракам, а женщины бросали работу, смотрели на меня. «Весточки?» — спросила одна.

«Да. Для некой Хелен. Хелен Бауман».

Женщина задумалась. Подошла еще одна. «Это не та нацистская шлюха, что работает в столовой? — спросила она. — Ну, которая с врачом путается?»

«Она не нацистка», — сказал я.

«Та, из столовой, тоже не нацистка, — сказала первая. — По-моему, ее зовут Хелен».

«Здесь есть нацисты?» — спросил я.

«Конечно. Тут все вперемешку. Где теперь немцы?»

«Я их не видел».

«Говорят, приедет военная комиссия. Вы что-нибудь слышали?»

«Нет».

«Она приедет, чтобы освободить из лагерей нацистов. Но, говорят, явится и гестапо. Про это вы слышали?»

«Нет».

«Немцы, по слухам, не интересуются неоккупированной зоной».

«То-то с них станется».

«Вы ничего про это не слыхали?»

«Слухи, и только».

«А от кого весточка для Хелен Бауман?»

Я помедлил. «От ее мужа. Он на свободе».

Вторая женщина рассмеялась. «Вот он удивится, муженек-то!»

«А можно зайти в столовую?» — спросил я.

«Почему бы и нет? Вы не француз?»

«Эльзасец».

«Боитесь? — спросила вторая женщина. — Почему? Вам есть что скрывать?»

«А нынче еще есть такие, кому нечего скрывать?»

«Можете спокойно повторить», — сказала первая. Вторая молчала. Пристально смотрела на меня, будто я шпион. Вокруг нее облаком стоял запах ландышевых духов.

«Спасибо, — сказал я. — Где столовая?»

Первая женщина описала мне дорогу. Я прошел через сумрак барака, словно сквозь строй. По обе стороны виднелись лица и испытующие взгляды. Я чувствовал себя так, будто угодил в государство амазонок. Потом вновь очутился на улице, на солнце, среди усталого запаха плена, который окутывает любой лагерь, словно серая глазурь.

Я шел как слепой. Никогда я не думал о верно-

сти Хелен или неверности. Слишком это было второстепенно, слишком незначительно… слишком много всего случилось, и так важно было просто остаться в живых, что все прочее как бы не существовало. Даже если б в Ле-Верне я терзался этим вопросом, он все равно оставался бы абстрактным, мыслью, представлением, выдуманным мной самим, стертым и возникшим опять.

Однако сейчас я находился в окружении ее товарок. Вчера вечером видел их у забора и сейчас видел вновь, голодных женщин, которые много месяцев провели в одиночестве и, несмотря на плен, были женщинами и именно поэтому ощущали все куда острее. Что еще им оставалось?

Я пошел к бараку столовой. Там среди других, что покупали продукты, стояла бледная рыжеволосая женщина. «Что вам нужно?» — спросила она. Я закрыл глаза и сделал знак головой. Потом шагнул в сторону. Она быстро обвела взглядом покупательниц, шепнула: «Через пять минут. Хорошие или плохие?»

Я понял, что она имеет в виду известия — хорошие они или плохие. Пожал плечами. Потом сказал: «Хорошие» — и вышел.

Немного погодя женщина появилась на по-

роге, махнула мне рукой. «Надо соблюдать осторожность, — сказала она. — Для кого у вас известия?»

«Для Хелен Бауман. Она здесь?»

«Почему?»

Я молчал. Видел веснушки у нее на носу и беспокойные глаза. «Она работает в столовой?» — спросил я.

«Что вам нужно? — в свою очередь спросила она. — Сведения? Монтер? Для кого?»

«Для ее мужа».

«Последний раз, — с горечью сказала рыжеволосая, — вот так же спрашивали про другую женщину. Через три дня ее забрали. Мы договорились, что она сообщит, если все будет хорошо. Никакой весточки мы не получили, липовый вы монтер!»

«Я ее муж», — сказал я.

«А я — Грета Гарбо», — сказала женщина.

«Зачем мне иначе спрашивать?»

«О Хелен Бауман, — сказала женщина, — часто расспрашивали. Весьма странные люди. Хотите правду? Хелен Бауман умерла. Две недели назад. Умерла и похоронена. Вот вам правда. Я думала, у вас вести с воли».

«Она умерла?»

«Умерла. А теперь оставьте меня в покое».

«Она не умерла, — сказал я. — В бараках лучше знают».

«В бараках болтают много чепухи».

Я посмотрел на рыжеволосую. «Передадите ей записку? Я уйду, но хотел бы оставить письмо».

«Зачем?»

«А почему нет? Письмо ничего не значит. Не убивает и не выдает».

«Неужели? — сказала женщина. — На свете-то давно живете?»

«Не знаю. Вдобавок жил урывками, и часто меня прерывали. Можете продать мне листок бумаги и карандаш?»

«Вон там найдете то и другое. — Женщина кивнула на маленький столик. — Зачем писать покойнице?»

«Затем, что сейчас такое не редкость».

Я написал: «Хелен, я здесь. Возле лагеря. Сегодня вечером. У забора. Буду ждать».

Заклеивать письмо я не стал. «Передадите ей?» — спросил я у женщины.

«Сколько же нынче сумасшедших», — ответила она.

«Да или нет?»

Она прочитала письмо, которое я ей показал.

«Да или нет?» — повторил я.

«Нет», — сказала она.

Я положил письмо на стол. «По крайней мере, не уничтожайте его», — сказал я.

Она промолчала. «Я вернусь и убью вас, если вы помешаете этому письму попасть в руки моей жены», — сказал я.

«Еще что-нибудь?» Пустые зеленые глаза смотрели на меня с испитого лица.

Я покачал головой и пошел к двери. «Ее здесь нет?» — спросил я, еще раз обернувшись.

Женщина неотрывно смотрела на меня и не отвечала. «Я пробуду в лагере еще десять минут, — сказал я. — Зайду снова, спрошу».

Я шел по лагерному переулку. Я не поверил этой женщине, хотел немного выждать, а потом вернуться в столовую и поискать Хелен. Но тут вдруг почувствовал, что плащ незримой защиты исчез, я стал огромным и беззащитным — надо спрятаться.

Наугад я шагнул в первую попавшуюся дверь. «Что вам нужно?» — спросила какая-то женщина.

«Мне нужно проверить электропроводку. Здесь есть поломки?» — сказал кто-то рядом со мной, который и был мною.

«Здесь поломок нет. Хотя, по сути, все держится на честном слове».

Я увидел, что на женщине белый халат, и спросил: «Это больница?»

«Больничный барак. Вас сюда вызвали?»

«Фирма прислала меня. Проверить проводку».

«Проверяйте что хотите», — сказала женщина.

Заглянул мужчина в форме: «Что случилось?»

Женщина в белом халате объяснила. Я присмотрелся к мужчине. Кажется, я где-то видел его. «Электричество? — сказал он. — Лекарства и витамины были бы куда нужнее!»

Он швырнул кепи на стол и вышел.

«Здесь все в порядке, — сказал я женщине в белом. — Кто это был?»

«Врач, кто же еще? Другим-то на все начхать!»

«У вас много больных?»

«Хватает».

«А умерших?»

Она посмотрела на меня: «Почему вы спрашиваете?»

«Да так, — ответил я. — Почему все здесь так недоверчивы?»

«Да так, — повторила она. — Блажь такая, эх вы, наивный ангел с родиной и паспортом! Нет, у нас уже месяц никто не умирал. Но до тех пор

покойников хватало».

Месяц назад я получил от Хелен письмо. Значит, она еще здесь. «Спасибо», — сказал я.

«За что благодарить-то? — горько спросила женщина. — Лучше благодарите Бога, что родители дали вам родину, которую можно любить, хоть она и несчастна и в несчастье своем сажает еще более несчастных в лагерь и стережет для злодеев, которые их убьют… для тех самых злодеев, которые сделали вашу страну несчастной! А теперь займитесь светом, — добавила она. — Хорошо бы в иных головах включить побольше света!»

«Здесь уже побывала германская комиссия?»

«Почему вас это интересует?»

«Я слыхал, ее ожидают».

«Вам будет приятно узнать об этом?»

«Нет. Я должен кое-кого предостеречь».

«Кого?» Женщина выпрямилась.

«Хелен Бауман», — ответил я.

Женщина посмотрела на меня. Потом спросила: «Предостеречь? От чего?»

«Вы ее знаете?»

«С какой стати?»

Опять стена недоверия, которая стала мне понятна только позднее. «Я ее муж», — сказал я.

«Вы можете доказать?»

«Нет. У меня другие документы. Но, может быть, достаточно, если я скажу вам, что я не француз». Я достал паспорт покойного Шварца.

«Нацистский паспорт, — сказала женщина. — Так я и думала. Почему вы так поступаете?»

Я потерял терпение. «Чтобы увидеть жену. Она здесь. Она сама мне написала».

«Письмо у вас?»

«Нет. Я его уничтожил, когда сбежал. К чему здесь это секретничанье?»

«Я бы тоже хотела узнать, — ответила женщина. — Но от вас».

Вернулся врач. «Вы здесь нужны?» — спросил он у женщины.

«Нет».

«Тогда идемте со мной. Вы закончили?» — обратился он ко мне.

«Пока нет. Завтра зайду еще раз».

Я вернулся в столовую. Рыжеволосая с двумя другими женщинами стояла у стола, продавала им белье. Я ждал, снова чувствуя, что моя удача на исходе, пора уходить, если я хочу выбраться из лагеря. Часовые сменятся, а новым придется объяснять все еще раз. Хелен я не видел. Рыжая прятала от меня глаза. Затягивала разговор с по-

купательницами. Потом подошли еще несколько женщин, а мимо окна прошагал офицер. Я покинул столовую.

У ворот еще стояли прежние часовые. Они меня не забыли, выпустили наружу. Я шел с тем же чувством, что и в Ле-Верне: они пойдут за мной и возьмут под стражу. Меня бросило в пот.

Старый грузовик ехал по дороге в гору. Деваться было некуда, и я продолжал идти по обочине, глядя в землю. Машина проехала мимо и остановилась прямо у меня за спиной. Я едва сдержался и не побежал. Машина легко могла развернуться, а тогда у меня нет ни малейшего шанса. Я услышал быстрые шаги. Кто-то окликнул: «Эй, монтер!»

Я оглянулся. Пожилой мужчина в форме подошел ближе. «В моторах разбираетесь?»

«Нет. Я электрик».

«Так, может, закавыка аккурат в электрическом зажигании. Вы бы взглянули на наш мотор, а?»

«Ага, взгляните, пожалуйста», — сказал второй шофер. Я поднял глаза. Это была Хелен. Она стояла за спиной у солдата, смотрела на меня, прижимая палец к губам. В брюках и свитере, очень худенькая.

«Взгляните, — повторила она, пропуская меня

вперед. Пробормотала: — Осторожно! Сделай вид, будто кое-что кумекаешь! Там все в порядке».

Солдат не спеша шагал следом за нами. «Откуда ты здесь?» — прошептала она.

Я со скрипом открыл капот. «Бежал. Как нам встретиться?»

Вместе со мной она склонилась над мотором. «Я делаю закупки для столовой. Послезавтра. Будь в деревне! В первом кафе слева. В девять утра».

«А пораньше?»

«Долго еще?» — спросил солдат.

Хелен достала из брючного кармана пачку сигарет, протянула ему: «Еще несколько минут. Ничего серьезного».

Солдат закурил, присел на обочине. «Где? — спросил я у Хелен, склонясь над мотором. — В лесу? У забора? Я вчера был там. Сегодня вечером?»

Секунду она помедлила. «Ладно. Сегодня вечером. Раньше десяти я не смогу».

«Почему?»

«К тому времени другие уйдут. Словом, в десять. А если что — послезавтра утром. Будь осторожен».

«Как тут с жандармами?»

Солдат подошел к нам. «Пустяки, — сказала

Хелен по-французски. — Сейчас закончим».

«Машина-то старая», — заметил я.

Солдат рассмеялся: «Новые у бошей. И у министров. Готово?»

«Готово», — сказала Хелен.

«Хорошо, что мы вас встретили, — сказал солдат. — Я про машины знаю только, что им нужен бензин».

Он залез в кабину. Хелен тоже. Включила зажигание. Вероятно, она просто его отключила. Мотор заработал. «Спасибо, — сказала она, высунувшись из кабины. Губы ее беззвучно шевелились. Потом она громко сказала: — Вы отличный специалист», — и машина тронулась.

Несколько секунд я стоял в сизом дыму выхлопа. И почти ничего не чувствовал — вот точно так же не воспринимаешь разницы при быстрой смене сильного жара и холода. Затем, машинально продолжив путь, я мало-помалу начал размышлять, а вместе с мыслями вернулись тревога, и память о том, что я слышал, и тихая, зыбкая, сверлящая мука сомнения.

Я лежал в лесу и ждал. Стена плача, как Хелен называла женщин, которые тихо и слепо глядели в вечерние сумерки, редела. Вскоре многие разбрелись, ушли обратно. Стемнело. Я смотрел

на столбы забора. Они обернулись тенями, потом между ними возникла новая темная тень. «Ты где?» — прошептала Хелен.

«Здесь!»

Я ощупью пробрался к ней.

«Ты можешь выйти?» — спросил я.

«Позже. Когда все уйдут. Жди».

Я опять укрылся в зарослях, но недалеко, только чтобы меня не увидели, если кто-нибудь направит на лес луч карманного фонаря. Лежал на земле, вдыхая крепкий запах палой листвы. Поднялся ветерок, вокруг зашуршало, словно ко мне подползали тысячи шпионов. Мои глаза все больше привыкали к темноте, и теперь я видел тень Хелен, а над нею смутно — ее бледное лицо, черты которого я различить не мог. Словно черное растение с белым цветком, она висела в колючей проволоке, а потом опять виделась темной безымянной фигурой из темных времен, и как раз оттого, что я не мог разглядеть ее лицо, оно стало лицом всех страждущих на свете. Чуть дальше я заметил еще одну женщину, стоявшую так же, как Хелен, потом третью и четвертую — будто фриз кариатид, несущих на плечах полог печали и надежды.

Почти невыносимое зрелище, и я отвел глаза. А

когда снова посмотрел туда, три другие беззвучно исчезли, и я увидел, что Хелен нагнулась и теребит колючую проволоку. «Разведи ее в стороны», — сказала она. Я наступил на нижний виток и приподнял следующий.

«Погоди», — шепнула Хелен.

«Где остальные?» — спросил я.

«Ушли. Одна из них нацистка. Поэтому я не могла выбраться раньше. Она бы меня выдала. Та, что плакала».

Хелен сняла блузку и юбку, протянула мне сквозь проволоку. «Нельзя, чтобы они порвались, — сказала она. — Других у меня нет».

Как в бедных семьях, где не так важно, что дети разбивают коленки, куда важнее, чтобы не порвали чулки, ведь ссадины заживают, а чулки надо покупать новые.

Я чувствовал одежду в своих руках. Хелен нагнулась и осторожно пролезла сквозь проволоку. Оцарапала плечо. Словно тоненькая черная змейка, на коже выступила кровь. Хелен встала. «Мы можем сбежать?» — спросил я.

«Куда?»

Я не знал ответа. Куда? «В Испанию, — сказал я. — В Португалию. В Африку».

«Идем, — сказала Хелен. — Идем и не будем

говорить об этом. Отсюда без документов не сбежишь. Поэтому они даже особо за нами не следят».

Впереди меня она пошла в лес. Почти обнаженная, таинственная и очень красивая. В ней уцелел лишь намек на Хелен, мою жену последних месяцев; как раз достаточно, чтобы со сладостной болью узнать ее под налетом минувшего, от которого кожа зябко и с надеждой пошла мурашками. Но здесь был и кто-то еще, пока что почти безымянный, сошедший с фриза кариатид, окруженный девятью месяцами чужбины, которая намного больше двадцати лет в нормальной жизни.

XIV

Хозяин того кафе, где мы сидели раньше, подошел к столику.

— Толстуха-то хоть куда, — солидно произнес он. — Француженка. Умудренная чертовка, очень рекомендую, господа! Наши женщины пылкие, но слишком торопливые. — Он прищелкнул языком. — Позвольте откланяться. Нет ничего лучше, как очистить себе кровь с помощью француженки. Они понимают жизнь. С ними и врать особо незачем, не то что с нашими. Благополучного

возвращения, господа! Не берите Лолиту и Хуану. Обе никуда не годятся, вдобавок Лолита так и норовит что-нибудь стырить, только отвернись.

Он ушел. Когда дверь открылась, внутрь тотчас впорхнуло утро, донесся шум пробуждающегося города.

— Пожалуй, и нам пора идти, — сказал я.

— Я скоро закончу рассказ, — ответил Шварц, — и у нас еще осталось немного вина.

Он заказал вино и кофе для трех женщин, чтобы они к нам не приставали.

— Той ночью мы почти не разговаривали, — продолжал он. — Я расстелил куртку, а когда стало холоднее, мы укрылись блузкой и юбкой Хелен и моим свитером. Хелен засыпала и просыпалась; один раз, в полусне, мне показалось, что она плачет, а потом она снова была невероятно нежна и осыпала меня бурными ласками, как раньше никогда не бывало. Я ни о чем не спрашивал и ничего не рассказывал о том, что слыхал в лагере. Очень любил ее и все же каким-то необъяснимым, холодным образом был от нее далек. К нежности примешивалась печаль, которая еще обостряла нежность; казалось, мы лежали, прильнув к потусторонности, слишком далеко, чтобы когда-нибудь возвратиться или куда-нибудь до-

браться, все было — только полет, близость и отчаяние, да-да, именно отчаяние, беззвучное, потустороннее отчаяние, в которое капали наши счастливые слезы, невыплаканные темные слезы знания, которому ведома бренность, но уже неведомы прибытие и возвращение.

«Мы не можем сбежать?» — опять спросил я, прежде чем Хелен вновь проскользнула сквозь колючую проволоку.

Она не отвечала, пока не очутилась на той стороне. «Я не могу, — прошептала она. — Не могу. Иначе пострадают другие. Приходи снова! Завтра вечером. Можешь прийти завтра вечером?»

«Если меня до тех пор не поймают».

Хелен посмотрела на меня. «Что сталось с нашей жизнью? — спросила она. — Что мы сделали, раз с нашей жизнью сталось такое?»

Я передал ей блузку и юбку, спросил: «Это твои лучшие вещи?»

Она кивнула.

«Спасибо тебе, что ты их надела, — сказал я. — Завтра вечером я обязательно приду снова. Спрячусь в лесу».

«Тебе надо подкрепиться. У тебя есть еда?»

«Немножко. И потом, в лесу, наверно, есть ягоды. И грибы или орехи».

«Сможешь продержаться до завтрашнего вечера? Тогда я что-нибудь принесу».

«Конечно. Ведь уже почти утро».

«Грибы не ешь. Ты в них не разбираешься. Я принесу достаточно еды».

Она надела юбку. Широкую, голубую, белыми цветами, она повернула ее и застегнула, словно опоясалась оружием перед битвой. «Я люблю тебя, — с отчаянием сказала она. — Люблю куда сильнее, ты даже представить себе не можешь как. Не забывай об этом! Никогда!»

Так она говорила почти всякий раз перед разлукой со мною. В ту пору мы для всех были вне закона — как для французских жандармов, которые из непомерной любви к порядку устраивали на нас облавы, так и для гестапо, которое пыталось проникнуть в лагеря, хотя считалось, что с правительством Петена достигнуто соглашение, запрещающее это. Ты никогда не знал, кто тебя сцапает, и каждое прощание утром всегда было последним.

Хелен приносила мне хлеб и фрукты, иногда кусок колбасы или сыра. Я не смел спуститься в ближайший городок и поселиться там. Устроился в лесу, в развалинах старинного разрушенного монастыря, который нашел чуть поодаль. Днем

я спал там или читал то, что приносила Хелен, и наблюдал за дорогой из кустов, где меня никто не мог увидеть. Хелен приносила мне и новости и слухи: что немцы подходят все ближе и плевать хотели на свои договоры.

И все-таки жизнь была едва ли не паническая. Временами страх горечью подкатывал к горлу, как желудочный сок, но привычка жить одним часом снова и снова одерживала верх. Погода стояла хорошая, и небо ночами сверкало от звезд. Хелен добыла брезент, на котором мы лежали под сухой листвой в разрушенной монастырской галерее и слушали ночные шорохи. «Как же ты умудряешься выходить? — спросил я как-то раз. — Причем так часто?»

«У меня ответственная должность и немножко протекции, — ответила она, помолчав. — Ты же видел, я иной раз и в деревню езжу».

«Поэтому ты можешь приносить мне съестное?»

«Его я беру в столовой. Можно кое-что купить, когда имеешь деньги и там что-то есть».

«Ты не боишься, что кто-нибудь увидит тебя здесь или выдаст?»

Она улыбнулась: «Я боюсь только за тебя. Не за себя. Что со мной может случиться? Я ведь уже

в тюрьме».

На следующий вечер она не пришла. Стена плача рассыпалась, я подкрался к забору, бараки чернели в слабом свете, я ждал, но она не пришла. Ночь напролет я слышал женщин, которые ходили к туалетному бараку, слышал вздохи и стоны и вдруг заметил на дороге замаскированные фары автомобилей. Днем я остался в лесу. Меня мучила тревога, наверняка что-то случилось. Некоторое время я размышлял о том, что слышал в лагере, и каким-то странно вывернутым образом нашел в этом утешение. Всё лучше, чем если бы Хелен захворала, была вывезена или умерла. Эти три возможности так сплелись друг с другом, что означали одно и то же. И наша жизнь была столь безысходна, что главная задача теперь заключалась в одном: не потерять друг друга и когда-нибудь попытаться выбраться из водоворота в тихую бухту. Может статься, тогда мы опять сумеем все забыть… Но это невозможно, — сказал Шварц. — При всей любви, всем сочувствии, всей доброте, всей нежности. Я это знал, и мне было все едино, я лежал в лесу, глядел на парящие трупы пестрых листьев, что слетали с ветвей, и только думал: пусть она живет! Пусть она живет, Господи, а я никогда не спрошу ее ни о чем. Жизнь

человека намного больше хитросплетений, в какие он попадает, пусть она живет, просто живет, и если должна жить без меня, пусть живет без меня, только пусть живет!

Хелен не пришла и следующей ночью. Зато вечером я опять увидел два автомобиля. Они ехали в гору, к лагерю. Сделав большой крюк, я подобрался ближе и узнал мундиры. Не разглядел, эсэсовские они или вермахтовские, но наверняка немецкие. Я провел жуткую ночь. Автомобили прибыли около девяти, а уехали лишь после часу ночи. Тот факт, что они явились ночью, почти не оставлял сомнений, что это гестапо. Когда они уезжали, я не смог разглядеть, забрали они с собой людей из лагеря или нет. До самого утра я блуждал — именно блуждал, в буквальном смысле слова, — по дороге и вокруг лагеря. Потом хотел еще раз попытаться проникнуть в лагерь под видом монтера, но увидел, что караулы удвоили и рядом сидит штатский со списками.

День казался бесконечным. Когда в сотый раз крался вдоль колючей проволоки, я вдруг заметил шагах в двадцати, на моей стороне, газетный сверток. Там оказался кусок хлеба, два яблока и записка без подписи: «Сегодня ночью». Наверно, Хелен бросила его через забор, когда меня здесь

не было. Я съел хлеб, стоя на коленях, такая меня вдруг охватила слабость. Потом вернулся в свое укрытие и лег спать. Проснулся уже к вечеру. День выдался очень ясный, наполненный, будто вином, золотым светом. С каждой ночью листья становились все ярче. Буки и липа стояли теперь в теплом послеполуденном солнце, падавшем на мою прогалину, такие красные и желтые, словно, пока я спал, незримый художник превратил их в факелы, недвижно сиявшие в совершенно спокойном воздухе. Ни один листок не шевелился…

Шварц осекся.

— Пожалуйста, наберитесь терпения, когда я вроде как без нужды описываю природу. В ту пору для нас природа была важна не менее, чем для животных. И она никогда нас не отвергала. Не требовала ни паспорта, ни арийского свидетельства. Давала и брала, но оставалась безлична, и это было как лекарство. В тот вечер я долго не шевелился, боялся, что выплеснусь через край, как чаша, до краев полная воды. Потом, в абсолютной тишине и безветрии, увидел вдруг, как сотни листьев слетают с деревьев, будто повинуясь таинственному приказу. Они безмятежно парили в ясном воздухе, некоторые опускались на меня. В этот миг я осознал свободу смерти и ее огромное

утешение. Не принимая никакого решения, я понимал, что мне дарована милость покончить с жизнью, если Хелен умрет, что мне нет нужды оставаться одному и что эта милость — возмещение, даруемое человеку за избыток любви, на который он способен и который выходит за пределы творения; я осознал это не размышляя, а когда осознал, то необходимость умирать, в неком отдаленном смысле, уже отпала.

Хелен не было в рядах стены плача. Она пришла, только когда остальные ушли. Одетая в короткие брюки и блузку, она сквозь проволоку протянула мне бутылку вина и сверток. В непривычной одежде она казалась очень юной.

«Вино откупорено. И стаканчик есть, — сказала она и с легкостью проскользнула сквозь колючую проволоку. — Ты наверняка умираешь с голоду. Я достала кое-что в столовой, чего не видала с парижских времен».

«Одеколон», — сказал я. Она пахла одеколоном, свежестью в свежей ночи.

Хелен покачала головой. Я заметил, что она подстриглась, волосы были короче, нежели раньше.

«Что случилось-то? — спросил я с неожиданной досадой. — Я думал, тебя забрали или ты при смерти, а ты приходишь будто из косметического

салона. Ты и маникюр сделала?»

«Сама. — Она подняла руки и рассмеялась. — Давай выпьем вина!»

«Что случилось? Здесь побывало гестапо?»

«Нет. Армейская комиссия. Но с ними были двое гестаповцев».

«Кого-нибудь забрали?»

«Нет, — ответила она. — Налей мне».

Я заметил, что она очень взволнована: руки горячие, а кожа такая сухая, что, кажется, вот-вот захрустит.

«Они приезжали, — сказала она. — Явились, чтобы составить список нацистов в лагере. Их отправят в Германию»

«У вас их много?»

«Хватает. Мы и не думали, что их так много. Некоторые помалкивали. Одну из таких я знала… она вдруг вышла вперед и объявила, что состоит в партии, что собрала ценные сведения и хочет вернуться в отечество, здесь с ней, дескать, обращались отвратительно, ее надо забрать отсюда немедля. Я близко с ней знакома. Слишком близко. Она знает…»

Хелен быстро осушила стакан, отдала его мне. «Что она знает?» — спросил я.

«Точно не могу сказать. Столько ночей на-

пролет мы говорили и говорили. Она знает, кто я… — Хелен подняла голову. — Я никогда туда не вернусь, никогда! Покончу с собой, если за мной придут».

«Ты с собой не покончишь, и они за тобой не придут. С какой стати? Георг бог весть где, да и знает он не все. И с какой стати этой женщине выдавать тебя? Чем это ей поможет?»

«Обещай, что не дашь отправить меня назад».

«Обещаю», — сказал я. Она была слишком взволнована, и мне ничего не оставалось, кроме как в своем бессилии обещать всесилие.

«Я люблю тебя, — сказала она своим хрипловатым, возбужденным голосом. — Я люблю тебя, и, что бы ни случилось, ты всегда должен этому верить!»

«Я верю», — ответил я, веря и не веря.

Она откинулась назад, совершенно без сил.

«Давай убежим, — сказал я. — Сегодня же ночью».

«Куда? Паспорт у тебя на руках?»

«Да. Один человек из конторы, где хранились документы интернированных, отдал его мне. А у кого твой?»

Хелен не ответила. Некоторое время смотрела в пространство. «Здесь, в лагере, находится ев-

рейская семья, — наконец сказала она. — Муж, жена и ребенок. Их доставили несколько дней назад. Ребенок болен. Они тоже вышли вперед. Хотят вернуться в Германию. Капитан спросил, не евреи ли они. Муж сказал, что они немцы. И хотят вернуться. Капитан хотел что-то им сказать, но рядом были гестаповцы. «Вы действительно хотите вернуться?» — спросил он еще раз. «Внесите их в список, капитан, — со смехом сказал один из гестаповцев. — Раз они так тоскуют по родине, мы пойдем им навстречу». Их внесли в список. Разговаривать с ними бесполезно. Они твердят, что больше не могут. Ребенок тяжело болен. Здешних евреев так и так скоро вывезут, лучше уж самим записаться. Мы же в ловушке. Лучше уйти добровольно. Они словно оглохли. Ты должен с ними поговорить».

«Я? Что я могу им сказать?»

«Ты был там. Был в немецком лагере. Потом вернулся. И снова бежал».

«Где я могу с ними поговорить?»

«Здесь. Я приведу мужчину. Знаю, где он. Прямо сейчас. Я его предупредила. Его еще можно спасти».

Через четверть часа она привела тщедушного мужчину, который отказался проползать сквозь

колючую проволоку. Я стоял за забором, а он — на лагерной стороне и слушал меня. Немного погодя подошла женщина. Очень бледная, она не говорила ни слова. Их обоих и ребенка схватили дней десять назад. Они сидели в разных лагерях, потом бежали, и муж каким-то чудом разыскал жену. Повсюду на дорожных камнях и углах домов они оставляли свои имена.

Шварц посмотрел на меня.

— Вам знакома Via Dolorosa[28]?

— Кому же она незнакома! Идет от Бельгии до Пиренеев.

Via Dolorosa возникла в начале войны. После вторжения немецких войск в Бельгию и прорыва линии Мажино началось великое бегство, сперва на автомобилях, нагруженных домашним скарбом и постелями, потом на всевозможных повозках, на велосипедах, конских телегах, тачках, которые толкали люди, на детских колясках и, наконец, пешком, бесконечными вереницами, на юг, преследуемые бомбардировщиками «штукас», в разгар французского лета. Началось и бегство эмигрантов на юг. В ту пору появились дорожные газеты. На уличных стенах, на

[28] notes: 28
Дорога скорби (*лат.*).

деревенских домах, на углах перекрестков люди, ищущие друг друга, писали свои имена и зовы о помощи, писали углем, мелом, краской. Эмигранты, которые находились в бегах уже не один год и прятались от полиции, организовали вдобавок цепочку опорных пунктов, протянувшуюся от Ниццы до Неаполя и от Парижа до Цюриха. Это были местные жители, которые передавали весточки, менялись адресами, давали советы и у которых можно было переночевать ночь-другую. С их помощью человек, о котором рассказывал Шварц, отыскал жену и ребенка, что иначе было бы куда труднее, чем отыскать пресловутую иголку в стоге сена.

Шварц продолжал:

— «Если мы останемся, нас опять разлучат, — сказал мне этот человек. — Здесь женский лагерь. Нас привезли сюда, но лишь на несколько дней. Мне уже сообщили, что я буду отправлен в другое место, в один из мужских лагерей. Мы этого не вынесем». Он все обдумал, так, мол, будет лучше. Бежать они не могут, уже пробовали. Чуть не умерли с голоду. Теперь вот ребенок захворал, жена совершенно без сил, да и он сам тоже. Лучше добровольно вернуться; мы-де тут, в сущности, как скот в цехах бойни. Так или иначе заберут,

по необходимости или по капризу. «Почему нас не отпустили, когда еще было время?» — сказал под конец этот кроткий, худой мужчина с узким лицом и маленькими темными усиками.

Никто бы не сумел ему ответить. Мы не были здесь нужны, но и отпустить нас не отпускали — мелкий парадокс при крахе целой нации, и те, кто мог бы изменить обстоятельства, не придавали ему значения.

На следующий день ближе к вечеру вверх по дороге проехали два грузовика. И тотчас я увидел, как колючая проволока ожила. Примерно десяток женщин, помогая друг другу, пролезли под ней. И все бросились в лес. Я сидел в укрытии, пока не заметил Хелен. «Нас предупредила префектура, — сказала она. — Немцы явились за теми, кто хочет вернуться. Неизвестно, что еще произойдет, поэтому нам разрешили спрятаться в лесу, пока они не уедут».

Впервые я увидел ее днем, если не считать того мгновения на дороге. Ее длинные ноги и лицо покрывал загар, но она очень исхудала. Глаза слишком большие и блестящие, а лицо слишком узкое. «Отдаешь мне еду, а сама голодаешь», — сказал я.

«Еды мне хватает, — сказала она. — Об этом

заботятся. Вот… — она сунула руку в карман, — даже кусок шоколада. Вчера мы могли купить pâté de foie gras[29] и сардины в банках. Но хлеба не было».

«Мужчина, с которым я говорил, уезжает?» — спросил я.

«Да…»

Лицо Хелен вдруг дернулось. «Я никогда не вернусь, — помолчав, сказала она. — Никогда! Ты мне обещал! Я не хочу, чтобы меня поймали!»

«Тебя не поймают».

Через час грузовики уехали. Женщины пели. Ветер доносил слова: «Германия, Германия превыше всего».

Той ночью я поделился с Хелен ядом, добытым в Ле-Верне.

Днем позже она узнала, что Георг доведался, где она.

«Кто тебе сказал?» — спросил я.

«Тот, кто знает».

«Кто?»

«Лагерный врач».

«Откуда ему это известно?»

«Из комендатуры. Туда пришел запрос».

---

[29] notes: 29
Пирог с гусиной печенкой (*фр.*).

«Врач сказал, что тебе надо делать?»

«Он может на несколько дней спрятать меня в больничном бараке. Ненадолго».

«Тогда тебе надо уходить из лагеря. Кто вчера предупредил, что те из вас, кому грозит опасность, должны спрятаться в лесу?»

«Префект».

«Ладно, — сказал я. — Постарайся добыть свой паспорт и справку об освобождении. Вероятно, врач тебе поможет. Если нет, мы сбежим. Собери все необходимое. Никому ни слова. Никому! Я постараюсь поговорить с префектом. Похоже, он человек».

«Не надо! Будь осторожен! Ради бога, будь осторожен!»

Кое-как почистив комбинезон, я утром вышел из леса. Приходилось брать в расчет, что можно попасть в лапы немецких патрулей или французских жандармов, но отныне с этим надо было считаться постоянно.

Мне удалось пройти к префекту. Я обманул жандарма и писаря, выдав себя за немецкого техника, которому требуется информация о прокладке электрической линии для военных нужд. Когда совершаешь неожиданный поступок, иной раз все получается, это я усвоил. Как беженца,

жандарм немедля бы меня арестовал. Подобные люди лучше всего реагируют на крик.

Префекту я сказал правду. Сперва он хотел меня вышвырнуть. Потом моя наглость позабавила его. Он угостил меня сигаретой и сказал, чтоб я убирался к чертовой матери, он-де ничего не видел и не слышал. Через десять минут он заявил, что ничего сделать не может, у немцев, вероятно, есть списки и его привлекут к ответу, если кого-нибудь недосчитаются. А ему не хочется сгинуть в немецком концлагере.

«Господин префект, — сказал я, — мне известно, что вы защищали пленных. Как известно и что вы обязаны подчиняться приказам. Но, кроме того, и вам, и мне известно, что во Франции сейчас царит хаос поражения, что нынешние приказы могут оказаться завтрашним позором и что, если сумятица выродится в бессмысленную жестокость, оправдать ее даже позднее будет трудно. Зачем вам, вопреки собственной воле, держать невинных людей за колючей проволокой, предназначая их для крематориев и пыточных камер? Возможно, в то время, когда Франция еще оборонялась, существовало мнимое право сгонять иностранцев в лагеря для интернированных, безразлично, выступали ли они на

стороне агрессоров или против них. Но война давно закончилась, несколько дней назад победители забрали своих; в лагере остались только жертвы, день за днем изнывающие от страха, что их увезут на смерть. Мне бы следовало просить за всех этих жертв, а я прошу только за одну из них. Если вы боитесь списков, запишите мою жену как сбежавшую… как умершую, наконец, как самоубийцу, если угодно, тогда вы никакой ответственности не понесете!»

Он долго смотрел на меня. Потом сказал: «Зайдите завтра».

Я не двинулся с места. «Не знаю, в чьих руках я буду завтра, — сказал я. — Сделайте это сегодня».

«Зайдите через два часа».

«Я подожду за дверью, — сказал я. — Более надежного места я не знаю».

Он вдруг улыбнулся. «Quelle affaire d'amour[30], — сказал он. — Вы женаты, а жить вынуждены как неженатые. Обычно бывает наоборот».

Я перевел дух. Часом позже он позвал меня в кабинет.

«Я созвонился с руководством лагеря, — сказал он. — О вашей жене действительно наводили

---

[30] notes: 30
Какая любовная история (*фр.*).

справки. Согласно вашему предложению, мы запишем ее умершей. Тогда вас оставят в покое. И нас тоже».

Я кивнул. Странный, холодный страх вдруг навалился на меня, остаток суеверия, что судьбу искушать нельзя. Но разве я сам не умер давным-давно и не жил по документам умершего?

«До завтра все будет сделано», — сказал префект.

«Сегодня, — возразил я. — Однажды я просидел два года в лагере, потому что на один день опоздал с побегом».

Силы вдруг оставили меня. И он наверняка заметил. Я побледнел и был на грани обморока. Он послал за коньяком. «Кофе», — сказал я и рухнул на стул. Комната кружилась перед глазами в фиолетово-серых тенях. Только не падать, подумал я, когда в ушах зашумело. Хелен свободна, нам необходимо убраться отсюда!

К шуму и круженью примешивались лицо и голос, который кричал, сперва неразборчиво, потом очень громко. Я пытался следить за ним, за ним и за лицом, и наконец расслышал: «Вы что, думаете, я шучу, merde alors? Какого дьявола? Я не тюремщик, я порядочный человек, черт бы побрал всех и вся… Пусть уходят все… все!»

Голос опять куда-то подевался, и я не знаю, вправду ли он так кричал или мне почудилось. Принесли кофе, я, пошатываясь, вышел за дверь, сел на лавку. Немного погодя кто-то подошел и сказал, что надо еще немного подождать. А я и без того бы не ушел.

Потом вышел префект, сообщил, что все в порядке. Мне показалось, приступ слабости принес не меньше пользы, чем все мои слова. «Вам лучше? — спросил он. — Не стоит так меня бояться. Я всего-навсего мелкий провинциальный французский префект».

«Это больше, чем Господь Бог, — ответил я, совершенно счастливый. — Бог дал мне лишь весьма общее разрешение на жительство на земле, от которого мало проку. По-настоящему мне необходимо разрешение на жительство именно в этом округе, и дать его мне можете только вы один, господин префект».

Он засмеялся: «Но если вас станут искать, здесь опасность особенно велика».

«Если меня будут искать, то в Марселе опасность куда больше. Они решат, что я там, а не здесь. Выдайте нам разрешение на неделю. За это время мы успеем переправиться через Чермное море».

«Чермное море?»

«Это у беженцев такое выражение. Мы живем как евреи при исходе из Египта. За спиной у нас немецкая армия и гестапо, по обе стороны море французской и испанской полиции, а впереди обетованная земля Португалия с гаванью Лиссабона, откуда путь лежит в еще более обетованную Америку».

«У вас есть американские визы?»

«Мы их получим».

«Похоже, вы верите в чудеса».

«У меня нет выбора. Разве сегодня не случилось чудо?»

Шварц улыбнулся мне:

— Странно, каким расчетливым можно стать в беде. Я точно знал, зачем сказал последнюю фразу и зачем раньше польстил префекту, сравнив его с Господом Богом. Мне надо было ненадолго достать разрешение на жительство. Когда полностью зависишь от других людей, становишься весьма расчетливым психологом, даже если от напряжения едва способен дышать, а может, как раз поэтому. Одно и другое не имеют ничего общего, функционируют по отдельности, не ущемляя друг друга, страх неподделен, боль неподдельна, ну и расчет тоже. Цель у всех одна — спастись.

Шварц заметно успокоился.

— Скоро я закончу, — сказал он. — Мы действительно получили недельное разрешение на жительство. Я стоял у ворот лагеря, ждал Хелен. День клонился к вечеру. Моросил мелкий дождик. С ней был врач. Секунду она говорила с ним, еще не заметив меня. Говорила оживленно, и лицо было оживленнее обычного, мне показалось, будто я с улицы заглядываю в комнату, а обитатели об этом не догадываются. Потом она увидела меня.

«Ваша жена очень больна», — сказал мне врач.

«Это правда, — смеясь, сказала Хелен. — Меня отпускают в больницу, где я и умру. Такова договоренность».

«Я не шучу! — запротестовал врач. — Вашей жене действительно необходимо лечь в больницу».

«Почему же она до сих пор не там?» — спросил я.

«Что все это значит? — сказала Хелен. — Я не больна и в больницу не пойду».

«Вы можете устроить ее в больницу, — спросил я врача, — где она будет в безопасности?»

«Нет», — помолчав, ответил он.

Хелен опять рассмеялась: «Конечно же, нет.

Какой глупый разговор. Adieu[31], Жан».

Она зашагала по дороге. Я хотел спросить врача, что с ней, но не смог. Он посмотрел на меня, быстро отвернулся и пошел обратно в лагерь. Я последовал за Хелен.

«Паспорт у тебя?» — спросил я.

Она кивнула.

«Дай мне сумку», — сказал я.

«Там совсем немного».

«Все равно, дай».

«У меня сохранилось вечернее платье, которое ты купил мне в Париже».

Мы шли вниз по дороге.

«Ты больна?» — спросил я.

«Будь я вправду больна, я бы не смогла идти. И температурила бы. Я не больна. Он лжет. Хотел, чтобы я осталась. Посмотри на меня. Разве у меня больной вид?»

Она остановилась.

«Да», — сказал я.

«Не грусти», — сказала она.

«Я не грущу».

Теперь я знал, что она больна, и знал, что мне она никогда правды не скажет. «Тебе помогло бы,

---

[31] notes: 31
Прощайте (*фр.*).

если бы ты легла в больницу?»

«Нет! — сказала она. — Ничуть! Поверь мне. Будь я больна и больница могла бы мне помочь, я бы сразу попыталась попасть туда. Поверь!»

«Верю».

А что мне было делать? Я вдруг вконец пал духом. «Может, лучше бы тебе остаться в лагере», — сказал я, помолчав.

«Я бы покончила с собой, если б ты не пришел».

Мы зашагали дальше. Дождь усилился. Обвеивал нас, словно серая завеса из крохотных капелек. «Надо поскорее добраться до Марселя, — сказал я. — А оттуда в Лиссабон и в Америку». Там есть хорошие доктора, думал я. И больницы, где не арестуют. Может, мне там и работать разрешат. «Мы забудем Европу как дурной сон», — сказал я.

Хелен не ответила.

XV

— Началась одиссея, — сказал Шварц. — Странствие через пустыню. Переход через Чермное море. Вам он наверняка тоже знаком.

Я кивнул:

— Бордо. Осторожные поиски переходов через границу. Пиренеи. Медленный натиск на

Марсель. Натиск на пассивные сердца и бегство от варваров. А в промежутке безумие взбесившейся бюрократии. Никакого разрешения на жительство… но и никакого разрешения на выезд. А когда мы его все-таки получили, истекла испанская транзитная виза, которую опять-таки выдавали только по предъявлении въездной визы в Португалию, которая, в свою очередь, нередко зависела от еще какой-нибудь другой, иначе говоря, приходилось все начинать сначала… ожидание в консульствах, этих преддвериях рая и ада! Circulus vitiosus[32] безумия!

— Сперва мы попали в штиль, — сказал Шварц. — Вечером у Хелен случился нервный срыв. Я нашел комнату на окраинном постоялом дворе. Впервые мы снова жили легально… впервые за много месяцев снова имели отдельную комнату… вот это и вызвало у нее приступ слез. Потом мы молча сидели в садике постоялого двора. Было уже весьма прохладно, но нам не хотелось пока идти спать. Мы распили бутылку вина, смотрели на дорогу, ведущую в лагерь, ее было видно из садика. Глубокая благодарность прямо-таки болью отзывалась в моей душе. В

---

[32] notes: 32
Порочный круг (*лат.*).

тот вечер она затмила все, даже страх, что Хелен больна. После приступа рыданий она выглядела расслабленной и очень спокойной, как пейзаж после дождя, и такой красивой, как иной раз лица на старинных камеях. Вы ведь поймете, — сказал Шварц. — В той жизни, какую мы ведем, болезнь имеет иное значение, нежели обычно. У нас болезнь означает, что бежать дальше невозможно.

— Знаю, — с горечью сказал я.

— Следующим вечером мы увидели на дороге к лагерю замаскированные фары автомобиля. Хелен забеспокоилась. Весь день мы почти не выходили из комнаты. Снова иметь кровать и собственную комнату — событие огромное, им можно наслаждаться бесконечно. Вдобавок мы оба чувствовали, насколько устали и вымотались, я бы вообще неделями не выходил с постоялого двора. Но Хелен вдруг решила уехать. Не желала больше видеть дорогу в лагерь. Боялась, что гестапо так и будет ее разыскивать.

Мы собрали свои скудные пожитки. Вполне разумно — отправиться дальше, пока у нас еще есть разрешение на жительство в этом округе; если нас схватят где-нибудь в другом месте, то разве что вышлют обратно сюда, а не арестуют, так мы надеялись.

Я думал добраться до Бордо, но по пути мы услышали, что для этого давно слишком поздно. Нас подобрал маленький двухместный «Ситроен», и водитель посоветовал нам устроиться где-нибудь еще. Неподалеку от того места, куда он направляется, есть маленький дворец, ему известно, что он пустует, вероятно, мы сможем там переночевать.

В общем-то, выбора у нас не было. Под вечер водитель высадил нас. Перед нами в сером полумраке лежал маленький дворец, скорее загородный особняк, окна темные, без штор. Я поднялся по наружной лестнице, попробовал дверь. Она была открыта, и, судя по следам, выбита. Мои шаги гулко отдавались в сумрачном холле. Я окликнул — ответом было рваное эхо. Комнаты совершенно пустые. Все, что можно было унести, унесли. Однако помещения восемнадцатого столетия сохранились, обшитые панелями стены, благородные соразмерные окна, потолки и изящные лестницы.

Мы медленно обошли дом. На наши оклики никто не отвечал. Я искал электрические выключатели. Их не нашлось. Электричество сюда не провели, дворец остался таким, каким его построили. Маленькая столовая, белая с золотом… спальня, светло-зеленая с золотом. Никакой

мебели; должно быть, владельцы все продали, чтобы сбежать.

В мансардной комнате мы наконец-то нашли сундук. Там обнаружились несколько масок, пестрые дешевые костюмы, видимо оставшиеся от праздника, и несколько пачек свечей. Но лучше всего была железная кровать с матрасом. Продолжив поиски, мы нашли на кухне немного хлеба, несколько баночек сардин, пучок чеснока, полбанки меда, а в погребе — фунт-другой картошки, несколько бутылок вина и штабель дров. Волшебная страна!

Почти во всех комнатах были камины. Найденными костюмами мы завесили окно одной из комнат, вероятно спальни. Я еще раз обошел вокруг дворца, обнаружил плодовый сад и огород. Яблоки и груши еще висели на деревьях. Я их собрал, отнес в дом.

Когда настолько стемнело, что дым из трубы уже не разглядишь, я развел в камине огонь, и мы приступили к ужину. Таинственное и волшебное настроение. Отсвет огня плясал на чудесных резных панелях, а наши тени колебались меж ними, словно духи из счастливого мира.

Стало тепло, Хелен переоделась, чтобы высушить то, в чем была. Достала парижское вечернее

платье, надела его. Я откупорил бутылку вина. За неимением бокалов пили мы прямо из горлышка. Позднее Хелен опять переоделась. Извлекла из сундука домино и полумаску и бегала в них по темной лестнице. Окликала то сверху, то снизу и порхала вокруг, голос ее эхом отдавался повсюду, я уже не видел ее, только слышал ее шаги, пока она вдруг не очутилась в темноте у меня за спиной и я не почувствовал на затылке ее дыхание.

«Я думал, что потерял тебя», — сказал я, крепко обняв ее.

«Ты никогда меня не потеряешь, — прошептала она сквозь узкую маску. — А знаешь почему? Потому что никогда не стремился удержать меня, как крестьянин свой надел. Самый блестящий мужчина в сравнении с этим — зануда».

«Я-то уж точно не блестящий мужчина», — с удивлением сказал я.

Мы стояли на лестничной площадке. Из приоткрытой двери спальни на бронзовые орнаменты перил, на плечи и губы Хелен полосой падал трепещущий свет камина.

«Ты не знаешь, какой ты, — пробормотала она, глядя на меня сверкающими глазами, которые сквозь маску казались, словно у змеи, без белка, были просто неподвижными и сверкаю-

щими. — Но должен бы знать, до чего унылы все эти донжуаны! Будто платья, которые надеваешь один раз. А ты… ты — душа».

Наверно, костюмы, которые мы надели, облегчили нам использование подобных слов. Я ведь тоже надел домино, несколько против воли, но мои вещи, как и ее, за день отсырели и сейчас сушились у камина. Непривычная одежда в таинственном интерьере belle époque[33] изменила нас, отверзла наши уста для иных слов, нежели обычно. Верность и неверность утратили свою бюргерскую весомость и односторонность, одно могло быть другим, существовало не только одно или другое, но великое множество оттенков, и названия утратили значение.

«Мы покойники, — прошептала Хелен. — Оба. У нас больше нет законов. Ты мертв, с мертвым паспортом, а я умерла сегодня в больнице. Глянь на нашу одежду! Словно пестрые и золотые летучие мыши, мы порхаем в умершем столетии. Его называли прекрасным, и оно таким и было, со своими менуэтами, изяществом и флером рококо… но в конце его стояла гильотина, как она стоит всегда и всюду, холодным утром после

---

[33] notes: 33
Прекрасной эпохи (*фр.*).

каждого праздника, сверкающая и неумолимая. Где будет стоять наша, любимый?»

«Не надо, Хелен», — сказал я.

«Нигде ее не будет, — прошептала она. — Разве есть гильотина для мертвецов? Нас она уже не разрежет, невозможно разрезать ни свет, ни тень, но ведь нам все время норовили сломать руки, да? Держи меня, здесь, в этом волшебстве и золотой тьме, и, может быть, частица этого останется в нас и озарит жалкий час нашего последнего вздоха».

«Не говори так, Хелен», — сказал я, чувствуя, как мороз бежит по коже.

«Помни меня всегда такой, как сейчас, — прошептала она, не слушая меня. — Кто знает, что нас еще ждет…»

«Мы уедем в Америку, а война когда-нибудь кончится», — сказал я.

«Я не жалуюсь, — сказала она совсем рядом с моим лицом. — Как мы можем жаловаться? Кем бы мы стали иначе? Скучной заурядной парой, которая ведет скучную заурядную жизнь в Оснабрюке, с заурядными чувствами и ежегодной поездкой в отпуск…»

Я невольно рассмеялся: «Можно и так сказать».

В этот вечер она была очень веселая и празд-

новала его как торжество. Со свечой, в золотых туфельках, купленных в Париже и спасенных, она побежала в погреб за новой бутылкой вина. Стоя наверху лестницы, я смотрел, как она выходит из темноты, освещенное, поднятое ко мне лицо на фоне несчетных теней. Я был счастлив, если можно назвать счастье зеркалом, в котором отражается любимое лицо, чистое и совершенное на фоне несчетных теней.

Огонь мало-помалу потух. Хелен уснула под яркими костюмами. Странная была ночь. Лишь совсем поздно я услышал гул самолетов, от которого зеркала рококо чуть позвякивали.

Четыре дня мы провели вдвоем. Потом мне пришлось идти в ближайшую деревню за покупками. Там я услышал, что из Бордо должны отплыть два корабля. «Немцев там еще нет?» — спросил я.

«Они и там, и не там, — ответили мне. — Все зависит от того, кто вы такой».

Я обсудил эту весть с Хелен. К моему удивлению, она приняла ее довольно равнодушно. «Корабли, Хелен! — взволнованно сказал я. — Уехать отсюда! В Африку. В Лиссабон. Куда-нибудь. Оттуда можно двинуть дальше».

«Почему бы нам не остаться здесь? — возразила она. — В саду есть фрукты и овощи. Я буду их

варить, пока не кончатся дрова. Хлеб купим в деревне. Деньги у нас еще остались?»

«Немножко. И у меня есть еще один рисунок. В Бордо можно продать его, чтобы хватило на дорогу».

«Кто сейчас покупает рисунки?»

«Люди, желающие вложить деньги».

Она засмеялась: «Тогда продай его и давай останемся тут».

«Эх, если б было можно!»

Она влюбилась в этот дом. По одну сторону был маленький парк, за ним плодовые деревья и огород. Вдобавок даже прудик и солнечные часы. Хелен любила дом, а он словно любил ее. Был рамой, под стать ей, и впервые мы жили не в гостинице и не в бараке. Жизнь в маскарадных костюмах и в атмосфере жизнерадостного прошлого и мне тоже дарила волшебную надежду… порой даже веру в жизнь после смерти… как будто мы уже провели первую ее репетицию. Я бы тоже не возражал прожить так несколько сотен лет.

Но все равно я думал о кораблях в Бордо. Мне казалось невероятным, что они выйдут в море, раз город уже частично оккупирован… однако то было время двойственной войны. Франция

заключила перемирие, но пока что не мир, существовали якобы зона оккупации и свободная зона, но страна не имела сил защищать соглашения, а кроме того, там находились германская армия и гестапо, а они не всегда действовали рука об руку.

«Необходимо все выяснить, — сказал я. — Ты останешься здесь, а я попытаюсь пробраться в Бордо».

Хелен покачала головой: «Одна я здесь не останусь. Поеду с тобой».

Я понимал ее. Более не существовало отдельных опасных и безопасных районов. Можно было выйти живым из вражеской штаб-квартиры и на отдаленном острове угодить в лапы гестаповских агентов; все прежние масштабы сдвинулись.

В город мы попали случайно, что и вам, вероятно, знакомо, — сказал Шварц. — Когда задним числом думаешь об этом, то сам не понимаешь, как это оказалось возможно. Пешком, на грузовике… раз даже подъехали верхом, на двух крупных, добродушных крестьянских лошадях, которых работник вел на продажу.

В Бордо уже стояли войска. Город не оккупировали, но войска там были. Огромный шок — каждую минуту мы ждали ареста. Хелен была в

неброском костюме, который вместе с вечерним платьем, парой брюк и двумя свитерами составлял весь ее гардероб. Я обретался в комбинезоне. Костюм нес в рюкзаке.

Вещи мы оставили в одном из кафе. Багаж всюду привлекает внимание, хотя многие французы тоже были с чемоданами. «Пойдем в бюро путешествий и спросим насчет кораблей», — сказал я. В городе мы никого не знали.

В самом деле, одно бюро таки нашлось. В витринах висели старые плакаты: «Проведите осень в Лиссабоне», «Алжир — жемчужина Африки», «Каникулы во Флориде», «Солнечная Гранада». Большинство выцвели, но плакаты с Лиссабоном и Гранадой еще светились роскошными яркими красками.

Ждать в очереди к окошку не пришлось. Четырнадцатилетний спец дал нам нужную информацию. Сведения о кораблях не соответствовали истине, сказал он. Слухи такого рода ходили уже не одну неделю. Вот задолго до оккупации в порт действительно заходил английский корабль, забрал поляков и эмигрантов, записавшихся в Польский легион, добровольческие части, которые формировались в Англии. Сейчас корабли уже не ходят.

Я спросил, что же тогда нужно всем этим людям в бюро.

«Большинству то же, что и вам», — ответил спец.

«А вы?» — спросил я.

«Я давно отказался от мысли уехать, — сказал он. — Теперь вот зарабатываю на этом. Переводчик, советчик, специалист по визовым делам, эксперт по ночлегам…»

Я не удивился. Нужда заставляет рано взрослеть, и глаз молодежи не замутняют сентиментальность и предрассудки. Мы зашли в кафе, и спец обрисовал мне ситуацию. Возможно, войска уйдут, но разрешение на жительство в Бордо все равно получить трудно, а с визами обстоит *совсем* скверно. Сейчас для получения испанских виз подходила Байонна, но город переполнен. Лучше всего как будто бы Марсель, но путь туда далек. Мы все его проделали, позднее. Вы тоже? — спросил Шварц.

— Да, — сказал я. — Дорога скорби.

Шварц кивнул:

— Я, конечно, по пути попытал счастья в американском консульстве. Но у Хелен был действительный немецкий паспорт, выданный при нацистах; как мы докажем, что находимся в

смертельной опасности? Перепуганным евреям, которые без документов сидели у дверей, грозила, пожалуй, куда большая опасность. Наши паспорта свидетельствовали против нас, даже паспорт покойного Шварца.

Мы решили вернуться в свой дворец. Дважды нас останавливали жандармы, оба раза я воспользовался их подавленным настроением — орал на них, совал им под нос паспорта и, как австрийский немец, ссылался на военную администрацию. Хелен смеялась, ей все это казалось забавным. Впервые эта мысль пришла мне в голову, когда я потребовал в кафе наш багаж. Хозяин заявил, что в глаза его не видал. «Если хотите, можете вызвать полицию, — сказал он, с ухмылкой подмигнув мне. — Но вы ведь не хотите!»

«Мне этого не требуется, — ответил я. — Несите вещи!»

Хозяин кивнул официанту: «Анри, господин собирается уходить».

Засучив рукава, подошел Анри. «На вашем месте я бы хорошенько подумал, Анри, — сказал я. — Или вам не терпится посмотреть, как выглядят изнутри немецкие концлагеря?»

«Ta gueule»[34], — сказал Анри и, подняв кулаки, пошел на меня.

«Стреляйте, сержант!» — крикнул я, глядя мимо него.

Анри попался на уловку. Оглянулся, а поскольку руки были подняты, я со всей силы пнул его в пах. Он взвыл и рухнул на пол. Хозяин схватил бутылку и двинулся вон из-за стойки.

Я цапнул с цинковой стойки бутылку дюбонне, ударил ею об угол и таким манером вооружился «звездочкой». Хозяин замер. У меня за спиной разбилась вторая бутылка. Я не оглядывался — нельзя выпускать хозяина из поля зрения.

«Это я, — сказала Хелен и рявкнула хозяину: — Salaud![35] Живо отдавай вещи, или морду расквашу!»

С разбитой бутылкой в руке она обошла меня и, пригнувшись, двинулась на хозяина. Я удержал ее свободной рукой. Похоже, ей попалась бутылка перно, потому что вдруг запахло анисом. Поток площадной брани низвергся на хозяина. Хелен пыталась вырваться из моей хватки. Хозяин поспешно ретировался за стойку.

---

[34] notes: 34
Заткни пасть (*фр.*).

[35] notes: 35
Мерзавец! (*фр.*)

«Что здесь происходит?» — по-немецки спросил кто-то от двери.

Хозяин расплылся в ухмылке. Хелен обернулась. Немецкий унтер-офицер, которого я только что выдумал для Анри, действительно стоял на пороге.

«Он пострадал?» — спросил унтер-офицер.

«Этот негодяй? — Хелен кивнула на Анри, который, прижимая кулаки к промежности и подтянув колени, все еще сидел на полу. — Это не кровь! Это дюбонне!»

«Вы немцы?» — спросил унтер-офицер.

«Да, — ответил я. — И нас обокрали».

«У вас есть документы?»

Хозяин ухмыльнулся, похоже, он немного понимал по-немецки.

«Конечно! — возмущенно воскликнула Хелен. — Прошу вас, помогите нам! — Она предъявила свой паспорт. — Я сестра обер-штурмбаннфюрера Юргенса. Вот… — Она показала на дату в паспорте. — Мы живем во дворце… — Она произнесла название, которого я в жизни не слыхал. — И на один день приехали в Бордо. Вещи мы оставили здесь, у этого ворюги. Теперь он утверждает, что в глаза их не видал. Помогите нам, пожалуйста!»

Она снова напустилась на хозяина. «Это правда?» — спросил его унтер-офицер.

«Конечно, правда! Немецкая женщина не лжет!» — процитировала Хелен один из идиотских лозунгов режима.

«А вы кто?» — спросил у меня унтер-офицер.

«Шофер», — сказал я, хлопнув по своему комбинезону.

«Ну, живо!» — рявкнул унтер-офицер на хозяина.

Тот перестал ухмыляться.

«Не закрыть ли нам вашу лавочку?» — осведомился унтер-офицер.

Хелен перевела с огромным удовольствием да еще и добавила порцию «salauds» и «sales étrangers»[36]. Последнее меня особенно восхитило; с наслаждением назвать француза в его собственной стране грязным иностранцем мог лишь тот, кто часто слышал такое по своему адресу.

«Анри! — тявкнул хозяин. — Куда ты девал вещи? Я ничего не знаю, — объяснил он унтер-офицеру, — это его рук дело».

«Он лжет, — перевела Хелен. — Сваливает вину

---

[36] notes: 36
Грязные иностранцы (*фр.*).

на вон того гориллу. Давай вещи, — сказала она хозяину. — Живо! Или мы вызовем гестапо!»

Хозяин дал пинка Анри. Тот куда-то скрылся. «Извините, — сказал хозяин унтер-офицеру. — Недоразумение. Стаканчик?»

«Коньяку, — ответила Хелен. — Самого лучшего».

Хозяин поставил стакан на стойку. Хелен смотрела на него. Он добавил еще два стакана. «Вы храбрая женщина», — сказал унтер-офицер.

«Немецкая женщина ничего не боится», — процитировала Хелен нацистскую идеологию и отложила в сторону разбитую бутылку перно.

«Какая у вас машина?» — поинтересовался унтер-офицер.

Я твердо посмотрел ему прямо в безобидные серые глаза. «Мерседес», машина фюрера, само собой!»

Он кивнул. «Хорошо здесь, правда? Не как дома, но хорошо, вы согласны?»

«Очень хорошо. Но не как дома, понятно».

Мы выпили. Коньяк был превосходный. Анри принес наши вещи, положил на стул. Я проверил рюкзак. Все на месте.

«Порядок», — сказал я унтер-офицеру.

«Это работник виноват, — заявил хозяин. — Ты

уволен, Анри! Катись отсюда!»

«Спасибо, унтер-офицер, — сказала Хелен. — Вы настоящий немец и кавалер».

Унтер-офицер взял под козырек. Ему не было и двадцати пяти. «Тут еще счет за разбитые бутылки дюбонне и перно», — сказал хозяин, который опять набрался храбрости.

Хелен перевела, добавив: «Он не кавалер. Это была самооборона».

Унтер-офицер взял со стойки ближайшую бутылку. «Позвольте, — галантно произнес он. — В конце концов, не зря же мы победители!»

«Мадам не пьет куантро, — сказал я. — Берите коньяк, унтер-офицер, хоть он уже и почат».

Унтер-офицер преподнес Хелен бутылку. Я сунул ее в рюкзак. У дверей мы попрощались. Я опасался, что солдат захочет проводить нас до «Мерседеса», но Хелен ловко все уладила. «У нас такое случиться не может, — гордо объявил на прощание молодой солдат. — У нас везде порядок!»

Я проводил его взглядом. Порядок, думал я. С пытками, выстрелами в затылок и массовыми убийствами! Лично я предпочту сотню тысяч мелких мошенников вроде здешнего хозяина!

«Как самочувствие?» — спросила Хелен.

«Нормально. Не знал, что ты умеешь так браниться».

Она рассмеялась: «В лагере выучилась. Как это освобождает! Год интернирования вдруг свалился с плеч! Но ты-то где научился драться разбитыми бутылками и пинком делать мужиков евнухами?»

«В борьбе за права человека, — ответил я. — Мы живем в эпоху парадоксов. Для сохранения мира ведем войну».

Почти так оно и было. Приходилось лгать и обманывать, чтобы защититься и выжить. В ближайшие недели я крал у крестьян фрукты с деревьев и молоко из погребов. Счастливое время. Опасное, смехотворное, иногда унылое и часто забавное — но отнюдь не горькое. Я только что рассказал вам про инцидент с хозяином; вскоре число подобных случаев возросло. Наверно, вам и это знакомо?

Я кивнул:

— Если удавалось посмотреть на них так, то часто было смешно.

— Я научился, — сказал Шварц. — Благодаря Хелен. Она больше не копила прошлое. То, что я ощущал лишь временами, стало в ней сияющей реальностью. Прошлое каждый день отламы-

валось от нее, как ломается лед за всадником, скачущим по Боденскому озеру. Зато все стремилось в настоящее. То, что у других распределяется по всей жизни, у нее сосредоточивалось в мгновении, но не цепенило ее. Она была совершенно раскрепощена, весела, как Моцарт, и неумолима, как смерть. Понятия морали и ответственности, в их тягостном смысле, более не существовали; их место заняли высшие, почти неземные законы. Для другого у нее не было времени. Она искрилась словно фейерверк, но без пепла. Не хотела, чтобы ее спасали; тогда я еще в это не верил. Она знала, что ее не спасти. Но поскольку я настаивал, соглашалась… и я, глупец, тащил ее по дороге скорби, по всем двенадцати остановкам, от Бордо до Байонны, а потом по бесконечному пути в Марсель и сюда.

Когда мы добрались до дворца, он оказался занят. Мы увидели мундиры, солдат, которые волокли деревянные верстаки, и нескольких офицеров в летчицких бриджах и блестящих сапогах, которые расхаживали вокруг, как павлины.

Мы смотрели на них из парка, спрятавшись за буком и мраморной богиней. Был ласковый предвечерний час. «У нас там что-то осталось?» — спросил я.

«Яблоки на деревьях, воздух, золотой октябрь и наши грезы», — ответила Хелен.

«Их мы оставляли повсюду, — сказал я. — Как летучие осенние паутинки».

Офицер на террасе отдал несколько резких приказаний. «Голос двадцатого столетия, — сказала Хелен. — Идем. Где сегодня заночуем?»

«Выспимся где-нибудь в сене, — сказал я. — А может, и на кровати. Во всяком случае, вместе».

XVI

— Помните площадь перед консульством в Байонне? — спросил Шварц. — Очереди беженцев в четыре ряда, которые потом спутывались и в панике загораживали вход, отчаянно стонали, плакали и дрались за место?

— Помнится, были листочки с номерами, — ответил я.

— Они давали право стоять снаружи. Тем не менее толпа загораживала вход. Когда открывали окна, стон нарастал, превращался в крик и вой. Паспорта выбрасывали в окна. А там целый лес вытянутых рук!

Из двух женщин, которые еще не отправились на боковую, та, что посимпатичнее, подошла к нам, зевнула.

— Странные вы люди, — сказала она. — Все говорите, говорите! А нам пора спать. Если желаете посидеть где-нибудь еще, так все кафе в городе опять открыты.

Она отворила дверь. Белое и крикливое, внутрь ворвалось утро. Светило солнце. Она опять закрыла дверь. Я посмотрел на часы.

— Корабль отплывает не сегодня, — сказал Шварц. — Завтра вечером.

Я ему не поверил. Он понял.

— Идемте куда-нибудь, — сказал он.

После тишины кафе уличный шум был в первую секунду почти невыносим. Шварц остановился.

— Сплошь беготня и крик! — Он смотрел на ораву ребятишек, тащивших корзины с рыбой. — Все продолжается! Будто никто не отсутствует!

Мы спустились к гавани. Вода волновалась, дул прохладный и сильный ветер, солнце светило ярко, но не грело; такелаж скрипел, и каждый человек был очень занят утром, работой и собой. Мы скользили сквозь всю эту деловитость, словно увядшие листья.

— Вы по-прежнему не верите, что корабль отойдет только завтра? — спросил Шварц.

В беспощадном свете он выглядел до крайности

усталым и осунувшимся.

— Не могу поверить, — ответил я. — Раньше вы говорили, он отплывает сегодня. Давайте спросим. Для меня это слишком важно.

— Так же важно было и для меня. А потом вдруг стало не важно.

Я не ответил. Мы пошли дальше. Внезапно меня охватило безумное нетерпение. Плещущая, беспокойная жизнь звала. Ночь миновала. Зачем заклинать тени?

Мы остановились перед конторой, увешанной проспектами. В витрине стояла белая табличка, сообщавшая, что отплытие корабля отложено на следующий день.

— Скоро я закончу, — сказал Шварц.

Я выиграл день. Несмотря на табличку, подергал дверь. Еще заперта. Человек десять наблюдали за мной. С разных сторон приблизились на несколько шагов, когда я нажал на ручку. Эмигранты. Увидев, что дверь заперта, они отвернулись и опять сделали вид, будто рассматривают витрины.

— Вот видите, время у вас пока есть, — сказал Шварц и предложил выпить в гавани кофе.

Он торопливо глотал горячий кофе, обхватив чашку руками, словно озяб.

— Который час? — спросил он.

— Половина восьмого.

— Час, — пробормотал он. — Через час придут. — Он поднял глаза. — Я не собираюсь рассказывать вам иеремиаду. Вы так это воспринимаете?

— Нет.

— А как?

Я помедлил.

— Как историю любви.

Его лицо вдруг расправилось.

— Спасибо. — Он опять сосредоточился. — В Биаррице началась катастрофа. Я прослышал, что из Сен-Жан-де-Люс отплывет небольшое судно. Это оказалось неправдой. Вернувшись в пансион, я увидел, что Хелен с искаженным лицом лежит на полу. «Судорога, — прошептала она. — Сейчас пройдет. Оставь меня!»

«Я сейчас же вызову врача!»

«Не надо врача, — с трудом прошептала она. — Не надо. Сейчас пройдет. Уходи! Возвращайся через пять минут. Оставь меня одну! Делай, как я говорю! Не надо врача! Уходи же! — крикнула она. — Я знаю, что говорю. Приходи через десять минут. Тогда можешь…»

Она жестом велела мне уйти. Говорить уже

не могла, но глаза были полны такой страшной, непонятной мольбы, что я вышел. Стоял на улице, смотрел на мостовую. Потом спросил, где здесь найти врача. Мне сказали, что некий доктор Дюбуа живет неподалеку, всего в нескольких кварталах. Я поспешил туда. Он оделся и пошел со мной.

Когда мы вернулись, Хелен лежала на кровати. Лицо было мокрое от пота, но она немного успокоилась. «Ты привел врача», — сказала она так враждебно, словно я ее злейший враг.

Танцующей походкой доктор Дюбуа шагнул ближе. «Я не больна», — сказала она.

«Мадам, — улыбнулся Дюбуа, — не лучше ли предоставить судить об этом врачу?»

Он открыл сумку, достал инструменты.

«Оставь нас одних», — сказала мне Хелен.

В замешательстве я вышел вон. Вспомнил, что говорил врач в лагере. Бродил взад-вперед по улице, смотрел на мишленовский плакат на гараже напротив. Толстяк из резиновых шлангов обернулся зловещим знаком из кишок и ползучих белых червей. Из гаража доносился перестук молотков, словно кто-то сколачивал железный гроб, и внезапно я осознал, что над нами уже давно нависала угроза, блеклый фон, на котором

наша жизнь приняла более четкие очертания, как лес на солнце перед грозовой тучей.

В конце концов Дюбуа вышел. Подбородок его украшала острая бородка, и был это, вероятно, курортный врач, который прописывал простенькие средства от кашля и похмелья. Завидев его, я пал духом. В Биаррице межсезонье, наверно, он будет рад, сколько бы я ему ни предложил. «Ваша супруга…» — начал он.

Я неотрывно смотрел на него: «Что? Говорите, черт побери, правду или вообще молчите».

Тонкая, очень красивая улыбка на мгновение совершенно его изменила. «Вот, — сказал он, достал бланки рецептов, написал что-то неразборчивое. — Вот! Купите в аптеке. И заберите у них рецепт, когда получите лекарство. Вы сможете пользоваться им неоднократно. Я сделал пометку».

Я взял белый листок, спросил: «Что это?»

«Вам ничего здесь не изменить. Не забудьте! Вам ничего не изменить!»

«Что это? Я хочу знать правду, не надо секретов!»

Он не ответил. «Когда понадобится, ступайте в аптеку, — сказал он. — Вам дадут то, что нужно».

«Что это?»

«Сильное успокоительное. Отпускается только по рецепту врача».

Я взял бумагу. «Сколько я вам должен?»

«Нисколько».

Танцующей походкой он удалился. На углу еще раз обернулся: «Купите его и положите в таком месте, где ваша жена сможет найти. Но не говорите с ней об этом. Она все знает. Поразительная женщина».

«Хелен, — сказал я ей. — Что все это значит? Ты больна. Почему ты не хочешь поговорить со мной?»

«Не мучай меня, — очень устало ответила она. — Позволь мне жить так, как я хочу».

«Не хочешь поговорить со мной об этом?»

Она покачала головой: «Тут не о чем говорить».

«Я не могу тебе помочь?»

«Нет, любимый. На сей раз не можешь. Если б ты мог, я бы сказала».

«У меня остался последний Дега. Можно продать его здесь. В Биаррице есть богачи. Мы выручим за него достаточно денег, чтобы положить тебя в больницу».

«Чтобы меня засадили? Да и толку не будет. Поверь!»

«Все так плохо?»

Она смотрела на меня так затравленно и безутешно, что я прекратил расспросы. Решил позднее сходить к доктору и еще раз с ним поговорить.

Шварц умолк.

— У нее был рак? — спросил я.

Он кивнул.

— Мне бы следовало давным-давно догадаться. Она ездила в Швейцарию, и ей сказали тогда, что можно сделать повторную операцию, но толку не будет. Ее ведь уже оперировали; я видел шрам. Профессор не скрыл от нее правду. Она могла выбрать между еще несколькими бесполезными операциями и коротким кусочком жизни без больницы. Он объяснил ей и что невозможно с определенностью сказать, продлит ли больница ей жизнь. И она решила обойтись без операций.

— И не хотела говорить вам об этом?

— Да. Она ненавидела свою болезнь. Пыталась ее игнорировать. Чувствовала себя осквернённой, словно внутри у нее ползали черви. Ей казалось, болезнь — это студенистая тварь, которая живет в ней и растет. Она думала, что станет мне противна, если я об этом узнаю. А может быть, все-таки надеялась подавить болезнь, не

принимая ее к сведению.

— Вы никогда не говорили с ней об этом?

— Почти никогда, — сказал Шварц. — Она говорила с Дюбуа, а я позднее заставил его рассказать обо всем. От него и получал потом лекарства. Он объяснил мне, что боли будут усиливаться, однако возможно, что все кончится быстро и милосердно. С Хелен я не говорил. Она не хотела. Грозила покончить с собой, если я не оставлю ее в покое. И я сделал вид, что верю ей… что это безобидные судороги.

Нам необходимо было уехать из Биаррица. Мы обманывали друг друга. Хелен следила за мной, я — за ней, но вскоре обман приобрел странную власть. Первым делом он уничтожил то, чего я больше всего боялся: представление о времени. Деление на недели и месяцы распалось, и страх перед краткостью срока, который нам оставался, сделался от этого прозрачным, как стекло. Страх более не застил, а скорее защищал наши дни. Все, что могло помешать, отскакивало от него, внутрь не попадало. Приступы отчаяния случались со мной, когда Хелен спала. Тогда я смотрел на ее лицо, которое тихонько дышало, смотрел на свои здоровые руки и понимал ужасающее одиночество, на какое нас обрекает наша кожа,

раздел, через который не перекинуть мост. Ни одна капля моей здоровой крови не могла спасти любимую больную кровь. Это непостижимо, и смерть непостижима.

Мгновение становилось всем. Утро лежало в бесконечной дали. Когда Хелен просыпалась, начинался день, а когда спала и я чувствовал ее рядом, начинались переливы надежды и безутешности, планов, выстроенных на песке грез, прагматических чудес и философии еще-обладания и закрывания глаз, но на рассвете все они гасли и тонули в тумане.

Похолодало. Я носил при себе Дега, который воплощал деньги на переезд в Америку, и сейчас бы с радостью продал его, но в маленьких городках и деревнях не находилось желающих заплатить за него. Случалось, мы работали, то тут, то там. Я освоил работу в поле. Рыхлил, копал — хотел что-нибудь делать. Таких, как мы, было много. Я видел, как профессора пилили дрова, а оперные певцы окучивали свеклу. Ну а крестьяне есть крестьяне, они не упускали случая использовать дешевую рабочую силу. Одни немножко платили, другие давали еду и какой-никакой ночлег. Третьи гнали просителей прочь. Так мы шли-ехали в Марсель. Вы были в Марселе?

— А кто там не был? — сказал я. — Охотничьи угодья жандармов и гестапо. Они отлавливали эмигрантов возле консульств, как зайцев.

— И нас чуть не поймали, — сказал Шварц. — Причем префект из марсельского Service étrangers[37] делал все, чтобы спасти эмигрантов. Я по-прежнему был одержим мыслью добыть американскую визу. Мне казалось, она даже рак остановит. Вы ведь знаете, визу не выдавали, если не удавалось доказать, что ты в большой опасности или включен в Америке в список известных деятелей искусства, ученых и интеллектуалов. Словно мы все не были в опасности… словно человек не человек! Разве различие между важными и обычными людьми не есть отдаленная параллель сверхчеловекам и недочеловекам?

— Они не могут принять всех, — возразил я.

— Да? — спросил Шварц.

Я не ответил. Что тут ответишь? «Да» и «нет» равнозначны.

— Почему бы тогда не принять самых одиноких и покинутых? — спросил Шварц. — Тех, у кого нет ни имени, ни заслуг?

Я опять не ответил. Шварц имел две амери-

---

[37] notes: 37
Департамент по делам иностранцев (*фр.*).

канские визы — куда он клонит-то? Разве он не знал, что Америка давала визу каждому, за кого кто-нибудь в стране ручался, что он не станет обузой для государства?

Он сказал об этом в следующий миг:

— Я никого за океаном не знаю, но мне дали адрес в Нью-Йорке. Я написал — туда и еще в другие места. Обрисовал наше положение. Потом кто-то из знакомых сказал мне, что я действовал неправильно: больных в Соединенные Штаты не пускают. Тем более неизлечимых. Я должен выдать Хелен за здоровую. Хелен подслушала часть нашего разговора, что было неизбежно, — в этом безумном улье, Марселе, все говорили только об одном.

В тот вечер мы сидели в ресторане поблизости от улицы Каннебьер. По городу гулял ветер. Я не пал духом. Надеялся найти человечного врача, который выпишет справку, что Хелен здорова. Мы по-прежнему играли в привычную игру: что верим друг другу, что я ни о чем не знаю. Я написал префекту ее лагеря, попросил подтвердить, что мы в опасности. Мы нашли комнатушку, я достал недельное разрешение на жительство и ночами нелегально работал судомоем в ресторане, у нас было немного денег, и по рецепту Дюбуа некий

аптекарь выдал мне десять ампул морфия, иначе говоря, пока мы ни в чем не нуждались.

Мы сидели в ресторане у окна, смотрели на улицу. Вполне позволительная роскошь, ведь мы могли целую неделю не прятаться. Как вдруг Хелен испуганно схватила меня за руку. Она смотрела в ветреную тьму. «Георг!» — прошептала она.

«Где?»

«Вон там, в открытой машине. Я узнала его. Он как раз проезжал мимо».

«Ты точно его узнала?»

Она кивнула.

Мне это казалось почти невозможным. Я попробовал разглядеть людей в проезжающих мимо автомобилях. Не сумел, но тревога не унялась.

«С какой стати он должен быть именно в Марселе?» — спросил я и тотчас сообразил, что коль скоро он где-то должен быть, то, конечно же, в Марселе — последнем пристанище эмигрантов из Франции.

«Нам необходимо уехать отсюда», — сказал я.

«Куда?»

«В Испанию».

«Разве Испания не еще опаснее?»

Ходили слухи, что в Испании гестапо хозяйни-

чает как дома и что эмигрантов хватают и сдают властям, но слухов в ту пору ходило огромное количество, и принимать их все на веру было невозможно.

Я снова испробовал старый прием: испанскую транзитную визу, которую выдавали только при наличии португальской, что опять-таки зависело от визы в другую страну. Вдобавок надо было справиться еще и с самой загадочной из всех бюрократических каверз — получить выездную французскую визу.

Однажды вечером нам повезло. С нами заговорил какой-то американец. Он был слегка навеселе и искал, с кем бы поболтать по-английски. Через несколько минут он сидел за нашим столиком и угощал нас вином. Молодой парень, лет двадцати пяти, он ждал парохода, чтобы вернуться в Америку. «Почему бы и вам не уехать?» — спросил он.

Я помолчал. Наивный вопрос словно разорвал скатерть между нами. Напротив сидел человек с другой планеты. Для него отъезд был столь же естествен, как разговор, для нас же недостижим, как созвездие Плеяд. «У нас нет виз», — в конце концов сказал я.

«Так получи́те их завтра. В нашем консульстве

здесь, в Марселе. Там очень милые люди».

Я знал этих милых людей. Полубоги; чтобы увидеть хотя бы их секретарей, приходилось часами ждать на улице. Позднее разрешили ждать в подвале, потому что на улице эмигрантов нередко ловили гестаповцы.

«Завтра я схожу с вами туда», — сказал американец.

«Хорошо», — ответил я, но не поверил ему.

«Давайте за это выпьем».

Мы выпили. Я смотрел на свежее, простодушное лицо и едва мог вынести это зрелище. Хелен в этот вечер, когда американец рассказывал нам о море огней на Бродвее, казалась почти прозрачной. Сказочные истории в мрачном городе. Я видел лицо Хелен, когда звучали имена актеров, названия спектаклей и ресторанов, когда речь шла обо всей этой приятной суматохе в городе, который никогда не знал войны; я чувствовал себя паршиво и вместе с тем радовался, что она слушает, ведь до сих пор она встречала все, что касалось Америки, со странной молчаливой пассивностью. В табачном дыму ресторана ее лицо мало-помалу оживало, она смеялась и обещала пойти с молодым человеком на некий спектакль, который он особенно любил, мы пили, прекрасно

зная, что завтра все будет забыто.

Но нет, не забыто. В десять часов американец зашел за нами. Я мучился похмельем, а Хелен идти отказалась. Под дождем мы приблизились к плотной толпе эмигрантов. Точно во сне, прошли сквозь нее, она расступилась перед нами, как Чермное море перед израильскими эмигрантами фараона. Зеленый паспорт американца был сказочным золотым ключиком, который отворял все двери.

Случилось непостижимое. Услышав, в чем загвоздка, молодой человек непринужденно заявил, что готов за нас поручиться. Полный абсурд, подумал я, ведь он так молод. Мне казалось, для этого он должен быть постарше меня. В консульстве мы провели около часа. Уже за несколько недель до того я написал им, почему мы в опасности. С трудом, благодаря вторым и третьим лицам, получил через Швейцарию подтверждение, что, во-первых, сидел в Германии в лагере, а во-вторых, что Георг разыскивает Хелен и меня, чтобы вернуть в страну. Мне велели зайти на следующей неделе. На улице молодой американец пожал мне руку. «Очень приятно, что мы встретились. Вот, — он достал визитную карточку, — позвоните мне, когда будете в Нью-Йорке».

Он кивнул мне и хотел уйти. «А если что-нибудь случится? Если вы мне еще понадобитесь?» — спросил я.

«Что может случиться? Все в порядке. — Он рассмеялся. — Мой отец — человек весьма известный. Я слыхал, завтра отходит судно в Оран, хочу съездить туда перед возвращением. Кто знает, когда я опять приеду. Лучше посмотреть все, что можно».

Он исчез. Пять-шесть эмигрантов окружили меня, допытываясь про его имя и адрес; они догадывались, что произошло, и хотели для себя того же. Когда я ответил, что не знаю, где он живет в Марселе, они меня обругали. А я вправду не знал. Показал им карточку с американским адресом. Они его записали. Сказал им, что все без толку, он собирается в Оран. Они объявили, что в таком случае будут ждать его возле судна. Домой я вернулся в двойственном настроении. Может, я все испортил, показав им карточку, но в тот миг я был растерян, и чем дальше я шел, тем безнадежнее представлялось мне все вообще.

Я так и сказал Хелен. Она улыбнулась. Тем вечером она была очень кроткой. В маленькой комнатушке, которую мы сняли у арендатора — вы ведь знаете адреса, что передаются из уст в

уста, — без устали распевала зеленая канарейка, уход за которой мы взяли на себя. Чужая кошка снова и снова приходила по соседним крышам и сидела на окне, устремив неподвижный взгляд желтых глаз на птичку в подвешенной к потолку клетке. Несмотря на холод, Хелен не закрывала окна. Я знал, что ее мучают боли, это один из признаков.

Дом затих поздно. «Ты еще помнишь маленький дворец?» — спросила Хелен.

«Помню так, словно мне о нем рассказывали, — ответил я. — Словно там жил не я, а кто-то другой».

Она взглянула на меня. «Возможно, так оно и есть. У каждого человека много личностей. Совершенно разных. Иногда они становятся самостоятельны и на время забирают власть, и ты совсем другой человек, которого знать не знал. Но прежний возвращается. Разве нет?» — настойчиво спросила она.

«Во мне отродясь не было нескольких личностей, — сказал я. — Я всегда один и тот же».

Она резко тряхнула головой. «Как ты ошибаешься! Придет время, и ты заметишь, как ошибаешься».

«Что ты имеешь в виду?»

«Забудь. Глянь на кошку в окне! И на ничего не подозревающую поющую птичку! Жертва ликует, да как!»

«Кошке никогда до нее не добраться. В клетке птица в безопасности».

Хелен расхохоталась.

«В клетке в безопасности, — повторила она. — Кому хочется безопасности в клетке?»

Под утро мы проснулись. Консьержка ругалась и кричала. Я открыл дверь, одетый и готовый к бегству, однако полиции не увидел. «Кровища! — кричала консьержка. — Другого места не нашла? Вот свинство! А теперь заявится полиция! И все оттого, что относишься к людям по-доброму! Тебя используют! И квартирную плату она за пять недель задолжала!»

В узком сумеречно-сером коридоре толпились соседи, заглядывая в соседнюю комнату. Там покончила с собой женщина лет шестидесяти. Перерезала вену на левой руке. Кровь по кровати стекла на пол. «Сходите за врачом», — сказал Лахман, эмигрант из Франкфурта, торговавший в Марселе четками и образками святых.

«Врача! — запричитала консьержка. — Она уже несколько часов мертва, неужто не видите? Вот так и бывает, когда пускаешь вашего брата! Те-

перь заявится полиция! Пускай вас всех арестует! А кровать… кто все это уберет?»

«Мы можем все убрать, — сказал Лахман. — Только давайте без полиции!»

«А квартплата? Как насчет квартплаты?»

«Мы соберем деньги, — сказала старуха в красном кимоно. — Куда нам иначе деваться? Имейте сочувствие!»

«Я сочувствовала! А меня просто используют, вот и все! Какие ж у нее вещи? Да никаких!»

Консьержка шарила по комнате. Единственная голая лампочка светилась тусклым желтым светом. Под кроватью стоял чемодан из самой дешевой вулканизированной фибры. Присев на корточки в изножье железной кровати, где не было крови, консьержка вытащила чемодан. Толстой задницей, обтянутой полосатым домашним платьем, она походила на огромное мерзкое насекомое, которое собирается сожрать свою добычу. Открыла чемодан. «Ничего! Рвань какая-то! Худые туфли».

«Вон там, смотрите!» — сказала старуха. Ее звали Люция Лёве, она нелегально продавала бракованные чулки и склеивала разбитый фарфор.

Консьержка открыла коробочку. На розовой вате лежали цепочка и кольцо с маленьким

камешком.

«Золото? — спросила толстуха. — Наверняка просто позолоченные!»

«Золото», — сказал Лахман.

«Будь это золото, она бы его продала, — сказала консьержка, — прежде чем кончать с собой».

«Такое не всегда совершают от голода, — спокойно отозвался Лахман. — Это золото. А камешек — рубин. Стоят по меньшей мере семьсот-восемьсот франков».

«Чепуха!»

«Если хотите, могу продать для вас».

«И заодно охмурить меня, да? Нет уж, милый мой, не на ту напали!»

Вызвать полицию ей все же пришлось. Никуда не денешься. Эмигранты, жившие в доме, тем временем исчезли. Большинство отправилось по обычным маршрутам — в консульства, или что-нибудь продать, или искать работу, а иные в ближайшую церковь, чтобы дождаться вестей от собрата, оставленного на уличном углу в качестве дозорного. Церкви были безопасны.

Там как раз служили мессу. В боковых проходах сидели перед исповедальнями женщины — темные холмики в черных платьях. Неподвижными огоньками горели свечи, играл орган, свет

искрился на золотом кубке, который поднимал священник и в котором была кровь Христа, принесшего ею избавление миру. К чему это привело? К кровавым крестовым походам, религиозному фанатизму, пыткам инквизиции, сожжениям ведьм и убийствам еретиков — все во имя любви к ближнему.

«Может, пойдем на вокзал, а? — предложил я Хелен. — В зале ожидания теплее, чем здесь, в церкви».

«Погоди еще минутку».

Она прошла к скамье под кафедрой, преклонила колени. Не знаю, молилась ли она и кому молилась, но мне самому вдруг вспомнился тот день, когда я ждал ее в оснабрюкском соборе. Тогда я встретился с человеком, которого не знал и который день ото дня становился и незнакомее, и знакомее. Теперь было так же, но она ускользала от меня, я чувствовал, ускользала туда, где уже нет имен, одна только тьма и, быть может, неведомые законы тьмы… она этого не желала и возвращалась, но уже не принадлежала мне так, как я хотел думать, пожалуй, так она не принадлежала мне никогда; кто кому принадлежит и что значит — принадлежать друг другу, обывательское название безнадежной иллюзии?

Однако, когда она, по ее словам, возвращалась — на один час, на один взгляд, на одну ночь, я казался себе бухгалтером, которому до́лжно не подсчитывать, а без вопросов принимать все, что для него являет собой ускользающая, несчастная, любимая, про́клятая! Знаю, для этого есть иные названия, ничего не стоящие, скоропалительные и критические… но они годятся для других обстоятельств и для людей, полагающих, будто их эгоистичные законы суть вотивные таблички Господа. Одиночество ищет спутника и не спрашивает, кто он. Кому это непонятно, тот никогда не был одинок, просто был один.

«О чем ты молилась?» — спросил я и сразу пожалел, что спросил.

Хелен как-то странно посмотрела на меня. «О визе в Америку», — сказала она, и я понял, что она лжет. На секунду подумал, что она молилась о прямо противоположном, потому что постоянно чувствовал ее пассивное сопротивление отъезду. «Америка? — сказала она однажды ночью. — Что тебе там нужно? Зачем бежать в такую даль? В Америке вновь будет другая Америка, куда тебя потянет, потом новая чужбина, разве ты не понимаешь?» Она уже не хотела новизны. Ни во что уже не верила. Смерть, пожиравшая ее,

более не желала бегства. Командовала ею, как вивисектор, наблюдающий, что происходит, если изменить и разрушить один орган, и еще один, одну клетку, и еще одну. Болезнь разыгрывала с нею жестокий маскарад, вроде того безобидного, какой мы устраивали во дворце, и порой на меня сверкающими глазами на узеньком лице смотрел человек, меня ненавидящий, а порой — беззаветно преданный, порой до ужаса храбрый игрок, порой женщина, сплошь состоящая из голода и отчаяния, а в конце концов вновь человек, который лишь через меня возвращался из тьмы и был за это благодарен в своем испуганном и бесстрашном ужасе перед угасанием.

Пришел дозорный, сообщил, что полиция уехала.

«Надо было пойти в музей, — сказал Лахман, — там топят».

«Здесь есть музей?» — спросила молодая горбунья; ее мужа арестовали жандармы, и она уже полтора месяца ждала его.

«Конечно».

Я невольно подумал о покойном Шварце и спросил у Хелен: «Пойдем туда?»

«Не сейчас. Идем обратно».

Я не хотел, чтобы она еще раз увидела покойни-

цу, но она стояла на своем. Когда мы вернулись, консьержка уже успокоилась. Вероятно, успела оценить цепочку и кольцо. «Бедная женщина, — сказала она. — У нее теперь даже имени нет».

«У нее что же, не было документов?»

«Только sauf-conduit[38]. Его забрали другие, еще до приезда полиции, жребий тянули, кому он достанется. Выиграла рыжая малютка».

«А, ну да, конечно, у нее ведь вообще нет документов. Покойница наверняка не стала бы возражать».

«Хотите ее увидеть?»

«Нет», — сказал я.

«Да», — сказала Хелен.

Я пошел с ней. Покойница истекла кровью до последней капли. Когда мы поднялись наверх, две эмигрантки как раз ее обмывали. Переворачивали, как белую доску. Волосы свисали до полу. «Вон!» — прошипела мне одна.

Я вышел. Хелен осталась. Немного погодя я вернулся за нею. Она стояла одна в узкой комнатушке, у изножия кровати и смотрела на белое, запавшее лицо, один глаз на котором был приоткрыт. «Идем», — сказал я.

---

[38] notes: 38
Пропуск (*фр.*).

«Вот как выглядит конец, — прошептала она. — Где ее похоронят?»

«Не знаю. Там, где хоронят бедняков. Если придется платить, консьержка будет собирать деньги».

Хелен промолчала. В открытое окно задувал холод. «Когда ее похоронят?» — спросила она.

«Завтра или послезавтра. А может, заберут на вскрытие».

«Зачем? Они разве не верят, что она покончила с собой?»

«Да нет, вряд ли не верят».

Подошла консьержка. «Завтра ее заберут в клинику на вскрытие. На таких трупах молодые врачи учатся оперировать. Ей без разницы, а им не придется тратить деньги. Хотите чашечку кофе?»

«Нет», — сказала Хелен.

«А я выпью, — сказала консьержка. — Странно, сколько от этого волнений, да? А ведь мы все умрем».

«Да, — сказала Хелен. — Но никто не хочет в это верить».

Ночью я проснулся. Хелен сидела на кровати и словно прислушивалась. «Ты тоже чуешь?» — спросила она.

«Что?»

«Покойницу. Ее запах. Закрой окно».

«Никакого запаха нет, Хелен. Не так это быстро».

«Нет, есть».

«Наверно, это из-за веток». Эмигранты скинулись и поставили возле покойницы несколько лавровых веточек и свечу.

«Зачем они поставили там ветки? Завтра ее разрежут на куски, а потом бросят эти куски в ведро и продадут на корм животным».

«Не продадут. Сецированный труп сожгут или захоронят», — сказал я, обняв Хелен за плечи. Она высвободилась. «Я не хочу, чтобы меня резали на куски».

«Да с какой стати тебя станут резать на куски?»

«Обещай мне», — сказала она, не слушая.

«Конечно, обещаю».

«Закрой окно. Я опять чую этот запах».

Я встал, закрыл окно. В небе ярко сияла луна, у окна сидела кошка. Она фыркнула и скакнула прочь, когда створка окна задела ее. «Что это было?» — спросила у меня за спиной Хелен.

«Кошка».

«Она тоже чует, видишь?»

Я обернулся. «Она сидит здесь каждую ночь, ждет, что канарейка выберется из клетки. Спи, Хелен. Тебе приснился сон. Досюда не достигают никакие запахи из той комнаты».

«Тогда пахнет от меня?»

Я воззрился на нее. «Ни от кого здесь не пахнет, Хелен, тебе приснилось».

«Если не от нее, то, значит, от меня. Кончай врать!» — неожиданно резко бросила она.

«Господи, Хелен, ни от кого тут не пахнет! Если б чем-то и могло пахнуть, то чесноком из ресторана внизу. Вот! — Я взял флакончик одеколона (в ту пору я торговал им из-под полы) и побрызгал в комнате. — Ну вот, теперь воздух свежий».

Она по-прежнему сидела в постели. «Значит, признаёшь, — сказала она. — Иначе бы не стал брызгать одеколоном».

«Тут нечего признавать. Я просто хотел тебя успокоить».

«Я знаю, что ты так думаешь, — сказала она. — Думаешь, что от меня пахнет. Как от той, от соседки. Не лги! Я по твоим глазам вижу, давно уже! Думаешь, я не чувствую, как ты на меня смотришь, когда воображаешь, что я не вижу! Знаю, я тебе противна, я это знаю, вижу, чувствую каждый день. Знаю, что́ ты думаешь! Ты

не веришь тому, что говорят врачи! Ты веришь кой-чему другому и думаешь, что можешь учуять запах, и я тебе противна! Почему бы не сказать честно?»

Некоторое время я стоял не шевелясь. Если ей есть что еще сказать, пусть говорит. Но Хелен молчала. Я чувствовал, как она дрожит. Она сидела в постели, расплывчатая, бледная, склоненная фигура, опирающаяся на руки, с огромными глазами в темных глазницах и с ярко накрашенными губами (уже который день она красила губы и перед сном), и смотрела на меня — как раненый зверек, который вот-вот бросится на меня.

Успокоилась она далеко не сразу. В конце концов я спустился на второй этаж к Бауму и купил у него фляжечку коньяка. Мы сидели на кровати, пили коньяк и ждали утра. Санитары, забиравшие покойницу, явились спозаранку. Тяжелыми башмаками протопали вверх по лестнице. Носилки задевали за стены узкого коридора. Их шуточки глухо доносились сквозь тонкую стену. Часом позже пришли новые жильцы.

XVII

— Несколько дней я торговал кухонной утварью, жестяными терками, ножами, овощерезка-

ми и прочей мелочью, для которой не требуется подозрительного чемодана. Дважды я возвращался в нашу комнату раньше обычного и не заставал Хелен. Ждал и тревожился, но консьержка говорила, что за ней никто не приходил. Она просто ушла несколько часов назад. Так бывало довольно часто.

Вернулась она поздно вечером. Лицо замкнутое. На меня даже не посмотрела. Я не знал, что делать, но не спросить было бы еще более странно, чем спросить. Так что я все-таки спросил: «Где ты была, Хелен?»

«Гуляла», — ответила она.

«В такую погоду?»

«Да, в такую погоду. Не контролируй меня!»

«Я не контролирую. Просто боялся, что тебя схватила полиция».

Она резко засмеялась: «Меня полиция больше не схватит».

«Хотелось бы верить».

Она воззрилась на меня. «Если продолжишь расспросы, я опять уйду. Терпеть не могу, когда за мной все время следят, неужели непонятно? Домá на улице за мной не следят! Им нет до меня дела. И прохожим нет до меня дела. Они не задают вопросов и не следят за мной!»

Мне стало ясно, к чему она клонит. На улице никто не знал о ее болезни. Там она была не пациенткой, а просто женщиной. И хотела оставаться женщиной. Хотела жить. Быть пациенткой означало для нее — медленно умирать.

Ночами она плакала во сне. А утром все забывала. Она не выносила сумерек. Они ложились на ее испуганную душу как отравленная паутина. Я видел, что ей требуется все больше наркотиков. Спросил Левисона, бывшего врача, промышлявшего теперь гороскопами. Он сказал, что для чего-либо другого давно уже слишком поздно. Повторил слова Дюбуа.

Отныне Хелен часто приходила домой поздно. Боялась моих расспросов. Но я не расспрашивал. Однажды, когда я был один, принесли букет роз. Я ушел, а когда вернулся, он исчез. Она начала пить. Несколько человек почли своим долгом сообщить мне, что видели ее в барах, не в одиночестве. Я цеплялся за американское консульство. У меня уже было разрешение ожидать в передней, но дни шли, и ничего не происходило.

Потом меня поймали. В двадцати метрах от консульства полиция вдруг перекрыла все доступы. Я попытался добраться до консульства, но только вызвал подозрения. Тот, кто находился в кон-

сульстве, был спасен. Увидев, как Лахман исчез за дверью, я вырвался, пробился сквозь оцепление и упал, потому что жандарм подставил мне ножку. «Этого заберите в любом случае! — сказал улыбающийся человек в штатском. — Очень уж он спешит!» Они проверили наши документы. Шестерых арестовали. Полиция ушла. Неожиданно мы очутились в окружении штатских. Нас оттеснили подальше, затолкали в крытый грузовик и отвезли в какой-то дом в предместье, уединенно стоявший в саду. Прямо как в плохом фильме, — сказал Шварц. — Но ведь и последние девять лет сплошь были халтурным, кровавым фильмом?

— Гестапо? — спросил я.

Шварц кивнул.

— Сегодня мне кажется чудом, что меня не схватили еще раньше. Я знал, что Георг не перестанет искать нас. Улыбающийся молодой человек так и заявил, когда у меня отобрали документы. К несчастью, среди них был и паспорт Хелен, я захватил его с собой в консульство. «Наконец-то изловили одну из наших рыбок, — сказал молодой человек. — Скоро и вторая приплывет. — Он улыбнулся и рукой в перстнях ударил меня по лицу. — Не так ли, Шварц?»

Я утер кровь, брызнувшую из разбитой перстнями губы. В комнате находились еще двое в штатском.

«Или, может, вы сами сообщите нам адрес?» — спросил улыбающийся молодой человек.

«Я его не знаю, — ответил я. — Я сам ищу жену. Неделю назад мы поссорились, и она сбежала».

«Поссорились? Какой ужас! — Молодой человек опять ударил меня по лицу. — Вот, в наказание!»

«Устроим ему качели, шеф?» — спросил один из молодчиков, стоявших у меня за спиной.

Молодой человек с девичьим лицом опять улыбнулся: «Объясните ему, что такое качели, Мёллер».

Мёллер объяснил, что мои гениталии обвяжут телефонным проводом, а потом станут меня раскачивать.

«Вам это знакомо? Вы ведь уже побывали в лагере?» — спросил молодой человек.

С этим я пока не сталкивался. «Мое изобретение, — сказал он. — Но для начала можно поступить проще. Мы просто перевяжем ваше достоинство так туго, что перекроем доступ крови. Представляете, как вы через час будете вопить! А чтобы вы помалкивали, набьем вам ротик стружкой».

У него были странно стеклянные голубые глаза. «У нас много превосходных приемчиков, — продолжал он. — Знаете, сколько всего можно сделать огоньком?»

Молодчики заржали.

«Тоненькой раскаленной проволочкой, — сказал улыбающийся молодой человек. — Введешь ее не спеша в уши или через ноздри вверх — и много чего добьешься, черный Шварц! Самое замечательное, что вы теперь целиком и полностью в нашем распоряжении, для опытов».

Он с силой наступил мне на ноги. Я почуял его одеколон, когда он стал вплотную передо мной. Я не шевелился. Знал, что сопротивляться бесполезно, а еще бесполезнее разыгрывать храбреца. Мои мучители с величайшим удовольствием все это поломают. И при следующем ударе, нанесенном стеком, я со стоном упал. Они захохотали. «Взбодрите его, Мёллер», — сказал молодой человек вкрадчивым голосом.

Мёллер затянулся сигаретой, наклонился ко мне и поднес ее к моему веку. Боль была такая, словно он ткнул в глаз огнем. Все трое захохотали. «Вставай, малыш», — сказал улыбчивый.

Я с трудом поднялся на ноги. И едва выпрямившись, получил новый удар. «Это упражнения для

разогрева, — пояснил он. — Время у нас есть, целая жизнь, ваша жизнь, Шварц. Симульнете еще раз, будет волшебный сюрприз. На четвереньках в воздух взлетите».

«Я не симулирую, — ответил я. — У меня больное сердце. Возможно, в следующий раз я вообще не встану, что бы вы ни делали».

Улыбчивый обернулся к молодчикам. «У нашего малютки больное сердце, неужто правда?»

Он опять нанес мне удар, но я чувствовал, что произвел впечатление. Передать меня Георгу мертвым он не мог. «Еще не вспомнили адресок? — спросил он. — Проще назвать его сейчас, а не позже, когда останетесь без зубов».

«Я его не знаю. Хотел бы знать».

«Наш малыш — герой. Какая прелесть! Жаль, кроме нас, никто этого не увидит».

Он пинал меня, пока не устал. Я лежал на полу, пытаясь защитить лицо и гениталии. «Так, — наконец сказал он, — а теперь запрем нашего красавчика в погреб. Потом поужинаем и возьмемся за него как следует. Отличное ночное заседание!»

Знакомая песня. Вместе с Шиллером и Гёте это относилось к культуре фаустовского человека, и в лагере в Германии я все это испытал. Но у

меня был с собой яд, обыскали меня небрежно и ампулу не нашли. Кроме того, в отвороте брюк я зашил лезвие, вставленное в кусок пробки, его тоже не нашли.

Я лежал в темноте. Странно, что отчаяние в подобных ситуациях возникает поначалу не оттого, что тебя ждет, а оттого, что так глупо попался.

Лахман видел, как меня схватили. Правда, он не знал, что это гестапо, поскольку все произошло вроде как при участии французской полиции, однако, если я не вернусь максимум через день, Хелен попытается связаться со мной через полицию и, вероятно, узнает, кто держит меня под арестом. Тогда она приедет. Вопрос в том, станет ли смехач дожидаться. Я предполагал, что он незамедлительно информирует Георга. Если тот в Марселе, значит, вечером допросит меня сам.

Георг был в Марселе. Хелен тогда не обозналась. Приехал и взял меня в оборот. Не буду говорить об этом. Когда я терял сознание, меня отливали водой. Потом отволокли обратно в подвал. Только яд, который был у меня, давал мне силы выдержать происходившее. К счастью, Георгу не хватало терпения на изощренные пытки, которые сулил мне смехач, хотя по-своему и он был не промах.

Ночью он явился еще раз, — сказал Шварц. — Сел, расставив ноги, на табуретку передо мной — воплощение абсолютной власти, которую, как нам казалось, мы преодолели еще в девятнадцатом веке и которая тем не менее стала символом века двадцатого… может быть, именно поэтому. В этот день я видел две манифестации зла — смехача и Георга, злодея абсолютного и злодея брутального. Если проводить различие, из них двоих смехач был худшим, он мучил из удовольствия, другой же — чтобы добиться своего. Тем временем у меня сложился план. Необходимо найти способ выбраться из этого дома, вот почему, когда Георг сидел передо мной, я сделал вид, что совершенно сломлен. И заявил, что готов сказать все, если он меня пощадит. На его лице играла сытая, презрительная ухмылка человека, который никогда не бывал в подобной ситуации и оттого уверен, что выдержал бы ее как хрестоматийный герой. Такие типы всегда не выдерживают.

— Знаю, — кивнул я. — Я видел, как выл гестаповский офицер, прищемив себе палец, когда стальной цепью убивал человека. Тот, кого убивали, молчал.

— Георг пнул меня сапогом, — сказал Шварц. —

«Ты еще и условия вздумал ставить, а?» — спросил он.

«Я условий не ставлю, — ответил я. — Но если вы увезете Хелен в Германию, она снова сбежит или покончит с собой».

«Бред!» — буркнул Георг.

«Хелен довольно-таки безразлична к жизни, — сказал я. — Она знает, что у нее неизлечимый рак».

Он уставился на меня: «Врешь, сволочь! У нее женская болезнь, а не рак!»

«У нее рак. Это выяснилось при первой операции в Цюрихе. Уже тогда было поздно. Ей прямо сказали об этом».

«Кто?»

«Тот, кто ее оперировал. Она хотела знать».

«Вот скотина! — рявкнул Георг. — Но я и этого мерзавца сцапаю! Через год Швейцария будет немецкой! Зверюга!»

«Я хотел, чтобы Хелен вернулась домой, — сказал я. — Она отказалась. Но мне кажется, она бы согласилась, скажи я ей, что мы должны расстаться».

«Смешно!»

«Я мог бы обставить все настолько омерзительно, что она бы на всю жизнь меня возненавиде-

ла», — сказал я.

Было видно, что Георг напряженно размышляет. Я подпер голову руками и наблюдал за ним. Даже лоб над переносицей заболел, так я старался внушить ему свою волю.

«Как?» — наконец спросил он.

«Она боится, что, зная о ее болезни, я испытываю к ней отвращение. Если я скажу ей об этом, между нами все будет кончено навсегда».

Георг размышлял. Я мог проследить каждую его мысль. Он понимал, что это предложение ему как нельзя более выгодно. Даже если он пытками выбьет из меня адрес Хелен, она только сильнее возненавидит его; а вот если я поведу себя по отношению к ней как мерзавец, она возненавидит меня, а он сможет выступить в роли избавителя: дескать, что я тебе говорил?

«Где она живет?» — спросил он.

Я назвал фальшивый адрес. «В доме штук пять выходов, — сказал я, — через подвал и переулки. Она легко может скрыться, если придет полиция. И не сбежит, если приду один я».

«Или я», — вставил Георг.

«Она подумает, вы меня убили. У нее есть яд».

«Чепуха!»

Я ждал. «И что ты хочешь взамен?» — спросил

Георг.

«Чтобы вы меня отпустили».

Секунду он усмехался. Казалось, зверь скалит зубы. Я тотчас понял, что он нипочем меня не отпустит. «Ладно, — сказал он, помолчав. — Поедешь со мной. И чтобы без фокусов. Скажешь все при мне». Я кивнул. «Пошли! — Он встал. — Умойся вон там под краном».

«Я забираю его с собой», — сказал он молодчику, который бездельничал в комнате, увешанной оленьими рогами. Тот козырнул и открыл дверцу Георгова автомобиля. «Сюда, рядом со мной, — сказал Георг. — Знаешь дорогу?»

«Не отсюда. От Каннебьер».

Мы ехали сквозь холодную ветреную ночь. Я надеялся где-нибудь, когда машина замедлит ход или остановится, вывалиться наружу, но Георг запер мою дверцу. Кричать нет смысла, никто не придет на помощь человеку в немецкой машине, я и двух раз не успею крикнуть из лимузина с закрытыми окнами, как Георг кулаком отправит меня в беспамятство. «Надеюсь, ты сказал правду, — буркнул он. — Иначе шкуру с тебя спущу да еще и перцем посыплю».

Я съежился на сиденье и упал вперед, когда машина неожиданно затормозила перед

неосвещенной тачкой. «Не изображай обморок, трус!» — рявкнул Георг.

«Мне плохо», — сказал я и медленно выпрямился.

«Слабак!»

Я разорвал нитку на обшлаге брюк. При втором торможении сумел достать бритву, при третьем, когда ударился головой о ветровое стекло, в потемках обхватил ее ладонью.

Шварц поднял взгляд. Мелкий пот выступил у него на лбу.

— Он никогда бы меня не отпустил, — сказал он. — Вы тоже так думаете?

— Конечно, не отпустил бы.

— На повороте я как можно громче крикнул: «Осторожно! Слева!»

Неожиданный крик сделал свое дело, Георг и подумать ничего не успел. Голова его автоматически повернулась налево, он затормозил и крепче обхватил руль. Я бросился на него. Лезвие, вставленное в пробку, было невелико, но я сбоку попал ему в шею, а потом резанул по горлу. Он выпустил руль, схватился за горло. Потом рухнул влево, на дверцу, и плечом нажал на ручку, повернув ее. Машина пошла юзом и врезалась в кусты. Дверца распахнулась, Георг выпал наружу.

Он заливался кровью и хрипел.

Я выбрался за ним следом, прислушался. Меня окружала звенящая тишина, в которой оглушительно ревел мотор. Я вырубил его, и теперь тишина обернулась шелестящим ветром. Это шумела кровь в моих ушах. Я взглянул на Георга, поискал лезвие. Оно поблескивало на подножке автомобиля. Я поднял его, подождал. Как знать, вдруг Георг вскочит; потом я увидел, что он несколько раз шевельнул ногами и затих. Я отбросил лезвие, потом опять поднял и воткнул в землю. Выключил фары, прислушался. Тишина. Что делать дальше, я не придумал, но теперь надо было действовать, и быстро. Чем позже меня обнаружат, тем лучше, каждый час на счету.

Я раздел Георга, собрал его одежду в узел. Потом оттащил тело в кусты. Потребуется время, чтобы найти его, плюс еще некоторое время, чтобы выяснить, кто он. Может, мне повезет и его запишут просто как убитого неизвестного. На пробу я включил мотор. Машина оказалась исправна. Я вывел ее на дорогу. Меня вырвало. В машине я нашел карманный фонарь. Сиденье и дверца были в крови. Но то и другое кожаные, легко отмыть. Вместо тряпки я использовал Георгову рубашку, намочив ее в канаве. Вымыл и

подножку. Снова и снова освещал машину и тер, пока не отчистил. Потом умылся и сел за руль. Так противно было сидеть на месте Георга, меня не оставляло ощущение, что он вот-вот прыгнет из темноты мне на спину. Я тронулся с места.

Машину я оставил поодаль от дома, в боковом переулке. Шел дождь. Я шагал по улице и глубоко дышал. Мало-помалу я почувствовал, что все тело болит. Задержался у рыбного магазина, где сбоку в витрине было зеркало. В темном серебре неосвещенного стекла мало что разглядишь, но, насколько я мог увидеть, лицо у меня было в крови и распухло. Я глубоко вдохнул влажный воздух. Уму непостижимо, что еще после обеда я находился здесь, так долго тянулось с тех пор время.

Я умудрился незамеченным прошмыгнуть мимо консьержки. Она уже спала, только что-то пробормотала. Мое позднее появление не представляло для нее ничего особенного. Я быстро поднялся по лестнице.

Хелен в комнате не было. Я смотрел на кровать и на шкаф. Канарейка, разбуженная светом, запела. У окна возникла кошка, сверкающими глазами уставилась внутрь, словно неприкаянная душа. Некоторое время я ждал. Потом

прокрался к двери Лахмана, тихонько постучал.

Он сразу же проснулся. Сон у беженцев воробьиный. «Вы…» — начал он и, взглянув на меня, осекся.

«Вы что-нибудь говорили моей жене?» — спросил я.

Он покачал головой: «Ее не было дома. И час назад все еще не было».

«Слава богу».

Он посмотрел на меня как на сумасшедшего.

«Слава богу, — повторил я. — Тогда ее, вероятно, не арестовали. Она просто куда-то ушла».

«Просто ушла, — повторил Лахман. Потом спросил: — Что с вами случилось?»

«Меня допрашивали. Я сбежал»

«Полиция?»

«Гестапо. Но все позади. Спите дальше».

«Гестапо знает, где вы?»

«Я бы тогда не пришел. Утром, затемно, я уйду».

«Секунду! — Лахман достал несколько образков и четок. — Вот возьмите. Иногда они творят чудеса. Хирша с ними переправили через границу. В Пиренеях народ очень набожный. Эти вещицы благословил сам папа».

«Правда?»

Он улыбнулся чудесной улыбкой. «Если они нас спасают, стало быть, их сам Господь благословляет. До свидания, Шварц».

Я вернулся в комнату, стал собирать наши вещи. Чувствовал я себя совершенно опустошенным, но натянутым, как барабан, в котором ничего нет. В ящике Хелен я нашел пачечку писем. Их прислали в Марсель до востребования. Не задумываясь, я сунул их в ее чемодан. Нашел и вечернее парижское платье, положил туда же. Потом присел возле умывальника, опустил руку в воду. Обожженные ногти болели. Мне и дышать было больно. Я смотрел на мокрые крыши и не думал ни о чем.

Наконец послышались шаги Хелен. Она возникла на пороге как обреченный, прекрасный дух. «Что ты здесь делаешь?» Она ни о чем не знала. «Что с тобой?»

«Нам надо уехать, Хелен. Немедля».

«Георг?»

Я кивнул. Решил сказать ей как можно меньше.

«Что с тобой случилось?» — испуганно спросила она, подойдя ближе.

«Меня арестовали. Я сбежал. Меня будут искать».

«Нам надо уехать?»

«Немедля».

«Куда?»

«В Испанию».

«Как?»

«На автомобиле, как можно дальше. Соберешься?»

«Да».

Она пошатнулась.

«Болит?»

Она кивнула. Что это там на пороге, думал я. Что? Она была совсем чужая.

«У тебя еще остались ампулы?» — спросил я.

«Немного».

«Мы достанем еще».

«Выйди на минутку», — сказала она.

Я стоял в коридоре. Двери по соседству приоткрылись. Возникли лица с глазами лемуров. Лица карликовых полифемов с одним глазом и кривым ртом. Лахман в длинных серых подштанниках, точно кузнечик, метнулся вверх по лестнице и сунул мне в руку полбутылки коньяка. «Он вам пригодится, — прошептал он. — V.S.O.P.![39]»

Я тотчас отхлебнул большой глоток.

---

[39] notes: 39

Very Superior Old Pale — очень выдержанный (*англ.*), о коньяке с выдержкой 18–25 лет.

«У меня есть деньги, — сказал я. — Вот! Дайте мне еще бутылку, полную».

Я забрал у Георга бумажник и нашел там уйму денег. Лишь на секунду у меня мелькнула мысль выбросить их. Нашел я при нем и его паспорт, а также мой и Хелен. Все три лежали у него в кармане.

Одежду Георга я собрал в узел и, запихнув туда камень, бросил в гавань. Паспорт хорошенько рассмотрел при свете карманного фонаря, потом поехал к Грегориусу и разбудил его. Попросил заменить фото Георга моим. Сперва он в ужасе отказался. Он занимался подделкой эмигрантских паспортов и полагал себя при этом справедливее Господа, в котором усматривал виновника всех бед, но паспорт высокого гестаповского чина видел впервые. Я объяснил ему, что его подпись тут не требуется, это же не картина художника. За все отвечаю я один, и про него никто не узнает.

«А если вас будут пытать?»

Я показал ему свою руку и лицо. «Через час я уезжаю, — сказал я. — Как эмигрант, я с таким лицом и на десять километров не отъеду. А мне надо через границу. Это мой единственный шанс. Вот мой паспорт. Сфотографируйте паспортное фото и замените копией снимок в гестаповском

паспорте. Сколько возьмете? Деньги у меня есть». Грегориус согласился.

Лахман принес вторую бутылку коньяка. Я расплатился и вернулся в комнату. Хелен стояла у ночного столика. Ящик, в котором лежали письма, был открыт. Она задвинула его, шагнула ко мне. «Это Георг?» — спросила она.

«Не он один», — ответил я.

«Будь он проклят! — Она отошла к окну, кошка скакнула прочь. Хелен открыла ставни. — Будь он проклят! — повторила она с такой страстью и с такой твердостью, будто совершала мистический ритуал. — Будь он проклят до конца своих дней, вовеки…»

Я взял ее за руки, сжатые в кулаки, оттащил от окна. «Пора уходить».

Мы спустились вниз. Из всех дверей нас провожали взгляды. Серая рука помахала вслед. «Шварц! Не берите рюкзак. Жандармы относятся к рюкзакам с подозрением. У меня есть дешевый чемоданчик из кожзама, выглядит шикарно…»

«Спасибо, — сказал я. — Мне теперь не нужен чемодан. Мне нужна удача».

«Мы желаем вам удачи».

Хелен ушла вперед. Я слышал, как промокшая шлюха у подъезда посоветовала ей остаться дома,

в дождь, мол, клиентов не сыщешь. Вот и хорошо, подумал я, чем пустыннее улицы, тем для меня лучше. Хелен изумилась, увидев машину. «Угнал, — сказал я. — Надо уехать на ней как можно дальше. Садись».

Еще не рассвело. Дождь потоками струился по ветровому стеклу. Если на подножке оставалась кровь, теперь ее наверняка смыло. Я остановился поодаль от дома, где жил Грегориус. «Постой здесь», — сказал я Хелен, кивнув на стеклянный навес магазина рыболовных принадлежностей.

«А в машине нельзя остаться?»

«Нет. Если кто придет, сделай вид, будто ждешь клиентов. Я скоро вернусь».

Грегориус успел все сделать. Страх сменился гордостью артиста. «Самое трудное — мундир, — сказал он. — У вас-то штатский костюм. Я просто отрезал ему голову».

Он отклеил Георгово фото, вырезал голову и шею, приложил мундир к моему снимку и сфотографировал монтаж. «Обер-штурмбаннфюрер Шварц, — гордо произнес он. Высушенное фото он уже вклеил на место. — Штамп более-менее удался. Если станут присматриваться, вам так и так конец… даже при подлинном штампе. Вот ваш старый паспорт в целости и сохранности».

Он отдал мне оба паспорта и остатки Георговой фотографии. Я порвал ее, пока спускался по лестнице, а на улице бросил в воду, которая ручьем стекала в водосток.

Хелен ждала. Сперва я проверил машину: бак полон. Если все пойдет хорошо, бензина хватит, чтобы перебраться через границу. Удача меня не оставила — в бардачке обнаружился пропуск на пересечение границы, уже дважды использованный. Я решил пересечь ее не там, где машину уже видели. Нашлись и карточка автозаправки «Мишлен», пара перчаток и атлас автомобильных дорог Европы.

Машина катила сквозь дождь. До рассвета оставалось еще несколько часов, мы направлялись в сторону Перпиньяна. Пока не развиднелось, я решил остаться на магистральном шоссе. «Может, я поведу? — немного погодя предложила Хелен. — Твои руки!»

«А сможешь? Ты не спала».

«Ты тоже».

Я взглянул на нее. Вид свежий и спокойный. Поразительно. «Хочешь глоток коньяка?»

«Нет. Буду ехать, пока не удастся где-нибудь выпить кофе».

«Лахман дал мне еще одну бутылку коньяка».

Я достал ее из кармана пальто. Хелен покачала головой. Она сделала себе укол.

«Попозже, — очень мягко сказала она. — Попробуй вздремнуть. Будем вести машину по очереди».

Хелен водила лучше меня. Немного погодя она запела, однообразные, короткие песенки. До сих пор я был страшно напряжен, теперь урчание автомобиля и негромкое пение начали меня убаюкивать. Я знал, что должен поспать, но снова и снова просыпался. Мимо проносился серый пейзаж, и мы включили фары, не заботясь о предписаниях насчет затемнения.

«Ты убил его?» — вдруг спросила Хелен.

«Да».

«Был вынужден?»

«Да».

Мы ехали дальше и дальше. Я смотрел на дорогу и думал о многом, а потом провалился в каменный сон. Когда я проснулся, дождь уже перестал. Наступило утро, урчал мотор, Хелен сидела за рулем, и мне почудилось, будто все было сном. «Я сказал неправду», — сказал я.

«Знаю», — ответила она.

«Это был другой», — сказал я.

«Знаю».

Она не смотрела на меня.

XVIII

— В последнем довольно большом городе перед границей я хотел получить испанскую визу для Хелен. Толпа перед консульством удручала. Придется рискнуть, ведь автомобиль, вероятно, уже ищут, но другого выхода нет. В паспорте Георга виза уже стояла.

Я медленно подъехал ближе. Толпа встрепенулась, только когда разглядела немецкие номера. Расступилась перед нами. Несколько эмигрантов побежали прочь. Сквозь строй ненависти автомобиль протиснулся к входу. Жандарм козырнул. Давненько со мной такого не случалось. Я небрежно поздоровался и прошел в консульство. Жандарм посторонился. Надо быть убийцей, с горечью подумал я, чтобы тебе оказывали уважение.

Визу я получил незамедлительно, как только предъявил паспорт. Вице-консул видел мое лицо. Но не руки. Я надел перчатки из бардачка. «Следы войны и ближнего боя», — сказал я. Он понимающе кивнул. «Мы тоже пережили годы боев. Хайль Гитлер! Великий человек, как и наш каудильо».

Я вышел на улицу. Вокруг автомобиля об-

разовалась пустота. На заднем сиденье сидел перепуганный мальчик лет двенадцати. Забился в угол, одни только глаза да прижатые ко рту руки. «Мы должны взять его с собой», — сказала Хелен.

«Почему?»

«Его документ действует еще только два дня. Если его схватят, то отправят в Германию».

Я почувствовал, как по спине под рубашкой течет пот. Хелен посмотрела на меня. Она была очень спокойна. «Мы отняли одну жизнь, — сказала она по-английски. — И должны спасти другую».

«У тебя есть документы?» — спросил я у мальчика.

Он молча протянул мне разрешение на жительство. Я взял его, опять пошел в консульство. Это стоило мне огромного труда — казалось, автомобиль на улице сотней громкоговорителей выкрикивает свою тайну. Я небрежно сказал секретарю, что напрочь запамятовал, что мне нужна еще одна виза — по службе, для подтверждения личности за рубежом. Заглянув в документ, он удивился, потом с улыбкой подмигнул и выдал визу.

Я сел в машину. Настрой в толпе стал еще враж-

дебнее. Вероятно, они думали, что я намерен засадить мальчика в лагерь.

Из города я выехал с надеждой, что удача не покинет меня. Руль с каждым часом становился все горячее. Я опасался, что вскоре машину придется бросить, но совершенно не представлял себе, что будет дальше. В такую погоду Хелен не сможет идти через горы окольными тропами, она слишком слаба, а потеря автомобиля лишит нас и призрачной вражеской защиты. Никто из нас не имел французского разрешения на выезд. Пешком все было совершенно иначе, нежели в дорогом автомобиле.

Мы продолжали путь. Странный был день. Посюсторонность и потусторонность, казалось, рухнули в две пропасти, и ехали мы по узенькому гребню в окутанном облаками высокогорье, точно в вагончике канатной дороги. Я мог бы сравнить это разве что со старинным китайским рисунком тушью, где странники упрямо бредут среди вершин, облаков и водопадов. Мальчик съежился на заднем сиденье и почти не двигался. В своей жизни он только и научился не доверять всему. Ничего другого не помнил. Когда культуртрегеры Третьего рейха пробили череп его деду, ему было три года… когда повесили его

отца — семь и девять, когда его мать отравили газом… поистине, дитя двадцатого века. Каким-то образом он сбежал из концлагеря и в одиночку прошел через границы. Если б его схватили, то как дезертира вернули бы в концлагерь и повесили. Теперь он стремился в Лиссабон, какой-то дядюшка якобы работал там часовщиком, так ему сказала мать вечером накануне своей смерти, когда благословила его и дала последнее напутствие.

Все прошло благополучно. На французской границе никто о разрешении на выезд не спросил. Я только бегло показал паспорт и сделал записи насчет машины. Жандармы козырнули, шлагбаум поднялся, и мы покинули Францию. Через несколько минут испанские таможенники восхищались автомобилем, интересовались, сколько километров в час он делает. Я что-то ответил, и они принялись мечтательно вспоминать последний великий собственный автомобиль — «Испано-суизу». Я сказал, что у меня был такой, и описал летящего журавля на радиаторе. Они пришли в восторг. Я спросил, где можно заправиться. Они сказали, что для друзей Испании существует спецфонд на бензин. Песет у меня не было. Они обменяли мои франки. С сердечной

официальностью мы распрощались.

Я откинулся на спинку сиденья. Гребень и облака исчезли. Перед нами лежала чужая страна, страна, уже не похожая на Европу. Мы пока не избавились от опасности, но между Францией и этой страной зияла пропасть. Я видел дороги, осликов, людей, национальные костюмы, скудный каменистый пейзаж — мы очутились в Африке. Здесь и был подлинный Запад, по ту сторону Пиренеев, я чувствовал. Потом заметил, что Хелен плачет.

«Ну вот, ты там, куда стремился», — прошептала она.

Я не понял, о чем она. Еще не верил, что все прошло так легко. Думал о вежливости, приветствиях, улыбке — впервые за много лет я вновь столкнулся со всем этим и был вынужден убить, чтобы со мной обращались как с человеком. «Почему ты плачешь? — спросил я. — До спасения пока далеко. Испания кишит гестаповцами. Нам нужно проехать ее как можно скорее».

Переночевали мы в маленьком городке. Вообще-то я хотел бросить машину и дальше ехать поездом. Но не сделал этого. В Испании было небезопасно, я хотел как можно скорее выбраться за ее пределы. Необъяснимым образом машина

стала этаким мрачным талисманом, вдобавок ее техническое совершенство вытесняло ужас, который я перед ней испытывал. Я слишком в ней нуждался и о Георге больше не думал. Непомерно долго он угрозой нависал над моей жизнью; теперь его не стало, и только это я ощущал. Думал о смехаче, ведь он был жив и мог по телефону потребовать нашего ареста. Убийцу выдаст любая страна. Что действовал я в силу необходимой самообороны, придется доказывать, причем там, где это случилось.

К португальской границе я подъехал следующей ночью, в поздний час. Визы выправил по дороге, без затруднений. Оставил Хелен у границы в машине с незаглушенным мотором. Если случится что-нибудь подозрительное, она рванет с места ко мне, я запрыгну в машину, и мы прорвемся к португальской таможне. Случиться могло мало что, погранпункт был маленький, и прежде чем сотрудники в потемках сумеют выстрелить и попасть, мы окажемся вне достижимости. Что будет дальше, в Португалии, дело другое.

Ничего не случилось. Сотрудники в форме стояли на ветру в темноте как фигуры на картине Гойи. Они козырнули, и мы направились к

португальской таможне, где повторилось то же самое. Однако, едва машина тронулась, один из сотрудников бросился за нами вдогонку, закричал, чтобы мы остановились. Я быстро оценил ситуацию и затормозил; если б я поехал дальше, машину могли бы задержать в ближайшем поселке. Потому и затормозил. Мы затаили дыхание.

Сотрудник подбежал. «Пропуск на машину, — сказал он. — Вы забыли пропуск на машину. Как вы без него вернетесь через границу?»

«Большое спасибо!»

У меня за спиной мальчик шумно перевел дух. Мне самому на миг показалось, что я совершенно невесом, такое облегчение я ощутил.

«Ну вот, ты в Португалии», — сказал я мальчику. Он медленно отнял руки от рта и впервые откинулся на спинку сиденья. Всю дорогу просидел наклонясь вперед.

Мимо пролетали деревни. Лаяли собаки. В утренних сумерках пылал кузнечный горн, кузнец ковал белого коня. Дождь прекратился. Я ждал чувства освобождения, которого дожидался так долго, но оно не приходило. Хелен тихо сидела рядом. Я хотел радоваться, а чувствовал пустоту.

Из Лиссабона я созвонился с американским консульством в Марселе. Рассказал, что про-

изошло, до той минуты, когда появился Георг. Человек, с которым я говорил по телефону, считал, что теперь я в безопасности. Единственное, чего я смог от него добиться, было обещание, что, если визу одобрят, он перешлет ее в лиссабонское консульство.

Настало время избавиться от автомобиля, который так долго нас защищал. «Продай его», — сказала Хелен.

«Может, все-таки лучше утопить его в море?»

«От этого ничего не изменится, — сказала она. — Тебе нужны деньги. Продай его».

Она была права. Продать оказалось проще простого. Покупатель, точнее перекупщик, сказал мне, что заплатит пошлину и перекрасит машину в черный цвет. Я продал ее от имени Георга. А неделю спустя увидел уже с португальскими номерами. В Лиссабоне было несколько таких «Мерседесов», я узнал этот по небольшой вмятине у левой подножки. Паспорт Георга я сжег.

Шварц взглянул на свои часы.

— Рассказать осталось совсем немного. Раз в неделю я заходил в консульство. Некоторое время мы прожили в гостинице. Сняли номер на деньги от продажи машины. Мне хотелось по возможности обеспечить Хелен наилучшие условия.

Мы нашли врача, который помогал ей доставать обезболивающее. Я даже ходил с ней в казино. Ради такого случая взял напрокат смокинг. А у Хелен сохранилось вечернее парижское платье. К нему я купил ей золотые туфельки. Прежние я забыл в Марселе. Вы бывали в этом казино?

— К сожалению, — сказал я. — Вчера вечером ходил туда. И зря.

— Я хотел, чтобы она играла, — сказал Шварц. — Она выиграла. Непостижимая полоса продолжалась. Она не глядя поставила фишки, и эти номера выиграли.

Последнее время имело мало общего с реальностью. Казалось, вновь начались те дни во дворце. Мы что-то разыгрывали друг перед другом, но впервые у меня было ощущение, что теперь она целиком принадлежит мне, хотя день ото дня она все больше уходила к самому неумолимому из всех любовников. Она еще не сдалась, но бороться перестала. Случались мучительные ночи и ночи, когда она плакала, а потом опять наступали почти неземные мгновения, когда сладость, безнадежность, мудрость и любовь без телесных границ вдруг набирали такую силу, что я почти не смел шевельнуться, настолько могучей она мне казалась. «Любимый мой, — однажды ночью

сказала мне Хелен, и это был единственный раз, когда она говорила об этом, — вместе мы не увидим обетованную землю, которую ты ждешь».

После обеда я возил ее к врачу. И теперь вдруг словно удар молнии ощутил бессильный бунт, который овладевает человеком, признающим, что ему не удержать то, что он любит.

«Хелен, — сказал я сдавленным голосом, — чем мы стали?»

Она молчала. Потом тряхнула головой и улыбнулась. «Всем, чем могли. И этого достаточно».

Потом настал день, когда в консульстве мне сообщили, что свершилось невозможное: наши визы одобрены. Хмельной каприз случайного знакомства сделал то, чего не могли достигнуть ни мольбы, ни беды! Я рассмеялся. Это была истерика. Если можешь смеяться, то в нынешнем мире найдется много поводов для смеха, верно?

— В конце концов смех прекращается, — сказал я.

— Странно, в последние дни мы часто смеялись, — сказал Шварц. — Словно очутились в гавани, куда не задувают ветра. Горечь иссякла, слезы тоже, а печаль стала такой прозрачной, что сплошь и рядом не отличалась от иронически меланхоличной веселости. Мы переехали в

маленькую квартирку. В непостижимой слепоте я продолжал осуществлять свой план отъезда в Америку. Долго не было никаких кораблей, но в конце концов один пришел. Я продал последний рисунок Дега и купил билеты. Я был счастлив. Думал, что мы спасены. Наперекор всему! Наперекор врачам. Думал, что еще и это чудо непременно должно случиться!

Отплытие отложили на несколько дней. А позавчера я еще раз наведался в судовую контору. Отплытие назначили на сегодня. Я сообщил об этом Хелен и пошел кое-что купить. Когда я вернулся, она была мертва. Все зеркала в комнате вдребезги разбиты. Вечернее платье разорванное валялось на полу. Она лежала рядом, не на кровати.

Сперва я подумал, ее убили грабители. Потом что это дело рук гестапо, но ведь гестапо искало меня, а не ее. Только разглядев, что, кроме зеркал и платья, все цело и невредимо, я понял. Вспомнил про яд, которым с ней поделился и о котором она сказала, что потеряла его. Долго стоял, смотрел, потом стал искать письмо. Его не было. Ничего не было. Она ушла без единого слова. Понимаете?

— Да, — ответил я.

— Понимаете?

— Да, — повторил я. — Что еще она могла вам написать?

— Что-нибудь. Почему. Или…

Он умолк. Вероятно, думал о последних словах, о последнем заверении в любви, о чем-то, что мог бы унести в свое одиночество. Он научился отбрасывать многие шаблонные представления, но, судя по всему, не это.

— Если бы начала писать, она бы никогда не смогла закончить, — сказал я. — Тем, что ничего вам не написала, она сказала больше, чем вообще могла бы выразить словами.

Он задумался. Потом прошептал:

— Вы видели объявление в бюро путешествий? «Откладывается на день». Она прожила бы еще один день, если бы знала об этом!

— Нет.

— Она не хотела ехать. Потому так и поступила!

Я покачал головой.

— Она больше не могла терпеть боль, господин Шварц, — осторожно проговорил я.

— Не верю, — ответил он. — Почему же она поступила так именно накануне отъезда? Думала, что ее, больную, в Америку не пустят?

— Почему вы не хотите предоставить умирающему человеку самому решить, когда он более не в силах терпеть? Это ведь самое малое, что мы можем сделать!

Он посмотрел на меня.

— Она держалась до последнего, — сказал я. — Ради вас, неужели вы не понимаете? Только ради вас. И зная, что вы спасены, ушла.

— А если б я не был так слеп? Если б не стремился в Америку?

— Господин Шварц. Болезнь это не остановило бы.

Шварц как-то странно мотнул головой.

— Она ушла, и вдруг кажется, будто ее никогда не было, — прошептал он. — Я смотрел на нее, а она не отвечала. Что я сделал? Убил ее или сделал счастливой? Она любила меня или я был всего лишь тростью, на которую она при необходимости опиралась? Ответа я не нахожу.

— А он вам нужен?

— Нет, — сказал он вдруг совершенно спокойно. — Простите меня. Вероятно, нет.

— Его не существует. Всегда существует лишь один: тот, какой вы даете себе сами.

— Я рассказал вам все, потому что должен знать, — прошептал он. — Что это было? Пустая,

бессмысленная жизнь, жизнь никчемного человека, рогоносца, убийцы?..

— Не знаю, — сказал я. — А если хотите, еще и жизнь любящего и, коль скоро для вас это важно, в некотором роде святого. Но что значат названия? Она была. Разве этого мало?

— Была. Но есть ли сейчас?

— Есть, пока вы живы.

— Только мы еще удерживаем эту жизнь, — прошептал Шварц. — Вы и я. Больше никто. — Он пристально посмотрел на меня. — Не забудьте о ней! Кто-то должен ее хранить! Она не должна исчезнуть! Нас всего двое. У меня она не в безопасности. А ей нельзя умирать. Она должна продолжаться. У вас она в безопасности.

При всем скептицизме меня охватило странное ощущение. Чего хотел этот человек? Вместе с паспортом отдать мне и свое прошлое? Он что же, собирается покончить с собой?

— Почему в вас эта жизнь умрет? — спросил я. — Вы же будете жить дальше, господин Шварц.

— Я не стану кончать самоубийством, — спокойно отозвался Шварц. — Не стану, потому что видел смехача и знаю, что он до сих пор жив. Но моя память попытается разрушить воспо-

минания. Будет пережевывать их, измельчать, подделывать, пока они не станут пригодны к выживанию, уже не опасны. Уже через несколько недель я бы не смог рассказать вам то, что рассказал сегодня. Потому и хотел, чтобы вы меня выслушали! У вас все останется неподдельным, поскольку для вас опасности не представляет. И должно же это где-то сохраниться, — вдруг безнадежно сказал он. — В ком-то, таким, как было, пусть даже ненадолго.

Он достал из кармана два паспорта, положил передо мной.

— Здесь и паспорт Хелен. Билеты уже у вас. А теперь и американские визы. На двоих. — Он смутно улыбнулся и умолк.

Я смотрел на паспорта. Потом через силу спросил:

— Вам правда больше не нужен ваш паспорт?

— Можете отдать мне свой, — сказал он. — Он понадобится мне на один-два дня. Чтобы перейти границу.

Я взглянул на него.

— В Иностранном легионе паспорт не спрашивают. Вы же знаете, они берут на службу эмигрантов. И пока на свете есть такие, как смехач, преступно тратить на самоубийство жизнь,

которую можно использовать на борьбу против подобных варваров.

Я достал из кармана свой паспорт, протянул ему:

— Спасибо. Спасибо от всего сердца, господин Шварц.

— Вот еще немного денег. Мне столько не нужно. — Шварц посмотрел на часы. — Сделайте для меня еще кое-что! Через полчаса ее заберут. Пойдемте со мной!

— Хорошо.

Шварц расплатился по счету. Мы вышли в галдящее утро.

На Тежу белый и тревожный стоял корабль.

Я стоял в комнате, рядом со Шварцем. Разбитые зеркала так и висели на стенах. Пустые рамы. Осколки убрали.

— Наверно, мне следовало остаться с ней в последнюю ночь, да? — спросил Шварц.

— Вы были с ней.

Женщина лежала в гробу как все усопшие — с бесконечно отрешенным лицом. Ничто более не трогало ее — ни Шварц, ни я, ни она сама. И уже невозможно представить себе, как она выглядела. Здесь лежала статуя, и лишь один человек знал, какой она была, когда дышала, — Шварц.

Но Шварц верил, что теперь и я тоже знаю.

— Она еще… — сказал он, — здесь еще были… — Он достал из ящика несколько писем. — Я их не читал. Возьмите.

Я взял письма, хотел положить их в гроб. Но тотчас отказался от этой мысли — умершая теперь наконец-то принадлежала одному только Шварцу, так он думал. Письма от других более не имели к ней касательства… он не хотел отдать их ей и уничтожать не хотел, потому что они все-таки связаны с нею.

— Я возьму их, — сказал я, пряча письма в карман. — Они не имеют ни малейшего значения. Значат меньше, чем мелкая купюра, которой оплачиваешь тарелку супа.

— Костыли, — ответил он. — Я знаю. Она как-то раз назвала их костылями, которыми пользовалась, чтобы хранить мне верность. Понимаете? Это абсурдно…

— Нет, — сказал я и очень осторожно, со всем на свете сочувствием добавил: — Почему вы не оставите ее наконец в покое? Она любила вас и оставалась с вами, сколько могла.

Шварц кивнул. Внезапно он показался мне очень хрупким.

— Вот это я и хотел знать, — пробормотал он.

В комнате с ее тяжелым запахом, мухами, погасшими свечами, с солнцем на улице и с умершей становилось жарко. Шварц заметил мой взгляд.

— Одна женщина мне помогла, — сказал он. — В чужой стране так сложно. Врач. Полиция. Ее увезли. А вчера вечером привезли обратно. Обследовали. Насчет причины смерти. — Он беспомощно посмотрел на меня. — Ее… она уже не целая… мне сказали, чтобы я не снимал покрывало…

Пришли носильщики. Гроб закрыли. Шварц пошатнулся.

— Я поеду с вами, — сказал я.

Ехать оказалось недалеко. Лучезарное утро, ветер, точно пастушья собака, гнал стадо облачных барашков. На кладбище Шварц маленький и потерянный стоял под огромным небом.

— Вы вернетесь в квартиру? — спросил я.

— Нет.

Он захватил с собой чемодан.

— Вы знаете кого-нибудь, кто может подправить паспорта? — спросил я.

— Грегориуса. Он уже неделю здесь.

Мы пошли к Грегориусу. Он быстро подправил паспорт для Шварца; тщательности тут не требовалось. Для Иностранного легиона Шварц взял

с собой удостоверение бюро регистрации; ему оставалось только пересечь границу и в казарме выбросить мой паспорт. Легион не интересовался прошлым.

— Что случилось с мальчиком, которого вы привезли с собой? — спросил я.

— Дядюшка терпеть его не может, но мальчик рад, что у него есть хотя бы родственник, который его ненавидит… а не только посторонние.

Я смотрел на мужчину, который носил теперь мое имя.

— Желаю вам всего доброго, — сказал я, уже не называя его Шварцем. Ничего, кроме этой тривиальной фразы, мне в голову не пришло.

— Мы с вами больше не увидимся, — ответил он. — И хорошо. Я слишком много рассказал вам, чтобы желать новой встречи.

Я не был так уж в этом уверен. Может статься, именно поэтому он позднее захочет повидать меня снова. В его представлении я был единственным, кто хранит неподдельный образ его судьбы. Но, возможно, именно поэтому он возненавидит меня, ведь я как бы отнял у него жену, на сей раз безвозвратно и навеки… поскольку он думал, что собственные воспоминания обманывают его и только мои останутся незамутненными.

Я смотрел, как он уходит по улице, с чемоданом в руке, жалкая фигурка, образ вечного рогоносца и вечного великого любящего. Но разве он не владел любимым человеком глубже, чем шайка тупых победителей? И чем мы владеем на самом деле? К чему столько шума из-за того, что в лучшем случае лишь взято на некоторое время в долг, и к чему столько разговоров о том, владеешь ли этим больше или меньше, коль скоро обманчивое слово «владеть» означает всего-навсего — обнимать воздух?

Паспортная фотокарточка жены была у меня с собой, ведь в ту пору постоянно требовались фотографии для документов. Грегориус немедля взялся за работу. Я не отходил от него. Боялся выпускать паспорта из виду.

К полудню они были готовы. Я поспешил в лачугу, где мы ютились. Рут сидела у окна, глядя на рыбацких ребятишек во дворе.

— Проиграл? — спросила она, когда я появился на пороге.

Я поднял вверх паспорта.

— Завтра мы уезжаем! У нас будут другие имена, разные, и в Америке нам придется пожениться еще раз.

Я почти не думал о том, что теперь у меня пас-

порт человека, которого, возможно, разыскивают за убийство. Следующим вечером мы отплыли и без приключений добрались до Америки. Но паспорта влюбленных не принесли нам счастья: через полгода Рут со мной развелась. Чтобы легализовать развод, нам сперва пришлось еще раз пожениться. Впоследствии Рут вышла за богатого молодого американца, который поручился за Шварца. Он нашел все это весьма забавным и был свидетелем на нашей второй свадьбе. А неделей позже мы развелись в Мексике.

Годы войны я провел в Америке. И странным образом начал интересоваться живописью, на которую раньше едва обращал внимание, — словно то было наследие далекого, покойного пра-Шварца. Часто я думал и о другом Шварце, который, возможно, был еще жив, и оба они смешались в какой-то призрачный дым, который порой словно бы клубился вокруг и действовал на меня, хоть я и понимал, что это вздор. В конце концов я нашел работу в художественном магазине, а в комнате у меня висели репродукции рисунков Дега, которые я особенно полюбил.

Я часто думал о Хелен, которую видел лишь мертвой, какое-то время она даже снилась мне, когда я жил один. Письма, полученные от Швар-

ца, я в первую же ночь, когда корабль шел через океан, бросил в волны, не читая. При этом в одном конверте я ощутил легкое сопротивление, будто от камешка. В темноте я вытащил его из конверта; это оказался плоский кусочек янтаря, где тысячи лет назад увязла и окаменела крошечная мушка. Я не выбросил камешек, взял его с собой — крошечную мушку в смертельной борьбе, в клетке из золотых слез, где она сохранилась, тогда как остальные ее сородичи были съедены, замерзли и исчезли.

После войны я вернулся в Европу. С некоторым трудом восстановил свою личность, ведь в ту же пору в Германии были сотни представителей расы господ, которые стремились потерять свою. Паспорт обоих Шварцев я подарил русскому, который бежал через границу, — начиналась новая волна эмиграции. Бог весть, где он теперь! О Шварце я больше никогда не слыхал. Однажды даже съездил в Оснабрюк и навел о нем справки, хотя забыл его подлинное имя. Но город был разорен, никто о нем ничего не знал, и никого это не интересовало. На обратном пути к вокзалу мне показалось, будто я узнал его. Я догнал этого человека, но он оказался женатым почтовым делопроизводителем, который сообщил, что зовут

его Янсен и у него трое детей.